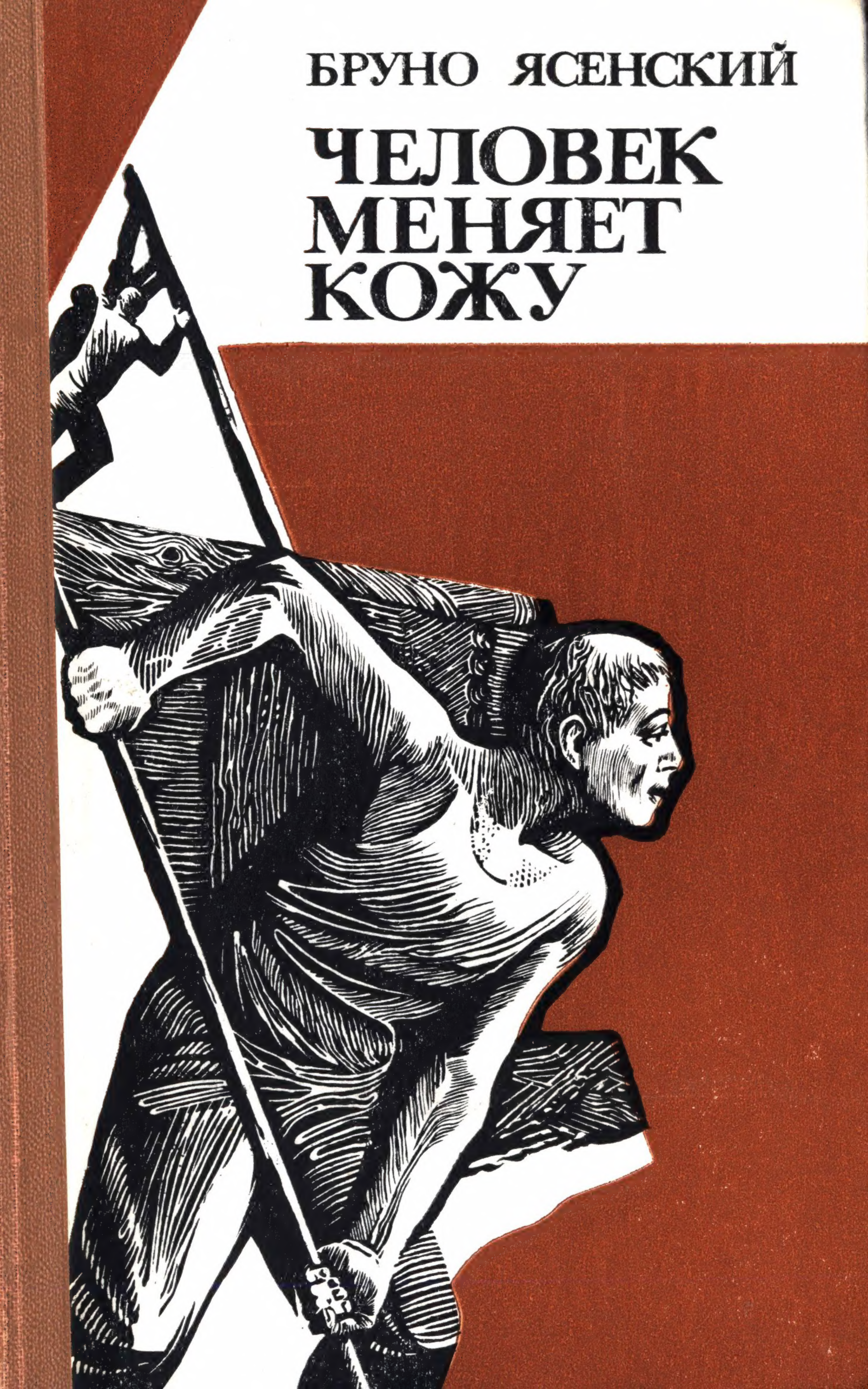

БРУНО ЯСЕНСКИЙ
ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ

БРУНО
ЯСЕНСКИЙ

ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1983

84 Р 7
Я 80

Вступительная статья
В. Д. Оскоцкого

Иллюстрации и оформление
А. К. Яцкевича

Ясенский Б.

Я 80 Человек меняет кожу / Вступ. статья В. Д. Оскоцкого; Ил. А. К. Яцкевича.— М.: Правда, 1983.— 624 с., ил.

В романе «Человек меняет кожу» Бруно Ясенский (1901—1941), рассказывая о строительстве оросительной системы на Вахше, о преображении отсталого края, шагнувшего в социализм из феодального прошлого, стремится раскрыть революцию в самых главных ее свершениях — в преломлении мыслей и чувств человека, ставшего строителем социалистического общества.

Я $\frac{4702010200 - 600}{080(02) - 83}$ 600 — 83 84 Р 7

Текст печатается по изданию: Б. Ясенский. Человек меняет кожу. М.: «Известия», 1969.

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

(Штрихи к портрету)

I

Легко представить себе, какими отвлеченными и бессодержательными предстали бы в своей абстрактной всеобщности многие, даже самые высокие понятия, если бы, воплощая их, живые человеческие судьбы не придавали им всегда новый и неповторимый, каждый раз свой, до осязаемости конкретный смысл. Не так ли и судьба поэта, прозаика, драматурга Бруно Ясенского, путь его жизни и путь его творчества, которые, приблизив к нам понятие «интернационализм», наполнили его ощутимо реальным, «земным» содержанием? Не преходящим лозунгом и не отвлеченной идеей был интернационализм для писателя, но смыслом жизни и сутью творчества.

Польский поэт, участник знаменитого литературного объединения «Три залпа» [1], возвестившего в буржуазной Польше начало новой пролетарской поэзии, он стал в 30-е годы одним из ведущих советских прозаиков, чей роман «Человек меняет кожу» стоял среди книг, создававших по первопутку героическую летопись социалистического строительства, а повести и рассказы («Нос», «Главный виновник») осваивали актуальные антифашистскую и антивоенную темы. Активный деятель польского револю-

---

[1] Это свое название объединение получило от одноименного сборника стихов Владислава Броневского, Станислава Рышарда Стандэ и Витольда Вандурского («Trzy salwy», 1925), обретшего в польской литературе значение первого манифеста революционной пролетарской поэзии.

ционного движения, литературный редактор издававшейся во Львове коммунистической газеты «Рабочая трибуна», пропагандист и переводчик многих статей В. И. Ленина, стихов Маяковского, он вступил затем в ряды Французской коммунистической партии и по ее заданию вел массовую агитационную работу среди горняков и шахтеров Па-де-Кале. «Активная работа в рядах Французской компартии,— писал он впоследствии об этом периоде своей жизни, когда носил фамилию Лаваля,— лучше теоретических размышлений научила меня применять свое литературное творчество к задачам повседневной партийной агитации и пропаганды».

Этим задачам служил роман «Я жгу Париж» (1927) — первое прозаическое произведение Бруно Ясенского, написанное в ответ на антисоветский пасквиль Поля Морана «Я жгу Москву». Политический роман-памфлет и одновременно фантастический роман-утопия, он весь проникнут пафосом революционной борьбы и верой в торжество интернационального пролетарского дела, выражавшими мироощущение той части передовой интеллигенции Запада, представители которой — от Джона Рида до Юлиуса Фучика,— без колебаний встав на сторону Великого Октября, могли сказать о себе известными словами советского поэта: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня... не было. Моя революция».

Своей воспринял Октябрьскую революцию и Бруно Ясенский.

о мои братья
всех цветов и племен,
в городах и в лесах,
на полях и в пустынях бесплодных —
вижу явственно вас,
имя вам — легион,
армия братьев голодных!
вы — новая каста,
пробил день, пробил час —
и мир,
ставший вашим жрецом,
посвящением красным,
обрекает любого из нас
быть беспощадным бойцом,
наше время настало. Пора! [1]

— писал он в поэме «Песня о голоде» (1922), которая, как свидетельствовал сам поэт, «при всей своей идеологической нечеткости была в послевоенной польской литературе первой крупной поэмой, воспевающей социальную революцию и зарю, зажегшуюся на востоке».

---

[1] Перевод А. Штейнберга.

И снова о том же спустя десятилетие в прологе к ненаписанной поэме:

Учился петь
гимн
классовой войны
На языке рабочих
той страны,
в которой
приходилось
драться...

Совершив в своем творчестве поэта «прыжок от формально утонченных, оперирующих отдаленными ассоциациями стихов «Земли влево» (сборник 1924 года.— *В. О.)* до народной скупой простоты «Слова о Якубе Шеле» (поэмы о крестьянском восстании)», Бруно Ясенский показал в ней себя искусным мастером родного языка, дал высокий образец поэтической речи, погруженной и песенной своей напевностью, и виртуозностью ритмики, и богатством музыкальных — от плясового до сказового — мотивов в стихию народного творчества, в неиссякаемые родники польского слова. Но по-своему виртуозно и мастерски был воплощен им и замысел романа «Я жгу Париж», который писался на французском языке и печатался в газете «Юманите»...

«Учусь писать по-русски»,— сообщал он спустя четыре года, будучи уже советским гражданином. И обещал: «Если тебе, товарищ читатель, попадет в руки новая книжка моих стихов, на ней не будет уже, наверное, значиться фамилия переводчика».

Книжка стихов не появилась. Но всего через год журнал «Новый мир» начал печатать роман Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Фамилии переводчика в публикации действительно не значилось. Роман был написан на русском языке...

Конечно же, уникальные лингвистические способности, конечно же, счастливая творческая одаренность и редкостное писательское упорство проявились в этом. И все-таки — не в них только дело. Ведь та внешняя легкость, с которой всего за три месяца был создан роман «Я жгу Париж», говорит прежде всего о том, какой органичной потребностью души была для Бруно Ясенского защита идей Великого Октября, их утверждение в жизни и в искусстве. Равным образом и быстрое, казалось бы, появление монументального эпического полотна — романа «Человек меняет кожу» — три года спустя после приезда в СССР, ставший для него второй родиной, и через два года после первой поездки в Таджикистан, поразившей, как вспоминала потом вдова писателя А. Берзинь, открытием невиданного прежде мира с его «еще

не тронутым бытовым укладом, навыками, привычками, особенностями»,— свидетельствует о том, что Бруно Ясенскому не надо было как-то по-особому вживаться в новую для него советскую действительность, что он принял ее как свою, естественно и просто, принял сразу и всю целиком, со всеми ее победами и устремлениями, сложностью задач и трудностями пути.

2

Если бы Бруно Ясенскому не суждено было создать «ничего, кроме «Слова о Якубе Шеле», его имя все равно осталось бы в ряду лучших революционных поэтов Польши и всего мира»,— писал однажды один из его ближайших друзей, венгерский писатель-коммунист Антал Гидаш.

Бесспорно, наследие Бруно Ясенского, польского поэта, достойно особого исследования. Но стоит здесь обратиться к нему хотя бы ненадолго, чтобы пусть перечислительно, но все же выделить в нем те тематические пласты и идейные мотивы, которые, служа предыстоком произведений Ясенского-прозаика, подготовили его писательское сознание к восприятию советской действительности, к художественному освоению ее в творчестве.

«Первые мои стихи, появившиеся в печати в 1918—1920 годах и носившие еще отпечаток формальных поисков (резко осужденные уже в следующем году в стихотворной автокритике), своей нарочитой грубостью в третировке «святых и неприкосновенных» идеалов независимости, национальной культуры, религии, культа войны прозвучали диссонансом в хоре молодой империалистической литературы, голосившей на все лады «осанна» формировавшемуся буржуазному государству»,— писал Бруно Ясенский о начале своего творческого пути, писал требовательно и взыскательно, подчеркивая, что в те именно годы «остатки непреодоленного мелкобуржуазного идеализма, как узкие, не по ноге башмаки, мешали сделать решительный шаг».

Слишком отвлеченным оказывался порой в стихах социальный протест поэта, облеченный в форму условного урбанистического мотива. И скорее общим знаком, вневременным символом, чем конкретным образным воплощением революционного пути народа к обновлению жизни и переустройству мира, виделся поэту «красный праздник», грядущий «в ритмичном стуке пулеметов». Действительно, нужен был взрыв, способный переплавить бескомпромиссный, но стихийный нигилизм в осознанное отрицание социальных основ буржуазного строя. И действительно, нужно было потрясение, которое направило бы яростный, но анархический бунт в русло организованной революционной борьбы. Только это

и могло в конечном счете освободить поэтический талант Бруно Ясенского от сдерживающих его оков формального поиска, вневременной условности, нарочитой, порой эпатирующей усложненности образа.

Такое освобождение, вспоминал Бруно Ясенский, «пришло извне, в виде неожиданного потрясения. Потрясением этим было краковское восстание 1923 года. Захват Кракова вооруженными рабочими, разгром полка улан, вызванных для усмирения восставших, отказ пехотных частей стрелять в рабочих, братание солдат с восставшими и передача им оружия — все эти стремительные происшествия, изобилующие героическими эпизодами уличной борьбы, казались прологом величайших событий. Двадцать четыре часа, прожитых в городе, очищенном от полиции и войск, потрясли до основ мой не перестроенный еще до конца мир. Когда на следующий день благодаря предательству социал-демократических лидеров рабочие были обезоружены и восстание ликвидировано, я отчетливо понимал, что борьба не кончилась, а начинается борьба длительная и жестокая разоруженных с вооруженными и что мое место в рядах побежденных сегодня».

Краковское восстание — эта ярчайшая страница в истории революционных битв польского пролетариата — оказалось поворотным рубежом в творческом пути Бруно Ясенского. Непосредственно после его подавления поэт создает знаменитый «Марш краковских повстанцев», который долгие годы оставался ненапечатанным, что, однако, не преградило ему путь на улицы, не помешало стать революционной песней: чеканный ритм ее строф (не совсем точно переданных, чуть «осовремененных» в русском переводе) воскресил могучую поступь восставших рабочих:

И шаг наш — как гром. И песнь наша — гром,
Греми у решеток подольше!
За новую Польшу мы на смерть идем,
За нашу народную Польшу!

«Решительный шаг» был сделан...

Его закрепила поэма «Слово о Якубе Шеле» (1926), где «народная скупая простота» стихотворных строк сочеталась с острым социальным взглядом поэта на историческую и современную действительность, с его безотказным классовым чутьем в восприятии освободительных — национальных и социальных — идеалов, в утверждении народа деятелем и творцом истории.

Обращаясь к прошлому, Ясенский думал о будущем, во имя которого, бросая вызов официальной буржуазной науке, воскрешал своей поэмой революционные традиции польского народа, образы вожаков и саму эпопею крестьянского восстания 1848 года, названного им впоследствии (в пьесе, написанной по мотивам

поэмы для польского рабочего театра в Париже, создателем и руководителем которого Бруно Ясенский был в 1927 году) «галицийской жакерией». Потому так открыт революционный пафос поэмы, так созвучен он нам сегодня и так устремлен в то предчувствуемое поэтом время,

Когда весны отворят двери
и сердца зацветут, как дол,
сядем мы на одной вечере,
будет мир, как единый стол.
Встанет день, безоблачен, ярок,
когда мы ему крикнем: «Встань!»
Каждый выберет лучший подарок,
принесет ему лучшую дань.
И в тот день, краснолицый, просторный,
возвещенный шквалом времен,
смоем мы кровавый и черный
цвет с судеб, и тел, и знамен [1].

Этому дню грядущего освобождения людей, их интернационального братства и посвящал Бруно Ясенский «свой лучший скарб» — поэму «Слово о Якубе Шеле».

3

Есть в поэтическом наследии Бруно Ясенского проникновенное и возвышенное стихотворение «Марсельеза», придавшее обобщенному образу пролетарской революции реальные, «земные» черты женщины, однажды встреченной в уличной толпе и тут же исчезнувшей из глаз, чтобы навсегда остаться в потрясенном воображении поэта обещанием новых неминуемых встреч.

С тех пор я жду, придет ли снова весть,
иль только мне, как сказка, будешь сниться,
но мне тебя в себе навеки несть,
твои черты искать во встречных лицах.
Мне снится море и вечерний мрак,
прибой в порту крутые барки лижет,
а в голове моей трепещет флаг,
и сердце, как часы, секунды нижет.
И знаю — будет вечер, душный зной,
и я — среди толпы, глухой и чинной,
и вдруг всплеснется крик безумный мой
и город сдвинет с места, как машиной.
И я с размаху в стену ткнусь башкой,
и хриплый бас мой станет жалким альтом,
увижу туч панели над собой
и небеса, залитые асфальтом,—

---

[1] Перевод Д. Самойлова.

тогда, тогда я вновь почую дрожь
и запах рук твоих, лишенных веса.
И ты рукою кровь с меня сотрешь,
любимая навеки Марсельеза![1]

Говоря образом поэта, его встреча с Марсельезой произошла весной 1929 года в Ленинградском порту, куда после недолгого пребывания в Германии приехал высланный из Франции за революционную деятельность Бруно Ясенский. «Передать, что чувствует западный революционер, увидев на советском берегу шлем первого красноармейца, увидев первую приближающуюся моторку с красным флажком на носу и высаживающихся из нее советских военных в зеленых фуражках,— передать это так же трудно, как трудно описать спазму, которая внезапно сжимает вам горло»,— рассказывал Бруно Ясенский впоследствии об этой незабываемой встрече с трибуны Первого Всесоюзного съезда советских писателей.

Так открылась новая страница его жизни. И новый этап его творческого пути.

Год 1929-й. Бруно Ясенский — редактор польского литературно-художественного журнала «Культура масс», активный деятель Международного объединения революционных писателей мира.

Год 1930-й. На Всемирном конгрессе революционных писателей мира в Харькове Ясенский избран редактором журнала «Интернациональная литература».

В том же 1930 году — первая поездка в Среднюю Азию в качестве члена правительственной комиссии по размежеванию Таджикистана с Узбекистаном.

Год 1931-й — вторая поездка в Таджикистан.

«Он еще не говорит, что напишет о Средней Азии,— вспоминала Анна Берзинь,— а много говорит о том, как красива, как необычна эта страна, как она заставляет пристально и внимательно приглядеться к ней...

Он любил эту страну и отлично сознавал, какие трудности стоят на путях ее развития. Временами казалось, что никогда не осилить всех трудностей, таких больших, непреодолимых, и только вера в силу коммунизма поддерживала, не давая возможности отступить, уступить хотя бы пядь завоеванных прав. Ясенский верхом переправлялся через горные хребты. На крутых осыпях, ломая ногти, он шел, держась за хвост привычной к кручам лошади, то и дело теряя под ногами опору и хватаясь руками за раскаленные под солнцем камни. Из-под ногтей выступала кровь.

---

[1] Перевод Д. Самойлова.

Зачем он шел? Он хотел видеть, понять, осознать до конца, что несет с собой коммунизм для этой ветхозаветной библейской страны.

Он видел еще кишлаки, где поголовно все жители были с зобами, он видел, как собирали урожай с поля, которое можно было все прикрыть большим одеялом. И это поле почти висело над бездонной пропастью.

Он проходил по оврингам. Эти висящие над пропастями переходы он проходил, чтобы очутиться на перевале, а внизу открывалась долина такой красоты и очарования, что она потом снилась по ночам, вставала, как мираж, никогда не уходила из памяти.

Он проходил всюду, где потом действовали и жили его герои. Он все видел сам, все испытал, все осмыслил».

Первопроходчик в выжженной солнцем пустыне, превращенной на рубеже двух пятилеток в плодородную Вахшскую долину, Бруно Ясенский и в искусстве стал одним из первооткрывателей необжитых «материков». Отвечая своим романом «Человек меняет кожу» на жгучую потребность литературы освоить художественно актуальную тему социалистического строительства, он решал ее на во многом новом для русской прозы инонациональном материале. И то и другое органично вписывает роман Ясенского в контекст развития советской литературы 30-х годов, выражает главное направление ее творческого поиска, ее ведущий исследовательский пафос.

Вспомним «Соть» Л. Леонова и «Гидроцентраль» М. Шагинян — они появились как раз в то время, когда вынашивался замысел романа «Человек меняет кожу». Вспомним «Время, вперед!» В. Катаева, «Большой конвейер» Я. Ильина — их появлением были ознаменованы 1932—1933 годы, когда писался и печатался роман Ясенского.

И почти одновременно с ним уже создавались в те же годы романы И. Эренбурга «День второй» и «Не переводя дыхания», и уже «люди из захолустья» обретали свою «вторую жизнь» под пером А. Малышкина...

Роман Бруно Ясенского «Человек меняет кожу» стоит в ряду этих произведений, он близок им не только погруженностью писателя в напряженные будни социалистического строительства или патетическим выражением пафоса и героики творческого, созидательного труда, но даже многими формальными сторонами эпического повествования, которое делает своими сюжетно-композиционными границами действительную хронологию стройки, не чурается в ее изложении открытой гражданской публицистики, нередко стремится,— не умаляя, разумеется, при этом значения писательского вымысла и фантазии,— к фактически достоверному,

порой даже очерково-документальному изображению людей и событий.

В. Катаев писал о романе «Время, вперед!»:

«Я хотел, чтобы «Время, вперед!» несло на себе печать эпохи, я хотел, чтобы моя хроника, мобилизуя современного читателя, сохранила свою ценность и для читателя будущего, являясь для него хроникой как бы исторической».

То же самое мог бы сказать о своем романе и Бруно Ясенский: ведь он также создавал в нем хронику современной эпохи, зная, что она должна и будет иметь значение исторического документа. Эта хроникальная оснащенность романа стала едва ли не самой сильной его стороной или во всяком случае разработанной с бо́льшим художественным совершенством, чем внешне оформляющие повествование авантюрно-детективные элементы сюжета, как ни увлеченно отстаивал их сам Бруно Ясенский в речи на первом писательском съезде.

От нее идет, в частности, углубленное внимание писателя к сугубо техническим проблемам строительства оросительной системы на Вахше, к специфически производственным конфликтам, которые отзываются в романе обилием статистических сводок и инженерных расчетов, многостраничными диалогами-спорами или описаниями сцен, с протокольной подчас сухостью воспроизводящих ход заседаний и совещаний, собраний и митингов. Современному читателю, особенно молодому, в сознании которого Днепрогэс и Магнитка, «Уралмаш» и Харьковский тракторный стали привычной реальностью, а история их строительства отошла к «делам давно минувших дней, преданьям старины глубокой», может показаться (и порой не без оснований), что все это ускучняет роман, затягивает повествование, отяжеляет действие грузом «избыточных» сведений. Но не забудем мироощущения людей той далекой теперь поры, подчинивших свое бытие бурному темпу пятилеток и в их победной поступи непременно видевших шаги мировой революции. Каждый новый рекорд на всенародной стройке был для них продолжением героической летописи Октября. Каждая новая цифра перевыполнения плана приближала тот самый «новый мир», о котором пелось в революционном гимне. Каждый новый трактор воспринимался фактом технического перевооружения отсталой страны. «Пусть ни одна мелочь, ни одна даже самая крошечная подробность наших неповторимых героических дней первой пятилетки не будет забыта. И разве бетономешалка системы Егера, на которой ударные бригады пролетарской молодежи ставили мировые рекорды, менее достойна сохраниться в памяти потомков, чем ржавый плуг гильотины?!» — восклицал, например, выражая это мироощущение, В. Катаев.

Сын своего времени, влюбленный в «громадье» его планов, Бруно Ясенский был одержим его пафосом. «Нельзя быть поборником построения социализма и воспринимать бетонную арматуру как ручки от зонтиков, говорить о бесклассовом обществе и представлять себе паровой молот в виде изображаемого на знаменах, с приделанным к нему паровым шатуном»,— размышляет в романе один из его персонажей, «иностранный писатель, молодой член зарубежной коммунистической партии, приехавший на строительство по заданию крупной левобуржуазной газеты». (К слову сказать, Бруно Ясенский проторил дорогу на Вахш многим нашим зарубежным друзьям, вместе с ним Таджикистан посетили Вайян Кутюрье, Эгон Эрвин Киш и другие писатели.) Не так ли и сам Ясенский в процессе работы над романом «стал жадно овладевать техникой», упиваясь «сотнями колючих терминов, ставших в этой стране обиходными, как хлеб и вода»? Не забудем, что роман его повествует к тому же о преображении самого отсталого в стране края, первобытного и дикого, шагнувшего в социализм из феодального прошлого, мрачные картины которого то и дело возникают в ходе действия во всей своей жуткой достоверности. (Верный себе писатель и в них оставался документально точным, не случайны поэтому его частые ссылки на основательно изученные «первоисточники» — от корана до «Записок императорского русского географического общества» середины прошлого века.) Ведь не по асфальту дорог, а через барханы пустыни, распугивая стада джейранов, совершают у него свой путь экскаваторы «Бьюсайрус», история сборки которых и транспортировки самоходом, едва не погубившая — по провокационному навету — талантливого инженера Уртабаева («первый советский инженер-таджик»,— говорится о нем), закономерно становится сюжетно ведущей в первой части романа. Она была полна для писателя истинной поэзии творческого порыва и трудового энтузиазма, дала раскрыть новизну технической мысли и смелость инженерной идеи, способной найти решение, казалось бы, неразрешимому. Не потому ли, как писала об этом М. Шагинян, горячо приветствуя появление романа Б. Ясенского, и «нельзя забыть его экскаваторы, данные по всей книге антропоморфически, с теплотой воодушевленных существ»?

Все это, говоря грубо, «техницизм». Но он имеет мало общего с далекими от искусства технологическими описаниями в «производственных романах» конца 40-х — начала 50-х годов. Недаром так суров писатель в своем отношении к духовному предшественнику их «идеальных героев» — Еремину, который в закостенении своем («Я не поэт — порхать по горизонтам, а начальник строительства. Вижу, что у меня в наличии, и рассчитываю, что

могу с этим сделать») оказывается не только нравственно убогим человеком, но и негодным руководителем стройки.

Равным образом, и целеустремленный, жизнеутверждающий пафос повествования не имеет под пером Бруно Ясенского ничего общего с той приснопамятной «бесконфликтностью», которая в романе вообще и в «производственном романе» в частности всегда была сродни облегченному, опримитивленному взгляду на действительность, вызванному боязнью беллетриста заметить тернии на пути. Отнюдь не из желания устлать этот путь лаврами, но только из широты своего авторского взгляда на жизненный материал повествования исходил Бруно Ясенский («блестящий политический трибун-памфлетист»,— говорила об этой особенности романа М. Шагинян), когда, не чураясь романтической патетики, поднимал до всемирно-исторического масштаба даже самые деловые, самые будничные факты строительства оросительной системы на Вахше, которая должна была вскоре превратить истомленную зноем пустыню в хлопковые поля: в них угадывал он размах революционной энергии масс, в них видел реальное воплощение творческих возможностей социализма.

Вернемся в этой связи еще раз к образу зарубежного писателя, в раскрытии которого — в отличие от множества других персонажей, плотно населяющих роман, но, к сожалению, не в одинаковой мере наделенных ярким «лица необщим выраженьем» (совершенное, без издержек, искусство индивидуализации придет к Ясенскому позже — в романе «Заговор равнодушных»),— идейно-эстетическая концепция повествования проступила, пожалуй, наиболее обнаженно и выпукло. С нескрываемой симпатией и дружелюбием воссоздает Ясенский этого героя. И в то же время нет-нет да и прорвется в авторском отношении к нему едва уловимая, не без скрытого лукавства ирония. В тех именно эпизодах и сценах, когда романтическая дымка, словно розовый туман, застилает вдруг глаза зарубежного гостя, и труд строителей начинает ему представляться в одних только радужных красках. «Он видел сегодня в этом месте новый канал головокружительной глубины, осуществляемый во всеоружии новейшей техники людьми, единственно свободными в мире. В голове писателя зарождались десятки сравнений и исторических параллелей»,— замечает о нем романист.

Конечно же, величественно, конечно же, грандиозно. Но и — привычно и обыденно, как не однажды напомнит Ясенский, подчеркнув будничность происходящего даже в финальной сцене торжественного открытия головного канала. «Морозов, Уртабаев, Кирш, Кларк, забывая о гостях, взволнованные, смотрели вниз. Каждый из них, не раз, стоя в этом месте в трудные дни очеред-

ных неудач, пытался представить себе эту минуту, тогда такую далекую и недостижимую. И теперь, переживая ее наяву, каждый из них ощущал наряду с большим подъемом какую-то неуловимую нотку разочарования. То, что развертывалось перед их глазами, было бесспорно грандиозно и в то же время немножко обыденно. Вода неслась каналом, как будто так и полагалось, как будто так и было всегда. Даже им, прорывшим этот канал, казалось сейчас невероятным, что еще две недели тому назад место для каждого кубометра этой желтой бурды приходилось выгребать руками, организованными усилиями сотен людей. Хотелось чего-то необыкновенного, невозможного: чтобы из этой голой, выжженной земли, от одного ее соприкосновения с заново рожденной рекой, выстрелили сейчас, на глазах у ошеломленных людей, зеленые лезвия осоки, гибкие пики тростника или хотя бы крохотные, с мизинец, побеги самой вульгарной травки. Но земля пила воду жадными глотками и оскорбительно молчала».

И это не снижение романтики, им же самим вовлеченной в повествование, но верность правде жизни, при художественном пересоздании которой, как пророчески заметил еще Гегель, «идеалистический приступ в искусстве и поэзии всегда очень подозрителен». Чуждый этому «приступу», романист не упускает случая, чтобы показать по ходу повествования, какие поистине нечеловеческие трудности подстерегали вахшских строителей на каждом шагу, и, зная, что, как писатель, он не вправе обходить их, не раз ставит своих героев лицом к лицу с невозможным. Тем выше их трудовая победа, тем самоотверженнее героический подвиг.

Правда, углубляясь в причины, вызывающие все эти трудности, писатель не всегда оказывается точным. Объективные противоречия действительности, которые вставали на пути первопроходчиков в социалистическое завтра мира, порой обретают в романе слишком уж субъективную природу и нередко мотивируются одной лишь преступной деятельностью замаскировавшихся отщепенцев типа Немировских. Это не могло не сказаться на исследовательской основательности повествования, на сгущении красок в изображении классовой борьбы, когда линия фронта, словно бы смещаясь иной раз в сторону от реальных басмачей (сцена их кровавого набега на строительство — одна из лучших в романе), даже руководителей, инженеров и рабочих строительства разделяет на «своих» и «чужих». (Сам Ясенский вскоре осознает эту односторонность и в романе «Заговор равнодушных» предложит более верное и глубокое, мужественное и во многом даже опередившее свое время понимание трагических событий середины 30-х годов.) Но в то же время как обстоятелен писатель в воспроизведении истории борьбы за доброе имя Уртабаева, как

нескрываемо саркастичен по отношению к каждому, кто оказался скор на неправый суд, и, наоборот, полон искренней симпатии к тем верным и надежным друзьям инженера, для которых вера в незапятнанность человека была сильнее всяких убедительных «улик»!

Этот неослабный мотив веры в человека — в лучших своих произведениях советская литература никогда не изменяла ему,— эта несгибаемая убежденность в неограниченности его героического потенциала, жизнедеятельных, творческих сил и возможностей в полифонии идейно-нравственного звучания романа «Человек меняет кожу» выступают ведущими. Они дают писателю и тот ключевой образ повествования, который подсказал ему название романа. «Мы — поколение, уничтожившее капиталистическое общество, чтобы войти в социалистическое,— пока что меняем кожу. Это массовый и болезненный процесс. Изменились отношения между людьми, между людьми и вещами, между людьми и государством. Расширились масштабы каждой отдельной личности, старая кожа капиталистических отношений лопнула. Мы меняем ее на более просторную, в которой нам легче дышать. Это только первый шаг к тому коммунистическому обществу, где человек сбросит с себя наконец, как шелуху, всякую кожу условностей, обретая впервые во всем ее объеме свою атрофированную индивидуальность»,— говорит комсомолка Полозова в споре с американским инженером Кларком, который мыслит себе человека в узких и непременно регламентирующих его личность границах, поставленных обществом: «Границы наших возможностей, отмеренные нам обществом,— это и есть та вторая кожа человека, из которой не выпрыгнешь. Попытки выпрыгнуть из нее кончались всегда катастрофой. Выпрыгивающий внезапно терял свое место в мире и, не обретая другого,— новой кожей в несколько дней не обрастешь,— летел вниз».

Так обозначились в начале романа исходные позиции его главных героев, чтобы затем, в развитии повествования, не раз еще открыться нам в своем непримиримом противостоянии. Но каждый раз инженер Кларк будет шаг за шагом отступать от своих принципов. «Живя в нашей стране, нельзя быть посторонним наблюдателем»,— предупреждает его Полозова. И действительно: сама жизнь втягивает Кларка в свой бурный водоворот, выносит на стремнину, и, находясь на высоте ее вспененного гребня, он жадно постигает в новых, непривычных для него измерениях не только окружающих людей, но и самого себя. Средний обыватель-буржуа «меняет кожу», «господин» становится «товарищем», сторонний очевидец «русского эксперимента» — его непосредственным участником, который — куда только девалось его

былое расчетливое «благоразумие»! — в критический для стройки момент добровольно поднимается в кабину экскаватора и сверхурочно трудится в ней так же спокойно и деловито, как спокойно и деловито спускаются в котлован комсомольцы, пришедшие ликвидировать прорыв ударной работой. «Американский инженер, залезший ночью на экскаватор, чтобы работать всю смену простым драгером,— такое Андрей Савельевич видел впервые.— Рассуждая нормально, это была тоже «штучка», но она не исчерпывалась простой иронической улыбкой в глазу. Она нарушала всю азбуку. И Андрею Савельевичу было не по себе. Он чувствовал то, что, вероятно, должен чувствовать верующий, трудолюбиво и набожно проведший жизнь, которому вдруг в последнюю минуту, после соборования, поп сказал по секрету, что никакого бога нет». Легко понять растерянность и недоумение старого прораба. Не одного его — весь мир удивлял и поражал в те годы социализм не только своими невиданными темпами и рекордами, но — и это главное — своей гигантской массовой переделкой человека.

Конечно же, это был нелегкий процесс. Слишком много наслоилось веками на человеческой душе, слишком тяжелый груз вынесла она с собой из прошлого, независимо от того, цивилизованным буржуазным или варварским феодальным было это прошлое. «Комаренко,— повествует романист об одном из своих героев,— не воспринимал людей как нечто готовое и данное. Он видел их в процессе их длинного становления, со всем грузом их социальной биографии. Люди проходили перед ним, как товарные поезда, обросшие на очередных станциях длинной цепью вагонов. Он осматривал их безошибочным взглядом,— простой стрелочник на пути, ведущем в социализм,— осматривал и пропускал дальше; редкие, те, которые не в состоянии были туда войти, сворачивали на запасной путь, в ремонт; очень редкие — в тупик, в утильсырье».

Не этим ли «стрелочником» видел себя и сам писатель, когда требовательно и взыскующе вглядывался в своих героев, по крупинке, по черточке собирая то новое, чем обогатились их характеры, увиденные в процессе крутой и суровой ломки. Ведь, по сути, не одному Кларку, но почти каждому из них приходится по-своему «менять кожу», чтобы стать вровень с эпохой. Начальнику строительства Морозову, чтобы понять бессмысленность подавления в себе высокого чувства любви, и парторгу Синицыну, чтобы принять на себя вину за близорукое и черствое равнодушие к судьбе близкого, живущего рядом человека. И следователю Кригеру, который сам выносит себе смертный приговор за то, что злоупотребил своими служебными правами. И главному инженеру Киршу, чей драматизм духовного поиска ведет от скеп-

тического неприятия революции («Я слышал вокруг себя речи и лозунги, но не видел фактов, которые были бы способны меня убедить. Меня возмущала расточительная неэкономность революции: я видел, как сегодня бессмысленно разрушают то, что завтра надо будет отстраивать заново. Я видел, как правильные и хорошие идеи превращались на практике в карикатуру благодаря неумелости рук, принявшихся за их осуществление. Мне претил этот социализм по-азиатски») к осознанному ее утверждению. И многим другим, главным и эпизодическим героям романа, которым коммунистическое будущее, как это предвидел Маркс, открывает «подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека» и потому означает «полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства достигнутого развития возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человечному»[1].

Выявляя это возрождение человеческого в человеке, Бруно Ясенский далек — примечательная, во многом даже новаторская черта романа! — от распространенной в его время поэтизации добровольного ригоризма и сознательного альтруизма, которыми порой обременяли себя люди (вспомним леоновского Увадьева), принимая аскетическое самоотречение личности за служение революции. Не трагической ли жертвой этого заблуждения, которое оказалось подобным узким, не по «размаху шагов саженьих» путам, предстает в романе Валентина Синицына, в чьей жизни «общее дело» стало «слишком общим», неспособным дать даже «тот минимальный процент удовлетворения, на который еще можно жить»? Нетрудно понять героиню (ведь понять — не значит простить), если ее жизненная неустроенность и духовное смятение обрушиваются на мужа, парторга Синицына, всего лишь «как новая, непредвиденная нагрузка», если в своих лихорадочных попытках встретить не образцово-показательного, не стандартно-добродетельного («Все у нас кругом очень уж, понимаешь ли, выдержанные, стопроцентные, даже матом друг друга не покроют, а обязательно цитатой из вождя»,— сетует она негодяю Кристаллову), а просто живого человека, способного помочь ей найти себя, она в нескончаемо «длинные сутки грохота, духоты» слышит одно и то же, без конца повторяемое «косматое слово: хлопок». И так всюду, с отчаянием думает Синицына,— негде укрыться, некуда убежать: «Какая разница? Новые зоны. Новый пароль, склоняемый с воодушевлением незнакомыми людьми. Вместо хлопка — хлеб, потом чугун. Какая разница?» Что они ей, эти слова-знаки, если в своем душевном непокое она утрати-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. «Из ранних произведений», Госполитиздат. М., 1956, с. 588.

ла ту ясность понимания жизни, которую давала ей раньше гражданская война, когда «все было удивительно просто: победить или погибнуть», когда «слово «сомнения» вызывало... снисходительную улыбку» и начиналось «на букву «М»: мелкобуржуазные сомнения»! Жизнь усложняется, а с ней усложняется и духовный мир человека, который сегодня не довольствуется в своих законных требованиях к жизни тем, что удовлетворяло его вчера. И уже не на букву «М» начинается для него слово «сомнения»... «Все подвергай сомнению»,— было любимым девизом Маркса...

Жизненная, исполненная подлинного драматизма ситуация, раскрытая так, как требовала того правда эпохи! Вина пришедшей к самоубийству Синицыной для писателя вне сомнения. Но столь же очевидна для него и вина окружавших ее людей, которые оставались глухи к ней как раз тогда, когда пробудившаяся в героине человеческая личность обретала свое гражданское самосознание. Так, обратившись в своем романе к по-новому выдвинутой социализмом проблеме личности и общества, Бруно Ясенский искал ей и новое художественное решение, далекое от социологического шаблона, от общего, безличного взгляда на человека. Не только человек, убеждает писатель, ответствен перед обществом, но и общество перед человеком. И именно свободное выявление каждой индивидуальности, полное раскрытие каждой отдельной личности ведет, по мысли романиста, к духовному освобождению всех, к сознательному творчеству народа.

В этом состоят смысл и пафос многих массовых сцен романа, усиливающих главное направление писательского исследования жизни. В произведении, повествующем о преображении Востока, «восточная экзотика» волнует Бруно Ясенского меньше всего. Она «внешнее, несущественное», как поразившие Кларка музыка и танцы дехкан, возвращающихся с хошара «Вы знаете, что такое хошар? — разъясняет ему Полозова истинное значение происходящего.— Крестьяне из отдаленных кишлаков пришли помогать совхозу. Хотели оплатить им трудодни — отказались. Говорят, пусть район построит нам за это школу. Обещали прийти и на окучку и на сбор. Вы понимаете, что в этой стране, где еще до двадцать шестого года байство и муллы вели за собой большую часть дехканства,— это целая революция»...

Обобщая опыт своей работы над романом «Человек меняет кожу», Бруно Ясенский говорил с трибуны первого писательского съезда: «Быть советским писателем, значит — не только владеть таким ослепительным материалом, каким не располагал еще ни один писатель ни одной страны и эпохи. Это значит — впервые в истории словом, доведенным до накала пламенной идеей коммунизма, активно переделывать мир». Этой революционной пере-

делке мира и служил роман «Человек меняет кожу», проникнутый плодотворным стремлением писателя увидеть и раскрыть революцию в самых главных ее свершениях — в преломлении через новый строй мыслей и чувств человека, ставшего строителем социалистического общества.

4

Той же глубокой верой писателя в нового человека и тем же несгибаемым убеждением в безграничности его творчества на земле был рожден и следующий роман Бруно Ясенского, «Заговор равнодушных», датированный 1937 годом. Писателю не суждено было увидеть его напечатанным. Незаконченный, этот роман остался в наследии Ясенского той самой недопетой песнью, о которой он говорил в своем последнем, написанном в 1938 году, суровом и мужественном стихотворении, во имя долга перед эпохой даже принимая на себя бремя несуществующей вины — трагическое заблуждение, которое не ослепило, однако, писателя, не отняло веры в тот день, когда справедливость восторжествует над беззаконием:

«Поют города, голоса их стройны,
Звенят провода, как в походе поводья.
И только мой голос не слышен сегодня
В громовом концерте огромной страны.
. . . .
Но я не корю тебя, Родина-мать,
Я знаю, что, только в сынах разуверясь,
Могла ты поверить в подобную ересь
И песню мою, как шпагу, сломать.
Что ж, видно, не много создать мне дано,
И, может быть, стань я с эпохою вровень,
Мое громогласное «я не виновен!»
Услышано было б моею страной.
На стыке грядущих боев и коммун
Оборванной песни допеть не успел я,
И образы вянут, как яблоки спелые,
Которых уже не сорвать никому.
Шагай, моя песня, в знаменном строю,
Не плачь, что так мало с тобою мы пожили.
Бесславен наш жребий, но раньше ли, позже ли —
Отчизна заметит ошибку свою».

Недописанная рукопись романа уцелела чудом и вместе с вдовой писателя прошла через лихие превратности судьбы. (Историю — не побоимся громкого слова — самоотверженного спасения романа автору этих строк довелось услышать от самой А. Берзинь.) Однажды рукопись едва не погибла: вода, затопившая в половодье землянку, размыла строки, и каждую страницу — труд, занявший не один месяц,— пришлось восстанавливать заново. Впервые опубликованный в 1956 году журналом «Новый

мир», роман «Заговор равнодушных» и в незавершенном своем виде стал заметным событием в литературе, яркой страницей ее истории, вернув одним и открыв другим читателям художника большого и смелого дарования, честного и проницательного взгляда на жизнь. Всем напряженным драматизмом сложных коллизий этого романа писатель-гуманист возвышал в нем свой голос против произвола и беззакония, хотя их истоки и не были ему до конца ясны, осуждал атмосферу взаимной мнительности и недоверия, породившую кощунственное убеждение, что человек даже «в семейной жизни обязан сохранить известную долю настороженности и критицизма». И всей остротой политической направленности повествования предупреждал о том, какими неисчислимыми бедствиями грозит миру фашизм, готовясь к своим крестовым походам. «О, теперь я напишу книгу!.. Это будет страшная документальная книга. Она откроет глаза всему миру! Она разрушит вконец заговор равнодушных! Я знаю, это мы — вот я и все те, кто, как я, чуждался политики, кто пытается еще сейчас соблюсти преступный нейтралитет,— повинны в катастрофе, которая постигла Германию! Я так и озаглавлю мою книгу: «Заговор равнодушных». Я докажу им, что только с их молчаливого согласия возможно это беспримерное торжество низости, тупоумия и злодейства! Они увидят и ужаснутся! Весь мир, все мыслящие люди пойдут на питекантропов облавой и загонят их в клетку!»—восклицал в этом романе молодой ученый-антифашист Роберт Эберхардт, ставший в дальнейшем жертвой варварского насилия в Дахау. Но его страстный призыв не пропал вместе с ним. «Фашистская язва исчезнет с лица земли в тот день, когда будет разбит заговор равнодушных, когда тысячи людей перестанут оказывать поддержку палачам одним фактом своего нейтралитета. Ни одного мыслящего трудового человека вне антифашистского фронта!..» — почти его же словами говорит на интернациональном митинге в Париже рабочий-коммунист Эрнст Гейль. Всем образным строем своим роман обличал равнодушие, звал к борьбе. Он учил ненавидеть, чтобы любить и верить.

Эта любовь и вера, которые питали творчество Бруно Ясенского, сродни горьковской любви и горьковской вере в «непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью». Потому так близок и дорог его яркий талант нам сегодня, потому так высоко то место, которое занимает его наследие поэта, драматурга и прозаика в истории польской и советской литератур.

В. Оскоцкий

ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поезд медленно причалил к платформе. Сразу из всех его пор хлынули люди и, обгоняя друг друга, стремительно побежали к выходу. Кларк переждал, пока схлынет первая волна, взял в каждую руку по чемодану и вышел на перрон.

Большие часы показывали десять утра.

Очутившись на ступеньках вокзала, он поставил чемоданы, неодобрительно посмотрел на вертевшегося поблизости оборванного парня, зачарованного ослепительной желтизной чемоданной кожи (в вагоне предупреждали, что на вокзалах немилосердно обворовывают доверчивых иностранцев), и, распахнув пальто, достал бумажник. На листке русскими буквами был написан адрес гостиницы. Кларк, не отходя ни на шаг от чемоданов, жестом подозвал носильщика и, передав ему записку, показал на единственное такси.

Однако, прежде чем подоспел носильщик, более счастливые уже завладели такси, и только минуту спустя носильщик вернулся на подножке пролетки, запряженной тощей рыжей лошадью, похожей на скрипку. Извозчик взвалил чемоданы на козлы и стегнул лошадь. Скрипка издала странный басовый звук, махнула костлявым грифом и засеменила вдоль площади.

Кларк, рассевшись в непривычно узком экипаже, снял кепку, подставляя теплому ветру рыжеватые волосы, нагладко приутюженные к черепу. Недавняя досада рассеялась, не оставив следа, и он с веселым лю-

бопытством рассматривал свой фантастический экипаж, площадь, перспективу моста и тень каменной триумфальной арки — гигантский лук, пронзенный улетающей в бесконечность стрелой проспекта. На арке шестерка вздыбленных коней, запряженных в колесницу, мчалась из города, вот-вот готовая сорваться на звонкую гладь проспекта.

Пролетка неторопливо пересекла тень арки, и Кларк, окинув взглядом своего рысака и торжественно возвышавшийся зад возницы, подумал, что его пролетка, запряженная скрипкой, есть не что иное, как эта поднебесная колесница, сорвавшаяся в реальность. Он рассмеялся во все горло, к немалому удивлению извозчика, застывшего с поднятым вверх смычком.

Они въехали в город рысью.

По обеим сторонам проспекта бежали дома. От природы сутулые и низкорослые, они упрямо поднимались вверх на обтесанных ходулях лесов. Это не была улица, как все другие улицы мира — незыблемые овраги домов. Это смахивало скорее на веселый парад физкультурников: дома двигались, на их плоские плечи карабкались новые этажи. Тротуары были завалены строительным материалом, и люди суетились на тротуарах и лесах, обрызганные солнцем, как известью.

По рельсам, змеящимся вдоль проспекта, с певучим звоном пробегали трамваи, и с площадок вагонов, словно из набитых корзинок, свешивались грузные гроздья пассажиров.

На перекрестке, у палатки, стояла длинная очередь: мужчины в белых рубахах и женщины в весенних ситцевых платьях. Ситцевые платья женщин трепетали на ветру, казалось, что трепещет и извивается вся очередь, а прямоугольник палатки с развевающимся хвостом очереди походил издали на большой бумажный змей, готовый взлететь при первом порыве ветра.

Кларк повернул голову. Мимо него прожужжал жирный, поблескивающий автобус и грузно присел в ста шагах, у края большого сквера, зеленым четырехлистником вкрапленного в асфальт площади.

Посредине площади, у двух больших досок, черной и красной, с непонятными надписями и цифрами, толпились люди. Черная доска напоминала огромные

черные доски перед биржами, где отмечают последний курс акций. Но толпившиеся перед ней люди в рабочей одежде совсем не походили на круглых, разгоряченных биржевых дельцов.

Еще у себя в Нью-Йорке Кларк много слышал и читал о социалистическом соревновании, о красной и черной досках, о фабриках, принадлежащих рабочим. Но только здесь, проезжая мимо этих гигантских досок и толпившихся около них людей, он подумал впервые, что вся эта необъятная страна, по которой мчался он со вчерашнего вечера, есть, по сути дела, одно огромное акционерное общество населяющих ее людей. Чтобы не быть раздавленной, она должна любой ценой опередить все другие государства — акционерные общества нескольких крупных дельцов, распределивших между собой мир и не выносящих конкуренции. На этих черных и красных досках котировались акции небывалого в мире предприятия. Каждая надпись на черной доске означала, что акции этой страны упали на один пункт. И если бы черная доска заполнилась вся до краев — это означало бы смерть страны, это был бы некролог, а если б заполнилась красная — это означало бы победу. Кларк понял, с каким напряжением должна смотреть на эти доски отчаянная страна, вооружившая против себя все акционерные общества вселенной. Он заволновался от ощущения азарта грандиозного состязания. Ему захотелось остановить пролетку, посмотреть сегодняшний курс акций, но возница стегнул лошадь и миновал сквер.

Они опять въехали в русло проспекта. Высоко над головами протянулось красное полотнище плаката, превращая улицу в триумфальную арку. Навстречу, четко отчеканивая шаг, шел отряд красноармейцев без винтовок, в ярко-зеленых фуражках. Красноармейцы пели бойкую песню с повторяющимся припевом. В припеве ударение падало на краткое, односложное слово, возвращавшееся несколько раз подряд, как упругий теннисный мяч, передаваемый в воздухе ловкими ударами ракеток.

Извозчик, невозмутимо восседавший на козлах, вдруг повернулся, указывая кнутом на красноармейцев, подмигнул Кларку и сказал на интернациональном языке:

— Гепеу!

Кларк с любопытством покосился на поравнявшийся с ним отряд.

На расстоянии шага проходили четверками молодые голубоглазые парни в зеленых фасонных фуражках, похожих издали на марширующий газон. Они пели дружно, с задором. Выкрикивая «о!», они широко открывали рты, и тогда их рты превращались в цепь удивленных красных «о». Отряд напоминал чем-то дружную спортивную команду, возвращавшуюся с удачного матча.

По тротуарам шло много штатских — мужчины в пиджаках нараспашку, с рыжеватыми портфелями, с усами цвета портфелей, и девушки в коротких юбках и белых стандартных блузках. Сами того не замечая, они подтягивались, подавались грудью вперед и, бодро помахивая портфелями, приноравливали шаг к ритму бойкой красноармейской песни.

Кларк обернулся, чтобы посмотреть еще раз, как отряд будет проходить под красной аркой. От пробегающего морозцем по коже интернационального слова «Гепеу», от весеннего газона фуражек, от бойкого «о» красноармейской песенки ему стало вдруг неудержимо весело, как недавно у вокзала, когда сорвавшаяся с каменной арки шестерка коней оказалась скрипкой, запряженной в пролетку.

Они выехали на площадь, пересеченную бульваром. С бульвара, как из открытой форточки, дул мягкий весенний ветер. Бульвар лежал у ног, как доллар,— зеленый и шуршащий. На бронзовом постаменте стоял бронзовый кудрявый человек в старомодном плаще и в недоумении смотрел на возвышающуюся против него церковь цвета земляники со сливками. По карнизу церкви, на высоте второго этажа, ехал небольшой автомобиль-каретка с внутренним управлением. По-видимому, это была реклама советской автомобильной фирмы. У автомобиля, вделанного в фасад церкви, вертелись колеса. Кларку реклама понравилась. Он прикинул, насколько дешевле обошлось бы Ситроену, вместо того, чтобы выписывать свою фамилию электрическими лампочками во всю высоту Эйфелевой башни,— просто поставить свой автомобиль на фронтон Нотр-Дам. Это было бы куда эффектнее! И Кларк рассмеялся уже в третий раз за свое короткое путешествие.

На стыке улиц стояла другая церковь, поменьше, с низким фасадом, не приспособленным для автомобиля. Она напоминала старую торговку со скрученным на макушке пучком.

Пролетка опять въехала в проспект, прорезанный красными полотнищами плакатов. Навстречу неслись звуки духового оркестра, минорные, замедленные, не гармонирующие ни с весенней бодростью солнечного дня, ни с деловитостью прохожих. Вдоль тротуара подвигался красный катафалк, запряженный парой лошадей. На катафалке стоял гроб, но ярко-красного цвета. Это несомненно были похороны, хотя красный ящик походил скорее на большую игрушечную коробку, у которой вдруг отскочит крышка и из коробки выпрыгнет бородатый дядя на пружинке. Красный ящик удивительно не сочетался с представлением о гробе, обязательно ассоциировавшемся у Кларка с трауром, черным крепом, жестяными венками и распущенными космами лент.

За гробом шло человек пятнадцать музыкантов, по виду рабочих. Музыканты деловито пожевывали золотые крепделя труб, и трубы гудели минорными звуками марша. Музыканты сосредоточенно смотрели в ноты, приколотые к спинам идущих впереди. Почему-то казалось, что, сдуй сейчас ветер крошечные нотные листки с этих походных пюпитров, музыканты спутают такт и непременно сыграют что-нибудь веселое.

За музыкантами стройными четверками, как на демонстрации, шли рабочие. Их было много, они образовали длинное шествие. Один из рабочих первой четверки нес модель электрической лампочки больших размеров. Другой — красную дощечку с какими-то цифрами. По красной дощечке с цифрами можно было судить, что хоронят рабочего, по-видимому, с электрозавода, одного из тех, кого здесь называют ударниками.

Поравнявшись с рабочими, несшими модель лампочки, Кларк вспомнил, что в этой стране на могилах нет уже крестов и, видимо, этому рабочему, давшему стране рекордное количество электрических лампочек, поставят вместо памятника модели его продукции. Кларку эта идея показалась правильной. Ставят же на могиле разбившегося летчика пропеллер погибшего вместе с ним самолета. В той стране кладбища долж-

ны выглядеть как мастерские после окончания рабочего дня с вывешенными на дощечках показателями соревнования.

Рабочие проходили длинной колонной. Было удивительно, что простого рабочего хоронят с таким почетом, словно знаменитого полководца, за катафалком которого адъютанты несут на подушке его шпагу и ордена, добытые в боях. Но Кларк сейчас же сам себе возразил: эта страна, для которой слово «не победить» — синоним слова «умереть», и есть одно необъятное поле битвы. Каждого, кто нанес хоть одну черточку на красной доске победы, она вправе считать своим героем.

Кларк не верил в социализм. Он считал богатство единственным стимулом человеческой изобретательности и энергии. Но он был спортсмен. Ему нравилась эта страна, затеявшая небывалый эксперимент и отстаивавшая его наперекор всему миру. Поэтому он приехал сюда работать, принимать участие в осуществлении эксперимента, в который не верил. Его увлекала красота небывалого состязания одного со всеми, и в этом состязании он не хотел оставаться на стороне всех.

(Так думал он, Кларк. Ему нравилось чувствовать себя независимым, без предрассудков. Ему казалось, что он поступает очень смело и благородно, и это льстило его чувству собственного достоинства. Он упускал из виду кое-какие житейские детали, которые по мере отдаления от Америки начинали казаться ему второстепенными. Такой деталью было то, что вот уже четыре месяца как он потерял работу и напрасно предлагал свои услуги многочисленным фирмам, ибо в Америке господствовал кризис. Об этом писали в газетах. Об этом писали мудрые ученые и философы. Они не писали о Джиме Кларке, который не может найти работу, они писали научным языком, а на языке науки это называлось перепроизводством технической интеллигенции. Они писали целые трактаты, как избежать этого и других перепроизводств, ибо имелись и другие: перепроизводство рабочих, перепроизводство товаров. Товары сжигали и топили в море — это было, конечно, очень простое решение. Но рабочих нельзя было ни сжечь, ни утопить — их было слишком много. Их нельзя было даже экспортировать. И ученые не

видели выхода. Джим Кларк тоже не видел выхода. Он знал, что можно утопиться самому. Это было бы, конечно, очень простое решение. Но Джим Кларк не хотел приравнивать себя к товару. От этого страдало его достоинство. Поэтому при первом же подвернувшемся случае он предпочел экспортировать себя в другое полушарие, в страну, где не было перепроизводства технической интеллигенции, перепроизводства рабочих и перепроизводства товаров и на которую за это очень сердились американские ученые, философы и газеты.)

Пролетка въехала на квадратную площадь — гладкую полированную крышку, из которой, как одинокий гвоздь, торчал каменный обелиск. Обелиск не понравился Кларку. В особенности каменная девица, прислонившаяся к подножию. Девица напоминала всех каменных Муз и Свобод, рассеянных по всем площадям мира. Ее греческая туника явно не соответствовала местным климатическим условиям. Зимой девица непременно должна была страдать хроническим насморком.

Над небольшим красным домом, выдвинувшим, как броненосец, черные жерла громкоговорителей, развевался большой красный флаг. По другую сторону площади Кларк увидел темно-серый трехэтажный куб, на фасаде которого русскими буквами стояло слово «Ленин», единственное русское слово, знакомое Кларку по начертанию. Гигантский куб заставил его забыть о девице, приколоченной за тунику к постаменту каменным гвоздем обелиска. Эта геометрическая глыба с высеченным на ней словом, одинаково звучащим на всех языках мира (на обоих полушариях нет человеческого рта, который хоть раз в жизни не выговорил бы этого слова),— это было лучше и величественнее всех статуй и памятников из мрамора и металла.

Проспект круто уходил вниз, и пролетка впервые покатилась без помощи костлявой лошадки. В памяти Кларка запечатлелся серый дом с большим географическим полушарием над входом. У Кларка промелькнула мысль, что для большинства жителей мира эта шестая часть земного шара остается такой же неизведанной, как левое полушарие луны: вряд ли о той стороне луны писалось больше фантастических небылиц. Он вообразил себя на минуту жюльверновским геро-

ем, попавшим на неведомую планету, и эта мысль приятно защекотала его самолюбие.

Пролетка пересекла широкий проспект. Глазам Кларка открылись зубчатая стена Кремля и крутой подъем, ведущий на бесконечную площадь, с которой могла соперничать только площадь Согласия. Площадь с разбега обрывалась на горизонте, как длинный торжественный стол президиума, с возвышающимся на том конце одиноким канделябром Василия Блаженного. Кларк узнал его по репродукциям.

И действовала ли тут усталость от дороги или оптический обман, только Кларку внезапно, вопреки истинам школьной географии, показалось, что весь его путь от Нью-Йорка сюда вел по непрестанно восходящей кривой полукруга, пока не привел к этой кульминационной точке. Там дальше, за перспективой этой необъятной площади, начинается уже спуск. У Кларка было такое ощущение, будто он заехал на вышку мира. На секунду перехватило дыхание и показалось, что воздух сильно разрежен.

Пролетка резко повернула за угол и остановилась. Они стояли перед гостиницей.

В Москве Кларку пришлось задержаться недолго.

В гостинице он застал Баркера и еще одного инженера. Оба ждали его, чтобы вместе улететь завтрашним самолетом.

Баркера Кларк знал еще по Америке. Они работали вместе в штате Калифорния, где Баркер руководил прокладкой гудронированной дороги. Баркер слыл отъявленным лентяем. Под свою леность он подводил принципиальную базу. Он считал, что люди вообще напрасно шляются слишком много по свету, вместо того чтобы сидеть дома; строить для них дороги — это значит приучать их к бродяжничеству. Он неохотно передвигался с места на место, и прокладка дорог, которую ему поручали, всегда наталкивалась на исключительные объективные препятствия, вроде особо неблагоприятной почвы.

Кларк невзлюбил Баркера. Во время работы в штате Калифорния у них вышел резкий конфликт. С этих пор Баркер переменил нерентабельную профессию и специализировался по экскаваторам. В СССР он

приехал в качестве представителя фирмы Бьюсайрус, поставлявшей партию экскаваторов для одного из среднеазиатских строительств. Кларк удивился — куда занесло такого лоботряса, но вспомнил про кризис и больше не удивлялся. Он подумал только, что для этой страны, каждый день существования которой является новым мировым рекордом, люди такие, как Баркер,— просто балласт.

Другого инженера звали Мурри. Волосы его были серы, словно на них осел табачный дым, медленно струящийся из трубки. Мурри казался молчаливым и деловитым и сразу понравился Кларку.

Страна, в которую они ехали, называлась Таджикистан и отдалена была от Москвы на пять тысяч километров. Кларк никогда не слыхал о такой стране, знал только, что они должны были ехать в Азию. Страна, как пояснил Мурри, лежала на границе Афганистана и Индии, на крыше мира, и являлась одной из национальных республик в составе Советского Союза.

Баркер добавил, что в этой стране вообще нет никаких дорог, ездят в ней на ослах и на самолетах. Что есть там только горы и джунгли, где водятся тигры и бандиты, которых для экзотики называют басмачами. Что басмачи охотятся специально за европейцами и убивают их в среднем по двадцать штук в день. Что женщины ходят закрытые и открывать их нельзя, если не хочешь получить ножом меж ребер от любого последователя Корана. Что для уважающего себя американца нет даже, как в Турции, ни кафе, ни публичных домов, нет ничего, кроме жары в 80°, от которой виски закипает во фляжке, и малярийных комаров особой системы, изобретенных итальянским врачом Попатаччи. Вообще, черт знает, зачем понадобился им там хлопок, когда могут его покупать в Америке.

Днем Кларк ходил с Мурри по городу, зашел в один из наркоматов и вечером вернулся в гостиницу голодный и усталый. В гостинице сказали, что машина с аэродрома приедет за ними в три часа ночи.

Баркер решил, что спать не стоит, и предложил спуститься в ресторан поужинать, потанцевать и послушать музыку. Они переоделись и сошли вниз.

В большом зале ресторана за белыми кубиками столов сидело много народа: мужчины в черных костюмах и женщины в вечерних туалетах. Кларку после

прогулки по городу, кишевшему весенне-яркой толпой, они напоминали мух, облепивших куски пиленого сахара. Мухи говорили преимущественно по-немецки, кое-откуда доносилась английская речь. У женщин были рыбьи глаза. Женщины по-рыбьи открывали рты, выпуская папиросный дым, и дым пузырьками поднимался к потолку.

Оркестр играл танго. Посередине залы, между столиками, качалось несколько пар. Баркер заказал вино и пошел танцевать.

Кларку и зал и публика показались несуразными на фоне этого города, где за окнами, как фронт солдат, выстроилась зубчатая стена, и приподнятая гигантская площадь в свете рефлекторов белела сейчас, как ледник, готовый вдруг медленно поползти вниз, сметая на пути дома. Он спросил Мурри, все ли рестораны выглядят здесь, как этот.

Мурри рассмеялся, и смех его, профильтрованный через трубку, долго висел над столиком клубком табачного дыма.

Мурри сказал, что этот ресторан для иностранцев. Здешние жители сюда почти не заходят,— у них есть свои фабрики-кухни, свои столовые и свои клубы. Этот ресторан они устроили для иностранных специалистов и туристов, которые им нужны (одни возят свои технические знания, другие — иностранную валюту). Поэтому они с ними предупредительны и любезны, но относятся к ним с еле заметным презрением,— приблизительно так, как американские антрепренеры к кафрам, привезенным в нью-йоркский зоологический сад и не привыкшим жить в каменных квартирных коробках: чтобы они не сбежали, им строят на воздухе, в саду, специальные шалаши, как на родине в Африке.

Кларк заметил, что сравнение не вполне верно: кафров заставляют жить в соломенном шалаше — хотят они или не хотят — не потому, что они не могут привыкнуть жить в американских квартирах, а потому, что публика платит деньги именно за эту экзотику.

Мурри согласился, но добавил, что, возможно, есть и такие, которым больше нравится жить в шалаше.

— Так вот, этот ресторан и есть наш шалаш, построенный для нас, приехавших из буржуазного климата и не желающих привыкать к местному. Они отвели нам сто квадратных метров паркета и сто кубомет-

ров протангованного, проспиртованного воздуха и сказали: «Вот вам ваша родная почва и вот вам ваш европейский климат, раз без него не можете. Дышите им по вечерам до одури, если потом будете лучше работать, а за вашу валюту мы купим несколько машин». Так вот и живем в этой гостинице, точно под стеклянным колпаком, защищенные от резких перемен местного климата. Надо сказать: люди здесь настолько тактичны, что не сходятся глазеть на нас и на наш шалаш.

Кларк посмотрел на качающиеся пары. Ему казалось странным то, что говорил Мурри, и он спросил удивленно, не пробуют ли вести пропаганду среди иностранных специалистов. Ведь в Нью-Йорке говорят, что многие из американцев остаются в СССР и даже вступают в партию.

Мурри ответил не сразу. Он смотрел перед собой тусклыми, неподвижными глазами, похожий сейчас на факира, боящегося спугнуть длинную змейку дыма, выползшую из трубки.

— Пропаганду? — сказал он наконец, не вынимая изо рта трубки, и спугнутая змейка мгновенно исчезла.— Очень умеренно. Показывают все, что захотите, водят по фабрикам, по клубам. Если заинтересуетесь, охотно помогают вам ознакомиться. Можете ходить куда угодно,— вход везде открыт. В этом, пожалуй, и состоит вся пропаганда. Рабочие быстро втягиваются. Свыкаются, чувствуют себя дома. Даже мастера... Говорил я тут со многими,— не думают возвращаться. Что же хотите — это страна рабочих. Мы — из другого теста. Представители враждебного класса, как здесь говорят. Надо долго жить и работать, чтобы допустили вас в свою частную жизнь. Но ценить и оплачивать работу умеют, и знающий человек пользуется у них большим уважением.

Музыка перестала играть. Явился Баркер и с места в карьер сообщил, что круглая блондинка предложила проводить ее домой,— наверняка что-нибудь бы вышло, если б не этот проклятый Таджикистан, куда несут их черти.

Мурри тихо посмеивался в трубку. Кларку вдруг стали противны пухлое самодовольное лицо Баркера, его голос, растяжимый, как резина, и весь этот зал,

действительно похожий на стеклянный колпак с копошащимися внутри мухами. Он встал, сказал, что пойдет спать,— после дороги чувствует себя усталым,— и быстро покинул ресторан.

В комнате было неуютно и душно, пахло гостиничной скукой, и предметы, как во всех гостиницах мира, блестели ненатуральным блеском, отполированные тысячью прикосновений.

Кларк вышел на балкон. Напротив коренастый трехэтажный дом из обожженного кирпича, с полукруглыми впадинами окон, бросал на площадь молнии рефлекторов, ввинченных в лоб фасада. Над входом виднелась надпись: «Революция — вихрь, отбрасывающий назад всех, ей сопротивляющихся». Надпись эту объяснил Кларку Мурри утром, когда они выходили пройтись по городу. Вдали, над зеленью бульвара, вздыбилась зубчатая стена Кремля.

Направо, у подъема, ведущего на гигантскую площадь, возвышалось причудливое здание, похожее на средневековый замок с двумя остроконечными башнями. Третья башня посредине, срезанная наискось вровень с крышей, выделялась на квадратном лице фасада, словно огромный бутафорский нос. Под насупленными бровями карнизов два мощных рефлектора горели, как глаза, зажженные лихорадкой. Замок загораживал собой напирающую на него сверху гигантскую площадь. Самой площади не было видно, от нее шло белое, полярное сияние рефлекторов.

Внизу, в ресторане, музыка играла танго, заунывно мяукало банджо.

Кларк закрыл дверь балкона.

— Африканский шалаш у подножия ледника,— подумал он вслух и, быстро раздевшись, зарылся с головой в крахмальные простыни.

Когда его разбудили, на дворе было по-прежнему темно. Баркер и Мурри, одетые по-дорожному, кончали укладывать чемоданы. У Кларка трещала голова, он вылил на нее кувшин холодной воды, быстро оделся и сошел вниз.

У подъезда ждал автобус аэропорта, он повез их вдоль уже знакомого проспекта. На перекрестках пустынных улиц одинокие милиционеры в зеленых шлемах казались поставленными здесь на ночь, чтобы указывать путь созвездиям.

Автобус проскочил мимо хорошо запомнившейся Кларку триумфальной арки и, проглотив длинное шоссе, высадил их перед зданием аэростанции.

Пока в канцелярии взвешивали чемоданы и пассажиров, выяснилось, что в Ташкент летит их четверо: четвертый пассажир был русский, светлоусый и разговорчивый.

Узнав, что его спутники — иностранцы и инженеры, русский всеми способами пытался выразить им свое расположение. Он немедленно повел их на край аэродрома, где возвышались стены неоконченного большого здания и лежали груды строительного материала. Потом — к большим трехмоторным самолетам, выстроившимся в ряд на краю необъятного поля. Он объяснял им что-то по-русски, вставляя в каждую фразу одно немецкое слово, которое он особенно упорно повторял по нескольку раз.

Баркер заключил, что это агент самолетной фирмы, который принял их за иностранных промышленников и уговаривает купить у него самолет.

Мурри тихо посмеивался в трубку и терпеливо поддакивал русскому.

Кларку было ясно, что Баркер говорит вздор, но ему не хотелось вмешиваться в беседу. Он уже знал по опыту своего путешествия от Негорелого до Москвы, что русский, увидев иностранца, хотя бы и не говорил на его языке, обязательно захочет ему показать достижения своей страны,— то, что, по его мнению, должно больше всего поразить приезжего. Этот несомненно старался им объяснить, какие самолеты выучилась строить его страна.

Пришел человек с флажком и повел пассажиров за собой. Одномоторный аэроплан ждал, готовый к отлету. Это был тоже самолет советской конструкции.

Баркер ворчал, выражая свое недоверие советским машинам, и сожалел, что не поехали поездом. Пропеллер описал круг и превратился в серый гудящий диск. От внезапного ветра у всех затрепетали и вздыбились горбом макинтоши.

Когда все уселись в кабинке, человек внизу махнул флажком, и самолет медленно потрусил по направлению к старту. Баркер пробурчал,что, хотя он и неверующий, не мешает перекреститься: на эти русские машины никогда нельзя...

Самолет круто повернул, оглушительно зажужжал и помчался во весь опор, неуклюже подпрыгивая на выбоинах. Внезапно, словно от оползня, земля аэродрома бесшумно осунулась вниз, и Кларк увидел под собой жестяную крышу дома. Через отверстие в крыше шел пар.

Самолет начал круто набирать высоту, и вскоре город внизу заколыхался, как поднос с фантастическим тортом в руках пробегающего гарсона. Самолет поворачивал на юго-восток. Русский кричал что-то Кларку на ухо, указывая пальцем в окно, но слова его, не долетая до уха Кларка, утопали в шуме мотора.

Город медленно уползал назад, ощетинившись, как еж, иглами строительных лесов.

Внизу, на необъятном прилавке земли, тщательно разложенные рукой человека, красовались лоскутья полей, похожие на образцы материй на прилавке магазина. Кларк ясно различал куски полосатенького шевиота огородов, зеленый габардин прорастающей ржи. Чем дальше от Москвы, тем отрезы становились крупнее. Русский что-то беспрестанно кричал, указывая пальцем в окно. Кларк уловил слово «колхоз». Он внимательно смотрел в окно, но не увидел ничего, и решил, что эти большие отрезы, видимо, и есть колхозы.

Пейзаж становился однообразным. Мурри развернул газету и погрузился в чтение. Кларк хотел было уже последовать его примеру, когда внезапно земля внизу заходила, как беспокойное море, зеленый вал полей вздыбился почти перпендикулярно, чтобы сейчас же отхлынуть. Минуту спустя самолет вприпрыжку катил по ровному лугу и остановился вблизи невзрачной деревянной будки.

Это была Рязань. По сути дела, Рязани не было, ее не было видно. Был большой зеленый луг. На краю луга, у будки с бидонами, стоял одинокий красноармеец, облокотившись на винтовку.

Кларк и Мурри пошли по зеленой луговине. Им хотелось курить. Земля под ногами чуть-чуть колыхалась, ноги ступали как по упругому матрацу. Издали самолет был похож на неуклюжего серого овода. Два маленьких человека лили в него ведрами бензин. Кларк вспомнил бабочек, пойманных в детстве, на которых он лил из флакона эфир. Бабочки немедленно умирали, и пыльца на крыльях оставалась нетронутой.

Серый овод, напоенный бензином, зажужжал, готовясь к отлету. Кларк и Мурри заторопились обратно.

Два часа спустя, в большой комнате аэростанции в Пензе, за большим столом они жадно ели яйца всмятку и выкурили про запас по три папиросы. Баркер, которого рвало всю дорогу, начиная с Рязани, угрюмо глотал чай. На ступеньку самолета он взошел как на электрический стул: со стоическим отчаянием. Механик подставил ему ведро. Баркер спросил у Мурри, долго ли до следующей посадки. Мурри ответил, что следующая посадка будет приблизительно тогда, когда ведро будет полно,—такова средняя пассажирская норма.

Баркер больше не спрашивал, потому ли, что обиделся, или потому, что рот у него был занят: как только поднялись, его опять начало рвать.

Внизу, среди небрежно расположенных полосок материи, длинной лентой сантиметра извивалась Волга. Бесчисленные диски воды, застывшей в ложбинах, казались сверху крупными перламутровыми пуговицами. До самой Самары тянулась эта вселенская портняжная.

В Самаре они узнали, что вследствие сильного встречного ветра самолет опоздал и долететь до следующей посадки в Оренбург уже не успеет. В Оренбурге смеркается в шесть часов. Они переночуют в Самаре — для ночных перелетов линия в этом году еще не приспособлена. Узнали они это от небольшого сероглазого летчика, который завтра должен был повезти их дальше на другом самолете. Летчик говорил по-английски.

Они приняли душ, переменили воротнички и сели ужинать. К концу ужина появился летчик.

Кларк и Мурри засыпали его вопросами.

Летчик рассказал, что они пролетели уже больше трети пути: из Москвы в Ташкент всего три тысячи пятьсот километров. Работы по организации линии были проведены в течение шести месяцев. После маленькой паузы он с дружелюбной улыбкой добавил, что в Америке организация линии той же длины продолжается три года.

Кларк и Мурри улыбнулись.

Летчик, приняв их улыбку за выражение недоверия, немедленно привел название американской воз-

душной линии, точную длину в километрах, фирму самолетной компании, фамилию оборудовавшего линию инженера и точные сроки начала и окончания работ... Говорил он об этом с любезной, немножко виноватой улыбкой, словно извиняясь: «Я знаю,— это нетактично со стороны советских инженеров и рабочих, что они сделали то же самое в шесть раз быстрее, но что же поделаешь, если это действительно так!..»

Он рассказал с той же виноватой улыбкой, что с весны будущего года линия будет уже оборудована для ночных полетов. Перелет тогда будет производиться без ночевки: Москва — Ташкент — восемнадцать часов. Путь их интересен тем, что дает возможность посмотреть с птичьего полета карту великих работ по изменению русла Волги. Что касается пустыни, над которой они будут пролетать завтра, то проекты ее орошения разрабатываются, хотя еще окончательно не утверждены. Кстати, слыхали ли господа американцы что-нибудь об авторе этих колоссальных проектов?

Нет, они не слыхали о нем ничего.

Так вот, автор их, инженер, и несомненно гениальный инженер, разработал несколько своих проектов еще до революции и в 1915 году представил их царскому правительству. Проекты были расценены как выдумки сумасшедшего, а так как автор добивался их осуществления, его на всякий случай посадили в сумасшедший дом, где, впрочем, продержали недолго и выпустили как безвредного маньяка.

Потом пришла революция, за ней гражданская война, голод, разруха. Инженер продолжал разрабатывать свои проекты: орошал пустыни, поворачивал течение рек, осушал моря, переделывал климат. Советская власть в тисках блокады, с парализованным транспортом, билась над тем, чтобы засеять хоть часть освоенных земель. Инженер предлагал оросить под сев сотни тысяч гектаров безводных пустынь.

Инженеру пытались растолковать несвоевременность его работ, переключить его на разрешение насущных посильных задач. Инженер настаивал на своем. Тогда, чтобы проверить, не сошел ли он случайно с ума, его отправили в психиатрическую больницу. Врачи выслушали гигантские проекты и решили, что инженер страдает манией больших масштабов.

Инженер продолжал писать докладные записки, в которых излагал суть своих проектов. Из докладных записок явствовало с потрясающей очевидностью, что перевернуть ту или иную реку хвостом вверх не только можно, но совершенно необходимо, и казалось вообще непонятным, почему это не сделано до сих пор. Свои докладные записки инженер размножал на гектографе и рассылал по всем советским учреждениям.

Так прошел восстановительный период, и Страна Советов вошла в период реконструктивный. Пятнадцатый съезд партии голосовал за план великих работ, за немедленное построение социализма. Инженер имел счастье жить в эпоху великого переселения народов из капитализма в социализм.

Инженера вызвали к Сталину. Инженер, волнуясь, изложил свои очень простые, очень очевидные проекты. Проекты были включены для выполнения во вторую пятилетку.

Инженер возвращался из Кремля с висками, гудящими, как радиоприемники. Он понял в первый раз: для того чтобы выполнить его очень простые, очевидные проекты, нужен был этот надоедливый грохот пулеметов, мешавший ему работать по ночам, эти годы недоеданий в каморке, отапливаемой стульями, эти пятнадцать лет упорного, напряженного труда целой страны, в котором он не принимал никакого участия.

Инженеру отвели гулкий, просторный особняк. Прикомандировали ассистентов, дали техников, чертежников, ирригаторов. Пустые залы особняка запрудили чертежными столами, наполнили пулеметным треском ударного взвода машинисток. От особняка вверх, до государственных плановых органов, и вниз, к спокойно спящим в своих вековых корытах рекам, побежали провода.

В большом зале по паркетному полу, от большой доски к столу с развернутыми на нем чертежами, в серой рабочей куртке, ходит инженер, росчерком мела на доске изменяет течение рек, чертами каналов прорезает безводные пустыни, движением руки рассеивает тучи и перемещает огромные воздушные массы. Беспомощный маньяк в рамках капитализма, бесплодный фантазер в отрыве от масс, совершавших революцию,

могущественный победитель природы — с тех пор как стал рупором класса, переделывающего мир...

Так или приблизительно так говорил сероглазый летчик. Потом он виновато улыбнулся, как человек, который поймал себя на том, что все время говорит о своем здоровье и о своих делах, не расспросив ранее о здоровье и семье собеседника. И, желая, по-видимому, исправить эту оплошность, спросил:

— Ну, а как же там у вас, в Америке? Как кризис?

Это было сказано таким тоном, будто он спрашивал: «Как поживает ваш дядя в Америке?»

Минуту все помолчали. Ответил Баркер:

— У всех вас здесь преувеличенное представление об американском кризисе. Конечно, у нашего государства в данный момент есть некоторые затруднения, никто этого не отрицает. Но Соединенные Штаты слишком солидное и богатое предприятие, и нет основания опасаться, что оно не выйдет из этих затруднений в самое кратчайшее время. И вообще напрасно вас здесь так радует этот «кризис». Когда у вашего государства были неполадки и население его помирало с голоду, Соединенные Штаты, вместо того чтобы злорадствовать, помогали вашим голодающим. Теперь, когда благодаря нашей помощи вы изжили свои затруднения,— забыв об этом, начинаете злорадствовать над нашими.

Летчик все еще улыбался.

— Мне кажется, в данный момент немножко преувеличиваете вы,— сказал он наконец.— Мы очень благодарны господину Гуверу и американским гражданам за помощь, оказанную ими в свое время нашим голодающим, но размеры этой помощи были весьма незначительны, и вы, вероятно, сами не верите всерьез, что мы ликвидировали голод только благодаря Америке. Граждане нашей страны помогали, в свою очередь, как вам известно, голодающим горнякам Англии во время их забастовки. Несомненно, если ваши рабочие и фермеры очутятся в подобном положении, рабочие нашей страны окажут им бо́льшую помощь. Разве безработица в Америке не увеличилась бы, если бы промышленность отдельных ваших штатов не работала, почти исключительно выполняя наши заказы? Как видите, наше государство — единственный сейчас крупный заказчик вашей тяжелой индустрии, платя-

щий наличным золотом,— спасает десятки и сотни тысяч американских рабочих от безработицы. Не так ли?

Кларку показалось, что летчик хочет добавить: «А безработные инженеры, приезжающие к нам работать?..» Но тот не сказал больше ничего.

— Я приехал сюда работать по моей специальности, а не спорить о политике, это меня не касается,— заявил раздраженно Баркер.— Я думаю, вообще пора уже спать. Спокойной ночи, господа.

Мурри, с интересом слушавший рассказ летчика, сказал убежденно:

— Партия много теряет, что держит вас на этой работе. Вы прекрасный рассказчик и прирожденный агитатор. Это нерационально, что вам приходится всю жизнь проводить в воздухе, где вы обречены на принудительное молчание.

Летчик внезапно стал серьезным:

— Вы ошибаетесь. Во-первых, я беспартийный...

Мурри и Кларк недоверчиво переглянулись.

— Не верите? Какой же смысл мне скрывать? Понимаю, у вас, в Америке... Но у нас же партия, как вам известно, легальна. Уверяю вас, я беспартийный. И, быть может, сам об этом часто жалею. Во время гражданской войны в партию не вступил, сам не знаю почему. Считал, что за советскую власть можно драться и вне партии. А сейчас... знаете, как трудно допускают в нашу партию интеллигентов, не имеющих перед революцией каких-нибудь крупных заслуг. А у меня, ну какие же у меня могут быть заслуги? Партия от того, что я нахожусь вне ее рядов, конечно, ничего не теряет. Я не оратор, у меня нет серьезного политического образования, к тому же моя профессия обрекает меня, естественно, на хронический отрыв от масс. А профессию менять в моем возрасте уже поздно. Вот полетаю еще года два-три. В один прекрасный день врачебная комиссия меня забракует как негодного... сердце быстро изнашивается... Поставят меня тогда где-нибудь в степи начальником аэропорта — флажком помахивать. Будет много свободного времени, возьмусь за самообразование. В воздухе это не так дает себя чувствовать, там думает за меня мотор и есть компас, показывающий направление. А на земле другой компас нужен. И выходит, для партии я, по этой простой причине, не подхожу...

Когда Кларка разбудили, было еще почти темно. От земли шел густой пар. Самолет ворчал, готовясь к отлету. Казалось, это ржет земля, запаренная дневным пробегом.

Мурри, Баркер и русский стояли уже у самолета, взъерошенные и продрогшие, с поднятыми воротниками макинтошей. Полосатая «колбаса» на шесте, указывающая направление ветра, беспомощно свисала, как пустой рукав однорукого. Летчик, похожий в своем костюме на водолаза, возился у мотора. Все сосредоточенно молчали.

Через минуту самолет уже летел над спящим городом, врезываясь, как трактор, в непочатую целину ночи. На горизонте внятно обозначалась белая межа рассвета. Однообразный гул мотора укачивал ко сну. Кларк не заметил сам, как вздремнул, прислонив голову к стене кабинки.

Когда он проснулся, был уже день. Внизу, на расстоянии десятка метров от машины, простирались бесконечные снеговые поля, все в буграх и впадинах. Здесь и там тянулись ввысь неподвижные фонтаны снега, готовые вот-вот задеть за крыло самолета. Кларку показалось явственно, что летит он над Северным полюсом.

Он протер глаза, пытаясь убедить себя, что он все еще дремлет, но причудливый снеговой пейзаж не исчез,— наоборот, самолет опустился еще на несколько метров, готовясь, очевидно, к посадке на этой снеговой равнине.

Кларк оглянулся на своих спутников. Мурри, втиснутый в угол, задумчиво смотрел на бесконечные белые поля. Баркер равнодушно блевал, наклонившись над ведром. Русский спал безмятежным сном, опустив голову на грудь.

Кларк с удивлением убедился, что альтиметр на моторе показывает 1800 метров. Он посмотрел еще раз в окно и внезапно в проталине между двумя буграми, словно через глубокую прорубь, увидел далеко-далеко внизу зеленый лоскут земли. Они летели над лавой облаков.

Проталины между буграми начали появляться все чаще. Зеленая кожа земли на дне белых колодцев колола глаза своей неестественной яркостью. Кларк

увидел внизу узенькую змейку реки, притаившуюся между кочками деревьев.

Несколько минут спустя сплошная масса облаков внезапно оборвалась и огромной белой льдиной уплыла назад. Некоторое время самолет летел над однообразной зеленой равниной. Постепенно он стал снижаться. Кларк почувствовал, что желудок подступает к горлу. Его начало мутить.

Он увидел под собой город, аккуратно расположенный, как пасьянс на вращающемся столике. У Кларка закружилась голова. Он решил больше не смотреть и открыл глаза только тогда, когда самолет коснулся земли. Земля от прикосновения колес долго вздрагивала, как кляча от назойливого овода, пока не застыла в покорном равнодушии.

Через открытую дверцу кабинки ворвался свежий ветер. Кларк грузно соскочил на траву. Земля под ногами ходила, как палуба. Он прошел несколько шагов, широко расставляя ноги, и тяжело сел на землю. В стеблях травы гудел ветер. Кларк вытянулся навзничь и плотно прильнул к земле, впитывая всем телом блаженное ощущение устойчивости. На мгновение у него промелькнула мысль, что неподвижность эта иллюзорна — земля тоже вращается вокруг солнца. При одной этой мысли его начало мутить.

Минуту он лежал, ни о чем не думая, пока его не окликнул Мурри. Кларку стало неловко: Мурри и летчик могли подумать, что его стошнило. Он вспомнил свои соболезнующие остроты на Баркером. Ему ни за что не хотелось показаться смешным. Он быстро встал, закурил папиросу, хотя папиросный дым в эту минуту вызывал в нем отвращение, и нарочито небрежным шагом направился к аэростанции.

Мурри и русский спутник уже с аппетитом уплетали неизменные яйца всмятку. Баркеру, смятому и обвисшему, как воздушная «колбаса» в безветрие, сердобольная хозяйка приготовила салат из помидоров. Кларк охотнее всего заказал бы себе такой же салат, но свободным тоном попросил яйца и проглотил их с отвращением.

Пришел летчик и любезно предложил ватные тампоны, пропитанные парафином, охраняющие уши от шума мотора. Он шутливо посоветовал пассажирам

распрощаться с Европой, так как Оренбург — их последняя посадка в этой части света. За Оренбургом начинается Азия.

За Оренбургом начиналась Азия. Кларку, как он внимательно ни всматривался, не удалось заметить никакой четкой границы, никакого пограничного столба, отделяющего друг от друга две страны света. Бесконечная равнина, начавшаяся задолго до Оренбурга, становилась все более желтой и однообразной. Она походила теперь на необъятный стол, покрытый рыжей клеенкой. Разбросанные на нем редкими кучками черные караваи юрт и первые верблюды, похожие на русские чайники, прохаживающиеся по столу на четырех тонких ножках, величественно потрясая крышкой горба, убедили Кларка, что Европа осталась позади.

Пейзаж и усталость от предыдущего этапа действовали усыпляюще. Кларк, следуя примеру русского, похрапывающего от самого Оренбурга, уснул на этот раз крепко и спал, должно быть, долго, так как проснулся свежим и бодрым.

Желтая равнина выглядела еще пустыннее. Внизу бесконечным извилистым кабелем тянулось полотно железной дороги. Вот через пустыню ползет поезд. Кажется, будто изрезанный на куски дождевой червь, таща с трудом свои обрубки, ползет к какому-то перевязочному пункту. Вот он добрался до пункта, до станции. Ему отказали в перевязке, и он пополз дальше, к следующей остановке, и так от станции до станции, через всю пустыню.

Словно лопнувшие пузыри на поверхности вскипевшей каши, на кожуре пустыни вскакивали кратерообразные прыщи. Местами кожура переливалась всеми цветами радуги, похожая на застывшую лаву. Казалось, самолет летит над луной. Такой именно изображают ее поверхность в учебниках космографии.

Но вот знакомая груда спичечных коробок — город, а за городом — белый спасательный круг для заблудившихся самолетов — аэродром.

В Актюбинске сошел русский. На аэродроме его ждала машина. Прощаясь со всеми, он особенно признательно жал руку летчику, сел в ожидающий его форд и уехал, издали приветливо помахивая кепкой.

— Говорит, что за три месяца первый раз выспался по-настоящему,— пояснил Кларку летчик.— Это красный директор Актюбстроя, большого завода, воздвигаемого здесь, в степи.

Кларк не мог понять, зачем понадобилось в этой пустыне строить завод и что этот завод будет здесь перерабатывать. Летчик, к которому он обратился с вопросом, заметил, что пустыня еще впереди. Актюбинск — центр одного из самых хлебных районов Казахстана. Земля здесь лежала нетронутой веками, а начали в ней ковырять — нашли залежи фосфоритов, асбест, слюду, медную руду — все что хотите...

В домике аэропорта пассажиров ждал уже накрытый стол. За стол село их пятеро. Пятый был штатский, средних лет, с расстегнутым воротом рубахи. Лицо его и шея были коричневы от загара, даже волосы как будто загорели: просвечивавшие в них серебряные пряди, не вызывая представления о седине, казались просто испепелившимися на солнце.

Летчик взял с подоконника кусок известняка, расколол, понюхал и протянул Кларку. От известняка исходил терпкий запах нефти. Летчик, смеясь, заговорил о чем-то с начальником аэропорта. Кларк разобрал повторявшееся несколько раз слово «факир». Он тщетно пытался стереть платком с рук приставший к ним нефтяной запах и вопросительно смотрел на собеседников.

*

пауза первая

О ФАКИРАХ

Широким разливом течет степь. Черными медузами плывут по ее поверхности одинокие юрты. Жирной рыбой плещутся в траве рыжие суслики, брюхатые, как кувшины. Протяжно свистят суслики, подражая ветру. и прислушивается к их свисту ветер, затаившийся неподвижно в стеблях травы.

Широкой песчаной дельтой раскинулся город Актюбинск. Песчаными реками текут улицы в низеньких глиняных берегах. Медленно проплывают навьюченные телеги, запряженные верблюдами. Широкой дельтой уходит город в степь, в тишь, в желтое марево.

Побежали по степи одинокие мохнатые всадники, спазмами великого страха подкатили к горлам аулов. Появилась над степью невиданная птица. Тень ее громадных крыльев скользит, покрывая всадника с лошадью, и ее гортанный клекот, обгоняя коней, перехлестывает через отдаленные становища.

Прилетела птица к городу Актюбинску. Три раза облетела его кругом и села в степи. И видели пастухи, притаившиеся в траве, как слез с птицы небольшой человек, как подобрал его подоспевший автомобиль и увез в город...

Летчик весь день носился над степью. Через полгода по этим местам должна была пройти большая воздушная линия. Вслед за летчиком шли уже люди, чтобы выбрить в степи круглые лысины площадок и аэродромов. Летчик летал весь день и устал, как лошадь. Ему хотелось спать, а ночевать было негде. Тогда к самолету подъехал секретарь райкома и забрал летчика ночевать к себе.

Секретарь был холост. В доме его пахло одиночеством: и эмалированный чайник, и чашки, и запыленные стекла окон смотрели неприветливо-хмуро, не приласканные женской рукой. Секретарь три года безвыездно просидел в степи, пожелтел и порос колючкой. Всю дорогу секретарь молчал и тихо посвистывал. Передразнивая его, вдогонку автомобилю ядовито посвистывали суслики.

За ужином секретарь вдруг разговорился, и летчику стало приятно, что надо сидеть и слушать, не перебивать и не разговаривать самому: слова, накопленные за три года, пошли шипучей струей, вытолкнув плотную пробку молчания. Секретарь говорил о своем районе, говорил цифрами, и это были цифры астрономические. Выходило, что фосфоритов его района хватит на весь Союз, что нефтью можно мир затопить.

Летчик молча оглядывал комнату. Вся комната завалена книгами — и все о нефти. Откуда в пустыне нефть? Не свихнулся ли парень от безлюдья?

Не выдержал летчик, спрашивает:

— Это вы читаете?

— Я,— говорит секретарь и смотрит на летчика упорно и сурово.

У летчика от этого взгляда холодок по спине пробежал.

— И что же, все прочли? — говорит, чтобы прервать непонятную тишину.

— Да, все прочел, но только мне это мало помогает.

И начал секретарь жаловаться: центр ему не сочувствует, хочет разведки в его районе прекратить, а он упорствует, что нефть есть.

Летчик из деликатности слушает: пусть душу отведет на новом человеке.

Говорили так часов до двух. У летчика от усталости в глазах двоится. Секретарь, видно, заметил, извиняется:

— Замучил я вас совсем... Ну, ложитесь...

И сам в той же комнате устраивается.

Легли. Летчик уже засыпать стал, вдруг окликает его секретарь.

— Спите?

Тот вздохнул, говорит:

— Нет.

Сам думает: «Видно, не придется поспать, уж больно у собеседника состояние нервозное».

Секретарь на постели приподнялся, слышно — скрипят доски.

— Мне,— говорит,— вот проклятые факиры покоя не дают.

— Факиры? Почему факиры?

— Интересуюсь я их наукой. Пришлось мне одного в цирке наблюдать. Занятнейший тип. Он себя всего иголками протыкал, гвоздь в ладонь загнал, английскую булавку в язык воткнул — и ничего, понимаете, ничего. Почему это такое?

— Собственно,— пытался сонно растолковать летчик,— это довольно просто: сила внушения, говорят. Человек может заставить себя совсем не чувствовать боли. Ведь самое страшное — это вид крови. А, говорят, есть в теле такие места, где кровеносных сосудов меньше. Факиры и колют там, где знают заранее, кровь не выступит.

Слышит, сосед шарит по подоконнику.

— Нате,— говорит, протягивая что-то в темноте.

— Что?

— Нате шило. Попробуйте-ка, кольните, или давайте я лучше вас кольну, посмотрим — выступит или нет.

Летчик тоже приподнялся на постели.

— Помилуйте, прежде чем колоть, надо ведь знать,— я же не факир...

Чиркнул спичкой и закурил, хотя ему не до курева было.

И до утра не спал. Слышит: сосед тоже не спит, ворочается. Черт его знает, что ему еще в голову взбредет.

Утром секретарь сам отвез летчика на поле. Прощается, руку трясет:

— В Москве обязательно вас разыщу. После посевной сейчас же поеду.

Полетел летчик своей дорогой и забыл про Актюбинск, про факиров и про секретаря.

...Полгода спустя по новой линии из Москвы в Ташкент вылетел первый пассажирский самолет. Самолет вел тот самый летчик: степь знал наизусть, с дороги не собьется. Когда самолет опустился в Актюбинске, летчик вспомнил свое первое знакомство с этими краями. За обедом разговорился с начальником аэропорта. То да се, что слышно в районе.

— Знаете,— говорит начальник,— этой весной нефть у нас нашли. Огромные богатства!

— Не может быть!

— Честное слово!

Пришлось летчику как раз заночевать в Актюбинске. Узнал, что секретарь райкома тот самый. Взял лошадь и поехал к нему в город, прямо на квартиру. Увидел его секретарь, руку трясет, кричит:

— Есть нефть!

— Рассказывайте,— говорит летчик,— толком, что и как.

Рассказывает.

Поехал он тогда, после посевной, в Москву. Там его сначала и слушать не хотели. И так по его настоянию уже три раза приезжали в Актюбинск инженеры производить разведки, искали, бурили и ничего не нашли. Говорят ему в центре: «Приснилась вам нефть, и деньги государственные на ненужные разведки разбазариваете. С равным успехом можете вертеть дырку на Северном полюсе. Гроша больше не дадим».

Так и ушел он ни с чем.

Но не уступил. Две недели в Москве проторчал, до самого председателя ВСНХ дошел.

— Есть нефть, и больше никаких! Сделайте последнюю попытку: дайте мне двух инженеров-нефтяников по моему усмотрению, я вам докажу, что нефть будет.

Отправили бы его, вероятно, ни с чем, но ввязался в это дело красный директор Актюбстроя. Его как раз назначили на строительство. Тот заинтересовался, поддержал где следует. Дали им в конце концов такое разрешение.

Выбрал секретарь одного инженера-нефтяника русского и одного студента Горного института — казаха. Привез их с собой в Актюбинск.

Посидели ребята на месте, посчитали, вымерили, стали бурить. Нефть забила фонтаном.

Инженеры-то прежние, оказалось, были вредители, к одной шайке все принадлежали. Сговор у них был: вертеть там, где нефти не могло быть.

— Помните,— говорит летчик,— вы меня ночью про факиров спрашивали? Я вас тогда за сумасшедшего принял и спать с вами в одной комнате боялся.

Расхохотался секретарь:

— Да ты мне, дружище, в эту ночь весь секрет раскрыть помог. Колют, говоришь, там, где знают заранее,— кровь не выступит. Тут меня и осенило. Я раньше знал, что дело не чисто, да уверенности у меня не было. А ты меня в эту ночь окончательно утвердил...

Широким хлебным разливом течет степь. Черными медузами плывут по ее поверхности одинокие юрты. Тонкими фонтанами, как вода из ноздри кита, брызжет над степью нефть. Серой паклей стелется над равниной дым из одинокой трубы затерявшегося в степи химического завода. Вдыхая едкий дым и сладкий запах нефти, простуженно чихают хиреющие суслики и по ночам, ослепленные фарами, шарахаются под пухлые лапы автомобилей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

(Продолжение)

Усаживаясь в кабинке, американцы заметили, что место русского, сошедшего в Актюбинске, занял штатский в рубахе с расстегнутым воротом.

Летчик спросил их, не хотят ли они проехаться «воздушным автомобилем». Все согласились, хотя никто и не знал толком, что такое «воздушный автомобиль».

Самолет поднялся и некоторое время летел на обычной высоте, потом начал быстро снижаться. Кларк подумал, что испортился мотор и они принуждены сделать посадку в степи. Самолет почти касался земли, но не садился. Внизу, на уровне колес аэроплана, бежали телеграфные столбы, густые, как палисадник. Внезапно полотно железной дороги повернуло влево и исчезло.

Самолет мчался над степью. Встречаемые изредка группы верблюдов в ужасе бросались вскачь, оглушенные гулом мотора. Пастух в меховой остроконечной шапке при виде бреющего землю самолета в панике кинулся бежать, преследуемый огромной тенью настигающей его махины, и внезапно, чувствуя ее над собой, грохнулся ниц наземь.

Степь стремительно убегала назад, как море во время отлива. Кларку казалось, что он мчится по ней на гоночной машине с быстротой в двести километров в час. Только теперь он понял, почему летчик называл этот бреющий полет воздушным автомобилем.

С разбегу они налетели на маленький городишко, раскинувший в степи свои плоские домики, похожие на кизяковые кирпичи. В городишке был сход. На площади стояло много телег, запряженных верблюдами, и топталась густая толпа людей в остроконечных шапках. При виде надвигающегося самолета верблюды понеслись с телегами в степь, семеня в исступлении, с головами, заброшенными вверх на изогнутых шеях, как четвероногие страусы. Страх одним дуновением смел толпу с площади.

Снова хлынула степь, и в отливе ее город исчез, как внезапно вынырнувший островок, захлестнутый набегающими зелеными волнами. Потом и эти волны отхлынули, и земля превратилась в одну сплошную песчаную мель.

После двух с половиной часов сумасшедшей езды они опустились на белый круг аэродрома.

Здесь они должны были переночевать. Пришел летчик. Выслушав восторженные возгласы Кларка и Мурри, он сказал шутливо, что по закону его следует

предать суду за нарушение всех правил лёта. Но пассажиры должны свидетельствовать в его пользу, так как бреющий полет дал им возможность избежать качки, которая на этом отрезке бывает особенно неприятна.

От Челкара у Кларка осталось в памяти тусклое, несуразное озеро с белыми краями, похожее на желе в фарфоровой тарелке.

За Челкаром потянулась мертвая зыбь песков, всклокоченных мелкими буграми. Это были те самые летучие пески — барханы,— которые засыпают целые караваны и селения. Когда поднимается ураган, эти курчавые пески внезапно снимаются с места и мчатся наобум, как стадо ошалелых баранов. Кларк вообразил набатный звон колоколов, привязанных к шеям скачущих в панике верблюдов, рыжее облако пыли, надвигающееся с быстротой степного пожара, сухой зловещий шелест текущего стада и вспугнутые юрты, сворачиваемые, как шатры, и убегающие в пустыню на тонких верблюжьих ногах.

Час спустя самолет летел над мертвенно гладким паркетом из голубой майолики. Это было Аральское море. Окружавшая его пустыня длинными языками песчаных кос лакала синюю влагу. Море в своей неподвижности казалось ненастоящим. Оно напомнило Кларку полированные металлические пластинки, до обмана похожие на разлитые чернила.

Вода растянулась на юг до самого горизонта, голубая и неестественная. Словно выброшенные на берег медузы, медленно растворялись в солнце и песке синие бухты, отделенные от моря непреодолимым песчаным перешейком.

Опять белая кошма[1] песков, бесконечная и скучная, как опера. В неподдающуюся пробку пустыни, закупорившую всю Азию, упорным штопором ввинчивалась извилистая Сырдарья.

Пролетев еще два этапа, самолет к двенадцати часам дня стал приближаться к цели. Зеленым островом среди желтого океана пустыни вынырнул на горизонте ташкентский оазис. Глаз, утомленный однообразной

---

[1] Войлок.

желтизной, запомнил зеленые квадраты садов, обрамленные узкой каймой арыков[1], как повторяющийся узор богатого восточного халата. Кларк отложил книгу и с облегчением смотрел в окно. На зеленом сукне садов город лежал, как недоконченная партия домино.

В канцелярии аэропорта американцев ждал работник таджикского постпредства, говоривший кое-как по-английски. Открытый автомобиль повез их вдоль широких авеню, мягко мощенных пылью и окаймленных шпалерами долговязых тополей, похожих на кипарисы. У подножия тополей весело журчали арыки. Настойчивые шпалеры зелени, провожавшие каждую улицу, и арыки, бегущие неотступно, как собаки, по обеим сторонам авто, напоминали о том, что весь этот город построен на песке, отвоеван у пустыни руками многих поколений. Сквозь скорлупу раскаленной мостовой дышала пустыня облаком неугомонной пыли Пыль длинным шлейфом тянулась за встречными автомобилями, везущими смуглых азиатов с портфелями, пухлыми, как чемоданы.

Медленно двигавшаяся арба разматывала с огромных колес своих длинный рукав дороги. На арбе безучастно дремал возница в пестром халате, посаженный туда разве для того, чтобы по сравнению с ним еще огромнее казались саженные спицы колес.

На перекрестке дорога была запружена. По улице медленно двигался караван навьюченных верблюдов. Караван уходил в пустыню под унылый перезвон болтающихся колоколов. У каждого колокола был свой особенный звук, и все они вместе сливались в какой-то несуразный заунывный джаз-банд. Земля под Кларком все еще ходила ходуном, и казалось, колышется весь город — огромный вьюк на верблюжьем горбу пустыни.

Потом, за палисадником тополей, потянулись дома из стекла и бетона, похожие на оранжереи. За стеклянными стенами вместо пальм зеленели свисавшие с потолка колпаки ламп, и качались пестрые цветы на узорчатых тюбетейках людей, склонившихся над столами.

Кларк подумал, что в этих оранжерейных учреждениях с названиями, непонятными, как шифр: ОСПС,

---

[1] Оросительные канавы,

КП(б)УЗ, ОГПУ,—управляющих течением верблюжьих караванов, арыков и стад, за письменными столами с распростертыми на них картами вырабатываются и стратегические планы генерального наступления на пустыню. И весь этот город-оазис есть не что иное, как ставка многомиллионной армии, осаждающей несметную зыбь песков, заставляя ее отступать шаг за шагом туда, к неподвижному омуту голубой майолики, чтобы наконец сбросить в море.

Дома обрывались и появлялись вновь. Многие не вылупились еще из шелухи лесов. Осада предвиделась долгая, и ставка обосновывалась и укреплялась на завоеванных позициях по всем правилам осадной войны.

Вечером, после отдыха в гостинице, предупредительный работник постпредства повез американцев смотреть старый город. Автомобиль делал петли по проулкам, среди глиняных домов-шкатулок без окон (окна выходили во двор).

Это, по сути дела, не был город,—это был макет города, вылепленный из глины трудолюбивыми прадедами архитектуры. Глядя на него, становилось понятным, почему именно азиаты, не знавшие более прочного материала, чем глина, выдумали легенду о боге, вылепившем из глины макет человека.

На рассвете пришла машина с аэродрома. В маленькой канцелярии американцы застали уже русского, летевшего вместе с ними из Актюбинска.

Пришел новый летчик, посмотрел в борт-бух и о чем-то заспорил с начальником. Потом повернулся к пассажирам, указал на русского, Мурри и Кларка и жестом велел им следовать за собой. Поднялись все четверо. Летчик указал Баркеру на стул, давая понять, что один должен остаться, и показал три пальца. Кларк понял, что могут лететь только трое.

Работник постпредства не приехал, а никто из присутствующих русских не говорил по-английски.

Баркер тоже понял приказ летчика и, покраснев от возмущения, жестами дал понять, что он и не подумает остаться.

Истощив весь запас мимических средств, он набросился на Кларка и Мурри и заявил, что он один здесь не останется. Если они не могут лететь вместе, то дол-

жны в знак протеста отказаться от полета все трое и проучить эту банду за их дикие порядки, возможные только в этой дикой стране. Он упорно тыкал в нос растерявшемуся начальнику, с виноватой улыбкой разводившему руками, свой пассажирский билет и, указывая на русского, кричал по-английски, что если кто-нибудь из них должен оставаться, то пусть останется эта свинья, а разъединять их, комиссию американских специалистов, никто не имеет права.

Летчик с явным интересом смотрел прямо в рот Баркера, откуда выскакивали слова, трескучие, как шутихи, а вспотевший начальник не переставал любезно разводить руками.

Тогда молчавший до сих пор русский неожиданно для всех заговорил на приличном английском языке:

— Пожалуйста, не волнуйтесь. Я охотно уступил бы вам свое место, и никакого желания лететь туда у меня нет. Но есть соответствующий приказ, я должен лететь и лететь вне всякой очереди. Ни ваше, ни мое желание тут ничего не изменит. Самолет может взять только троих. Один из вас, господа, должен остаться и вылететь послезавтра следующим самолетом.

Баркер от удивления на несколько секунд лишился голоса, но когда смог говорить опять, все так же твердо заявил, что один не останется.

Спор затягивался. Летчик, терпеливо ждавший конца, посмотрел на часы, махнул рукой, сказал что-то начальнику и велел им всем следовать за собой.

— Почему раньше четверым было нельзя, а теперь вдруг можно? — торжественно осведомился у русского Баркер.

— Говорит, что возьмет меньше горючего и как-нибудь довезет. Обычно больше троих не берет. Перелет трудный, над горами,— ответил русский.

Баркер приотстал.

— А может, в самом деле отказаться нам от сегодняшнего полета? — немного помолчав, предложил он Мурри.— Вдруг у него не хватит горючего?

— Вам ведь предлагали это с самого начала.

Баркер промолчал, но покорно плелся за всеми к ожидающему самолету.

— Этот русский, по-видимому, крупная персона,— обратился вполголоса к Мурри Кларк.— Вероятно, кто-нибудь из правительства.

— Может быть, из ГПУ? — прищурился Мурри.

— Вряд ли. Это, должно быть, какая-нибудь популярная личность. Вы заметили, как его приветствовали на всех посадках, начиная с Актюбинска?

Мурри кивнул головой.

...В Термезе американцам, соскочившим на аэродром, показалось, что они спрыгнули на раскаленную плиту. Термометр на крыле самолета показывал 70^0. Горячий воздух прильнул к лицу, как полотенце, обмоченное в кипятке.

Русского, как и в Самарканде, встретили здесь словно старого знакомого. Кларк значительно переглянулся с Мурри.

Когда они сели опять в самолет, русский сообщил, что из-за него придется сделать небольшой крюк, это продлит на полчаса их путешествие. Самолет должен будет высадить его в Сарай-Камаре и только потом уже полетит в Сталинабад.

Кларк и Мурри ответили любезно, что это ничего не значит,— они охотно покатаются.

За Термезом самолет летел, не отклоняясь, вдоль русла Амударьи. Внизу простиралась страна из детской сказки. Земля лежала пухлая и коричневая, как пряник. В реке струилось кофе с молоком. Кофе начинало уже испаряться, об этом свидетельствовали бесконечные островки мелей.

Это была южная граница Союза. По левому берегу тянулся Афганистан. Кларк мысленно проследил путь, проделанный им за эти несколько дней, от бурых островков нерастаявшего снега на полях Негорелого до песчаных островков Аму. Это была поистине шестая часть света, наперекор консервативной географии, которая насчитывала их только пять...

На сарай-камарском аэродроме самолет встретила группа людей, среди них несколько военных в зеленых фуражках: командиры пограничных отрядов. Увидав русского, они звонко прокричали «ура», окружили его и начали трясти за руки. На американцев они не обратили никакого внимания. С разных концов аэродрома бежало еще несколько человек.

От группы отделились смуглый таджик в тюбетейке и белой русской рубахе и военный в зеленой фуражке.

Минуту они разговаривали о чем-то с летчиком, потом направились к американцам. Военный козырнул и сказал на чересчур правильном английском языке, с легким акцентом, как ему неприятно, что господа американцы не смогут продолжать сегодня свое путешествие. В районе случилась беда. Вода разрушила головной арык и затопила хлопковые посевы. Есть серьезно раненные, и самолет придется мобилизовать для перевозки в Сталинабад тех, кто нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве. Пассажиры смогут продолжать свое путешествие через день-другой, если же они не хотят ждать, то их отвезут в Сталинабад на машине.

Ни Кларк, ни Мурри, ни даже Баркер ничего не ответили. Они стояли нерешительно, щурясь от невозможного солнца, которое обухом падало на их головы. Военный и таджик в тюбетейке предложили им следовать за собой. Они пошли по раскаленной плите аэродрома. Земля под ногами дымилась клубами рыжей пыли.

В белом, оштукатуренном известью домике тонко звенели мухи. По сравнению с полем здесь было прохладно. Военный и таджик вышли, оставив американцев одних. Через несколько минут пришел красноармеец; поставил на стол три стакана, кувшин с коричневатой жидкостью и ушел. Они жадно выпили по стакану холодной кисло-сладкой влаги и сели у стола, посматривая в окно. Мурри выстукивал по столу какую-то непонятную мелодию.

На аэродроме суетились люди. На краю поля появились два красноармейца с носилками. Забинтованного человека бережно поместили в кабинку самолета. Вслед за первыми подоспели вторые носилки.

К домику, где сидели американцы, направлялась группа людей: русский из Актюбинска, военный, говоривший по-английски, три смуглых таджика и еще двое русских. Они остановились поодаль и оживленно беседовали, размахивая руками. Шпарящее солнце не производило на них, видимо, никакого впечатления.

Вошел знакомый военный и предложил американцам помыться и принять душ; красноармеец отведет их в баню — здесь, недалеко.

Мурри заметил, что им хотелось бы все-таки попасть скорее на строительство. Нельзя ли получить машину и отправиться туда сейчас же?

Военный огорчился: к величайшему сожалению, все машины мобилизованы на ликвидацию прорыва.

Кларка начинала забавлять эта неожиданная ситуация. Он успокоил военного: это ничего не значит — они будут рады ознакомиться с окрестностями.

Военный заверил, что охотно им в этом поможет, к тому же, кажется, они все трое инженеры-ирригаторы,— это очень кстати: не хватает квалифицированных технических сил, а прорыв необходимо ликвидировать в несколько дней, иначе посевам грозит гибель. Господа американцы, несомненно, захотят познакомиться с работой по восстановлению разрушенной системы и помочь своим ценным опытом.

Кларк и Мурри пробурчали невнятно что-то похожее на «само собой разумеется».

За окном русский из Актюбинска кричал что-то русскому в белом пиджаке.

— Не можете ли вы сказать, кто это такой?— спросил Кларк у военного, указывая на актюбинского спутника.

— Это? Это наш здешний главный инженер-ирригатор. Замечательный работник. Казус с ним вышел. Два года он тут проторчал. Семья у него в Москве. Поработал действительно, как лошадь, еще малярию схватил вдобавок. В прошлом году была экстренная работа,— отказался от отпуска. Наконец в этом году, шесть дней тому назад, закончив все работы, взял двухмесячный отпуск и вылетел в Москву. Как назло, на другой день после его отлета произошла беда с головным арыком. Никто из инженеров не брался ликвидировать это дело в несколько дней, а не восстановим — будет сорван весь план посевов. Ведь наш район — семеноводческая база египетского хлопка на весь Союз. Заминки тут быть не может. Он этот арык проводил, он один может с ним справиться. Послали ему вдогонку «молнию». Говорит, «молния» настигла его лишь на третий день в Актюбинске, на полпути в Москву. Прочел телеграмму, выругался неприличными словами, снял свой чемодан с самолета и через час на встречном самолете вылетел обратно в Сарай-Камар. Опять отпуск у него пропал. Ругается! Да и ничего удиви-

тельного. Два года человек семью не видел. Сам горожанин. Возвращаться с полпути с отпускными документами в кармане — удовольствие ниже среднего.

Кларк рассмеялся.

Военный посмотрел на него вопросительно.

— А мы ломали себе голову, кто это такой. На всех станциях его встречали как старого знакомого. Неудивительно, ведь за несколько часов до того он пролетел в обратную сторону...

Вошел красноармеец и отрапортовал о чем-то военному.

— Комната для вас уже приготовлена. Сможете помыться и переодеться. Идемте, покажу вам дорогу.

По дороге к ним присоединился русский инженер.

— Скажите, неужели это правда, что вы с отпуском в кармане вернулись сюда с полпути?— иронически обратился к нему Баркер, замыкавший шествие.— Вы же могли прекрасно сунуть телеграмму в карман, и никто никогда не узнал бы, дошла она до вас или нет. Будь я на вашем месте...

Русский посмотрел на Баркера и ничего не ответил.

На средине аэродрома их задержали двое запыхавшихся людей. Оба говорили возбужденно, перебивая друг друга, от времени до времени стирая пыльной ладонью пот, градом катившийся по лбу. Пыль с потом, размазанная по лицам, делала их похожими на заплаканных детей.

— Сейчас дам вам машину,— сказал по-английски военный, обращаясь к русскому инженеру.— Господа американцы хотят тоже принять участие в ликвидации прорыва! Не правда ли?

— Весьма признателен, но пока обойдусь без помощи,— оборвал русский.— Дайте мне лучше десяток красноармейцев.

Он круто повернул и пошел напрямик через поле. Военный и два запыхавшихся таджика побежали вслед за ним.

Кларк, Мурри и Баркер остались одни со своими чемоданами среди голого поля. О них, видимо, забыли. Они стояли растерянные, надвинув на нос кепки, моргая глазами от нестерпимого солнца.

Самолет злобно заворчал и, подпрыгивая, как объевшийся стервятник, пересек поле, оставив позади пу-

стые носилки. Минуту спустя он уже несся в воздухе, брызгая вниз волнами оглушительного стрекота.

Когда он стал стремительно уменьшаться и превратился наконец в серую реющую точку, американцам показалось, что последняя нить, связывавшая их с далеким внешним миром — с Нью-Йорком, Негорелым, Москвой,— вдруг натянулась и лопнула. Нелепые в своих спортивных костюмах, похожие на побитых чемпионов гольфа на поле неудачного матча, они грузно опустились на чемоданы. Пот широкими струями катился по их лицам, размывая арыки морщин.

Где-то вдали труба пронзительно протрубила сбор. По рыжему полю бежала команда красноармейцев с кетменями [1] на плечах.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Замызганный форд, фыркая и храпя, жевал сухую, шуршащую дорогу. На телеграфных проводах симметрично расселись ярко-зеленые птицы. Птицы на проволоке уезжали назад, как движущаяся мишень в непривычном тропическом тире. Впереди простиралось нескончаемое голое плато, обрамленное ровными горными хребтами.

Тропическое солнце раскаленным шлемом давило голову. Пыль пепельной пудрой ложилась на сожженные лица людей, сидевших в машине. Баркер и Мурри, с лицами цвета золы, походили на свежеоткопанные мумии, которые рассыплются в прах при первом неосторожном прикосновении.

По выбритому плато вперегонку с машиной неслись небольшие стада местных антилоп — джайранов на тоненьких ножках. Гонки джайранов с автомобилем длились до тех пор, пока джайраны, обогнав машину, не перебегали перед ее носом на другую сторону дороги и, ускакивая прочь, предоставляли путникам созерцать презрительно задранные кверху куцые хвостики.

Потом в пустоту первобытного пейзажа ворвались белые бугры брезентовых палаток, чтобы, оставшись позади, уступить место зеленым парусам оазиса, выплывающим из-за горизонта.

У въезда в город застрявший в арыке грузовик загородил путь. Шесть человек, кряхтя и матершинясь

[1] Большая мотыга.

от натуги, напрасно пытались вытащить его на дорогу. Грузовик подпрыгивал, пятился, кидался с разбегу, оглушительно жужжа, и бессильные колеса буксовали, взбивая жирную грязь.

Только два часа спустя сквозь лабиринт дувалов[1] упрямый фордик прорвался в город с торжествующим ревом сирены, и встрепенувшиеся деревья осыпали приезжих густыми брызгами тени.

Слепые глиняные мазанки обступили дорогу, как молчаливые нищие. В мазанках не было окон, на плоских глинобитных крышах не было труб, а выдолбленное в крыше узкое отверстие походило скорее на дырку в копилке, через которую милосердный аллах бросает правоверным дырявую монету своей милости. Нищенский вид жилищ не свидетельствовал о щедрости всевышнего.

Белые одноэтажные дома европейского типа, разбросанные среди зелени, говорили о том, как возникает здесь город, пробивая глиняную скорлупу кишлака[2].

В комнатах европейских домов, где разместили Кларка, Баркера и Мурри, мебель состояла из складной кровати, стола и двух табуреток. От новеньких табуреток, от свежевыстроганного пола пахло лесом, смолистым и далеким, как воспоминание.

В столовой техперсонала густо звенели мухи. Облепленные мухами копны черного хлеба шевелились, как муравейник, в седом пару дымящихся тарелок.

Комната с выстроганным полом встретила Кларка древесной прохладой. После мушиного удушья столовой она показалась сосновой шкатулкой, завезенной сюда с далекого хвойного Севера.

В шкатулку постучали. Вошел красивый таджик, с лицом полированным и пристальным, и девушка в белом. На голове у девушки была остроконечная шаршауская тюбетейка. От русых крыльев ровно подстриженных волос, как от опущенных наушников красноармейского шлема, лицо казалось настороженным и строгим.

Девушка первая заговорила по-английски:

— Это товарищ Уртабаев, заместитель главного инженера нашего строительства, первый советский инже-

---

[1] Глиняные ограды.
[2] Деревня.

нер-таджик, а моя фамилия Полозова, я студентка ВТУЗа, приехала сюда на годичную практику. Временно прикомандирована к вам в качестве переводчицы и техпома. Если вы не очень устали с дороги, товарищ Уртабаев сможет вас ознакомить в общих чертах с положением нашего строительства.

— Пожалуйста,— засуетился Кларк, подвигая гостям табуретки, а сам садясь на кровать.— Я буду очень рад хоть немного ознакомиться со строительством. К сожалению, перед отъездом сюда я получил лишь самые общие сведения.

— Товарищ Уртабаев пришел как раз пригласить вас, мистер...

— ...Кларк.

— ...мистер Кларк, на производственное совещание инженеров. Совещание начнется через два часа. Там подробно будут обсуждаться все очередные вопросы строительства. Товарищ Уртабаев хотел предупредить вас, чтобы вы не впадали в уныние, ознакомившись с положением дел на сегодняшний день. Вам у себя на родине не приходилось, вероятно, никогда работать в таких трудных условиях. Сто двадцать километров от ближайшей железнодорожной станции, сто двадцать пять километров от пристани, отсутствие маломальски сносных дорог. Только в этом году мы начнем прокладывать к пристани узкоколейку. Пока единственные средства транспорта — это лошадь, верблюд и грузовая машина, которая на здешних дорогах очень скоро выходит из строя.

Она говорила быстро, с приятным русским акцентом. Слушая ее деловой отчет, Кларк подумал совершенно некстати, что веснушки на ее небольшом вздернутом носике похожи на крупинки золотого песка: если послюнявить платок и потереть им этот носик, на платке, наверное, осталась бы золотая пыльца.

— Если вы примете во внимание, что в этих условиях мы должны будем перебросить сюда двадцать шесть экскаваторов,— больше, чем их работало у вас на Панамском канале,— вы можете себе представить, с какими трудностями это связано.

— Я знаю по опыту других ваших строительств, что русские умеют выполнять невыполнимое,— сказал галантно Кларк.

— Здесь не Россия, а Таджикистан, и строят не русские, а таджики. Русские только помогают таджикам.

Кларк подумал, что, по сути дела, веснушки вовсе не украшение и что девушки с чистой кожей всегда приятнее.

— У нас в Америке всех советских граждан называют русскими, поэтому извините мне мою ошибку,— сказал он с нарочитой любезностью.— Пожив у вас в СССР, я, несомненно, выучусь лучше разбираться в ваших вопросах. А таджикскому инженеру скажите: уезжая из Америки, я знал, что вам, наверное, трудно строить здесь одним, без помощи иностранных капиталов, и я буду стараться всячески помочь вам в вашей работе.

Девушка посмотрела очень внимательно на Кларка, потом повернулась и перевела Уртабаеву. Уртабаев встал, крепко пожал руку американцу, и оба они весело рассмеялись.

Рассмеялась и девушка.

— Ну вот и хорошо. Будем работать вместе. Думаю, что и я от вас кое-чему выучусь.

«Она убеждена, что все знает лучше меня,— раздосадованно подумал Кларк.— И вообще этот снисходительный тон, с которым она читает мне нотации, по меньшей мере неуместен».

Он находил, что веснушки определенно портят ее лицо.

Он подчеркнуто повернулся к Уртабаеву, попросил его рассказать подробнее о строительстве,— сведения эти в равной степени интересуют его американских коллег,— и, не дожидаясь ответа, вышел позвать Баркера и Мурри.

Минуту спустя он вернулся с Мурри. Баркер отказался прийти, пока не побреется.

Уртабаев жестом хозяина, расстилающего перед гостями дастархан[1], разложил на столе синюю карту.

Окна выходили на деревянную веранду. На веранде возилась зыбкая блондинка с распущенными мокрыми волосами, в прозрачном, как дождь, халате. Халат, сползая, обнажал плечо. Женщина держала в руках таз с мыльной всклокоченной водой. Перегнувшись

[1] Шелковая скатерть с угощением.

через перила, она выплеснула воду на дорогу. В воздухе повисли два мыльных пузыря.

Кларк с удовлетворением отметил, что женщина на террасе значительно красивее Полозовой.

— О нашей долине дала вам представление дорога на автомобиле из Сарай-Камара,— перевела Полозова.— Как вы видели, это огромное пустынное плато, тянущееся между двумя горными хребтами и занимающее площадь около двухсот тысяч га. Если вы заметили, на плато имеются следы древнего орошения. По преданиям, во времена Александра Македонского вся эта долина была орошена и густо населена. Река Вахш, которая в четырех километрах отсюда пробивает горы и вырывается на равнину, течет на протяжении двадцати пяти километров по прямой линии, затем поворачивает на юг и, сливаясь с Пянджем, образует Амударью...

...Женщина на веранде наклонила голову и рукой направила течение волос. Волосы густой струей потекли по лицу, и лицо исчезло под золотым чачваном [1]. На спине, между лопаток, обозначилась крохотная впадинка.

— Вахш, ударяясь с силой, свойственной горным ледниковым рекам, в левый берег, уносил ежегодно породу, смывая головные сооружения арыков. Население вынуждено было постепенно спускаться вниз по течению, выбирая все новые места для головных сооружений. В настоящее время из двухсот тысяч га долины туземная оросительная сеть охватывает не больше шестнадцати процентов. Вся остальная долина с течением столетий превратилась в выжженную солнцем безводную пустыню. А между тем река Вахш отличается исключительным обилием воды и составляет двадцать восемь процентов в общем водном балансе амударьинской системы...

...Женщина на веранде кончила расчесывать волосы и отбросила их назад. Усевшись легко на перила, она подставила рассыпавшуюся гриву волос косым лучам уходящего солнца...

— Заслоненная горами долина по своим климатическим условиям и температуре (от 70 до 80 градусов)

---

[1] Густая сетка из конского волоса, которой мусульманские женщины закрывают лицо.

сходна с Северной Африкой и Месопотамией. Опыты, проведенные агрономом Артемовым, доказали, что в этой полосе прекрасно может произрастать египетский хлопок. Начав с четверти га, посевы египетского хлопка в южном Таджикистане превысили в данное время шестнадцать тысяч га. Из двух тысяч га долины сто десять тысяч подвергаются орошению. Восемьдесят процентов этих земель будут пригодны под египетский хлопок, что даст ежегодно свыше трех с половиной миллионов пудов высококачественного волокна...

...Женщина на веранде встряхнула головой. Волосы ящерицами побежали по обнаженным плечам. Она повернулась профилем, вскинула голову и, чтобы удержать равновесие, охватила руками голое колено.

Кларк поймал на себе взгляд Полозовой и смущенно отвернулся, стараясь больше не смотреть в окно. Он с нарочитой внимательностью уставился на лиловые губы Уртабаева, откуда исходили мягкие непонятные слова. Изучая контуры его лица, взгляд Кларка поскользнулся, не встретив предполагаемых азиатских скул. Он еще раз внимательно очертил глазами непривычное лицо. Это было лицо европейца, чуть одутловатое, обведенное прозрачным лаком загара. («Мурри ведь говорил, что таджики — арийцы Азии».)

— Надо принять во внимание, что разрешение этой проблемы освобождает СССР целиком от хлопковой зависимости и позволяет золото, расходовавшееся до сих пор на импорт волокна, вложить полностью в нашу тяжелую индустрию. Вот почему правительство Советского Союза включило нашу проблему в план своих первоочередных великих работ. Чтобы оросить этот огромный массив, необходимо прорыть вдоль плато магистральный канал длиной в сорок пять километров и покрыть плато сетью каналов, общая длина которых будет превышать сто пятьдесят километров. Голова магистрального канала начинается в четырех километрах от выхода реки из гор. Ширина канала будет достигать сорока метров. Глубина в зависимости от профиля — от восемнадцати до шести метров.

...По дороге с грохотом пробежал грузовик, таща за собой павлиний хвост пыли. Женщина соскочила с перил и, отряхиваясь, вбежала в дом. Пыль хлынула на веранду и дымкой заволокла окно...

— В двадцати пяти километрах от головы канала плато резко опускается. Высота падения — сорок два метра. Мы строим в этом месте консольный перепад. В Америке у вас имеются подобные сооружения, но не на особо большие расходы воды. Максимум на тридцать кубометров. Наш консольный перепад, единственный в мире, рассчитан на расход ста двух кубометров воды. Здесь намечается постройка гидростанции мощностью в сорок тысяч лошадиных сил. Энергия наших гидростанций (их будет всего четыре) даст нам возможность произвести машинное орошение возвышенных рельефов, позволит нам в будущем применить электропахоту и электрическое подогревание парникового хлопка, приведет в движение хлопкоочистительные и маслобойные заводы...

...На веранду поднялся мужчина в белом пиджаке. Мужчина подошел к ведру с водой, зачерпнул кружкой и поднес к губам.

— Саша, Саша, не пей, из этой кружки таджик пил!— прокричал из комнаты женский голос.

Уртабаев резко повернулся к окну.

— Замолчи,— спокойно сказал мужчина, поставил на место кружку и, отерев лицо платком, вошел в дом...

— Ну вот, одним словом, мы будем иметь здесь величайший в мире хлопковый агрокомбинат. Чтобы дать вам понятие о размерах работ, достаточно сказать, что все это требует десяти миллионов кубометров земляных работ, трехсот шестидесяти тысяч кубометров гражданских сооружений, двадцати пяти тысяч кубометров бетонных и проведения узкоколейки от пристани на Пяндже длиной в сто двадцать пять километров. По размерам с нашей ирригационной системой могут конкурировать лишь две мировые системы: Империал-Виллей и Индийская, с той разницей, что наша, начатая без необходимых подготовительных работ, в будущем году должна быть в основном закончена. Для этого нам надо вынимать каждый месяц не менее двух миллионов кубометров земли.

Уртабаев сложил карту.

По улице двигалась вереница осликов, серых, как пыль. На осликах восседали старики в полосатых халатах. На головах у стариков качались белые чалмы,

огромные, как купола. Головы под тяжестью чалм сонно клонились вниз, колыхаясь в такт медлительной поступи ослика, словно головы фарфоровых китайцев.

Уртабаев сошел с дороги. Прожженные солнцем лица дехкан [1] напоминали маски, отлитые из бронзы. Одно лицо показалось Уртабаеву знакомым. Он приостановился, стараясь припомнить. Ослики просеменили мимо, обдавая его облаком пыли. Уртабаев зашагал дальше, все еще щуря глаза.

«Кривой, левого глаза нет... Где ж это я его видел?»

Дойдя до дома, он остановился у двери, машинально тыкая ключом невпопад.

— Саид!

Уртабаев оглянулся. У входа на веранду стояла Синицына. Солнце слепило глаза; чтобы разглядеть ее, Уртабаев должен был сощурить веки. Она стояла внизу в красном сарафане, открыв солнцу свои шоколадные плечи. Ее черные волосы, стекающие на лоб из-под красного платка, отливали густой синевой. В руках у нее был букет не распустившейся еще белой акации. Она держала букет цветами вниз, осторожно, чтобы не запачкать платье; казалось, что она держит ветку, обмоченную в молоке, застывшем на ней крупными каплями (если ветку встряхнуть, капли посыплются на песок).

— Саид, с кем это вы проходили по улице мимо парткома? Мужчины такие смешные, в чулках, один с трубкой.

— Это американские инженеры. Приехали к нам на работу.

— Интересные?

— Не знаю. Кажется, толковые. Какая вы сегодня красивая!

— Только сегодня? Это не комплимент.

— Для меня всегда. Я вас люблю.

— Не надо объясняться в любви во всякое время дня, Саид. О любви женщине надо говорить вечером, не обязательно при луне, но обязательно в прохладе или по крайней мере в тени. Говорить о любви на жаре, когда человек потеет и еле дышит от зноя, нелепо и неуместно.

— Моя любовь густа, как тень цветущего урюка, в которой вы можете всегда укрыться.

---

[1] Крестьяне.

— Любовь не может быть как тень. Любовь горяча, а не прохладна. Вы мне говорили вчера, что ваша любовь как солнце, в лучах которого я расцвету еще пышнее. Может быть, я спутала, но во всяком случае что-то в этом роде. Завтра куплю блокнот и буду записывать ваши изречения.

— Если вы не любите солнца, не стойте на жаре. Зайдите ко мне в комнату, у меня прохладно.

— Не могу, тороплюсь. Ну, не делайте обиженного лица, посижу у вас минутку на веранде, но с одним условием: если расскажете что-нибудь интересное.

— Я вас люблю.

— Это я слышу каждый день. Это неинтересно и не ново.

— Я вас люблю сегодня больше, чем вчера. Для меня это всегда ново.

— Для меня нет. Скажите что-нибудь действительно интересное.

— Разведитесь со своим мужем...

— Это я тоже слыхала. Могу сказать дальше наизусть: будьте моей женой; оставайтесь навсегда в Таджикистане; судьбы мира будут решаться на Востоке; Таджикистан — это окно в Индию; будем сидеть вместе у этого окошка...

— Это уже не я говорю, это вы.

— Насчет окошка? Да, правда, вы не признаете уменьшенных масштабов. У вас все увеличено. Не окошко, а обязательно ворота. Знаете, по-русски есть пословица: уставился, как баран на новые ворота. Меня это занятие не устраивает. Я никогда не смотрю на чужие ворота, а просто отворяю их и вхожу.

— Почему же чужие? Разве Индия — чужие ворота? В Индии живет миллион таджиков...

— Знаю, знаю, а в Афганистане четыре.

— Разве вы не верите, что мы скоро войдем в эти ворота?

— Долго ждать. Входите уж как-нибудь без меня. Пришлите телеграмму из Бомбея,— обязательно приеду посмотреть. Когда-то «Ким» не давал мне спать по ночам. Не наш КИМ, а киплинговский. Вы ведь неграмотный, кроме восточных поэтов и политической литературы, ничего не читаете. Почитайте Киплинга, он об Индии рассказывает куда лучше вас. А ведь он там жил и родился, а вам только хотелось бы туда попасть.

У вас это должно получаться красивее. Желание красивее реальности.

— Вы всегда шутите.

— А разве нельзя?

— С любовью нельзя. Вас никто еще не любил по-настоящему.

— Как же, как же! Ведь русские вообще не умеют любить, только таджики. И это слыхала. Поэтому таджики покупали возлюбленную, как кота в мешке, и от большой любви не давали ей всю жизнь вылезать из мешка. Главное — дешево и верно.

— Мы — отсталая страна, и издеваться над нами нехорошо.

— Обиделся! Нельзя пошутить даже? Ну, не буду. Перестаньте дуться. Хотите, я расскажу вам новость? Организуем спортплощадку, договорились уже с Ереминым. Будет у нас теннисный корт. Выучу вас играть в теннис. Большая, просторная площадка. Не радуетесь?

— Если тебе тесны туфли, что толку в мирском просторе?

— Туфли — это, по-видимому, я?

— Это старинная таджикская пословица.

— Плохая пословица. Если тебе тесны туфли, купи себе другие.

— А если других не хочешь или не можешь купить?

— Тогда терпи и не жалуйся.

— Неужели вы меня совсем, совсем не любите? Иногда вы бываете такая ласковая, а сегодня вы опять говорите со мной, как с чужим.

— Знаете, как сказано в Коране: «Не будьте слишком ласковы в словах ваших, чтобы в том, у кого в сердце есть болезнь, не было желания на вас». Здорово помню, а?

— С каких это пор в своих поступках вы стали руководиться Кораном?

— Со вчерашнего дня. Кригер подарил мне Коран в русском переводе, читала до двух часов ночи. Скучная книжка. Вы хорошо знаете Коран?

— Знаю, я ведь учился в медресе. Скажите, вы любите своего мужа? Ведь вы его не любите.

— «Тех, которые будут клеветать на замужних женщин и не представят четырех свидетелей, наказывайте осмьюдесятью ударами».

— У вас хорошая память. Разве констатирование факта есть клевета? Почему вы не разведетесь с ним? Это у нас только мужья удерживают жен и убивают, если она хочет уйти. Он ведь умный, партиец, он не будет вас удерживать. Почему вы не хотите быть моей женой?

— «Запрещается брак с замужними женщинами, за исключением тех, которыми овладела десница ваша».

— Я ведь прошу вас об этом исключении уже давно. Дайте моей деснице овладеть вами.

— Просящий может в лучшем случае получить, но никогда не овладеть. Это — понятия прямо противоположные.

— Как я должен это истолковать?

— Чему же вас учили в медресе, если для каждой фразы вам нужно готовое толкование! Ну, мне пора. Хотите, приходите сегодня к Кригеру, соберутся ребята, проводите меня потом домой.

— Не могу, у меня вечером совещание. И не люблю я этого Кригера. Что у вас с ним общего?

— Очень занятный человек. Не можете — не надо. Если завтра у меня будет настроение, приду к вам слушать персидские стихи, только если будут очень хорошие. Не обязательно Саади и не обязательно о любви.

Она сбежала по ступенькам, потрясая букетом, и несколько белых капель скатилось на песок.

Во дворе столовой техперсонала стояли глаголем два длинных стола на козлах. За столами сидело десятка два мужчин с багровой грудью, сквозившей клином в распахе белых рубах, и с багровыми руками, обнаженными до локтей,— словно впопыхах, вместе с рукавами, засучили прилипшую к ним кожу. На столах топорщились пухлые папки, затрепанные блокноты, стоял вислогубый кувшин, полный желтой кипяченой мути, и десяток пиал [1]. В воздухе тонко звенели комары, приветствуя приближение вечера.

Поднялся долговязый человек с длинной шеей, похожий на удивленную птицу.

[1] Чашка.

— Это главный инженер, товарищ Четверяков,— пояснила Полозова.

На человеке было старомодное пенсне на черном шелковом шнурочке, взятое напрокат из фильма «Броненосец Потемкин».

— Товарищи, когда возникла идея нашего строительства, вызванный в Таджикистан для консультации крупный американский инженер Гортон, ознакомившись с местными условиями, решил, что закончить строительство в столь короткие сроки невозможно. Он тогда же иронически заявил, что будет неправ в одном случае: если наш местный ручной труд окажется продуктивнее машинного. Мы знаем, товарищи, не один случай, когда иностранные консультанты ошибались, заявляя о невыполнимости той или иной из наших строек в намеченные сроки. Поэтому, будучи назначен сюда главным инженером, я не придерживался точки зрения инженера Гортона. Я заявил, что, несмотря на все исключительные трудности, строительство можно закончить в срок при двух условиях: при условии стопроцентной механизации работ и при условии обеспечения строительства необходимым транспортом...

Смеркалось. По небу скользило одинокое облако, быстро, как губка, впитывая тень.

— ...К сожалению, осуществление этого плана на практике не было обеспечено. Наша печать много и красиво писала о двадцати шести экскаваторах, о стальной армии, призванной покорить пустыню, но очень мало сделала в том направлении, чтобы экскаваторы эти действительно в кратчайший срок попали на наше строительство, не залеживаясь по узловым станциям, и чтобы строительству была предоставлена возможность перебросить их на нужные участки. Недавнее постановление Совнаркома требует от нас к весне будущего года орошения восьмидесяти тысяч га новых земель и переключения питания существующих туземных систем на инженерный магистральный канал. Таким образом, мы должны дать к весне под сев около ста тысяч га...

Человек в пенсне, расположив исписанные листки веером, быстро выдернул нужный козырь.

— ...Для того чтобы произвести необходимые работы, нам надо переводить с пристани в среднем около

сорока вагонов в сутки. К строительству узкоколейки от пристани к голове магистрали канала мы до сих пор не можем приступить, так как бельгийская фирма, которой были заказаны рельсы, вопреки соглашению, обещает сдать их на месяц позже установленного срока. Вместе с переброской грузов внутри строительства нам нужен транспорт для перевоза в среднем ста вагонов в сутки. Для этой цели нам необходимо было по плану около 250 грузовых машин полуторатонок, 150 гусеничных тракторов Клетраков, около 50 Катерпиллеров, гужевой транспорт в 1200 лошадей и в течение одного месяца 4000 верблюдов...

Кларк внимательно записывал в блокнот.

— ...Так вот, по сегодняшний день вместо 250 грузовиков мы получили ровно 50 и ни одного Клетрака. Можно ли удивляться после этого, что вместо двадцати шести экскаваторов на головной участок переброшено пока два, из которых работает только один, да и тот постоянно простаивает из-за несвоевременного подвоза горючего? Плановые цифры помесячных перевозок вследствие постоянных недовыполнений растут до чудовищных размеров, с которыми не в состоянии справиться никакая узкоколейка...

По двору расползалась тень, мягкая, как туман, оседала на суровых лицах людей, в изломах морщин, на стекляшках четверяковских пенсне, на донышках пустых пиал.

Четверяков откашлялся, вытер лоб. В прорыв ворвалась тишина, звенящая, как камертон, тоненькой трелью комариной флейты.

— ...Можно заменить недостающие полуторатонки и Клетраки гужевым транспортом. Для этого надо иметь 8700 лошадей и 5000 верблюдов. Такого количества лошадей и верблюдов мы достать, конечно, не в состоянии, да и прокормить их здесь нечем. Таким образом, транспорта у нас нет, нет и механизации работ, потому что машины, получаемые с чудовищным запозданием, не могут быть своевременно переброшены на участки...

— Оказывается, Гортон был прав! — Это — вслух по-английски — Баркер.

Фраза хлюпнула, как камень. Четверяков заинтересовался:

— Что сказал американский инженер? Переведите, пожалуйста!

— Инженер, не знаю фамилии, кажется, Баркер, говорит: из сказанного вами явствует, что Гортон был прав.

Произошла небольшая заминка.

— Коллега американский инженер плохо меня понял,— нацелился на Баркера стеклами своих пенсне Четверяков.— Речь идет не о физической невозможности, которую констатировал инженер Гортон и которую мы отрицали и продолжаем отрицать. Речь идет лишь о совокупности объективных причин, которые, несмотря на принципиальную выполнимость строительства, сорвали нам в данном случае его выполнение. Переведите, пожалуйста... Да... Но, может быть, недостающие машины можно действительно заменить ручным трудом? Согласно плана, при стопроцентной механизации нам нужны в разные месяцы от четырех до одиннадцати тысяч рабочих. Эта цифра минимум. На Турксибе для выполнения тех же земляных работ было занято сорок тысяч рабочих. Сколько же мы имеем рабочих на сегодняшний день? Четыреста восемнадцать! Десять процентов той рабочей силы, которая нам необходима в наименее напряженные месяцы! Я не буду сейчас говорить о качестве этой рабочей силы. Я думаю, одна только эта цифра достаточно ярко показывает, что браться за разрешение нашей проблемы с такими силами нельзя. И молчать, делая вид, что мы разрешаем эту проблему,— тоже нельзя. Это значит, обманывать партию, обманывать хозяйственные органы, обманывать всю общественность. Надо сказать во всеуслышание: без механизации, без транспорта и без рабочей силы оросительной системы нам здесь не построить.

Он откашлялся и повысил голос:

— Товарищи, я инженер, а не фокусник. Я отвечаю за это строительство и наметил условия его выполнения. Ни одно из условий не реализовано. Кричать в этой обстановке, что решение партии и Совнаркома будет выполнено, несмотря ни на какие препятствия, как об этом пишет одна из наших газет, значит втирать очки и себе и другим. Максимум, что мы можем сделать при настоящем положении работ, это оросить до весны двадцать тысяч га, и то если соответствую-

щие хозяйственные организации сдержат перед нами свои обязательства.

Инженеры с участков говорили кратко, часто перебивая друг друга, горячились, совали кому-то под нос какие-то бумажки. Полозова с трудом успевала переводить. Кларк слушал внимательно, переспрашивал, записывал отдельные цифры.

Принесли две керосиновые лампы и поставили на концах столов. За лампами длинной спиралью потянулись комары. Люди отмахивались от них механически, били их терпеливо на лице, на шее. От взмахов рук взлетали длинные тени, исчезали и взлетали опять, скользя над столами, как летучие мыши.

Инженер, которого Кларк видел уже сегодня на веранде и которого Полозова называла Немировским, пространно зачитывал по записке длинный перечень цифр. Его сменил другой. Все говорили об одном: нет машин, нет запасных частей, машины портятся от невообразимой пыли и после нескольких дней работы идут в ремонт, нет мало-мальски сносных помещений для рабочих, рабочие бегут, плохо со снабжением, вчера целая смена отказалась выйти на работу, на участках не хватает питьевой воды, участились заболевания малярией, нет строительного материала, не подвезли горючего, выполнено восемь процентов задания...

— Дайте-ка мне слово! — поднялся человек, большой, как преувеличение.

— Это начальник строительства Еремин,— пояснила американцам Полозова.

— Слушаю я вас, товарищи, и удивляюсь, как это еще никто не предложил законсервировать все строительство. Одному пыльно, другому жарко, третьему воды попить негде. Как это действительно правление не додумалось вместо экскаваторов привезти сюда сначала пылесосы и расставить по участкам ларьки с лимонадом! Слушать стыдно! Четверяков тот хоть до конца договаривает, что думает: «Не дали транспорта столько, сколько я запросил,— без транспорта не сделаю». А может быть, вам интересно, сколько из этих пятидесяти полуторатонок, которые нам дали, действительно находится в эксплуатации? Об этом товарищ Четверяков ничего не сказал, так я скажу. Половина стоит поломана, в ремонте. Каждые три дня

одна машина выходит из строя. Шоферы словно заключили между собой договор на соревнование — кто скорее поломает свою машину. Стройматериалами машин не догружают, а зато перегружают пассажирами. Выходите-ка на дорогу и полюбуйтесь,— не грузовики, а автобусы какие-то. Горючего вам не подвозят, а вот спирт подвозят аккуратно. Будь у нас двести пятьдесят машин, так через неделю мы бы тут кладбище автомобильное открыли...

— Это дело механизации!

— Это дело каждого из нас! Четверяков говорит,— рабочих не хватает, десять процентов рабочей силы. А сколько у нас утекло за это время? Не подсчитывали? Будете так заботиться о рабочих, так дай сюда не четыре, а сорок тысяч, все равно через неделю ни одного не останется.

— Снабжайте как следует, тогда не будут бежать!

— Вы потрудились хоть жилища для них человеческие по участкам построить? Каждый из вас, раньше чем приехать сюда, три раза заручался обещанием, что квартиру получит.

— Дайте брезент, брезента нет, нечем крыть палатки!

— Нет брезента, так есть камыш. Почему на втором участке поставили бараки из глины и камыша, а на первом товарищи инженеры все еще брезента дожидаются?

— Русский рабочий не хочет жить в глинянках. Все требуют палаток.

— Пока палаток нет, будут жить и в шалаше. Кусок тени человеку нужен, а вы их на жаре печете. А националов рабочих мало вам сюда послали?

— С такой рабочей силой арык можно построить, а не канал. И те не выдержали.

— Не выдержали? — бросил с места Уртабаев.— Я знаю, как не выдержали. Прислали вам таджиков комсомольцев, а вы их к ишакам приставили и воду таскать велели.

— Значит, ничего другого делать не умеют. Вода тоже нужна. Дали им легкую работу, и от этой сбежали.

— Воду таскать поставьте своих российских кулаков, а комсомольцев прислали затем, чтобы они здесь чему-нибудь научились. Если думаете новую ороси-

тельную сеть без таджиков построить, то столько сделаете, сколько до сих пор.

— Ты, Уртабаев, своего национализма тут не разводи,— перебил Еремин.— У нас строительство, а не школа.

— Кто из нас националист,— это еще вопрос. Строите в Таджикистане, а местных рабочих на строительстве семьдесят восемь человек! Рассказать в Москве — не поверят.

— А я что, не выписывал рабочих из всех районов? Во все рики разослал сотню тысяч рублей на вербовку. Деньги истратили, а рабочих не прислали.

— Ты думаешь, что рабочих, как баранов, по рублю за голову сюда сгонишь? Проводили ли вы хоть какую-нибудь разъяснительную работу среди тех, которые сами пришли? Объяснили ли вы им, что это их дело, что здесь будет семьдесят восемь процентов колхозного сектора? Кто из дехкан знает об этом? Все думают, что земля осваивается под совхоз, значит, земля государственная. А вы заинтересовали их чем-нибудь? У ваших десятников есть время только кричать и ругаться, а показать, научить — на это времени нет,— темпы! Вот и видны сейчас эти темпы. На дехканина будешь кричать, всякий убежит. Во времена эмирата терпели, а теперь, при своей власти, не хотят, и правильно, что не хотят.

— А что с ними, по-французски, что ли, разговаривать? Ты, Уртабаев, это дело брось! Рабочий должен иметь все, что ему полагается, и спрашивать с него надо все, что с него полагается. А не умеешь, не рыпайся, смотри и учись.

— А ты хоть одни курсы для националов открыл? На сегодняшний день у тебя были бы квалифицированные кадры. Ты вот не свои, а их слова говоришь: «С такими рабочими арыка не построишь». А туземное орошение, которое сейчас используем, это кто строил? Московские инженеры? Пустяки все это! И совещания эти впустую. Ты вот сначала работу наладь как следует, кадры местные создай, тогда у тебя и прорыва не будет. А пока этого не сделаешь, голосуй вот за предложение Четверякова и сокращай темпы. Все равно до весны и двадцати тысяч га не оросите!

Уртабаев встал, сдвинул тюбетейку на лоб и вышел из освещенного круга.

— Ты демагогию не разводи! — закричал ему вслед Еремин.— Подучись сам еще малость, пока других учить будешь... А положение на строительстве, скрывать нечего,— безобразное. И вина за это падает прежде всего на инженерно-технический персонал.

— Вот как!

— Что машин не прислали — это мы виноваты?

— Что рельс нет — мы виноваты?

— Что горючего не подвозят — тоже мы виноваты?

— Недовольны нашей работой — увольте, возьмите лучших!

— Я вас, товарищи, уволю, только сначала кое-кого под суд отдам.

— Вы нас судом не пугайте!

— Этак можно все неполадки строительства свалить на инженеров. А за что же тогда отвечает администрация?

— Администрация отвечает за правильное выполнение вами заданий. Вы думаете, администрация не видит вашей работы. Все видит. Из-за чего у нас получаются ежедневные простои бригад? Из-за того, что господа техники изволят выходить на работу позже рабочих, в то время как они обязаны быть на участке на двадцать минут раньше своей смены. Кто у нас занимается учетом соревнования? Есть ли хоть у одного из вас точные показатели? А за безобразия с выплатой зарплаты кто несет ответственность?

— Ну уж, за это, кажется, не мы, а бухгалтерия!

— Почему рабочие по два месяца не получают зарплаты? Кто у вас в таких условиях захочет работать? Бухгалтерия виновата? А когда вы начинаете давать ей наряды? Рабочий должен получать зарплату в первую пятидневку каждого месяца, а вы только в половине месяца начинаете давать замер. Это уже не безобразие, это прямое вредительство!.. А с вами, товарищ Немировский, насчет механизации у меня особый разговор будет.

Еремин хлопнул ладонью по столу, задребезжали тонко пиалы, и всполошенные комары закружились над лампой облаком мелкой, звенящей сажи.

У крыльца строительной конторы на распростертом паласе сидел старый таджик с голубино-голубыми глазами и медленно пил чай. Отпив несколько глотков, он протягивал пиалу чайнику, похожему во мраке на

маленького гуся, и чайник по-гусиному вытягивал шею. Казалось, что пьют они оба из одной пиалы.

Из мрака вышел бородатый дядя в картузе, посмотрел на старика и на чайник, вытащил коробку с табаком и стал крутить цигарку.

— Чайком угостишь, ака [1]?

Старик молча поднялся и вошел в дом. Он принес оттуда еще одну пиалу, ополоснул ее и, наполнив чаем, протянул бородатому.

Бородатый отложил цигарку и присел на крыльцо. Он вытащил из кармана завернутый в клочок газеты кусок сахара, разгрыз его и половину протянул таджику.

— На, с сахаром вкуснее.

— У сахара один вкус, у чая другой,— сказал таджик, завертывая сахар в платок.— Вместе смешаешь — нехорошо будет,— чай не чай, и сахар не сахар.

— Ишь как,— осклабился бородатый.— У каждого своя привычка. А вот насчет чая привычка у нас одна, что у таджиков, что у русских: попить любят.

Он помолчал и, не дождавшись ответа, протягивая порожнюю пиалу, добавил:

— Вот чай ваш пить научился, пот от него прошибает пуще, чем от нашего, а сидеть по-вашему, с подвернутыми ногами, никак не выучусь, ноги болят. И чего это вы выдумали на ногах сидеть? Нешто зада у вас нет? Ноги человеку для ходьбы, а зад для сиденья, чтобы ноги отдыхали. Ног своих не жалеете.

— Пес отдыхает на заду, баран на животе, осел на боку. Человек, чтобы не подражать ни псу, ни барану, ни ослу, отдыхает на ногах,— сказал таджик.

— Ишь ты! Выходит, конь умнее человека: тот и спит стоя.

— Конь подражает человеку. Или не знаешь? Самый благородный конь, юрга, даже ходить старается, как человек: ставит вместе обе правые ноги, потом обе левые, чтобы казалось, что у него не четыре ноги, а всего две.

— Здорово! Ты что, не мулла ли будешь?

— У нас в кишлаке, когда сыновья богатых уходили учиться в медресе, дехкане, после возвращения, спрашивали: ты муллой вернулся или человеком? Я человек неученый. Почему спрашиваешь?

[1] Брат.

— Говоришь больно хитро, все прибаутками. А ну-ка, дай еще чайку... Ты кто будешь?

— Кладовщик...

— А раньше-то, до советской власти, крестьянствовал?

— Раньше чайрикер[1] был. В плохой год в Фергану ушел. На хлопковом заводе работал грузчиком, спину надорвал. Советская власть в кладовщики взяла.

— Сколько же тебе лет?

— Сорок пять.

— Э, да ты мне ровесник, а я тебя за старичка принял. Да меньше шестидесяти тебе никто и не даст... А ну-ка, дай еще чайку. А в колхоз почему не пошел? На землю обратно под старость не тянет?

— В колхозе силу надо. Силы нет. Кладовую сторожить — одинаково, что в колхозе, что тут.

— Это верно, я вот, к примеру, тоже деревенский. До пятнадцати лет батрачил, потом ушел плотничать. Поди, лет двадцать пять уже по миру езжу, избы строю. Куда хочешь поезжай, хоть на север, хоть на юг, нет такой губернии, чтобы в ней моей избы не стояло...

Года два тому назад занесло меня за самый Полярный круг. Пришлось зимовать. Тут меня и тоска заела. И куда, думаю я, Климентий, занесла тебя нелегкая? Вернулся бы ты в село да за крестьянство взялся. И годы твои не те, и бабой обзавестись пора, детишки чтоб свои и все как у людей. Брожу в тулупе, снег по колена, а мне все блазится, клевером пахнет. Тут и поклялся я плотничье дело бросить и на землю осесть.

Весной приехал в колхоз. Рассказываю: так и так. Приняли. Осмотрелся. Бабу приглядел. Женился. Избу построил. Ну, думаю, вот тебе, Климентий, и изба твоя, в которой жить будешь, детей разведешь, и помрешь под своей крышей, не под чужой. Строил ты по всему миру хоромы, а сам — не образумься, на старости лет без угла остался бы.

Проработал в колхозе год, вторая зима пошла... Тут меня и тоска одолела. Не седок, думаю, ты, Климентий, на одном месте. Скука тебя загрызет. И сколь-

[1] Безземельный крестьянин-издольщик.

ко еще губерний осталось, где нога твоя не побывала! Видеть тебе их — не перевидеть. Строительство идет невиданное, по всей стране дома строят, а ты под перину залез и топор свой в чулан забросил. Для буржуев, для кулаков строил, а советскую власть на кого же оставил? Нешто нынешние плотники умеют дома строить? Коровники им строить, а не дома. А ты, Климентий, специалист квалифицированный, в колхозе спрятался и детишек разводишь!

Узнал я от одного прохожего плотника, что в Азии дома и зимой строят. Тут и не стерпел. Ночью из чулана топор достал, почистил и вышел потихоньку из дома, слова никому не сказал. Слез я бабьих пуще огня боюсь.

По дороге нагнал прохожего плотника. «Ты, говорю, наверное знаешь, что в Азии круглый год дома строят?» — «А как же, ихний календарь и устроен по-другому. Зимы у них нет».— «Про плотника Климентия слыхал? Он самый. Едем в Азию».

Так и приехал сюда. Страна у вас ничего, хорошая. Хорошего плотника уважают, и заработок против нашего даже очень огромный. Только вот, сядешь так вечерком, солнышко зайдет, идти некуда, разве что выпить, тут и тоска щипать тебя начнет. Бабу я в деревне оставил, да и ребеночку второй годок скоро пойдет. В избе полы, небось, перебрать надо, рамы, поди, осели. Думаю осенью поехать навестить.

— Да... — задумчиво подтвердил таджик.

— Есть вот, говорят, страна, Киргизия называется,— сказал, помолчав, бородатый.— Плотничьего дела совсем не знают. Из колышков да из войлока хибарки строят...

Он оборвал и, по-видимому, задумался об этой странной стране.

Оба сосредоточенно помолчали.

— Из кишлака уйдешь, не вернешься,— сказал наконец таджик.— Только уходить трудно. Ой как трудно! Теперь уходят много. Легко уходят. А раньше... куда пойдешь? Была для бедняка одна страна — Фергана...

А пришел безводный год. В арыках одна муть текла. И все знали, что не хватит воды на поливы. А от одного арыка испокон веков питались два кишлака. И один кишлак был большой кишлак, и в нем

жили три бая — ох, какие богатые баи! А в другом кишлаке, на плохой земле, сидели бедняки и чайрикеры.

И был в вилайете[1] знаменитый мираб[2], большой мираб. Когда он проезжал через кишлак, все сбегались целовать его халат. И когда он въезжал в кишлак, на другом конце уже резали барана и перебирали рис, чтобы, когда он доедет до другого края, запах плова заставил его задержаться. Это был очень умный, очень святой мираб, и благословен был тот кишлак, в котором он остановился.

А когда пришел безводный год и все знали, что воды не хватит на всех, тогда собрались мужчины с обоих кишлаков и решили позвать большого мираба, чтобы он разделил воду по справедливости, без обиды. И весь наш кишлак знал, что другой кишлак, большой кишлак, погнал к мирабу сто баранов и понес много отрезов шелка и много еще чего, что не было известно, и три богатые бая сами ездили к мирабу с подарками.

Тогда и наш кишлак решил, что надо отдать мирабу последних баранов, все, что у кого есть: иначе не будет воды, и тогда все помрут с голоду — и бараны, и люди... Но наш кишлак был бедный, и мы собрали только сорок баранов, и подарки наши не могли равняться подаркам большого кишлака.

Однако мираб милостиво принял наши подарки, и дехкане, которые гоняли к нему баранов, вернулись обнадеженные.

Мираб сказал:

«Человек разделяет воду, а бог напитывает ею поля. Бог может из капли сделать море и море превратить в каплю. Последнее слово за богом. Бог знающий, мудр».

А когда пришел день пуска воды, у головного арыка собрались оба кишлака, и приехал мираб на белом коне. Мираб помолился аллаху, взял кетмень и широко раскопал устье арыка, который вел в большой кишлак. Вода хлынула в арык, и баи из большого кишлака омочили в ней руки и омыли лица. Потом мираб ударил кетменем в запруду нашего арыка и прокопал в ней маленький проход. Вода тонкой струй-

---

[1] Округ.

[2] Лицо, заведующее распределением воды.

кой потекла в наш арык и поползла по дну, узкая, как веревка.

Тогда наши дехкане замахали руками и стали корить мираба: «Ведь ты же обещал делить по справедливости, а теперь всю воду отводишь в байский кишлак».

Мираб рассердился и сказал: «Вы народ темный и непонятливый. Разве вода измеряется шириной русла? Разве бог не учит вас противному, позволяя наблюдать свои реки! Посмотрите на Вахш. Как широко его русло на равнине: молодая птица с трудом пролетает от одного берега до другого. А потом идите к кишлаку Туткаул, где Вахш опять уходит в горы. Русло его там так узко, что два дехканина, стоя на двух берегах, могут, нагнувшись, подать друг другу руку. Разве от этого меньше воды в Вахше под Туткаулом, чем под Курган-Тепа? Не гневайте бога своей темнотой!»

Он подошел к коню и достал из хурджума[1] стеклянную трубку в деревяшке. На трубке, по обеим сторонам, видим — арабские цифры. Он показал ее нам и сказал:

«Вот прибор, которым святые мирабы в Мекке измеряют течение воды. Видите этот темный стеклянный шарик на конце трубки? В этом шарике спит священная змейка. Когда я окуну ее в воду, змейка подымется вверх по трубке и покажет вам цифру: сколько воды протекает в вашем арыке».

Он опустил прибор в арык большого кишлака. Змейка поднялась по трубке и остановилась на цифре восемнадцать.

Потом он тряхнул прибор, и змейка опять уползла в шарик и свернулась клубком.

Он опустил трубку в наш арык. Змейка поднялась по трубке и опять остановилась на цифре восемнадцать.

— Видите,— сказал мираб,— священная змейка показывает вам, что воды в обоих арыках одинаково».

Тогда мы все упали на землю и целовали халат великого мираба, просили простить нашу неученость.

Потом мы обрадованные вернулись в кишлак.

Через месяц посевы наши высохли, и на полях не осталось ни единого стебелька...

---

[1] Переметная сума.

Наши дехкане отправились к мирабу, а мираб сказал им:

«Человек разделяет воду, а бог напитывает ею поля. Бог может из капли сделать море и море превратить в каплю. Бог знающий, мудр. Молитесь. Грехами своими вы навлекли гнев господень».

Тогда мы оставили свои жилища и потрескавшиеся поля и ушли в Фергану...

— Да,— задумчиво подтвердил Климентий.

Старик наполнил пиалы.

— В прошлом году советская власть отправила меня лечиться в далекую страну Крым, где люди понимают наш язык и где никогда не бывает нехватки воды: у берегов этой страны стоит море, а другого берега у моря нет. Там меня раздели догола и купали в большой длинной пиале, наполненной водой. И прежде чем окунуть меня, дохтур опустил в воду стеклянную трубку в деревяшке, и змейка поднялась по трубке и остановилась на цифре тридцать семь.

Когда я увидел этот прибор, то закричал, выскочил из белой хоны [1] и голый побежал по коридорам, коридоры длинные... Меня привели обратно, и дохтур долго говорил мне, из чего делают градусники,— он думал, что я в первый раз в жизни вижу эту стеклянную трубку. И он очень сердился, когда на следующий день, оставшись один, я вышвырнул ее в окно. Он не понимал, что из кишлака-то уйти можно, а назад разве вернешься?..

Опять между собеседниками прикорнуло молчание.

— А крестьянина, куда ни уйди, завсегда земля тянет,— отозвался наконец Климентий.— Земля у нас пахучая. Идешь за плугом... суглинок, он рыхлый, липнет к ногам, все равно как тесто ногами месишь. А в бороздах вода блещет...

— Вода...— оживился таджик.— Земля воду любит. Напьется досыта, потом, как верблюд, бережет ее до второго полива. Верблюд четырнадцать дней без воды живет, потом дохнет. И земля без воды дохнет: кожа у нее потрескается, шерсть вся вылезет,— лежит плешивая, вздутая, страшная. Тогда, как на падаль, слетаются на нее стервятники. Очень страшно смотреть, как дохнет земля...

---

[1] Изба.

Из мрака вынырнул человек, поднялся на крыльцо и открыл ключом дверь.

— Фархат!

— Здесь, товарищ начальник.

— Позови товарища Немировскую, пусть сейчас же идет в контору. Скажи: надо написать несколько писем, чтобы завтра с утра отправить. Не забудешь? Я тебя от чая оторвал? Ничего, потом допьешь.

— Иду, товарищ начальник.

Еремин прошел в свой кабинет.

Она была сейчас в белом с поперечными черными крапинками, похожая на березу, зыбкая блондинка с мягкой гривой свернутых на холке свежевымытых волос.

Она услышала, как скрипит пол, исчерканный большими шагами Еремина, и, пройдя к своему столику, тихо достала карандаш и бумагу.

— Большое письмо?

— Да, докладная записка. Приготовили? Пишите: «В ЦК КП(б) Тадж.»

— Готово.

— Подождите, надо подумать.

Она встала и мягко положила ему руки на плечи.

— Неприятности? Изнервничался на заседании? Отдохни. Посидим здесь. Отложи, завтра напишем.

— Нет, нельзя.

Он взял ее руки в свои огромные лапы, как берут птенца, осторожно, чтобы не раздавить.

— Видишь ли, я думаю, что обязан тебе об этом сообщить. Я должен отдать под суд твоего мужа.

— А за что? Или это секрет?

— Нет, к сожалению, это ни для кого не секрет. И оснований слишком много.

— Именно?

— Прежде всего за сознательное разложение сектора механизации, иными словами, за срыв всего строительства. Это достаточное основание.

— И ты полагаешь, что это исключительно его вина и что это с его стороны сознательное преступление?

— Совершенно уверен. Я слишком долго глядел на это сквозь пальцы, пока другие не собрали и не пред-

ставили мне материала, раскрывающего всю его работу.

— Другие — это кто? Синицын?

— Это безразлично. Собраны сведения с его предыдущего места работы, где только своевременный отъезд позволил ему избежать суда.

— Ты не знаешь, это было до речи Сталина. Там его травили как беспартийного специалиста.

— Здесь его не травили,— наоборот, предоставили самую широкую свободу действий, которой он не преминул соответствующим образом воспользоваться.

— Ошибаешься, уверяю тебя. Знаю даже, кто наговорил: Синицын. Он терпеть не может Немировского.

— Не говори глупостей.

— Это ты говоришь глупости. Не сердись, но мне смешно слушать. Поверь мне, я, кажется, достаточно хорошо знаю Немировского и никак не могу представить его в роли политического вредителя, этакого романтического злодея. Это просто нелепо. Немировский — типичный спец, спец-середняк, без особого энтузиазма к строительству социализма, но вполне лояльный. И самое главное — ходячая посредственность, физически неспособная на активное сопротивление окружающей среде, даже на мало-мальски самостоятельное решение,— на все, что требует от человека какой-то доли гражданского мужества. Он, во-первых, безумно труслив, политики боится, как огня. Он умер бы, наверное, от страха, вообразив себя на минуту впутанным в политический заговор.

— Это меня мало интересует. Действовал ли он в сговоре или по собственному почину, это покажет следствие.

— Да, но само обвинение нелепо. Он мог напутать, не справиться, наконец, даже плохо работать, но никогда не поверю, чтобы он сознательно что-либо разлаживал с твердой целью повредить строительству.

— Ты будешь иметь возможность всегда высказать свое субъективное мнение. К сожалению, у нас привыкли считаться с фактами, а фактов не опровергнешь никакой психологией.

— Но ведь нелепо же обвинять невиновного человека! Это компрометирует только обвиняющих.

— Я вижу, что инженер Немировский нашел в тебе очень рьяную защитницу.

— Не могу же я, только потому, что с ним больше не живу, радоваться или даже молчать, когда невиновного человека, все недочеты которого я превосходно знаю, хотят посадить в тюрьму, обвиняют в преступлении, к которому он не способен. Это была бы с моей стороны подлость.

— Так... А знаешь, люди полагают, что он сознательно подсунул мне тебя и закрыл глаза, чтобы связать мне руки.

— Не знаю, с каких это пор ты стал принимать во внимание, что говорят пошляки. Как это Немировский мог меня подсунуть? Что я — вещь? И это говорит коммунист!

— На предыдущей работе инженера Немировского ситуация была почти тождественная.

— Я не знала, что ты собираешь материал по истории моих бывших связей. Надо было обратиться непосредственно ко мне, я бы тебе дала более исчерпывающие сведения, из первоисточника. Я никогда, кажется, не разыгрывала из себя девственницы и не клялась, что до тебя у меня не было любовников. Думаю, отчета в этом я никому давать не обязана.

— Просто любопытно, что любовники твои вербуются всегда из начальников твоего мужа и твои любовные увлечения замечательно совпадают с интересами инженера Немировского.

— Хочешь меня оскорбить? Это тебе не удастся. Я вижу тебя насквозь. Ты просто ревнуешь меня к Немировскому.

— Что-о-о? Ты еще смеешь подозревать меня в каких-то глупостях! Мне нельзя арестовать вредителя, потому что я сплю с его женой,— так, что ли?

— Не кричи. Ночь. Люди сбегутся. Подумают, что вызвал меня в контору и устраиваешь сцену ревности. И без того достаточно сплетен о нас ходит. Ну, успокойся,— она закинула ему руки на шею.— Любимый мой! Сильный! Глупенький Ник, выдумал, что он Ник Картер, и везде ему чудятся преступники. Истрепался, изнервничался среди подлецов. На себя стал не похож. Ну давай, сядем здесь, в углу. Не будем больше говорить об этом. Ты сиди тихо и молчи. Не надо говорить. Дай рот. Вот так. Сиди смирно. Я тебе расскажу что-

нибудь. Помнишь, ты меня раз спрашивал, почему у меня мизинец на левой руке вывернут? Хочешь, расскажу?

Было это еще задолго до того, как я познакомилась с Немировским. Любила я тогда одного молодого советского ученого, климатолога, и разошлись мы с ним исключительно по моей вине. Я вернулась в театр и уехала с выездной труппой в Киев. Он остался в Москве. Я ждала, что он приедет за мной. Он заупрямился. Наконец пришло письмо. Он писал, что любит меня по-прежнему, но простить не может и жить в одном и том же городе, в одной и той же стране не сумеет. Поэтому он выхлопотал научную командировку и отправляется с международной экспедицией на Шпицберген. В конце сообщал кратко, что улетает из Москвы в Берлин такого-то числа. И хотя тон письма был сухой, суровый, эта последняя фраза звучала невысказанной надеждой, что я приеду с ним повидаться.

Я два дня носила письмо, не распечатывая. Потом раскрыла, ожидала упреков и просьб, и вдруг, когда дочитала до конца, что-то схватило меня за горло. Показалось мне, что люблю этого человека так, как никого больше не смогу любить, что надо сейчас же, сию минуту, бежать; остановить его, удержать, навсегда оставаться вместе, не разлучаясь.

Отлет его должен был состояться послезавтра. Воздушного сообщения между Киевом и Москвой не было. Я кинулась на станцию. Поезд уходил через час. Каких чудовищных усилий и ухищрений стоило мне достать билет! Я узнала по расписанию пассажирских самолетов, что самолет из Москвы в Берлин вылетает в шесть часов утра. Мой поезд по расписанию приходил в Москву в пять часов двадцать минут. Оставалось сорок минут, чтобы схватить такси и примчаться на аэродром.

Половину дороги я обдумывала, что ему скажу. Потом легла спать. Ночью поезд подолгу застаивался на станциях.

Утром я узнала, что мы опаздываем на три часа. Проводник, заметив, должно быть, как я побледнела, стал меня утешать, что, может быть, еще нагоним. Поезд шел медленно и опять подолгу стоял на станциях. Я не спрашивала больше о времени. Я понимала, что опоздание наше не уменьшается.

Я ненавидела в это время машиниста. Когда поезд стоял, я, чтобы не думать о цели моего нелепого путешествия, постепенно теряющего всякий смысл, заполняла эти мучительные пробелы тем, что представляла себе, что делает в это время ненавистный машинист. Вот он сходит с паровоза. По этой линии он ездит давно, на каждой станции у него знакомые. Вот он заходит к ним. Расспрашивает о новостях. Перед ним ставят чай с вареньем. Он пьет невозмутимо медленно. Потом просит второй стакан, потом третий, а поезд стоит. Наконец он напился, узнал подробно обо всех происшествиях. Поезд трогается.

Я ненавидела всех начальников станции: после второго звонка они еще долго медлили, пока не давали свистка к отправлению.

Я ненавидела стрелочников, выходивших неожиданно на разъезде с красным флажком, знаменовавшим не революцию, а новую продолжительную остановку.

Я ненавидела проводников, невозмутимо разносивших по купе свой чай, безучастных к тому, приедем ли мы сегодня или послезавтра. Все равно их жизнь проходит в дороге.

А когда на следующее утро один пассажир, проснувшись, спросил другого — сколько времени, и тот, достав часы, спокойно сообщил: шесть, а мы стояли в поле, далеко-далеко от Москвы,— я, чтобы не кинуться и не разбить ему голову его же часами, взяла мизинец левой руки и медленно вывернула его, пока он не принял горизонтального положения. Потом, и в этот день, и на следующий, я долго пыталась вправить его, но он никогда уже не вернулся на свое место.

Как ты был похож на меня, Ник, сегодня, после твоего неудачного заседания! Ты убедился, что поезд твой безнадежно запаздывает и не в состоянии нагнать намеченных сроков. И вместо того, чтобы трезво отдать себе отчет, что виноваты неполадки в общем расписании, скрещивающиеся где-то за тысячи километров рельсы причин, минутные задержки, которые, помноженные на расстояние, вырастают в недели и месяцы, ты возомнил, как и я, что виноваты безвольные пешки, обслуживающие твой злополучный поезд: коварный машинист или тупой стрелочник, невозмутимо безразличные к тому, приедешь ли ты к сроку.

И вместо того, чтобы в тупом отчаянии выламывать себе пальцы, ты пустился на еще более нелепую операцию: попытался отсечь и отбросить меня, которую ты любишь, ведь любишь по-прежнему? Ну, пойдем, Ник. Я знаю, что тебе тяжело, что ты очень одинок. Я не оставлю тебя в таком состоянии. Пойдем к тебе. Плевать мне на Немировского. Останусь у тебя, пока не уснешь.

Возвращаясь домой с бурного совещания, Кларк у большой чинары внезапно споткнулся о какой-то длинный предмет и чуть не упал. Предмет при более тщательном осмотре оказался человеческим телом, распростертым на земле, лицом вниз. В спине лежащего на высоте поясницы торчала блестящая рукоятка кинжала.

У Кларка по спине пробежал холодок. Басмачи? Здесь, в городе? Или, может быть, мексиканская вендетта на местный манер?

Он не знал, что ему делать. Позвать людей? Кругом не было ни души. Лохматые тропические звезды колыхались, как репейники, на черной рясе неба.

Он нагнулся над лежащим и потрогал его за спину. Блестящая рукоятка со звоном покатилась на землю. Кларк удивленно нащупал ее рукой и вдруг прыснул со смеха. То, что он принял за рукоятку кинжала, оказалось бутылкой водки, торчавшей из кармана брюк.

Кларк зашагал дальше. Его искренне забавлял весь инцидент — первый промах в поисках так быстро развенчанной экзотики. Он вспомнил длинные рассказы о басмачах, скачущих по горам на легконогих афганских конях, и улыбнулся. Все это сильно отдавало балетом.

Он поднялся на веранду, повернул ключ и зажег электричество. Только здесь, в комнате, он почувствовал накопившуюся усталость. Он стал быстро раздеваться, снял воротник и бросил его на стол. На столе, аккуратно разложенный на самой середине, лежал лист бумаги с каким-то рисунком. Кларк нагнулся и присмотрелся внимательно.

На бумаге обыкновенным карандашом неуклюже, но вполне разборчиво был нарисован поезд, рядом с поездом пароход и справа несколько высоких доми-

ков. Над домиками латинскими печатными буквами было выведено «Америка». Над рисунком шла длинная стрела. Стрела указывала направление поезда и парохода и упиралась в слово «Америка». Внизу листа были нарисованы большой череп и две скрещенных кости.

Кларк долго и внимательно изучал рисунок. Рука, выводившая его, несомненно, редко держала в пальцах карандаш. Тем не менее смысл иероглифов был ясен. Это означало: «Уезжай поскорее обратно, не уедешь — кокнем».

На Кларка второй раз подуло холодком. Он оглядел комнату. Когда он уходил отсюда — никакого письма на столе не было. Дверь была заперта на ключ. Он подошел к окну и толкнул его рукой. Окно было заперто изнутри. Кларк еще раз оглядел комнату. Он нагнулся и посмотрел под кровать. Потом под стол. Больше мебели не было.

Он опять взял в руки рисунок и зачем-то посмотрел на свет. Достал из заднего кармана брюк браунинг, проверил предохранитель и положил револьвер на табуретку. После этого он еще раз внимательно осмотрел окно. Убедившись, что оно плотно закрыто, он вытянулся на кровати и закурил. В комнату в его отсутствие ни в окно, ни в дверь никто проникнуть не мог. Была другая возможность: бумажку мог положить кто-нибудь из людей, приходивших в присутствии Кларка, и он мог этого не заметить. Было здесь только трое. Мурри — отпадает. Полозова? Отпадает. Уртабаев?..

Кларк докурил папиросу, сунул под подушку револьвер, быстро разделся, потушил свет и лег, натянув на себя простыню. Спал плохо, мешали комары.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Проснулся от звуков заунывной причудливой музыки гортанных флейт, рассекаемой на такты размеренными ударами бубна. Играли на улице. Кларк соскочил с постели и толкнул рукой окно. Утренний воздух, свежий, как родниковая вода, смыл с лица тонкую паутину сна.

Улица, в лимонно-розовом свете подымающегося солнца, лежала ослепительно голая после ночной ку-

пели, не окутанная еще зыбким покрывалом зноя, вдыхая последние крупинки тающей тени.

По дороге двигалось необыкновенное шествие. Впереди на крошечных осликах ехали два полосатых дехканина; каждый держал древко красного плаката. За ними вдоль улицы тянулась длинная кавалькада пестрых всадников на осликах. Ослики деловито семенили, помахивая мышиными хвостами. Ноги всадников почти касались земли. Всадники плыли над землей, торжественные и громоздкие в своих пухлых цветастых халатах, вылинявших чалмах и засаленных тюбетеях.

Впереди кавалькады, вслед за всадниками с плакатом, шли четыре музыканта. Музыканты дули в длинные тоненькие зурны, и зурны звенели носовой картавой трелью. Крайний размеренно ударял в бубен, глухой и утробный, как глиняный сосуд.

Перед музыкантами, лицом к кавалькаде, вытаптывая туфлями узорную дорожку, плыл танцор в потертом халате, перехваченном в талии расшитым платком. Беспокойные руки танцора в набухших рукавах, вскинутые горизонтально ладонями вниз, одна согнутая в локте, другая легко брошенная в воздух, извивались и вздрагивали в лад переливам зурн. Бронзовая голова танцора плыла по воздуху, невозмутимо неподвижная, словно покоилась на ней не простая тюбетейка, а незримый сосуд, наполненный водой.

Из окна, по другую сторону веранды, выглянула растрепанная женская голова.

— Саша,— прозвучал уже знакомый Кларку капризный голос.— Что там такое?

Немировский, кончавший мыться в углу террасы, снял с гвоздя полотенце, выбросил изо рта на дорогу длинную струю воды и сказал, вытираясь:

— Это колхозники. Приходили на хошар[1] в совхоз. Вчера кончили и возвращаются домой.

— Чего ж они с пяти часов утра спать не дают! — раздосадованно потянулась женщина.

— А они издалека, некоторые за двадцать — тридцать километров отсюда. Вышли пораньше, чтобы успеть до жары.

---

[1] Буксир.

— Никогда не дадут выспаться, идиоты, со своими свистульками.

— Не ложись спать в четыре часа утра, тогда выспишься.

— Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!..— она широко зевнула и с досадой задернула занавеску.

Кларк, впрочем, ничего не понял из этого разговора и долго еще стоял в окне, ловя ухом отдаляющиеся переливы флейт.

Только когда утихли последние звуки, он потянулся к часам и, убедившись, что уже половина шестого, начал быстро одеваться. Он взял со стола лист с рисунком, сложил его, сунул в бумажник и вышел завтракать в столовую.

Когда он вернулся, перед верандой стояла легковая машина. На террасе ждала Полозова.

— Я думала, вы еще спите, а вы, оказывается, и позавтракать успели. Вот и машина за вами.

— Разрешите, я только зайду на минуту в комнату, возьму блокнот и кое-какую мелочь.

Он раскрыл чемодан, вынул записную книжку, белый колониальный шлем и, закрыв чемодан, надел шлем на голову.

— Знаете что,— услышал он над собой голос Полозовой; она стояла, опершись на подоконник.— Хотите послушать товарищеский совет,— не надевайте этого. Оставьте этот котелок дома. Возьмите кепку.

— А почему? — смутился Кларк.

— Это, конечно, пустяк, но колониальные шлемы имеют уже своеобразный политический стиль. По ту сторону границы, в Индии, они отличают господина-колонизатора от раба-туземца. У нас этот стиль колет глаза. Мы все носим здесь тюбетейки. Это и проще, и легче, и практичнее. Хотите, я вам завтра достану тюбетейку?

Заметив смущение Кларка, она поспешно добавила:

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Если хотите, можете ехать и в этом. Я просто хотела по-дружески предупредить вас от косых взглядов рабочих; они привыкли, что наши инженеры и руководители не отличаются особенно от них своим костюмом.

Кларк молча надел кепку, запер комнату и, проверив рукой окно, прошел к машине.

— Жалко, что вы не видели сегодня колхозников, возвращавшихся с хошара из совхоза с музыкой, с танцами. Исключительная картина.

— Видел, действительно очень красиво. Совершенно своеобразная музыка, похожая немного на напевы индийских заклинателей змей, и очень своеобразный танец.

— Плевать на музыку... Извините, я не то... Я хотела сказать, что это — внешнее, несущественное. Это экзотика, которая привлекает внимание каждого европейца. Вы знаете, что такое хошар? Крестьяне из отдаленных кишлаков пришли помогать совхозу. Хотели оплатить им трудодни — отказались. Говорят, пусть район построит нам за это школу. Обещали прийти и на окучку, и на сбор. Вы понимаете, что в этой стране, где еще до двадцать шестого года байство и муллы вели за собой большую часть дехканства,— это целая революция.

— Да, это очень интересно...

Полозова замолчала. Автомобиль мчался по плато, навстречу надвигающемуся горному хребту. Горы на фоне бледно-голубоватого, чуть выцветшего неба, без единой крапинки, казались декорацией, вырезанной из картона. Мелкие морщины и изломы, обведенные коричневой тенью, выделялись на них рельефней, чем на настоящих.

У подножия гор лежал городок из фанеры: несколько деревянных бараков, несколько горбатых палаток из брезента с кривыми окошками из желатина в раскоряченных стенах, простой грузовик с разбитым кузовом, неподвижный и мрачный, как статист.

Около центрального барака толпились, входили и выходили люди самой причудливой наружности: русские мужички с окладистыми бородами, одни в замасленных, подпоясанных бечевками рубахах, другие в ватных кацавейках и рыжих яловочных сапогах; бронзовые парни в голубых, красных, зеленых майках, кто в картузе, кто в тюбетейке, кто в огромной соломенной шляпе, похожей на мексиканское сомбреро; цветистые таджики в тюбетейках и халатах; краснокожие люди неведомой национальности, с телом, словно ошпаренным кипятком, в куцых трусах, заслоняющих исключительно то, что необходимо. Среди этой разношерстной толпы деловито суетилась кучка людей в брезен-

товых сапогах и белых рубахах с засученными рукавами.

Все это удивительно смахивало на съемку американского приключенческого фильма с отважными золотоискателями в пустыне. Люди в брезентовых сапогах, торопливо шнырявшие между бараками, напоминали кинооператоров, проверяющих последние детали мизансцены. Кларк невольно огляделся в поисках киноаппарата.

Машина остановилась у входа в барак. В комнате, в которую ввела Кларка Полозова, столы стояли сплошной лавой. Протискиваться между ними надо было узенькой извилистой тропинкой. Люди, стоявшие у столов, кричали на людей, сидевших за столами. Кто-то бил кулаком по столу так, что звенели чернильницы. Сидящий за столом человек в очках, откинувшись на спинку стула, терпеливо ждал, пока у посетителя не разболится рука, и только от времени до времени невозмутимо повторял одну и ту же фразу: «Ничего не могу поделать».

Между столами шмыгали люди с какими-то бумагами. Кларк, вслед за Полозовой, протиснулся наконец за перегородку. За перегородкой сидел Четвертяков, разбирая кипу бумаг, испещренных зигзагами красного карандаша.

Полозова обратилась к Четверякову, но в ту же минуту за перегородку ворвался усатый детина в сетке и белых штанах, весьма похожих на кальсоны, отстранил рукою Кларка и Полозову и, сорвав с головы тюбетейку, кинул ее на пол перед Четверяковым.

— Не могу с этими сукиными детьми работать. Делайте со мной что хотите, не могу.

— Не кричите, Теплых,— спокойно заметил Четверяков.— Я не глухой. И не сорите на пол,— указал он головой на измятую тюбетейку.— В чем дело?

— Бригады Тарелкина и Кузнецова не вышли на работу.

— Почему?

— Говорят, третий день махорки не выдают. Не дадите махры, не будем работать!

— Скажите им, что махорка будет завтра или послезавтра. Скажите, что не подоспел транспорт из Сталинабада. Ну, сами знаете, что надо сказать. Зачем приходите ко мне с такими пустяками?

— Говорил, толковал — все равно, что об стенку горох. Не пойдем — и все. Вчера уже бузили, не хотели выходить, но я их уломал, обещал, что сегодня будет. А теперь и слушать не хотят: «Вы, говорят, на посуле, что на стуле. Даешь махру и никаких!» Не выйдут. Я их знаю.

— Чего же вы от меня хотите? Откуда я возьму махорки? Обращайтесь к Еремину.

— Да нет махры, ни одной пачки нет. Я уже все вверх ногами перерыл.

— А чем же я могу помочь?

— Да надо же их заставить! Пусть товарищ инженер с ними поговорит. Может, вас послушают.

— Хорошо, пойдем. Пойдемте со мной,— обратился Четверяков к Полозовой и Кларку.— Сейчас найдем кого-нибудь, кто проведет вас на участок.

Они протиснулись вчетвером через запруженную комнату и зашагали по направлению к крайним баракам.

В бараке, куда привел их Теплых, густо пахло портянками. На нарах у стен сидело и лежало десятков шесть рабочих. С нар в углу хрипло попискивала гармонь.

Когда Четверяков появился в бараке, гармонь оборвалась и часть рабочих привстала, остальные продолжали лежать, притворяясь, что не замечают прихода гостей.

— Товарищи,— сказал Четверяков, поправляя пенсне,— что это еще за история? Хотите сорвать работу? Каждый сознательный рабочий должен понимать, что коллективные прогулы на строительстве равносильны вредительству. Сейчас, когда партия и советская власть поставили перед нашим строительством жесткие сроки и с напряжением следят за ходом работ, когда дорога, дословно, каждая потерянная минута,— срывать из-за пустяков работу — это преступление, недостойное сознательного рабочего. Я уверен, что это была с вашей стороны простая демонстрация, чтобы напомнить руководству о недостатках, имеющихся в области снабжения. Я могу вас заверить, что администрация сделает все от нее зависящее, чтобы ликвидировать перебои в подвозе продуктов. Во всяком случае, затягивать эту демонстрацию не следует. Вы оторвали и без того у строительства целый трудочас. Я не сом-

неваюсь, что все вы, как один, встанете немедленно на работу. Я жду, товарищи!

— Будет курево — пойдем. Не дашь махорки, а и не зови! — сказал меланхолически парень в синей майке.

— Четвертый день обещают!

— Ты нас на сознательность не бери. Сам небось папирос для себя подвезти не позабыл!

— Я не курю,— сказал возмущенно Четверяков.— И вообще строительство не обязано, в ущерб снабжению предметами первой необходимости, подвозить вам махорку. Курение вовсе не необходимо для здоровья и даже вредно. Оно, как и водка, снижает трудоспособность. В колдоговоре не указано, что снабжение махоркой входит в обязанность работодателя.

— Значит, плохо составляли, надо поставить,— бросил с места мужик с рыжей бородой.

— Шибко о нашем здоровье заботятся. На прошлой неделе чай не выдали, тоже вредно. Скоро скажут по-ученому, что рабочему человеку и есть вредно.

Гармонист в углу вызывающе пиликнул два такта на гармошке.

— Суки, а не рабочие!— сказал вслух не то себе, не то Четверякову Теплых.

— Снабжать вас продуктами строительство обязано и снабжает. Не было еще дня, чтобы оставили вас без еды. Если б управление захотело исполнять ваши капризы и ввозить вместо продуктов махорку, вы сегодня бы сидели без обеда. Считаю, что дискуссии на эту тему неуместны. О всех недостатках снабжения сможете высказаться на собрании. Теперь рабочее время, и все должны немедленно встать на работу.

— Не говори!— меланхолически бросил парень в синей майке.— Махорку дашь — пойдем!

— А ты почем можешь знать — нужна махорка рабочему человеку али нет, раз сам некурящий?

По всему бараку покатился хохот.

Гармонист восторженно брякнул на гармошке целый куплет.

— Это что такое? — раздался грозный голос у входа.

В дверях стоял Еремин.

Четверяков подошел к нему вплотную.

— Рабочие бузят, не получили махорки, не хотят идти работать. Я их пробовал уговаривать — не слушают. Может быть, вы, Николай Васильевич, их образумите? Вы с ними умеете говорить. А меня ждут в конторе...

Не дожидаясь ответа, Четверяков быстро вышел из барака.

— Это еще что такое?— грозно повторил Еремин.

Гармонист приумолк.

— Что вы тут за бузу затеяли? На работу не выходить? Прогуливать? Кулацкие подголоски вас тут подкручивают, а вы, как стадо баранов, против строительства идете, против советской власти? Не дашь вам махорки, так вы и работать не будете?

— И не будем. Не дашь махорки — не будем.

— Да нет сейчас махорки, говорят вам! Всю выкурили! Откуда я вам возьму?

— Поищи — найдешь.

— Где ж это прикажешь искать?

— У себя на квартире поищи,— небось чемодан папирос найдешь.

— Мы не гордые, мы и папиросы покурим.

Еремин побагровел.

— Ах вы... да вас разогнать мало!

— Не торопись — сами уйдем.

— Поработали и хватит, пущай другие!

— Вы за пачку махорки советскую власть продадите!— кричал Еремин.— Мы на фронте, когда с белыми дрались, листья дубовые курили, тогда махорки не было!

— Ты тут сначала дубки посади, может и мы покурим, а то листика одного окрест днем с огнем не отыщешь. Из верблюжьего дерьма, разве что, цигарки крутить прикажете?..

Как приехал агроном
За коровьим дерьмом,
Не найдет нигде никак —
Раскурили на табак...—

брякнул восторженно гармонист.

Барак одобрительно заржал, и подзадоренный гармонист, развернув гармонь веером, затянул во всю глотку:

Курил барин с псом сигары,
Пришла революция,
Нынче барин хвост коптит,
А собака куцая.

Кларк, задержавшийся у входа, молчаливо наблюдал за всей сценой.

— Вы, наверное, удивляетесь, что здесь происходит?— обратилась к нему Полозова.— Рабочим с вашего участка не привезли махорки, и они не хотят поэтому выйти на работу.

— Это рабочие с того участка, на котором я буду работать? — переспросил Кларк.

— Да, видите, какая неприятность сразу при первом знакомстве.

Кларк растерянно провел рукой по волосам. Еще по дороге он много думал о том, какими средствами вернее всего он сможет приобрести необходимый авторитет среди подчиненных ему рабочих, установить принятые в этой стране товарищеские отношения, сохраняя надлежащую дистанцию. Неожиданный инцидент путал все обдуманные планы и, с другой стороны, создавал непредвиденную возможность каким-то удачным жестом сразу же приобрести расположение рабочих. Если сейчас он не решится на что-нибудь особенное, другой такой случай вряд ли скоро подвернется.

Он нагнулся к Полозовой:

— Скажите, это не будет неудобно, если я попытаюсь с ними поговорить? Поскольку это рабочие с моего участка...

— Вы? А знаете, это неплохая идея!.. Товарищ Еремин, мистер Кларк хочет сам поговорить с рабочими своего участка. Это наверняка произведет впечатление. Как вы думаете?

— Американец? А ну, валяй, пусть попробует.

— Давайте, мистер Кларк. Это будет очень хорошо.

Полозова выступила вперед:

— Товарищи, к нам на строительство приехал из Америки инженер Кларк, который будет у нас здесь работать на первом участке. Он хотел бы сказать вам несколько слов и просит минуту внимания.

Гармошка умолкла.

Рабочие поднялись и присели на нарах, дальние придвинулись ближе, присматриваясь к гостю в куцых штанах. Водворилась тишина.

— Говорите,— толкнула Полозова Кларка.

Кларк смущенно откашлялся и сказал негромко по-английски:

— Рабочие, я понимаю, что без табаку курящему человеку трудно. Но ведь оттого, что вы не будете работать — ничего не изменится. Табак от этого не появится, а работа будет стоять. Будьте благоразумны и не создавайте затруднений для администрации. Я присутствовал вчера на совещании, где говорилось о вопросах транспорта, и знаю, что временные затруднения со снабжением вызваны не недосмотром, а действительно физической невозможностью обслужить все области строительства при помощи очень ограниченного транспортного парка. Не создавайте лишних трудностей и выйдите на работу...

Он умолк, хотел еще что-то сказать, но позабыл, смущенно откашлялся и не сказал больше ничего.

— Товарищи!— подумав минуту, перевела Полозова.— Инженер Кларк говорит, что у себя на родине, в Америке, он много слыхал о русских рабочих, которых американский пролетариат рассматривает как своих учителей, показавших рабочим всего мира, как надо делать революцию и как надо защищать ее завоевания. Поэтому он говорит, что первая встреча с русскими рабочими принесла ему большое разочарование. Инженер Кларк говорит, что если все русские рабочие так же понимают свой долг перед революцией, то с такими рабочими социализма не построить. О том, что он здесь слышал и видел, ему стыдно будет рассказать американским рабочим.

Кларк во время перевода смущенно стоял в стороне, чувствуя на себе десятки пар внимательных глаз. Он сознавал, что произнес плохую речь, и не понимал, почему так волнуется Полозова, переводя его слова, которые казались ему в эту минуту глупыми и беспомощными. Нужно было обязательно что-то предпринять и поправить впечатление от неудачной речи. Когда Полозова кончила, он внезапно сделал несколько шагов вперед, подойдя вплотную к первым нарам, вытащил из кармана коробку папирос и протянул ее рабочим.

Воцарилось неловкое молчание.

Несколько рук потянулось за папиросами.

— Инженер Кларк сказал еще,— добавила поспешно Полозова,— что он приехал сюда работать не за еду и не за табак, и что тем, которые свое участие в социалистическом строительстве ставят в зависимость от пачки махорки,— он охотно уступает свою порцию.

Кларк все еще стоял с коробкой папирос в протянутой руке. Никто больше из коробки не брал. Парни, которые уже взяли, не закуривая, сосредоточенно вертели папиросу в пальцах.

— Небось у них в Америке рабочие сигары курят, а не махорку,— сказал после долгой паузы со своего места мужичок с рыжей бородкой.

Никто его не поддержал.

— Оно верно, без махорки работа — не работа,— поднялся с нар высокий усатый дядя.— Мутит курящего человека без курева. Но нельзя, ребята, и перед американцем лицом в грязь ударить. Обещали: догоним и перегоним, а выходит — не догнали и сели. Вот и правильно американец в рожу нам плюнул. Не рыпайтесь, значит. Шум подняли на весь свет, а на поверку — кишка тонка. Только зря он это. Как будто рабочему человеку и побузить нельзя. Не понимает он рабочего человека. Думает, и вправду из-за пачки махорки работаем. Чудаки они, американцы!.. Пошли, ребята? А? Покажем Америке, как русский рабочий вкалывает!

Человек тридцать медленно поднялись с нар.

— Иди, иди, трое не уговорили, так четвертый уговорил,— бросил злобно мужичок с рыжей бородкой.— Уши развесили! Может, еще он и американец-то не настоящий.

— А ты его проверь, побалакай с ним по-американски. Спроси, как там в Америке-то, скоро раскулачивать будут?— сострил гармонист.

— А ну, ребята, поскалили зубы и хватит,— поторопил усатый.— Пошли! Работнем назло Америке!

Все поднялись с мест.

— А еще говорят — рабочая солидарность!— воркнул, напяливая рубаху, рыжебородый.

— Ну, и стоило, ребята, из-за пустяков столько крику поднимать?— сказал весело Еремин.— Теперь придется поднажать, время потерянное наверстать надо. А то на черную доску запишут.

— Мы-то поднажмем, Николай Васильевич, а вы насчет махорочки поднажмите. Ей-богу, без курева, как без жены, и на душе муторно и покрутить нечего.

Они толпой высыпали наружу.

Кларк, Полозова и Еремин вышли последними. В нескольких шагах от барака к ним подошел невысокий человек в белой косоворотке.

— А наш американец-то, оказывается, свой парень,— подмигнул ему Еремин.— Какую речугу ляпнул!

— А ты понимаешь разве по-английски?— человек в косоворотке обращался к Еремину, но глаза его были устремлены на Кларка.

— Полозова переводила.

— Я перевела совсем не то, что он говорил,— вмешалась, краснея, Полозова.— Я знаю, что это нехорошо, но мне хотелось ликвидировать весь инцидент возможно скорее. Я сказала им то, что на месте инженера Кларка сказал бы «наш» американец.

Кларк внимательно наблюдал за Полозовой. Он расслышал свою фамилию и заметил смущение Полозовой перед человеком в косоворотке.

— Это злоупотребление. Скажите об этом немедленно инженеру Кларку.

— Конечно, я как раз хотела ему об этом сказать.

Человек в косоворотке пошел с Ереминым к центральным баракам.

— Я должна перед вами извиниться,— начала Полозова, когда они остались вдвоем с Кларком.— Я безбожно переврала вашу речь. Вы говорили очень хорошо, но их такие слова не берут. Почему не послушались ни Четверякова, ни Еремина? Они оба обращались к их рассудку, а человека, когда он заупрямится, здравым смыслом с места не сдвинешь, надо добраться до селезенки, на чувство подействовать, пристыдить. Ведь многие из них, по сути дела, хорошие ребята. Есть часть раскулаченных, и те постоянно воду мутят.

— Я говорил очень плохо. Правильно, что вы передали это по-своему. Поверьте, я никогда не выступал публично, и говорить, в особенности с русскими рабочими, которых совершенно не знаю, мне вдвойне трудно.

— Да нет, и сейчас было очень хорошо. Вот с папиросами, например, у вас вышло здорово. Я бы до

этого никогда не додумалась... Только давайте — в будущем не надо, а то все папиросы раздадите и потом, чего доброго, сами забастуете,— добавила она, смеясь.

Они зашагали вслед за группой удалявшихся рабочих.

Еремин вернулся в свою юрту, временный кабинет начальника строительства на первом участке. Он предпочитал это помещение душной каморке за дощатой перегородкой канцелярии. Юрту он велел поставить на самом берегу, в двух метрах от обрыва, и повернуть выходом к реке. От реки в юрту круглые сутки струилась драгоценная прохлада. Толстые кошмы не допускали вторжения назойливых голосов с поселка, как не допускали скорпионов и фаланг. Работая здесь, Еремин чувствовал себя отгороженным от внешнего мира плотным колпаком из войлока. Ему казалось, что только здесь он может по-настоящему сосредоточиться. И когда перехлестывающий через голову хаос строительства заставлял Еремина захлебываться в водовороте цифр, заявок, накладных, сводок и зияющих недовыполнений, когда все от него чего-то требовали, дожидались, настаивали, а он переставал уже понимать и в рефлексе самозащиты кричал, грубой руганью, как кулаком, бил в лицо осаждающей его толпы подчиненных,— в такие минуты он хлопал дверью, оставляя в недоумении ошарашенных прорабов, и шел в юрту додумать что-то до конца, ловить за хвостик неуловимую первопричину разлада.

В юрту к нему не ходили. Знали — ничего, кроме ругани, от него в эти минуты не услышишь. «Пошел в юрту» — значило: вышел из себя, орет почем зря, значило: переждать и не трогать. Это было единственное помещение, кроме уборной, где Еремин оставался совершенно один и куда не приходили к нему с делами. Часто, не возвращаясь ночевать в местечко, он проводил в юрте целую ночь за сводками, таблицами, диаграммами, напряженно пытаясь связать их в единую систему, искал ошибки, составлял новый план выполнения тех же заданий при наличных возможностях.

Наутро выходил заросший, желтый и спокойный. Шел на участок. Вызывал Четверякова. Долго демонстрировал прорабам, как надо перераспределить рабо-

чую силу и расставить механизмы, чтобы получить максимум эффекта. Четверяков кисло соглашался. Вечером приходила сводка. Если сводка показывала увеличение производительности на несколько кубометров, Еремин радовался, как ребенок, созывал инженеров, подробно доказывал преимущество своей системы, развертывал план на будущее. Из плана следовало, что при нормальной арифметической прогрессии прорыв через месяц должен быть целиком ликвидирован.

Но сводка следующего дня опять показывала снижение,— несколько механизмов вышло из строя, и, ввиду отсутствия запасных частей, сектор механизации отказывался наметить даже приблизительный срок их ремонта. Тогда Еремина охватывало тупое отчаяние. Он запирался у себя на квартире и мрачно глушил коньяк или шел к Немировской.

С Немировской дело началось как будто случайно. Когда приехал новый заведующий сектором механизации, фамилия его быстро облетела все участки, не потому, что был он чем-нибудь знаменит, а потому, что привез с собой жену исключительной красоты, бывшую актрису. Скоро на совещания инженеров стали являться одиночки. Вечером, если Еремину нужен был кто-нибудь из молодых инженеров, приходилось посылать за ними на квартиру к Немировским.

Еремину Немировская не понравилась. От женщины он требовал женского: круглых бедер и раскидистых плеч. У этой не было ни того, ни другого, и вся она показалась Еремину похожей на обсосанный леденец.

Констатировав это, он перестал ею интересоваться. Поговаривали, что она путается с местным прокурором Кригером, но в этих разговорах молодых инженеров слишком явно сквозила собственная неудача. Еремин быстро забыл о существовании Немировской.

Напомнил о ней сам Немировский, зашедший однажды утром к нему в кабинет. Немировский просил устроить на работу его жену, которая скучает на этом пустыре. Жена знает стенографию, пишет на машинке и может вести секретарскую работу. Еремин велел ее зачислить в канцелярию.

И потому ли, что машинистки были неопытные, выдвиженки, писали медленно и с ошибками, или потому, что хотелось ему проверить новую служащую, только

диктовать ближайшую докладную записку вызвал Еремин Немировскую. Диктовать пришлось быстро, не останавливаясь на каждой фразе, как с машинистками. Немировская стенографировала. Еремин с любопытством смотрел через ее плечо, как жесткие фразы доклада претворяются на бумаге в цепь черточек и крючков. Ему до этого никогда не приходилось диктовать стенографистке. О принципе стенографии он имел весьма смутное представление. Питерский металлист, упорной учебой постигший мудрости техники, он нередко наталкивался на неизвестные ему, опасные области, которые приходилось обходить стороной, в то время как рядовой техник, со средним образованием, чувствовал себя в них как дома.

Смотря недоверчиво на скользящие по бумаге длинные пальцы Немировской, через которые, как через трансформатор, бежали его длинные мысли, выходя оттуда рябью условных знаков, он думал скептически — способна ли она сама разобраться в том, что написала, и восстановить его речь от начала до конца.

Когда на следующее утро она протянула ему докладную записку, чисто перепечатанную на машинке, и он убедился, что не переврано ни одно слово, он проникся невольным уважением к новой сотруднице.

Через несколько дней он перевел ее в личные секретари.

Теперь им приходилось работать вместе, подолгу засиживаясь по вечерам, и неизменно на следующее утро Еремин находил у себя на столе перепечатанный вчерашний материал. Было непонятно, когда она успевала все это делать.

Однажды,— было это в те дни, когда график резко пополз вниз,— она зашла к Еремину на квартиру, чтобы передать очередные сводки. Еремин сидел за столом и стаканом пил коньяк. Она без слов подошла к столу, взяла стакан и выплеснула коньяк на пол. Еремин смотрел смущенно, глазами страдающей собаки. Немировская обвила его шею руками и привлекла к себе. И, уминая своими большими лапами ее податливое тело, словно желая придать ему новую форму, Еремин понял, что это куда крепче коньяка.

Так началась эта несуразная связь,— пошленькая связь шефа с секретаршей, островки разрозненных встреч, в промежутках между которыми оба продол-

жали оставаться друг для друга чужими. Те, которые знали об этой связи (а догадывались о ней все), одобрительно удивлялись, как мастерски маскируется Еремин в служебные часы, не выходя ни на минуту по отношению к Немировской из своей роли сурового шефа. Еремину же не надо было маскироваться. В периоды прилива энергии, когда график медленно, по миллиметру, карабкался вверх, присутствие Немировской тяготило его и раздражало, как напоминание о приступах собственной слабости. Он подумывал тогда о том, чтобы перебросить Немировскую в технический отдел. Но график летел вниз, приходил новый отлив, и Еремин брал Немировскую, как берут бром, с гулом в висках, и целовал ее ноги, в звериной благодарности за ласку, за мягкость прикосновения, за доброе слово.

...Он пришел в свою юрту, горько додумывая, что не умеет уже разговаривать с рабочими, как раньше, когда после его речи целый завод добровольно оставался на ночную смену.

Он подошел к столу, взял первую попавшуюся сводку.

— Можно к вам? Не помешаю?

Еремин вздрогнул: кто мог прийти сюда?

У входа в юрту стоял Немировский.

— Можно?— повторил Немировский.

Еремин смотрел на него, не отвечая.

«...А у него бородка, как у Христа,— подумал он ни к селу, ни к городу.— И сюда пришел как будто по воде: шагов не было слышно».

Ему вдруг пришла непреодолимая охота ударить этого человека кулаком в нос: «Полетел бы вверх тормашками прямо в реку, и дело с концом».

— Можно?— уже с оттенком нетерпения повторил Немировский.

— А я знал, что вы ко мне сегодня придете,— сказал Еремин не то себе, не то Немировскому.

— Ясно, вы ведь вчера вечером на совещании заявили всенародно, что у вас будет со мной особый разговор. Слушаю...

— Нет, не потому. Впрочем, это не имеет значения.

— Итак?

— Итак, вы слыхали: я сказал вчера на совещании, что кое-кого отдам под суд. Я имел в виду вас.

— Очень мило.

— Я познакомился за последнее время с делами механизации, которая испокон веков являлась корнем всех наших бед и прорывов, и убедился, что вся работа механизации ведется с таким расчетом, чтобы не помогать нашему строительству, а, наоборот, срывать все наши мероприятия.

— Убедились? И не думаете, что можете разубедиться?

— Нет, не думаю. Я полагал сначала, что это отдельные недочеты, но убедился, что это не недочеты, а система. Начиная с системы заработков. Среднему квалифицированному рабочему вы дали такие гигантские ставки, что никакая сдельщина его заинтересовать не может и никакое соревнование в этих условиях немыслимо. Шкала заработков построена у вас так, что рабочий менее всего заинтересован в производительности своей работы. И это оправдалось на практике. Производительность в вашем секторе смехотворна, о труддисциплине и говорить не приходится. Рабочий загребает огромные деньги, не давая почти ничего строительству. Более того, самой организацией работ вы изолировали мехмастерские от всей системы строительства, выделили их в какое-то государство в государстве. Рабочие у вас ничем не связаны с общими темпами строительства, все организовано так, чтобы убить всякое чувство ответственности за совокупность работ.

— Это все?

— Нет, это далеко не все.

— Если б это было все, я сказал бы вам, что те возвышенные вещи, о которых вы говорите: «чувство ответственности», «социалистическое соревнование» и тому подобное,— это дело профсоюзной организации, а не руководящего инженера. Мое дело — обеспечить строительству быстрый ремонт механизмов.

— Насчет быстроты ремонта, я думаю, вам лучше не настаивать. Механизмы стоят у вас неделями и месяцами.

— Если не хватает запасных частей, я вообще отказываюсь ремонтировать.

— Я не сомневаюсь, что если б вы могли, то отказались бы и в тех случаях, когда у вас есть запасные части. Ваш конек с запасными частями уже порядочно изъезжен. Вы имели за это время возможность выпи-

сать их сто раз. Не говоря уже о том, что целый ряд частей могли бы изготовить на месте, в собственных мастерских. Разве у вас работа ведется по какому-нибудь плану, основанному на стремлении удовлетворить потребности строительства? У вас ремонтируются только те механизмы, о которых тот или иной прораб договорится за выпивкой с тем или иным из ваших мастеров. Трактор, испортившийся позавчера на первом участке, починили в двадцать четыре часа за две бутылки водки. Другие трактора стоят неделями.

— Это недоделки, неизбежные во всех азиатских строительствах. Если б я стал увольнять за это рабочих, у нас в скором времени никого бы не осталось. Приходится довольствоваться той рабочей силой, которую имеешь. Ни один хороший рабочий не пойдет работать в здешних условиях.

— Я знаю случаи, когда вы увольняли рабочих, но как раз самых активных. Вы искусно подобрали в механизации всю татуированную шпану, патентованных рвачей и лодырей со всего Союза. Несмотря на все ваши усилия, даже среди этого элемента нашлись честные рабочие, болеющие за строительство. У вас стихийно возникли ударные бригады и возгорелось соревнование. Вы поторопились уволить застрельщиков под разными благовидными предлогами и повысили ставки, чтобы отбить у рабочих охоту к соревнованию. Вы постарались насмешливым отношением, издевками и остротами остудить пыл ударников. Вы смеете говорить о качестве рабочей силы, а два месяца тому назад, когда вам прислали двести механиков-партийцев из демобилизованных красноармейцев,— вместо того чтобы обновить свой рабочий состав, вы отклонили их всех, всех до одного, под предлогом слабой квалификации.

— Мне кажется, как начальник механизации, я имею право и данные оценивать квалификацию моих рабочих. Машины чинят не языком, а руками. Механизации нужны квалифицированные рабочие, а не квалифицированные агитаторы.

— Вы прекрасно поняли, что рабочие-коммунисты разоблачат в три счета вашу «систему» и организуют рабочую массу. Поэтому вы предпочли не допускать их в ваше заповедное государство. Оправдания ваши не стоят и ломаного гроша.

— Я вижу, что оправдания бесполезны там, где все решено заранее и они могли бы разрушить готовые планы.

— Какие планы?

— В секторе механизации, несомненно, есть неполадки, как и во всех других областях строительства, но я не ошибся, когда предполагал, что вы захотите их преувеличить и раздуть до размеров преступления только потому, что во главе этого сектора стою именно я.

— То есть как? Будьте добры выражаться яснее.

— Яснее? Я думаю, мы оба понимаем, и нет надобности класть вам в рот и разжевывать. Вы отняли у меня жену, а теперь решили освободиться от меня.

Еремин вскочил бледный, словно вся кровь хлынула в красные жилки внезапно набухших глаз. Рука с огромным кулаком качнулась назад, как для удара. Немировский заслонился рукой. Еремин провел ладонью по волосам.

— Не бойтесь, я вас не ударю,— сказал он внезапно охрипшим голосом.— Если вы подлец, то, во всяком случае, ловкий подлец.

Он проглотил слюну и растерянно посмотрел на свои большие руки.

— Запутался я тут с вами...— сказал он вслух, как разговаривал с собой, когда был один в юрте.

Он посмотрел на Немировского.

— Вот что, уйдите отсюда... только сейчас же. Я сам зайду к вам сегодня в механизацию.

Когда час спустя Еремин появился в кабинете Немировского с кипой сводок в руке, он был уже совершенно спокоен.

— Вы говорили мне, что у вас не хватает к механизмам многих запасных частей,— сказал он, глядя в окно.— Мне кажется, быстрее всего будет, если вы сами съездите и поторопите... Дайте мне письменную заявку, я на этом основании подпишу вам командировку в Москву. Только заберите с собой все... Ну, не вещи, конечно. Вещи надо оставить, отправим вам потом,— это вызвало бы ненужные толки. Возьмите все, что вы с собой привезли... Я понимаю, семью... Через две недели я подпишу приказ о вашем увольнении.

По направлению к горам плато, усеянное камнями, заметно поднималось. Овраг, вырытый в галечнике, по мере возвышения плато врезался в него глубокой ложбиной.

У стены, уткнувшись мордой вниз, стоял одинокий экскаватор. Экскаватор, сопя и похрапывая, терпеливо грыз грунт. Набрав полную пасть камня, он поднимал свою жирафью шею, озирая окрестности, выплевывал застрявший в глотке щебень, протяжно зевал и опять равнодушно принимался за работу. Чувствовалось, что экскаватору скучно, что ему надоело здесь копаться одному, что он тоже ждет обещанной подмоги и, озираясь по окрестностям, высматривает, не видать ли тех двадцати пяти, не слышно ли, как под их лапами жалобно хрустит галька, не появилась ли уже на горизонте вереница длинношеих уродов, шествующих важно, как гуси, к каменному корыту.

Выйдя из канала, Кларк очутился над глубоким котлованом и тут же рядом впервые увидел реку, словно тяжелым сабельным ударом обрубившую подошву гор. Река неслась внизу. От реки веяло холодком. С возвышенности видно было место, где она прошибала горы и вырывалась на равнину.

В горах Калифорнии Кларк наблюдал однажды автомобиль, съезжавший с пассажирами по крутому серпантину над обрывом и поломавший тормоза. Автомобиль мчался, набирая скорость, и потом с разбега, подпрыгнув на повороте, плавно полетел в пропасть. Река, с бешеного разбега проломав в горе проход, летела вниз по плато, не в состоянии уже остановиться, с шумом разрезая воздух, чтобы где-то сорваться к черту или разбиться в мелкие брызги о предательский выступ скалы.

Кларк знал, что эту реку надо повернуть под прямым углом, отвести в глубь плато. Стоя на обрывистом берегу, он мысленно подсчитывал возможную силу удара.

— Вот мы, кажется, и пришли,— огляделась Полозова.— К сожалению, я не могу вам объяснить всего как следует, а из инженеров никого поблизости нет. Придется послать за Уртабаевым.

Они сели на груду камней, ожидая, пока чернорабочий узбек, вызвавшийся разыскать Уртабаева, не приведет его на головное.

— Кто был этот человек с бритой головой, в русской рубашке, который подошел к нам у выхода из барака? — спросил неожиданно Кларк.

Спрашивал он как будто нехотя, но Полозова уловила пристальный взгляд, устремленный на нее из-под ресниц.

— Это товарищ Синицын, секретарь партийного комитета нашего строительства.

— У него хорошие, умные глаза.

— Прекрасный работник. Вот побольше бы таких. Местные условия знает, как коренной таджик. Выучился даже говорить по-таджикски.

— Он давно в Средней Азии?

— Пятый год, кажется. Рвется в Москву на учебу — не пускают.

— Вот это меня у вас поражает. Встречаешься с этим на каждом шагу. Взрослые, зрелые люди, с большим практическим опытом, на тридцатом, на сороковом году жизни садятся на школьную скамью доучиваться и переучиваться. Это немыслимо ни в одной стране. У нас к тридцати годам человек формируется уже окончательно. Если он до этого возраста не сумел встать на тот путь, о котором мечтал, он мирится с этим и не пытается выпрыгнуть из кожи. У вас вся система образования построена с расчетом на то, чтобы уничтожить этот возрастной рубикон.

— Вы не считаете это положительным явлением?

— Признаться по правде, нет. Я, конечно, не говорю о товарище Синицыне, который, вероятно, просто хочет углубить свои знания, чтобы со временем стать руководителем вашей партийной организации в более широком масштабе. Это вполне понятно. Я говорю о тех внезапных, я бы сказал, немножко истерических прыжках — от одной профессии к другой, от физического труда к умственному,— которые люди проделывают здесь на каждом шагу. Один, положим, до тридцати пяти лет был хорошим токарем по металлу и внезапно, увлекшись секретами химии, садится за парту изучать химию, чтобы к сорока годам превратиться в инженера-химика. Другой, скажем, половину своей жизни делал колесики для часов, научился вырабатывать их рекордное количество и внезапно, заинтересовавшись проблемой использования солнечной энергии, бросает станок и начинает грызть книги, что-

бы через несколько лет стать инженером-тепловиком. Примеров вы можете привести сами из своего окружения сколько угодно.

— А почему вы считаете, что это плохо?

— Видите, я понимаю, что это ищет выхода неиспользованная человеческая энергия, но, мне кажется, от такого нерационального переключения этой энергии не выигрывает ни общество, ни сам переключающийся. Государство ваше теряет лучшие квалифицированные рабочие кадры с большим производственным стажем, чтобы приобрести слабых и неопытных инженеров, которые, пока успеют накопить прежний опыт в новой области, будут уже стариками. Этот процесс должен очень отрицательно отражаться на вашем строительстве. Если вы хотите действительно догнать и перегнать передовые капиталистические страны, вы должны перенять у них принцип узкой специализации, не разрушать водораздела между умственным и физическим трудом, выработанного веками. По крайней мере закрепить его лет на десять, пока не догоните и не перегоните, и распределять свою квалифицированную силу крайне осторожно и экономно. Это перманентное переселение людей по ступеням производственной лестницы не может не вносить хаоса в ваше производство. Я слыхал не раз, что социализм — это план. Как же вы хотите планировать хозяйство, планово производить и распределять товары, не распределив заранее планово тех, которые производят?

Полозова присматривалась к говорящему с законным любопытством, с каким существо одной породы смотрит на существо другой, о которой знало до сих пор только понаслышке. В углах ее губ пряталась улыбка. Кларку эта улыбка показалась снисходительной: это раздражало его больше, чем самые язвительные возражения, и он резко оборвал вопросом:

— Вы с этим не согласны?

— То, что вы говорите, было бы вполне правильно, если бы мы строили передовое капиталистическое государство и должны были бы проделывать с начала до конца пройденный вами путь. Но это далеко не так. К тому же, плановое распределение людей мыслится вами очень уж механически, по-старому, пофордовски: столько-то сотен рабочих делают всю свою

жизнь одни гайки, столько сотен других — одни только винтики, и так далее, специализация до совершенства. Это старо даже для капиталистической системы производства. Мы берем от вас вашу высокоразвитую технику на уровне ее новейших методов. Нам слишком дорого обходится ваша техника, чтобы мы покупали ее вчерашние продукты, которые завтра уже выйдут из употребления. Непрерывный поток производства, которому вы предлагаете учиться у вашей родины, это даже для Америки вчерашний день.

— Вот как! А я об этом не знал.

— Зачем рабочему, низведенному до роли механизма, проделывать изо дня в день одно и то же движение, когда в этих механических движениях его легко может заменить машина, а рабочий из механизма превратится в контролера механизмов? У вас этот напрашивающийся шаг вперед неизбежно повлек бы за собой увольнение сотен тысяч рабочих, увеличение и без того чудовищной армии безработных. Вам он, в настоящих условиях, не по карману. Только мы можем его себе позволить, и потому можем позволить и то, что вы называете перманентным переселением людей по ступеням производственной лестницы. Извините,— это может вам показаться в моих устах парадоксальным,— но вы мыслите старыми техническими категориями, и вы напрасно полагаете, что для нашей технически отсталой страны они еще новы и могут сослужить службу. Самое понятие специальности, профессии, как вы его берете, отживает уже свой век. Нам незачем воспитывать живые механизмы, которые завтра уже будут нам непригодны.

— Положим, если бы даже было так, то сегодня вы еще ощущаете в них жестокую необходимость. Без узкоквалифицированных кадров вам не создать той базы высокоразвитой промышленности, без которой нет социализма. Создайте ее сначала, а потом уж ликвидируйте раздел между умственным и физическим трудом.

— В переводе на наш язык то, что вы предлагаете, означает: постройте социализм капиталистическими методами труда, а потом уже устраивайте торжественное открытие: с сегодняшнего дня открывается социалистическое общество — вход бесплатный. Вы забываете одно: что социализм — это люди и что без выкор-

чевывания корней капитализма из сознания людей не может быть социалистического общества, так же, как не может быть социалистического производства на основе капиталистического принципа: человек — функция машины...

Кларк хотел что-то ответить, когда взгляд его упал на выросшую внезапно у ног длинную тень. Он поднял глаза и увидел невысокого оливкового мальчика, на вид лет пятнадцати, в зеленой комсомольской рубашке с кимовским значком и в плюшевой тюбетейке. У мальчика были ослепительно белые ровные зубы: когда он улыбался, казалось, что в сумерках смуглого лица вспыхивает электрическая лампочка.

— Познакомьтесь,— поднялась Полозова,—это мое начальство, товарищ Нусреддинов, секретарь комсомольского комитета.

— Инженер из Америки? — улыбнулся мальчик, показывая ровные зубы.— Знаю Америку, видел Америку.

— Где же ты видел Америку, Керим? — удивилась Полозова.— Небось в книжке?

— Нет, не в книжке. В Сталинабаде видел. На базаре.

— На базаре?

— На базаре панорама была, хорошая панорама. В окошко смотришь — Америку видно. Очень хорошая Америка!

— Вот видите, нравится ему ваша родина,— перевела Кларку Полозова.— Видел в Сталинабаде панораму.

— А что ему больше всего понравилось?

— Дома хорошие. Высокие, о! Как гора! Хорошо жить в таких домах. Высоко! Воздуха много! Внизу плохо. Пыли много. Я тоже высоко жил. Скажи американцу: во-о! — он указал Кларку на дальние снеговые вершины.

— Он ведь сам памирец,— объясняла Полозова.— Горы любит! Видел в панораме американские небоскребы. Говорит: в них жить хорошо. Высоко, как в горах. Вы сами в Нью-Йорке на каком этаже живете?

— На сорок седьмом.

— Видишь, Керим, выходит, вы оба горцы,— пошутила Полозова.

— Скажи американцу, у нас тоже такие дома будут. Хлопка будет много-много, потом построим.

— Неверно, Керим, не будем мы таких домов строить. Это капиталистические города. Социалистические все будут в садах.

— Нет, горы не капиталистические, горы пролетарские. Рабочим хорошо жить надо, высоко жить надо. Низко жить — плохо жить,— он показал в улыбке белые зубы.— Извини американца, мне бежать нужно. Скажи американцу, очень интересная Америка. Хорошо бы когда-нибудь комсомольцам про Америку рассказать. Попроси американца. Я побегу. Комсомольцы соревнование проигрывают, нехорошо!

Он блеснул зубами, помахал рукой и быстро зашагал мимо экскаватора по хрустящему гребню отвала.

— Очаровательный малый! — Кларк провожал глазами стройную фигурку, ловко пробирающуюся по камням кавальера.

— Замечательный! А какой товарищ! Умный, интеллигентный, серьезный. Попросите его как-нибудь, чтобы он вам свою историю рассказал. Как он пешком с Памира пришел учиться в Сталинабад, как у его отца мулла землю украл, увез единственное поле. Да, да, дословно увез на ослах,— это не метафора. Как он от басмачей убегал. Это прямо роман. И не приключенческий. Это история лучшей части нашей комсомольской молодежи.

*

пауза вторая

О ПОХИЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ

Шел второй год Автономной Таджикской социалистической республики. По горным уступам Памира зима отгремела метелью, обрывистой пальбой, цоком басмаческих коней. Осколки басмаческих банд, убегая от красноармейской пули, метнулись вверх по отвесным снеговым перевалам, закрытым и непроходимым зимой. Под копыта лошадей озверелые от стужи джигиты стелили кошмы, захваченные из ограбленных кишлаков, чтобы и лошадям и людям не провалиться в рыхлый, бездонный снег. Кони, мягко ступая по вой-

локу, перевалили к пограничному обрыву и пошли вплавь через ледяной Пяндж топтать гостеприимную афганскую землю.

Весна пришла снизу, с долин, и расстелила под копыта стад, встречными потоками разлившихся по горам, зеленые кошмы муравы. Ледники сползали с плеч вершин, как белые гармские бурки. В Хороге на базаре зацвели шелковицы, появились индийские и китайские купцы, и лабазы зацвели женскими шелковыми чулками, пудрой, пестрым колониальным хламом, индийскими чалмами, пропахшими контрабандным опиумом.

Тогда к секретарю областного комитета в Хороге, Владимиру Синицыну, пришел оборванный мальчик и через переводчика заявил, что у его отца, бедняка из Бартанга, мулла украл землю, два сера; больше у него ничего не осталось. Всей семье придется помирать с голода, если ката-урус[1] за них не заступится.

— Как же это так, среди бела дня у бедняка всю землю отняли? — полюбопытствовал секретарь.— В сельсовет жаловался?

— Жаловался. Сельсовет говорит: силь[2] смыл. В сельсовете мулла хозяин.

— Надо было обжаловать в вик.

— Ходил и в вик. Прислали человека. Сельсовет подтвердил. Вик тоже решил: силь смыл.

— Постой, как же силь смыл? Малый ведь говорит, что не посевы погибли, а землю у отца мулла захватил. При чем тут силь?

Переводчик повторил вопрос.

— Говорит, силь смыл не у отца, а у муллы. Землю смыл. Два сера. Мулла ночью пришел с людьми, когда отец спал, землю его украл и перевез к себе. У муллы земли много, три амбана[3], а у отца только и было, что два сера. Всю забрал.

— Как же он землю-то перевез? Путаешь, наверное, что-нибудь?

— Так и говорит, ночью перевез, на ослах.

---

[1] Ката — великий, урус — русский.

[2] Стихийное бедствие: воды, образующиеся от таяния снегов, низвергаются вниз, катя огромные камни и сметая все на пути.

[3] Мера высева; шесть пудов зерна (приблизительно три пятых десятины).

— Что же у них там земля с места на место перекладывается?

— Увез, говорит, и с кибитки всю землю увез, на крыше которая была. Не слыхали, потому что спали. Урусы, говорит, слышал, за бедняков заступаются, мулл не любят, вот и пришел пожаловаться. Три дня шел. Если урус не поможет — все с голоду умрут.

Секретарь недавно перебрался из другого района. Области своей хорошо еще не знал. Область трудная, дорог испокон веков не было. Изучал медленно. О Бартанге слышал, что это самая голодная волость — скудная полоска земли между двумя хребтами по соседству с Неисследованной областью. Дорог по волости не было, ослу не пройти. Пешеходы ухитрялись, да и то не один срывался в пропасть, даже из местных дехкан. Советская власть существовала там в отдельных джамагатах [1] без всякой связи с центром. О бартангцах говорили, что хлеба у них хватает на полгода и то в хорошие, урожайные годы. Остальное время едят неизвестно что.

Решил секретарь проехать туда сам, расследовать таинственное дело, кстати посмотреть волость, проверить, как там на деле советская власть выглядит.

Взял с собой переводчика, местного комсомольца.

Сели на лошадей, говорят малому:

— Веди!

Поехали. На второй день лошадей пришлось оставить с коноводом в кишлаке, а дальше дорогу продолжать пешком. Овринги [2] по отвесным скалам вьются, как хмель. Тут вбит в стену колышек, там мостик из качающегося бревна, там замысловатая лестница из сучьев, вся держится на честном слове.

Добрались.

В сельсовете переполох. Гладят бороды, руки к сердцу прижимают, улыбаются, а видно, струхнули. Несут лепешки, катык, тутовые ягоды. Чай в пиалушку подливают по глоточку.

Начал секретарь расспрашивать. Так и так. Бился часа три, пока наконец картина не стала ясна.

Волость безземельная. Та земля, которая есть, вся галькой покрыта. К тому же воды не хватает. Дехкане

---

[1] Сельсовет.

[2] Карниз, по которому проходит тропинка вдоль отвесных скал. Строится из хвороста, камней, иногда из бревен.

на скалистых площадках около ручьев устраивают поля. Землю в мешках на ослах, а то и на спине таскают издалека, утрамбовывают толстым слоем на голой скале. Чтобы силь не смыл, возводят вокруг широкие дувалы из собранных при очистке поля камней. Так делается поле. Поле малюсенькое — лоскут. Много земли из-за отсутствия дорог притащить не удается. Два-три сера самое большое. Сер — мера посева: восемь тюбетеек зерна. Так и мерят: на засев такого-то клочка выходит шестнадцать тюбетеек зерна. Земля, если притащили больше, складывается на крыше мазанки, про запас. Может, часть земли вода смоет, может, если камни обвалятся, можно будет в следующем году расширить площадку. Земля драгоценная, как зерно,— как зерно, измеряется тюбетейками. Потом утрамбованную площадку царапают омачом. Если площадка крутая, бык, чтобы не свалиться, тащит омач, подвигаясь на коленях. В большинстве случаев омач тащит сам дехканин. Земля уродит — хватит хлеба на несколько месяцев. Высохнет ручей — вся работа даром.

У бедняка Нусреддина Ата вся площадка — два сера да мешка три земли на крыше кибитки. Осталась голая скалистая площадка, и земли на крыше как не бывало.

— Смыло силем,— говорит председатель.

— И с крыши?

— Иной раз и кибитки смывает, не только землю с крыши.

— Врет,— говорит бедняк Нусреддин Ата.— Силь был ночью. Утром, после силя, вся земля осталась на площадке. Соседи видели. Земля пропала на следующую ночь, когда никакого силя не было.

Соседи молчат, гладят бороды. Не помнят,— давно было. Может, силь, а может, и не силь,— всяко бывает. Ясно — против председателя не пойдут.

— У муллы Али Мухитдина,— говорит бедняк Нусреддин,— силь снес угол его поля — два с половиной сера. Все видели, днем полкишлака сходилось смотреть. А на следующее утро, когда у меня ночью земля пропала, у муллы Али Мухитдина площадка новой землей поросла.

Вызвали дехкан. Молчат, гладят бороды. Не помнят,— много времени прошло. Сейчас разве прове-

ришь? Мулла Али Мухитдин не такой человек, чтобы чужую землю красть.

Пошли осматривать поле.

У Нусреддина Ата голая площадка, как выбритая, а каменный дувал цел, кое-где только для вида разрушен, но через такие бреши всей земли унести не могло.

— Как же землю силем смыло, если дувал цел? — гнется до земли Нусреддин.

— Ты обманщик, дувал починил. Сколько времени прошло! Кто упомнит, был разрушен или нет? — говорит мулла Али.

Никто не помнит. Всякий за своим дувалом смотрит. Плохой хозяин на чужие дувалы заглядывает.

Присмотрелся секретарь внимательно ко всем дехканам. Видит, стоит среди них один старик, седобородый, борода по пояс. Подозвал его поближе, говорит:

— Ты, старик, аксакал [1], тебе врать грех, над гробом стоишь. Расскажи, как было, по-честному, как правоверный мусульманин.

Место старику на кошме уступил, чаю в пиалу налил. Погладил старик бороду, чай отпил и говорит:

— Еще наши деды сказывали, что голова человека поделена перегородками на четыре равные части. Когда рождается человек, голова его пуста, как кувшин. К десяти годам заполняется умом одна часть. К двадцати годам заполняется вторая. Поэтому не спрашивай никогда совета у юноши, у него только половина ума.

Когда человеку исполнится тридцать лет, у него заполняется умом третья клетка. И только когда человеку сорок лет, вся его голова, все четыре части наполнены умом, и это самый мудрый возраст человека.

Когда человеку исполнится пятьдесят лет, одна часть головы его пустеет и разум из нее уходит. Когда ему исполнится шестьдесят, у него остается только половина ума. Когда старику семьдесят лет, у него опорожняется третья клетка. А когда старику восемьдесят лет — голова его пуста, как у новорожденного ребенка. Поэтому не спрашивай никогда восьмидесятилетнего старика. Что он может тебе сказать, раз в голове у него пусто? А мне как раз восемьдесят лет.

---

[1] Седая борода.

Видит секретарь — старик хитрит. Толку от него не добьешься.

— Я бедняк камбагал,— бьет себя в грудь Нусреддин Ата,— земли у меня больше нет. И скотины нет. У муллы земли три амбана и пара быков, зачем ему земля бедняка?

— Ты, Нусреддин, нечестный человек, зачем про других неправду говоришь,—хмурится председатель,— Али Мухитдин — бедняк: у него земли два кавша[1] и один бычок. Да разве это бычок? Так, большая коза.

Дехкане подтверждают. Да, мулла Али бедняк. Все здесь бедняки. Земли мало.

Почесал затылок секретарь. Видит ясно: председатель врет, и дехкане врут. Председатель сидит в кармане у муллы, а беднота боится. Бедняка явно обворовали. Не заступиться за бедняка — каков же будет тогда авторитет советской власти в глазах бедноты? Пойти против муллы без поддержки дехкан? Нусреддину от этого пользы мало — не жить ему в кишлаке. Да и самим трудненько будет отсюда выбраться. Вот тебе и история с географией! Нужно во что бы то ни стало каким-нибудь неожиданным ходом бедноту против муллы восстановить и заставить определиться. Но как?

Сидит, пьет чай. Дехкане кругом стоят,— ждут, что будет. Выпил пиалы четыре, велит подозвать поближе муллу Али Мухитдина.

— Ты земли, говоришь, не крал?

— Нет.

— И поклясться можешь?

— Могу.

— На, возьми лепешку, поломай и потопчи ногами.

А это у мусульман самая страшная клятва,— хлеб проклясть.

Помялся мулла. Секретарь ему лепешку в руки сует. Взял, поломал и потоптал ногами.

Видит секретарь — дехкане глаза в землю потупили, а старик чая не допил, с кошмы поднялся и ушел.

— Ну,— говорит секретарь,— раз поклялся, значит правда. Не будет же правоверный мусульманин, да еще мулла, хлеб проклинать напрасно.

[1] Мера высева, равная двум серам,— один пуд десять фунтов зерна.

Встал, пояс подтянул и говорит:

— Вот что, товарищи дехкане, каждый из вас знает, что советская власть — это бедняцкая власть, бедняка в обиду не даст. Каждый бедняк всегда может рассчитывать на ее помощь. Нусреддин Ата бедняк? Бедняк, каждый знает. Земля у него пропала? Пропала. Не найдется — умрет с голода со всей семьей. Советская власть этого допустить не может. Если бы выяснилось, что обворовал его кто-нибудь из дехкан, допустим, тот же мулла Али, то мы заставили бы вора вернуть всю землю, да еще весь урожай, которого не мог собрать Нусреддин. Но так как все вы говорите, что не знаете, украл ли вообще кто-нибудь землю или смыло ее силем,— то советская власть решает так: земля к Нусреддину должна вернуться. Нусреддин Ата — житель вашего кишлака. Кишлак должен был ему помочь найти вора. Раз кишлак в этом не помог, весь кишлак вернет ему утерянную землю. Два сера да мешка три на крыше,— будем считать, два с половиной сера. Хозяйств у нас в кишлаке без Нусреддина и муллы Али — пятнадцать. Значит, каждое хозяйство отрежет ему от своей земли и отдаст шестую часть серы. Это раз. Теперь насчет урожая. Урожай у вас тут, говорят, сам-семь, не больше. Значит, с двух серов земли — сто двенадцать тюбетеек зерна. Каждое хозяйство, таким образом, обязано дать Нусреддину семь с половиной тюбетеек зерна. Всем понятно?.. Вот если б оказалось, что земля не силем смыта, а украдена, и если бы нашелся вор, тогда вам давать Нусреддину не пришлось бы ничего. А раз, говорите сами, сиЛь смыл, да еще бедняцкую землю, то нельзя, чтобы один Нусреддин страдал, а не весь кишлак в целом. Так что бегите домой и тащите Нусреддину землю и зерно, чтобы через час все было на месте! А мулла Али, за то, что несправедливо его оклеветали, от этой повинности освобождается.

Когда переводчик перевел, дехкане опешили. Стоят, не шевелятся. Молчат.

— Как же это? — говорит наконец один.— Я земли не крал, а отдавать буду, да еще зерно последнее тащи. Так не годится, я тоже бедняк.

— Да ведь, дружище, ты же сам только что говорил: все вы тут бедняки. Значит, выбирать не из кого.

— Я не воровал и отдавать не должен. Пусть отдает, кто украл,— говорит другой.

— Да ведь вы же сами уверяли, что никто не крал, силь смыл. С силя, что ли, обратно спрашивать?

Стоят, топчутся на месте, совещаются.

Секретарь, как ни в чем не бывало, опять сел на кошму и за чай принялся, кончает второй чайник. Сам искоса посматривает. Видит, мулла багровым соком наливается, бороду мнет и с председателем шепчется, из круга бочком норовят выйти.

— Ну, товарищи дехкане, айда по домам за землей и зерном. Через полчаса чтобы все было! А председатель сельсовета здесь останется. И мулла Али останется, ему ведь не надо приносить.

Поставил одному и другому по пиале, налил чайку на донышко — с уважением.

— Пейте,— говорит,— не откажите.

Потеребили бороды, сели, пьют. Секретарь заканчивает третий чайник, им подливает да все заговаривает. Те любезно улыбаются, а глаза у них так и бегают.

Дехкане стоят, совещаются, сначала шепотом, потов все громче.

Наконец выходит один:

— Видно, и вправду советская власть — бедняцкая власть, раз за бедняка заступается и землю ему вернуть велела. Только неправильно, что с бедняков взять хочет, а одного богатея, так того совсем от уплаты освободила.

— Кто же у вас тут богатей? Все вы, говорите, бедняки, и ни у кого из вас трех амбанов земли нет и пары быков нет.

— Вот он, богатей,— показывают дехкане на муллу.— У него три амбана земли, да два быка, да сотня баранов. Мы ему землю на спине таскали, двое суток волокли. Он нам за это давал в год по тюбетейке зерна в долг. Он землю у Нусреддина украл. Все видели, как у него силем смыло, а через день опять землей поросло. У него и берите.

Вскочили мулла, председатель, начали кричать на дехкан.

Секретарь тихонько вынул из кармана револьвер.

— Связать вора и его помощника.

Старик Нусреддин от радости прыгает, как ребе-

нок. Чалму с головы сорвал, руки мулле связывает. А чалмой муллы связали председателя. Велел секретарь запереть их в хлеву, у входа двух дехкан поставил.

— Стерегите,— говорит,— как зеницу ока. Придет отряд — передайте их в целости. Если выпустите, самим вам потом житья от них не будет.

До полудня дехкане землю с поля муллы Али перетаскивали на площадку Нусреддина, и зерна отсыпали, и три мешка с землей положили на крышу.

А потом созвал секретарь собрание — выбирать новый сельсовет. Выбрали председателем старика Нусреддина и тут же постановили землю муллы конфисковать и прирезать наибеднейшим. До вечера отмерили все честь честью и скот поделили.

Лег секретарь спать в сельсовете. Вздремнул уже крепко, слышит, кто-то тянет его за рукав. Вскочил — малый Нусреддина стоит, говорит переводчику:

— Идите отсюда, я вас отведу в другое место спать, тут нехорошо.

Не спрашивал секретарь, почему и зачем, надвинул тюбетейку и зашагал за пареньком.

Выспались. На рассвете секретарь говорит:

— Хорошо бы захватить с собой арестованных, только как их по такой дороге проведешь? А то отряд не придет, с наших дехкан отвага слетит, выпустят сукиных детей, как дважды два. А ну-ка, давай попробуем.

Пошли к хлеву, видят, у ворот стражи нет. Вошли. Арестованных и след простыл.

Почесал за ухом секретарь:

— Так и знал! Ничего не поделаешь,— пойдем без них.

Прошли километра три, им навстречу опять мальчик Нусреддина.

— Ты откуда? — спрашивает секретарь.— Как же это ты успел?

— Я пошел вперед дорогу посмотреть,— говорит малый.— Нельзя туда идти, лестница подпилена. Советская власть хорошая, не надо идти, упадет. Я поведу другой дорогой.

Стоило это им лишних полдня акробатики, но зато дошли в целости. Сели на коней, с малым прощаются. Говорит ему секретарь:

— Рахмат, спасибо.

Руку жмет, думает, что бы сделать ему такое. Взял, отколол с куртки комсомольца-переводчика кимовский значок и приколол его малому.

— Расти,— говорит,— комсомольцем будешь. Приходи в Хорог, в школу отдам.

Распрощались и поехали.

Пока снаряжали туда работников, пока те собрались,— прошла неделька.

Является однажды утром к секретарю тот самый оборванный малый. Обрадовался секретарь, на стул сажает, зовет переводчика.

— Говорит, папа умер. С горы сорвался. Что-то ему там подпилили, а что — и не разберу хорошенько.

Секретарь не любопытствовал, он знал, что могли подпилить отцу Нусреддина. Сосредоточенно почесав затылок, взял телефонную трубку и сказал в нее пару крепких слов:

— ...Да-да, немедленно. В Бартанг. Малый знает дорогу, поведет... Вот что,— обратился он к малышу,— поведешь туда наших ребят.

Малый кивнул головой, но не уходил.

— Спроси его, чего бы он хотел, какой подарок?

— Он говорит, советская власть обещала его отдать в школу. Учиться хочет. Говорит, проведет наших в кишлак и придет с ними обратно.

— Хорошо,— кивнул головой секретарь.

И, заметив на рубашке мальчика под халатом кимовский значок:

— Надо послать малого на учебу. Из него выйдет толк.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Возвращаясь с обзора участка и проходя мимо полусобранных экскаваторов, Кларк заметил Баркера, прохаживавшегося вокруг машин, в белом шлеме, с руками, заложенными за спину.

Каркас экскаватора без стрелы грузно покоился на земле, как туша животного с отрубленной шеей.

Увидя издали Кларка, Баркер направился к нему.

— Мои экскаваторы, оказывается, еще не пришли, и неизвестно, когда придут,— заявил он почти торжествующе.

— А это? — указал Кларк на экскаватор.

— Это немецкий Менк, дрянная машинка,— скривился Баркер.— Интересно, когда им надоест платить мне деньги за то, что я ничего не делаю!

Полозова нахмурилась. Кларку стало неловко.

— А для вас это лафа,— сказал он почти со злобой.— Помогли бы им хоть эти собрать.

— Менки-то? И не подумаю. Мне какое дело! Пусть немцы сами возятся... Я хотел вам сказать одну вещь,— неожиданно серьезно обратился он к Кларку.

Он отвел Кларка в сторону и шепотом спросил:

— Вы вчера ничего не находили у себя на столе?

— На столе? — нарочито равнодушно переспросил Кларк.— Нет, ничего.

— Смотрите.

Баркер молча вынул бумажник, достал листок и развернул перед Кларком.

На листке виднелся знакомый рисунок.

— Что это вы от нечего делать художеством занялись? — лукаво прищурился Кларк.

— Бросьте шутить: я нашел это вчера у себя на столе.

— Ну и что?

— Что же вы не понимаете? Кажется, ясно! Стрела показывает на Америку, внизу череп. Иначе говоря: убирайся обратно, откуда пришел, а то прикончим. Я думаю заявить властям.

— Пустяки,— спокойно сказал Кларк.— Это ваша фантазия. Кто-то пошутил над вами, испытывая вашу храбрость. Если б это была какая-то таинственная угроза, почему бумажку подкинули вам, почему не мне, не Мурри?

— Да, это верно, я тоже так думал, потому вас и спросил. Но, понимаете, странно: комната была заперта на ключ, ключ был у меня, окно закрыто. Каким образом листок мог очутиться на столе?

— А в вашем присутствии никто в комнату не заходил?

— Никто. Вот вы за мной заходили, потом зашел Мурри, когда вы шли на собрание.

— Из местных работников никто не заходил?

— Заходил этот их черномазый инженер. Больше никто.

— Может быть, во время уборки кто-нибудь зашел и положил. Это ж явно детский рисунок. А вы сразу развели криминальную романтику со злодеями, покушающимися на вашу персону. Не рассказывайте никому, а то будут над вами смеяться.

Кларк, словно невзначай, свернул рисунок и, меняя тему, незаметно сунул его в карман...

Когда к концу дня машина доставила Кларка в местечко, мокрого и изнемогающего от жары, он, не раздеваясь, кинулся на кровать. Он мысленно констатировал, что жара действительно невыносимая и работать при такой температуре будет трудно. Он не удивлялся уже тому, чем возмущался еще несколько часов назад: что в колодец, вырытый на первом участке на большой глубине специально для питьевой воды, несмотря на запреты, рабочие спускают друг друга на ведре, чтобы окунуться на несколько минут в ледяную воду.

Отлежавшись, Кларк разделся догола и окатил себя водой с головы до ног. Только тогда он понемногу пришел в себя, оделся и осмотрел стол. Никаких рисунков на этот раз на столе не было, зато стояла банка с букетом цветов.

Кларк задумчиво окунул руку в букет, перебирая в пальцах прохладные лепестки. Дверь позади скрипнула. Кларк мгновенно повернулся и поймал себя на том, что рука его коснулась рукоятки револьвера. В дверях стояла зыбкая блондинка, та самая, которую вчера во время беседы с Уртабаевым он имел возможность разглядеть весьма детально. Это была соседка, по-видимому, жена инженера Немировского.

— Можно?

Кларк стоял, растерянно улыбаясь.

— Вы не понимаете по-русски? Нет? Это ничего не значит. Я зашла к вам навестить. Не помешаю?

Кларк продолжал любезно улыбаться.

— Не понимаете? Это я поставила вам на столик цветы, когда вам убирали комнату. Хорошие?

Она указала рукой на букет, потом ткнула себя пальцем в грудь и рассмеялась.

Кларк тоже рассмеялся и закивал головой. Он показал на цветы, приложил руку к сердцу и склонился, выражая свою благодарность.

— Хорошие? Правда? Сразу в комнате стало уютнее. В комнате,— она обвела комнату рукой,— уютней,— она показала на цветы.

Кларк закивал утвердительно головой.

— Какой у вас красивый шлем!— вскрикнула женщина, заметив валявшийся на кровати злосчастный колониальный шлем.

Она подошла, взяла его в руки, повертела и надела на голову.

— Хорошо?

Кларк опять утвердительно кивнул. Шлем действительно шел к ней.

Она приняла несколько поз, важно надув губы. Потом сняла шлем, погладила рукой и бережно положила на прежнее место.

Кларк улыбнулся, взял шлем и церемонно поднес его женщине.

— Мне?— спросила она удивленно, тыкая себя пальцем в грудь.— Нет, нет, вы сами будете носить.

Она надела шлем на голову Кларку и отступила на шаг, осматривая его одобрительно.

Кларк решительно мотнул головой, снял шлем и подал его женщине, указывая на нее пальцем.

— Серьезно? Вы хотите обязательно подарить его мне?

Кларк показал рукой на цветы, потом на шлем.

— Это реванш за цветы?— Она улыбнулась.— Какой вы милый!

Она надела шлем и выбежала из комнаты, видимо, посмотреться в зеркало. Через минуту появилась опять, подбежала к Кларку и поцеловала его в губы. Кларк опешил.

— Это за шлем.

— Мистер Кларк, вы еще не ужинали?— в дверях стояла Полозова.

Она окинула одним взглядом сцену: женщину с растрепанными волосами, смущенного и покрасневшего Кларка, и глаза Полозовой стали чуждыми и суровыми.

— Извините, но дверь была открыта. Все пошли ужинать, я зашла по дороге за вами. Сидим в столовой.

Она повернулась и вышла.

Женщина показала ей за спиной язык.

У Кларка было неловкое чувство уличенного школьника. Он надел кепку и достал из кармана ключ, давая понять, что должен сейчас выйти.

Женщина кивнула головой, лукаво прищурила глаз и выбежала из комнаты.

Столовая кишела людьми и мухами. За длинным столом у стены Кларк заметил Уртабаева, Полозову, Мурри и еще несколько мужчин. Он молча занял место рядом с Полозовой и сосредоточенно стал уплетать суп.

Подняв глаза, он встретился взглядом с бритоголовым человеком в белой косоворотке.

— Извините меня, я очень плохо запоминаю русские фамилии, они все похожи друг на друга,— повернулся Кларк к Полозовой.— Это мистер Еремин?

— Нет, это товарищ Синицын, секретарь парткома. А Еремин начальник строительства, тот, который выступал на собрании инженеров и сегодня в бараке.

— Да, да, знаю. Такой плечистый инженер.

— Не инженер, а хозяйственник. Вот вам еще один наглядный пример порочности вашей специализаторской теории: до революции — рабочий-металлист, в гражданскую войну — командир, теперь — хозяйственник, экономист с высшим образованием.

— Исключения не опровергают правила.

— Да у нас это уже не исключение, а почти правило.

— И потом вы извращаете мои слова. Я говорил не о невозможности, а о неэкономности такого рода переключений. К тридцати годам формируется в основном то, что мы называем человеческой индивидуальностью. Профессия с ее специфическими навыками, с ее профессиональным взглядом на вещи и манерой мышления, наконец, с ее средой сопрофессионалов составляет, по меньшей мере, пятьдесят процентов в багаже наших индивидуальных особенностей. К тридцати годам у человека вырабатывается свое, профессиональное отношение к миру и, с другой стороны, отношение мира, среды — к нему. Отношение это обусловливается тем местом, какое человек занимает в обществе, теми требованиями, которые общество может ему предъявить, теми преимуществами, которые

оно может ему предоставить взамен. От механика никто не станет требовать, чтобы он был философом, и наоборот, от философа — чтобы он разбирался в механике.

— Современный философ, не метафизик, должен обязательно разбираться в законах физики и механики.

— Я говорю для примера. Суть не в этом. Границы наших возможностей, отмеренные нам обществом,— это и есть та вторая кожа человека, из которой не выпрыгнешь. Попытки выпрыгнуть из нее кончались всегда катастрофой. Выпрыгивающий внезапно терял свое место в мире и, не обретая другого,— новой кожей в несколько дней не обрастешь,— летел вниз.

— О каком мире вы говорите? О буржуазном?

— О всяком. Вы напрасно улыбаетесь. Возьмем простейший пример: человек совершает преступление, убийство. Если совершает его, скажем, душевнобольной, масштаб возможностей которого средой не ограничен,— для него совершение убийства не влечет за собой никаких изменений в месте, занимаемом им в мире. Его водворяют обратно в дом для умалишенных, в глазах общества он по-прежнему душевнобольной, он остается в своей коже. Допустим, то же преступление совершил так называемый нормальный человек, но человек определенной профессии: офицер. Он убил солдата, который обозвал его неприличными словами. И в данном случае преступление не повлечет за собой никаких последствий. Общество в масштабе, отмеренном офицеру, предусмотрело для него право убивать оскорбивших его подчиненных. Допустим теперь, что точно такое же преступление совершает другой нормальный человек, но уже иной професии — скажем, совершаю его я. Кто-то изругал меня, и я в ответ на это размозжил ему череп. В границы возможностей, отмеренных мне обществом, не входит право убивать людей. Перешагнув эти границы, я моментально потерял занимаемое мною до сих пор устойчивое место в мире и с грохотом полетел вниз по всем ступенькам общественной лестницы.

— Вы говорите не о всяком, а именно о буржуазном обществе. У нас это далеко не так. Ваш пример с офицером только подтвержает эту разницу.

— Дело не в примере. Пример можно заменить другим. Дело в своего рода молчаливой конвенции между личностью и обществом. Я думаю, это весьма элементарная истина, которой могут сопротивляться ярые индивидуалисты, но в которой нет надобности убеждать коммуниста. Это молчаливое соглашение вовсе не так уж тягостно для личности, как бы это казалось на первый взгляд. Ведь то, что мы называем личностью, само в себе для нас непознаваемо. Мы создаем себе условное представление о самих себе, а так как сызмала нас учат смотреть на все, в том числе и на себя, глазами окружающей среды, то в конце концов ее глаза становятся нашими, и мы принимаем отмеренный нам масштаб, принимаем свою кожу как нечто органическое, как свою подлинную индивидуальность. На этой конвенции основана сама возможность существования всякого общества...

— Дорогой коллега,— ворвался неожиданно в речь Кларка насмешливый голос Мурри,— извините, что вас перебиваю, но вы нарушаете сейчас другую общепринятую конвенцию — между посетителями и столовой, и стесняете обслуживающий персонал. Все уже поели, а ваша тарелка стоит не тронута. У вас возьмут прибор, и вы останетесь без ужина.

Кларк замолчал и принялся есть.

— Признаться, я не совсем поняла вашу мысль,— оторвала его от этого занятия Полозова.

— Я хотел сказать только одно: в том, что здесь делается, есть много противоречий. Вы создаете здесь новое общество, основанное на упразднении частной собственности. Прекрасно. Вам кажется, что вы в состоянии расширить масштаб возможностей каждой единицы до бесконечности. Не так ли? Извечный конфликт между личностью и обществом вы, враги индивидуализма и проповедники интересов коллектива, решаете в пользу личности и во вред обществу. Это парадоксально, но это так. Это противоречие встречается у вас на каждом шагу.

— В чем же вы видите это противоречие?

— Возьмите то, о чем мы начали говорить: ваша государственная система позволяет гражданам в половине их жизненного пути менять место, занимаемое ими в обществе. Я уже сказал, что это тормозит развитие вашей промышленности. Человек, меняя кожу, пе-

репрыгивая с одной социальной ступеньки на другую, естественно, выбит на некоторое, довольно продолжительное время из колеи. Он должен свыкнуться с новыми требованиями, которые предъявляет ему новое окружение, свыкнуться со своими новыми возможностями, должен обрасти новой кожей. Количество затраченной на это энергии ни в какой степени не компенсируется той пользой, которую переключившиеся могут принести обществу. Коэффициент трения здесь настолько велик, что он неизмеримо снижает их прежнюю производительность... Я вижу, вы со мной не согласны?

— По правде, я тоже с вами не согласен,— вмешался неожиданно Мурри.

Кларк обернулся, удивленный:

— И ты, Брут?.. Что ж, разрешите мне остаться при своем мнении.

— Представьте себе полное отрицание общества в нашем понимании: это и будет коммунистическое общество.

Кларк не мог уловить, шутит ли Мурри или говорит всерьез.

Полозова с любопытством присматривалась к неожиданному союзнику.

— Браво, мистер Мурри! Вы попали в точку. В этом корень всех недоразумений. То, что мистер Кларк говорит об ограниченных масштабах личности в буржуазном обществе, вполне верно, с той поправкой, что речь идет не об обществе вообще, а именно о буржуазном. В буржуазном обществе действительно нет и не может быть подлинной индивидуальности, она атрофирована, она подменена той условной кожей, в которую затягивает каждого гражданина капиталистическое государство. Выпрыгнуть из этой кожи и заменить ее другой удается лишь очень и очень немногим. Для подавляющего большинства это сопряжено с немедленной жестокой местью оскорбленного государства.

— А разве от того, что у вас это доступно большему количеству граждан, суть вопросов меняется? Вы тоже не в состоянии выпрыгнуть из рамок своего государства,— скептически улыбнулся Кларк.

— Мы — поколение, уничтожившее капиталистическое общество, чтобы войти в социалистическое,— пока что меняем кожу. Это массовый и болезненный про-

цесс. Изменились отношения между людьми, между людьми и вещами, между людьми и государством. Расширились масштабы каждой отдельной личности, старая кожа капиталистических отношений лопнула. Мы меняем ее на более просторную, в которой нам легче дышать. Это только первый шаг к тому коммунистическому обществу, где человек сбросит с себя наконец, как шелуху, всякую кожу условностей, обретая впервые во всем ее объеме свою атрофированную индивидуальность.

— Это утопия. Для этого нужно бы изменить сначала самую природу людей.

— А разве мы ее не меняем?— все больше воодушевлялась Полозова; щеки ее горели.— Разве не в этом именно состоит величайшее значение нашей революции? Вы правильно отметили, что новые обязательства и новые перспективы требуют от человека радикальной перестройки; он должен привыкнуть осознать и ощущать себя самого под углом новых требований и возможностей. Это длительный и трудный процесс. Старая кожа настолько приросла, что подчас приходится отрывать ее вместе с мясом. Многие из тех, которые в семнадцатом, в двадцатом, двадцать третьем году фланировали в новой коже, на зависть легко и просто,— именно сегодня, чем глубже наша страна входит в социализм, начинают болеть и отставать. Это не усталость, это гниют неоторванные лохмотья старой кожи, вызывая заражение всего организма. Если вы под этим углом будете смотреть на здешних людей,— а и вы, и мистер Мурри, кажется, любите и умеете наблюдать,— многое непонятное на первый взгляд, станет вам понятно при одном условии: живя в нашей стране, нельзя быть посторонним наблюдателем. Если вы захотите сохранить мнимую объективность человека с другого полушария, вы не поймете здесь ровно ничего...

Столовая постепенно пустела. За столом, кроме Кларка, Полозовой и Мурри, остались Уртабаев и Синицын.

К столу подошел с тарелкой в руке Еремин.

— Можно тут за вашим столом присесть?

— Садись, садись,— указал место рядом с собой Синицын.— Новости расскажешь. Говорят злые люди, что ты сегодня телеграмму в Наркомзем послал, буд-

то больше двадцати тысяч га дать к весне не собираешься?

Полозова и Уртабаев удивленно посмотрели на Еремина.

— И послал. Кто отвечает, я или ты?

— За телеграмму, конечно, ты отвечаешь. И перед центром ответишь и перед бюро парткома сегодня ответишь. У нас в десять часов экстренное собрание. Пожалуйста, потрудитесь объяснить нам, что и почему. Как-никак, а бюро парткома об этом знать небезынтересно.

— Кому надо, объясню. Ты меня не пугай, я не из пугливых.

— Вчера на совещании всех инженеров крыл,— вставил Уртабаев,— а сегодня четверяковское решение принял. Зря только волновался. Я тебе еще вчера вечером предсказывал.

— Ты, Уртабаев, лучше помалкивай. Строительство в тупик загнали, рабочих разбазарили, машины переломали, а отвечать за вас кто будет? Я.

— За телеграмму, я тебе уже сказал, ты ответишь,— вмешался Синицын.— А за строительство — не ты один. Как-никак, есть у нас треугольник,— кривой, правда, раскоряченный, но есть.

— Большая от вас помощь, как кот наплакал! Еду сегодня в Сталинабад. Там буду отчитываться.

— В Сталинабад поедешь завтра. Не торопись. Боюсь, что после твоей телеграммы назад больше не вернешься. Если думаешь попасть туда раньше, чем решение бюро, то ошибаешься. Можно позвонить еще на телеграф, может быть, телеграмма не ушла. В крайнем случае, можно задержать ее по проводу в Сталинабаде.

— Я подписывал телеграмму, и только я могу ее аннулировать.

— А кто же? Конечно, ты. Ты и позвонишь.

— Я на ветер телеграммы не посылаю. Раз послал, значит, знаю, что делаю. Отчитываться буду перед Цека в Сталинабаде. А уеду сегодня, через полчаса. Если хочешь, можешь задержать меня силой.

— Насчет задержки силой — я не милиция. А вот о твоем антипартийном поведении поговорим. Посмотрим, что с тобой делать...

— Эге, легче на поворотах!

— Особенно на поворотах назад, товарищ Еремин. Строительства всего не повернешь, а сам, чего доброго, выскочить можешь.

— А вам чего хочется? Дотянуть до конца, все шито-крыто, а там с треском просыпаться: вместо восьмидесяти дали двадцать. Так, что ли? Моя обязанность сигнализировать заранее срыв плана и невозможность выполнения, а не сидеть и молчать,— авось вывезет.

— Авось не вывезет, а вот правильная организация работ вывезти еще может.

— А что для этой правильной организации вы сами-то сделали? Может, скажешь? Большая у тебя партийная прослойка среди рабочих? А ну, расскажи!

— Если бы ты почаще заглядывал на заседания парткома, не пришлось бы тебе об этом расспрашивать в столовой.

— Я по работе вижу, а не по заседаниям.

— Плохо видишь. Надо вперед смотреть. Твоя беда, что уткнулся носом в наличие прорывов и горизонта не видишь.

— Я не поэт — порхать по горизонтам, а начальник строительства. Вижу, что у меня в наличии, и рассчитываю, что могу с этим сделать.

— Того, что можно сделать, как раз не видишь. Так вот тебе для сведения: второй месяц, с момента моего назначения сюда, добиваюсь мобилизации партийцев и комсомольцев на наше строительство. Вчера Цека принял решение. Через недельку, дней через десять получим двести партийцев и триста комсомольцев. Партийцев семьдесят процентов, комсомольцев сто процентов из националов. Аннулируешь свою телеграмму?

— На строительстве машины нужны, а не комсомольцы. Подумаешь, богатство! Триста комсомольцев-националов! Видели мы твоих комсомольцев. Через неделю обратно все разбегутся по домам.

— А ты организуй им условия работы так, чтобы не разбежались. Поменьше телеграфируй, а побольше налаживай.

— Что мне, землю заступом копать? На спине вывозить, что ли? И так все на своей спине везу. Транспорта не дали, вместо двухсот пятидесяти машин только пятьдесят. Да и из тех половина поломана.

Клетраков вместо ста пятидесяти — ни одного. Экскаваторов вместо двадцати шести — три. Что это? Шутка? Это стопроцентная механизация называется? С этим канал на сорок километров в галечнике выроешь? Садись на мое место и рой.

— Посадят, сяду. Пока тебя не сняли, будешь рыть ты.

— Ты, Еремин, четверяковские аргументы наизусть заучил,— заметил Уртабаев.

Еремин отодвинул тарелку с супом, по столу расплескалась жижа.

— Катитесь вы все к... божьей матери. Что я вам тут, подсудимый, что ли?

Он встал и направился к дверям. На пороге остановился:

— Скажи лучше своему постройкому, чтобы хоть суд показательный устроил. Сегодня пьяный вдрызг шофер выехал в Сталинабад и грузовик в Вахше утопил. Самого, сукина сына, каючники еле живого вытащили, а машину загубил. Этак до моего приезда ни одной машины не останется...

— Я так и знал, что этим дело кончится,— после минутного молчания заговорил Уртабаев, проводив глазами большую фигуру Еремина.— Слабый он человек. Кричит, надрывается, мечется, за все хватается, за работой с утра до ночи, а толку мало. Четверяков, тот жженый пройдоха. Хладнокровием своего добьется. Тот его сразу раскусил. Даст ему выкричаться, а потом все-таки поставит на своем. Удивляюсь, как партия назначает Еремина на такую работу.

— Это ты оставь,— нахмурился Синицын,— я с ним на польском фронте вместе когда-то был, в гражданскую. Работал у него политкомиссаром. Такого командира по всей армии поискать. Выдержанный, смелый, из любого, самого безнадежного окружения вывернется да еще пленных наберет. Что с ним случилось, не понимаю. Люди ломались после гражданской, на мирное строительство не могли переключиться. Но ведь с тех пор сколько лет прошло, работал на ответственных постах и как будто хорошо работал!

— При крепкой ячейке и завкоме, в менее трудных условиях, может, и справлялся. Там ведь сама рабочая общественность вывозит. А в наших условиях

и при наших трудностях нужны все-таки исключительно крепкие работники.

«Придется ставить вопрос о снятии его с работы и передать дело в контрольную комиссию»,— уже спокойно подумал Синицин.

Кларк, не понимавший разговора, не вставал из-за стола, терпеливо дожидаясь окончания беседы. Он рассчитывал, что Синицын, местный секретарь партии, как раз то лицо, которое ему нужно. И когда Синицын и Уртабаев поднялись, он попросил Полозову перевести, что у него есть к Синицину маленькое дело.

— Вчера вечером я нашел у себя на столе это письмецо,— он разложил лист с рисунком.— А вот и другое тождественное письмо, которое нашел у себя на столе инженер Баркер.

— А вот и третье,— положил на стол третий рисунок Мурри.

— Я, конечно, подобных угроз всерьез не принимаю,— поспешно добавил Кларк,— но я подумал, что вам интересно будет выяснить, кто это на строительстве занимается подобными шутками.

Он подвинул один рисунок к Синицыну, другой к Уртабаеву, не спуская глаз с Уртабаева.

Уртабаев внимательно осмотрел листок.

— Интересно,— потянулся он за другим рисунком и стал сличать его с первым.— Что ты думаешь об этом, Синицын?

— Написано вполне вразумительно и очень простыми средствами,— похвалил Синицын.— Составлял, по-видимому, не глупый парень. И вряд ли таджик. Таджик нарисовал бы отрезанную голову, а не череп. Череп — это уже европейская символика. Рисовал, по-видимому, русский.

— Правильно, — подтвердил Уртабаев. — Таджик черепа не нарисует.

— А если рисовал русский, то, очевидно, не без образования,— продолжал свою мысль Синицын.

— Почему?

— Знает латинский алфавит. В школах первой ступени этому не учат.

— Верно! Ты настоящий сыщик.

Синицын собрал все три бумажки.

— Постараюсь выяснить. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь и не принимайте этого близко к сердцу, волос

с вашей головы не упадет. Если, паче чаяния, найдете еще такие художественные произведения, передавайте их прямо мне.

Он пожал руку Кларку и Мурри и вышел вместе с Уртабаевым.

Кларк, Мурри и Полозова поднялись тоже.

— Не говорите Баркеру, что вы получили такое же письмо,— обратился к Мурри Кларк, когда Полозова распрощалась и ушла.— Я убедил его, что над ним просто хотели подшутить. Иначе он разведет панику и будет требовать охраны и пулемета.

Мурри утвердительно кивнул головой.

— Кстати,— остановился Кларк,— к вам вчера не заходил Уртабаев?

— Заходил.

Они стояли у дома Мурри.

— У меня есть неясное подозрение, которое мне пришло в голову еще вчера.

— Интересно. Заходите.

— Дело в том, что все наши комнаты были закрыты и проникнуть в них без ключа никто не мог...

Кларк поделился с Мурри своими подозрениями.

— Да, но какой же смысл Уртабаеву выживать нас со строительства? — заметил Мурри.— Впрочем, это не так уж неправдоподобно. Между Уртабаевым, главным инженером и начальником строительства есть, кажется, серьезные трения. Уртабаев, возможно, хочет скомпрометировать тех двоих и доказать, что они не закончат строительства в срок. В таком случае наш приезд шел бы вразрез с его желаниями.

— Это не исключено.

— Есть и другая возможность. Уртабаев — таджик. Главный инженер и начальник — русские. Может быть и национальная вражда.

— Да, но Уртабаев, кажется, коммунист?

— Ну и что ж из этого? — улыбнулся Мурри.— Национализм старше коммунизма. Разве вы не слыхали о случаях, когда ярые националисты вступали в коммунистическую партию, чтобы встать у власти и парализовать работу партии? Такие случаи бывали в Узбекистане, если не ошибаюсь, да и в других советских республиках. Об этом в свое время много писали газеты...

Возвращаясь поздно вечером домой, Кларк у своей веранды натолкнулся на Баркера. От Баркера шел густой спиртной дух.

— А, Кларк! — обрадовался Баркер, фамильярно хватая Кларка под руку.— Напрасно вы пропадаете, стучали к вам раз десять. Нет и нет.

— Где ж это вы успели нализаться? Как вам не стыдно,— высвободился Кларк.— Увидят вас рабочие, скажут: ну и американский инженер! Хороший пример подаете, нечего сказать. Где ж это вы спирт достали?

— Бросьте, Кларк, проповеди читать, сегодня не воскресенье. Был на вечеринке у ваших соседей, Немировских, по специальному приглашению. Знакомлюсь со здешними инженерами. Хорошие инженеры, пьют очень здорово. Если бы тебе, брат, налили столько, сколько мне, ты бы умер. А я вот живу и даже ничего!

— Спиртом от вас несет, как из аптеки.

— Это против малярии. Комары не кусаются. Не будете пить — заболеете. Я вам говорю! За вами раз десять заходили. Прибор оставили. Хозяйка очень хлопотала. А вас нет и нет.

— Идите и выспитесь. Отведу вас домой, а то свалитесь где-нибудь в канаву. Придется утром из-за вас глазами хлопать.

Он взял грубо Баркера под руку, не отвечая больше на его разговоры, довел до дома, достал из его кармана ключ, открыл дверь и втолкнул Баркера в комнату.

Придя к себе, Кларк разделся и лег.

Из соседней квартиры через сени доносились громкий смех, неразборчивая каша голосов и звон опорожняемых стаканов. Все это долетало до Кларка через пробковую стену усталости.

Он сейчас же уснул.

Ночью проснулся внезапно от чьего-то прикосновения. Он резко сел на постели, но тотчас же почувствовал на шее мягкие голые руки, поваливших его обратно на подушку. В комнате стоял густой мрак. В отсвете зыбкого сияния, вливающегося в окно, он увидел у своего лица знакомое женское лицо. Он пошарил рукой, на что бы опереться и встать, но рука его натолкнулась на голое женское бедро. Разгоряченное тело

придушило его к постели, лишая возможности шевелиться.

Он подумал, что с вечера забыл запереть дверь на ключ. Если и сейчас дверь не заперта,— войдет муж, и будет невероятный скандал... Надо немедленно освободиться и встать. Он почувствовал на губах прикосновение мягких пытливых губ, смутный привкус вина. Мысли постепенно заволокло дымкой, и он перестал сопротивляться.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В помещении парткома стоял тонкий заунывный звон. Звенели мухи, густыми спиралями прорезая воздух. Звенел подвешенный к лампе у потолка длинный свиток клейкой бумаги, черный от прилипших тел. Звенели распростертые на столах клейкие листы, неуклюже топорщась вверх в прозрачном трепетании сотен крылышек. К бумагам приклеивались люди, ругались, отрывали прилипшее варево, хлопали с шумом ладонями по обтянутым сеткой плечам и торсам, размазывая надоедливые звенящие точки, и просторные клетки сеток, одна за другой, набухали красными бугорками.

Через открытое окно, занавешенное мокрой простыней, просачивался в комнату густой, клейкий зной. От простыни шел пар, словно снаружи по ней провели утюгом. За окном муторно долго кричал осел. Люди входили и выходили, потные, умащенные зноем. Хриплый телефон непрерывно врывался в разговор дребезжащим чахоточным лаем.

На столе, за которым сидел Синицын, стоял пузатый фарфоровый чайник, укутанный чалмой. Синицын, между двумя отчетами, наливал из него в пиалу лимонно-желтый завар и пил мелкими глотками.

Опять задребезжал телефон.

— Да, да, Синицын. Письмо? Какое письмо? Кто это говорит? Полозова? А, здорово! Что? Новое письмо получили? Все трое? Срок до первого мая? Ну что ж, это еще не так строго. Принесите мне вечером в партком. Да все три. Хорошо.

Синицын положил трубку.

— Володя, можно к тебе на минутку?

В комнату вошла Синицына.

— На минутку можно, больше нельзя, очень занят. Бери стул и садись. По делу?

— Разве я к тебе в партком захожу без дела? Слушай, Володька...

Задребезжал телефон.

— Да, сейчас... Убирайся ко всем чертям!.. Это я не тебе,— повернулся он к жене.— Это ему... Да ты мне головы не морочь... И слушать не хочу. Сказал, должно быть сделано... А вот не трать время на праздные разговоры, тогда и успеешь.

Он положил трубку.

— Да, слушаю.

— Пришли игры и плакаты для клуба, несколько ящиков. Я с этим одна не справлюсь. Дай мне одного комсомольца, Зулеинова хотя бы.

— Не могу, детка, сегодня никоим образом. Все заняты. Штурмуем. И народу много приехало. Сорок человек. Разместить их всех надо, устроить, накормить. Подожди выходного дня.

— Какие ж у вас выходные дни? Не обманывай. Честное слово, игры разобрать надо и плакаты развесить.

— Не могу, Валечка. Подождут. Все равно сейчас играть некому.

Она сердито надула губы.

— Я хотела как раз сегодня этим заняться, а одна не буду...

— А ты понемножечку. Сегодня немного, завтра немного — и не заметишь, как все разберешь.

В комнату вбежал молодой таджик, помахивая телеграммой. Положив ее перед Синицыным, он ополоснул пиалу, отпил голоток чаю и остановился в ожидании у стола:

— Ну, что пишут? Какие новости?

Синицын внимательно пробежал телеграмму.

— Наше предложение утверждено: Еремина и Четверякова сняли. Через неделю пришлют нового начальника и главного инженера. На, читай!

Таджик жадно пробежал телеграмму.

— А ты этого Морозова знаешь? — спросил он, дочитав до конца.

— Нет, Гафур, не знаю. Морозовых очень много, больше, чем у вас Ходжаевых. Но раз посылают на

прорыв, значит дельный парень. Сейчас важно наладить работу так, чтобы ребята с места в карьер не осеклись на трудностях. Понимаешь? Как у тебя с соревнованием? Туговато?

— Ничего! Вчера на первом участке норма выработки поднялась на пятнадцать процентов.

— Пустяки! Разве надо на пятнадцать? На пятьдесят!

— На земляных работах очень туго идет с соревнованием. Рабочие сдельщиной недовольны, поговаривают, чтобы вернуть поденную оплату... Не разберешь, в чем дело. Агитация кулацкая, что ли? Странно, что как раз самые хорошие рабочие недовольны.

— А ты смотри в оба. Наверняка им головы кто-то дурачит.

— Я уж расспрашивал и так и эдак,— никакого толка.

— А с экскаваторами как? Оба Бьюсайруса подвезли? К сборке приступили?

— Приступили. Бригада Метелкина вызвала американца на соревнование. Американец поставил срок сборки пятнадцать дней, наши берутся в девять. Американец очень обиделся, не хочет соревноваться. Говорит: я работать приехал, а не на голове ходить.

— Шибко ругается?

— Шибко!

— Ничего, подтянется. Вот что, вызови ко мне сюда Нусреддинова. Комсомольцы приехали. Надо их сразу взять в оборот, организовать несколько образцовых бригад. Если комсомольцы не пойдут во главе соревнования, то грош цена всей их работе.

— Хоп [1].

— Гафур! — вернул его от двери Синицын.— Увидишь Гальцева, пришли его, пожалуйста, сюда. Если постройком будет работать, как до сих пор, то придется разогнать его к чертовой матери.

— По-моему, давно пора.

— Ну, ну, давай его сюда.

В комнату вошли трое новых.

— Значит, не дашь? — поднялась Синицына.

— Чего? А, насчет клуба! Никак не могу. Подожди выходного дня.

---

[1] Ладно.

— Опять старая песенка! Не дашь, не надо... Сегодня долго будешь занят?

— Да, часов до двух. Заседание...

— Ну, до свидания.

Она поправила платок и пошла к выходу.

Очутившись на улице, она сделала несколько шагов и остановилась. Зной прозрачным густым пламенем обдал все тело. Синицыной показалось, что платье ее вспыхнуло и облетело, она идет по улице совершенно голая. Она машинально обдернула платье, заслоняя колена, и медленно пошла вперед, опустив платок на глаза. Концы туфель мягко уходили в горячую пыль. По всему телу расползалась неотразимая тяжесть.

Домики у дороги стояли ослепительно белые, будто обведенные дымкой. От их белизны ломило глаза. Деревья, серые от пыли, с неестественно неподвижными листьями, казались неуклюжими, условными изображениями деревьев. Даже ярко-зеленые птицы избегали садиться на их ветки и дремали на проводах, беспокоя, как весеннее воспоминание о зелени.

Из соседнего домика долетели жалобные звуки гитары. Синицына огляделась кругом: проулок был пуст. Она повернула за угол и, войдя в сени, толкнула дверь.

Гитара оборвалась.

На диванчике сидел полуголый мужчина, с черными, очень аккуратно подстриженными усиками и с вороными волосами, тщательно расчесанными на пробор. На столе перед мужчиной стояли бутылка пива и пиала.

— Это ты? — удивился мужчина, откладывая гитару.— Не боишься, что тебя увидят?

— Наплевать! Умираю от жары. Дай попить.

Мужчина церемонно ополоснул пиалу пивом, выплеснул на пол и, налив до краев, подал Валентине.

— Пожалуйста.

Синицына выпила залпом.

— Хорошо! Дай мокрое полотенце — лицо вытру.

Она натерла виски одеколоном и, пудрясь перед зеркалом, сказала отражавшемуся в нем мужчине:

— Дикая жара! Ты чего не на работе? Гуляешь опять?

— Не гуляю, а болею. Могли бы поинтересоваться моим здоровьем, Валентина Владимировна. В послед-

нее время вообще перестали жаловать меня своим вниманием. Не знаю, чем объяснить сегодняшнюю честь.

— Что ж у тебя такое?

— Малярия терциана.

— Что-то температуры у тебя никакой нет,— положила она руку на его лоб.

— А ты что, хотела, чтобы меня уже трепало? Вот женская заботливость!

— Ничего бы не хотела, а просто скажи: прогулял. Не выдумывай, что какая-то «терциана».

— Я приступ малярии за три дня чувствую. Если в таком состоянии выйду на жару, завтра у меня сорок градусов будет.

— Сорок градусов у тебя сегодня уже есть,— указала она на бутылку водки, стоящую под столиком.— Это ты от малярии лечишься?

— Спроси врачей — чем вернее всего можно сломать приступ. Хиной и спиртом.

— Ты так круглый месяц ломаешь. Не видела я что-то еще никогда, чтобы тебя трепало.

— А тебе интересно посмотреть? Вот, видимо, и помогает мое лекарство, если не трепало.

— Стыдно, Павел, прогуливать. Там люди с ума сходят, прорыв ликвидируют, а ты дома сидишь. Нагорит тебе в конце концов за это.

— А кто бы тебя пивом напоил, если бы меня дома не было? Бросьте вы агитацией заниматься, товарищ секретарша. Мне мое здоровье дороже. Дурак я — на такой жарище работать! У меня сердце не выдержит.

— То малярия, то сердце. У тебя все болезни сразу. Но жара действительно зверская. Не понимаю, как люди работают на таком солнце.

— Как это не понимаете? А кто же социализм построит? Тут уж, пожалуйста, невзирая на температуру. Кристаллов, известный антиобщественник, как меня аттестует наш «профнамоченный»,— Кристаллов может не понимать. А вам не подобает. Если уж вожди перестанут понимать, то что же нам, простым смертным?

— Брось язвить, Павел, не выходит это у тебя. И фамилию ты себе придумал неподходящую. Перемени, очень уж кристаллическая.

— Зато советская. Природные богатства нашей социалистической страны демонстрирует. И одна на весь

Союз, попробуй найти еще одного Кристаллова. А что, разве лучше Синицын? Синица за море летела и море зажигать хотела. Руководителю строительства такая фамилия не подходит. Даже, я бы сказал, неудобно получается.

— Сострил. Думает, остроумно. Я вот смотрю на тебя, слушаю, что ты иногда говоришь... Ты ведь явно антисоветский элемент. Как это тебя на строительстве, да еще заведующим техническим отделом, держат?

— А как же это вы, Валентина Владимировна, с антисоветским элементом поддерживаете связь, в дословном и переносном смысле? Или поздно заметили и раскаиваетесь?

— А мне просто любопытно. В первые дни ты мне даже этим нравился. Все у нас кругом очень уж, понимаешь ли, выдержанные, стопроцентные, даже матом друг друга не покроют, а обязательно цитатой из вождя.

— В рамочки не укладываетесь? Во, во! Смотрите, как бы самим в антисоветские элементы не попасть.

— Нет такой опасности. В отличие от тебя я понимаю, что все это правильно и нужно, иначе и быть не может,— просто немного скучно.

— А все-таки в рамочки уложиться не можете. Вот и в партии не состоите. А ведь жене вождя, можно сказать, полагалось бы. Вам по чину и социальному положению сейчас бы надо в клубе сидеть, штурм культурно обслуживать, а вы вместо того пивцо у меня попиваете.

— Могу работать, когда есть охота. Нет охоты, и работа плохо идет, и удовольствия от нее никакого.

— Вот то-то и оно! В чем, собственно говоря, мои расхождения с коммунистической партией?..

Синицына расхохоталась.

— У каждого гражданина могут быть расхождения с партией, ничего тут смешного нет. Я говорю: почему я не вступил в коммунистическую партию?

— Ты? А кто ж бы тебя принял?

— Напрасно думаешь! — обиделся Кристаллов.— Может быть, я и подумывал, да вот в рамочки не укладываюсь. Скажут: иди по левой стороне. А может, на правой как раз пивная окажется? Обязательно зайду и дисциплину сломаю... Свободы душа человека просит. Индивидуальность во мне бунтует. Нельзя всех

людей по одной мерке мерить: пять дней работай — шестой гуляй. А может, у меня на третий день погулять настроение будет, а на шестой работать захочу?

— А если тебе ни на третий, ни на шестой работать не захочется, тогда как?

— Может, я в день сделаю больше, чем другой в шесть?

— Переходи тогда на сдельщину.

— Тоже придумали: сдельщина! Кто наворочает больше, тот и получай! А может, у него и потребностей-то никаких нет,— поел и на бок. А другой хоть и наработал меньше, зато у него потребности духовные не простые, а с компликацией. По табелю этого не определишь. Мне вот каждый день табели подсовывают: тот столько-то выработал, этот столько-то. Ты думаешь, я им по табелям плачу, человека обижаю? Я на глаз вижу, чего человек стоит. Может, он по табели и наработал за четверых, а если он человек тупой,— зачем ему столько денег? К примеру, здешние таджики или узбеки. Какие у них потребности? Ведро зеленого чая вылакал без сахару, и ладно. Зачем им деньги? Другое дело русский человек, он и выработал меньше, да парень, видать, хороший. Разве можно такого из-за сухой табели обидеть? Ленин сам сказал: каждый по способностям, каждому по потребностям. А может, он больше и выработать-то неспособен, а потребности у него большие. Я вот только зав. техническим отделом, не начальник строительства, а рабочие меня больше Еремина уважают. Знают: как решу, так и будет.

— Да тебя за такие дела под суд отдать мало! Ты же всю работу дезорганизуешь, соревнование срываешь. Я теперь понимаю, почему с соревнованием на земляных работах не клеится. Рабочие, говорят, сдельщиной недовольны. Ну и сукин сын ты после этого! Ведь они просто по безграмотности пожаловаться на тебя боятся. Думают, действительно от тебя зависит,— сколько захочешь, столько и дашь.

— А какое ж это социалистическое соревнование, разрешите спросить, если за него деньги платят? Социализм за деньги не строят. Энтузиазм масс не колбасой, а идеей питается. Может, я их бескорыстному служению социализму учу? Хотите соревноваться? По-

жа, пожа! Только никаких тебе материальных прерогаций,— для чистого блага социализма. Почему вот партийный меньше беспартийного зарабатывает? Идеей кормится! Идея — вещь питательная. Так точно и ударник должен меньше неударника зарабатывать. А то какой из него строитель социализма выходит?

— Ты просто подлец,— я вот возьму и расскажу Синицыну.

— Не пугайте, Валентина Владимировна. У каждого свое представление о социализме. Разве я против? Что, по моему разумению, социализм бескорыстно строить надо,— так это еще не преступление. Ни в одном параграфе не сказано... А будете мужу рассказывать, расскажите заодно, как это вы антисоветский элемент разоблачили. Сколько дней, а особливо ночей, вам с ним общаться приходилось. Как это вы ничем пожертвовать не постеснялись, лишь бы с гидрой контрреволюции ближе ознакомиться и изучить детально во всех ситуациях. Он похвалит! Вот, скажет, до чего у меня жена советская! По ночам не спит, контрреволюцию выискивает.

— Сволочь! И как я с такой сволочью связаться могла? Сама не понимаю.

— Не ругайся, Валечка. Я ведь это от любви. Может, я тебя к твоему мужу ревную? Нечего смеяться, я человек одинокий! У меня душа художественная. Может, я техник-то только для виду, а по натуре мне бы поэтом надо быть, стихи сочинять. Разве кто-нибудь понимает, что у меня в душе беспокоится, пертурбации какие? Душа любви возвышенной просит, а ее социализмом кормят. А до социализма разве нам с тобой дойти? Дорога длинная!

Он взял с дивана гитару и, перебирая струны, запел низким сердцещипательным баритоном:

Дорогой длинною,
Погодой лунною,
Да с песней той,
Что в даль летит звеня-а-а-а-а...

— Брось ломаться! Я тебя во-о как вижу. Ты просто кобель, бабу помял и ладно. Впрочем, может быть, так и надо. Я-то, думаешь, в тебя влюблена, что ли? Будь это не на этом проклятом пустыре, я на тебя и не посмотрела бы. От такой жары и на дерево полезешь.

— Что ж это я, вроде дерева, что ли? Ты меня сегодня обижать пришла, а я три дня тебя не видел, стосковался. Душа изжаждалась... Тебе жарко? Разденься, я окно закрою и занавешу. Дольче фар ниенте устроим.

— Это еще что такое?

— Это не что-нибудь такое, а итальянское выражение. Отдых безмятежный означает.

— А...

— Итальянцы народ поэтический. Работать не любят. Весь день на травке лежат, ветерок их обдувает. Как в «Камо грядеши».

— Вот тебе и надо было итальянцем родиться. Работать тоже не любишь. Лежал бы целый день и на гитаре наигрывал. Как тебя здесь еще не раскусили! Еремина и Четверякова вышибли — плохо работали, а такого лодыря держат.

— Кого вышибли? Что ты болтаешь? — насторожился Кристаллов.

— Обоих, и Еремина и Четверякова. Новое начальство уже назначено.

— А ты откуда знаешь?

— В парткоме слыхала. Четверякова я мало знаю, а Еремина определенно жалко. Я с ним насчет спортплощадки договорилась, теннисный корт хотела устроить. А тут, вот тебе на! Был и нет. Еще неизвестно, что за фрукт приедет на его место. Морозов какой-то.

— Ты это наверное знаешь? — беспокойно завертелся по комнате Кристаллов.

— Конечно, если говорю, значит, знаю. Телеграмма пришла.

— И новых уже, говоришь, назначили?

— Телеграфировали, через неделю приедут.

Кристаллов стал надевать сетку.

— Ты что, никак уходишь? — удивилась Синицына.

— Видишь ли, Валечка, мне тут в одно место надо сбегать. Я совсем было позабыл...

— Да у тебя ведь малярия! Как же это ты? На работу не пошел, а по улице гулять будешь? Увидят, нехорошо!

— Наплевать! Нужно обязательно.

— Ты меня только что сам приглашал остаться, итальянский отдых предлагал.

— Никак не могу, милочка,— он обнял ее и поцеловал в щеку.— Хочешь, приляг тут у меня. Я через часок вернусь. Если бы, паче чаяния, задержался и тебе не захотелось ждать, положи ключ на косяк. До свидания, сердце мое. Не сердись. Честное слово, совершенно забыл.

— Что, с бабой какой-нибудь условился?

— Да где мне! Тут не до баб! Дело есть срочное. Ну, прощай, малютка. Располагайся, как дома, а я побежал.

Он поправил рубаху, толкнул дверь и исчез в желтом омуте улицы.

Срок, намеченный в телеграмме, давно прошел, а строительство все еще дожидалось приезда нового начальства. Ждали его изо дня в день, нарочные караулили у переправы и возвращались ни с чем. В Сталинабад бежали телеграммы. На исходе второй недели вода снесла паром, и связь со Сталинабадом прервалась.

Синицын нажимал, чтобы до приезда нового руководства перевести управление строительства из местечка на участок, в строящиеся бараки, но бараков из-за отсутствия леса не удавалось подвести под крышу. Он добился одного: перенесения парткома в новый брезентовый барак на головном, «поближе к массам», и, отказавшись от квартиры в местечке, переехал в свежеотстроенный домик для инженеров и техников.

Обещанная подмога прибывала постепенно, небольшими партиями. Городок первого участка набухал, не в состоянии вместить всех. Он рос, подаваясь все дальше по направлению к котловану, и это был своеобразный рост. Новые люди, приехав, не находили барака, в котором можно было бы приютиться. Они ночевали первое время под открытым небом, потом ночевка их постепенно обрастала стенами и, наконец, покрывалась крышей.

Наряду с этим официальным городком, по краям стихийно росли окраины. Семейные рабочие, не любители «жилищных колхозов», как они называли общие бараки, из украденных досок, фанеры, кусков толя, несмотря на все запреты, мастерили себе сами по ночам

отдельные закутки. Закутки из заплат, скрепленных гвоздем и проволокой, готовые разлететься при первом дуновении ветра, обрастали чайником, керосинкой, клопами, духом человеческого логова, индустриальным дымом плиты. По вечерам коленчатые железные трубы, торчащие из-под криво надетых крыш, дымились, как трубки, и вся эта кучка хибарок с трубками в зубах походила тогда на сборище стариков, вышедших после ужина за околицу покурить и посплетничать.

На строительстве этот стихийно выросший квартал окрестили: Самстрой.

Люди прибывали, городок рос, не росло только строительство.

Однажды в полдень Кларк стоял на берегу, вдыхая мягкую прохладу, исходящую от реки. Река неслась внизу, в широком обрывистом овраге, стремительная и шуршащая, подобная стаду пегих быков, разъяренных застрявшими в спине колючими стрелами солнца.

На круче обрыва висел дехканин, размеренными ударами кирки вылущивая прилипшее к скале узловатое деревцо. Карликовый карагач жался к стене, общипанный и костлявый, как растопыренная птица. Когда прошел слух, что берег в этом месте будут срывать, к Кларку явился дехканин-грабарь и попросил разрешения вырыть и перенести деревцо к себе в кишлак. Уже второй день, в обеденный перерыв, когда жара становилась особенно невыносимой, он спускался на выступ и терпеливо отколупывал киркой камень, чтобы не повредить корней.

Кларк второй день наблюдал за ним с любопытством, не уверенный, не раздастся ли сейчас шум осыпающихся камней, и дехканин, вместе с деревцом, сорвется в убегающую муть реки.

Кларк думал о голоде зелени этих выжженных солнцем равнин, этих коричневых людей, рискующих жизнью из-за уродливого подобия деревца, и ему пришло в голову, что не случайно на полосатых халатах дехкан так много ярко-зеленых полос.

Он оглянулся на желтую равнину, на пасущиеся лениво в каменистом овражке два одиноких экскаватора, на белые приземистые крыши палаток. Года через полтора здесь должно простираться, от одной каймы

гор до другой, зеленое сюзанэ[1] полей, все расшитое белыми хлопьями хлопка, желтыми дорожками арыков и изумрудными дисками садов, на которых, как узор на узоре, лягут белые лепестки домов — хутора будущего совхоза.

Для этого надо только, чтобы буйная, упрямая река, сманенная новыми пастбищами, хлынула в подготовленное для нее просторное русло, сбежав по наклону, поскользнулась на консольном перепаде, завертела кружала турбин и, ошарашенная треском искр, вычесанных из ее шерсти стальными скребницами, разбежалась врассыпную по каналам, наполняя плато гулким скользящим топотом.

Для этого надо, чтобы новое просторное русло росло, изо дня в день глубже, на новые десятки метров, раскалывая твердую скорлупу плато.

А русло не росло. Так, по крайней мере, казалось Кларку. Напрасно с раннего утра до поздней ночи упрямо, до треска в челюстях, грызли неподатливый камень два сиротливых экскаватора. Будь у них хоть саженные зубы, и тогда они не в состоянии были бы выгрызть в земле двадцатипятикилометровый желоб. Для этого надо было, по минимальному подсчету, семнадцать экскаваторов.

На седьмой день Кларк подумал: пожалуй, был прав Четверяков, доказывая, что без предусмотренного в плане оборудования механизмами работы к сроку закончены быть не могут.

Известие о снятии Четверякова и Еремина застигло Кларка врасплох. Он не понимал, в чем собственно провинился Четверяков. Полозова называла это «правым оппортунизмом», и Кларку неудобно было спросить, что это такое. Неудобно было потому, что в глубине он чувствовал себя единомышленником Четверякова. Ему казалось, что Полозова и другие догадываются об этом, говоря с ним о снятии Четверякова, посматривают на него пристально и как-то особенно сурово, будто хотят сказать: «Смотри! Нам такие работники не нужны».

Он задавал себе вопрос: что требуется в этой непонятной стране от инженера? Четверяков называл это фокусами, но в чем именно должны были состоять эти

[1] Расшитое восточное покрывало.

фокусы? Кларку хотелось работать хорошо. Все ожидали от него чего-то особенного, и ему была неприятна мысль, что он может разочаровать их ожидания. Он видел, что в глазах здешних людей слова «американский инженер» накладывают на него какие-то особенные обязательства. Он понимал и другое: будь он на месте Четверякова, он поступил бы, вероятно, так же, как и тот, и был бы сейчас снят с работы. Сознание этого было особенно неприятно.

По-видимому, в этой стране работать надо как-то по-особому, не считаясь с наличием механизмов и реальными возможностями. Но как? По вечерам работников созывали на рабочие собрания. На собраниях говорили о прорыве. На следующий день норма выработки повышалась на пять, десять, в лучшем случае на пятнадцать процентов. Все это было каплей в море неразвороченной земли.

Самоотверженнее всех работали экскаваторщики. Их было две бригады. Чтобы экскаваторы не простаивали, они работали попеременно: восемь часов работали, восемь спали, опять возвращались на работу. Благодаря им желоб в гальке рос, медленно, но все же рос. Известие о прибытии еще трех экскаваторов обрадовало как большое подспорье.

Это было на третий день после того вечера, когда Кларк нашел на столе новую записку. На этот раз записка была еще красноречивей. На листке бумаги была наклеена голова Кларка, вырезанная из местной газеты. Портрет этот появился в свое время вместе с описанием выступления Кларка по поводу махорки. У головы Кларка, вырезанной аккуратно ножницами, отстрижены были уши и продырявлены глаза булавкой. Из ровно отрезанной шеи стекали капли крови, изображенные красным карандашом. Внизу тем же карандашом печатными латинскими буквами стояло число: «1 Mai».

Обеспокоенный не на шутку Кларк передал записку Полозовой и спросил, не найден ли художник? Полозова ответила, что не знает. Кларк больше не спрашивал, ему не хотелось, чтобы его заподозрили в трусости.

Сейчас, стоя на берегу и озирая желтую равнину, он поймал за хвостик проскользнувшую мысль, что до первого мая оставалось всего десять дней. Стоит ли

рисковать? Он отряхнул пыль с новых брезентовых сапог и, сопровождаемый Полозовой, зашагал к месту сборки прибывших экскаваторов.

На полусобранных скелетах экскаваторов возились голые, замасленные потом рабочие, звенели молотки и тонко пели пилы. Баркер в своем чесучовом пиджаке и в белом английском шлеме походил на директора британского музея, наблюдающего за очисткой свежеоткопанного ихтиозавра. Он метался кругом, размахивая руками и бранясь, как настоящий директор, впадающий в панику от одной мысли, что могут сломать хрупкое драгоценное животное.

— Это безобразие! — накинулся он на Полозову.— Скажите им, что я с такими рабочими больше не работаю. И вообще снимаю с себя всякую ответственность.

— Чем же вам так не нравятся эти рабочие? Работают, как ошалелые, даже в обеденный перерыв...

— Работают? С ума сходят, не работают. Заключили какое-то соревнование с другой бригадой, что в девять дней соберут экскаватор, и теперь все на головы повставали. Рвут друг у друга из рук. Сегодня ночью разбудили меня в три часа и привезли на участок. Я им велю перерыв делать, не слушают. Заставляют меня тут торчать на жаре. Я двадцать часов в сутки работать не нанимался.

— А вы идите и ложитесь в палатке, передохните.

— Они сломают, соберут не так, а перед фирмой я в ответе. Это не самовар, это тонкая и сложная машина.

— А испортили уже что-нибудь?

— Разве я сейчас знаю?

— Вот видите, даже наверное ничего не испортили, а торопиться надо, и без того работа задерживается.

— У кого задерживается? Надо было вовремя части подвезти, а не теперь гнать сломя голову. Я тут две недели без дела сидел...

— Значит, отдохнули. Теперь эти две недели придется нагнать более интенсивной работой.

Баркер выразительно посмотрел на Полозову:

— Вам нравится, вы и работайте, хоть по сорок восемь часов в сутки, а мне на ваши штучки наплевать. У меня есть твердые установленные сроки. Фирма счи-

тает, что на сборку экскаватора полагается пятнадцать дней, и только с этими сроками я обязан считаться.

Кларк, которому весь этот конфликт и неблаговидная роль Баркера были в высшей степени неприятны, пытался обратить дело в шутку. Он взял Баркера за локоть и отвел в сторону:

— Не ведите себя, как базарная торговка, черт побери! Краснеть приходится!

— Утешьтесь, долго краснеть вам не придется. Все равно, я больше недели тут не останусь. Мне еще жизнь мила. Соберу этот экскаватор, и пожалуйте расчет.

— Не забывайте, дорогой, о кризисе. Фирма вас не погладит по головке, и вряд ли вам дадут другую работу.

— По-вашему, раз у меня нет под рукой другой работы, я должен дать себя прирезать, как баран? Покорно благодарю! Предпочитаю умереть в Нью-Йорке.

— Надеюсь, вы не имеете в виду тех шутливых записок, которые вам подбрасывают?

— Предоставляю вам дожидаться приведения в исполнение этих приятных шуточек, а я не юморист. Не знаю, почему вам так важно разыгрывать меня. Почему вы скрыли от меня, что такие записки получили и вы, и Мурри?

— Кто вам сказал?

— Мурри.

— Вероятно, хотел над вами подшутить?

— Шуточки — это уж ваша специальность.

— Когда же думаете ехать?

— Через неделю, самое позднее. Советую и вам подумать. Какой вам смысл рисковать головой?

— Спасибо за совет. Если хотите послушать моего,— я искренне советую вам остаться здесь. Руководство строительства гарантирует нам полную безопасность.

— Такие гарантии в дикой пустыне на границе с Афганистаном не особенно верны. Я лично на них полагаться не могу. Расспросите здешних жителей, сколько работников погибло в прошлом году от басмачей, тогда убедитесь, что шутки не всегда бывают забавны.

— Одним словом, едете безоговорочно? Что ж, кланяйтесь от меня Нью-Йорку.

Кларк повернул к котловану.

— Алло, Кларк! Я забыл передать вам... Сегодня у Немировских собираются вечером инженеры провожать Четверякова. Прощальный товарищеский ужин или что-то в этом роде. Как-никак, а уезжает руководитель строительства, коллега по профессии. Немировские очень приглашали. Просили передать вам и Мурри.

— Знаете сами, что я на попойки ходить не большой любитель.

— Никакая не попойка,— я вам сказал, прощальный ужин. Если не придете, будет выглядеть, что сторонитесь здешнего инженерства. Я уезжаю, мне в конце концов наплевать, а вам, раз решили остаться работать, нет смысла портить отношений. Живете рядом, через веранду; не придете, будет выглядеть как демонстрация.

— Хорошо, подумаю.

— Неужели из-за каких-то анонимных записок американский инженер может струсить и сбежать со строительства? — раздался вдруг рядом иронический голос Полозовой.

Кларка передернуло.

— Я бы попросил вас осмотрительнее выбирать выражения,— сказал он резко.— А на будущее время разрешите вам заметить, что, разговаривая с моим коллегой, я не нуждаюсь в переводчике.

Полозова закусила губы.

— Господин Баркер изъяснялся настолько громко, что я, волей-неволей, слышала ваш разговор. К тому же я не знала, что это секрет.

— Очень жаль.

— Не премину принять к сведению ваше замечание, хотя оно могло бы быть выражено в более любезной форме.

— Я вообще плохо воспитан.

— Я этого не говорила.

— Вы хотели это сказать. Я достаточно понятлив, хотя вы и стараетесь изобразить меня простофилей,— раздражался все больше Кларк.— Конечно, я не знаю многих вещей, принятых в вашей стране. Я не знал, например, до сих пор, что в обязанности переводчика

входит читать иностранцам наставления. К сожалению, в моем возрасте переучиваться уже поздно...

— Переучиваться никогда не поздно.

— Разрешите уж мне самому выбирать себе учителей. Слишком навязчивая наука редко достигает цели.

Полозова покраснела, на глаза ее навернулись слезы.

— Может, заодно вы подыщете себе и переводчика. Я вовсе не намерена навязывать вам свои услуги.— Она круто повернулась и пошла прочь.

Кларк в первую минуту пожалел о слишком резкой выходке, но идти на попятную было уже поздно. Да и разве не стоило отчитать эту самонадеянную и дерзкую девчонку?

Он не оглядываясь зашагал к котловану.

Полозова шла в городок, исполненная чувства глубокой незаслуженной обиды. «Работать с этим самодовольным грубияном? Ни за что!» Большие слезы, подвешенные на ресницах, мешали видеть. Она то и дело смахивала их рукой, громко, по-детски, шмурыгая носом. Надо пойти сейчас же к Синицыну, попросить освободить ее от этой идиотской работы. В конце концов, она приехала сюда как техник, на практику, проектировать и строить, а не исполнять обязанностей девушки из Интуриста...

В парткоме она Синицына не застала. Зашла к нему на квартиру, но и дома Синицына не оказалось. Валентина Владимировна, открывшая дверь, предложила подождать: скоро должен прийти.

Полозова присела на табуретку. Синицыну она знала мало. Разговоры, которые ходили по строительству о жене секретаря парткома, не настраивали Полозову особенно доброжелательно. Она сидела настороженная, решив поддержать разговор лишь постольку, поскольку это будет необходимо.

— Я вам не мешаю?

— Нет. Я тут читала книжку. Как раз из американской жизни. Джек Лондон. Знаете, мне кажется, все эти Клондайки, по сути дела, как две капли воды похожи на наш пустырь. Нужно много писательской фантазии, чтобы заставить читателя поверить, что все это замечательно и страшно интересно.

— Вы так думаете?

— А вы нет?

— Нет. Во-первых, я вполне уверена, что наш пустырь — как вы его называете — или, вернее, строительство на этом пустыре нисколько не похоже ни на какие капиталистические Клондайки. А потом для меня то, что здесь делается, действительно замечательно и страшно интересно.

— Вы всегда говорите такими готовыми фразами?

— Что-о?

— Я говорю: вы же очень молоды, неужели вы, когда читаете книжку, ни на минуту не представляете себя в роли той или иной героини, не переживаете вместе с ней по-настоящему, а сразу раскладываете все прочитанное по полочкам: это — буржуазный индивидуалист, а это — меньшевиствующая идеалистка?

— Не знаю, раскладываю ли я что-нибудь по полочкам, или нет, но знаю зато твердо: читая любую буржуазную книжку, я не забываю ни на минуту, что я-то сама — человек советский, и это обязывает меня критически относиться к прочитанному.

— А ведь это, наверное, очень скучно?

— Что скучно? Чувствовать себя всегда советским человеком?

— То, что вы говорите, все это — азбука. Ее хорошо повторять, пока совсем не усвоил, но, раз усвоив, помнить о ней всякую минуту нет никакой необходимости, уверяю вас.

— Да, этой азбуки я стараюсь никогда не забывать.

— Одно дело — не забывать, а другое — репетировать на каждом шагу. Вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Я старше вас по крайней мере лет на десять. От доброго сердца говорю.

— Зачем же такой материнский тон? Он вам не идет, да и годы еще ваши не те. Можете быть спокойны: я, как правило, ни на кого не обижаюсь.

— Какие у вас замечательные и категорические правила на все случаи жизни! Это очень похвально. Я в вашем возрасте уже не могла этим похвастаться; оставила их все в седьмом классе.

— Вы хотите этим сказать, что и беспринципность можно возвести в принцип?

— Хотя бы... Вижу, что, вопреки правилу, вы на меня все-таки сердитесь.

— Уверяю вас, вы ошибаетесь.

— Давайте бросим... Расскажите лучше что-нибудь о вашим американцах.

— Не знаю, что именно вас интересует. Работают. Привыкают к нашим условиям...

— Нет! Какие они? Интересные?

— Внешне?

— Да нет! Видела я их сама раз десять. Что они собой представляют?

— Насчет Мурри я всерьез затруднилась бы ответить. Встречаюсь с ним мало и не успела выработать о нем четкого мнения. Что касается Кларка, то это — неглупый человек, для иностранного инженера довольно образованный, но при всем этом очень ограниченный.

— Как это так: неглупый, образованный, но ограниченный? Как будто одно противоречит другому.

— И тем не менее это так. Неглупый, образованный человек, ограниченный кругозором своего класса, мировоззрения, системы взглядов,— вы не любите точных формулировок, поэтому назовите это как хотите.

— Ну, а как ему здесь: нравится или нет?

— Это тоже трудно сказать. И нравится, и нет.

— Больше нравится или не нравится?

— Многого он, конечно, не понимает. Надо бы над ним сильно поработать, сломать кое-какие неверные представления, классово ограниченные рамки, которые мешают ему правильно видеть вещи. Я для этой работы не гожусь. И потом нужно б изолировать его хотя бы на некоторое время от влияния чуждых элементов на строительстве.

— Кого вы имеете в виду?

— Его ближайших соседей, Немировских.

— Но ни он, ни она не говорят, кажется, по-английски. Какое же может быть их влияние?

— Для мадам Немировской в ее области это не представляет препятствия... Эту даму, которая только компрометирует наше инженерство, вообще не мешало бы убрать со строительства. Но дело не в этом. Немировские явно стараются вовлечь американцев в свой кружок, где несомненно найдутся люди, говорящие по-английски. Баркера они уже приручили. Теперь стараются заманить Кларка. Сегодня устраивают какие-то торжественные проводы Четверякова и заручи-

лись уже присутствием на этой попойке всех троих американцев...

— Мне кажется, вы немножко преувеличиваете опасность таких застольных встреч. Личное физическое влияние на Кларка Немировской, хотя и лишенное политической подкладки, беспокоит вас, кажется, значительно больше, чем моральное влияние кружка ее мужа.

— Извините меня за определение, но вы говорите пошлости.

— Вот вы и обиделись! А где же принцип?

— Вы, видно, поставили себе целью испытать мою выдержку и решили спровоцировать меня на обиду самыми нелепыми и оскорбительными предположениями. Это вам не удастся.

— Что ж тут оскорбительного и нелепого? Дело вполне женское, нормальное. Или в число ваших принципов входит и принцип отказа от нормальных женских страстей?

— В таком виде, как вы их понимаете,— очевидно.

— А в каком же виде вы их понимаете?

— Вам это покажется скучным и неинтересным.

— Не только мне, милая товарищ всезнайка, не только мне! Мистеру Кларку, очевидно, тоже, если беспринципная Немировская успела уже там завоевать такое влияние. Мужчины не любят слишком идеологически выдержанных женщин.

— При вашем богатом опыте вам это должно быть известно достоверно.

— Опыт кое-какой у меня есть. Можете мне верить.

— Не смею сомневаться, хотя воспользоваться и не намереваюсь.

— Очевидно, хватит собственного. У целомудренных девиц, вроде вас, зачастую оказывается его больше, чем достаточно. Можно еще поучиться другим.

Полозова поднялась с табуретки.

— Я в самом деле не понимаю, почему я обязана выслушивать ваши оскорбления? Вы еще не настолько стары, чтобы разговаривать со мной тоном ядовитой тетки.

— Браво! Вот это просто, по-женски! Наконец-то живое бабье слово! Видите, я не обижаюсь. Давайте и вы не обижайтесь. Хотите руку?

— Я не вижу той базы, на которой могла бы возникнуть не только наша дружба, но даже простые товарищеские отношения.

— Ну вот, опять двадцать пять! Я ей руку,— а она мне: «база», «надстройка»...

Полозова рассмеялась.

— А руку надо брать, когда дают,— поднялась Синицына.— Базу потом подыщете, а руки второй раз не найдете... Если я вам тут что-нибудь обидное сказала, вы меня извините. Может, вы и в самом деле девушка,— мне какое дело! Бывают такие случаи: поздно человек развивается. Только потом это хуже...

— Я вижу, все, чего бы вы ни коснулись, низводится вами моментально к одному, весьма нехитрому знаменателю. Ваша житейская философия не столько даже биологична, сколько зоологична. Если вам эти определения покажутся иносказательными, замените их вполне житейским: пошлость... Товарищ Синицын, очевидно, скоро не вернется. Разрешите мне дольше не дожидаться. Я, очевидно, не располагаю таким неограниченным временем, как вы, и в данную минуту меня ждет работа. Будьте добры передать товарищу Синицыну, что зайду к нему попозже.

Вечером, возвратясь домой, Кларк застал дожидавшихся на веранде Баркера и Мурри. Оба засыпали его таким градом аргументов, что возражения Кларка быстро исчерпались. Выходило, что местные инженеры считают его барином, брезгающим их обществом, подозревают его вообще в презрительном и высокомерном отношении к русским. Если он на этот раз демонстративно откажется участвовать в их компании, это окончательно утвердит его дурную репутацию. Аргументы метко попали в цель, и Кларк согласился, предупредив только, что пить ничего не будет.

Когда они, свежевыбритые, в безукоризненно белых костюмах и воротничках, явились на квартиру к Немировским, их встретили дружными и дружественными рукоплесканиями.

За сдвинутыми столами, накрытыми белой скатертью и заставленными колонной бутылок и салатниц, сидело человек двадцать мужчин. Единственная женщина, хозяйка, подбежав к гостям, быстро рассадила

их за столом, с умелой ловкостью игрока, безошибочно разбирающего по местам прикупленные карты. Кларку попалось место рядом с Немировской. Он чувствовал себя вдвойне неловко и проклинал Баркера и Мурри, уговоривших его прийти на эту попойку. Со времени памятной ночной встречи он старался возвращаться домой как можно позже и старательно запирал дверь на ключ.

Он неловко обмакнул губы в стопку с водкой и, поставив ее на стол, стал сосредоточенно ковырять вилкой в салате, который положила ему на тарелку Немировская. Обводя глазами гостей, Кларк старался не смотреть в ее сторону. Он убедился, что здесь были далеко не все инженеры. Не было ни Уртабаева, ни начальника второго участка, ни инженера с головного сооружения, ни десятка других, с которыми Кларк привык встречаться на собраниях. С большинством из присутствующих он был знаком или по крайней мере встречался на строительстве. Два лица показались ему совсем не знакомыми. Это был красивый брюнет в вышитой косоворотке, с аккуратно подстриженными черными усиками и волосами, расчесанными идеальным пробором. Другой был мужчина с седеющими висками, в круглых очках.

— Это здешний следователь Кригер, — сказал Кларку вполголоса, как бы отгадывая его мысли, Баркер. — А тот с черными усиками — заведующий техническим отделом, Кристалликов, если не ошибаюсь, или что-то в этом роде.

— Когда это вы успели со всеми перезнакомиться? — удивился Кларк.— Вы же не говорите по-русски, а они не понимают по-английски.

Баркер довольно и многозначительно улыбнулся. По тому, как тщательно соседи наполняли его опорожнявшуюся стопку и пододвигали ему закуски, Кларк понял, что Баркер в этой компании — свой человек.

Все уже, по-видимому, успели прилично глотнуть. Об этом свидетельствовали наполовину опорожненные бутылки и раскрасневшиеся лица. На председательском месте сидел Четверяков. Он медленно попивал пиво. Опрокинутая вверх дном стопка говорила о том, что водки он не пьет. Его и не уговаривали. Он сидел ровный и аккуратный, как всегда, чуть-чуть порозовев-

ший от пива, которое ежеминутно подливали в его стакан соседи. Один из них, наклонившись, рассказывал Четверякову что-то веселое, от чего Четверяков громко хохотал, то и дело вытирая платком лоб.

Кларк подумал, что, будь он сейчас в шкуре Четверякова, ему вряд ли была бы охота хохотать так беззаботно. На своем председательском месте во главе стола Четверяков явно чувствовал себя юбиляром или именинником.

Занятый своими мыслями, Кларк не заметил, как Немировская положила ему руку на колени, и внезапно вздрогнул, почувствовав смелое прикосновение. Он густо покраснел и, отстранив ее руку, поймал устремленный на него взгляд Мурри. В глазах Мурри сквозила ироническая улыбка. Кларк почувствовал, что краснеет еще сильнее.

В это время со стопкой в руке поднялся один из инженеров и попросил минуту внимания.

— Дорогой и глубокоуважаемый Евгений Христофорович! — обратился он торжественно к Четверякову. — Я думаю, сегодняшняя наша встреча останется глубоко в памяти у всех нас, здесь присутствующих. Мы все сошлись чествовать сегодня в вашем лице не только руководителя, пользовавшегося общим доверием и уважением, работа под руководством которого давала нам большое удовлетворение, не только старшего коллегу и крупного специалиста, драгоценный опыт которого был для нас всегда большим подспорьем, — но и исключительного человека, человека, я бы сказал, кристаллического, каких сейчас найдется немного, человека глубоко принципиального, для которого правда науки была всегда высшей правдой, я бы сказал, единственной правдой. Эта глубокая преданность науке, чуждой дилетантизма и сурово низводящей на твердую почву испытанной практики самые выспренние, самые, я бы сказал, увлекательные, но беспочвенные фантазии, — эта преданность науке, пример которой дал нам всем, товарищи, Евгений Христофорович, — я бы пожелал, чтобы она осталась навсегда руководящим компасом для каждого из нас в том далеком и трудном плавании, в котором находится сейчас наша страна. Поэтому я предлагаю этот тост за нашего учителя, непоколебимого борца за испытанную

правду науки, нашего дорогого Евгения Христофоровича.

Он опрокинул стопку и сел. Со всех сторон захлопали.

Пока наливали опорожненные рюмки, со стаканом пива в руке поднялся Четверяков. Шум умолк. Четверяков поправил пенсне и сказал взволнованным голосом:

— Товарищи инженеры, я глубоко тронут теми словами, которые произнес только что по моему адресу Андрей Афанасьевич. Многие годы научной работы научили меня действительно подходить ко всем явлениям с жесткой меркой проверенного практического опыта. Это не всегда наиболее эффектная мерка. Это даже редко бывает эффектная мерка, но зато она позволяет нам критически познавать действительность и двигать ее по пути прогресса. В том, что это именно так, нас убеждает богатый опыт многих веков. Из опыта истории мы знаем, что величайшие изобретения, двинувшие цивилизацию на столетия вперед, даже изобретения, как казалось бы профану, самые простые и случайные, — никогда не были делом талантливых фантазеров-любителей, а всегда принадлежали трезвым людям науки и являлись результатом многолетнего накопления опыта. Не талантливый фантазер Жюль Верн, а кропотливые ученые-практики подарили человечеству летающую машину. И хотя мы на ней не летаем на луну, как это водится в романах этого талантливого писателя, но зато мы на ней действительно летаем, передвигаемся в несколько часов за тысячи километров. Фантазия — быстрее науки, но она бессильна изменить низменную действительность с ее суровыми научными законами. А наука не есть отрицание фантазии, она есть, наоборот, осуществление фантазии, но осуществление всегда частичное и постепенное. Этому нас учит опыт тысячелетий, и те, кто хотел бы перепрыгнуть этот опыт, по сути дела, прыгают на одном месте. Разрешите, товарищи инженеры, осушить этот бокал за силу науки, осуществляющей и корректирующей стремления человеческой жизни.

Весь стол зааплодировал бурно и продолжительно, зазвенели стаканы, и, когда вновь раздался сигнальный звон ножа, из-за стола со стаканом в руке поднялся Немировский.

— Дорогой Евгений Христофорович! Дорогие товарищи! Разрешите мне вместо тоста рассказать вам небольшую сказку, которую я слышал на Севере от одного замечательного пройдохи, горького пьяницы. Строили мы с ним мост, мост у нас снесло паводком, сидим мы, затылки почесываем, тут он нам и рассказал свою прибаутку... Разрешите?

— Пожалуйста, просим! — раздалось с разных концов стола.

— Этот всегда что-нибудь придумает! — одобрительно чокнулся с соседом брюнет с подстриженными усиками.

— Слушаем!

— Так вот. Как это обыкновенно водится, в тридевятом царстве, не в нашем, конечно, государстве жил-был царь. И у царя явилась затея, не очень чтобы умная, не очень, чтобы глупая, одним словом, царская. Должен был к царю в гости приехать король индийский. А столица царя лежала над большой глубокой рекой, и моста на реке испокон веков не было. Как кто мог, так и переправлялся.

Спохватился царь за день до приезда гостя, что въезд в его столицу неудобен, и решил во что бы то ни стало мост на реке построить.

Зовет царь к себе мужичка-простачка плотника: тот большим мастером слыл, терема министрам строил и на выдумку, как это говорится, был горазд.

Говорит царь мужичку:

— Построй ты мне до завтрашнего утра мост через реку. Построишь — дам тебе золота, сколько лошадь подымет. Не построишь, голову отрубить велю. Так и знай.

Почесал мужик за ухом и говорит:

— Ваша царская воля приказывать, мое дело слушаться. А из какого материала, ваша милость, мост прикажете строить?

— Пусть будет, — говорит царь, — из чистого золота, — чтобы за сто верст блестел.

Царское слово — указ. Запряг мужик подвод пядьдесят, к царским кладовым подъезжает золото грузить. Нагрузил телег десять, царь к нему выходит:

— Тебе, — спрашивает, — сколько золота-то надобно?

— Да вот,— говорит мужичок,— все, что тут есть, да еще телеги четыре прибавите.

— Постой, — говорит царь,— этак у меня в казне золота совсем не останется. Какой же я тогда царь буду? Давай строй из чего-нибудь другого.

— Ваша царская воля приказывать, мое дело слушаться. Из чего прикажете? — спрашивает мужичок.

— Сделай,— говорит царь,— из железа, да такой, чтобы издали, как сабля, блестел.

— Почему бы нет, можно и из железа. А железа, ваша царская милость, дадите?

— А сколько ж тебе надо? — спрашивает царь.

— Да вот, сколько есть у вашего войска панцирей, шлемов всяких, мечей и сабель, пусть свезут на площадь, тогда, может, и хватит.

— Постой,— говорит царь.— Этак у меня все войско без оружия останется. Какой же я тогда царь буду? Давай строй из чего-нибудь другого.

— Ваша царская воля приказывать, мое дело слушаться. А из чего строить? Из дерева разве, что ли?

— Давай из дерева, только покрась, чтобы наутро блестело.

Взял мужичок топор, пошел в царский сад и стал столетние чинары рубить. Срубил одну, срубил другую... Выходит к нему царь.

— Ты,— говорит,— что это? Никак сад мой царский рубишь?

— Рублю,— говорит мужичок.— Дерево-то на мост нужно? Во всем царстве, кроме твоего сада, подходящего дерева не найдется.

— А сколько ж тебе дерева-то надо?

— А вот весь сад вырублю да палисадник сломаю, тогда, может, и хватит.

— Постой,— говорит царь.— А как же я без сада останусь? Какой же я тогда царь буду? Давай строй из чего-нибудь другого.

— Ваша царская воля приказывать, мое дело слушаться. Только больше моста строить не из чего.

Обозлился на него царь, велел тут же ему голову отрубить и в реку бросить.

Сам пошел во дворец. Сел на трон и думает,— кто же мне теперь мост построит, раз я мужичку-мастеру голову отрубил? Сидит, пригорюнился.

Подходит к нему льстец. Тот при дворе околачивался и больше стихи сочинял. Вот и говорит он царю:

— Правильно ты сделал, что мужичку голову отрубил. Что он за мастер, раз не знает, из чего мост делать надо? Моста бы тебе ни из золота, ни из железа, ни из дерева за одну ночь все равно не построил. Надо строить мост из такого материала, чтобы ни быков, ни стропил не было, а чтобы сам по воде плавал.

Понравилась царю идея.

— Давай,— говорит,— построй мне до завтрашнего утра такой мост, чтобы в нем ни быков, ни стропил не было и сам чтобы по воде плавал. Построишь — дам тебе столько золота, сколько верблюд подымет. Не построишь — голову отрубить велю, так и знай.

— Хоп,— говорит льстец, то есть ладно по-ихнему.

— А из чего строить-то будешь? — поинтересовался царь.

— Известно из пробки. Пробка сама по воде плавает и ко дну не идет.

— Откуда же столько пробки взять?

— Да велико ли дело? В ваших подвалах царских,— говорит ему льстец,— миллион бутылок вина стоит. Устройте,— говорит,— ваша царская милость, пир во славу индийского короля. Вино выпьете, а мне пробки останутся. И вам приятно, и мне полезно.

Понравилась царю идея.

— Ты,— говорит,— у меня смышленый, куда мужичку безголовому до тебя! Я бы,— говорит,— до этого никогда не додумался.

Созвал царь пир, какого свет не видал. Сам пьет и других потчует, только пробки хлопают. А льстец ходит, пробки собирает, шилом прокалывает, на бечевки нанизывает. До утра мост смастерил с одной стороны на другую, колышки на том и на другом берегу понабивал, веревки к колышкам прикрепил,— держится.

Царь со свитой всю ночь трудился, к утру перепились — ни ногой, ни рукой не двинут.

Едет с другой стороны король индийский. Коляска под ним тяжелая, кованого золота, в сорок лошадей запряжена, да свита, кони и люди в латах железных. Как въехали на мост с таким багажом, мост сразу

под воду,— тут их всех водой и смыло. А тяжелые были — живо ко дну пошли.

Увидала это стража, прибегает к царю, за руки, за ноги трясет. Проснулся царь, глаза протирает. Говорят ему: король индийский вместе с мостом потонул.

Отрезвел сразу царь, выходит на берег, двое придворных его под руки ведут. Смотрит, на реке мост стоит, без быков и без стропил, сам по воде плавает, а по мосту льстец ходит. Руки в карманы заложил и посвистывает.

Разозлился царь на стражу.

— Врете,— говорит,— и разбудили меня понапрасну. Как же король индийский с мостом потонул, когда мост на месте стоит?

Велел царь страже в наказание тут же головы отрубить. Зовет льстеца, спрашивает:

— Послы короля индийского еще не приезжали?

— Никак нет-с,— говорит льстец,— я тут все время гуляю.

— А мост-то крепкий? Выдержит?

— Извольте попробовать.

Вошел царь на мост, двое придворных его под руки ведут. Дошел до середины. А так как за ночь самолично выпил вина не меньше сотни бутылок и отяжелел, как бочка,— мост под ним подогнулся и под воду ушел. Царя водой смыло, а мост обратно вынырнул и стоит.

Видит льстец — дело его плохо. Он скок на мост, и ну бежать. Как известно, льстецы воздухом надуты,— перебежал. А свита и войско, что за ним гурьбой ринулось в погоню, ушли под воду и потонули.

Так, говорят, мост и по сей день стоит. Птички по нем попрыгивают, да льстецы туда и обратно бегают, а ни пеший, ни конный пройти не могут. А рыбы, что царя и придворных съели,— до сих пор пьяные плавают... Вот и сказке конец...

Дорогой Евгений Христофорович! Дорогие товарищи! Так как из наших пробок не построить моста даже через арык, предлагаю выпить этот стакан за здоровье мужичка-плотника, положившего голову за то, что мост хотел построить не пробочный, а настоящий!

Инженеры долго и исступленно хлопали в ладоши, чокались стаканами и кричали.

Когда шум немного улегся, встал, слегка покачиваясь, брюнет с подстриженными усиками и, подымая стакан, крикнул:

— За здоровье рыб, которые глупого царя съели!

Все были уже настолько пьяны, что хлопали автоматически. Внезапно на пол с шумом упал стул. Из-за стола поднялся человек с красным лицом. Это был один из инженеров второго участка. Человек неуверенно стоял на ногах. Он вдруг нагнулся и ударил кулаком по столу. Зазвенели бутылки.

— Не позволю! В моем присутствии антисоветские штучки! Не позволю! И не буду! Присутствовать не буду! Уйду! Уйду!

Он повернулся, не вполне уверенно пошел к выходу и, хлопнув дверью, вышел без фуражки во двор.

Тогда со своего места поднялся человек в золотых очках и, не сказав ни слова, вышел вслед за инженером.

Водворилось неприятное молчание.

Четверяков сидел на своем стуле жесткий и прямой, с побледневшим носом и больше не улыбался.

Первая нашлась Немировская.

— Нализались, как свиньи, и начинают скандалить. Не обращайте внимания. Они так всегда, когда напьются. Я их сейчас приведу.

Она вышла вслед за инженером и Кригером на веранду. Опять зазвенели стаканы и зашумели голоса.

Кларк заметил, как Мурри тихонько смылся по-английски, и решил последовать его примеру. Он не понимал происходящего, но вид пьяных людей был ему физически неприятен. Переждав еще немного, он поднялся и выскользнул на террасу.

Войдя в свою комнату, он оставил дверь полуоткрытой и, сбросив пиджак, вышел на порог подышать свежим воздухом.

Угол веранды, где стоял Кларк, погружен был во мрак. Противоположный угол освещал бледный сноп света из окон Немировских. В отсвете, падающем из окна, Кларк увидел Немировскую и Кригера.

— Перестань дурачиться. Они ведь все пьяны. Смешно делать из глупостей целую историю. Вернись

на пять минут, потом уйдешь. Не делай демонстрации, Четверякову будет неприятно. Как-никак, его проводы, и вдруг такой скандал.

— А мне какое дело? Я в эту клику попал только из-за того, что с тобой хотел повидаться. Ты заставила меня влезть в эту компанию, но выслушивать молча контрреволюционные пошлости меня не заставишь.

— Подумаешь, контрреволюцию вынюхал! Небось сами, когда подвыпьете, рассказываете друг другу антисоветские анекдоты и смеетесь, если они остроумны. Но, конечно, что можно коммунистам, то не полагается беспартийным спецам. Те должны с утра до ночи кричать «ура». Если при тебе беспартийный рассказывает антисоветские анекдоты, над которыми ты вчера еще хохотал в своей компании, ты должен покраснеть и возмутиться, как барышня, в присутствии которой произнесли неприличное слово. Этого требует ваше коммунистическое лицемерие.

— Ты сегодня очень красноречива, но только свое красноречие направляешь не по адресу. И ты и я отлично знаем, выражением каких убеждений являются ваши анекдоты. Мы знаем, как эти анекдоты реализуются в повседневной практике.

— Сколько раз говорила я этому дураку, чтобы не упивался! Всегда из-за него какие-нибудь неприятности! Значит, не вернешься?

— Нет. Если хочешь что-нибудь сказать, пойдем ко мне.

— И не подумаю.

— А я решил — ты меня пришла звать обратно потому, что хочешь со мной поговорить.

— Если вернешься, может быть, что-нибудь скажу.

— Нет, этот номер не пройдет, ты меня и так достаточно водила за нос.

— А ты от этого много потерял? Остался в обиде? Кажется, все, что хотел, получил сполна, и счеты между нами сведены.

— Значит, это правда — Еремин?

— Не говори пошлостей.

— Слушай, Галя, я тебя люблю. Нельзя меня прогонять. Я ничего у тебя не прошу, приди ко мне еще только один раз, последний. Не отказывай мне в этой просьбе.

— Подумаешь! Я тебя просила вернуться и не устраивать скандала, и ты мне отказал даже в такой глупости.

— Я вернусь, но обещай, что придешь ко мне.

— Надо было вернуться без всяких «но».

— Да, я должен лезть в грязь, чтобы потом ты мне показала кукиш. Обещай мне, что придешь,— я сделаю все, что хочешь.

— Нет, не приду. Никогда больше не приду. Запомни это. Что было, то быльем поросло.

— Значит, теперь очередь за Ереминым? Мой срок истек? А кто же следующий? Если кандидатов не так много, может, стоит еще раз встать в очередь?

— Твоя очередь не придет никогда. Ты просто хам.

Она повернулась и пошла к двери. Он схватил ее за руку.

— Нет, не уйдешь. Не торопись так. Надо сначала отпустить одного, потом приглашать другого, иначе могут получиться неприятности. Раз ты сука, буду с тобой поступать как с сукой. Решила переменить любовника, предупреждай его, по крайней мере, как дворника, за три дня. Сегодняшнюю ночь еще пойдешь спать со мной.

— Ты с ума сошел!

— Пойдешь.

Он больно сжал ее руку. Она пыталась вывернуться, присела от боли и опустилась на колени.

— Помогите!

— Не поможет тебе никто. А визжать будешь — рот заткну.

— Пусти, руку сломаешь! Силой меня хочешь заставить? Не заставишь. Пусти сию минуту!

— Не пойдешь?

— Помогите!

— Что это такое? Это вы, товарищ Кригер? — на ступеньках веранды стоял Синицын.

Кригер отпустил руку Немировской.

— Мне кажется, вы просто пьяны и злоупотребляете своей силой,— сказал Синицын.— И вы ошибаетесь, что никто не поможет помешать вам совершать насилие. Оставьте в покое эту гражданку и уйдите отсюда немедленно. Мы поговорим потом, когда вы будете в трезвом виде.

Синицын повернулся к Немировской:

— Можете уйти, гражданка. Товарищ Кригер выпил сегодня чересчур много и забылся.

— А вам какое дело? — ощетинилась внезапно Немировская.— Какое вы имеете право подслушивать под чужими верандами? Не путайтесь не в свои дела. Никто меня ни к чему не принуждал. Иду, куда хочу. Смотрите лучше за своей женой. Я совершеннолетняя и обойдусь без опекунов. Пойдем, Кригер!

— Вы звали на помощь, я проходил мимо и подумал, что вы действительно в ней нуждаетесь. От вашей квартиры на всю улицу спиртом пахнет, а пьяные обычно бывают невменяемы. В будущем устраивайте свои частные дела в комнате и не кричите на всю улицу.

Он круто повернулся и исчез в темноте.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром пришла машина с Пянджа и привезла горючее. Она была встречена громкими «ура», и люди приступом кинулись выгружать железные бочки. С утра стояли оба экскаватора, выпившие накануне последнюю каплю бензина.

В общей суматохе никто не заметил, как из кабинки грузовика, вслед за шофером, вылез невзрачный человек в шоферской кожанке.

Человек спросил, где помещается партком, и пошел в указанном направлении.

В брезентовой палатке парткома, разделенной на две части белым полотнищем, ему сказали, что секретарь занят, и велели подождать. Он сел на свободную табуретку, взял со стола листок местной газеты и погрузился в чтение.

Наконец из-за холстинной перегородки появился Синицын в сопровождении Нусреддинова.

— Вы ко мне? — остановился Синицын перед незнакомцем.

— Вы будете товарищ Синицын? Да, я к вам. Моя фамилия Морозов.

— Вы товарищ Морозов? — обрадовался Синицын.— Как же это вы добрались? Ведь паром на Вахше сорван. Мы решили, что из-за этого вам пришлось задержаться в Сталинабаде.

— А я из Термеза. Вылез в Термезе посмотреть, как там работает наша база. Оказывается, очень плохо работает. Пришлось несколько дней задержаться. Приехал на барже. Привез два экскаватора и первую партию рельсов для узкоколейки.

— Вот хорошо! А у нас тут полное междуцарствие. Вы устроились уже где-нибудь? Где ваши вещи?

— Нет, я с машины прямо к вам. Вещи оставил на пристани, потом захватят. Некуда было положить. Шофер говорил, что вы остались тут без капли горючего.

— Сейчас организуем машину, которая отвезет вас в местечко. Квартира приготовлена. Вы один? С женой?

— Один. В местечко успею вечером. Сейчас хотелось бы где-нибудь помыться и поговорить с вами.

— Давайте. Тут нам спокойно поговорить не дадут. Пойдемте, проведу вас в юрту Еремина. Там, кстати, и помыться можно и побеседовать на свободе,— никто нас не потревожит. И головной участок под боком, если захотите посмотреть.

— Пойдемте.

...Вечером Морозов в местечко не уехал, а остался жить в юрте Еремина.

Его приезд на строительство прошел почти незамеченным. Инженеры, поспешившие представиться новому начальству, нашли его кабинет пустым. Морозов целыми днями путался по участку, осматривал механизмы, как присматриваются к мало знакомым людям, и людей, как изучают механизмы. Он не делал никаких замечаний, даже в тех случаях, когда работа велась явно неправильно, не издавал никаких новых распоряжений и приказов. Одни из прорабов говорили, что новый начальник в строительном деле ничего не смыслит и боится с места в карьер попасть впросак. Другие уверяли с опаской, что «новый» принюхивается,— очень уж внимательно все высматривает и лезет в каждую дыру: такие нарочно прикидываются дурачками, пока всего не раскумекают, а потом — только пыль пойдет. Работы на строительстве шли своим чередом, и ничто не знаменовало приезда нового начальника.

Незамеченным остался его приезд и потому, что два дня спустя новая сенсация, пролетевшая дунове-

нием по строительству, заставила зашептаться весь инженерно-технический персонал. Сенсацией этой был приезд нового главного инженера Кирша, о котором многие из инженеров помнили по газетам, что пять лет тому назад судился за вредительство в связи с панамой на одном из крупных среднеазиатских строительств, где Кирш работал заместителем главного инженера. Строительство оказалось утопией, заранее обреченной на неудачу, не оправдывавшей тех огромных вкладов, которые были на него затрачены. Кирш был приговорен к восьми годам и, по-видимому, недавно только отбыл сокращенный срок своего заключения. Факт назначения бывшего вредителя, только что выпущенного на свободу, начальником одного из крупнейших строительств был событием настолько сенсационным, что все только о нем и говорили.

Когда Кирш впервые появился на участке, у всех бараков, палаток и юрт выросли десятки пар глаз, любопытных, как бинокли. Он шел, сдержанный и жесткий, с непокрытой головой, на которой седина казалась плотной серебряной сеткой, надетой с утра, чтобы лучше улеглись волосы, с лицом прямолинейным и матовым,— такие лица без воротника и галстука кажутся непобритыми.

Днем Кирш с Морозовым и Синицыным ходили по участку, а к вечеру засели в юрте Морозова, куда вызвали и секретаря постройкома Гальцева. Долго ночью возчики и арбакеши, везшие из Сталинабада лес и столпившиеся бивуаком у переправы, видели с той стороны реки свет в одинокой юрте. С того берега он казался тлеющим окурком, брошенным в муравейник.

На следующий день по участкам пронеслась весть о специальной комиссии, выделенной для обследования работ механизации, под председательством Кирша.

Комиссия засела с утра в канцелярии механизации, куда вспотевшие канцеляристы таскали целый день кипы исписанных бумаг, проходя почему-то на цыпочках мимо дверей кабинета Немировского, как ходит семья у дверей тяжелобольного.

Комиссия работала три дня и покинула канцелярию механизации так же неожиданно, как в ней появилась, оставив на столе кипы развороченных бумаг и груду окурков на подоконнике. То, что комиссия унесла

с собой, поместилось в объемистом портфеле Кирша. Чем кончилось обследование, никто толком не знал.

Вечером в местечке, у себя на веранде, Кирш пил чай, слушал радио, привезенное из Москвы, и, откинувшись на спинку шезлонга, смотрел в небо, перегруженное звездами, как яблони яблоками. То здесь, то там яблоко обрывалось и стремительно падало вниз. Тогда на веранду к Киршу поднялся Немировский.

— Можно к вам? Мне нужно поговорить...

— Пожалуйста,— Кирш приостановил рукою радио.— Здесь или в комнате?

— Если вам не трудно, я предпочел бы в комнате. Здесь могут помешать.

— Заходите.

Он поднялся и пропустил вперед Немировского.

— Я перейду прямо к делу, без вступительных объяснений. Хотя мы и не имели возможности ближе познакомиться, я знаю вас как крупного научного работника, одного из виднейших наших специалистов, и имею все основания питать к вам полное доверие.

Кирш сделал неопределенный жест.

— Поэтому я решился вас побеспокоить. Мне хотелось бы поговорить с вами совершенно откровенно.

— Я вас слушаю.

— Вы еще не имели возможности ознакомиться с атмосферой, господствующей на нашем строительстве. Надо вам сказать, что лозунг о бережном отношении к старым специалистам сюда еще не проник, старого инженера продолжают здесь рассматривать как скрытого врага и потенциального вредителя. Партийная организация прилагает все усилия к тому, чтобы подорвать наш авторитет в глазах рабочих. Та систематическая травля, которой подвергаюсь я лично почти с момента моего приезда сюда, приняла в последнее время такие формы, которые лишают меня всякой возможности работать. Комиссия по «обследованию» механизации, в которой заставили вас председательствовать, созданная исключительно с целью найти во что бы то ни стало в работе механизации неполадки и изъяны,— это только одно из звеньев в этой системе перманентной травли. Вы должны признать сами, что работать в таких условиях не представляется возможным, и что лучшее, что я могу сделать,— и что вы сами,

несомненно, сделали бы на моем месте,— это просить освободить меня от моих обязанностей. Я с удовольствием передам дело в руки того из коллег, которого партийный комитет будет дарить большим доверием и симпатиями. Я думаю, что в центральной России, где новое отношение к специалистам обрело уже право гражданства, сумею быть более полезным.

— Да...— помедлил с ответом Кирш,— собственно говоря, ваше желание удовлетворено априори. Товарищ Морозов подписал сегодня приказ о вашем освобождении. Только вот насчет отъезда в Россию вам придется, к сожалению, подождать. Ваше дело передано следователю.

— Значит, если я вас хорошо понял, комиссия, работавшая под вашим руководством, присоединилась к мнению товарища Синицына?

— Комиссия не присоединилась ни к чьему мнению, а высказала свое мнение на основании изученных материалов.

— А вы-то лично тоже убеждены, что моя работа вредила строительству?

— Да, я убедился, что ваши мероприятия не были направлены на то, чтобы наладить работу механизации.

— Я понимаю,— косо улыбнулся Немировский,— понимаю затруднительность вашего положения. Вас нарочно назначили председателем этой комиссии по обвинению во вредительстве другого инженера, чтобы испытать вашу лояльность.

— Вы имеете в виду мое собственное судебное дело?—спросил спокойно Кирш.—Вы ошибаетесь. Если б я на минуту был уверен в вашей правоте, я об этом не стал бы молчать. Если я счел нужным высказаться в подтверждение выдвигаемого против вас обвинения, то исключительно потому, что имею в этой области некоторый опыт и убедился, на основании фактических данных, что обвинение вполне обосновано.

— Скажите проще: вы предпочитаете послать в тюрьму другого инженера, чем навлечь на себя подозрение. Если вы полагаете, что они оценят и зачтут ваше усердие, то вы ошибаетесь. Личный горький опыт ничему вас, по-видимому, не научил. Они выпустили вас и назначили на эту работу потому, что вы им пока нужны для расправы с такими же, как вы, представителями старой интеллигенции. Когда вы сделаете свое

дело, они сумеют подставить вам ножку и отправить туда, откуда вы только что пришли. Они никогда не будут вам доверять и рассматривать вас как своего человека. Года через четыре у них будет достаточно собственных инженеров, тогда песенка ваша, моя и всей старой интеллигенции будет спета. Они не могли обойтись без нас на определенном этапе, поэтому использовали нас, не доверяя нам ни на одну минуту и ненавидя нас тем больше, чем больше мы им были необходимы. Когда надобность в нас отпадет, никто не вспомнит даже о том, что это вашими руками, вернее, вашим умом и опытом воздвигнуто было то или иное строительство. И вас и меня просто выбросят за борт, «ликвидируют как класс», выражаясь их языком. Вы станете в лучшем случае мальчиком на побегушках у какого-нибудь Сидорова или Петрова, который сегодня работает у вас монтером, а завтра будет вами командовать с дипломом советского инженера в кармане. Мне думается, в той стране, где так много говорят о солидарности, не помешало бы немного солидарности и нам, старой технической интеллигенции. Тогда по крайней мере нас не давили бы поодиночке, как клопов,— как уже, в свое время, раздавили вас, решив потом дать вам на некоторое время очухаться,— и как сейчас, при вашей помощи, хотят раздавить меня.

— Вы, кажется, хотите апеллировать к моей «кастовой солидарности», если можно так выразиться? Это атавизм. Никакого такого чувства у меня к вам нет и быть не может. Если может идти речь о какомлибо чувстве, то это скорее чувство жалости...

— И потому вы хотите сделать все, чтобы упрятать меня в тюрьму?

— Вы меня не так поняли. Дело не в той человеческой жалости, которая заставляет мягкосердечного судью смягчить приговор или, в данном случае, могла бы меня заставить заступиться за вас,— об этом не может быть и речи. Мне вас жалко потому, что я вижу, какой длинный путь отделяет вас от выздоровления. Я знаю: то, что над вами сейчас проделывают и что единственно может привести вас к выздоровлению, вы воспримете, как чью-то тупую месть, как величайшее личное несчастье, точно так же как больной, не отдающий себе отчета в своей болезни, воспринимает

временную изоляцию как поползновение на его личную свободу.

— Вы, кажется, собираетесь мне рекомендовать тюрьму как лучший из санаториев?

— Вас пугает слово, которое ассоциируется у вас с целым рядом представлений, несвойственных ему при нашем режиме. Тюрьма в старом, не нашем понятии, это позор, не смывающийся никогда или смывающийся только деньгами, это потеря работы и невозможность получить новую, это жизнь на полях общества. Заключение у нас не связано ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Перемените название, замените слово тюрьма словом изолятор, и представления, пугающие вас, отпадут.

— Вы решили надо мной поиздеваться?

— Нисколько. Вы знаете, что я сам недавно оттуда вышел. Путь, который вас ожидает, у меня уже позади. Извините за сравнение, но вы мне напоминаете одного купца, отправившегося в плавание на Восток. Проснувшись, он обнаружил, что пароход тонет. К счастью, мимо проходил другой пароход, который и взял пассажиров с тонущего на свой борт. Когда дошла очередь до купца, он сначала справился: «А куда идет ваш пароход?» — «На Запад! — прокричали ему с нетерпением.— И перелезайте скорее, если не хотите утонуть».— «Нет-с, благодарю-с. Мне не по пути-с. Я в другом направлении»,— сказал купец и остался на тонущем пароходе.

Вам тоже не по пути с нами, товарищ Немировский, и вы, очевидно, предпочитаете идти ко дну, чем изменить курс своего плавания. Все, что вы здесь говорили, глубоко неверно. Пять лет назад я думал приблизительно так же, и это было еще простительно. Я слышал вокруг себя речи и лозунги, но не видел фактов, которые были бы способны меня убедить. Меня возмущала расточительная неэкономность революции: я видел, как сегодня бессмысленно разрушают то, что завтра надо будет отстраивать заново. Я видел, как правильные и хорошие идеи превращались на практике в карикатуру благодаря неумелости рук, принявшихся за их осуществление. Мне претил этот социализм по-азиатски. Я говорил себе, что этой стране нужно сначала дать культуру рядовой западной страны и потом уже затевать с ней разговор о социализме.

Я слишком поздно убедился в своей неправоте. Я ставил на голову то, что они с места поставили правильно на ноги. То, что я называл культурным уровнем и считал необходимой предпосылкой будущего, более высокого социального строя, требовало, наоборот, как необходимой предпосылки этого более высокого социального строя и было его непосредственным следствием. А этот социальный строй, в свою очередь, могли осуществить только те неумелые руки, неуклюжесть которых заставляла меня презрительно относиться к каждой их затее. Я убедился, что называл неэкономностью и бесполезными затратами революции лишь ее накладные расходы, неизбежные в таком громадном предприятии. Критикуя революцию, я критиковал ее с позиций мелкого фабриканта булавок, измеряющего меркой своей грошевой экономии «неэкономный размах» какого-нибудь короля стали.

Чтобы понять все это, я должен был выйти на несколько лет из потока расточительной новой действительности, осмыслить ее в стороне, в обстановке искусственной тишины и одиночества. Конечно, сама изоляция не переубеждает. Нужна человеческая помощь. Эту помощь я нашел, и вы ее найдете там, где меньше всего ожидаете,— у людей, само название которых вам кажется сейчас ненавистным и страшным потому, что от частого повторения оно стало для нас мифом, и наше пошленькое воображение снабдило его всеми аксессуарами Гран-гиньоля. Я говорю о ГПУ. Я встретил там людей, которые отнеслись ко мне не как враг относится к врагу, а скорее, как врач относится к душевнобольному: с большим терпением и большой внимательностью. Они могли бы не терять на меня столько времени, а дать просто в утреннем кофе цианистый калий, как неизлечимому. Вместо того, они спорили со мной подолгу, разбивая шаг за шагом мои шаткие возражения. После таких бесед я выходил разбитым наголову собирать в одиночестве разгромленную армию моих аргументов, считал выбывшие из строя, составлял новые батальоны из тех, которые казались мне еще невредимыми и боеспособными, перестраивал весь фронт и шел на следующую беседу, как идут на бой, чтобы потерпеть очередное безнадежное поражение. «Они» не нуждались в хитрой подтасовке. На «них» работала вся огромная страна, поставляя аргументы в удесяте-

ренном количестве. Каждая новая домна, каждый новый «строй», вступающий в строй, били по моей деморализованной армии, как безошибочные дальнобойные орудия.

«Они» дали мне возможность продолжать мои научные изыскания в прекрасно оборудованном чертежном зале, где я разрабатывал проекты очередных строительств. Я не был за бортом жизни, я чувствовал себя связанным со всей страной, я принимал участие в ее напряженном труде. Когда, однажды утром, мне сказали, что я могу уйти на одну из красных точек, вспыхнувших электрическим светом на карте моей страны за годы моего отсутствия, я не должен был ни переключаться, ни присваивать себе этих пяти пропущенных лет,— я просто из лаборатории вышел на леса строительства. Я не считаю, что потерял что-либо от моей изоляции. Я потерял каких-либо два года на ненужную защиту заранее проигранных позиций, а выиграл целую эпоху.

— И пост главного инженера...— злобно ухмыльнулся Немировский.

— Да, и возможность принимать участие в одном из важных и ответственных строительств.

— Я выслушал вас терпеливо, не перебивая. Если вы развели всю эту лирику с единственной целью морально оправдать себя передо мною за то, что отправляете меня в тюрьму, то вы напрасно трудились и напрягали свое красноречие. Я отлично понимаю: мое дело для вас — это вопрос дальнейшей карьеры. Вы только, кажется, не даете себе отчета в одном: что ваше строительство — это гроб и вас посадили сюда нарочно, чтобы вы свернули себе шею. Через три-четыре месяца всем станет ясно, что план не будет выполнен даже на пятьдесят процентов,— это физически невозможно при том наследстве, которое вы получили от своих предшественников. Тогда вас выгонят вон, как Четверякова, а что еще вероятнее, пристряпают вам новое дело. Имейте в виду: во всех секторах строительства дела настолько запущены, отчетность настолько запутана, растраты настолько велики, что выпутаться вам из этого дела, если вздумают во всем разобраться, никакой лирикой не удастся. А вы сами, я думаю, понимаете,— с вашим прошлым нарваться сейчас, на первой же работе, на уголовное дело — это,

мягко выражаясь, крышка. Так вот, у вас есть единственный шанс выбраться отсюда сухим: вам надо во что бы то ни стало до осени,— чем раньше, тем лучше,— добиться переброски на другую работу. Тогда расхлебывать весь кулеш будет ваш наследник. Я знаю, в вашем положении добиться перевода отсюда — вещь почти невозможная. Я смогу вам в этом помочь. У меня есть серьезные связи в Наркомземе. Освободившись здесь, я легко смогу устроиться в Москве, и сумею, будьте покойны, перетащить туда и вас. В Москве все упирается в квартирный вопрос. У меня в центре есть меблированная квартира из четырех комнат. Вот охранная грамота,— он выложил на стол какую-то бумажку.— Квартира эта — в вашем распоряжении. Предлагаю вам над этим подумать: спокойная работа в Москве или уголовное дело здесь. Выбор, я надеюсь, нетрудный. Вы думаете, я преувеличиваю? Задержите заключение комиссии по моему делу на несколько дней и разберитесь за это время поглубже в отчетности строительства. Если окажется, что я был не прав, сможете меня отправить в «изолятор» через несколько дней, это всегда успеется. Если же, ознакомившись поближе с делами строительства, почувствуете случайно, что волосы ваши становятся дыбом, тогда вспомните — место в Москве, и готовая квартира в вашем распоряжении. Ну, я пошел. Извините за беспокойство. В случае надобности, стоит вам только за мной послать, живу рядом.

— Я вижу, что действительно разговаривал с вами напрасно. Я принял вас за человека заблуждающегося, в то время как вы просто мерзавец. Убирайтесь вон и возьмите свою бумажку, или я немедленно велю вас арестовать!

На шестой день Морозов впервые собрался в местечко. Он пристроился на грузовике, уходившем с головного участка и облепленном уже пассажирами. Грузовик понесся вприпрыжку по неровной дороге, и пассажиры на платформе пошли отплясывать чечетку, растерянно цепляясь руками за рамы, друг за друга, чтобы устоять на дощатом полу. В клубах взбудораженной пыли не было видно ни дороги, ни даже передней части машины,— дощатая платформа,

как кустарный ковер-самолет, прыгала по рыжим облакам.

Она очутилась опять на земле, когда грузовик с треском сел на риф. Это был просто развороченный мостик. В зияющей бреши бурлила вода. Грузовик дал задний ход. Мотор екнул, подналег и отбросил машину вспять. Люди спрыгнули на землю. Шофер, отплевываясь и матюкаясь, вылез из кабинки и задумчиво почесал затылок. Пассажиры привычно отстегивали заднюю раму и отвинчивали запасное колесо. Спустя десять минут брешь была заштопана. На нее уложили запасное колесо, заднюю раму и еще какие-то доски, предусмотрительно валявшиеся на полу платформы. Шофер сел за руль. Машина рванула, перескочила мостик и остановилась, ожидая, пока пассажиры не привинтят всего аккуратно на место.

Морозов протянул шоферу папиросу:

— Э, да у вас тут каждый шофер заодно и сапером быть должен! Не проще ли починить мостики, чем проделывать каждый раз такую операцию?

— Да разве их починишь? Утром исправят, а к вечеру трактора изломают их в щепы. Разве это мостики для тракторов? Надо бы поставить особые, железные. Пока будут ездить по этим, сколько ни чини — все одно изломают.

— Лучше возить с собой доски и каждый раз самому себе мостик строить?

— Приходится. Без досок и без лопаты на наших дорогах, что без колес: далеко не уедешь.

— А сколько таким манером машин ломаете?

— Ломают те, которые поскорее проехать хотят и к арыкам сноровки не имеют. А к арыку, как к барышне, подход надо знать. Один возьмешь — и айда дальше, без хлопот. Другой тебя обязательно на ночь задержит. Третий из тебя все кишки вымотает, пока отпустит,— такой лучше объезжать издалека. А из четвертого иначе как с поломанным кузовом и подбитыми фарами и не выберешься, да еще потом, за осложнения с машиной, алименты из жалованья вычтут.

Шофер протяжно загудел, все повскакали на платформу, и она понеслась опять, качаясь и звеня в мутной зыби всклокоченной пыли.

В местечке Морозов отыскал прокуратуру и, не найдя там Кригера, отправился к нему на квартиру. На квартире сказали, что Кригер болен. Морозов попросил доложить о себе. Его провели в кабинет. Через несколько минут вышел Кригер в бухарском халате и туфлях. Лицо у Кригера было желтое, оно гармонировало с парчой халата.

Кригер извинился, что его треплет малярия, и тут же добавил: очень рад познакомиться. Если у Морозова срочное дело, они смогут переговорить,— приступ начнется только через два часа.

Он попросил подать чай, и чай вскоре появился, русский, в тонких стаканах. Кригер пил его с коньяком. Морозов от коньяка отказался.

В течение нескольких минут они говорили о том, о чем могут говорить два русских работника, впервые встретившиеся в Азии: об условиях работы, о климате, о населении. Кригер спросил у Морозова: болел ли тот малярией, и, получив отрицательный ответ, обнадежил его, что в таком случае наверняка заболеет; все русские болеют, и от этого нельзя увильнуть, это — как корь.

Морозов перешел к делу.

— Хотим немного привести в порядок наше строительство и оздоровить атмосферу, заставляющую желать много лучшего. К сожалению, это оздоровление придется начать несколькими судебными делами. Насколько мне удалось убедиться, на строительстве за весь период работ, изобиловавший фактами уголовного порядка, почти никто к судебной ответственности не привлекался. Даже те немногочисленные дела, которые были направлены к следователю,— касались они преимущественно явных растрат,— даже эти дела до сих пор не расследованы, и виновники гуляют на свободе или процветают на других строительствах. Нечего и говорить, что такая безнаказанность действует разлагающе. Несколько приговоров и два-три показательных суда живо заставят подтянуться весь аппарат строительства.

— Вы совершенно правы,— сказал Кригер,— к сожалению, предыдущая отчетность строительства настолько запущена и велась так безалаберно, что не представляется никакой возможности в ней разобраться. Я сам вел дело о растратах одного бухгалтера

и нескольких кассиров и пробовал добиться хотя бы относительной ясности. В трех случаях ничего нельзя было установить. Пришлось дела спрятать в ящик. Надо бы начать с привлечения к ответственности всех тех, кто вел отчетность, а этого сделать невозможно,— с начала строительства их здесь переменились десятки.

— Насколько мне удалось установить, неразбериха в отчетности относится в наибольшей степени к первому периоду строительства, когда предшественник Еремина начинал работу на голом месте. Еремин значительно наладил отчетность, хотя о полной ясности говорить не приходится. Однако факты, которые я имею в виду, вполне установимы и установлены.

Он порылся в портфеле и достал оттуда пачку бумаг.

— Последняя крупная растрата относится к периоду между отъездом Еремина и моим приездом. Совершил ее бывший заведующий техническим отделом, некто Кристаллов, в сообщничестве с главным бухгалтером Сыроежкиным. Оба, как вам известно, сбежали, приблизительно неделю тому назад. Есть предположение, что сбежали в Афганистан. Растраты производились систематически в течение ряда месяцев, на основании фальшивых заявок на зарплату рабочим, которые фабриковал Кристаллов. Общая сумма растраченных денег по предварительному подсчету — семьдесят тысяч рублей. При более точной проверке может оказаться и значительно больше. Относительно личности самого Кристаллова удалось выяснить, что этот субъект разыскивается за растрату, совершенную им на Днепрострое, а может быть, и на других строительствах. Настоящая его фамилия — Кулебякин. Это бывший белый офицер, штабс-капитан врангелевской армии. Раскрыть его личность помог один из инженеров, работавший здесь, а затем переброшенный на Днепрострой. Инженер этот, опознав Кристаллова по фотографии, известил тамошние судебные власти и сообщил письмом Еремину. Письмо было перехвачено личной секретаршей Еремина Немировской, благодаря чему Кристаллов имел возможность скрыться.

— Это проверено?

— Да, письмо найдено в сумке Немировской, которую она забыла на своем столике в управлении.

— Значит, Немировская состояла в сообщничестве с Кристалловым?

— Да, но тут вопрос немножко более сложный и выходит за рамки простой растраты. Он смыкается одним углом с гораздо более серьезным делом инженера Немировского, заведующего сектором механизации. Комиссия, работавшая по обследованию этого сектора, собрала весьма отягощающий материал. Есть предположение, что мы имеем здесь дело с преднамеренным вредительством. Инженер Немировский не только мастерски разладил работу своего сектора, но имел огромное влияние на определенный круг инженеров, в обделывании которых ему активно помогала жена. Говорят, что она и на Еремина имела большое воздействие. Во всяком случае, ее работа в качестве личного секретаря начальника строительства позволяла ее мужу быть прекрасно в курсе всех предполагаемых мероприятий. Не подлежит сомнению, что случай с перехваченным письмом по поводу Кристаллова не был единственным случаем, о чем свидетельствует нехватка в делах правления целого ряда документов. Дело четы Немировских является ключом к раскрытию менее значительных вредительств, злоупотреблений и неполадок, вызванных субъективными причинами. Поэтому правление настаивает на проведении следствия, я бы сказал, в ударном порядке и на быстром проведении суда. Приговор чете Немировских и их сообщникам будет тем дезинфицирующим средством, которое сразу оздоровит атмосферу нашего строительства. Я вижу, что утомил вас. Вы себя плохо чувствуете?

— Нет, ничего... это всегда, когда приближается приступ...

Кригер был желт, и губы его подрагивали.

Морозов поднялся:

— Я не буду вас больше утомлять...

— Нет, нет, посидите. Я предпочитаю в таких случаях разговаривать, чтобы не оставаться одному. Тогда я, по крайней мере, не думаю, что это неизбежно придет.

— Что именно? Ах, приступ! Да, это неприятная болезнь. Надо бы вам лечиться. Это ведь излечимо.

— У одних излечимо, у других нет. Вы давно в Средней Азии?

— Три недели.

— Недолго. Я здесь пять лет. Раньше работал в Туркмении.

— Вам, кажется, скучать не приходится. По вашей линии дела хоть отбавляй. Очень уж быстро у вас тут люди разлагаются. Черт знает, что здесь этому способствует: отдаление от центра, трудные условия, климат? Пожалуй, все понемногу.

— Солнце,— улыбнулся Кригер.— Старый закон природы: здоровое консервируется, все, что с гнильцой, ускоряет процесс своего разложения. А много ли людей без единого гнилого пятнышка? Еремин, когда сталкивался с этим, кричал, что сюда присылают человеческий брак, писал по этому поводу докладные записки. Это неверно. Конечно, много всякой дряни приезжает сюда в погоне за высокими ставками. Но это не основная часть. Большинство — это те, которые там, на севере, были и остались бы полезными работниками. Тамошняя температура строительства не дала бы размножиться их гнилостным бациллам, а во многих случаях могла бы даже умертвить эти бациллы. Присланные сюда, в пустыню, под тропическим солнцем они быстро начинают попахивать. Тот, кто там просто любил выпить,— здесь делается алкоголиком. Кто там просто имел слабость по женской линии — здесь становится прелюбодеем. А прелюбодей для удовлетворения своей страсти способен на все, даже на преступление. Кто там иногда, в вечерние часы, ощущал тоскливое недовольство своей судьбой,— здесь превращается в меланхолика, и так далее, и так далее. Если вы не учтете в поступках здешних европейцев некоторого коэффициента солнечной энергии, вы будете постоянно совершать ошибки в своей оценке.

— Извините, но это довольно странная и скользкая теория, которая ведет прямо к положению христианской мудрости о том, что все понять, значит все простить.

— Мы не осуждаем и не прощаем, а защищаемся. Поэтому нам не угрожает опасность удариться в христианское милосердие. А понять того, кого судишь и с кем работаешь, вовсе не вредно. Вы здесь еще только недавно, заводите, так сказать, с Азией первое знакомство. А я за пять лет уже насмотрелся.

Помню, когда я впервые приехал в Туркмению, один европеец, которого я встретил, долго не выходил у меня из головы. Это был русский бухгалтер на одной заброшенной амударьинской пристани. Путешествовал я на каюке, путешествие длилось неделями. После каждых двух дней плавания мы регулярно садились на мель и ждали, пока снимет нас с нее сама Аму, перекатывавшаяся в своем русле с одного края на другой, как в слишком просторной постели. Это был единственный русский на глухой пристани, состоявшей всего из нескольких хибарок, и я был единственным русским на каюке, причалившем к этой пристани. Мы сразу же разговорились, и он пригласил меня к себе обедать.

Обед, как полагается, состоял из одной сплошной баранины. Желая меня почтить, бухгалтер вытащил откуда-то из-под крыши недопитую бутылку водки, завезенную сюда в прошлом году какой-то экспедицией, любившей, по-видимому, выпить. Он не знал, куда меня усадить и как мне выразить свое расположение. Дети в таких случаях рассказывают встречному дяде, к которому они прониклись неожиданной симпатией, самый сокровенный секрет. Тотчас же после обеда он повел меня в другую хибарку, где стояли примитивный столярный станок и большой ящик, похожий на ящик от пианино. Он признался мне, что сам мастерит пианино, и показал несколько готовых молоточков. Он выстругивал их перочинным ножиком. Говорил, что уже полгода занят этой работой и рассчитывал закончить ее в следующие полгода. Я поддакнул: это не такой уж большой срок. И действительно, вырезать в год пианино перочинным ножиком не было вовсе большим сроком. Он поспешил меня просветить, что самая трудная работа начнется только потом, когда все деревянные части будут готовы и придется подбирать струны. На эту работу, по его заверению, требовалось не менее года. Струны он предполагал делать из верблюжьих жил (волов поблизости не было).

Он сообщил мне тут же, с тревогой в голосе, что верблюжьи жилы дают преимущественно низкие тона; вряд ли ему удастся подобрать всю клавиатуру. Таким образом, два года его работы могли пойти прахом. Я хотел было его спросить, почему он прежде не

подобрал струн, а потом уж взялся бы делать пианино. Но он вдруг нагнулся ко мне и сказал таинственным шепотом, как говорят с сообщником:

— Знаете, а говорят, туркмены на своих дутарах делают струны из человеческих жил, потому они так тонко поют...

Он говорил это, как будто советовался со мной. Я не ответил ничего. Я спросил, почему он не подает заявления о переброске в другое, более обитаемое место. Оказалось, заявление он подавал год тому назад, но ответа до сих пор не получил, а бросить дела и уехать, не сдав их другому, ему не позволяла совесть. Он был честный, добропорядочный бухгалтер.

Я сказал, что очень тороплюсь, попрощался и ушел. Он проводил меня на пристань и настоятельно просил заехать к нему, если буду в этих краях. Я обещал, что заеду непременно.

Года через полтора я действительно проделал то же путешествие в обратном направлении. Меня перебрасывали в Таджикистан. Я проезжал около той же пристани и был рад, когда каючники, желая наверстать потерянное в дороге время, решили не останавливаться...

— Должен ли я понимать ваш рассказ как иллюстрацию к вашей теории о влиянии тропического солнца на гнилостные бациллы? — спросил Морозов.

— Как хотите... Я хотел только сказать, что Азия это не так просто, как вам кажется. Англичане из каждого колониального работника делают национального героя, его подвиги воспевают лучшие английские писатели. Малышам в школе внушают к нему уважение, граничащее с восторгом. Мы, которые не грабим и не насилуем, а ведем здесь действительно огромнейшую культурную работу исторического значения,— мы не только не воспеваем наших среднеазиатских работников, но если пишем и говорим о них, то пишем и говорим исключительно о недостатках, промахах, преступлениях. Пока человек работает хорошо, никто им не занимается. Это считается естественным. Когда он надорвется и начинает работать плохо, к его поступкам приковывается внимание всей страны...

— А по-вашему, должно быть наоборот?

— У меня была жена врач. Я познакомился с ней

здесь, в Таджикистане. Она работала по кишлакам, месяцами скиталась по дехканским кибиткам, отучила женщин держать детей до двух лет в бишиках [1]. Прививала людям элементарные принципы гигиены, приучила употреблять мыло и зубной порошок. Она, собственно говоря, не была даже моей женой. Она умерла от тифа за три дня до того, как переехать ко мне в Куляб. Страна не знала и не узнает никогда об ее существовании.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я не говорю, что надо создавать какой-то особый культ среднеазиатских работников, но я думаю, что высшие ставки, которые они получают, вызваны не дороговизной, а являются денежным эквивалентом той большей суммы жизненной энергии, которой требуют от них местные условия, и я думаю, если бы среднеазиатские работники чувствовали к себе внимание всей страны не только в момент своего банкротства, но и на протяжении всей своей трудной работы, может быть, этих банкротств было бы меньше...

— Вы преувеличиваете специфические трудности здешних условий работы,— возразил спокойно Морозов.— На любом отрезке нашего строительства, в любой республике требуется сегодня от работника не меньшее усилие. Страна оценивает нас по нашим достижениям, а не по количеству затраченной энергии. Она требует от каждого больше, чем он способен дать, и не признает смягчающих обстоятельств. Ваша солнечная теория, которая стремится оправдать человеческие слабости, вместо того чтобы помочь их преодолеть,— не наша теория, и я не сомневаюсь, что на практике вы ею не руководствуетесь.

Он поднялся и протянул руку Кригеру.

— Мне кажется, вы серьезно больны и напрасно не возьметесь за систематическое лечение. У вас явно жар. Идите ложитесь. Я слышал, что при тяжелых формах малярии единственное радикальное средство — это перемена климата. Хотите, мы напишем вместе с Синицыным, чтобы вас перебросили в Россию?

— Спасибо. Есть запущенные формы болезни, когда уже не помогает и перемена климата. К тому же

[1] Туземная люлька.

ведь вы сами говорите, что тропическое солнце ни при чем. Останусь здесь. Насчет дела, о котором мы с вами толковали,— не беспокойтесь: следствие проведем в кратчайший срок.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В эту ночь Кларка разбудил стук в соседнюю квартиру и приглушенный разговор нескольких голосов на веранде. Немировские долго не отпирали. Стук повторился настойчивее. Наконец лязгнул замок.

Кларк повернулся на другой бок, пытаясь опять погрузиться в сон. Из квартиры Немировских доносились шум шагов и невнятный гул разговора, потом шум передвигаемых вещей. Это производило впечатление, как будто пьяные расхаживали по комнате, задевая за мебель.

Кларку надоели эти вечные пьянки. Он досадливо зарылся с головой в подушку, напрасно пытаясь заснуть. Вспугнутый сон не приходил. Стало уже светать, а возня в соседней квартире все еще продолжалась. Наконец хлопнула дверь, и ночные гости ушли. Кларк перевернулся к стене. Усталость медленно бродила в голове, как снотворное, заставляла струиться обычно незыблемые предметы. Над головой однообразно, как вращающаяся ручка киноаппарата, стрекотали мухи, и сон плелся мигающей, бессвязной фильмой, смонтированной из сотен кусков. Он утомлял мозг, как мигание утомляет зрение. И когда наконец из оболочки чепухи начал вылупляться смутный сюжет,— в комнату постучались.

Кларк присел на постели.

— Все еще спите? — раздался за дверью голос Мурри.— Девять часов.

Кларк отпер дверь.

— Неужели так поздно?

— Ничего, сегодня праздник. Зашел вас поздравить с Первым мая.

— Разве сегодня Первое мая?

— Здравствуйте! Вижу, что угрозы анонимного художника не очень принимаете к сердцу. Во всяком случае, сон ваш от этого не страдает.

— Очень поздно уснул. Мои соседи собирают к себе гостей и всю ночь устраивают бедлам.

— Вряд ли они звали к себе сегодняшних гостей. Ваши соседи ночью арестованы.

— Как это арестованы? За что?

— Говорят, за вредительство, а там не знаю.

— И она арестована? Разве она тоже занималась вредительством?

— Это уж спросите следователя! Арестованы и он, и она, и еще кто-то.

— А вы откуда знаете?

— Милый Кларк, вы живете на строительстве и не видите, что вокруг вас делается. Неужели вы до такой степени увлеклись работой? А может, кем-нибудь другим?

— Просто не интересуюсь сплетнями,— сухо отрезал Кларк.

— Хорошие сплетни! Арестовывают у вас под боком инженера, у которого вы бывали, который заведовал всеми механизмами строительства, и это не представляет для вас никакого интереса? Однако то, что арестовали его интересную жену, вас заинтересовало!

Кларк покраснел.

Мурри достал спички и минуту раскуривал трубку.

— О Немировской говорят, что она здесь крутила любовь с десятком инженеров и впутала их в это дело. Не подлежит сомнению, что, желая выкрутиться сама, она назовет своих любовников. Может оказаться, что это половина инженерного персонала. Говоря между нами, подвернись случай, кто бы из нас отказался,— женщина бесспорно эффектная. Многие из тех, кто имел неосторожность поспать с ней, теперь чешут за ухом и думают, как бы отсюда смыться до процесса, чтоб не оказаться безвинно замешанным в это дело. Тут не так легко выпутаться. Раз женщина скажет, что ты с нею жил, никакое отрицание не поможет. По здешним законам, даже алименты присуждают на основании простого указания согрешившей девицы. Иди потом доказывай, что ты спал с Немировской бескорыстно, когда все другие платили за это известными услугами. Будь ты самый невиновный из невиновных, поневоле смоешься. Нельзя даже удивляться. Это единственно разумный выход: не вертеться на глазах. Один мой знакомый, американец инженер, влип в такое дело на одном из здешних строительств только на том основании, что провел одну ночь с очень

красивой девушкой, которая оказалась заподозренной в шпионаже. Стоило колоссального труда выпутать его из этого дела... Одним словом, перемены предвидятся большие, хотя, конечно, наше дело сторона...

Кларк, повернувшись спиной, сосредоточенно зашнуровывал ботинки и ничего не ответил.

— Ну, а насчет сегодняшнего Первого мая, как думаете провести день? Не советую вам относиться к этим угрозам чересчур беззаботно.

— А вы думаете, на нас могут всерьез покушаться?

— Черт их знает! Так или иначе, я пришел вам предложить провести этот день вместе. На обещания администрации полагаться особенно не приходится. Из-за их нерадивости Баркер, не желая рисковать, вчера упаковал вещи и уехал.

— Действительно уехал?

— Ну да, говорит: пусть сначала обеспечат на строительстве полную безопасность, а потом уже приглашают иностранных специалистов.

— Зачем вы сказали Баркеру, что все мы получили одинаковые записки?

— Он застал у меня на столе второе письмо.

— Ну что ж, вместе остались, вместе будем встречать опасность.

— Давайте,— согласился Мурри.— Кончайте туалет и заходите ко мне. Пойду пока побреюсь. Во-первых, праздник, во-вторых, наши «самми», прежде чем идти в атаку, тоже имели хороший обычай бриться.

Он толкнул дверь и остановился на пороге.

— Кларк, у вас в Америке есть семья: жена, дети?

— Есть жена и ребенок. А в чем дело?

Мурри вплотную подошел к Кларку и положил ему руку на плечо:

— Давайте говорить честно. Вам обидно показать, что американцы испугались. Но ведь достаточно, если останется один. Мне нравится эта страна. Она напоминает мне Мексику, где я провел лучшие годы юности. Я по природе — бродяга и, грешным делом, люблю риск. Это взвинчивает нервы и прекрасно лечит от скуки. Я одинок, как палец. Если меня хлопнут, никто от этого не пострадает. А у вас есть ребенок. Зачем вам рисковать? В Москве устроитесь на другое строительство.

Кларк обнял Мурри и похлопал его по спине.

— Брось, старина! Я догадывался, что ты хороший малый. Никогда этой минуты не забуду. Только не поеду никуда. Давайте лапу, будем друзьями.

— Ваша воля,— сказал Мурри, пожимая крепко руку Кларку.— Ну, я пошел. Оденетесь, заходите.

Кларк продолжал одеваться, насвистывая веселую песенку. Он был растроган и не хотел этого показать. Он не был в обиде на этот день, меченный угрозой опасности, который сулил ему смерть, а с утра принес дружбу. Он открыл настежь окно, увидел замок и печать на дверях Немировских и внезапно помрачнел. Воспоминание о Немировской тяготило, как забытая на минуту зубная боль. Слова Мурри вызвали в Кларке смутную тревогу. Мурри, несомненно, догадывался обо всем. Его намеки были слишком прозрачны. Ясно, что он очень серьезно расценивал возможные последствия этого нелепого приключения и по-дружески советовал Кларку уехать, хотя тактично не договаривал всего до конца. Анонимная угроза была бы в этом отношении прекрасным предлогом, мотивирующим внезапный отъезд. Кларку не хотелось уезжать: он был в отчаянии от мысли, что случайный ночной инцидент мог впутать его в это темное дело, компрометируя раз и навсегда в глазах людей, которые относились к нему с полным доверием.

В комнату постучались. Это была Полозова.

Со времени памятного конфликта она заходила к нему лишь в самых экстренных случаях. Освободиться от обязанностей переводчицы Полозовой так и не удалось. Комсомольский комитет по предложению Нусреддинова вынес ей выговор за самовольное оставление работы и предложил немедленно вернуться к исполнению обязанностей. Не помогли ни слезы, ни ссылки на обиду. Проводив ее домой после заседания и шутливо стыдя ее за плаксивость, Нусреддинов сказал на прощанье:

— Честь комсомолки, Мариам, состоит в том, чтобы выполнить до конца порученную работу. Нигде не сказано, что работа должна быть обязательно приятна. Смешно обижаться на человека чужого класса.

Апеллировать к Синицыну Полозова не решилась. На работу она вернулась на следующий же день, как будто ничего и не было, только отношения ее с Кларком стали с тех пор подчеркнуто сухи и официальны.

Поэтому ранний ее визит в этот праздничный день встревожил еще больше и без того взвинченного Кларка. Он подумал, что Полозова наверное догадывается о его приключении с Немировской (она застала раз Немировскую в его комнате в довольно двусмысленной ситуации), и ему стало еще более неловко.

Когда Полозова заговорила о Немировской, объясняя в нескольких словах, почему эти люди арестованы, ему показалось даже, что она смотрит на него как-то особенно сурово. Он нервно взял со столика папиросу и потянулся за коробкой спичек, лежащей на столе.

Того, что случилось потом, Кларк не сумел бы восстановить во всех подробностях. Скорее всего это было так: он выдвинул коробку, чтобы достать оттуда спичку, жестом, который мы привыкли производить машинально, никогда не разлагая его на составные части. Но то, что последовало за этим, разрывало цепь механических движений. Из коробки вместо спичек выскочил длинный паук на желтых мохнатых ногах и прыгнул Кларку на пиджак. Кларк выронил коробку, сделал шаг назад и поднял руку, чтобы сбросить на пол противное насекомое. Тогда пронзительно закричала Полозова: «Не трогайте рукой!» — и рука Кларка растерянно повисла в воздухе. Паук двумя прыжками сбежал по ноге Кларка, соскочил на пол и остановился на секунду, словно раздумывая. Это погубило его. Полозова схватила со стола толстый словарь и изо всех сил кинула на насекомое. Когда она нагнулась и подняла книгу, раздавленный паук бессильно дрыгал в воздухе мохнатыми ногами.

Полозова опустилась на табуретку.

Кларк понимал, что случилось что-то очень важное, но не знал хорошо, что именно. Он смотрел вопросительно на бледное лицо Полозовой.

— Что это такое? Почему вы так побледнели? Это ядовито?

— Да, это фаланга. Говорят, она заражает трупным ядом.

— А, вот как!

— Откуда она выскочила? Как будто из коробки?

Он нагнулся и поднял с пола спичечную коробку.

— Да, из этой коробки. Я хотел взять спичку... Здорово!

— Почему вы смеетесь?

— Я в первую минуту не сообразил. Сегодня ведь Первое мая. Срок, который нам поставил автор анонимных записок. Мы только что спорили, сдержит ли он свое слово или нет. Оказывается, он уже сдержал и сделал это действительно ловко, по-азиатски. Черт возьми! Каким образом он успел подбросить мне эту коробку? Это превосходит границы моего понимания!

Он взволнованно зашагал по комнате.

— Я тоже не понимаю. Я знаю, что за домом вашим установлено специальное наблюдение. Это совершенно необъяснимо. Если вы теперь бросите строительство и уедете...

— Я не уеду, не беспокойтесь. Я вижу, что кто-то твердо решил выжить меня отсюда. Я не привык подчиняться желаниям, которые пытаются внушить мне силой. Я останусь здесь. Я понимаю игру этих господ. Это очень не глупо. Угробить одного американского инженера и пустить за границей слух, что жизнь иностранных специалистов в СССР не гарантирована. Это даже определенно хорошо придумано. Только случайно эти господа наскочили как раз на меня. Я, к сожалению, несмотря на все попытки, не смог воспрепятствовать отъезду Баркера, но можете передать товарищу Синицыну: если мой коллега вздумает распространяться публично о причинах, заставивших его уехать отсюда, я готов в любую минуту заявить в печати, что это ложь и выдумка.

Кларк видел большие глаза Полозовой, устремленные на него уже без суровости, скорее с сочувственным удивлением. Он понимал, что случай дает ему возможность загладить одним махом ту неощутимую вину по отношению к этим людям, которая тяготила его с момента разговора с Мурри. Сознание этого доставляло ему смутную радость. Он понимал, что поступает благородно,— не каждый на его месте способен был поступить так же,— и это воодушевляло его еще больше. Он взял со стола незакуренную папиросу, достал из ящика спички, выдвинул коробку медленно, жестом инстинктивной предосторожности, убедился, что внутри действительно спички, поймал обеспокоенный взгляд Полозовой, провожавший каждое его движение, и с нарочитой невозмутимостью закурил.

— Товарищ Кларк...— она впервые назвала его товарищ, и это звучало как заслуженное отличие.— Ес-

ли у вас нет специальных планов, то разрешите мне сегодняшний день провести вместе с вами. Это может вам показаться смешным, но в случае, если бы вам сегодня угрожала еще какая-нибудь опасность, я, зная лучше вас местные условия, могу быть полезной.

— Почему вы полагаете, что мне это может показаться смешным? По сути дела, вы спасли мне сегодня жизнь: если бы вы не вскрикнули, я обязательно смахнул бы эту гадину рукой и был бы укушен. Я с большим удовольствием проведу сегодняшний день в вашем обществе. Меня удерживает единственно сознание, что своим присутствием я могу навлечь опасность и на вас.

— Полноте, я все равно весь день не имела бы покоя.

— Если вы настаиваете...

— Согласны? Давайте по рукам,— она протянула руку.— Знаете, вы, несмотря на все, очень хороший человек, мне хотелось пожать вашу руку. Мне кажется, мы будем друзьями.

— Мне кажется, что мы уже старые друзья. Знаете, сегодняшний день я буду долго помнить. Не из-за этого противного насекомого, а потому, что я приобрел двух друзей. Мурри заходил тоже и предлагал провести этот день вместе с ним.

Он вдруг побледнел.

— Мурри!.. Ведь он тоже мог найти на своем столе коробку!..

Кларк кинулся к двери, двумя прыжками перескочив улицу, побежал к квартире Мурри. Полозова выбежала за ним.

Комната Мурри была не заперта. Кларк распахнул дверь и остановился на пороге, Мурри стоял, нагнувшись и рассматривал что-то на полу. Это был большой растоптанный паук.

— Посмотрите, какого я зверя только что убил,— поднял голову Мурри.— Самое удивительное, что он выпрыгнул из спичечной коробки.

Кларк оперся о притолоку.

— Я прибежал вас предупредить. Это фаланга.

— А-а! Это смертельно?

Мурри внимательно осмотрел левую руку.

— Она вас укусила?

— Не знаю... Я ее смахнул рукой и растоптал.

Кларк схватил за руку Мурри и потащил его к окну. На сгибе руки виднелся красный бугорок.

В дверях появилась Полозова.

— Он ее убил!— крикнул Полозовой Кларк, указывая на пол.— Посмотрите, у него на руке какой-то укус.

Полозова отстранила Кларка и наклонилась над рукой.

— Да мне совсем не больно...

Мурри силился казаться спокойным, даже улыбался углами губ, но губы его дрожали.

Водворилось тягостное молчание. Полозова внимательно ощупывала руку. Кларк, очень бледный, машинально проводил платком по внезапно вспотевшему лбу.

— Нет, это не фаланга,— зазвенел веселый голос Полозовой — в напряженной тишине он прозвучал как оправдательный приговор.— От укуса фаланги распухла бы моментально вся кисть, и боль была бы очень ощутима. Это укусил вас, вероятно, комар или какое-нибудь другое безобидное насекомое. Можете быть спокойны. А впредь никогда не смахивайте руками всякого рода подозрительных тварей.

Она смеялась и болтала, рассказала два-три забавных случая со скорпионами. Кларк подумал, что ей сейчас вовсе неохота дурачиться и делает она это лишь для того, чтобы разрядить атмосферу. Желая помочь ей в этой игре, он хохотал очень громко и усердно. Хохотал и Мурри.

Не переставая шутить, Полозова взяла со стула клочок бумаги и, поддев им раздавленную фалангу, положила ее в валявшуюся спичечную коробку.

Когда Полозова пошла взять из комнаты Кларка коробку со второй фалангой и известить о происшедшем Синицына, Кларк сказал Мурри:

— Это она спасла мне жизнь.

— Бойкая девица...— похвалил Мурри. Он остановился посреди комнаты.— Значит, это и был обещанный первомайский сюрприз. Чисто сделано! Все-таки непостижимо, когда они успели подбросить эти коробки. Это прямо виртуозы!

— Да, тут действительно шутки плохи. По правде сказать, я искренне рад, что Баркер уехал, не дождавшись сегодняшнего утра. Я все время убеждал его остаться. Хорошо бы я выглядел, если б его укусила одна из этих гадюк! Видно, художник собрался всерьез выжить нас отсюда. Ну как, вы не переменили своего утреннего решения?

— А вы?

— Останусь здесь!

— Что ж, оставаться, так оставаться. Не думаете же вы, что после сегодняшнего инцидента я смоюсь, как Баркер, и оставлю вас здесь одного. По правде сказать, вся эта история начинает меня интриговать. У меня всегда были детективные наклонности. Попробую разгадать ее сам, без помощи наших хозяев, которые, по-видимому, не блещут в этой области большими способностями.

— Давайте попробуем разгадать вместе.

Полозова шла по празднично раскрасневшейся улице, неся в руках две спичечные коробки. Она не застала дома Синицына и, понимая, что дела откладывать нельзя, решила зайти на квартиру уполномоченного ОГПУ. Уполномоченный жил внизу, над большим арыком, в белом домике у двух чинар.

По улице только что прошла демонстрация, и перед опустевшей трибуной проходила теперь взволнованная пыль, словно вслед за окрестными колхозами из своих развороченных трактором логовищ вылезла демонстрировать пустыня. Вдали хрипло звенели колокольцы. По улице брел запоздалый караван верблюдов, нагруженных бидонами. Караван, видно, застрял в дороге и входил теперь в город, нежданный и неуместный, как гость, явившийся к шапочному разбору. Проходя под опустевшими арками, верблюды по-птичьи вытягивали шеи, вдевая в отверстие арки сначала голову, потом туловище, как их пращур, библейский верблюд, пролезавший в игольное ухо.

Полозова свернула вниз и стала спускаться к арыку. У мостика на нее налетела толпа ребятишек в красных галстуках: они возвращались с демонстрации и кричали о чем-то, разгоряченные парадом. Среди толпы выделялись те, которые, должно быть, сегодня да-

вали присягу и получили почетные галстуки. Их можно было отличить издали по той сосредоточенной торжественности, с которой они несли свои коричневые большеглазые головы в петле непривычного красного платка, как веласкесовские инфанты в неудобном крахмальном рюше.

Уполномоченного ОГПУ Полозова застала на веранде пьющим чай в обществе жены и двух сослуживцев. На столе стоял самовар, огромный, всероссийский, изрыгая черные искры, — единственная домна дооктябрьской России. Он сохранил еще здесь свою горделивую осанку. Там, в городах индустриализованной России, он постепенно превращался уже в монумент прошлого, в курьез, в пузатого российского «писсманекена» на тумбе, привлекающего любопытные лорнеты туристок и зафиксированного в Бедекере в списке достопримечательностей.

Судя по размерам самовара, уполномоченный любил и умел попить чайку. Он пил его с блюдца, мелкими глотками. Два сослуживца, не отставая, тянули чай из пиал. На всех троих были свежие, слегка подкрахмаленные кителя с распахнутыми воротами, из которых шея и грудь выпирали, как пробка из бутылки шампанского, и пот выступал наружу искристыми пузырьками.

Все они только что вернулись с демонстрации, — об этом свидетельствовала праздничная белизна кителей, — и отбивались чаем от жары, упрямо штурмовавшей веранду. Окруженная кольцом зноя, чинара проглотила собственную тень, как китайцы, окруженные врагами, проглатывают язык. Листва ее, испепеленная солнцем, посерела, и единственным травяным пятном дразнился с веранды покрашенный в зеленый цвет пинг-понг — кусок европеизированной Японии, закинутый в субтропики и исполняющий обязанности спортплощадки.

Полозова попросила уполномоченного пройти с ней в кабинет и в нескольких словах изложила происшествия сегодняшнего утра. Уполномоченный слушал внимательно, перебивая ее рассказ вопросами. Из вопросов было ясно, что история предыдущих записок знакома ему во всех деталях. Он взял из рук Полозовой обе коробки, расстелил два листа бумаги и выложил каждую из фаланг на отдельный листок. Потом достал

из ящика увеличительное стекло и внимательно стал рассматривать фаланг. Полозова заметила, как брови его сдвинулись.

— Занятно!.. Которую фалангу вы убили?

Полозова опешила.

— Я несла обе коробки в одной руке и не могу сейчас определить. Я думала, это не имеет никакого значения.

Он взял телефонную трубку и вызвал совхоз.

— Заведующего. Да, здорово! Говорит Комаренко. У вас там есть девица, заведующая лабораторией. Она, кажется, естественница по образованию? Во, во! Как раз то, что нам нужно. Вот что, дайте ей машину, и пусть она часика через полтора заедет ко мне на квартиру... Дай бог всякому! — он повесил трубку.

— Как там ваши американцы? Здорово напуганы?

— Наоборот, держат себя очень хорошо.

— Надеюсь, вы их успокоили, что укус фаланги не опасен?

Полозова смутилась.

— Говорят, она заражает трупным ядом...

— Говорят, что кур доят. А вам, девушка, повторять всякую чепуху — стыдно. Вся эта нехитрая инсценировка явно рассчитана на то, чтобы запугать американцев «азиатскими ужасами». Максимум эффекта с минимальными средствами. Фаланг у нас хоть отбавляй! Выходите на плато, можете их наловить полтора десятка. Дешево и сердито. Приезжие боятся их, как огня: наслушались сказок о всяких каракуртах... В общем, если подобный розыгрыш повторится, не забудьте мне сообщить.

— Товарищ Комаренко, ничего подобного не должно повториться. Если американцы снимутся и уедут, вы сами понимаете, какой это будет скандал. Один уже уехал. Синицын обещал им полную безопасность. Надо принять меры, чтобы ничего подобного больше не повторилось...

— А вы не волнуйтесь, от этого цвет лица портится, — перебил уполномоченный, укладывая фаланг обратно в коробки и помечая коробки карандашом.

— Я не волнуюсь, я хотела бы только знать, сделано ли что-нибудь для выявления автора этих анонимных записок. Американцы очень этим интересую-

тся. Было бы важно сообщить им, что мы напали на след.

Уполномоченный поднял на Полозову свои добрые глаза.

— Американцам сообщать ничего не надо: ни о том, что вы здесь были, ни о чем мы тут говорили.

— Этому меня не надо учить,— обиделась Полозова.

Ответ Комаренко не расслышал.

— Товарищ Комаренко, я отнюдь не вмешиваюсь в ваши дела, но я думаю, поскольку мне, по моей обязанности переводчицы, по целым дням приходится сопровождать Кларка, и тем самым я могу быть свидетельницей возможных попыток на покушение, пожалуй, было бы целесообразно, чтобы вы дали мне кое-какие инструкции. Хотя бы указали, на что мне обращать внимание.

Уполномоченный мотнул головой.

— Не годитесь вы на работу к нам, товарищ Полозова. Вот видите, не успели до меня дойти, уже коробки перепутали. Какая ж из вас чекистка выйдет? Занимайтесь своим делом для пользы республики, а в это дело, пожалуйста, не вмешивайтесь. Мы уж как-нибудь сами. Ну, ну, не надо обижаться. С доморощенными сыщиками всегда одна беда. Вы окажете большую услугу, если ухлопаете на вашем американце еще одного паука или какую-нибудь другую букашку. Ну, дай бог всякому!

Оставшись один, уполномоченный запер обе коробки в ящик и, подойдя к дверям, позвал:

— Товарищ Галкин, а товарищ Галкин!

Вошел коренастый человек в крагах, с ногами, превращенными в эллипсис, не то от верховой езды, не то от английской болезни.

— Пошли-ка в степь Хассана. Пусть принесет мне двух фаланг. Только мигом.

— Есть!

Комаренко вернулся на веранду.

— Сыграем, Трошкин, одну партию? А? Давно я тебя не обыгрывал.

Трошкин — зам, друг. Вместе ходили и на басмачей и на кабанов.

— Что ж, сыгранем. Только, принимая во внимание процент жары, предлагаю повысить ставку: десять бутылок пива.

— Этак ты все свое жалованье проиграешь. Не могу допустить. Восемь бутылок хватит.

Уполномоченный проиграл. Он честно достал десятку и протянул победителю:

— На, посылай за пивом.

В эту минуту на веранду поднялся черный человек в огромной серой чалме, — вернее поднялась чалма, пышная, как мичуринская репа. Сам человек, сухой и сморщенный, казался к ней придатком, этаким чрезмерно разросшимся корешком с четырьмя отростками.

— Здорово, Хассан, салям аллейкум! — кричит уполномоченный, тряся репу за правый отросток.— Молодец! Идем ко мне. Сандалий можешь не снимать, тут не мечеть.

...Когда, полчаса спустя у домика под чинарами остановилась легковая машина и девушка поднялась на веранду, она столкнулась с выходившим из дома сморщенным человечком в большой чалме.

На пороге ее встретил Комаренко.

— Вы из совхоза? Как раз только вас и ждем. Заходите. — Он плотно прикрыл дверь кабинета. — Вы естественница, не правда ли? Скажите, пожалуйста, вы сможете различить, если вам показать несколько насекомых... А впрочем... посмотрите лучше сами...

Он разложил перед нею на листке четыре убитых фаланги.

Полозова, возвратясь от Комаренко, застала обоих американцев, совещавшихся, чем заполнить этот праздничный день. Проблема была не из легких: делать было нечего, идти некуда. Мурри советовал охоту на джейранов, благо их не будут пугать грузовики с Пянджа. Кларк предлагал прогулку по городу, разукрашенному по-праздничному. Полозова голосовала за предложение Кларка.

Они отправились втроем по пыльным опустевшим улицам, выпили в ларьке по два стакана холодного кваса, потом спустились к большому арыку и засели

на распростертых паласах в чайхане под большой чинарой. Больше развлечений в местечке не было.

Кларк был в праздничном настроении. Он чувствовал себя сегодня именинником, и все окружающие предметы, даже чайханный самовар, даже старая чинара, казались ему подарками, поднесенными сегодня специально ему одному. Когда он смотрел на вещи, ему не раз приходило в голову, что прыгни паук под другим углом — не было бы больше ни чинары, ни самовара, ни паласа, ни сидящего на паласе человека в белых брюках, которому подавали в пиале на протянутой женской ладони душистую желтую влагу и который, как собака, поворачивал голову на односложную кличку «Кларк». Его умиляли и хитрая механика самовара, и мудрая целесообразность чинары, и уютное мурлыканье извивающегося поодаль арыка. Он весело шутил, отпускал остроты, которые с ранней юности ему не удавались, а сегодня, непонятно почему, звучали исключительно забавно,— Полозова то и дело захлебывалась чаем.

Наконец чай был выпит, надо было трогаться, а идти было некуда. Мурри повторил свое предложение насчет охоты. Полозова была против того, чтобы выезжать сегодня за город. Кларк, даже при большом желании, не решался садиться на лошадь: уже несколько дней, как у него на заду выскочил небольшой фурункул. Он не мог сказать об этом при Полозовой, поэтому он тоже стал отговаривать Мурри.

Они пошли медленно вдоль арыка. Внезапно подул афганец, и в одну минуту все местечко исчезло, смытое огромными волнами пыли. Кларк подождал, пока схлынет пыль и можно будет идти дальше. Новый порыв ветра сорвал с него тюбетейку. Она тяжело, как ворона, метнулась в воздух и улетела. Бежать за ней не было никакой возможности: в сером тумане пыли нельзя было ничего разглядеть на расстоянии шага. Он окликнул Полозову, она стояла тут же рядом, прислонившись к дереву. Ни дерева, ни ее не было видно. Кларк отыскал ее протянутую вперед руку и, сделав два шага, натолкнулся на Мурри. Ему показалось, что Полозова и Мурри, прижатые к стволу, стоят друг к другу чересчур близко. Они затаили дыхание, сжав губы и зажмурив глаза, как трое людей, пережидаю-

щих под деревом ливень. Колкая пыль хлестала лицо, забивалась в ноздри, скрипела на зубах.

Через некоторое время ветер немного улегся, и пыль постепенно стала оседать. Она еще бушевала ниже колен, и потому выплывающий из нее город казался нереальным: дома и деревья висели в воздухе,— между ними и землей простиралась серая полоска, по которой караваны в пустыне различают фата-моргана.

— А где же ваша тюбетейка?

Кларк показал рукой в пространство.

— Ничего, не огорчайтесь. Зайдем ко мне — я живу тут рядом — дам вам другую.

Полозова пересекла дорогу и остановилась перед глиняной кибиткой.

— Вот здесь, заходите. Хотите умыться? Вы совсем посерели от пыли.

Вытираясь полотенцем, Кларк быстро обошел взглядом маленькую комнатушку. Стены и пол были глиняные. По белой чистой занавеске на крохотном оконце можно было определить сразу, что живет здесь женщина. Узкая кровать, накрытая простыней, столик, табуретка, ящик дополняли обстановку. На столе и на ящике, уложенные аккуратно, высились груды книг. На гвозде, вбитом в стену, висел утренний полосатый халатик.

Кларк присел на край табуретки. Он чувствовал себя неловко в этой девичьей комнате. Правда, советские девушки принимали у себя на квартире мужчин — и в этом не было ничего зазорного. К тому же пришел он не один, с ним был Мурри. Но присутствие Мурри не снимало, а как будто усиливало ощущение неловкости.

Кларк взял со стола несколько книг и перелистал титульные листы. Все они были на русском языке.

— Не понимаю,— сказал он по-русски. Это было одно из десятка русских выражений, которые он заучил на строительстве.

— Вот видите, сколько раз обещала учить вас по-русски, все не сдерживаю слова, все некогда. Давайте используем эти два дня праздников и проведем первые два урока... Хотите?— она обратилась к Мурри.

Мурри утвердительно наклонил голову.

Кларк подумал, что она обещала учить его одного,

у Мурри в конце концов имеется свой переводчик,— но не сказал ничего.

— Что это за книги?— спросил он, помолчав.

— Это? Вот это — Маркс: «К критике политической экономии», вот это — Энгельс: «Диалектика природы», вот это — опять Маркс: «Теория прибавочной стоимости».

— Все экономия?

— Да, политическая экономия.

— А где же ирригация?

— Есть и по ирригации. Вот там на ящике,— она указала на небольшую пачку книг.

— Вы готовитесь стать экономистом или ирригатором?

Полозова уловила насмешку.

— А, по-вашему, ирригатор не должен разбираться в вопросах мирового хозяйства?

— Нельзя знать всего: и экономию, и философию, и политику, и ирригацию. Это было возможно в эпоху энциклопедистов. Сейчас, чтобы знать все, надо быть или гениальным человеком, или дилетантом. Если вы хотите стать хорошим инженером-ирригатором, надо переменить библиотеку. Вот эти все книги,— он указал на груду книг на столе и на ящике,— должны быть по вопросам ирригации, а эти,— он указал на небольшую пачку,— могут быть по всем другим вопросам.

Ему доставляло удовольствие читать ей нотацию.

— Вы по-старому проповедуете узкую специализацию?

— Когда ваше правительство выписывало меня из Америки, меня не спрашивали, разбираюсь ли я в политике и в экономии, а спрашивали, хороший ли я ирригатор. Я в политике ничего не понимаю и в политической экономии тоже. У вас все понимают в политике и в мировом хозяйстве, а для того чтобы строить собственное хозяйство, вам надо выписывать узких специалистов из Америки.

— Пока что надо. Когда у нас будут свои кадры советских специалистов, не будем выписывать из-за границы.

— Не будет хороших специалистов, если будут заниматься всем: и политикой, и философией, и экономией, а в последнюю очередь своей специальностью.

— А по-моему, нельзя даже быть хорошим специалистом, если не занимаешься ничем другим, кроме своей специальности.

— Я хороший специалист по ирригации, можете мне верить, а в политике ничего не смыслю.

— Вы этим очень гордитесь?

— Если бы я решил стать политиком, я не изучал бы ирригации, а учился бы политике и выставил бы свою кандидатуру в парламент.

— Ах, вот что вы называете политикой! Кандидатуру в парламент! Видите, а по-моему, политика это совсем другое. Вот вы в Америке орошали сотни тысяч гектаров под новые плантации, а сейчас владельцам этих плантаций некуда девать урожай, сейчас они его жгут: а через год, может быть, будут разрушать и засыпать вашу ирригационную систему, чтобы сократить площадь посева. Стоило ли вам тогда ее строить? Или для вас это безразлично?

— А если б я разбирался в политике, как вы, я не должен был бы строить в Америке никаких ирригационных сооружений, потому что там неправильная государственная система? Так получается?

— Нет, вы могли бы тогда, вместе с миллионами других людей, работать над тем, чтобы заменить эту систему другой, более рациональной.

— Я видел тех, которые говорили, что над этим работают. Поверьте мне, в Америке они выглядят не особенно привлекательно.

— Вот как! Значит, коммунизм и коммунисты хороши в России, поскольку это далеко, но только не в Америке?

— Это неверно. Вы стараетесь меня изобразить врагом коммунизма, это неправда. В Америке сейчас кризис, хаос, банкротство. И люди, стоящие у власти, и система оказались никуда не годными. Пусть будут советы, я не против. Если наладят жизнь так, чтобы можно было жить и работать, я буду голосовать за. Вам кажется, раз я американец, инженер и не состою в коммунистической партии,— значит я — буржуй, враг. Это пустяки. Что вы обо мне знаете? Ничего. Мой отец был простым наборщиком, а ваш, наверное, врачом или адвокатом. Может быть, во мне больше пролетарской крови, чем в вас.

— Мой отец был просто профессиональным революционером. Вы напрасно хотели меня уязвить моим интеллигентским происхождением. Воспитывалась я как раз в рабочей среде. Когда отца угнали в ссылку, меня приютил маленькой девочкой один из его партийных товарищей — рабочий. Росла я в рабочем пригороде. Впоследствии, много лет спустя, когда отцу удалось бежать за границу, товарищи отца переправили меня к нему в Англию, где мы пробыли вместе всего несколько лет, до Февральской революции.

— Я не хотел вас уязвить. Я хотел только сказать, что в вашем представлении каждый американец не рабочий — это брюки в клетку, кепка и доллар в зубах. Так у нас до сих пор в юмористических журналах представляют русских: с кудлатой бородой и с ножом в зубах.

— Допустим, что я себе этого так упрощенно не представляю, но вас я, конечно, не знаю почти совсем, и американскую жизнь знаю только по романам и газетам.

— Видите, и вы спасли сегодня жизнь человеку, которого совсем не знаете. А может быть, не стоило спасать? Ведь вы, как-никак, рисковали своей жизнью: если бы вы не попали в фалангу, она вскочила бы на вас. Хотя, правда, и здесь тоже политика: вы спасли не меня, а американского инженера, из-за которого ваше государство могло иметь неприятности.

— Положим, когда человеку угрожает опасность, если это только не ваш враг, вы не задумываетесь над тем, из каких соображений надо ему помочь, а просто помогаете. К тому же разговоры о ядовитости фаланг сильно преувеличены. Скорее всего их подбросили вам, надеясь вас запугать, поскольку предыдущие записки не произвели надлежащего впечатления.

— Так или иначе, я перед вами в долгу.

— Если бы в вашем присутствии, допустим, наскочил на меня пьяный, вы бы тоже за меня заступились, я в этом не сомневаюсь. Если же незнакомый человек хочет меня чем-нибудь отблагодарить, пусть постарается стать менее незнакомым. Вы же сказали сами утром, что вам кажется — мы старые друзья. Старый друг имеет право знать о вас немного больше...

пауза третья

ОБ ОДНОМ АМЕРИКАНЦЕ

У разных людей жизнь начинается по-разному. У одних — ярко освещенным рождественским вечером, над ворохом затейливых игрушек, под непонятным горящим и несгорающим деревом. У других — сырым осенним вечером, в бледном кругу лампы, в кольце озабоченных лиц, впервые запечатлевшихся навсегда на чистой пластинке памяти.

У мальчика Джимми жизнь началась одним ранним пасмурным утром, когда отец, вернувшийся с работы, еще в кашне и кепке, кипятил на машинке утренний кофе. Потом они оба уселись за стол пить нечто очень сладкое и горячее, и Джимми обжег язык и плакал.

Матери Джимми не знал. Позже, уже взрослым мальчиком, он пришел к заключению, что, вероятно, ей надоели лишения и она, сбежав от отца, устроилась где-нибудь двумя ступеньками выше. Отец никогда о ней не рассказывал, и в доме не было ни одной фотографии. Отец Джимми работал в типографии большой газеты. Работал всегда ночью. Приходил ранехонько утром и садился пить кофе, который сам кипятил на машинке. С пятилетнего возраста Джимми просыпался к его приходу и садился завтракать вместе с ним. Отец доставал большую, еще мокрую газету и читал Джимми вслух известия со всего мира. Это были первые уроки географии. Потом отец ложился спать, а Джимми выходил на улицу играть с другими ребятишками. Только час спустя на улицах появлялись газетчики, выкрикивая название отцовской газеты и заголовки знакомых уже Джимми известий. Прохожие разбирали газету нарасхват.

О предназначении газеты мальчик Джимми имел весьма смутное представление. В его понимании, это было нечто вроде отчета о предыдущем дне и программы на следующий. Каждый человек, выходя утром из дому, должен был купить газету, чтобы знать, что ему делать. Джимми не раз пытался представить себе, что случилось бы, если б однажды утром газета не вышла. Это было так же невероятно, как предположение, что

солнце может не взойти. Наверное все остановилось бы, люди стояли бы на улицах и не знали, куда идти. Отец, стихийный атеист, не переваривавший духовных, не читал никогда Джимми библии, и тем не менее, не читая ее, Джимми создал свое представление о конце мира.

Отца своего Джимми считал главной фигурой в газете и немало гордился ролью, которую отец играл в этом мире. Иногда Джимми задавал себе с тревогой вопрос, что бы случилось, например, если б отец однажды заболел, но, не находя ответа и не решаясь спрашивать отца, предпочитал об этом не думать.

Однажды вечером, уложив Джимми спать, отец не ушел, как всегда, на работу, а зажег лампу, сел за стол и стал читать книжку.

Джимми притворился спящим и через прищуренные веки наблюдал за отцом. Отец не собирался уходить. Когда пробило девять, Джимми не мог дольше выдержать и спросил отца, почему он не идет в газету. Отец присел к нему на постель, погладил по голове и сказал, что не пойдет в газету ни сегодня, ни завтра: все типографии бастуют, чтобы хватало на хлеб таким малышам, как Джимми. Считая свои объяснения достаточно исчерпывающими, он предложил Джимми спать, а сам вернулся к книжке. Спал Джимми в эту ночь плохо, снились какие-то невероятные сны. Утром поднялся в обычное время. Отец храпел на своей постели: Джимми вскочил, чтобы поскорее выбежать на улицу и посмотреть, что там делается. Когда он был почти одет, в комнату постучались. Ввалились несколько полицейских. Они перетряхнули всю комнату вверх ногами, дождались, пока отец оденется, вытолкнули его на лестницу и увели с собой.

Джимми остался один. Для него было теперь ясно, что отец совершил страшное преступление: по его вине не вышла газета,— теперь его за это будут наказывать. Джимми выбежал на улицу, толкаемый любопытством; он хотел видеть последствия отцовского преступления. На улице все было по-прежнему, не было только слышно криков газетчиков, и люди на ходу не развертывали сырой простыни газеты, но шли они все, как ежедневно, в том же направлении; как ежедневно, громыхали по улицам грузовые автомобили, торговали лавки, и как будто ничего не изменилось.

Тогда Джимми вообще перестал понимать, что случилось с его отцом, и громко расплакался. Соседи показывали на него пальцами и говорили, что его отец — уоббли[1], теперь его сгноят в тюрьме, и так ему и надо. Джимми не понимал, что такое «уоббли», и плакал еще больше.

На следующий день появилась газета, но отец не вернулся. Он не вернулся и на второй, и на третий день. Соседи из жалости кормили Джимми объедками, но объедков у них самих оставалось немного. Джимми валандался по улицам, питаясь отбросами. Через некоторое время его выкинули из комнаты, в нее вселился новый жилец. Джимми устроился на дворе на стружках, в складе досок за мастерской упаковщика. Сколько времени прошло, он затруднился бы определить. Однажды утром он не смог встать со стружек. Быть может, он отравился какими-нибудь отбросами, а может, просто заболел от голода. Упаковщик, найдя его в бреду, перенес к себе на кухню. Когда на кухню упаковщика пришел однажды отец, Джимми не узнал его. Джимми метался в жару и выкрикивал заголовки каких-то устаревших газетных известий.

Отец перенес его на квартиру к одному земляку и отходил. Он говорил впоследствии: все думали, что Джимми не выживет. Отец работал теперь в какой-то небольшой типографии, хозяином которой был его земляк. Жили они с Джимми относительно лучше, и когда Джимми поправился, отец отдал его в школу.

Однажды,— прошел с тех пор, быть может, год,— поздно вечером, когда Джимми уже спал, к отцу зашли два его приятеля, навещавшие его часто раньше, еще на прежней квартире. Они говорили так громко, что Джимми проснулся и спросонья стал прислушиваться к разговору. Один из них, очень худой и высокий,— звали его Джек,— говорил, стуча кулаком по столу, что отец Джимми — старый уоббли, и теперь, когда бастуют все рабочие, не должен нарушать рабочей солидарности. Пусть повлияет на земляка, чтобы тот закрыл свою лавочку и не принимал заказов. Отец был очень раздражен. Он кричал, что ему наплевать на всех уоббли: когда он сидел в тюрьме, многие уоббли на другой же день встали на работу. Он бил ку-

[1] Член революционного Общества индустриальных рабочих мира (I. W. W.).

лаком по столу и кричал, что не даст больше водить себя за нос. У него уже раз, когда он сидел в тюрьме, чуть не уморили с голоду малыша, и никто из уоббли о нем не позаботился. Отец кричал, что никто не заставит его во второй раз допустить, чтобы сынишка подыхал с голоду и вынужден был бы бросить школу. Он не желает, чтобы его сын был, как он, простым рабочим, и никто не смеет диктовать, как ему поступать. Пусть сначала все уоббли посидят в тюрьме за свои убеждения, как он, тогда и приходят с ним разговаривать.

Они кричали еще долго. Потом Джек и Юджин сказали отцу Джимми, что он предатель и что никто из честных рабочих не подаст ему руки, а отец крикнул: тем, кто предал прошлогоднюю забастовку, лучше бы помалкивать. Тогда Джек подошел и съездил отца по физиономии так, что тот покатился к стенке. Потом они хлопнули дверью и ушли, а отец долго ходил взволнованный по комнате, потом взял кепку и тоже ушел. Вернулся, когда уже светало, и разбудил Джимми, опрокинув столик. Раздеваясь, он что-то напевал; от него разило водкой.

После ночного разговора дела отца Джимми значительно улучшились. Насколько Джимми понял впоследствии, отец достал для типографии земляка большие заказы, и земляк взял его в компаньоны. Они наняли еще троих рабочих и к концу года купили вторую машину. Отец перевел Джимми в лучшую школу, к рождеству купил ему большой поезд, который бегал по рельсам и сам останавливался у станции. Когда Джимми вырастет, он будет инженером.

Дела в типографии шли хорошо, но отец стал запивать. Он пил периодически, тогда не выходил на работу и не ночевал дома. Возвращался домой, когда Джимми уже был в школе. Джимми скоро стал понимать, что отец намеренно не хочет встречаться с ним в пьяном виде. На первых порах компаньон заходил к отцу и убеждал бросить пить. Это бывало обычно тогда, когда Джимми спал или притворялся спящим. Компаньон говорил, что дело их развертывается,— скоро они смогут купить третью машину. Отец должен это понимать и не подрывать дела. Если оно ему не дорого, то ради сына он должен бросить пить раз и навсегда. Отец обещал: проходило некоторое время, и на него

«находило» опять. Зато в промежутках он работал очень активно, доставлял типографии все новые и новые заказы, и потому компаньон терпел его периодические запои как неизбежное зло.

Так прошли годы, Джимми кончал уже гимназию, когда Америка объявила войну Германии. На улицах появились вербовочные пункты, гремела музыка, и город трепетал, разукрашенный флагами союзных держав. Все товарищи Джимми по классу решили идти добровольцами.

Джимми вернулся в этот день домой в приподнятом настроении и хотел сейчас же сказать о своем решении отцу, но отца не оказалось дома. Он не вернулся и на следующий день. Джимми пошел справиться в типографию. Компаньон бегал по конторе, багровый и высокомерный. Он сказал Джимми, что его отца арестовали вчера на четвертом авеню, где он устроил невероятный скандал. Он залез на трибуну, стал орать на всю улицу, что социалисты предали рабочий класс, что дураки рабочие хотят покорно дать себя зарезать. Он оскорбил президента Вильсона и национальный флаг. Он продолжал кричать, после того как его посадили в полицейский автомобиль. Компаньон рвал и метал. Он показал Джимми письмо социалистических синдикатов, в котором, в сухих выражениях, они брали обратно все свои заказы. Отец Джимми хочет разорить предприятие. Компаньон достаточно долго терпел его безобразия. Теперь, когда из отца Джимми вылез этот проклятый уоббли, между ними не может быть ничего общего. Компаньон немедленно рассчитается с ним и не позволит больше позорить свою фирму.

Отец Джимми вернулся на пятый день. Его трудно было узнать: лицо его распухло, над правым глазом висела огромная шишка, нос, кровавый и набухший, занимал половину лица. У отца не хватало передних зубов, и распухшая верхняя губа стыдливо закрывала этот пробел.

Весь класс Джимми уезжал в этот день вечером, и Джимми не мог отстать от других. Он не мог откладывать своего разговора с отцом. Джимми сказал, что он и его товарищи по классу считают своим долгом защищать цивилизацию от варварства. Он записался добровольцем и сегодня уезжает в лагерь.

Отец посмотрел на него и прошамкал:

— Надо было быть последним идиотом, чтобы ради такого дерьма проворонить всю свою жизнь.

Потом он надел шляпу и ушел. Это была их последняя встреча.

Джимми уехал в лагерь, затем на фронт. На фронте рядовой Джим убедился, что отец его там, на четвертом авеню, не так уж был неправ. Защита цивилизации от варварства оказалась не меньшим варварством. Джим видел чикагские бойни,— там это было организовано гораздо лучше, хотя и без музыки.

После окончания войны Джим вернулся в Нью-Йорк и попытался разыскать отца. Компаньон сдержал свое слово и вытурил отца Джимми, не уплатив ему ни гроша. На его стороне был закон и поруганный отцом национальный флаг. Об отце своем Джим узнал, что тот умер в городской больнице,— одни говорили — от белой горячки, другие — от побоев, полученных в ссоре с какой-то патриотически настроенной компанией. В конце концов это не так уж важно. Одно Джим запомнил и узнал достоверно: товарищи уоббли больше его отцом не поинтересовались, ни тогда, когда его били на четвертом авеню, ни после. Они считали, что сделали достаточно, закатив ему пощечину, и предпочли спокойно идти на фронт, спрятав свои убеждения до лучших времен.

Джимми кончил университет и стал инженером. Он работал в штате Калифорния и во многих других штатах. Потом кругом начали говорить о новой готовящейся войне, о кризисе, о банкротствах, и однажды Джимми потерял работу. На бирже труда, у входа, люди в потертых пальто совали ему в руки тонкие прокламации и толстые брошюры: в них говорилось о том, что для борьбы с безработицей и новой бойней надо организоваться под знаменами гражданской войны, и приводились длинные цитаты из Маркса. Наверху другие люди совали ему в карман другие прокламации и брошюры: в них говорилось о терпении, о необходимости гражданского мира между трудящимися и работодателями в трудную для тех и других минуту, и тоже приводились цитаты из Маркса.

Джимми не любил политики и не читал брошюр. Они напоминали ему заказы, выхлопотанные его отцом у социалистических синдикатов ценой одной пощечи-

ны. Своим безработным коллегам, которые заговаривали с ним языком прокламаций и излагали теорию переустройства мира, Джим отвечал неизменно, что он сомневается в научности такой теории, при помощи которой одна партия может доказывать необходимость уничтожения старого порядка, а другая — необходимость его сохранения. Или это, как в библии,— вопрос толкования? Но библия по крайней мере не претендует на научность.

У него в ящике письменного стола, глубоко под бумагами, лежал его военный дневник, который он писал на фронте. Дневник кончался описанием смерти отца и изложением его краткой истории и обрывался на половине фразы.

Однажды, на другом полушарии, девушка с русыми крыльями волос, похожими на наушники красноармейского шлема, сказала Джиму, выслушав его рассказ:

— Мне кажется, Джимми не додумал истории своего отца, и в этой истории не хватает последнего абзаца. Он все еще не понимает того, что понимал уже его отец, поднимаясь на трибуну на четвертом авеню. Но ему остается додумать не так уж много. И я почему-то уверена: чтобы это понять, ему не придется ждать объявления войны...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Котлован от реки отделяла тонкая перемычка. На краях котлована, с двух сторон, стояли два экскаватора и, вытянув шеи, удивленно заглядывали вниз. Они закончили свою работу, выбросив верхний слой гальки. Глубже начиналась скала, и зубы экскаваторов бессильно лязгнули, царапнув ее поверхность. Тогда в котлован спрыгнули люди и стали рвать скалу аммоналом. Три раза в день над котлованом верещали свистки, и люди гурьбой карабкались вверх по осыпающимся камням кавальера. Потом внизу раздавался первый взрыв, за ним второй, третий, восьмой,— размеренные и глухие, как пушечные выстрелы. Это была короткая артиллерийская подготовка перед атакой. И когда отгремел шестнадцатый выстрел, люди стрем-

глав кидались вниз, киркой, как штыком, колоть ошарашенную породу. Тогда подбегали другие, наваливали камень на тачки и бросались бежать, толкая тачку вперед по узенькому настилу досок, тонкому, как острие бритвы, по которому души правоверных пройдут в обещанный пророком рай с тачкой своих грехов. Было очевидно, что для этих мусульман, с их стажем тачечников, будет парой пустяков пробежать по любому острию, и они, даже по дороге в рай, обязательно устроят гонки на лезвии магометовой бритвы.

По доске надо было пробежать карьером: остановиться на секунду — значило высыпать на полдороге весь груз. Добежав до старта, они с грохотом опрокидывали тачку; камни на лету подхватывали другие рабочие и грузили в оскаленный ковш экскаватора. Потом дреглейн плавно взлетал вверх и, описав полукруг, вытряхивал содержимое ковша в бурлящую муть реки, летевшей за перемычкой. На минуту в этом месте образовывался водоворот, пока набежавшие на подмогу мускулистые волны не подхватывали наконец гигантского груза и не катили его вниз по течению на незримых грохочущих тачках.

Кларк стоял на кавальере и просматривал вчерашнюю сводку, когда увидел поднимавшихся к нему Кирша и Морозова.

— Ну, как у вас дела?— заговорил по-английски Кирш.— Помаленьку движемся?

— Очень помаленьку. Пришлось приостановить рытье канала и поставить сюда два экскаватора вместо грузоподъемных кранов. Другого выхода не было. Вот если бы здесь установить самый простой конвейер с бункерами только в два этажа, весь котлован можно было бы закончить в несколько дней.

— Ничего не поделаешь! Мы запросили из Москвы несколько сот метров ленты, но это у нас дефицитный товар, и вряд ли можем рассчитывать на скорое получение. Не поставить ли шахтный подъемник с ковшом от экскаватора? Это освободило бы, по крайней мере, один Бьюсайрус.

— Леса нет. Я уже справлялся. Невозможно получить.

— Да... Что ж делать, не было времени на проведение подготовительных работ, а одновременно строить и заготовлять — это тяжелая работа.

— Извините, что вам помешаю,— раздался за спиной Кларка голос Мурри: он обращался к Киршу.— У меня серьезное дело. Я еще вчера вечером заходил к вам в канцелярию, но не застал. Очень хорошо, что и мистер Морозов здесь. Вопрос довольно важный. Не сможете ли уделить мне десять минут?

— Пожалуйста. Давайте зайдем в юрту к товарищу Морозову, там поговорим на свободе.

В юрте скопилась густая тень. Пришельцу, который входил в эту тень извне, через сегмент света, вырезанный в ней откинутой кошмой, казалось, что он входит внутрь арбуза.

Они сели за стол, устланный голубыми чертежами, и минуту молчали, широко раскрытыми ноздрями впитывая прохладу. Наконец заговорил Мурри:

— Я отдаю себе отчет, что мистер Уртабаев, как заместитель главного инженера, является моим непосредственным начальством. Я не хотел бы, чтобы у вас, господа, создалось впечатление, что я стремлюсь в какой-либо мере дискредитировать его в ваших глазах. Я раздумывал несколько дней и пришел к заключению, что не имею права дольше об этом молчать.

Он вытряхнул пепел из трубки. Кирш насторожился.

— Особенно с момента отъезда моего коллеги Баркера, когда я взял на себя обязанность довести сборку экскаваторов до конца, я чувствую себя ответственным за это дело и не могу допустить, чтобы все эти дорогие механизмы были изуродованы. Это равнялось бы срыву всего строительства, и вы, господа, были бы вправе спросить меня, где я был, когда проделывалась эта варварская операция, и почему я не предупредил о ней заблаговременно. Я не сомневаюсь ни на минуту, что мистер Уртабаев руководится самыми лучшими намерениями и его толкает на это весьма похвальное стремление ускорить темпы строительства. Но одно дело намерения, другое — их практический результат, который в данном случае может оказаться катастрофическим.

— Подождите, я все еще не понимаю, что же, собственно говоря, сделал Уртабаев? Разве он, а не вы заведуете сборкой экскаваторов?

— Я фактически лишен возможности заведовать сборкой и отвечать за нее. Экскаваторы сюда не по-

ступают больше в разобранном виде. Их собирают теперь в ста двадцати километрах отсюда, на пристани, под личным руководством мистера Уртабаева.

— А как же их будут оттуда транспортировать? Подождите, тут есть какая-то неувязка.

— Несомненно! Видите ли, у нас нет достаточного количества мощных тракторов для того, чтобы перевезти экскаваторы в разобранном виде с пристани на головной участок. Мистер Уртабаев разрешил эту проблему очень просто. Он рассуждал, по-видимому, так: зачем возить экскаваторы, раз у самих экскаваторов есть гусеницы? Соберем экскаваторы на пристани и пустим их собственным ходом. Если даже такая громоздкая машина будет делать по семь километров в день, все равно в какие-нибудь две недели они придут на место, в то время как тракторы поступят еще неизвестно когда.

— А, понимаю!

— Так вот, вся эта затея не выдерживает критики. Экскаватор — это не грузовик и не рассчитан на такие путешествия, гусеницы существуют для того, чтобы в в процессе работы он мог передвигаться с одного места на другое. Но эти передвижения исчисляются метрами, в лучшем случае, десятками метров в день, а не сотнями километров. Единственным эффектом этого эксперимента может быть только поломка всех экскаваторов. Если бы даже какой-нибудь из них и дошел до места, то через две недели его надо будет выбросить на свалку. Ведь всю дорогу от пристани он должен будет продвигаться в лёссе, а вы сами знаете, какая это въедливая пыль и как она изнашивает части механизмов. Короче говоря, если вы не предпримете сейчас же соответствующих мер для прекращения этого нелепого эксперимента, я вынужден буду снять с себя всякую ответственность и попросить вас освободить меня от надзора за сборкой экскаваторов. Если бы здесь был Баркер, он мог бы сам, от имени фирмы, категорически воспротивиться такому уродованию машин. Он несколько раз жаловался мне, что экскаваторы здесь гоняют с места на место, не считаясь с тем, как это портит механизмы. Я, к сожалению, не представляю этой фирмы и не располагаю необходимыми полномочиями, чтобы лично воспрепятствовать затеям мистера Уртабаева.

— Так... Хорошо. Мы завтра же вызовем сюда товарища Уртабаева и подумаем вместе, какой найти выход. И я и товарищ Морозов очень вам благодарны. Можете быть спокойны, ваши замечания будут приняты в основу нашего завтрашнего решения.

Кирш поднялся и пожал руку Мурри.

Когда Мурри вышел, Морозов сорвался с места и взволнованно заходил по юрте:

— Что ж это такое? А? Каким образом вообще возможны такие безобразия? Уртабаев имел тут под рукой представителя фирмы Бьюсайрус и не только не счел нужным посоветоваться с ним, но явно воспользовался его отъездом, чтобы угробить все экскаваторы. Знаете, я видел уже разные строительства, но с такими вещами, как здесь, встречаюсь впервые.

— Подождите, Иван Михайлович, дело все-таки не так просто. Он же делает это с лучшими намерениями!

— Плевать я хотел на его намерения!

— Посудите сами. Ведь если б экскаваторы дошли в целости, мы через две недели имели бы здесь двадцать шесть штук и могли бы развернуть работу полным ходом. Теоретически это не такая уж плохая идея.

— Теоретически не плохо перевозить экскаваторы и на воздушном шаре.

— Все дело в этом проклятом лёссе, который угробит любую машину.

— А какое лицо мы будем делать перед фирмой Бьюсайрус? Ведь это же форменный скандал! Они раструбят об этом по всем газетам. Нужно было только уехать их представителю, и мы в течение двух недель сумели угробить двадцать два экскаватора!

— Что и говорить, инцидент неприятный. Надо будет немедленно приостановить сборку. Пошлите сегодня же категорический приказ и вызовите Уртабаева сюда.

— Нет, это надо придумать! И это делалось с явным расчетом, чтобы поставить руководство строительства перед совершившимся фактом. Видели ли вы вообще Уртабаева? Нет! Он не счел нужным даже приехать, согласовать свои распоряжения с новым главным инженером. Я его тоже до сих пор не видел в глаза. По-видимому, мы с ним разминулись в дороге,— на пристани я его не встретил. Он знает прекрасно, что мы уже две недели здесь, и даже не потрудился спра-

виться, нет ли каких-нибудь изменений в общем плане работ. А не поинтересовался потому, что, повидавшись с нами, не мог не поставить нас в известность о своем эксперименте и знал заранее, что ему этого никто не позволит. Это — самоуправство, за которое мало отдать под суд!

— Видите ли, Иван Михайлович, тому, что он не приехал, могут быть и другие причины. Говорят, Уртабаев хороший инженер, энергичный и предприимчивый работник, с большой инициативой. За весь период пребывания здесь Четверякова и Еремина он вел с ними постоянный бой, защищая правильные позиции. Некоторые инженеры говорят, что если бы предложения Уртабаева принимались и проводились в жизнь, мы не получили бы строительства в таком безобразном состоянии. Из борьбы с Четверяковым он вышел победителем: Четверякова сняли. Он здесь единственный инженер-таджик. Работает почти с начала строительства. Были все основания назначить его главным инженером, а не присылать нового человека из центра. Уртабаев человек мнительный. Все признают, что его здесь травили и не давали ему развернуться. Мое назначение он может считать личной несправедливостью, и не удивительно, что он засел на пристани, не желая ехать на поклон к новому начальству.

— Извините, но Уртабаев коммунист и, для здешних условий, старый коммунист.

— Конечно, я понимаю, но обида — вещь общечеловеческая и беспартийная. Я потому и не вызывал его. Думал: переварит, приедет, сработаемся.

— Никуда не годится эта ваша философия! И неправильно вы поступили, не вызвав его сразу. Эти сантименты надо бросить! Если даже ваши предположения относительно обиды Уртабаева правильны,— тем хуже. Потворствовать таким вещам нельзя. Мы Уртабаева призовем к порядку по партийной линии, а вам его придется призвать по линии беспрекословного подчинения вашим указаниям. Нет у нас двух главных инженеров, есть только один. Инициатива в рамках единоначалия — вещь хорошая, но если она основана на амбиции, то может привести только к вредным авантюрам. И то, что вы своевременно не вызвали Уртабаева, делает вас косвенно ответственным за эту авантюру. Завтра надо это ликвидировать. Я сейчас

же составлю приказ о немедленной приостановке сборки экскаваторов и вызову Уртабаева сюда. Приказ подпишем мы оба.

Морозов два дня ждал приезда Уртабаева. На третий день, с утра, пришел с пристани грузовик. Уртабаев не приехал и на этот раз. Он даже не прислал записки, которая объяснила бы его задержку. Морозов велел подать машину. Десять минут спустя он катил по плато по направлению к пристани.

Он не замечал ни джайранов, ни верблюдов, пасущихся на свободе,— это был период их летнего отпуска, верблюжьи каникулы. Верблюды валялись вдоль всей дороги, как машины, поставленные в ремонт. Он не видел поломанных тракторов, брошенных у дороги, как околевшие животные, сраженные жаждой раньше, чем они успели дотащиться до далекой желанной реки. Кругом простиралась пустыня, поросшая редкой колючкой.

Легенда говорила об этой земле, что когда-то от Пянджа ехал по ней пророк и верблюд его споткнулся и сломал ногу. Тогда пророк возгорелся гневом на верблюда, убил его, содрал шкуру, простер ее на земле хвостом к Пянджу и сказал:

— За то, что ты не сумел пронести на своей спине пророка, пусть шкуру твою томит жажда геенская и да не утолится она никакой водой, кроме воды реки Вахш.

Потом он проклял эту каменистую землю и вернулся опять за Пяндж. А верблюжья шкура, томимая жаждой, росла и росла многие века, тянулась к Вахшу, пока не покрыла всего плато. С тех пор шкура верблюда вылиняла и иссохла. Ночью ее приходят обнюхивать шакалы, а земля, покрытая шкурой, зачахла. Никакое растение не может пробиться через нее, пока сама река Вахш не придет утолить ее жажду... Не предвидел мстительный пророк, что будут люди, которые одолеют Вахш и один его рукав отбросят далеко в пустыню.

Морозов не знал легенд. Он очнулся от своих разгневанных мыслей, когда автомобиль с разгона наскочил в степи на неожиданный городок из нескольких бараков и белых домиков с верандами. Городок был уса-

жен деревцами! Это походило на мираж. Морозов велел остановить машину, вылез, потрогал листья придорожного деревца: листья были настоящие. Это был маленький тополь, посаженный самое раннее в прошлом году; об этом свидетельствовала несмелая зелень его оперения.

Это не был мираж. Это был городок второго строительного участка. Морозов осматривал его впервые. С пристани он ехал ночью и не видел ничего, кроме дороги, аккуратно вырезываемой во мраке никелированными ножницами фар.

Он велел шоферу ехать серединой городка, увидел отгороженный прямоугольник,— несомненно будущий парк: зеленая поросль шла здесь ровными густыми полосами. В середине прямоугольника возвышалась открытая сцена с навесом, похожая на недоконченную веранду. Морозов остановил машину и велел позвать начальника участка.

Пришел невысокий человек в белой фуражке, в сопровождении собаки.

— Вы будете товарищ Рюмин?

— Я.

— Моя фамилия Морозов. Скажите, каким чудом вы насадили тут деревья и они у вас принялись? Откуда взяли воду?

— А тут в семи километрах проходит небольшой арык, ответвление от старой туземной системы. Я провел к нему наш арык, поставил насосную станцию и качаю оттуда воду на поливы.

— А как же устроились с замочкой вашего арыка? Ведь семь километров по этой земле — это не пустяк!

— Конечно, хлопоты были. Сначала вода уходила под почву. Бились с месяц, теперь, видите, вода доходит в достаточном количестве.

— Вы тут давно?

— Год. С начала строительства.

— Хорошо вы тут отстроились, не то что на первом участке.

— Там начальники часто менялись. Один начальник начинал одно, другой — другое. А я тут с самого начала. За год, если б был материал, можно было выстроить и больше.

— Из чего строили? Из камыша?

— Камыш, глина. Дерева самая малость. Мы тут немножко в загоне, весь материал идет на головной участок. Конечно, там работы больше и трудней,— скала и галька, а у нас тут лёсс! Только в смысле гражданских сооружений стоило бы нам помочь. Ведь там, на головном, постройки все временные, а у нас по плану предполагается здесь хутор будущего совхоза, и городок строится с этим расчетом. А отвоевать у правления воз леса — не дай бог как трудно. Приходится каждый раз ездить и клянчить.

— Как у вас с работами?

— Те работы, которые можно провести без крупных механизмов, к сроку будут закончены. Пожалуй, даже раньше срока: с механизмами вообще нас немного подкачали. Прислали одни «миами», а это тяжелая и непроизводительная машина, которая здесь себя совершенно не оправдала. Вот так и лежат, как прислали. Работаем преимущественно скреперами Фресно, есть два роторных скрепера, очень производительные машинки, но нужен к ним гусеничный интер, а у нас последний вышел из строя. Вообще с тракторами беда. Почти все стоят в ремонте, запасных частей нет. Механизация вовремя не позаботилась. Приходится все работы производить вручную и конными волокушами. Конные волокуши нас спасают. Опять загвоздка с кормами. В прошлом году поморили наших лошадей: совхоз не заготовил сена. Этой весной мы уже решили не полагаться на совхоз и сено заготовляли сами. Трава здесь ничего, только надо косить ранней весной, пока солнце не выжжет. Заготовили стогов тридцать. До будущего года хватит, если не сожгут.

— Как это сожгут? Кто?

— Поджигают степь, не то киргизские мальчишки, не то кто-то другой. В этом году было уже два пожара. Пришлось всех снимать с работы и спасать сено. Выкопали канавы и кое-как спасли. Поедете дальше — увидите, все холмы черные. В последние недели успокоились, но опять-таки неизвестно — может вспыхнуть каждую ночь, а при такой жаре достаточно одной спички. Дежурим по ночам. Организовали вооруженную конную охрану, но разве убережешься,— пространства очень большие.

— У вас тут прямо пампасы какие-то. Басмачи есть?

— В прошлом году были. Вырезали несколько техников. В этом году не слышно. Население их не поддерживает. Видит, что работы подвинулись, ждет,— скоро вода пойдет. Сами заинтересованы. Помогали тушить пожар и в охране принимают участие. Вообще сдвиг есть.

— Вы партийный?

— Нет. На прошлой работе на Дальверзинстрое подавал заявление в партию. Рабочая общественность поддержала. Дело пошло в Ташкент и там застряло. Прошло года полтора — никакого слуха. Может быть, отклонили.

— Если и отклонили, все равно должны известить. Буду скоро по делам в Ташкенте,— непременно справлюсь.

— Сделаете большое одолжение.

— Значит, с работами у вас не так уж плохо?

— За нами дело не станет. Вся загвоздка в одном отрезке. Там без двух экскаваторов никак не обойтись. Говорят, несколько экскаваторов идут с пристани собственным ходом,— может быть, и нам парочку отпустите?

— Экскаваторы придут не скоро. Те, которые подвезут на тракторах, поступят на головной участок. Вы на скорое получение экскаваторов не рассчитывайте. А насчет вашего партийного дела справлюсь обязательно. Ну, до свидания!

— По участку не проедете?

— Нет. Есть срочное дело. Заеду следующий раз специально, дня на два. Переночевать устроите?

— Милости просим.

Машина тронулась. Опять по обеим сторонам дороги поскакала степь, пегая, с черными подпалинами. Морозов уже знал происхождение этих подпалин. Он вообразил огонь, разливающийся по степи мерцающим прибоем, перехлестывая через стога и постройки, и несущийся дальше в поисках драгоценного леса, завезенного сюда за сотни километров.

На всем протяжении дороги, то тут то там Морозов видел прокопченные в лёссе арыки и широкие ложбины, в которых, за облаками пыли, как китайские тени, двигались силуэты необычных пахарей. Они бежали рысью, погоняя лошадей, тащивших вместо плуга огромный стальной гребень, словно вычесывали пер-

хоть из заскорузлой гривы земли, и взбудораженная перхоть окутывала их рыжим туманом.

От быстрой езды степь начинала струиться в глазах, как однообразная серая жижа. Морозов увидел вдали от дороги огромный столб пыли, медленно пробиравшийся по степи. Он заслонил рукой глаза от солнца и смотрел на странный смерч. Из пыли торчал огромный костыль. Это была стрела экскаватора. Начальник велел остановить автомобиль и, привстав, смотрел на махину, медленно ползущую по пустыне. Морозов выплюнул неразборчивое ругательство.

— Чего стоишь? Поезжай,— крикнул он на шофера и сейчас же сам устыдился своего окрика.— Далеко еще до пристани?— спросил он, немного помолчав, стараясь придать своему голосу как можно более дружественное звучание.

— Километров девяносто.

— Поддайте-ка газу, очень уж медленно едем.

Шофер дернул машину, как непослушного коня, и машина понеслась танцующим галопом — глотать хлопья воздуха и километры.

Примерно километров через семь Морозов увидел второй экскаватор, но уже не остановил автомобиля. Потом третий, четвертый. До пристани он насчитал их шесть.

На пристань автомобиль влетел, как ветер. Шофер внезапно затормозил, и Морозов скорее вылетел, чем выскочил через открытую дверцу на хрустящий песок набережной.

— Где тут товарищ Уртабаев?

Ему указали рукой по направлению к баракам. Он прошел за бараки и увидел там, где начиналось плато, два полусобранных экскаватора. Сборкой руководил таджик в белом европейском костюме. Морозов подошел вплотную:

— Вы товарищ Уртабаев?

— Я.

— Вы получили мою записку?

— А вы кто такой? — окинул Морозова с ног до головы Уртабаев.

— Я Морозов.

— Новый начальник? — вопрос прозвучал резко и насмешливо.

— Вы получили мою записку? — повторил Морозов, чувствуя, что раздражается, и стараясь не терять самообладания.

— Получил.

— И?

— Пойдемте отсюда. Зайдем куда-нибудь, где можно будет поговорить... Кончайте, ребята, без меня,— повернулся Уртабаев к рабочим.— Приду — проверю.

Он пошел прямо, не оглядываясь, по направлению к баракам. Морозов нагнал его на полдороге.

— Немедленно прекратить сборку и разобрать собранные уже экскаваторы.

— Не торопитесь,— нахмурился Уртабаев.— Поговорим. Я сегодня должен закончить сборку восьмого Бьюсайруса и ночью собирался к вам, на «голову». Вы сюда приехали специально по вопросу об экскаваторах?

Во взгляде Уртабаева, в том, как он подчеркнул слово «специально», было что-то издевательское и оскорбительное.

— Да. И говорить нам особенно не о чем. Вы получили форменный приказ, подписанный начальником строительства и главным инженером, немедленно прекратить сборку и выехать на «голову». Вы не только не потрудились его выполнить, но продолжаете собирать экскаваторы и высылать их на плато. Вы знаете, как это называется у нас на партийном языке?

— Я знаю, что начальник и главный инженер, приехав на новое строительство, сделали бы лучше, если бы не начинали со скоропалительных приказов, а сперва ознакомились с положением работ.

Они стояли в дощатой каморке начальника пристани. Уртабаев запер дверь ключом и ключ бросил на стол.

— Вы так думаете? Вы думаете, что вам разрешат для вашей фантазии переломать все экскаваторы? Вы ошиблись. Мы еще сумеем справиться с самодурством молодых и слишком самонадеянных инженеров. Вы временно отстраняетесь, за неподчинение приказу, от исполнения обязанностей заместителя главного инженера и сдадите все дела товарищу Киршу.

— Опасаюсь, что вы принимаете решение слишком молниеносно и берете на себя очень большую ответст-

венность. За состояние экскаваторов до момента вступления их в эксплуатацию отвечает фирма Бьюсайрус. В данном случае я действую с согласия этой фирмы, в лице ее представителя инженера Баркера. Если экскаваторы поломаются, отвечает за это фирма Бьюсайрус.

— Это ложь! Я знал заранее, что, припертый к стене, вы захотите свалить всю вину на Баркера, поскольку он уехал и этого нельзя проверить. Вы ошиблись. Баркер перед отъездом передал свои функции и указания другому американскому инженеру, который категорически протестует против вашего нелепого эксперимента и грозит снять с себя всякую ответственность, если экскаваторы не будут немедленно разобраны.

— Подождите, тут возникло, очевидно, какое-то недоразумение.

— Никакого недоразумения тут нет, дорогой товарищ Уртабаев, а есть просто общепринятое правило честных людей: если ты заварил кашу — расхлебывай ее сам, а не старайся взвалить вину на другого.

— Вы, кажется, полагаете, что пост начальника строительства дает вам право держат себя по-хамски с подчиненными вам партийцами. Я не понимаю и отказываюсь понимать ваши неуместные намеки. Все это дело в конце концов очень легко выяснить. Куда уехал Баркер?

— В Америку.

— Как это в Америку? Ведь экскаваторы не собраны!

— Не прикидывайтесь дурачком, товарищ Уртабаев. Инженер Баркер уехал неделю тому назад. Об этом знает каждый из ваших рабочих, и за неделю до отъезда знало все строительство. Ваша игра бесцельна, и она не делает вам чести. Вы допустили самоуправство по отношению к фирме Бьюсайрус и по отношению к строительству, и вы будете отвечать за это. Нечего тут прятаться за чью-то спину. Единственно, что вам осталось сделать,— это немедленно отдать распоряжение о разборке экскаваторов. Что будет с теми, которые уже вышли,— решим завтра.

— Но поймите, ведь это же единственный способ, который гарантирует нам, что экскаваторы действительно в ближайшее время попадут на строительство...

— Вот, вот, с этого надо было начинать. Ваш способ гарантирует строительству только поломку машин и скандал с фирмой Бьюсайрус. Баркер уже раньше возражал против ваших затей. Идите и отдайте распоряжение о разборке, сами поедете со мною.

— Но я уверяю вас, вы ошибаетесь...

— Может быть,— тогда я буду отвечать за свои ошибки. Вы отдадите распоряжение или нет?

— Нет.

— Ах, вот как!

— Вы же отстранили меня только что от исполнения моих обязанностей. Мои распоряжения с этой минуты недействительны. Распорядитесь сами.

Это звучало не только как издевательство, это звучало как вызов. Морозов, не ожидавший прямого сопротивления, ответил не сразу. Глаза таджика светились упрямством и злобой.

«Вот так местные кадры!»

Морозов взял со стола ключ и отпер дверь.

— Хорошо, я сам отдам это распоряжение. А с вами мы поговорим в партийном комитете.

Уехать в тот же день Морозову не удалось: обнаружились неисправности в моторе. На следующий день, с утра, когда Морозов садился уже в машину, пришло известие, что в пятнадцати километрах от пристани затонула баржа с частями от двух экскаваторов. Пришлось немедленно перебросить туда всех рабочих и спасать потонувшие части, пока не утащила их вода и не исковеркало камнями.

Морозов сам руководил спасательной работой. Поздно ночью, при свете факелов и фар люди, раздетые догола, барахтались в обхватку с клокочущей водой, вырывая у нее по куску драгоценный груз, и взъерошенная вода бешено отбивалась. До рассвета значительная часть груза была спасена. Пропали котел и половина гусеницы. В поисках за ними надо было спуститься вниз по течению.

Морозов, вспотевший и усталый, прилег в машине. Он злился на себя, что потерял время. Стоило ли спасать два экскаватора, когда там, на плато, погибало их шесть! Нельзя было терять ни минуты. Он слез с машины, окунул голову в холодную воду, смывая

назойливый сон, и, разыскав Уртабаева, велел шоферу трогать.

Когда они миновали пристань, солнце стояло уже высоко. Морозов молчал, продрогший и пасмурный. Молчал и Уртабаев. Машина быстро стригла курчавую от пыли дорогу, и пыль стлалась по бокам, пушистая, как шерсть. Уртабаев оживился, увидав вдали шагающий экскаватор. Он повернулся и долго провожал его глазами. Морозов сидел с закрытыми глазами, втиснувшись в угол. Дорога тянулась в бесконечность, прямая, как удар хлыста по коричневой спине пустыни. С неба сочился клейкий зной, слепляя расклеивавшиеся с трудом веки. Морозов уснул.

Очнулся он от оглушительного шума. По степи, в двухстах шагах, ползли один за другим два экскаватора. Впереди неожиданной декорацией развернулся городок второго участка, похожий на раскрашенный чертеж.

Из городка, навстречу экскаваторам, высыпала густая толпа рабочих с красными флагами и платками. Толпа встречала экскаваторы восторженным криком, подбрасывая вверх тюбетейки и кепки.

Морозову, окинувшему спросонья ним взглядом всю эту картину, она показалась безвкусным плакатом за пропаганду индустриализации. Он поморщился и гневно покосился на Уртабаева. Уртабаев забыл, по-видимому, о присутствии Морозова и, приподнявшись на сиденье, выкрикнул навстречу толпе что-то по-таджикски, помахивая в воздухе тюбетейкой.

Толпа отвечала громким «ура».

Морозов не выдержал:

— Вы, кажется, с ума сошли, товарищ Уртабаев?

Уртабаев посмотрел на него непонимающими глазами.

— Я же вам говорил...

— Что вы мне говорили?

— Они дойдут! Я вам говорил, что они дойдут!

— А через неделю их можно будет выбросить на свалку!

— Это еще увидим.— Лицо Уртабаева потускнело.

Автомобиль поравнялся с толпой. Морозов увидел в первом ряду невысокого человека с собакой и тронул за плечо шофера. Машина остановилась. Подошел Рюмин.

— Что это за идиотская демонстрация? — нагнулся к нему Морозов.— Валюту гробят, импортные механизмы ломают, а вы обрадовались! С музыкой вышли! Распустите рабочих по местам, никакого праздника нет. А экскаваторы, чтобы дальше не шли, можете задержать на своем участке. Вам были нужны два экскаватора — берите.

Рюмин стоял ошарашенный, ничего не понимая, и смотрел на Морозова.

Между тем толпа, узнав, что едет начальник строительства, окружила машину, и устроила Морозову бурную овацию. Это уж было слишком. Морозов махнул рукой шоферу. Шофер включил мотор и дал гудок. Толпа не расступилась. Машина медленно тронулась, пронзительно гудя, и, выбравшись наконец из толпы, рванула и понеслась карьером. Морозов искоса посмотрел на Уртабаева. Уртабаев смеялся.

Толпа проводила машину удивленными глазами и медленно рассеялась.

На дороге остались Рюмин и его собака. Оба они минуту смотрели вслед удалявшемуся автомобилю, пока тот не скрылся за тучей пыли. Собака повернулась первая и лизнула руку хозяина. Рюмин почесал ей за ухом.

— Понимаешь что-нибудь, Бек? — наклонился он к собаке.— Изругали нас неизвестно за что, а потом дали нам два экскаватора. Третьего дня просил — отказали наотрез. Интересно, правда? Что ж, мы с тобой люди не гордые, экскаваторы возьмем — пригодятся. И обижаться за них не будем. Как ты думаешь?

Собака утвердительно вильнула хвостом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На черном квадрате пола справа лежал небольшой белый квадрат.

Немировская вытянулась на постели.

«Забавно! Солнце шарообразно. Шар, поделенный на окошко, равняется квадрату. Тоже своеобразная геометрия. А в общем смахивает на супрематическую картину: квадрат в квадрате. В Москве белобрысый супрематист говорил: благородное лицо квадрата. Какой вздор!»

На «благородном лице квадрата» выскочил прыщ. Это был маленький скорпион, выходивший ежедневно греться на солнце и убегающий при малейшем движении.

Немировская оперлась на локоть.

«Скорпион. Вот где квинтэссенция благородства. Жало прячет в хвосте, как нож под фалдами фрака. Окруженный кольцом огня, пронзает себе затылок. Как настоящий трагик, нож не в сердце (сердце — это провинция), а в шею, между загривком и спинным хребтом. Это по-скорпионьему называется: выход из безвыходного положения! Брр! Не надо думать о смерти. Холодно!»

Она закуталась в плед, который разрешили ей захватить из дома.

«Подумаем о чем-нибудь другом. Квадрат передвигается вправо. Солнце садится. Когда квадрат передвинется еще на два метра — будет ночь. Ночь — это крысы. Бедный начальник домзака (никак не запомню его фамилии!) воюет с крысами при помощи собак и стрихнина. Собаки поели стрихнин и подохли, а крысы остались. Сторож Назим рассказывает каждый вечер о каком-то конокраде. Звали его Гафиз. По-видимому, он тоже был поэт, только Назим в этом не разбирается. Это, пожалуй, было очень забавно. Воображаю себе начальника, когда Гафиз предложил ему вывести в один вечер всех крыс. Нет, это, наверное, было божественное зрелище! Гафиз играет на дудке, и крысы из всех нор вылезают на середину двора. Перед Гафизом открывают ворота. Он идет, не переставая играть, и крысы идут за ним по улице, как стадо. Два конвоира сопровождают Гафиза и крыс. Они выходят из местечка. Теперь крысами занята вся дорога, и конвоиры, отряхивая их с отвращением с ног, должны податься в сторону и следовать за Гафизом в отдалении. Луна заволакивается облаком, как фонарь, закутанный крепом во время похорон. (Не надо думать о смерти!) Когда луна выходит опять — Гафиза нет. Есть только крысы, в переполохе скачущие назад. Гафиз убежал, а крысы вернулись. Это выход из безвыходного положения по-таджикски...»

В замке загремел ключ.

— Гражданку Немировскую к следователю!

Немировская соскочила с постели.

«Где же у меня гребенка? А, вот она! Быстро! И зеркальце... Так. Платье немножко помято. Как я побледнела! Это хорошо. Немножко пудры».

— Да, да, иду!

«На дворе уже темнеет. Это лучше: не будет зевак. Этот конвоир со мной? Красивый малый. Откуда у таджика такие голубые глаза? Как эти ворота тяжело открываются! Почти символ. Сколько времени я не была уже на улице? Кажется, неделю, а может, больше. Как этот малый неуклюже несет винтовку. Надо ему улыбнуться. Интересно, выстрелил бы он в меня, если б я вздумала бежать? Наверное, выстрелил бы. Еще в эту уличку налево, и мы пришли. У меня стучат зубы. Как глупо! Надо быть совершенно спокойной. Это пока что главное, а там увидим. Женщина, начинающая с плача, вызывает отвращение. Плакать можно только тогда, когда ты уверена, что тебя любят. Ах, если бы следователем был, как раньше, Кригер,— как бы все было просто! Зачем я тогда устроила скандал, на потеху Синицыну! Идиотка! Никогда не надо звать на помощь, надо защищаться самой. Если б Кригера не сняли и он бы вел это дело, меня не держали бы в тюрьме столько дней без допроса. Это даже противозаконно. Об этом надо упомянуть. Нет, лучше молчать. Говорить только, когда спросят. Главное, не теряться и держать себя свободно. В конце концов следователь, кто бы он ни был, тоже только мужчина. Ну, товарищ Немировская, неужели вы настолько постарели, что потеряли всякую уверенность в себе? Неужели вы не чувствуете себя в силах вскружить голову какому-то провинциальному следователю? Ну, вот! Теперь внимание. Начинаем».

Двери скрипнули. Немировская вскрикнула, словно ослепленная вспышкой магния, и от неожиданности лишилась чувств. За столом сидел Кригер.

Когда она пришла в себя и конвоир вышел, плотно прикрыв дверь, Немировская немедленно разразилась горькими упреками:

— Так это ты держишь меня столько времени в тюрьме, в душной яме с крысами, не вызывая меня даже на допрос? Это, по-твоему, называется закон? Это что же, ты со мной вздумал сводить личные счеты

таким благородным манером? Я никогда не подозревала, что ты способен на подобную подлость.

— Успокойтесь, товарищ Немировская,— сказал мягко, без выражения Кригер.— Я поступил противозаконно, не допрашивая вас сейчас же после вашего ареста, но я сделал это именно потому, чтобы не мучить вас лишними вопросами. Я решил вас вызвать, когда все материалы и показания будут у меня в руках, чтобы допрос ваш ограничить признанием уже установленных фактов. Постарайтесь овладеть собой, и вы убедитесь, что это не будет для вас утомительно и не будет долго продолжаться. Разрешите, я буду задавать вопросы, а вы отвечайте на них возможно точнее.

— Иначе говоря, вы решили оставить меня в тюрьме?

— Если и вы и я будем задавать вопросы, ничего из этого не получится. Разрешите мне их задавать. Я хотел бы, чтобы вы поняли, прежде чем мы приступим к допросу, что наше личное знакомство не имеет к этому делу никакого отношения. В данную минуту сидит перед вами не ваш знакомый, а народный следователь, и этому следователю поручено допросить вас по делу, в котором вы являетесь одним из обвиняемых лиц. Я полагаю, вы меня поняли и поможете провести допрос без излишних затруднений. Я хотел вам еще сказать, что правдивые показания могут значительно смягчить вашу вину, в то время как отрицание и отказ от показаний могут только в очень сильной степени ухудшить ваше положение... Вы вполне пришли в себя?

— Да, вполне... Спрашивайте. Если буду знать, отвечу.

— Скажите, с какой целью вы... брали некоторые документы, зачастую секретного порядка, поступавшие в управление строительства, и передавали их гражданину Немировскому?

— Никаких документов я не брала и никому не передавала. Это просто клевета.

— Я же сказал вам, что, прежде чем вызвать вас на допрос, я собрал показания от всех замешанных в этом деле лиц. Отрицать факты, установленные следствием, не имеет ни малейшего смысла. Это может только повредить вашему делу. Чтобы вы убедились,

насколько ваше отрицание нелепо, могу вам только сказать: муж ваш, у которого найдена часть исчезнувших документов, сознался, что получил их от вас.

— Это ложь!

— Давайте прервем допрос, пока вы совсем не успокоитесь... А письмо по поводу Кристаллова, которое найдено в вашей сумке, тоже попало туда без вашего участия?

— Письмо относительно Кристаллова я положила в сумку, чтобы передать его Еремину, и позабыла.

— Раскрыв его и ознакомившись предварительно с его содержанием?

— Я раскрыла его, как вообще часто, в отсутствие Еремина, распечатывала текущую переписку, но не читала.

— А откуда вы знаете, в таком случае, что оно касалось Кристаллова?

— Я прочла только этот абзац, потому что заметила знакомую фамилию.

— Но ведь все письмо посвящено Кристаллову, а не один только абзац.

— Всего я не читала.

— Во всяком случае, о том, что Кристаллова разыскивают за растрату, вы прочли?

— Нет, я только прочла абзац о его происхождении.

— Так. И этот вопрос показался вам таким пустяком, что вы, встречаясь ежедневно с Ереминым, каждый раз забывали ему об этом сообщить. Не вспоминали об этом даже тогда, когда приглашали Кристаллова на известную вечеринку по случаю отъезда Четверякова?

— Я его не приглашала. Он сам пришел.

— Неужели вы не замечаете, что все это лишено всякого смысла? Зачем вы всеми силами стараетесь себе повредить? Видите, я даже не записываю ваших ответов, это отягчило бы значительно вашу вину. Поймите, только чистосердечное признание и указание мотивов могут ее смягчить.

— Вы хотите меня погубить, Кригер, или хотите мне помочь?

— Я хочу вам помочь признаться в вашей вине,— это единственная вещь, которая в данном положении будет говорить в вашу пользу.

— Слушайте, Кригер: допустим, я могла совершить ряд необдуманных поступков, которые, при желании, можно подтянуть под ту или иную статью уголовного кодекса. Неужели меня надо за это сгноить в тюрьме? Ведь вы-то меня знаете? Вы знаете, что я не преступница. Вы же знаете это?.. Вы молчите?.. Неужели так быстро вы переменили обо мне свое мнение?

— Товарищ Немировская, я вам уже сказал с самого начала, что наше частное знакомство не имеет к делу никакого отношения. Мне казалось, вы меня поняли.

— Нет, не поняла. В моем понимании народный следователь — это не автомат с параграфами, а живой человек, у которого есть свое мнение, и мнение это не меняется в зависимости от того, сидит ли он за следовательским столом или за домашним. Представьте себе, что подсудимая Немировская откажется отвечать на вопросы народного следователя Кригера, а просто Немировская изъявит согласие жить вместе с просто Кригером. Неужели просто Кригер возьмет в жены Немировскую, а следователь Кригер присудит ее к расстрелу или отправит в тюрьму?

— Товарищ Немировская, я напоминаю еще раз, что вы на допросе. Эти иносказательные предположения со ссылкой на наше личное знакомство здесь неуместны. Если вы не решитесь отвечать прямо на мои вопросы, я буду вынужден прекратить допрос...

— Какие иносказательные предположения? Я вас спрашиваю: зачем вам надо непременно сделать из меня преступницу? Ведь следствие ведете вы, и установки следствия зависят от вас. Хорошо, Немировский что-то там наделал, за это его полагается отдать под суд. Скажем, Немировский запутал и меня в это дело, но ведь я-то в этом не разбираюсь, я-то не виновата! Почему вы хотите сделать из меня преступницу только на том основании, что я юридическая жена Немировского?

— Позвольте...

— Нет, не позволю! Ведь вы-то меня раньше знали? Зачем вы меня мучаете? Зачем вы бросили меня в тюрьму на съедение крысам? Вы, который столько раз говорили мне о своей великой любви. Да, да, вы! Не ссылайтесь на какие-то там законы. Следствие

целиком зависит от вас. Что, я представляю для вашей республики какую-то угрозу? Кто заинтересован в том, чтобы я гнила в тюрьме? Что и кому от этого прибавится? Хорошо! Я ошиблась, я поступила необдуманно, но ведь я же этого больше не буду делать. Я не хочу больше видеть Немировского. Помоги мне, Андрей! Выпутай меня из этого дела! Я уеду с тобой, куда ты захочешь. Никогда этого не забуду.

— Вы не отдаете себе отчета в том, что говорите. То, что вы мне предлагаете, на судебном языке называется взятка. Я вижу, мне не удастся допросить вас сегодня. Отложим допрос до следующего раза.

Он потянулся к звонку. Немировская схватила его за руку.

— Нет, нет! Я вас умоляю, не отправляйте меня в камеру. Я боюсь крыс! Я там с ума сойду! Я скажу все, что хотите, только не отправляйте меня обратно. Разрешите мне здесь посидеть до утра. Я ведь никуда не убегу.

Она заплакала. Кригер налил стакан воды и, пододвинув его на край стола, отошел к окну.

— Я не могу оставить вас здесь ночевать,— сказал он после большой паузы, не поворачиваясь лицом к Немировской.— Вы должны это понять. Говорите, рассказывайте со всеми подробностями о мотивах и побуждениях, которые заставляли вас помогать Немировскому. Корни этих побуждений надо, наверное, искать далеко в прошлом, в вашей личной биографии. Покуда вы будете говорить, я буду вас слушать, сколько б это ни длилось. Вы меня понимаете? Вы успокоились?

— Да... Что вы хотите, чтоб я вам рассказала?

— Соучастие ваше в деле Немировского установлено со всей точностью. Если вам трудно самой признаться во всем до конца, давайте не будем об этом сейчас говорить. Для нас гораздо важнее знать, какие личные побуждения толкали вас на это сотрудничество, каковы те убеждения, которыми вы руководились. А для выяснения всего этого было б очень ценно, если бы вы рассказали нам кое-что о своем прошлом: о своем происхождении, о семье, о том, что вы делали раньше, о вашем знакомстве с Немировским, о ваших отношениях. Словом, что-то вроде небольшой автобиографии, которая, конечно, только в том случае будет

представлять для нас ценность, если будет вполне соответствовать действительности. Вы меня понимаете? Не надо ничего приукрашивать. Вы вот сами говорите, что в будущем не повторили бы тех поступков, которые называете ошибочными и необдуманными. Представьте, с завтрашнего дня вы хотите начать совершенно новую жизнь. Для этого, прежде всего, вам надо подвести итоги старой. Так вот, подведите их вслух. Так, как бы подводили их для себя. Поймите, здесь никто не намеревается вас губить. Наш суд не наказывает и не оправдывает. Наш суд помогает подсудимому перестроиться. Надо только, чтобы у вас самой было стремление к этой перестройке. А первый шаг в этом направлении — правдивая, искренняя ревизия старого багажа, старой биографии. Итак, я вас слушаю. Хотите чаю?

— Хорошо, я вам расскажу о себе все, что знаю сама. Если можно горячего чаю, пожалуйста. Мне немного холодно.

Кригер позвонил.

— ...Родилась я в зажиточной дворянской семье. Отец мой, кадровый офицер, пока дослужился до чина капитана, успел промотать и проиграть в карты все, довольно значительное, приданое матери, да в придачу какую-то казенную сумму и пустил себе пулю в лоб. Благодаря связям инцидент замяли, матери была дана даже скудная вдовья пенсия. Было мне тогда десять лет.

Для меня этот эпизод ознаменовался тем, что отпустили мадемуазель и мы с матерью переехали из большой светлой квартиры в две грязные комнатушки на четвертом этаже, на Маросейке. Я восприняла эту перемену, как дети воспринимают всякий переезд: как нечто любопытное и временное. Я не знала еще тогда, что нужда это трясина, и кто в ней погряз, тот уже больше не в состоянии выкарабкаться собственными силами. Началась тусклая вдовья жизнь с ее неизменным реквизитом: стоптанные башмаки, поштопанное, аккуратно выутюженное платье, сухая булка к чаю. Благодаря связям родных мать выклянчила для меня стипендию в гимназии, где учились мои богатые кузины. Раз в неделю мне разрешалось приходить к ним в гости, поиграть их игрушками. У кузин были большие просторные комнаты, хрустальные люстры, были

детские файфы (душистый шоколад с бисквитами) и детские балы, на которые меня иногда приглашали, если какой-нибудь из кузин платье не нравилось и, вместо того, чтобы выбросить, его дарили мне. На этих балах было много света, музыки, веселья, и после них загаженная лестница, пропахшая кошками, и темная конура на Маросейке казались еще безвыходнее и темнее.

Так прошло мое детство. Оно развертывалось в двух планах, как модная театральная постановка. Короткие экскурсы в мир света и музыки, в мир беззаботного веселья, где можно вкусно и досыта наесться, где можно было беззаботно посмеяться... Эти просторные комнаты звенели смехом, как раковина морем, и надо было сложить лишь губы в улыбку, чтобы смех зазвенел и в вас. Но когда потухали люстры, это обозначало перемену декорации только для меня одной. И тогда из мрака выплывала темная лестница,— три этажа, шесть площадок,— рыжий стол, облезлая клеенка, керосиновая лампа в засиженном мухами кривом абажуре, как в старомодной шляпе, обрюзглый комод с лежащим на нем протертым кошельком (если купить фиалок, завтра не хватит на трамвай).

В семнадцать лет я уже кончала гимназию и умела ненавидеть, как другие в этом возрасте умеют любить. Я ненавидела мои стоптанные туфли, мое старомодное заштопанное платье, перелицованное из маминого, я ненавидела затхлую лестницу, от одного запаха которой меня начинало мутить каждый раз, как я по ней поднималась. Я ненавидела эту двухкомнатную конуру с порыжелыми обоями и эти ежедневные разговоры о растущей дороговизне, о том, как трудно свести концы с концами и как будет хорошо, когда я наконец кончу гимназию и стану учительницей. Я с угрюмой тоской думала об этой минуте. Гимназия, школьное товарищество с кузинами были той единственной нитью, которая связывала меня с миром света и музыки. Я знала: когда лопнет эта нить, я опущусь навсегда в серый мир посредственности, из которого нет выхода. Даже замужество в этом мире ничего не меняет, не открывает никаких дверей, кроме той, которая ведет в дымную кухню.

Я жила в это время какой-то нелепой, раздвоенной жизнью. Я все реже, из-за отсутствия платья, попада-

ла в тот мир, в котором вращались мои товарки, но я продолжала в нем жить по их рассказам. Я знала лучших московских портних, бельевщиков, обувщиков и ювелиров, у которых никогда не буду иметь возможности ничего себе заказать. Я знала целый мир людей, с их привычками, качествами, недостатками, с их симпатиями и антипатиями, с их годовой рентой, людей, которых я никогда не видела и не должна была увидеть и образы которых я создала на основании того, что рассказывали о них мои кузины.

Для того чтобы проникнуть в этот мир, мне не хватало пустяка — каких-нибудь пятисот рублей. Я высчитала это с карандашом в руке: бальное платье от Ламановой, туфли от Вейса, простое колье от Фаберже, белье от Альшванга. С этим я могла вращаться в том мире в течение целых святок. Я знала, что, проникнув в него, я сумею в нем удержаться. Я была красивее моих кузин, на меня оборачивались на улице мужчины, я получала ежедневно записочки от влюбленных гимназистов. Записки я рвала в клочья, не читая, и усыпала ими, как цветами, свою лестницу. Я презирала этих сопливых воздыхателей. Я знала, что они живут на таких же непроветренных лестницах и свои лирические письма пишут на такой же рыжей облезлой клеенке, под засиженным мухами абажуром керосиновой лампы.

Конечно, о подобной сумме я не могла и мечтать.

Мне было семнадцать лет, были святки — единственная дверь, через которую я могла войти в тот мир: она стояла передо мною закрытая.

Одной из моих кузин, самой безобразной, на последнем балу объяснился в любви сын богатого фабриканта. Я возвращалась от них с Поварской на Маросейку пешком. Это был конец месяца, и у меня не было даже на трамвай. В Столешниковом за мной увязался какой-то старичок. Он называл меня «прекрасное дитя» и шамкал мне в ухо, чтобы пойти с ним, уверяя, что меня «не обидит». Он был хорошо одет и опирался на палку с золотым набалдашником. Я внезапно остановилась. Он испугался,— видимо, у меня было очень злое лицо,— и остановился тоже. Я сказала: «Дадите пятьсот рублей — пойду. Я еще ни с кем, понимаете?..» Потом повернулась и быстро пошла дальше. Он приотстал. Я подумала горько, что сумма

показалась ему слишком большой. Я стиснула зубы и ускорила шаги. Я чувствовала спиной, что он продолжает идти за мною, смотрит на мои ноги, прикидывает. Это, должно быть, был скряга. Он нагнал меня на углу Петровки, запыхавшийся, жалкий, со шляпой, сбившейся на затылок, и сказал мне, что согласен. Он взял меня под руку и подозвал лихача. По дороге он мямлил мне что-то в ухо, но я не слушала. Я думала, не делаю ли я непоправимой глупости. Не задержать ли извозчика и не выйти ли? Мои кузины продавали это за комфортабельную жизнь, пожизненную ренту. Для них сумма в пятьсот рублей показалась бы смехотворной. Но я знала, что никто из тех людей не придет искать меня на четвертом этаже, если я сама не проникну к ним. Я не остановила лихача и не сошла...

У старика денег не оказалось. Он воспользовался моей неопытностью, зная, что я не спрошу у него денег вперед, и обманул меня. Я заплакала. Старичок, опасаясь, по-видимому, скандала, вытряхнул все, что у него было в бумажнике: двести девяносто пять рублей, и выпроводил меня поспешно на улицу. Я свернула в ближайший переулок. Я не знала, где нахожусь, в какой именно части города. Я бежала, пока не выбилась из сил и не увидела, наконец, первого извозчика.

Я сказала кузинам, что выиграла по военному займу триста рублей. На четвертый день я уже ехала в карете моих кузин на бал в дворянское собрание.

До конца святок оставалось четыре больших бала. После этого мое платье не могло более оказать мне никаких услуг. Я не имела права терять бесцельно ни одного часа. На первом же балу на меня обратил внимание молодой Ростовцев, который не дал мне всю ночь танцевать ни с кем другим. Он был похож на дога и нравился мне своими мягкими собачьими манерами. Я сконцентрировала на нем весь огонь, и наутро он был влюблен в меня без памяти. На следующий день я узнала от кузин, что его последнее имение недавно продали с молотка, он остался гол и, кроме долгов, имеет в Петербурге жену, с которой не живет. Я грызла себе пальцы в бессильной злобе. Я поклялась не обращать внимания на мужчин моложе пятидесяти лет. Я расспросила подробно кузин относительно всех присутствующих на этом балу и остановила свой вы-

бор на одном полковнике лет пятидесяти, которого вот-вот должны были произвести в генералы. Он пользовался форами при дворе и обладал большими поместьями.

На следующем балу я больше не танцевала и всю ночь просидела в буфете с полковником, который бросил играть в бридж. Ростовцева, прибежавшего за мной в буфет, я отшила такой ледяной остротой, что тот на минуту обалдел, ничего не понимая, и ушел, как дог, с поджатым хвостом. Полковнику я говорила, что терпеть не могу молокососов и что мужчины моложе пятидесяти лет для меня не существуют. (После моего первого старичка сам вид седины вызывал во мне отвращение.) Полковник всю ночь по-кавалерийски выпячивал грудь, поглаживал усы и блистал фейерверком своего кавалерийского остроумия. На следующий день от этого выпячивания, наверно, у него ныла спина и денщик растирал ее скипидаром. Одним словом, полковник был побежден. На следующем балу он сдал шпагу и просил моей руки. Я потребовала сорок восемь часов на размышление. Через неделю я была законной женой полковника, а через два месяца — генерала Протасова.

Следующий год прошел для меня, как сплошной праздник,— в музыке и цветах. Никогда еще Москва не веселилась так, как в эти годы. Февральская революция вспыхнула на этом празднике блестящим фейерверком, от которого загорелись где-то чьи-то амбары, иллюминация казалась поэтому еще более ослепительной. Тогда пришла Октябрьская революция и потушила все огни. Генерал Протасов исчез. Одни говорили, что пьяные солдаты бросили его под поезд, другие,— что он обретается где-то в Крыму. По правде сказать, его судьбой я не интересовалась. Я поняла, что козырь мой бит, а битый козырь — больше не козырь. Месяц спустя у меня отобрали все, дав мне взамен, словно в насмешку, комнатушку за перегородкой на той же Маросейке, только десятью домами дальше.

Я чувствовала то, что должна, вероятно, чувствовать муха, которая попала в ведро с помоями, выбралась оттуда с трудом по скользкому жестяному краю, и, в тот момент, когда она очутилась снаружи и расправляла крылья, кто-то одним щелчком столкнул ее обратно в грязную жижу. Я чувствовала, что меня обо-

крали. Я купила себе место на этом блестящем спектакле, который называется беззаботной светской жизнью, самой дорогой ценой, какую может заплатить за него семнадцатилетняя девушка, и вдруг кто-то отменил спектакль, не вернув даже денег за билет. Я ненавидела людей, столкнувших меня опять в *вязкую топь нужды,* из которой выбраться не представлялось никакой возможности, ненавидела их так сильно, как ненавидела всегда нужду. А нужда становилась все чудовищней. Жизнь при потушенных огнях стала серой и бессмысленной.

Благодаря моим старым знакомствам мне удалось устроиться в один из московских театров. Для меня этот театр, ставивший пьесы из прошлого и не допускавший на свою сцену, поскольку было возможно, «красной халтуры», был единственным островком, где вечером, при свете рампы, оживал на несколько часов отрезок блестящего вчерашнего дня.

Опять началась для меня жизнь нелепая, двуплановая. Днем — сырая конура на Маросейке, вечером — три часа красивой жизни, в рамках великолепия из папье-маше.

С Немировским я познакомилась значительно позже. Это было приблизительно в начале нэпа. Вращалась я тогда в компании спецов, преимущественно инженеров. К Немировскому меня привлекало его барское, издевательское отношение ко всему происходящему. Он был крупным специалистом, зарабатывал очень большие деньги, без него не могли обойтись. Он диктовал свои условия, выражал свои мнения, которые «они» должны были принимать на веру, не имея возможности их проверять,— он был неоспоримой величиной в своей области. Он не скрывал своего презрительного отношения к «ним», не упускал ни одного случая, чтобы посмеяться над «их» технической неграмотностью. «Они» ненавидели его, но должны были терпеть, стиснув зубы. Он держал себя, как настоящий барин в плену у черни. Так, должно быть, держали себя в Консьержери французские аристократы, отпускавшие блестящие шутки, начиненные презрением, по адресу не понимавших перца их острот судей и тюремщиков. На меня, которая наблюдала все эти годы лишь подлость и жалкое приспособленчество, видела моих старых знакомых, пресмыкающихся пе-

ред «ними» на животе за паек, за обеспеченное прозябание,— на меня Немировский имел непреодолимое, притягивающее воздействие. Мы сошлись. Я его любила. Он извлек меня из болота нужды. Он первый говорил мне со спокойной научной уверенностью, что все, происходящее кругом,— временно, что «они» выдохлись и понемногу поворачивают оглобли, что мы приближаемся к новому Термидору, когда постепенно руководство перейдет в руки технической интеллигенции, чтобы восстановить в стране иерархию и порядок. Все кругом, казалось, подтверждало его безошибочные предсказания. Это был разгар нэпа. Потухшие огни загорались один за другим. Жизнь становилась красочней и раздольней. Я бросила театр, он мне был больше не нужен. Вчерашний день перешагнул через рампу.

Я работала в это время в тресте, в котором работал и Немировский. Он фактически руководил всем трестом. Директор коммунист ничего в делах не смыслил, и роль его состояла в том, чтобы ставить на решения Немировского визу своего партбилета. Немировский называл его иронически «своим комиссаром».

Однажды Немировский сказал мне, что его «комиссара» сменили. Немировский был очень не в духе. Это было совершенно неожиданно. Он вел в это время одно довольно рискованное дело, для которого ему была нужна виза партбилета. Он просил меня достать ему обязательно завтра из дел правления один документ, который не должен был попасть в руки нового директора. Я работала в это время в секретариате правления и неоднократно доставала для Немировского ту или иную бумажку.

На следующий день, с утра, до прихода директора, я прошла в его кабинет отыскивать нужный документ. Папка с документами находилась в шкафу. Это был огромный шкаф, разделенный на две части, левая его сторона нуждалась в ремонте,— обвалились полки, и по этому случаю она была опорожнена, а все бумаги переложены в правую часть, которая запиралась отдельно. Я разыскала документ, когда в коридоре послышались шаги. Старый директор никогда не приходил так рано. Другого выхода из кабинета не было. Мне не оставалось ничего, как влезть в опорожненную половину шкафа и, захлопнув дверцу, переждать.

Вошел новый директор. Это был мужчина лет тридцати — я наблюдала за ним в щелку. Он уселся за стол, просмотрел бумаги, потом позвонил и велел позвать к себе Немировского. Я видела, как вошел Немировский, как новый директор показывал ему какие-то бумаги. У Немировского было растерянное, красное лицо; таким я его еще никогда не видела. Он оправдывался. Я приоткрыла дверцу, мне хотелось слышать, о чем они говорят. Всего я не поняла. Новый директор говорил спокойно, все время доказывая что-то Немировскому цифрами. Немировский, всегда такой уверенный и холодный, перед этим человеком краснел и волновался, пробовал что-то отрицать. Я поняла одно: нашелся человек, который разбирается в трестовских делах не хуже Немировского; который разгадал всю его игру и теперь забавляется с ним, как кот с мышью. Немировский показался мне жалким и ничтожным.

«Что ж, посмотрим, как будете работать дальше»,— сказал директор Немировскому и неожиданно оперся на дверцу шкафа, которую я приоткрыла. Я не успела убрать руки, и он прищемил мне мизинец. Я чувствовала дикую боль, но боялась кричать. Я закусила губы до крови и молчала. Немировский вышел. Вскоре вышел и директор. Я могла покинуть шкаф. Как сувенир этого разговора остался у меня навсегда криво сросшийся палец.

За обедом я встретилась с Немировским. Он был жалок. Я его больше не любила. Я наблюдала за ним следующую неделю, как наблюдают за жуком, посаженным в банку. Он не давал мне больше никаких поручений. Он поздно возвращался из треста. Он работал по вечерам дома, чего никогда раньше не делал. Он старался. Я его презирала. Он мне напоминал мелкого уличного воришку.

Я наблюдала с восхищением за новым директором. Он бил Немировского своим невозмутимым спокойствием, своим знанием дела. Немировский не говорил уже о нем «мой комиссар», он предпочитал не говорить о нем вообще.

Через месяц я поняла, что люблю нового директора. Я сказала ему об этом однажды, передавая какие-то бумаги, как говорят: какая хорошая погода! Он отмахнулся, как от мухи. Он не обращал на меня до сих пор никакого внимания. Теперь он уже не мог не обра-

тить. На следующий день он подписал приказ о моём переводе в другой отдел. Я пошла к нему с этим приказом на дом и сказала, что приказ надо отменить, пока он не прошел еще канцелярию. Он посмотрел на меня удивленно и попросил войти в комнату. Он сел за письменный стол, предложил мне стул и спросил просто:

«Что вам от меня надо?»

«Я вас люблю...»

Он поморщился и сказал спокойно, глядя на меня своими серыми глазами:

«Вас оскорбляет, что я не обращаю на вас внимания? Не так ли? Я не слепой, вы очень красивы. Я могу поспать с вами. Это даже, наверное, доставит мне удовольствие. Вы довольны? Но потом я выпровожу вас вон. Зачем вам это? Я не имею основания вас оскорбить. Лучшее, что вы можете сделать, это оставить меня в покое».

«Почему вы думаете, что не сможете меня полюбить? Я сумею быть изумительной любовницей, такой, какой у вас еще никогда не было».

«Это очень просто, но вы это не поймете,— сказал он, мягко отклоняя мою руку.— Вы человек, классово мне чуждый. У нас нет никаких точек соприкосновения».

«Это пустяки, вы ведь меня совершенно не знаете».

«Я знаю, что вы жена Немировского, живете с ним довольно долго,— этого для меня вполне достаточно».

Я сказала ему, что не люблю Немировского и больше к нему не вернусь. Я пыталась объяснить очень искренне, что именно меня связывало с Немировским, почему к этому человеку я питаю сейчас презрение. Я описала сцену в кабинете и показала сломанный палец.

Он выслушал очень внимательно.

«Вот видите, все, что вы говорите, еще более доказывает, какая пропасть разделяет нас. Вы любите во мне просто победителя,— того, кто в данную минуту оказался наверху. В вас говорит самка вашего класса. Между нами нет и не может быть ничего общего».

Я встала и вышла. Он проводил меня до двери.

Меня перевели на другую работу. Я не могла жить,

не видя его. Я писала ему длинные письма, на которые он не отвечал. Я испробовала все средства, чтобы заставить его полюбить меня. Так прошло полгода.

Однажды Немировский сообщил мне, что ему предлагают поехать на одно из крупных строительств; через три дня мы должны будем покинуть Москву. Я решила в последний раз пойти к директору на дом. Он принял меня в том же рабочем кабинете.

«Видите, как я мучаюсь из-за вас уже полгода. Неужели вы не верите моей любви? Сейчас Немировский уезжает из Москвы. Разрешите мне остаться здесь. Оставьте мне слово надежды. Я женщина, я не надоедала бы вам своей любовью, если бы чувствовала, что я вам совсем не нравлюсь. Я знаю, что у вас нет другой любовницы. Возьмите меня. Ни одна женщина вашего класса никогда не будет вас так любить, как я».

«Я не буду с вами жить. Я уже вам раз говорил — мы люди чужие. Есть что-то, что не позволяет и не позволит мне никогда полюбить вас».

«Что именно? Ваш партбилет?»

Он улыбнулся:

«Для вас это олицетворяется в партбилете. Может быть, вы не так уж не правы».

Я ушла от него без слова надежды. Это был единственный человек, которого я любила.

Через три дня я уехала. Мне незачем было оставаться в Москве.

В последний раз я видела его здесь мельком, в окно. Это было на шестой день после его приезда. Да вы его знаете: это Морозов, теперешний начальник строительства...

Немировский на новом месте опять распустил лепестки. Но он не играл уже той роли, что раньше. Работа его контролировалась. Взялись откуда-то новые люди, которые знали дело не хуже Немировского. Он постепенно отходил на задний план. Я чувствовала, как его гложет злоба. Я видела, как он изворачивался, ударяясь лбом о мнение вездесущего парткома. Я презирала Немировского, но я не меньше его ненавидела это слово. И когда однажды, как год назад, Немировский предложил достать ему какую-то бумажку, я принесла ее на следующий день и бросила на стол, не глядя на Немировского, не слушая его благодарностей,

Мне доставляло удовольствие, что я врежу чем-то этим господам с партбилетами.

На предпоследнем строительстве я закрутила роман с начальником,— скорее от скуки, не так уж он мне нравился. Помню, как-то раз я попросила его сделать что-то для одного из наших инженеров. Он ответил мне грубо, чтобы я никогда не смела ему передавать подобных просьб. Он дал мне понять, что если он живет со мной, то это его, кроме постели, ни к чему не обязывает. По некоторым мелочам я догадалась, что Немировский знает о нашей связи, но предпочитает молчать. Он давал мне кое-какие поручения, которые я выполняла, отчасти в реванш за то, что он не отравляет мне жизни супружескими сценами, отчасти из злобы к этому манекену с партбилетом, который «не считал возможным» удовлетворить мою самую пустяковую просьбу.

То же самое, приблизительно, продолжалось и здесь. Я приехала сюда еще более горькой и одинокой. Я сошлась здесь с вами. Вы мне показались непохожим на всех этих чопорных владельцев партбилетов. Вы отдавали любимой женщине «из враждебного класса», как говорят эти господа, больше, чем кусок вашей постели. Я вас полюбила. Я злилась на себя за эту любовь. Я мучила вас, как мучила себя.

Нет, я не жила с Ереминым. Это просто ложь. Я флиртовала с ним. Ничего не имела против, чтобы он влюбился в меня. Я знала, что он ненавидит меня, и это подзадоривало. Было забавно видеть его у своих ног. Я знала, что на следующий день он будет ненавидеть меня еще больше, а через три дня опять придет целовать мои ноги.

С Немировским у нас сложился своеобразный молчаливый уговор. Я помогала ему в его мелких делах, он не вмешивался в мои. Я соврала бы, если б сказала, что его дело было мне совершенно безразлично. Я знала, что он путает карты «товарищам» из партийного комитета, и сознание этого было мне приятно.

За всю мою жизнь люди не сделали для меня ничего, за что бы я могла быть им благодарна. Любить мне их не за что. Последние годы я жила по инерции, чувствуя в себе пустоту. Я очень боюсь смерти. Единственное светлое пятно за последние месяцы — это любовь к вам. Я вас не обманываю, не говорю, что люблю

вас без памяти. Были люди, которых я любила больше, чем вас. В последние годы я разучилась любить, и то, что я чувствовала к вам, при моей опустошенности это было много. Мне никогда в жизни никто не сделал ничего хорошего. Человеку, который бы подал мне руку в теперешнем положении, я не забыла б этого всю свою жизнь. Я умею быть благодарной, как собака. За тридцать два года я не истратила ни одной капли моей благодарности...

Ну вот, уже светло. Можете меня отправить обратно в камеру...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Культурная работа на строительстве хромала, клуб работал плохо, и Синицына решила, что сможет лучше наладить работу, организовав по участкам библиотеки. Она собралась в Сталинабад за книгами.

Город, которого она не видела с прошлого года и который знала еще в период его недавнего детства — большим развороченным кишлаком,— вытянулся за этот год, возмужал и разговаривал уже баском автобусных гудков. Тоненькие тополя по обеим сторонам главной улицы шмыгнули вверх, обогнав в два раза свой прошлогодний рост. Такой разъяренный рост дерева поражал своей невероятностью. Казалось, что из прошлогодних прутьев вытащили спрятанные в них готовые деревца, как из ножен вытаскивают шпагу, и они колыхались теперь, гибкие, как шпаги с развевающейся зеленой портупеей.

Каждый раз, приезжая в этот город и находя его иным, Синицына видела его каким-то двойным зрением: через фокус воспоминаний, как на рентгеновском снимке, взор ее различал сквозь плоть нового города костяк знакомого кишлака, такого, каким она застала его в первый раз, шесть лет назад.

Тогда здесь простиралась большая степь, изрезанная пыльными дорогами; верблюды тащили по ней огромные балки из далекого Термеза, и раскосые киргизы, покачиваясь на верблюдах, гривастых и бородатых, как горбатые львы, пели свои заунывные непонятные песни. Они, должно быть, пели по-киргизски: «Здесь будет город заложен на зло надменному соседу». Балки, проведя по пустыне длинную черту в

сотни километров, стачивались, как исписанные карандаши.

Над кишлаком Дюшамбе — что значит Понедельник,— быть может потому, что кишлаку суждено было увидеть первый день творения города, столицы социалистической республики,— в тот день беспокойными аистами кружили аэропланы. Они кружили над глиняной деревушкой, не знавшей до сих пор колеса (жители ее вправе рассказывать внукам, что первое колесо свалилось к ним с неба). Сегодня в этом месте, как памятник, как выцветший фригийский колпак, водруженный на шесте, трепыхался «колдунчик» аэродрома. Сегодня по черте, проведенной первой балкой первого верблюда, от Термеза до Дюшамбе тянулось вздутым рубцом полотно железной дороги, и ночью, пугая шакалов, протяжно выли паровозы.

Сегодня пыльные безымянные дороги обросли с двух сторон домами, и дома, как женщины, утомленные солнцем и жарой, раскрыли зеленые зонты деревьев и развернули веера палисадников. Еще три года тому назад дороги пытались защищаться. Они ворочались под колесами арб, ухабами бодали радиаторы автомобилей, ломали рессоры и колеса, как ломают голень врагу, наступившему на горло. Тогда на подмогу городу с далекого Севера приехали каменщики. Они сели на грудь изворотливых дорог и долго глушили их молотками, пока те не окостенели. Потом на перекрестках приколотили дощечки с именами, и безымянная дорога стала улицей. Теперь по ней плавно бежали машины, развозя по учреждениям наркомов, и с цоком летели раскидистые фаэтоны, запряженные парой широкозадых коней впристяжку, с декоративным осетином на облучке в белом волнистом сомбреро.

Город каждую весну зарастал лесом лесов. К осени леса вырубали, открывая новый, выросший за лето квартал.

Синицына бродила по городу, не узнавая знакомых улиц. Она остановилась у хлопкоочистительного завода, которого не было здесь в прошлом году, и побрела медленно вверх — мимо здания ЦИК, повернувшегося спиной к городу и лицом к степи, к средневековью далекого Афганистана: мимо двух педтехникумов — мужского и женского,— не спускающих друг с друга взгляда своих задумчивых окон; мимо здания ЦК, выдви-

нувшего вперед, к тротуару, две каменные колонны, не обремененные крышей и спаянные наверху простым каменным перешейком,— через их узкий пролет, как через триумфальную арку, входили в это здание лучшие сыны республики. Она миновала городской парк, тенистый и многоствольный, перевезенный сюда из отдаленного Ташкента. Городу некогда было ждать, пока медленная строительница — природа подведет под крышу ветвей утлые саженцы тополей и чинар. Городу нужна была тень, и он купил ее готовую, за сотни километров, перевез, чтобы не улетучилась, в захлопнутых вагонах и внедрил в свою взрыхленную землю вместо тонких саженцев толстые сажени объемистых стволов.

Из ворот Таджикматлубота [1] выходил длинный караван верблюдов, груженных промтоварами и зеленым чаем. Они направлялись на северо-восток,— туда, где на горизонте каменным забором тянулись горы,— вероятно, в Гарм, куда только в будущем году пройдет первая колесная дорога.

Синицына пересекла улицу и, мимо Дома дехканина, вышла на большую площадь. В углу площади на бронзовом цоколе стоял бронзовый Ленин и рукой показывал на восток. Еще два года тому назад площадь, не обрамленная с востока постройками, переходила прямо в поле и упиралась за десятки километров в горную цепь. Шутники называли ее величайшей площадью мира. Через неогороженную площадь в город врывалось поле мутной зеленой хлябью, и весенний прибой захлестывал мостовую сорняками и муравой. В этом году впервые между площадью и горами встала белая перемычка построек, и загороженное поле отхлынуло к горам.

За площадью главная улица суживалась и переходила в старый базар, вздыбленный по краям дороги глиняным хаосом хибарок и ларьков, крошечных чайхан и ашхан [2]. У входа в ашханы стояли бородатые люди в фартуках поверх слинявших халатов,— странные люди-автоматы, люди-комбайны с копилками вместо голов. Одной рукой они вылавливали огромной ложкой из омута кипящего бараньего жира фарширо-

---

[1] Таджикистанское объединение союзов потребительских обществ.

[2] Харчевня.

ванные пирожки, переворачивали в котле жирный дымящийся плов и накладывали его в подставленную касу [1],— другой они то и дело приподнимали лоснящуюся, как крышка черепа, тюбетейку и совали туда засаленные кредитки.

Над улицей висел приторно-пряный запах перца, лука, баранины, и змеиное шипение расплавленного сала смешивалось с медлительным гортанным говором прохожих и с заунывным криком водоносов. Это было царство гиссарского барана: его запахом был пропитан воздух; его плоть выглядывала из котлов, усыпанная рисом, как лепестками подснежника: он шипел шашлыком на окровавленных шпагах вертелов; его блеяние слышалось в криках продавцов, и его вздутая туша утопленника плыла над базаром на спинах водоносов, топорща вверх короткие обрубки изуродованных ног.

Это была так называемая старая Азия,— та, которую в первую очередь приходили смотреть приезжие, жадные до знакомства с подлинным Востоком. Ее не раз ходила осматривать и Синицына. В медленном струении непонятной таджикской речи, в священнодействующем таинстве приготовления плова было что-то успокаивающее, почти религиозное. Котлы дымились, как кадильницы, бронзовые люди, похожие на дервишей, кидали в них пригоршнями свое колдовское зелье; другие, чалмастые и чумазые, тут же, на земле, пальцами, сложенными в раковину, черпали плов из плоских деревянных блюд и глотали его, запрокинув головы и смежив глаза, как наркоманы глотают гашиш и как верующие глотают причастие. Они походили на священнослужителей, занятых исполнением сложного обряда. (Недаром христианская церковь представляет бога в виде барашка. И не потому ли культурных европейцев, закоренелых скептиков и рационалистов, на изощренную оболочку которых давно перестал действовать выветренный фимиам христианства, так часто тянет старый, заповедный Восток, где, не изменяя своему неверию, можно бесконтрольно вдыхать распыленный в быту, в воздухе, в плове успокоительный наркотик религии?)

Это была старая Азия, напирающая на новый город. Она шла оттуда, с окраин, по главной улице, на-

---

[1] Небольшая миска, глиняная или фарфоровая.

встречу наступающим на нее белым домам, уверенная и неистребимая, запрудившая улицу своими затхлыми хибарками, и исподлобья смотрела на мощеную перспективу простирающегося по ту сторону площади зеленого проспекта. Между ней и новым городом стоял бронзовый Ленин.

Так было в прошлом году. В этом году, перейдя площадь, Синицына вскрикнула. Базара не было,— не было ни глиняных кибиток, ни ларьков, была развороченная земля, словно прошел по ней смерч или колонна тракторов. Развалины глиняных стен, отметенные в сторону, как натянутая бечевка, отмечали ширину будущей улицы — продолжение центрального проспекта. Город шагнул вперед, и старая базарная Азия, подобрав свои лотки, шмыгнула за Дюшамбинку. Не осталось от нее даже бараньего духу, словно смыл его широкий ветер с проспекта.

Синицыной взгрустнулось: ей было жалко сметенного базара. Она подумала, что так вот, год за годом, исчезает старая Азия. Скоро вся эта страна, наперекор географии, врежется в азиатский материк жадным щупальцем Европы. Так требовал социализм, и хотя Синицына не сомневалась в правоте этого требования, ей было жалко этой стираемой цветной пыльцы, жалко своеобразия, единственными хранилищами которого останутся тогда, как ей казалось, этнографические музеи.

Она повернула обратно в город.

В общежитии Совнаркома, разбросавшем в саду свои белые домики с верандами, кишело, как в гостинице. У каждого из наркомов и секретарей ЦК ночевало по пять приезжих из районов: секретари райкомов и парткомов, раисы [1], уполномоченные, начальники строительств,— приехавшие кто отчитываться, кто хлопотать о нуждах своего района и своего строительства. Всех их город вместить еще не мог. Днем они носились и спорили по учреждениям, а ночью, дождавшись возвращения нужного наркома, не давали ему спать, в тридцатый раз доказывая необходимость немедленного отпуска тех или иных сумм и строительных материалов; раскладывали карту, тыкали в нее пальцем, вытаскивали из хурджумов, как фокусники, разные

---

[1] Сокр.: председатель районного исполнительного комитета.

удивительные предметы: куски цветных металлов, минералы, бутылочки с золотым песком, пропитанные нефтью известняки, терли, велели нюхать и требовали, требовали, требовали. У наркома от усталости слипались глаза, он знал заранее, что в каждом районе есть исключительные богатства, которые необходимо начать эксплуатировать в первую очередь, что каждое строительство есть самое важное. Он в тридцатый раз устало повторял, что республиканский бюджет ограничен: всего одновременно сделать и построить нельзя,— и обещал поставить вопрос на коллегии.

Каждое утро часть этих людей разъезжалась по районам, кто верхом, кто на машине,— одни, бодро нащупывая в кармане выхлопотанную положительную резолюцию, другие — мрачно переживая, как личную обиду, лаконический приговор: отложить до будущего года, до следующей пятилетки.

Синицыну утомляла эта вечная суета. Она не понимала, как могут жить и работать в ней наркомы. Ее раздражала ненасытная жадность этих приезжих людей, готовых выдрать зубами все, что им казалось необходимым для жизни своего района, своего строительства, этот нескончаемый торг между центром и местами. Каждый район готов был поглотить весь бюджет республики, обещая взамен гектары ископаемых и горы хлопка. И хотя бюджет из года в год прыгал вверх на сотни процентов, он все же не поспевал за требованиями этих людей, для которых, казалось, весь мир вмещался на десятиверстке их района.

Синицыну раздражали эти люди, говорившие с румянцем на щеках о какой-то лишней тысяче га под хлопок, вытаскивавшие из-за пазухи, как карточку возлюбленной, какой-нибудь обмусоленный кусок серы. Ни о чем другом говорить с ними было невозможно: всякий разговор они сводили к рамкам своего района. Они напоминали наивных провинциалов, для которых знание мира ограничивается рогатками родного местечка. А между тем из разговора выяснялось, что большинство из них исколесило чуть ли не весь Союз, от Полярного круга до Черного моря, и в своем нынешнем районе работает всего с прошлого года.

Синицыну от этих однообразных разговоров одолевала скука. Эти приезжие люди напоминали ей ее самое пять лет тому назад, в ее бытность в Хороге.

Она тогда разговаривала почти их языком, влюбленная в свою неприглядную колючку,— ибо Хорог, в переводе на русский, значит «колючка». Теперь среди этих людей, говоривших с пафосом влюбленности о своих тоннах и гектарах, она чувствовала себя как взрослая, излеченная навсегда от увлечений молодости, среди влюбленных юношей, которые, как все влюбленные, кажутся нам немножко смешными и скучными и которым, даже посмеиваясь над ними, чуточку завидуешь.

Она говорила себе, что, по-видимому, отвыкла жить в городе, и суета этого города утомляет ее особенно. Она намеревалась пробыть в Сталинабаде дней десять, а на четвертый сложила монатки и уехала обратно.

Проезжая еще раз по городу, который она любила, как мать любит ребенка, выросшего на ее глазах, она вдруг уяснила себе, что это уже не подросток, а взрослый, большой город, и внезапно почувствовала себя старой. Так мать, не видевшая долгое время сына и представлявшая его себе всегда, в письмах и воспоминаниях, по-прежнему резвым мальчиком в куцых штанишках, приехав, встречает на вокзале усатого дядю, и с волнением, которое сын воспринимает как волнение от встречи, она осознает впервые, что жизнь прошла и что ее не вернуть.

Синицына не любила больше Сталинабада.

В двенадцати километрах от города дорогу загородил Кафирниган. Вода разрушила мост и унесла запасной паром. Лопнувший трос валялся тут же на берегу, как огрызок стальной цепи, с которой сорвалась река. На обоих берегах толпились люди и машины. Это была обычная история. Каждый год к весеннему паводку дортранс укреплял мост, и каждый год река, как кегельный шар, вышибала из-под него сваи.

Синицына не хотела возвращаться в город. Она решила переправиться на люльке, которую наладили саперы, протянув высоко над рекой новый трос. Люлька была сделана из доски, прикрепленной толстой проволокой к движущемуся блоку. Красноармейцы с той стороны тянули канат. На доску надо было лечь животом. Внизу клокотала река, над головой жалобно скрипел блок, в руках сухо трещала напряженная проволока. Синицына закрыла глаза:

«Если проволока лопнет, будет оглушительный удар и потом ничего,— бесконечное спокойствие».

Спокойствие манило, притягивало, как магнит, колючие осколки мыслей. Когда люльку дернули и, открыв глаза, Синицына увидела, что находится на том берегу, она с неясным чувством оглянулась на реку: «А все-таки, должно быть, очень холодно!»

Она пристроилась на грузовике, шедшем в Курган-Тюбе. Грузовик успел переправиться до того, как вода сорвала паром, и застрял в рыхлой жиже размытой дороги. Выбравшись на гудронированное шоссе, он понесся, отряхивая с колес прилипшую грязь. Шоссе коробилось под колесами. Во многих местах гудрон отскочил, и на черной коже дороги выступили плеши впопыхах присыпанные гравием. Это были издержки слишком стремительного роста. Эта страна, несколько лет назад не знавшая еще никаких дорог, кроме ишачьих троп, не захотела простых европейских шоссе и, позавидовав Америке, стала заливать свои новенькие дороги гудроном. Иностранные специалисты подвели. Гудрон, пригретый тропическим солнцем, отскочил, как эмаль с поставленной на огонь пустой кастрюли.

Отгромыхав длинную сотню километров — серпантином, ущельем и равниной, грузовик уперся в Вахш, устало пуская пар посеребренной ноздрей радиатора.

...В городок первого участка Синицына попала под вечер и, придя домой, застала на столе письмо. Она устало вытянулась на постели и распечатала конверт.

Уважаемая Валентина Владимировна!

Во время обыска на квартире у бывшего заведующего техническим отделом, бежавшего в Афганистан, найдена записка, набросанная карандашом. Листок явно вырван из книги. На оборотной стороне стоит ваша подпись: это показывает, что книга принадлежала вам. Неделю тому назад вы дали мне читать книжку Киплинга, в которой как раз не хватает первого белого листка. Судя по всему, листок был вырван именно из этой книги. Так как содержание записки бросает новый свет на дело Кристаллова, очень прошу вас зайти ко мне по этому вопросу обязательно сегодня. Буду вас ждать в шесть часов у себя в кабинете.

С товарищеским приветом А. Кригер.

Письмо было датировано вчерашним числом.

Синицына лежала минуту с закрытыми глазами. Потом встала, посмотрела на часы: семь... «В крайнем

случае, если Кригера не будет в учреждении, зайду на дом». И, повязав платок, толкнула дверь.

В прокуратуре не было уже никого. Дверь канцелярии была заперта. Зная, что Кригер часто подолгу засиживается в своем кабинете, Синицына прошла к нему кругом, через комнату машинисток. Дверь в кабинет была приоткрыта. Синицына не ошиблась: Кригер сидел за столом, спиной к двери. Он не расслышал, как сзади скрипнули петли.

Синицына подошла к Кригеру на цыпочках и заглянула через его плечо. На столе перед Кригером лежало несколько исписанных листов бумаги. Синицына наклонилась через спинку кресла и прочла вслух:

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по делу № 17, по обвинению гр-на Немировского, Александра Григорьевича, по статье 58 [14] УК.

Синицына ждала, что Кригер остановит ее.

— Можно? Или это секрет?

Ответа не было.

Синицына повернулась к Кригеру.

«Что такое? Не хочет со мной разговаривать?»

— А-а!..— она присела на стол.

Из правого виска Кригера вдоль по лицу струилась тоненькая веревочка крови. Он сидел в кресле, откинувшись на спинку, с руками на поручнях, с головой, чуть склонённой вперед.

Синицына кинулась к двери, хотела бежать, звать людей, потом вспомнила, что во всем доме никого нет: надо было бежать, звать с улицы. Это значило созвать толпу любопытных. Она вернулась к столу почему-то на цыпочках. Пол заскрипел. Она вздрогнула и должна была опереться на стол — ноги подкашивались. Взгляд ее упал на исписанные листы, поверх которых смотрел Кригер. Она наклонилась и стала читать, уже не вслух, про себя, быстро глотая буквы:

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по делу № 17, по обвинению гр-на Немировского, Александра Григорьевича, по статье 58 [14] УК; гр-ки Немировской, Галины Ивановны, по статье 17—58 [14] УК...

Синицына пробежала три мелко исписанные страницы и остановилась на последней:

Обвиняются:

Гр-н Немировский, Александр Григорьевич, 44 лет, грам., образование высшее, социальное происхождение мелкобуржуазное, не судившийся, женатый, инженер, в последнее время заведовавший сектором механизации строительства,— в контрреволюционном саботаже, направленном на срыв названного строительства и состоявшем в преднамеренном разложении сектора механизации путем сознательного неисполнения и умышленно небрежного исполнения своих обязанностей (ст. 58 [14] УК).

Гр-ка Немировская, Галина Ивановна, 32 лет, грам., по социальному происхождению дворянка, дочь кадрового офицера, не судившаяся, замужняя, в последнее время работавшая личным секретарем начальника строительства,— в пособничестве своему мужу, гр-ну Немировскому А. Г., в совершенном им преступлении, путем предоставления средств, устранения препятствий и сокрытия следов преступления (ст. 17—58 [14] УК), а также в недонесении о достоверно известном контрреволюционном преступлении (ст. 58 [12] УК)...

Дальше шел перечень незнакомых Синицыной фамилий и, наконец, последний абзац:

Кригер, Андрей Юрьевич, 42 лет, член ВКП(б) с 1918 г., по социальному происхождению сын ремесленника, в настоящее время исполняющий обязанности народного следователя и районного прокурора,— поддерживавший связь с подследственной Немировской и не только не способствовавший раскрытию дела Немировских, но даже после раскрытия преступления пытавшийся использовать свое служебное положение для смягчения судебно-исправительной меры социальной защиты по отношению к своей б. любовнице,— во избежание ненужного разбирательства его дела лицами, менее его в этом вопросе компетентными, признает себя виновным в измене партии и неспособным впредь исполнять свои обязанности народного следователя и районного прокурора.

Не желая дискредитировать в глазах местного населения судебной власти, подследственный Кригер считает целесообразным не предавать себя гласному суду, а как члена ВКП(б), в порядке исключения приговорить без суда к высшей мере социальной защиты — расстрелу из мелкокалиберного нагана.

И внизу мелким почерком:

Приговор приведен в исполнение 17 мая 193... г. в 18 часов 40 минут. А. Кригер.

...Часы на столе астматически захрипели и прокашляли четыре раза. Синицын встал, накинул халат и вышел во двор. Он подумал, что в парткоме сейчас никого еще нет и можно будет спокойно поработать

лишний час. Он принял душ и, вернувшись в комнату, стал тихонько одеваться.

— Уже уходишь?

Он обернулся. Валентина смотрела на него, облокотившись на подушку.

— Ты же вчера очень поздно вернулся домой!

— Ничего. Сон не необходимость, а привычка... А ты почему не спишь?

— Не спится.

— Нервы подгуляли? Наверное, вчерашняя история с Кригером?

— Может быть...

— Какой скот! Люди надрываются, чтобы наладить работу, оздоровить атмосферу, а такие бросают все, дезертируют и еще подрывают авторитет судебных органов. Иди, отдавай тут под суд какого-нибудь сбежавшего бухгалтера, когда тот, кто должен его судить, по сути дела, делает то же самое. Хорошо, что ты не подняла тарарам, а первому позвонила мне. Сделаешь еще лучше, если не будешь об этом много говорить. Надо постараться не давать пищи обывательским толкам.

— А по-моему, Кригер молодец! Сделал все, что ему диктовала партийная совесть, и сказал: больше не играю. Партийный суд не мог наказать его более строго. Чего же вы хотите? Классовая справедливость восторжествовала лишний раз: малодушный наказан, а что наказали его не вы, а он сам,— какая разница?

— Ты это серьезно?

— Совершенно. По-моему, не каждый на месте Кригера сумел бы найти такой простой и честный выход. Твое возмущение совершенно не обосновано. Поступок Кригера не компрометирует ни партии, ни судебных органов,— наоборот, он в высшей степени назидателен. Уйти из жизни по-английски, не предъявляя никаких счетов, ни выволакивая никаких обид, заранее осуждая свою неправоту, говоря другим: продолжайте без меня, я ухожу, но я не прав,— вряд ли многие из сломавшихся партийцев способны сделать это так благородно, так по-коммунистически.

— Ты считаешь все это кривлянье с приговором, это никому не нужное актерство, всю эту обывательскую романтику самоубийства — благородными и ком-

мунистическими? Я не узнаю тебя, Валя! Ты никогда не говорила, не могла говорить таким языком.

— А разве мы когда-нибудь вообще говорим? Боюсь, однажды ты с большим удивлением обнаружишь, что живешь не с тем, с кем полагаешь, и придешь к заключению, что тебе подменили жену. Или ты полагаешь, за эти тринадцать лет, со дня нашей встречи на фронте, я не изменилась? Жена — это как граммофонная пластинка: выслушал раз, запомнил мелодию и ладно? Ты создал себе раз и навсегда какой-то неменяющийся образ твоей Вали и, по сути дела, живешь с ним, а не со мной. Если ты однажды протрешь глаза и убедишься в подмене портрета, то будешь уверен, что перемена произошла в одну ночь.

— Я понимаю, у каждого в жизни могут быть ошибки, минутные слабости, необдуманные поступки — назови их, как хочешь. Но если люди живут друг с другом так долго, как мы, и их связывает нечто большее, чем постель,— вещи эти перестают быть неразрешимыми проблемами. Нет таких ошибок, которых нельзя было бы простить человеку, которому доверяешь.

— Ты можешь раздавить человека своим благородством. О да, ты простишь! Ты знаешь, что продолжать тебя обманывать с камнем твоего прощения на шее — стало бы невыносимо и нелепо. Ты говоришь: «Если людей связывает нечто большее, чем постель». А ты уверен, что нас с тобой связывает это большее? Что именно?

— Я думаю — то, что связывало нас всегда: работа, борьба, общее дело...

— А если эта работа и это общее дело,— слишком общее, на которое ушла вся моя молодость,— перестали мне давать тот минимальный процент удовлетворения, на который еще можно жить?

— Мне кажется, ты больна, Валя. У Кригера была какая-то своеобразная теория о воздействии тропического солнца на гнильные бациллы европейцев,— рассказал мне об этом вчера Морозов. С тобой, должно быть, произошло что-то похожее. Я знаю, я очень перед тобой виноват. Я таскаю тебя по всяким пустырям, не подумав о том, что человек, который не живет здесь интересами своей работы, должен чувствовать себя в этих краях невероятно одиноким. Но ничего,

Валя, помнишь, как ты болела тифом? Все думали, что уже конец, а потом прошел кризис, и Валя стала понемногу поправляться. Ты увидишь, я тебе помогу. Здесь, конечно, мне трудно урвать много времени, но закончим строительство — поедем в Москву, на учебу, увидишь много новых людей, центр... культурная жизнь, театры, лекции... Будем вместе учиться, читать. Подумай, ведь есть столько интересных вещей, о которых ни ты, ни я даже не знаем. Ты поймешь там, в какое изумительное время мы живем, и все станет опять просто и ясно...

— Ты большой ребенок, Володя,— она мягко погладила его по голове.— Извини меня, дуру, что занимаю тебя пустяками. У тебя и без того достаточно дел. Ну иди, ты собирался сегодня поработать.

— Мне казалось, ты хотела мне что-то сказать?

— Нет, я пошутила,— буду спать.

Он вертелся по комнате, не находя слов. Она уткнулась в подушку и притворилась засыпающей. Он посуетился еще на цыпочках, чувствуя, что будет нехорошо, если сейчас уйдет, окликнул ее вполголоса. Она не ответила. Он прислушался к ее ровному дыханию,— спит, потом взял портфель, тюбетейку и тихо вышел.

Прохлада летнего утра показалась горькой на вкус. Он шел и мысленно перебирал самые неотложные дела, которые надо было разрешить сейчас же: дело с экскаваторами, история с Кригером, покушение на американцев, прорыв на котловане, разлад в механизации, разлад в автопарке, перестройка партийного аппарата на базе отдельных участков, организация работы партийных ячеек на втором и третьем участках, перестройка газеты, чтоб выходила хоть дважды в пятидневку,— длинная вереница задач, одна неотложнее другой. В этой гуще дела история с Валентиной свалилась на него, как новая, непредвиденная нагрузка.

Синицын вошел в партком, тяжело сел за стол и подпер голову руками. Он чувствовал, что не сможет хорошо работать. Взгляд его упал на большой желтый конверт, лежавший на видном месте. На конверте кривыми арабскими буквами значился адрес: «В комитет коммунистической партии». Синицын разорвал конверт, внутри лежал большой лист бумаги, исписан-

ный карандашом. Неуклюжие арабские буквы бежали справа налево кривыми рядами, то соскальзывая вниз, то опять карабкаясь кверху. Внизу листа виднелись оттиски пальцев. Это напоминало запутанное упражнение из учебника дактилоскопии.

Он пересилил себя и стал читать по складам, с трудом собирая рассыпанные буквы и склеивая из них слова:

В КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Нижеподписавшиеся дехкане, бедняки и батраки, а также рабочие доводят до сведения Коммунистической партии и Советской власти, а также ГПУ, чтобы обратила внимание, арестовала и расстреляла врага Советской власти и пособника эмира бухарского, а также басмачей и капиталистов Афганистана Уртабаева Саида, родом из Чубека, который-то Уртабаев работает на строительстве до сих пор в чине инженера...

Синицын потер лоб и пододвинул бумагу поближе.

...чему имеются многие доказательства.

Когда три недели назад бежали в Афганистан главный бухгалтер и начальник технического отдела, то убежали вместе с ним два рабочих-афганца, которые афганцы им служили за проводников. Афганцев этих принял на работу Уртабаев, а кроме того, за день до того, как они убежали в Афганистан, они заходили к Уртабаеву Саиду и уходили от него со свертком, что подтвердить могут дехкане-рабочие Олим Ассаметдинов, Ходжа Муминов, Джокобджон Абдурасулов и Абдулла Имам Берды, которые рабочие работают на первом участке и, проходя по улице, видели выходящих от Уртабаева со свертком афганцев и очень удивлялись.

О происшедшем сообщаем Советской власти, потому в прошлом году, за три дня до басмаческого налета, к Уртабаеву Саиду приходили тоже из Афганистана два дехканина под предлогом, что хотят организовать в Афганистане колхоз, а три дня спустя был из Афганистана басмаческий налет и много дехкан добротрядцев было перебито. А этому есть свидетели Одине Такиев и Хальмурад Икрамов.

А также, когда басмачи у кишлака Киик напали из засады на добровольческий отряд, которому служил проводником Иса Ходжияров, дехканин, колхозник и кандидат партии, а которому отряду предводил Уртабаев, то были в бою убиты милиционеры Ибраим Рахимов, Хаким Миркуланов, предрика Абду Рахим Курбанов, прокурор Хан-Назар Худайкулов, дехканин Раджеб Самандаров и другие, которых не помнят, а также расстреляны басмачами, по приказу Уртабаева, два русских техника, а сам Уртабаев курбашой[1] Файза был отпущен с почетом на басмаческом коне. О чем засвидетельствовать может кандидат партии Иса Ходжияров из колхоза «Красный Октябрь», который не до-

[1] Главарь басмаческой шайки.

нес Советской власти об этом раньше по своей неграмотности. А что все сказанное действительно правда, о том настоящим подтверждаем.

Следовали оттиски нескольких десятков пальцев.

...Синицына встала поздно, с головной болью. Пока она мылась, сушила волосы, гладила платье, перевалило уже за полдень. Торопиться было некуда. Она медленно одевалась, долго рассматривая в зеркало свое лицо, посеревшее и усталое от бессонницы. Заметила под глазами две морщинки, долго пыталась стереть их кремом, как стирают резинкой черту от карандаша, оказавшуюся на поверку царапиной на самой бумаге. Потом раздраженно отодвинула зеркало и, повязав платок, собралась в клуб.

В квартиру постучали. Вошел Комаренко.

— А Володьки нет. Он в парткоме.

— Я, собственно, к вам, Валентина Владимировна.

— Чему приписывать такую честь? — она шутливо подвинула гостю табуретку.

— Есть дело. Не хотел вас утруждать, предпочел сделать себе удовольствие и навестить вас лично.

— Вы очень любезны. Хотите чаю с курагой?

— Только что пил. Больше не вмещается. Приберегите курагу, в следующий раз приду специально.

— Всегда рада вас видеть. Итак, что за дело у вас ко мне?

— Дело вот какого рода: Кригер вчера утром, за несколько часов до самоубийства, переслал мне папку по делу некоего Кристаллова, которого рассматривали раньше как простого уголовника, а в процессе следствия выяснилось, что дело носит скорее политический характер. Так вот, среди бумаг Кристаллова найдена записка. Она написана на листке, вырванном из книжки. На оборотной стороне этого листка стоит ваша подпись. Кригер приложил книжку Киплинга с вырванным первым белым листком и пишет, что листок этот вырван, по всем данным, именно из этой книги, которую он брал у вас. Хотелось бы получить от вас по этому вопросу кое-какие указания.

— Кригер писал мне накануне самоубийства и просил зайти к нему. К сожалению, меня не было в этот день дома. Зайдя к нему на следующий, я уже

опоздала. Вряд ли я смогу вам дать по этому вопросу какие-либо дельные указания. Мои книжки ходят по людям. Все мои знакомые берут читать постоянно. Возможно, что они, в свою очередь, одалживали кому-нибудь из своих знакомых. Кто-нибудь мог выдрать листок, на котором была помечена моя фамилия, а кто именно — это сейчас трудно будет установить.

— Попытаемся. Круг ваших знакомых, которым вы даете читать книги, не так уж велик. Постарайтесь вспомнить, кому именно вы давали эту книгу.

— Боюсь, что могу ошибиться.

— Это не страшно. Назовите ряд людей, кому вы обычно даете книги. Как-нибудь доберемся.

— Кому я давала эту книгу? До того как я ее дала Кригеру, она, помню, была у Уртабаева. Уртабаев, по-моему, держал ее довольно долго. Она валялась, наверное, у него на столе, и кто-нибудь из посетителей легко мог вырвать из нее листок.

— Так. А еще кому одалживали, не припомните?

— Нет, не припомню. Это было давно.

— Значит, Уртабаеву вы одалживали ее наверное? И у Уртабаева она залежалась долгое время?

— Да, кажется.

— Хорошо. А может быть, вы узнаете почерк, которым написана записка, хотя почерк явно изменен?

Комаренко достал из бумажника листок. На листке обыкновенным карандашом было написано четыре строчки:

Ты просто сволочь. Даю тебе неделю сроку. Если в течение недели не ликвидируешь всех своих дел и не уедешь — расскажу обо всем Синицыну.

Синицына пробежала глазами записку:

— Нет, не знаю такого почерка.

Комаренко убрал листок.

— Что ж, спасибо и на этом. Извините за беспокойство. Дай бог всякому!

На дворе жужжал и трепыхался грузовик, не отрываясь с места, как муха, пойманная на клей. На котловане рвали скалу. Взрывы доходили приглушенные и размеренные, словно где-то кололи дрова. По пустой площади, между бараками, прозрачным смер-

чем кружилась жара. Подъехала легковая машина. Комаренко велел шоферу ждать и пошел через площадь в партком.

— А, вот кстати! — обрадовался Синицын.

Он попросил оставить их одних и, достав из ящика большой лист, разукрашенный оттисками пальцев, показал его Комаренко.

— Интересно, что ты об этом скажешь!

Он перевел фразу за фразой все заявление.

— Вот что, переведи мне дословно на листке всю эту штуковину. Проверим.

— Может быть, дать тебе и подлинник с отпечатками пальцев?

— Пальцев я сам тебе наставлю сколько хочешь, благо у каждого человека их по двадцать штук. Ходжиярова этого знаешь?

— Да. Есть такой кандидат партии, работает на котловане. Колхозник, малограмотный, ничем особенно не проявил себя.

— Мне об этой истории с Файзой рассказывал бывший здешний уполномоченный Пехович. Тогда под Кииком действительно перебили весь наш отряд. Один Уртабаев ушел живьем. Выпустил его сам Файза. Уртабаев утверждает, что уговорил Файзу сдаться с оружием. Заходил к Пеховичу в тот же день. Говорил, что Файза не хочет сдаться доброотрядцам, а согласен сдаться только самому уполномоченному ОГПУ. Такие случаи бывали у нас часто. Обещал сдать оружие на третий день в ущелье Дагана-Киик. На второй день налетел на них наш отряд Остапова и разнес их в пух и прах. Встреча в ущелье так и не состоялась. Живьем ушел Файза с несколькими джигитами, но наши далеко загнали их в горы. Потом голову Файзы принес в мешке один из его джигитов уполномоченному в Пархаре. Джигита этого звать Куандык Ходжа-Гильды. Живет сейчас в Муминабаде. Он, должно быть, участвовал с басмаческой стороны в засаде под Кииком и мог бы кое-что рассказать. Это я тебе в порядке справки.

— Интересно! Значит, все-таки заявление основано на действительных фактах.

— Вот что: ты это дело веди по своей линии, как разбираешь каждое заявление, которое поступает к тебе на того или иного партийца. Пальцам особенно

не верь. Тебе их натыкают полсотни. Пощупай своего Ходжиярова. Это несомненно он организовал подачу заявления. А я займусь со своей стороны проверкой свидетелей. Вызову Куандыка и еще кое-кого.

— Значит, ты думаешь, это все-таки возможно?

— Шут его знает, я тут такие виды видал, что дал себе слово ничему не удивляться. Как у тебя с экскаваторами? Решили что-нибудь окончательно?

— Что ж было решать? Два экскаватора, которые дошли до второго участка, оставили там. Пока работают. Остальные задержали в степи, держим охрану. Когда подойдут трактора, будем разбирать на месте и перевозить частями. На пристани приступили к разборке. Уртабаев отстранен от работы. Морозов настаивает на его снятии со строгим выговором. Действительно, во всем этом деле Уртабаев вел себя с начала до конца безобразно: отказался выполнить приказ Морозова и, вопреки приказу, продолжал сборку.

— Кто вам первый сигнализировал об этом деле?

— Мурри.

— Он утверждает, что экскаваторы после такой прогулки выйдут из строя?

— Категорически. Снимает с себя всякую ответственность.

— Кто работает драгерами на тех двух экскаваторах, которые вы оставили на втором участке?

— Метелкин и Рюмин, брат начальника участка.

— Партийцы?

— Да.

— Что они говорят?

— Оба за Уртабаева. Говорят, что механизмы в хорошем состоянии. А что?

— Интересуюсь этим делом. Если оба экскаватора будут хорошо работать, значит, эксперимент Уртабаева вовсе не был уж так абсурден. Не правда ли?

— Все равно, если бы даже те два работали превосходно, Уртабаев не имел никакого права затевать на собственную ответственность эксперимент с двадцатью с лишним экскаваторами, вопреки категорическому сопротивлению фирмы Бьюсайрус и вопреки приказу начальника строительства и главного инженера. За такие вещи контрольная комиссия по головке не погладит.

— Нет ли у тебя здесь под рукой какого-нибудь заявления, записки, письма Уртабаева, чего-нибудь, написанного его рукой? Содержание безразлично.

— Есть. Вот тебе его письмо, а вот его старое заявление против Еремина.

Комаренко пробежал глазами заявление, достал из бумажника записку, найденную у Кристаллова, и положил ее рядом.

— Смотри, вот интересная записка, которую нашли при обыске на квартире у Кристаллова. Написана она на листке, вырванном из книги, которую у твоей жены одалживал Уртабаев. Не находишь, что почерк похож на почерк заявления Уртабаева?

Синицын внимательно сравнил обе записки.

— Черт возьми, я не эксперт, но, по-моему, сходство поразительное! В этой почерк немножко изменен, но рисунок всех основных букв — точь-в-точь.

— Мне тоже так кажется. Впрочем, шут его знает, в этих делах легко ошибиться.

— Да, но тут сходство бросается в глаза даже профану. Подожди! Но если записку эту писал Уртабаев, значит, он был связан с Кристалловым и облегчил ему бегство в Афганистан! Опять нити ведут в Афганистан!

— Не нужны тебе сейчас эти письма?

— Нет. Можешь взять.

— Хоп! Ну, работай. Я пока поехал. Держи меня в курсе дел.

— Скажи мне все-таки, что ты обо всем этом думаешь?

— Ничего не думаю, дружище. Индюк думал, а ему голову отрубили. Сначала надо узнать, а думать буду потом. Хочешь услышать мой совет? Не веди сидячего образа жизни и занимайся физкультурой,— приводит в движение кровяные шарики. Кстати, насчет шариков: получил новые мячики к пинг-понгу. Заезжай вечерком — сыграем. Ну, дай бог всякому!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Слухи о «деле Уртабаева» и о предполагаемом исключении его из партии стаей назойливых комаров жужжали по вечерам над строительством. Ко дню партийного суда все три участка, как школьники, репе-

тирующие заученный урок, склоняли на все падежи фамилию Уртабаева.

В парткоме в этот день работа шла вяло. Даже людей заходило как будто меньше обыкновенного. Синицын просматривал гранки своей статьи для местной газеты о перестройке партработы на базе отдельных участков, когда в его брезентовый кабинет вошел Нусреддинов.

— Я хотел бы с тобой поговорить, товарищ Синицын. У меня есть кое-что сказать тебе по делу Уртабаева.

— Давай,— поднялся Синицын.

Он заколол английской булавкой разрез в холстине, отделяющей его кабинет от общей комнаты парткома. Это обозначало, что дверь заперта на ключ, что секретарь занят.

— Я слыхал, что сегодня на бюро парткома стоит вопрос об исключении Уртабаева из партии? Правда это?

— Правда.

— Я боюсь, товарищ Синицын, что бюро делает ошибку, большую ошибку. Я потому и пришел предупредить тебя. Нельзя исключать Уртабаева: он не виновен.

— Не виновен? Тем лучше. Давай факты. Ошибку исправить никогда не поздно.

— Фактов у меня нет. Но я знаю, что он не виновен.

Синицын стукнул раздраженно по столу карандашом.

— Это все, что ты хотел сказать? Немного. На основании только твоего личного мнения бюро парткома решения не изменит. Для этого нужны факты.

— У вас тоже нет фактов!

— Не говори глупостей, Керим. И лучше всего, не вмешивайся в дела, которых не знаешь. Мне, наверное, тяжелее констатировать, что Уртабаев обманул наше доверие и надежды, которые мы на него возлагали. Когда имеешь дело с явным предательством, личная дружба тут ни при чем, товарищ Нусреддинов. Запомни это. Секретарь комсомольского комитета должен бы об этом знать. Я считал тебя более зрелым.

— Напрасно обижаешь меня, товарищ Синицын. Я не маленький. Ты сделал для меня очень много, я

это помню, но ты часто продолжаешь со мной разговаривать, как с мальчиком. Неправильно разговариваешь. Я вырос с тех пор. Я знаю уже партийную азбуку, этому меня учить не надо. Если б я сюда пришел защищать Уртабаева потому, что он мой друг, тебе надо было бы плюнуть мне в лицо. Я говорю, что у вас нет фактов, и знаю, почему так говорю. Я здешний, я тут вырос. Я видел не одно такое заявление. У нас, как только какой-нибудь активист начинает расти, становится опасным,— баи, вместо того чтобы его убивать, стараются поскорее очернить: организуют заявления, наставят сто двадцать пальцев, выдвинут вперед бедняков, которые танцуют под их дудку. Каждый из них поклянется на коране, что ты зарезал своего отца, изнасиловал мать, растлил его дочку. И дочь приведут, и та будет свидетельствовать, что все так точно. А потом, когда поймаешь того, кто их накручивал, и припрешь к стене, все будут кланяться в пояс и говорить: мы люди темные, неграмотные, нас подговорили. Не знаешь ты еще нашей страны, товарищ Синицын!

— Знаю немножко, дорогой Керим, и не тебе меня учить. Видел я не одно заявление и знаю, как к ним подходить. Прежде чем не проверил, не принял бы решения. Ходжияров — не байский ставленник. Ходжияров дрался с басмачами, когда Уртабаев предал нас и поддерживал с ними связь. Ходжияров в борьбе с басмачами был ранен, и никто не мог сказать о нем плохого слова. Одного того, что он рассказывает о битве под Кииком, достаточно, чтобы поставить Уртабаева к стенке.

— Одного свидетеля достаточно?

— Бывает, достаточно и одного. А если тебе интересно — есть и другой. Я тебе это говорю потому, чтобы ты выкинул дурь из головы. Остался в живых один из джигитов Файзы, который принес в прошлом году в ГПУ в Пархаре голову своего курбаши. Так вот, этот джигит,— звать его Куандык,— участвовал в засаде под Кииком со стороны басмачей. Допрашивал его на днях Комаренко. Куандык говорит, что Файза заранее велел им не трогать Уртабаева. Это раз. Говорит, что два русских техника не были убиты в бою, а захвачены в плен и расстреляны потом, когда Уртабаев беседовал с Файзой. И Уртабаев стоял и смотрел на их расстрел. Ему было важно, чтобы не остались свидетели

с нашей стороны. Это два. Когда Файза отпустил Уртабаева, дав ему коня, ни о какой сдаче отряда Файзы на третий день, как подтверждает Уртабаев, между басмачами и речи не было. Наоборот, после отъезда Уртабаева Файза созвал своих джигитов и сказал им, что через три дня они будут в Курган-Тюбе, там все будет подготовлено. Все джигиты поняли, что подготовить это должен Уртабаев. Этого мало?

— С каких пор, товарищ Синицын, ты веришь показаниям басмача?

— Куандык не здешний житель, а муминабадский. Никто не мог предугадать, что его будут допрашивать. Хочешь бо́льших доказательств? Есть бо́льшие. Записка к Кристаллову. История с экскаваторами. Еще мало?

— Насчет экскаваторов Полозова выяснила у инженера Кларка. Кларк не знает — договаривался ли Уртабаев с Баркером или нет.

— Зато знает Мурри. Этого вполне достаточно. Уртабаев морочил нам голову целый месяц, посылал вслед за Баркером телеграммы и в Москву и в Нью-Йорк,— никакого опровержения не получили. Что ж, по-твоему, все,— фирма Бьюсайрус, и дехкане, и басмачи,— сговорились, чтобы погубить Уртабаева? Брось дурить, Керим, иди-ка лучше и займись своими делами.

— Я знаю, что дело запутанное, поэтому и нельзя его решать так быстро. Из партии исключить всегда успеешь. Надо подумать и о том: Уртабаев у нас один таджик инженер, больше Уртабаевых у нас нет. Нельзя такими людьми бросаться.

— Тебе рано учить меня, Керим. Знал я все это раньше тебя. Напрасно только ты у меня время отнимаешь.

— Не напрасно. Вспомнишь мои слова, товарищ Синицын. Ошибку большую делаешь. Ай, какую ошибку! Уртабаев не виноват.

— Надоел ты мне, заладил одно, как попугай. Иди докажи, вместо того, чтобы болтать впустую, потом будем разговаривать.

— И докажу. Только поздно будет, за ошибку отвечать будешь, товарищ Синицын.

— Ты уж обо мне не беспокойся. Я за свои поступки отвечал, когда ты еще на карачках ползал. И с де-

лами своими справлюсь уж как-нибудь без твоих советов.

— Я не хотел против тебя идти, товарищ Синицын. Сам меня заставляешь.

— А ты, если уверен в своей правоте, иди хоть прямо в ЦК Таджикистана. Что тут против меня, я человек маленький. Только меньше болтай и не пытайся никого запугать. Если все твои доказательства будут ограничиваться одной пустой трепотней, мы тебя живо призовем к порядку. Ну, а теперь не отнимай у меня времени. Займись лучше комсомольской бригадой, вчера опять соревнование проиграли.

Он был раздражен, а сегодня надо было быть очень спокойным. Разговор с Нусреддиновым неожиданно выбил его из колеи. Этот мальчишка, которого он вел в течение пяти лет как младшего брата, радуясь каждому его успеху,— осмеливался сейчас выступать против него с какими-то глупостями, давать ему советы и поучения, объявлять ему войну. Синицын подумал о неблагодарности этих коричневых малышей и сейчас же одернул себя. По сути дела, все, что он сделал для этого малого, было его элементарной партийной обязанностью.

Сунув бумаги в портфель, Синицын вышел из парткома. Ему нужно было поговорить с Морозовым о нескольких вопросах, требующих немедленного разрешения.

В юрте, кроме самого Морозова, он застал Кирша, Мурри и небольшого прилизанного техника («наверное, из дворян»), служившего Мурри переводчиком. Техник сидел без занятия и сосредоточенно ковырял в зубах. Мурри толковал что-то по-английски Киршу. Морозов, понимавший с пятого на десятое, внимательно прислушивался к разговору. Синицын расслышал фамилию Уртабаева. Он посмотрел вопросительно на Морозова. Морозов молча указал на табуретку рядом с собой и наклонился к Киршу:

— Вы мне потом переведете? Я тут не все понимаю.

Кирш кивнул головой.

— Вы должны понять, мистер Кирш,— говорил по-английски Мурри,— что для меня лично это в высшей степени неприятно. Как-никак, я первый обратил ваше внимание на эксперимент мистера Уртабаева. Говорят, что Уртабаев ссылается на согласие Баркера. Я не хо-

чу отрицать такой возможности. Правда, насколько я помню, Баркер в беседах со мною очень неодобрительно отзывался о перебросках экскаваторов с места на место, но, в конце концов, перед самым отъездом мистеру Уртабаеву, может быть, удалось его убедить. Баркер мог, скажем, согласиться на эксперимент с одним-двумя экскаваторами. Таким образом, коллега Уртабаев, возможно, только несколько превысил свои полномочия...

— Я не понимаю, почему вы так рьяно стараетесь обелить Уртабаева,— перебил Кирш.

— Видите, получается, что я совершенно невольно подложил свинью своему таджикскому коллеге. Это противоречит элементарным принципам нашей корпоративной этики. Коллега Уртабаев мог это воспринять как донос. Факт остается фактом: Уртабаев пострадал на этом деле. Сознание этого для меня в высшей степени неприятно. Вы, как инженер, должны бы это понять. Я пришел вас просить не делать выводов из ошибки коллеги Уртабаева. Уверенность, что я испортил карьеру местному коллеге, будет мне серьезно мешать в моей дальнейшей работе.

— Вы ошибаетесь, полагая, что управление устранило от работы товарища Уртабаева за допущенную им ошибку. Товарищ Уртабаев отстранен не за то, что он допустил ошибку, а за то, что отказался ее исправить, за то, что он не подчинился распоряжению начальника строительства. Дело с экскаваторами, а тем более вы лично, тут решительно ни при чем. Что же касается разговоров о суде над Уртабаевым, распространяемых досужими людьми, то это совершенно особое дело. Товарищ Уртабаев, как член коммунистической партии, отвечает перед ней за ряд поступков, не имеющих прямого отношения к нашему строительству. Ваша корпоративная совесть вполне чиста...

Часам к шести к помещению парткома, где должно было состояться заседание бюро по вопросу Уртабаева, начали мало-помалу сходиться члены бюро. Около дверей, во дворе, собралась небольшая группа беспартийных.

Когда на площади появился Уртабаев, рабочие зашушукались, провожая его неприязненными взглядами.

Уртабаев поспешно вошел в партком. Ему указали место немного сбоку, рядом со столом бюро. Минут пять спустя в партком прошли Синицын с Комаренко и уполномоченным Контрольной комиссии.

Синицын открыл заседание и сообщил, что на повестке дня стоит один вопрос: дело товарища Уртабаева, члена партии с 1924 года, обвиняемого в поддерживании связи с басмачеством и его вожаками в Афганистане, в убийстве двух техников, в поддерживании связи с контрреволюционными элементами на строительстве, облегчении их бегства в Афганистан и в преднамеренном вредительстве.

Он зачитал по-русски и по-таджикски заявление, поступившее в партком от Ходжиярова и других рабочих, сообщил о записке Уртабаева к Кристаллову и рассказал вкратце историю с экскаваторами. Он закончил свою информацию сообщением, что бюро парткома проверило достоверность упомянутых фактов. Он предложил разбить вопросы на три группы: вопросы относительно достоверности выдвигаемых против Уртабаева обвинений, вопросы к свидетелю Ходжиярову и вопросы к самому Уртабаеву,— и просил придерживаться впредь этого порядка, что значительно облегчит и упростит ведение заседания.

Вопросы первой категории касались преимущественно личности свидетеля Ходжиярова и других свидетелей, достоверности экспертизы почерка, дела с экскаваторами и скоро исчерпались.

Свидетелю Ходжиярову предложили пройти к столу и отвечать оттуда. Поднялся худой дехканин в засаленном халате, перехваченном платком. В прорехи, под мышками и с боков, вылезала клочьями белая вата, это делало его похожим на взмыленного коня. У дехканина не было левого глаза, отчего лицо казалось сплющенным на одну сторону. Говорил он только по-таджикски.

Его попросили рассказать подробно о гибели отряда Уртабаева в засаде под Кииком. Он провел рукой по усам и бороде, словно выжимая воду, и начал свой рассказ:

— Как подъехали мы к кишлаку Киик, сразу грохнуло на нас, как из двадцати винтовок, и конь мой сейчас же упал и затрепыхал задними ногами. А был я тогда без оружия, проводником. Понимаешь? И ду-

маю я: остаться мне на дороге, зарубят меня наверное, и оружия у меня нет никакого. А недалеко, совсем рядом, был невысокий дувал и в дувале трещина, куда можно было пролезть. А когда я увидал, что многие кони и люди валяются на земле, а многие кони скачут назад по дороге без всадников, перескочил я дувал и залег у расщелины в траве. С дороги меня не видно, а мне в расщелину всю дорогу видать. И увидел я, как из кишлака выскочили басмачи на черных конях и наскочили на отряд, а из отряда мало уже кто остался. И как наскочили басмачи на Уртабаева, он поднял руку и в руке что-то держал. Понимаешь? А что держал, я не мог разглядеть, только не тронули его басмачи и проскакали мимо. А конь у Уртабаева был ранен в ногу, он слез с коня и пошел прямо в кишлак, и все время что-то показывал в поднятой руке. И подъехал к нему сам Файза и с коня пожал ему руку обеими руками. Стали они у края дороги и о чем-то разговаривали, а о чем — я расслышать не мог. А потом подъехали остальные басмачи и пригнали двух русских, пеших и без оружия, а были они оба в нашем отряде. Привели их басмачи к Файзе, и Уртабаев сказал что-то Файзе. Файза махнул рукой, и русских отвели шагов на тридцать, под дувал, и четыре джигита выстрелили им в голову. И Уртабаев стоял и смотрел, и Файза смотрел, и я видел, что Уртабаев смотрит и смеется и говорит что-то Файзе. Я спрятал голову и подумал: ай-ай-яй!

А потом все они ушли в кишлак, а убитые остались валяться на дороге. И тогда я увидел, что нога у меня прострелена, завязал ногу крепко платком и, как только стемнело, потихоньку стал пробираться ущельем к кишлаку Дагана, чтобы известить наш отряд. Понимаешь? А у кишлака Дагана засели басмачи, и схватили меня басмачи и спрашивали: чего нога у тебя прострелена? Я им рассказал, что шел по дороге в свой колхоз, выскочили аскеры и басмачи и началась перестрелка, и мне попало в ногу. И домой я вернуться не могу, потому что по дороге стоят аскеры и могут подумать, что я раненый басмач. А они мне не поверили и потащили меня с собой и дали мне коня, и два дня таскали меня с собой по горам. На третий день я убежал и попал в кишлак Кокташ, пошел в рик и просил перевязать мне ногу. А из рика шла тогда машина в Иста-

линобод, и раис посадил меня в машину и велел отвезти в Исталинобод в больницу. И в больнице я пролежал два месяца.

А когда меня выписали из больницы, встретил я на улице в Исталинободе Уртабаева и очень удивился. И Уртабаев узнал меня и подошел ко мне и сказал: «Здравствуй, Иса! Это ты нас завел тогда в засаду под Кииком. Я сейчас велю тебя арестовать!» Я очень испугался и подумал: как я докажу, что не я завел под Кииком отряд в засаду, а он? Он тут в большом почете и человек ученый, а я простой дехканин, и грамоте меня не учили,— кому поверят, мне или ему? Понимаешь? И стал я его просить не арестовывать меня, а отпустить домой. Сказал я ему, что меня тогда под Кииком ранило в ногу и я убежал через бахчи с простреленной ногой и ничего не видал,— убили кого-нибудь или нет. А он подумал и сказал: «Хорошо, я не велю тебя арестовывать. Иди домой и помни, что под кишлаком Киик я уговорил Файзу сдаться в ГПУ».

Я уехал в свой колхоз, а потом соседи сказали, что на строительстве нужны рабочие копать землю, я пошел и нанялся. Я увидел там Уртабаева, и все говорили, что он тут главный. А потом стали говорить, что на Уртабаева рассердился самый главный начальник и что его будут судить. И секретарь нашей ячейки говорил нам, что надо выявлять сообщников басмачей, потому что басмачи могут прийти из Афганистана опять и потоптать посевы. Понимаешь? И рабочие стали говорить, что видели, как к Уртабаеву ходили афганцы. Я тогда рассказал, как было дело под кишлаком Киик, и они мне сказали, что надо об этом написать, потому что Уртабаева будут судить, и надо, чтобы его судили сразу за все. И все, что я сказал, есть настоящая правда...

Рассказ Ходжиярова произвел на всех большое впечатление. Вопросов было немного. Касались они преимущественно периода его двухдневного пребывания у басмачей.

Пришла очередь вопросов к Уртабаеву.

После первого вопроса Уртабаев встал и попросил разрешения ответить сразу по всем пунктам обвинения. Он раскрыл портфель, достал из него какие-то записки; долго не мог застегнуть замок: видно было, как у него дрожат руки.

— Товарищи, я постараюсь кратко и с возможной точностью восстановить те события, на которые ссылаются обвиняющие меня люди, преднамеренно извращая факты, имевшие место в действительности... Первое звено этого обвинения относится к прошлому году, ко времени, непосредственно предшествовавшему налету басмачей из Афганистана. Свидетели, которые принимали участие в составлении заявления, говорят, будто за три дня до налета ко мне приходили из Афганистана два дехканина, якобы под предлогом, что хотят организовать в Афганистане колхоз, на самом деле,— чтобы известить меня о готовящемся налете. Ко мне действительно пришли из Афганистана два дехканина, работавшие в течение двух-трех месяцев здесь, на строительстве, и потом ушедшие обратно на родину. Они принесли мне письменное заявление от дехкан кишлака Калбат, Имам-саибского хакимства, скрепленное оттисками нескольких десятков пальцев.

Он вытащил засаленную бумажку и положил ее на стол.

— В этом заявлении они просят послать им инструктора, который научил бы их, как организовать колхоз. Я думаю, ничего странного в этом нет. При открытой границе с Афганистаном вести о нашем колхозном строительстве расходились и продолжают расходиться довольно широко. Афганские дехкане,— особенно те, которые побывали здесь у нас на работах,— видят преимущество нашего колхозного хозяйства над единоличным и рады бы заполучить этот «секрет». Запросите, товарищи, сколько таких ходоков приходит из Афганистана к секретарю бауманабадского райкома и просит инструкторов, трактора, семян для организации колхоза по ту сторону Пянджа. Вполне естественно, что дехкане, работавшие раньше здесь, обратились ко мне,— я единственный инженер-таджик партиец, в их представлении большое начальство, говорящее на их языке. Удивительно было бы, если б они обратились не ко мне, а к кому-нибудь другому. Мне стоило большого труда убедить их, что инструктора мы послать не можем. Я дал им инструктивную брошюру о колхозах на таджикском языке и посоветовал обратиться в бауманабадский рик, который, я уверен, помог им семенами. Обращались ли они в Бауманабад, не трудно бы, я думаю, было проверить.

— Вы же сами говорите, что в Бауманабад их обращается много. Как же вы проверите, обращались ли именно эти?

— Да, это, пожалуй, правильное замечание. Проверить это в точности будет почти невозможно.

Морозову, не спускавшему глаз с обвиняемого, показалось, что по лицу Уртабаева скользнула косая улыбка:

— Это по вопросу о прошлогодних гостях из Афганистана,— продолжал Уртабаев.— Я прошу вас, товарищи, обратить внимание на тенденциозное изменение срока этого визита. Дехкане были у меня не за три дня до налета, а за месяц, может быть, и больше.

— А чем вы можете это доказать?

Уртабаев поднял глаза на спрашивающего, и они столкнулись с устремленными на него пристальными глазами Морозова. Морозов заметил две злые, насмешливые искорки.

— Есть число на этой афганской петиции? — спросил Комаренко.

— Нет, к сожалению, дехкане не имеют привычки датировать свои заявления.

— Значит, и этого нельзя проверить?

«Издевается, сволочь»,— закусил губы Морозов.

Уртабаев вытер рукавом пот со лба, и глаза его опять скользнули в сторону Морозова. И Морозову по хитрому блеску этих глаз стало вдруг ясно, что Уртабаев вовсе не волнуется, он абсолютно уверен и спокоен, и это вытирание лба рукавом и дрожание руки, нервно перебирающей записки,— все это чистейшая комедия, заранее прорепетированная и обдуманная.

— Продолжайте.

— Дальше: рассказ о визите двух афганцев, бежавших вместе с Кристалловым и Сыроежкиным и навещавших меня, якобы, накануне своего бегства,— конечно вымышлен с начала до конца. Я не хочу заподозревать свидетелей. Были нередки случаи, когда рабочие афганцы обращались ко мне по целому ряду вопросов, не будучи в состоянии договориться на своем языке ни с прорабом, ни с начальником участка. Бывали случаи, что они приходили ко мне на квартиру. Я не могу точно вспомнить, заходил ли ко мне кто-нибудь как раз в этот день. Возможно, что и заходил.

— Возможно, что и эти два афганца?

— Возможно, что и эти два афганца, поскольку они ничем не отличались от других, и я не мог заранее догадаться, что они собираются бежать.

Опять глаза Уртабаева остановились на Морозове.

«Издевается, сукин сын, явно издевается»,— подумал Морозов. Игра Уртабаева вызывала в нем глубокое возмущение.

— Почему же вы тогда говорите, что вся история выдумана? Выходит, что она не выдумана,— бросил он резко, чувствуя, как кровь ударяет ему в лицо.

— Выдумано, что я принимал каких-то афганцев, зная заранее об их предполагающемся бегстве.

— Значит, о том, что они собираются бежать, вы не знали?

— Нет, не знал.

— А записка Кристаллову? — спросил, роясь в бумагах, уполномоченный КК.

— Кристаллова я вообще знал очень мало, только по его работе в техническом отделе. О том, что в техническом отделе есть неполадки, я знал, но какие именно и кто такой Кристаллов, мне никогда и в голову не могло прийти. И никаких записок Кристаллову я не писал.

— Значит, записка эта написана не вами? — поинтересовался Комаренко.

— Нет, не мною. Дальше: дело с засадой под Кииком. Надо начать с того, что Ходжиярова я вижу впервые. Хотя нет, это было бы не точно. Лицо его я откуда-то знаю. Где-то я его видел. Вот я сидел, когда он рассказывал, смотрел на него и силился припомнить: где я его видел?

— А под Кииком-то, под Кииком? Припомните хорошенько.

— Нет, под Кииком Ходжиярова не было. И проводником в нашем отряде он никогда не служил.

— А лицо все-таки знакомое?

— А лицо знакомое.

— Вот и я так думаю!

В зале засмеялись.

— Вы, напрасно, товарищи, стараетесь мои слова превратить в шутку. Мне не до шуток.

— Я думаю!

— Так вот: весь рассказ Ходжиярова выдуман. Ходжиярова вообще не было в нашем отряде. Не было

его и под Кииком. К сожалению, и этого простого факта нет возможности установить, так как от всего отряда остался в живых один я.

— Вот это-то и странно!

— Разрешите мне рассказать, как было дело под Кииком.

— Пожалуйста.

— Отряд наш из двенадцати человек попал в засаду и, насколько я могу сейчас восстановить, был перебит до того, как басмачи выскочили на нас из своей засады. Одним из первых выстрелов убили мою лошадь, которая, падая, придавила мне ногу...

— Убили или ранили?

— Не ранили, а убили. Упав с коня, я очутился под ним и не мог точно видеть, перебили ли весь отряд из засады или кто-нибудь остался в живых и его прикончили шашкой. Во всяком случае, когда меня вытащили из-под коня, я был единственным живым человеком из всего отряда.

— А два русских техника?

— Были убиты вместе со всеми.

— А не расстреляны потом?

— Я повторяю, я был единственным живым человеком из всего отряда, и поэтому, по-видимому, меня не прикончили, а взяли живьем и повели к курбаше, надеясь получить от меня сведения о численности и расположении наших войск. Файза сам стал меня расспрашивать. Я называл преувеличенные цифры прибывших из Ташкента частей Красной Армии, говорил о сдаче Кур-Артыка и других курбашей, доказывал, что дело Ибраима проиграно, и советовал сдаться,— советская власть сдавшихся с оружием безнаказанно отпускает по домам. Он знал об этом от других курбашей и сказал мне, что он не прочь был бы сдаться: ему надоело воевать, и он видит, что Ибраим втянул их в безнадежную авантюру, обещав поддержку населения, от которого сам сейчас вынужден спасаться. Он сказал мне, что не сдался до сих пор, так как не доверяет доброотрядцам. Среди здешнего населения есть у него старые, закоренелые враги, которые, взяв его в свои руки, не преминут свести с ним счеты. Он заявил, что готов сдаться лишь уполномоченному ГПУ. Я обещал это устроить. Мы договорились: на третий день Файза со своими джигитами будет ждать в

ущелье Дагана-Киик и, если придет за ним отряд ГПУ, сдаст оружие. После того как мы с ним договорились, он дал мне свежего коня и отпустил меня, а я приехал в Курган-Тюбе и доложил обо всем тогдашнему уполномоченному ОГПУ товарищу Пеховичу. На третий день мы выехали в ущелье Дагана-Киик, но в ущелье никого не оказалось.

— Ага, значит, Файза так и не сдался?

— Дайте мне кончить. Насколько мне удалось выяснить, на отряд Файзы накануне наскочил случайно другой наш отряд и истребил его почти совершенно.

— А где же тогда доказательства, что Файза вообще намеревался сдаться и что об этом именно он с вами договаривался?

— Да, другого доказательства, кроме моих показаний, нет.

— Слабое доказательство... А с Ходжияровым в Сталинабаде вы не встречались и не разговаривали?

— Нет, не встречался и не разговаривал. Я же сказал вам, что не знаю Ходжиярова.

— А в Сталинабаде в этот период времени, о котором говорит Ходжияров, бывали?

— Если речь идет о времени два месяца спустя после ликвидации басмачества, то в это время я в Сталинабаде был.

— Ах, в Сталинабаде в это время были?

— Да, в это время был... Говорить дальше?

— Да, расскажите об экскаваторах.

— На идею, что экскаваторы можно пустить от пристани собственным ходом, натолкнуло меня безвыходное положение с транспортом, застопорившим все наше строительство. Довести экскаваторы без помощи тракторов на головной участок — это значило развернуть в течение нескольких недель работы полным ходом, это значило двинуть строительство вперед на целые месяцы. Я, конечно, не решился бы сам на этот эксперимент без согласия представителя фирмы Бьюсайрус. Я обратился к этому представителю, инженеру Баркеру, и изложил ему свой проект. Баркер сказал, что экскаваторы их фирмы, правда, никогда таких больших переходов не делали,— максимальный их единовременный пробег не превышал семи — десяти километров,— но что теоретически это не невозможно, и для его фирмы было бы даже интересно проде-

лать такой опыт. Он говорил, что в крайнем случае придется экскаваторы после пробега поставить на недельку в ремонт. По сравнению с теми сроками, которые могла нам обеспечить перевозка тракторами, это были сущие пустяки. Четверяков тогда уходил и делами уже не занимался. Нового начальства не было. Согласовывать больше было не с кем. Я поехал на пристань, стал собирать экскаваторы и пускать их на плато. Когда часть экскаваторов уже вышла, а половина была почти собрана, я получил неожиданную записку от товарища Морозова с категорическим требованием прекратить сборку и выехать на «голову». Я в первую минуту опешил, подумал, что, может быть, новое начальство не успело еще выяснить этого дела с инженером Баркером и испугалось, что я это делаю на свой страх и риск. Я не мог остановить на полдороге ушедшие экскаваторы. Я решил закончить сборку тех двух, которые были уже наполовину собраны, и тогда поехать переговорить с новым начальством. Я был убежден, что этот приказ — простое недоразумение, и узнав, что я действую с согласия фирмы Бьюсайрус, товарищ Морозов не будет настаивать на его выполнении. Тогда, в последнюю минуту, неожиданно приехал товарищ Морозов, снял меня с работы и отдал приказ о разборке экскаваторов.

— Значит, вы настаиваете на том, что действовали с согласия инженера Баркера? — Морозов даже приподнялся с места.

— Да, с полного согласия.

— Доказать это, конечно, опять-таки нельзя, так как инженер Баркер уехал в Америку.

— Доказать это можно, только, понятно, не в данную минуту.

— Как же это так? Вам инженер Баркер говорил одно, а инженеру Мурри другое?

— Я сам этого не понимаю. Может быть, инженер Баркер в последнюю минуту испугался ответственности перед фирмой и пошел на попятную.

— Подождите, подождите! Ведь если вы вообще разговаривали об этом с инженером Баркером, то должен быть простой свидетель этого разговора — переводчик.

Водворилось минутное молчание. Морозов прищурил глаза. Удар попал в цель. Уртабаев покра-

снел, голос его впервые зазвучал неуверенно и смущенно:

— Я сам учусь говорить по-английски и немного говорю. И беседовал об этом с Баркером без переводчика.

— А в других случаях, все-таки, говоря с американцами, как мне доподлинно известно, вы пользовались переводчиком.

— Да, очень часто, если вопрос трудный и мне не хватало слов, я прибегал к помощи переводчика.

— Только в этом вопросе у вас как раз хватило слов, и вы обошлись без переводчика, который мог бы сейчас засвидетельствовать.

— Да, переводчика при этом разговоре не было.

— Вы, кажется, принимаете нас за детей, Уртабаев!..

— Это все, что вы можете сказать в свое оправдание? — спросил угрюмо уполномоченный Контрольной комиссии.

— Да, это все...

Уртабаев вытер рукавом пот. На этот раз Морозов не сомневался в искренности этого жеста. «Приперли к стенке, не улизнешь».

— Я понимаю, товарищи, что все факты, умело подтасованные моими врагами, говорят против меня, и, благодаря нелепому стечению обстоятельств, я лишен возможности противопоставить им хоть одно так называемое вещественное доказательство, хоть одного свидетеля, который бы говорил в мою пользу. Я понимаю, что вы не можете верить мне на слово, если я скажу вам: я не виновен...

Голос Уртабаева дрогнул, и вдруг, словно опасаясь, что его слова, слишком тихие, не дойдут до собрания, он крикнул на весь зал:

— Я не виновен, товарищи!

Произошло небольшое замешательство. В комнате стало тихо.

«Ну и актер! В театре ему выступать, а не на бюро парткома»,— злобно подумал Морозов.

Уртабаев вытер рукавом лоб и закончил сухим, бесцветным голосом:

— Я не буду ссылаться на те незначительные заслуги, которые я имею перед партией. Партия дала мне все, я дал ей только то, что обязан отдать каждый пар-

тиец. Партия послала меня на учебу. Партия сделала из меня человека. Всем, что во мне есть нужного и хорошего, я обязан партии. Партия вправе отнять у меня все, что она мне дала. Изгнать меня из партии — это значит отнять у меня жизнь. Партия дала мне жизнь, партия вправе ее взять.

Он скомкал в руке бумажки,— видимо, конспект заключительной речи, которую не произнес,— и сунул их в портфель.

Минуту длилось молчание.

— Ну, это все лирика, не меняющая существа дела,— сказал Морозов.— Все ясно, и поздним раскаянием тут не поможешь.

— Да, дело ясное.

— Что ж, товарищи, есть еще какие-нибудь вопросы или будем прямо ставить на голосование?

— Дело ясное!

— Давайте голосовать.

— Кто, товарищи, за исключение Уртабаева из партии?

Поднялось одиннадцать рук.

— Кто против?..

Подняли руки Комаренко и экскаваторщик Метелкин.

— Объявляю заседание закрытым.

Уртабаев встал, минуту шарил по карманам, как человек, потерявший бумажник, достал из кармана партбилет и положил его на стол. Потом быстро, не оглядываясь, пошел к дверям.

Синицын вернулся домой раньше обыкновенного. Он чувствовал себя в этот вечер, как хирург после трудной операции, проведенной чисто и без ошибки, по всем правилам медицинского искусства, во время которой пациент умер на операционном столе. Он решил сегодня больше не работать и, возвращаясь домой, подумал, что вечер этот нужно бы было посвятить Валентине. Со времени их утреннего разговора после самоубийства Кригера Синицын откладывал этот разговор на завтра, завтра опять было экстренное заседание,— и так прошли дни, потом недели.

Он шел, укладывая в голове план этой трудной беседы, не зная, с чего именно начать. Тут нужно было

уже не операционное вмешательство, а мягкое внушение.

Не застав Валентины дома, он искренне опечалился,— вряд ли еще так скоро представится свободный вечер,— и, в надежде, что она скоро вернется, стал ее ждать. Этот вечер должен был стать поворотным в болезни Валентины. Синицын мысленно подбирал неотразимые аргументы, способные переубедить любого закоренелого оппортуниста, пробовал парировать их возможными возражениями. Никакие возражения не способны были устоять против их логической неопровержимости.

Когда аргументы были уже взвешены и выстроены в ряды, Синицыну показалось, что это совсем не то, что надо. Все это Валентина могла с равным успехом почерпнуть из газет. Тут надо было что-то совсем другое.

Валентина не приходила. Прошел час, потом другой. Синицын суетился по пустой комнате, заходил в свой «рабочий кабинет», выделенный в отдельную резиденцию воздушной перегородкой из фанеры. Прошел еще час. Наконец дверь, ведущая во двор, скрипнула.

Синицын поднялся навстречу. В комнату вошел Комаренко.

— А, это ты...— разочарованно протянул Синицын.

— Проходил мимо, решил заглянуть. Есть что-нибудь новое?

— Очередь за тобой. Придется арестовать Уртабаева.

— Я арестовываю вне очереди и на этот раз очередью не воспользуюсь.

— У тебя всегда шутки. Нельзя ведь его, после того как все установлено, оставить на свободе.

— А почему бы нет?

— Ты дурачишься или всерьез?

— Конечно, всерьез.

— Ты не считаешь достаточно вескими те факты, которые были установлены в процессе следствия не только мною, но и тобою самим?

— Чтобы исключить Уртабаева из партии, быть может, достаточно выявленных фактов. Чтобы его арестовать, нужно еще кое-что выяснить.

— Связь с Афганистаном, сообщничество с Кри-

сталловым — это для тебя еще недостаточные факты?

— Связь с Афганистаном до конца не раскрыта. Куандык может врать. Единственный свидетель — твой Ходжияров. А насчет Кристаллова, предупреждение о том, что автор записки расскажет обо всем Синицыну, не свидетельствует еще о далеко идущем сообщничестве. К тому же, без заключения экспертизы почерка нельзя со всей уверенностью утверждать, что записка бесспорно принадлежит Уртабаеву.

— Значит, по-твоему, мы его неправильно исключили?..

Хлопнула дверь. Синицын поднялся.

В комнату вошла Полозова.

— Я вам не помешала?

— Ничего. А что у вас, опять новости? Случилось что-нибудь с американцами?

— Новая фаланга?— поинтересовался Комаренко.

— Нет. Ничего особенного не случилось. Сегодня вечером инженер Кларк поделился со мной впервые своими подозрениями. Не вдаваясь, насколько они обоснованы, я считала своей обязанностью поставить вас об этом в известность. Тем более, что он сам говорил мне о них несомненно с этой целью.

— Ну, ну, давайте. Это интересно,— оживился Комаренко.

— Помните, когда американцам стали подбрасывать записки с угрозами, все спрашивали, каким образом записки попадают к ним в комнаты. Они тоже ломали себе головы, и Кларк пришел к предположению, что, может быть, кто-нибудь из посещающих их людей оставляет незаметно эти письма.

— Замечательно! Это самое простое и дельное предположение,— вставил Комаренко.

— Так вот, он стал вспоминать, кто именно навещал их в этот день. И пришел к заключению, что оба раза заходил к ним Уртабаев.

— Что? Опять Уртабаев? — Синицын отодвинул табуретку и стал расхаживать по комнате.

— Вы помните, товарищ Синицын, разговор в столовой, когда Кларк и Мурри показали вам впервые полученные записки? Помните, вы тогда сказали, что таджик не нарисовал бы черепа, это европейская символика.

— Помню.

— Кларк заметил, как Уртабаев, присутствовавший при этом разговоре, будто бы очень рьяно поддерживал ваше предположение, что таджик ни в коем случае не мог быть автором записки.

— Ну, а дальше?

— Дальше история с фалангами показала неопровержимо, что автором записок является именно таджик. Европеец не мог бы придумать такого трюка. Кларк отмечает как лишнее подтверждение и тот факт, что в момент покушения сам Уртабаев отсутствовал, словно хотел, как говорит Кларк, заранее создать себе алиби. Он отмечает, как странное совпадение и то, что с того момента, как у Уртабаева начались личные неприятности,— дело с экскаваторами и другие,— угрожающие записки и покушения прекратились как по мановению руки, словно автор их, занятый другим делом, лишен был возможности продолжать свою игру. Вот и все. Инженер Кларк долгое время не решался сообщить никому о своих подозрениях, зная, что Уртабаев коммунист. Он решил это сделать только сейчас, узнав об исключении Уртабаева из партии. Я передаю дословно то, что мне сказал Кларк. Мне лично, право, не верится, чтобы все это было возможно. Мне кажется, что это скорее какое-то досадное совпадение...

— Спасибо, товарищ Полозова. Вы поступили очень правильно, тем более, что вы являетесь вместе с Нусреддиновым, насколько мне известно, большими друзьями Уртабаева, уверенными в его невиновности.

— Я выполнила свою обязанность. Это не мешает мне оставаться при своем мнении: я продолжаю считать, что в деле Уртабаева произошла какая-то трагическая ошибка, которую я не в состоянии разъяснить, но которая, я надеюсь, вскроется.

— Ваше личное мнение, к сожалению, не вносит ничего нового. Что же касается товарища Нусреддинова, то он поступил бы правильнее, если б не вдавался в критику решений партийного комитета и не втягивал бы в это дело комсомольцев.

— Товарищ Нусреддинов и я вовсе не представляем мнения комсомольского комитета, а только наше личное мнение. Я думаю, каждый комсомолец и партиец, если он предполагает, что по отношению к одному из заслуженных партийцев была допущена ошиб-

ка, не только вправе, но даже обязан приложить все усилия, чтобы помочь раскрыть и исправить ошибку. Это не имеет ничего общего с втягиванием комсомольского актива в дискуссию по поводу решений парткома.

— Можете быть уверены, я первый буду приветствовать всякого, кто нам докажет, что мы ошиблись в оценке Уртабаева.

— Я в этом не сомневаюсь.

— К сожалению, никто не в состоянии этого доказать. Все дело ограничивается ненужными разговорами о личных симпатиях и убеждениях. Эти обывательские разговоры надо прекратить.

— Хорошо, вы больше их не услышите.

— Вот это правильно! — Синицын проводил Полозову до дверей.— Ну, как, ты все еще не собираешься арестовывать Уртабаева? — обратился он к Комаренко.

— Разреши мне поступать по моему усмотрению. Я за это отвечаю.

— Боюсь, что берешь на себя слишком большую ответственность. Хотелось бы знать, по крайней мере, на основании чего все это делаешь? Тоже личное убеждение или что-нибудь более существенное?

— Что-то тут, понимаешь ли, до конца еще не раскрыто.

— Боюсь, что в поисках таинственных политических заговоров можешь упустить нити, которые сами лезут в твои руки. Это с вашим братом бывает. Поверь мне, я дольше тебя работаю в этих краях, и коекакой опыт у меня есть: не бывает такого случая, чтобы в одной и той же местности работали параллельно две организации, из которых одна занималась бы специально вредительством и террористическими актами, а другая держала связь с басмачеством и Афганистаном. Такого не бывает.

— Да, я тоже так думаю.

— Поймав один кончик нитки, неизбежно разматываешь весь клубок.

— Если не оборвешь этого кончика. Все дело — правильно ухватить.

— А по-твоему, Уртабаев не является такой ниткой?

— По-моему, нет.

— Мудришь. Имей в виду: если Уртабаев останется на свободе, а на американцев повторится покушение, я буду считать своей обязанностью довести мои соображения до сведения ППОГПУ в Ташкенте.

— Это твое право. Можешь это сделать, не дожидаясь. Ну, дай бог всякому!

Комаренко сел на коня и шагом пересек площадь, окруженную бараками. Городок спал, закутанный в ночь, как в бурку, мутно мигая редкими освещенными окнами. Окна издали мерцали, как звезды. Через стекла окон, как в стекло телескопа, проезжающий мимо видел обособленные мирки чужой ночной жизни. Вот, придвинувшись близко к окну, таджик в зеленой тюбетейке читает книгу. Вот, нагнувшись над столом, рябой прораб в непослушном пенсне чертит схему на голубой графленой бумаге. Вот усатый детина, прижав к столу стриженую полураздетую женщину в сползающей с плеч сорочке, покрывает поцелуями ее лицо и шею. Чужая обособленная жизнь: учеба, работа, любовь...

Комаренко тронул повод. Ему не раз приходилось заглядывать в чужую жизнь, незваным гостем блуждать по ее задворкам. Как семейный врач этих мест, он знал тут наперечет всех. Встречаясь с людьми, он не различал их по цвету волос, по окраске кожи, по внешним отличительным признакам. Он распознавал их, как врач распознает старых пациентов по особенностям их внутренней комплекции: не высокий блондин, а увеличенная селезенка; не коренастый рябой, а камень в печени; не грудастая рыжая, а расширение аорты. В окружающих людях Комаренко видел то, чего не мог разглядеть в них никто. В лице светлоусого старшего техника, изуродованного небольшим рубцом, похожим на обычный шрам от пендинки, он видел застрявшую и не вытащенную красноармейскую пулю, раздробившую это миловидное лицо еще в те времена, когда, вместо гармской тюбетейки, его украшала фуражка с врангелевской кокардой. В глазах неказистого встречного дехканина, окучивающего хлопок, премированного ударника и бригадира, в искусном взмахе уверенной руки, поднимающей кетмень,— он видел блеск кривой басмаческой сабли, отрубившей головы трем пленным красноармейцам и, напоследок, собственному курбаше. Глядя на печально улыбающийся,

еще свежий рот увядающей шатенки, жены главного кассира строительства, проходившей часто мимо его окон с сумкой за продуктами, он видел в нем не искусно спрятанную золотую коронку, а жесткий комок неразжеванных бумаг, проглоченный этим улыбающимся ртом в день неожиданного обыска на квартире первого мужа мадам, начальника охранного отделения.

Комаренко не воспринимал людей как нечто готовое и данное. Он видел их в процессе их длинного становления, со всем грузом их социальной биографии. Люди проходили перед ним, как товарные поезда, обросшие на очередных станциях длинной цепью вагонов. Он осматривал их безошибочным взглядом,— простой стрелочник на пути, ведущем в социализм,— осматривал и пропускал дальше; редкие, те, которые не в состоянии были туда дойти, сворачивал на запасный путь, в ремонт; очень редкие — в тупик, в утильсырье.

Лошадь споткнулась, Комаренко стянул поводья и шагом миновал последние хибарки «Самстроя». Городок спал, и уполномоченный не хотел тревожить его сна цоком неосторожных копыт. Он оглянулся назад. Вдали, на головном участке, горели огни, размеренно стучал трактор, выкачивая воду, прососавшуюся в котлован. Городок спал, на котловане шла работа. За все это отвечал он, Комаренко: за спокойный сон городка, за бесперебойный стук трактора, за нормальную работу всего строительства. Чувство большой ответственности не тяготило, наполняло приятной гордостью. Уполномоченный широко расправил грудь и подобрал повод. Лошадь тронулась мелкой рысцой. Над головой развороченным муравейником кишели звезды.

Уполномоченному вспомнилось твердое озабоченное лицо Синицына.

«Все имеют право ошибаться,— подумал он отчетливо,— все, кроме меня. Я лишен права промаха».

И сейчас же, как горькая реплика:

«И все же я делаю промахи. Да, да, нечего закрывать глаза. Кристаллов бежал — раз. Я не сумел раскусить Кристаллова. Этот тип несколько месяцев процветал у меня под боком. Мало ли что не было никаких данных. Если есть данные, всякий дурак сумеет. Теперь есть данные, но нет Кристаллова. Промах... Немировский, правда, изъят, но изъят с большим опозда-

нием, после того, как успел разладить строительство. Все материалы по обвинению Немировского собраны мною. Что ж из этого? Надо было собрать раньше. Ссылка на пассивное сопротивление и слепоту Еремина — не оправдание. Опять промах... Теперь Уртабаев. Абсолютно неожиданно. Ни тени подозрения. Случайное донесение. Если Уртабаев действительно во всем этом повинен, единственный честный выход — просить о переводе на низовую работу...»

Комаренко закусил губу. Он считал себя хорошим чекистом, гордился, что видит людей насквозь. И вдруг — Уртабаев. Промах с Уртабаевым был бы непростителен. Чекист, сделавший такую ошибку, неспособен нести ответственность за безопасность строительства.

«Если Уртабаев виновен,— надо подать в отставку и переброситься на другую работу. Пойду в кооперацию муку развешивать».

Конь шарахнулся в сторону. Из мрака навстречу вынырнул всадник, нет, всадница, и хлеща лошадь, пролетела мимо.

Комаренко долго и недоуменно смотрел вслед удаляющейся Синицыной...

После ухода Комаренко Синицын потушил свет и лег на постель не раздеваясь. Он долго лежал с раскрытыми глазами, стараясь что-то поймать. Это мешало, как зубная боль неизвестно под какой пломбой. Что это? Валентина? Уртабаев?

Он подумал в первый раз, что, может быть, переутомился. Это бывало уже с ним раньше, лет шесть назад. Тогда перед глазами в течение ряда месяцев носилась неотступно маленькая черная точка, неуловимая и назойливая, как москит, но никакого внутреннего нытья он тогда не ощущал.

Он хотел уже встать, зажечь свет, взяться за какую-нибудь работу. Тогда хлопнула дверь, и вспыхнуло электричество. В комнате стояла Валентина.

— Ты дома?

Он сел на кровать, щурясь от света.

— Да, дома... Выкроил свободный вечер и вернулся пораньше домой, хотел поговорить с тобой.

— Я была у Уртабаева.

— У Уртабаева?

— Не делай таких удивленных глаз. Нет, это не то, что ты думаешь. Он никогда не был моим любовником.

— Зачем же ты к нему ходила именно сегодня?

— Пошла предложить ему, что проведу с ним сегодняшнюю ночь. И знаешь, что он сделал? Он меня выгнал вон. Ну, выпроводил, одним словом, очень ласково, но решительно.

— Зачем ты это сделала?

— Знаешь, это исключительно честный человек и хороший партиец. А вы, дураки, исключили его из партии. Половина из тех, которые за это голосовали, не стоят его подметки.

Синицын стал крутить папиросу. Курил он редко, табак в бумажке топорщился, набухал, пока сквозь пальцы не высыпался на пол. Он скомкал бумажку и бросил в угол.

— Ты выкроил сегодня для меня специально вечер, хотел со мной поговорить и расстроился, что я ушла. Хорошо, я тебе за это расскажу, почему я туда пошла, если тебе интересно. Я верила во всю эту историю с басмачами и Афганистаном. Я верила, что Уртабаев виноват. Я знала, что, после того как его исключат из партии, ему ничего не останется, как пустить пулю в лоб. Все равно, сегодня ночью он будет арестован. Я думала, что он покончит с собой, не дожидаясь ареста, и пошла к нему провести с ним эту ночь. Он меня столько раз просил уйти от тебя и жить с ним. Я знаю, что он меня действительно любит, больше, чем кто бы то ни было. Я не сошлась с ним потому, что он мне никогда особенно не нравился. Но я так долго водила его за нос, оставляя ему всегда капельку надежды, что решила — меня от этого не убудет, а человеку могу дать перед смертью несколько часов счастья. Я пришла к нему и сказала, что останусь у него всю ночь. Он в первую минуту очень обрадовался, потом спросил меня — верю ли я, что он виновен? Я сказала, что убеждена в этом, но это мне не мешает провести с ним его последнюю ночь. Он, наверное, подумал, что я очень его люблю. И он отказался. Понимаешь, отказался. Сказал мне просто, что не хочет, чтобы я с ним сходилась, будучи уверенной в его предательстве. Он и не думает покончить с собой. Он знает, что не вино-

ват, и, рано или поздно, сумеет это доказать. И только тогда, когда он смоет с себя это пятно, он будет чувствовать себя достойным обладать мною... Я знаю, в этом много наивности и восточной романтики. Он мог прекрасно сойтись со мной и потом доказывать свою правоту. Но он думал, что, сойдясь со мною, он брал бы твою жену, жену человека, который сегодня исключил его из партии, и он не хотел воспользоваться этой невольной местью, которая сама лезла ему в руки. Он перещеголял тебя с твоим благородством, дал тебе сто очков вперед. Я знаю, что он невиновен, что его оклеветали, а ты и тебе подобные, во имя сухой формулы партийного устава, не задумываясь, поспешили похоронить живого человека, который лучше и благороднее вас, и которого я люблю. Я теперь знаю, что люблю его. И больше я тебе не жена. Кончилось.

Синицын взял со стола тюбетейку и медленно пошел к двери.

— Ты уходишь? На ночь глядя? Куда?

— Пойду на котлован.

— На котлован? — Валентина посмотрела на него внимательно.— Слушай, там взрывают скалу, может быть несчастный случай. Ты хочешь...

— Ночью не взрывают, да и аммонала нет, весь вышел. Просто пойду посмотрю, как работает ночная смена.

— А-а... Ну, иди...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В этот день, с утра, Кларк получил извещение, что пришли из Сталинабада бетономешалки и компрессоры для бурения скалы и стоят на той стороне, у переправы. Он решил дождаться их в местечке и лично принять машины. Ждать пришлось долго,— на целое утро переправу закупорили возчики с лесом, дожидавшиеся уже два дня своей очереди. Бетономешалки привезли под вечер. Приняв машины, Кларк отправился к Киршу просить его отпустить лесу для шахтного подъемника: леса привезли много, а когда прибудет следующая партия — неизвестно. Кирш перебрал пачку срочных заявок на лес со всех участков и, взвесив их срочность, уступил,— Кларк обещал освободить на днях два экскаватора.

Обрадованный победой, Кларк послал шофера за Полозовой и за прорабом. Хотелось наверстать потерянный день и сегодня же начать подготовительные работы по постройке подъемника.

Вызвали плотника. Пришел бородатый дядя в картузе и почтительно остановился у притолоки.

— Вы будете товарищ Притула? — спросил прораб.

— Притула Климентий, он самый.

— Нам вот надо ставить на котловане шахтный подъемник. Возьметесь?

— Почему нет? Можно.

— А ставили уже когда-нибудь?

— Шахтный подъемник? Нет, не приходилось.

— Ничего, дадим вам чертеж и все измерения. Будете работать под руководством американского инженера.

— Можно,— согласился Климентий.

Кларк на листке бумаги начертил схему сооружения и протянул листок плотнику. Климентий долго вертел листок в пальцах, пристально всматривался в рисунок, словно в ребус, который предлагали ему разгадать.

— Ну как? Понимаете?

— На бумажке-то оно всегда выходит так точно, а начнешь строить, что получится — неизвестно.

— А вы в чертежах-то разбираетесь? — подозрительно покосился прораб.

— Мы плотники. Наше дело из дерева строить, а не из бумажек,— обиделся Климентий.

— Ну, брат, без чертежа тут своим умом не поставишь. Нет ли у вас в артели кого-нибудь, кто бы в чертежах понимал?

— Не такие штуковины строили и без бумажек. Ты вот расскажи, какой он из себя, твой подъемник, сколько на высоту, сколько в ширину, а насчет нашей работы не сумлевайся, сделаем.

— В шахтах ты бывал? Копер видел?

— Бывал. А где же у тебя тут шахта?

— Да не в шахте дело. Принцип тот же...

— Насчет принципа не знаю, не видал и врать не хочу.

— Чудак ты человек! Ну, деревянная башня, кверху суживается, наверху колесо.

— Знаю.

— Так и тут то же самое, только меньше, поуже, и не клеть в ней ходит, а ковш от экскаватора. А на высоте, там, где колесо, отходит вбок эстакада.

— А выстукада тоже деревянная?

— Эстакада — это такой мостик, узкий, чтобы по нему ковш вбок мог отъехать. Башня сама стоит внизу, в котловане, высотой метров двадцать пять, колесо наверху вертится, вытаскивает наверх ковш, как из колодца. Ковш надо отвести вбок. Для этого от башни до самого края котлована строится мостик так, чтобы ковш, проехав по нем, высыпал камень за край котлована, на кавальере.

— На кавалерии? Разве лошадьми его вывозить будете?

— Да не на кавалерии, а на кавальере, на насыпи, значит.

— А ты так и говори. Нас по-американски не учили,— Климентий покосился на американца.

— Ну как, понимаешь?

— Что же тут понимать, дело простое. Ты вот мне место покажи, где она стоять должна, а я тебе скажу, сколько дерева на нее нужно и какого.

— Давай попробуем. Мы едем сейчас на участок, садись с нами, посмотришь.

Они уселись в машину вчетвером.

На котловане теперь работали в три смены. Днем и ночью громыхали тачки, днем и ночью взлетали на воздух, один за другим, два грохочущих ковша, опрокидываясь на лету, высыпали в реку новые порции камня, и камень, как сахар, растворялся в кофейной гуще реки. Ночью над котлованом, как прирученная луна, всходил белый электрический шар, видимый издали на десятки километров, и внизу, по узкому карнизу дорожки, бежали вереницей тачечники с напудренными светом лицами, опрокидывали тачку, бежали назад, туда и обратно, туда и обратно, как беспокойная вереница лунатиков по карнизу одинокого дома.

Когда машина подъехала к городку, была уже полночь. Мрак здесь был исколот булавками света. Над котлованом висел белый раскаленный шар, но котлован безмолвствовал, безмолвно стояли экскаваторы с неподвижной, патетически нацеленной в небо стрелой.

— Почему стоят оба экскаватора? Не хватило горючего?

Добродушный прораб, худощавый Андрей Савельевич тоже встревоженно приподнялся на сиденье.

— Нет, горючее только вчера подвезли. Не пойму, что это такое. Не могли же застопориться сразу два экскаватора!

Машина остановилась; они вчетвером стали карабкаться на отвал. На краю котлована стояла группа людей. Кларк разглядел Кирша и Синицына. Дело становилось серьезным.

— Что случилось?

Синицын посмотрел на часы.

— Дальверзинцы не вышли на работу. Вся третья смена потребовала прибавки пятидесяти копеек с кубометра. Знают, что некем их заменить, а работу надо закончить к сроку,— вот и попались на удочку рвачам.

Полозова перевела Кларку.

— У нас нет другого выхода, как согласиться на их требование,— обратился к Киршу Кларк.— Каждый рабочий пользуется затруднениями предпринимателя, чтобы урвать лишний цент. Против этого ничего не поделаешь. Каждая смена простоя обойдется гораздо дороже, чем эти пятьдесят копеек.

— Дело не в пятидесяти копейках, дорогой мистер Кларк,— нахмурился Кирш.— Нельзя поощрять рвачества. Сегодня дадим пятьдесят, завтра потребуют рубль. Мы — не капиталистические предприниматели, у которых каждую прибавку надо вырывать из глотки забастовкой. У нас рабочий обеспечен во всех отношениях,— за исключением разве жилищного, но этого на деньги не купишь,— и ставки здесь больше, чем во всем Союзе. И потом вовсе не каждый рабочий пользуется затруднениями, чтобы вырвать у своего рабочего государства деньги, которых не заработал. Вы еще мало видели наших рабочих. Только слабый, деревенский элемент поддается на кулацкую агитацию.

— Все это очень хорошо, но у нас нет другого выхода. Перейти опять на две смены?

— А вот выход сейчас постараемся найти,— Кирш оглянулся на Синицына.

— Товарищ Полозова!—позвал Синицын.—Я только что послал Нусреддинова оповестить ребят и сроч-

но организовать комсомольскую бригаду. Берите машину и поезжайте в Курган. Мобилизуйте всех комсомольцев, которых застанете на квартире.

— Есть, товарищ Синицын.

Она быстро сбежала по откосу.

С неба медленно отклеивалась сизая пленка туч, и небо всплывало из-под нее четкое, как переводная картинка, со своим серебряным кружком луны, с путаницей мерцающих фонариков, со своим городком, отпечатавшимся сплошным черным пятном, исколотым булавками света. Не хватало на нем только людей, скользящих, как канатобежцы, по гребню отвала, и американских экскаваторов, застывших с костлявой рукой, поднятой, как для фашистского приветствия.

— Экскаваторы в исправности? — спрашивал у кого-то Кирш.

Кларк молча следовал за ним.

— Будьте готовы, товарищи. Через час возобновим работу.

Экскаваторщик кивнул головой. Он ежился в своей теплой кожаной куртке.

— Что с вами? Вы нездоровы?

— Малярия треплет. Это ничего...

— Чего ж вы дома не остались? Можно было договориться с драгером первой смены, чтобы вас заменил.

— Нельзя. Заболел. Воспаление легких, кажется. Драгер второй смены проработал за него две смены подряд.

— Везет, так везет! Ну, а вы-то выдержите? Завтра найдем вам заместителя.

— Выдержу. Не впервой.

Он поднял воротник кожанки и залез в кабинку.

— Андрей Савельевич, а Андрей Савельевич! — дергал прораба за рубаху Климентий.— Где же копер-то стоять будет? Там внизу нешто?

— Да отстань ты от меня со своим копром! Видишь, тут не до этого.

— А вы мне только покажите, где это будет. Я сам все посмотрю и вымеряю.

— Вон там, внизу. Только надо еще выбрать в этом месте три метра скалы, тогда можно ставить. А раз некому выбирать, значит и постройку подъемника отложить придется.

Климентий вытащил из кармана складной метр и стал спускаться в котлован.

Через некоторое время Кларк, растерянно бродивший по кавальеру, расслышал вдали шум мотора и всплески хоровой песни. Песня напоминала ту, которую в Москве пел проходивший по улице отряд красноармейцев.

Несколько минут спустя, внизу, у насыпи остановилась легковая машина. Из машины высыпал десяток парней, почти мальчиков, и одна девушка,— Кларк узнал Полозову. Парни с пением карабкались на кавальер, словно хотели взять его приступом. Кларку показалось на минуту, что он присутствует на каких-то ночных маневрах. Вскарабкавшись наверх, комсомольцы по-военному выстроились перед Синицыным.

— А где же Нусреддинов?

— Идет. Мы его обогнали на дороге.

Нусреддинов с комсомольцами поднимался по другой стороне. Они выстроились парами. В отсвете электрического шара их смуглые лица казались посеребренными. Зазвенела песня, и комсомольцы гуськом стали сбегать по уступам отвесной тропинки на дно котлована.

— Нусреддинов!

— Слушаю, товарищ Синицын.

— Плохой из тебя организатор. Не дело брать тачку и работать самому,— это каждый может. Секретарь комсомольского комитета должен уметь организовывать. Что ж ты больше двадцати пяти человек собрать не мог?

— Ночь, товарищ Синицын, в полчаса всех не разыщешь. Завтра организую как следует, а сегодня не сумел собрать больше,— придется самому поработать.

Нусреддинов улыбнулся, по темному лицу скользнул поперечный блик. Не дождавшись ответа, Керим сбежал в котлован.

— Товарищ Кларк!

На выступе тропинки стояла Полозова.

— Поезжайте домой. Я тут останусь поработать с ребятами. Приезжайте к утренней смене. Буду вас ждать здесь.

Внизу уже звенели первые тачки и первые удары кирки.

— Андрей Савельич, а Андрей Савельич! — дергал запарившегося прораба за руку Климентий.— Я вымерил. Построить можно. Завтра лес приготовить надо. Я сам выберу. Лес привезли подходящий. Послезавтра начнем. Только вот скалу, говорите, выбирать надо. Это они, что ли, выбирать-то будут? — Он указал на комсомольцев.

Прораб кивнул головой.

— Они, а кто же?

— Нешто у них сила есть? Не выберут!

— Сколько смогут, столько и выберут.

— Долго выбирать будут. На такую работу мужиков здоровых надо, а такие дитяты и в месяц не выберут. А без этого никак строить нельзя?

— Сказал тебе — нельзя. Не нравится, иди и выбирай сам. Критику наводить каждый умеет, а когда надо помочь,— кишка тонка.

Прораб пошел к экскаватору.

Ковши полетели вниз и опять взвились вверх. Внизу, под тяжестью тачек, жалобно скрипели доски, ребята держали ручки тачек, как крестьянин держит омач, напирая на него всем телом, и тачка спотыкалась и застревала, как омач в каменистой почве.

«Нет у ребят сноровки,— подумал Кларк,— все равно тех двух бригад не заменят».

Он все еще продолжал стоять на гребне отвала, нерешительно поглядывая вниз. Полозова с парнем в зеленой тюбетейке грузили вываленный из тачек камень в ковш экскаватора. Кларк медлил. По правде говоря, делать ему было нечего, но уходить почему-то было неловко. Он мялся на месте, делая вид, что присматривает за работой, и отдавая себе одновременно отчет в нелепости своей роли праздного наблюдателя. Он поднял глаза, разыскивая прораба, словно надеясь найти указание для себя в том, что делает сейчас прораб.

По другую сторону кавальера стоял бородатый мужик в картузе, плотник, посматривая вниз. Он топтался на месте так же нерешительно, как Кларк, словно тоже не знал, что ему с собой делать. Кларку эта аналогия показалась обидной. Он повернулся уже, чтобы сойти к автомобилю, когда вдруг увидел, что бородатый спускается по тропинке в котлован. Кларк остановился из любопытства. Бородатый достиг дна

и, протиснувшись между комсомольцами, поднял с земли свободную кирку. Минуту он постоял в нерешительности, потом повернулся и, подойдя к самому худенькому подростку, рассыпавшему на полдороге свою тачку, мягко отстранил его рукой, сунул ему кирку,— как ребенку, чтобы не обиделся, дают в руки игрушку,—и, навалив тачку, плавно покатил ее к ковшу. Внизу одобрительно зашумели.

Кларк продолжал стоять. Положение его становилось все более неловким. Ему казалось, что если он повернется сейчас и станет сходить к автомобилю, все оглянутся в его сторону.

Тогда случилось совершенно неожиданное. Ковш одного из экскаваторов, нагруженный доверху, не взлетел. Снизу закричали, дернули цепь. Ковш продолжал неподвижно лежать.

Кларк быстро подошел к экскаватору и натолкнулся на прораба, вытаскивавшего из кабинки неподвижного драгера. Кларк помог уложить драгера на камни.

— Что случилось? — прокричал он по-английски в ухо прорабу, и прораб, не понимая английского, понял и ответил:

— Малярия.

Кларк тоже понял. Они уложили упавшего в обморок драгера. Кларк расстегнул драгеру куртку: из-под кожанки дунуло жаром. Прораб побежал за водой. Кларк положил больному руку на лоб. Лоб горел, у человека было не меньше сорока градусов температуры. Прибежал прораб с водой и стал приводить драгера в чувство. Драгер открыл глаза. Глаза его горели, в глазах беспокойной каплей ртути прыгал зрачок.

Кларк поднял драгера за плечи и жестом приказал прорабу подхватить больного за ноги. Они снесли его по насыпи вниз, в ожидавшую машину. Кларк рукой показал шоферу по направлению к городку, а сам стал обратно карабкаться на отвал. Прораб в молчании следовал за ним. Они остановились у затихшего экскаватора.

Прораб махнул рукой. В переводе на слова это означало: «Капут!»

Кларк взглянул вниз, где у неподвижного ковша столпилась кучка парней, потом с сожалением посмот-

рел на свои снежно-белые брюки, повернулся и быстро поднялся в кабинку.

Прораб разинул рот.

Ковш вздрогнул и взлетел вверх. Внизу радостно зашумели, за перемычкой разгневанно хлюпнула вода.

В кабинке густо пахло маслом. Кларк уселся поудобнее и, засучив внезапно побуревшие рукава, стал размеренно, как циркулем, отмерять дреглейном расстояние от котлована до реки, сначала медленно, потом быстрее и быстрее.

Внизу грузно громыхали тачки, поскрипывая несмазанным колесом, кирка раскалывала камень, и от соприкосновения их, как от столкновения слов «кирка» и «камень», выскакивал односложный звук, похожий на звук «как», с ударением на «к», как его выговаривают грузины.

Скрип несмазанного колеса, удар киркой: кир-ка, кир-ка, кир-ка...

Так пела работа. Кларк не слышал этой песни. Слышал ее один прораб Андрей Савельевич. Он все еще стоял в недоумении у экскаватора.

Он был старый добросовестный работник, видевший на своем веку немало строительств, руководивший не одной работой еще в «старое время». У Андрея Савельевича было свое, выращенное годами, отношение к работе, своя азбука работы, заученная в те времена, когда он бегал с тачкой и служил подносчиком,— простая, как десять заповедей: «работа есть работа», «хозяину важно, чтобы работали побольше, рабочему,— чтобы поменьше», «работать надо, чтобы есть», «кто может есть не работая, тот не дурак работать». Руководя работами, он защищал интересы хозяина, смотрел и требовал, чтобы работали побольше, и потому ценился как хороший работник. Когда на строительствах появились новые слова «энтузиазм», «ударничество», «соревнование»,— он встретил их скептическим прищуриванием глаз, как большевистские штучки, но не выражал своего неодобрения и потому считался хорошим советским работником. По существу же, он привык, что у хозяев бывают свои причуды, свои «коньки», и причуды эти надо уважать, не показывать виду, что над ними подтруниваешь,—ни

один хозяин этого не потерпит. Иностранных специалистов, приезжающих на строительство, Андрей Савельевич уважал за то, что те работу принимали как работу, без штучек, и над штучками иронически щурили глаза. Они могли себе позволить делать это открыто, но и они соблюдали в этом общепринятые правила вежливости.

Американский инженер, залезший ночью на экскаватор, чтобы работать всю смену простым драгером,— такое Андрей Савельевич видел впервые. Рассуждая нормально, это была тоже «штучка», но она не исчерпывалась простой иронической улыбкой в глазу. Она нарушала всю азбуку. И Андрею Савельевичу было не по себе. Он чувствовал то, что, вероятно, должен чувствовать верующий, трудолюбиво и набожно проведший жизнь, которому вдруг в последнюю минуту, после соборования, поп сказал по секрету, что никакого бога нет.

«Ишь шпарит!» — подумал Андрей Савельевич, посматривая на взлетавший и падавший ковш, который комсомольцы с трудом успевали нагружать доверху.

Теперь он, в свою очередь, чувствовал себя неловко, один на гряде кавальера, и, оглядываясь кругом, раздумывал, что ему полагается делать в такой необычной ситуации. Стоять тут бесцельно наверху, когда работало даже заграничное начальство,— было явно нехорошо.

Кир-ка, кир-ка, кир-ка... — скрипело и звенело внизу.

Андрея Савельевича, как и Кларка, выручил случай. Снизу донесся крик, и один из комсомольцев упал, потом привстал и прислонился к стене.

Тогда Андрей Савельевич тихонько спустился вниз, будто шел посмотреть, что стряслось. Очутившись внизу, среди запаренных, блестящих от пота людей, в общей суматохе, он незаметно поднял кирку и, нахлобучив на глаза тюбетейку, стыдливо принялся колоть камень.

Когда утром на работу явилась первая смена, она не сразу спустилась в котлован. У кавальера состоялся летучий митинг. Митинг открыл секретарь постройкома Гальцев, худой белобрысый парень на длинных ногах. Возраст его не позволяла в точности опреде-

лить наивная цыплячья белизна волос и ресниц, словно выгоревших на солнце. На строительстве закрепилась за ним кличка «Египтянин», вероятно, потому, что вид у него был такой, как будто спал он в складе на хлопке и не успел отряхнуться: на голове, на веках, на небритом лице остался белый хлопковый пух.

У Гальцева с утра был неприятный разговор с Синицыным, стащившим его в четыре часа с постели,— один из тех разговоров, когда один говорит, а другой молчит. Как назло вчера,— греха не утаишь,— Гальцев на октябринах у младшего бухгалтера распил бутылочку дубняка и, вернувшись домой в третьем часу, лег спокойно спать. Узнав из уст Синицына, что дальверзинцы не вышли на работу, он пробовал было защититься вполне резонным замечанием: не может же он каждую ночь сидеть на котловане, но Синицын так выразительно посмотрел на него и таким, необыкновенным в его устах, неприличным выражением охарактеризовал работу постройкома, что Гальцев больше слова не брал, решив твердо про себя поставить немедленно на ноги все рабочкомы.

В течение трех часов митинг был подготовлен.

Взбираясь на кучу камней, которая должна была заменить трибуну, Гальцев почувствовал бурный прилив красноречия. Он умел агитнуть, речь свою обдумал на ходу и боялся только одного, как бы, в увлечении, не покрыть дезертиров матом. Это с ним бывало, по этой линии был даже один выговор. Окидывая взглядом собравшуюся толпу, Гальцев думал с горечью, что выговора за ночную бузу дальверзинцев ему не избежать; спасти его может только исключительная активность и немедленная ликвидация прорыва.

Речь отгрохал хорошую, обстоятельную, рвачей почистил отборными словами — с песочком, но без мата,— зацепил и промфинплан, отметив, что комсомольская бригада перевыполнила задание на одиннадцать кубометров. Фразы, готовые, привычные, такие, какими поставляли их газеты,— в хорошем лозунге слова не переставишь,— летели из него, как из мясорубки: и ликвидация кулака как класса, и шесть условий, и овладение техникой. От рвачей из ночной смены, пропущенных через эту мясорубку и измолотых на

котлеты, остались лишь, как дощечки на кладбище, одни позорные ярлыки: кулацкие подголоски, предатели рабочего класса, враги социализма.

Он всегда говорил речь, как играл в «козла», заранее приберегая козыря, чтобы не дать себя побить неожиданным вопросом или возгласом из публики. На этот раз игра была верная, в руках три крупных козыря: Кларк, Андрей Савельевич и плотник Климентий. Козыри стояли в толпе, потные и измазанные. Гальцев бросал их неторопливо, по одному, начиная с Климентия — сознательного рабочего, вставшего на ликвидацию прорыва на чужом участке; перешел к Андрею Савельевичу — примеру единения инженерно-технического персонала с рабочей массой в общей борьбе за промфинплан; когда же, наконец, заговорил об американском инженере, проработавшем всю ночную смену вместо свалившегося драгера, толпа забулькала рукоплесканиями, кто-то крикнул: «Качать!» Отбивающегося недоуменно Кларка подхватили и, несмотря на его отчаянное сопротивление, раза четыре подбросили на воздух, потом церемонно подняли с земли его упавшую тюбетейку, помогли отряхнуть брюки и отпустили, виновато улыбаясь.

Гальцев сошел с импровизированной трибуны. Он был доволен речью и произведенным эффектом. Спускаясь по камням, он оступился и сорвался прямо в объятия Климентия.

— Ты бы им сказал парочку слов, товарищ Притула,— предложил он, придя в равновесие, словно его, Притулу, он только и разыскивал.

Климентий от неожиданности снял картуз.

— Это я-то?

— Можешь говорить?

— А то языка у меня, что ли, нет?

— Лезь тогда на трибуну... Слово имеет товарищ Притула, плотник, проработавший всю ночную смену с комсомольской бригадой.

Климентий немного сконфуженно мял в руках картуз:

— Так что, товарищи, мне тут подъемник ставить надо. С выстукадой, чтобы по ней камень отъезжал на колесиках. И вам подмога, и нам, плотникам, интересно. Только не люблю я дела откладывать. Сказано делать, делай. А тут мне Андрей Савельич намедни го-

ворит: нельзя, говорит, ставить, камень убрать некому. Вот, говорит, подожди, пока они выберут. А я говорю: да нешто такие выберут? Оно выходит — одна задержка. А мне еще давеча Андрей Савельич говорил: копер-то он не простой, а с принципом, без бумажки не построишь. А я ему говорю: строили мы и почище, и мельницы строили, и ветряки строили, нешто нам копра не построить! Покажи, говорю, где строить надо,— построим. А тут, выходит, камень не убран, и строить, говорит, не убрамши камня, нельзя. А работу кто ж любит откладывать, сказано сделай, значит делай. И камень, выходит, убрать надо, как же ставить, не убрамши? Обязательно надо. А то, выходит, не работа, а одна задержка...

Мало кто понял, о чем говорил Климентий, а говорил он долго, даже вспотел, и, слезая с груды камней, вытер лицо картузом. Все громко хлопали не столько тому, что он говорил, сколько количеству вывезенных им за ночь тачек. А он, сойдя с трибуны, еще взволнованно договаривал какому-то рыжему, уставившему на него свои выцветшие круглые глаза,— такие бывают у щенят:

— А копер-то не простой, с выстукадой. На одну выстукаду, знаешь, лесу сколько пойдет? Лес привезли подходящий. Самый раз теперь взять, а то растащат...

Тогда попросил слова тачечник из второй смены и сказал, что рабочий, за пятьдесят копеек подставляющий ножку строительству,— не рабочий, а просто сука. Бригады Кузнецова и Тарелкина не впервые бузят и срывают работу. Таким рабочим надо объявить бойкот, чтобы даже никто с сегодняшнего утра с ними не здоровался и не разговаривал, а будут разговаривать — не отвечать. И на работу, хоть бы и захотели встать, пускать их больше не надо. Пусть сначала публично, перед всеми рабочими, признают, что поступили как последние суки, и выгонят раскулаченных, которые их на это подбивают, а тех чтобы без никакого разговору передать в Гепеу.

Все кричали: «Правильно!». «Так их и надо!».

Мужик в соломенной шляпе закричал, чтобы это вписать в резолюцию.

Гальцев тут же на клочке бумаги набросал резолюцию и зачитал ее вслух, пропустив только предло-

жение о передаче зачинщиков в ГПУ. Он доказывал, что ГПУ — орган диктатуры пролетариата для борьбы с особой важности врагами советской власти и трудящихся. Ему закричали, что это и есть враги советской власти, и настаивали, чтобы непременно в Гепеу. Гальцев, видя, что всех не перекричишь и что выходит, будто он защищает рвачей, записал этот пункт в такой редакции, что если ГПУ найдет нужным, то собрание просит выяснить личности зачинщиков.

Резолюция была принята единогласно.

Три дня спустя, наблюдая за работой комсомольцев, Кларк мимоходом спросил у Полозовой, что случилось с теми двумя бригадами.

— Хотят встать на работу на старых условиях. Вчера вышли в полном составе. Рабочие не пустили их в котлован. Вынуждены были вернуться обратно в барак. Бойкот.

— Раз признали свою ошибку, почему же не пускают их на работу?

— В том-то и дело, что не хотят публично признаться. Амбиция не позволяет.

— Ну хорошо, а как же они живут, ничего не зарабатывая уже четвертый день? Надо их тогда просто уволить. Не собираетесь же вы взять их измором?

— То есть как это взять измором? — обиделась Полозова.— Едят то же, что и все рабочие.

— Это замечательно. А что же они, собственно, хотят? Кормят их, не дают работать. Какое ж это наказание? Это отдых!

— Наказание не в этом, а в том, что никто из рабочих с ними не разговаривает и руки не подает.

— Чем же это кончится? Хотите сломить их упрямство? Это не плохо. Плохо то, что в результате от этого страдает строительство. Ведь комсомольцев, которые их сейчас замещают, пришлось снять с других работ; чтобы залатать один участок, надо было обнажить другой. Амбиция не такая уж плохая черта,— может, и не особенно стоит ее ломать. Тем более, что, отказываясь от своих чрезмерных требований, они тем самым фактически признают свою ошибку и готовы исправить ее на практике. Разве уж так важно, чтобы это сделать публично и на словах?

— Важно, чтобы через неделю или через месяц у нас не было опять такой же истории. А для этого надо сделать все напрашивающиеся выводы, то есть надо на ней воспитать не только эти две бригады, но и всю остальную рабочую массу строительства.

— Вы смотрите на строительство с точки зрения педагогики, а я смотрю на него с точки зрения скорейшего выполнения намеченных работ. Это противоречие, по-видимому, тормозит ваши строительства не только в этом конкретном случае.

— Наоборот, милый товарищ Кларк, наоборот. Если бы мы не воспитывали рабочих в процессе самих работ, то с тем человеческим материалом, с которым мы начали строить, мы наверное не были бы в состоянии осуществить ни одного строительства. В этом весь секрет наших успехов.

Кларк покачал головой.

Из котлована вылезали комсомольцы, смена как раз кончила работу; они с веселым шумом окружили Кларка.

Со времени памятной ночи, проработанной им на котловане, Кларк везде, куда б он ни повернулся, встречал эти лица. На улице, в столовой, на кавальере, в кино незнакомые коричневые парни встречали его улыбкой, как дружеским поднятием шляпы. Кларк на первых порах даже удивлялся, откуда у него появился такой широкий круг знакомых. В приветствии этом было больше, чем знакомство. Так приветствуют не просто знакомого человека, а своего человека. И Кларк отвечал улыбкой. Чувство большого одиночества, которое он ощущал здесь в первые недели своего приезда, постепенно растворялось в этой мягкой теплоте встречных улыбок людей, с которыми он не обменялся ни одним словом, но глаза которых предлагали дружбу.

Возвращаясь как-то поздно вечером в городок, где ждала его машина, Кларк заметил, что кто-то следует за ним по пятам. На другой вечер, оглянувшись, он увидел идущую за ним в десяти шагах темную фигуру. Это не могла быть простая случайность. Кларк рассказал о своих вечерних встречах Полозовой. Она, словно извиняясь, объяснила, что комсомольцы, узнав об угрожающих записках, опасаются, чтобы с Кларком чего-нибудь не случилось во время его ночных воз-

вращений через пустырь, и решили попеременно провожать его с участка в городок. Кларк пробормотал что-то невразумительное; нельзя было понять — доволен он этой опекой или нет. На самом же деле он просто был смущен, но в смущении было что-то теплое и хорошее. Расхаживая по строительству, он уже не оглядывался, как прежде, с опаской по сторонам. Ощущение наличия вокруг многочисленных незримых союзников было радостно и ново.

И сейчас, окруженный комсомольцами, он хотел им сказать что-нибудь приятное, дать им понять, что он ценит их дружбу и сам чрезвычайно хорошо к ним относится. Он в затруднении подбирал слова, как писатель, потеющий над автографом, который надо написать не откладывая, экспромтом, и выдумать его тем труднее, что заранее знаешь — он будет ходить по рукам.

Тогда через группу молодежи пробрался к Кларку «Египтянин» и попросил Полозову перевести, не согласится ли Кларк выступить сегодня вечером на собрании рабочих и ИТР по делу Уртабаева. Нужно сказать всего несколько слов, разъяснить дело с экскаваторами, и хорошо бы было, если бы выступил американский специалист. Мурри отказался,— никогда публично не выступал. Кларка помнят еще с первого выступления; знают о его участии в ликвидации прорыва на котловане, и было б очень хорошо, если бы выступил именно он.

Кларк отрицательно мотнул головой, Гальцев пробовал настаивать, но Кларк отрезал решительно: выступать публично не умеет, по экскаваторам спецом не является и в роли эксперта ни в коем случае выступать не будет. Напоминание о его первом выступлении в бараке в устах Полозовой задело его, как насмешка. От выступления этого он сохранил маленькую обиду, которой не показал ни тогда, ни потом; не догадывалась о ней даже Полозова. Обида со временем стерлась, но воспоминание об истории, в которой, на его взгляд, он оказался в смешном положении, было Кларку по-прежнему неприятно.

Гальцев, убедившись, что американца не уговоришь, вежливо извинился и зашагал на своих длинных ногах к городку. Он был озабочен сегодняшним собранием, вся организационная сторона которого лежала

на его плечах. О деле Уртабаева циркулировали слухи, все более невероятные. Все уже знали, что Уртабаев не арестован и свободно уехал в Сталинабад. Слухи надо было пресечь в корне, показать беспартийным рабочим, что это вовсе не партийный секрет: бороться с Уртабаевыми должна вся рабочая масса. Гальцеву как антрепренеру сегодняшнего собрания хотелось обставить его с возможной помпой. Выступление Кларка, который, сам этого не подозревая, пользовался среди рабочих большой популярностью, могло быть гвоздем собрания. Да и вообще выступление американца, наряду с русскими, таджиками, узбеками и киргизами, давало бы повод для произнесения неплохого заключительного слова о международной солидарности. Гальцев был явно раздражен, он ускорял шаги, и широкие штанины на его тощих ногах трепыхались на ветру, как флажки.

У входа в юрту постройкома он с размаха столкнулся с выходившим оттуда Тарелкиным.

— Я к тебе, Гальцев. Второй раз захожу.

— Зашел — подожди. Не мне же целый день в постройкоме ждать твоего визита. Долго пришлось бы сидеть. У меня дел, как у тебя волос, и все успеть надо. А ты, слава богу, за три дня отоспался. Хорошо, хоть на четвертый удосужился зайти. Ну, ну, садись, послушаем, что нового надумал.

Тарелкин раздраженно передернулся.

— Я пришел тебе сказать, что пора эту волынку кончать. Не хотите нас на работу пускать, так давайте расчет. Сами себе работу найдем.

— Договор ты заключал не со мной, не со мной его и расторгать будешь.

— Чего вам от нас надо?

— Ты резолюцию общего собрания читал? Вот этого самого! Признать, что поступили неправильно и что наш советский рабочий так не поступает. Это раз. А во-вторых, не мешало бы вам немножко бригаду почистить, приглядеться, кто у вас там мутит. Дело простое, не над чем было три дня думать.

— Для тебя, может, и простое, для нас нет. Никто нас не мутит, у каждого своя голова, и каждый сам себе хозяин. А насчет того, что неправильно,— наше дело просить, ваше — не дать. Каждому интересно получить побольше.

— Это чье же — ваше и наше? А я вот думал, все наше.

— Ты меня на слове не лови.

— Ты, Тарелкин, видать, три дня думал и не додумался, почему это рабочие разговаривать и работать с вами не хотят. Это кто же будет — наши или ваши?

— А нам что? Прощения у них на коленях, что ли, просить? Не дождутся, больно надо!

— Эх, Тарелкин, Тарелкин, у кого прощения не хочешь просить? У своего класса? Да, он, класс, тебе снисхождение оказывает, что разговаривает с тобой. Поддал бы раз коленом под зад, и катись от наших к вашим. Амбиция тоже заела! Перед кем ломаешься? Перед своим же рабочим, товарищем! Ишь, стыд какой! Не выходить на работу, рвачей слушать не постыдились, а прощения просить у своего брата рабочего им стыдно.

— Ну, одним словом, подговаривать нас никто не подговаривал и выгонять из своей бригады никого не будем. А впрочем, приходи сам в барак, потолкуй с ребятами. Я им не командир.

— Вот и плохо, что ты им не командир. Раз выбрали бригадиром, значит, командиром быть должен. Ты ступай, поговори со своей бригадой, а я освобожусь, зайду к вам через часок, побалакаем.

В барак Гальцев через час не пошел, а переждал часика два с половиной — пусть шельмы подождут и поволнуются. По дороге заглянул в гараж и захватил помощника монтера, который с утра заходил к нему в постройком.

Подойдя к бараку дальверзинцев, он велел парню подождать:

— Вертись тут около барака. Когда позову, заходи.

В бараке было непривычно тихо. Увидя «Египтянина», дальверзинцы столпились поближе. Видно было, что его ожидали.

«Египтянин» присел на стол, достал кисет и невозмутимо принялся крутить цигарку; скрутив, пододвинул кисет к ближайшему: на, мол, угощайся.

Все молчали.

— Ну, как? Надумали? — бросил, наконец, «Египтянин», затягиваясь цигаркой.

Ответа не последовало.

— У вас что, языки отнялись?

— Пусть Кузнецов говорит,— предложил мужичок с рыжей бородкой.

Раздвигая толпу, вышел вперед парень в синей майке, с вытатуированным на левой руке большим сердцем, пробитым стрелой.

— Насчет извинения, шут с ним: раз все рабочие говорят — неправильно, значит неправильно. А насчет того, чтобы товарищей выдавать,— все решили, все отвечают поровну. Никто нас не подговаривал, и выдавать никого не будем.

— А тебе кому выдавать велят? — соскочил со стола Гальцев, наступая на Кузнецова.— Заучил наизусть: «не выдадим» да «не выдадим» и думает — рабочая солидарность! С кем солидарность держишь? С классовым врагом, с кулаком, вот с кем! Думаете, мало тут бежавших раскулаченных на строительство к нам втерлось? Как их различишь,— у каждого две руки и две ноги, как у меня с тобой. По чем их узнаешь? По агитации! Если у тебя такая сука в бригаде агитацию ведет, возьми ее за ворот и покажи всему рабочему классу: вот он, кулацкий агитатор, посмотрите, братцы, что у него там под рабочей рубахой! Вот как настоящий рабочий класс поступает! А вы что? Грудью своей перед рабочим классом его заслоняете? Не дадим, мол, своего кулака, он нам родного брата милее. Вот оно ваше «не выдадим»! А не выдавай, черт с тобой, видно, один другого стоите.

— Нет у нас никаких кулаков, ты нам очков не втирай! — огрызнулся Кузнецов.

— Нет? Наверное знаешь? А ну-ка, посмотрим.

«Египтянин» направился к дверям. Все думали, что разозлился и уходит, но он открыл дверь и позвал:

— Козюра, заходи.

Вошел монтер со второго участка.

— Ну, показывай, который?

Парень обвел всех глазами, раздвинул передних, чтобы разглядеть стоящих позади; осмотрев всех, удивился:

— А его здесь нет!

— Как так нет?

— Нету. Вчера его видел, а сегодня нет. В белой рубахе ходит, сам вроде блондин, а бородка у него рыжая.

Дальверзинцы переглянулись.

— Это он про Птицына, небось,— отозвался Тарелкин.— Птицын! Где же он?

Все расступились, открывая дорогу, но Птицын не выходил.

— С рыжей бородкой, говоришь? Да он тут только что стоял!

— Верно, стоял!

— Вот, вот стоял.

— Куда же он смылся? Выхода у вас другого нет?

Несколько человек кинулось в другой конец барака.

— Отперта! Ей-богу, отперта! Настежь! Даже захлопнуть не успел.

— Вот вам и Птицын ваш! — «Египтянин» оглянулся.— Козюра! Беги в милицию!

Дверь хлопнула. В бараке залегло тяжелое молчание.

— Кулаков никаких нет у вас? — «Египтянин» наступал на Кузнецова, и Кузнецов, шаг за шагом, пятился к стене.— Очки вам втирают, говоришь? А вот Птицын, из твоей бригады? Пролетарий чистокровный, небось? А знаешь ты, что твой Птицын, после того как его раскулачили под Тамбовом, весь хлеб колхозный поджег? Колхоз из-за него развалился, и люди по миру пошли. Пришел ко мне сегодня утром парень, говорит, так и так. Может быть, ошибаюсь, но только очень уж похож. Мы его, говорит, искали, искали,— пропал, как камень в воду,— а он, говорит, оказывается, на первом участке обретается...

Хлопнула дверь, в барак вбежал малый в длинных штанах, достигающих ему до подмышек и перехваченных в талии шпагатом.

— Ребяты! Не видали? Человек с берега в реку скакнул и вплавь пошел. Ей-богу, не вру! Вода его снесла за километр. Вылез на мель, потом на тот берег выбрался. Вот те хрест, не вру!

— Вот вам и ваш Птицын! — махнул рукой «Египтянин».— «Не выдадим, не выдадим»,— вот и не выдали!

«Египтянин» хлопнул дверью, с потолка посыпалась глина. Через минуту он уже шагал по направлению к парткому.

Сделав свой привычный круг, часа через два Гальцев зашел в юрту редакции местной газеты и столкнулся там опять лицом к лицу с Тарелкиным и Кузнецовым.

— Вы что?

— Да мы тут заявление принесли в газету, насчет бузы... что неправильно и всякое такое... И там еще, насчет чего обязуемся...— Кузнецов, не глядя на «Египтянина», сунул ему вспотевшую в руке бумажку.

«Египтянин» быстро пробежал глазами.

— А насчет агитации, мы там еще двух, чтобы не дали драпу, заперли в чулане. Разберитесь, кто и что... Только, ежели окажутся вроде как не кулаки,— не трогать. Все решили, у каждого своя голова, и отвечать, значит, надо поровну.

Они поправили кепки и быстро вышли из юрты.

Весть о заявлении дальверзинцев и о том, что в двенадцать часов они выйдут на работу, быстрее спешной телеграммы обежала весь участок. К двенадцати часам многие рабочие, на пять минут раньше побросав работу, столпились у котлована посмотреть, какие у шельмецов будут физиономии.

— Небось носы в вороты рубах попрячут.

— Совесть зазрила, стыдно им теперь на люди-то показаться. Четыре дня носа из барака не высовывали.

— Так им и надо! Пусть видят, что все на них смотрят.

Ровно без пяти двенадцать на дорожке, ведущей на котлован, появились дальверзинцы. Они приближались уже к насыпи, когда Кларк с Полозовой вылезли из котлована на отвал посмотреть на покаянное шествие.

— Видишь их! Собрались, как на гулянку!

Дальверзинцы шли гурьбой. Видно было, что к выходу своему они готовились долго. Они действительно принарядились, как на гулянку: на всех были свежевыстиранные белые рубахи и начищенные до глянца

сапоги. Они знали, что рабочие, объявившие им бойкот, соберутся смотреть на их покаянное возвращение, и уязвленная амбиция решила отказать им в этом спектакле. Они шли между шпалерами любопытных, не оглядываясь по сторонам, словно не замечая их присутствия. Впереди, пятясь задом, шел гармонист, развернув павлиньим хвостом гармонь. Перед гармонистом, мелькая начищенными голенищами, упершись руками в бока, плыл светлый парень в белой рубахе. Гармонист, отбивая ногой такт, пел высоким задиристым фальцетом:

Стоит милый на крыльце,
Моет морду борною,
Потому что пролетел
Ероплан с уборною.

Они с музыкой вскарабкались на кавальер, с музыкой спустились в котлован, и только когда стрела экскаватора, как рука дирижера, одним взмахом очертила полукруг, гармонь оборвалась, и зазвенели кирка и тачка.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На рассвете прошел дождь и, как заботливый хозяин в ожидании гостя, опрыскал пыльную землю. День пришел с востока, из Кашгарии, умелой рукой расстелил повсюду свой ненормированный товар: крыши блестели, как эмалированная посуда, и даже листва топорщилась на деревьях, точно необыкновенные халаты, развешанные для приманки.

Уртабаев шел по одной из журчащих голубых улиц Ташкента, преследуемый длинной вереницей тополей. Он остановился только тогда, когда улица кончилась и уперлась в сквер. Уртабаев свернул в поперечную аллею и неторопливо продолжал свой путь, обгоняемый и толкаемый стремительными людьми с портфелями, недружелюбно косившимися на его задумчивую походку. Человек, не торопившийся никуда, не внушал доверия.

Торопиться же Уртабаеву было некуда. Свидание, ради которого он приехал в Ташкент, должно было состояться только в одиннадцать, потому он и пустился пешком, скоротать оставшийся час.

В первый раз Уртабаев был в Ташкенте исключительно по своим личным делам, и потому ташкентские дни, всегда такие короткие, в обрез, наполненные торопливой качкой автомобиля, шуршанием отчетов и накладных, показались ему в этот раз пустыми и бесконечно длинными. Город, впрочем, жил по-прежнему своей торопливой компактной жизнью,— из открытых

окон учреждений дребезжали машинки, в подъезды входили и выходили люди, здороваясь на ходу короткими, стенографическими жестами. Город грохотал и гудел, сотрясаемый током высокого напряжения, связавшим это скопище людей и домов в одно вибрирующее целое. Только в нем, Уртабаеве, устоялась большая неподвижная тишина. Было непривычно-странно чувствовать себя точкой, выключенной из сети, обносить по звенящему городу свою оловянную тишину.

Он не пошел в постпредство, где все знали о его деле,— идти туда было незачем,— и дверь, через которую он входил всегда в этот многолюдный город, осталась перед ним закрытой. Так сокращенный за ненадобностью актер, по инерции придя вечером в театр, проникает в зал и осовелым зрителем присутствует на спектакле, действующим лицом которого был еще вчера. Такой странной позиции Уртабаев до сих пор не знал, и знакомый город показался ему сегодня несуразным. Спутались, как в кривом зеркале, привычные пропорции, из задворок вылезли на первый план огромные детали, не замечаемые никогда пустяки пыжились и загораживали дорогу: вот мы какие!

Уртабаев свернул влево. Тополя с разбегу побежали дальше, вдоль прямой бесконечной аллеи. Он почувствовал облегчение, словно обманул следующий за ним по пятам конвой. С забора зоологического сада щерились на прохожих малеванные звери кровожаднее и убедительнее живых. Рядом с зверинцем возвышался угрюмый киоск панорамы «Московский крематорий». Перед панорамой толпилось несколько красноармейцев. Красноармейцы сугубо интересовались, «как это мертвяки в печке прыгают», но не знали, стоит ли тратиться всем, и послали вперед одного делегата. Делегат вышел недовольный и презрительно сплюнул на сапог проходившему Уртабаеву:

— Никакое тебе не прыгают, и вообще дерьмо...

Более внушительная очередь стояла у соседней палатки, где, не смущаясь мрачным соседством, кургузый узбек из «Бродтреста» бойко торговал пивом.

Уртабаев посмотрел на часы и заторопился к трамваю,— было без десяти одиннадцать.

В переполненном трамвае его вдавили между двух плотных девиц. От девиц обильно пахло туалетным мылом. На следующей остановке трамвай разгрузил-

ся, и Уртабаев присел на скамейку рядом с маленькой женщиной в парандже. Баркер называл этих женщин «прокаженными». Покосившись на соседку, Уртабаев впервые подумал, что в этом живом мешке с черной сеткой вместо лица действительно есть что-то ассоциирующееся с мыслью о кожной болезни.

Напротив сидела девушка в маленькой голубой шапочке, со стриженой челкой и распушенными ресницами. Такие бывают только во сне. Раз взглянув, на нее хотелось смотреть часами, не отрывая глаз, не говорить, не дотронуться, а именно смотреть, как смотрят на вещь, прекрасную, хрупкую и недолговечную. О таких слагали песни персидские поэты, не веря сами, что подобные могут существовать в действительности. В руках у девушки был растрепанный томик, может быть, это были стихи о ней. Она сидела, приветливо улыбаясь болтовне немолодой претенциозной соседки, тараторившей без умолку,— в течение трех минут соседка успела рассказать историю одного года своей незатейливой жизни трестовской машинистки.

— Ну, а ты работаешь все там же? Как у тебя? Все хорошо?

Ресницы взметнулись вверх, девушка перестала улыбаться. В уголках губ появилась презрительная гримаса:

— Ах, и не говори! — сказала она чистым, певучим голосом — голос звенел как струна.— Сил никаких нет. Мучают нас этой выдумкой Ахун Бабаева, заставляют всех зубрить узбекский язык.

— Ага, и вас тоже!

— Ну да, грозят, что тех, кто не выучит до конца года, будут сокращать. Иначе разве кого-нибудь заставили бы? Сарты не понимают по-русски, потому, видите ли, мы обязаны говорить с ними на их кошачьем языке.

Она раскрыла книжку. Это был курс узбекского языка.

— Вот видишь, даже в трамвае зубрю: яшасун, якши, уртак, ишак.

Обе расхохотались.

Уртабаев моргал глазами. У него было ощущение, как будто его окатили водой из пожарного рукава. В другое время он обязательно ответил бы что-нибудь резкое и грубое, но сейчас слова першили в глотке.

Выручил узбек в замасленной спецовке, молчаливо прислонившийся к двери.

— Ты, барышня, узбекский народ зачем обижаешь? И хлеб наш ешь, умей разговаривать с дехканином на его языке. И твой папаша, наверное, в Соловки живет, а тебя в советском учреждении держат, чаем поят. Зачем плюешься, сартами узбекский народ обзываешь? Разве я тебя собакой назвал? За сарта в милицию попадешь.

Как грозное подтверждение, за окнами трамвая проплыл перекресток с бронзовым милиционером, поднявшим руку в ослепительно белой перчатке.

Девушка передернула плечами и, распрощавшись с соседкой, поторопилась к выходу.

Уртабаев сходил тоже на этой остановке. Он сошел, не оглядываясь.

У входа в комендатуру ОГПУ прохаживался молодцеватый красноармеец. Получив пропуск, Уртабаев поднялся по широкой каменной лестнице и постучался в указанную дверь.

Человек, сидевший за столом на фоне огромной карты, поднял голову. По бритому лицу, от виска к щеке, сползал знакомый безыскусно заштопанный шрам. Только широкий лоб за год подался вверх, небрежно сдвинув назад волосы, да в волосах засквозила седина.

— Я к тебе, товарищ Пехович, не помешаю?

— Садись, садись,— пригласил чекист.— Неважно выглядишь. Стареем, брат, ничего не попишешь. Годики-то уходят. Хорошо, что навестил. Рад тебя видеть. Ну, как дела?

— Дела? — грустно улыбнулся Уртабаев.— Вот о делах и пришел поговорить. Плохи у меня дела, товарищ Пехович. Об исключении меня из партии слыхал?

— Слыхал,— без выражения подтвердил Пехович, поигрывая карандашом.

— Ну, и что ты об этом думаешь?

— Запутанное дело, брат. Сам черт не разберет. Да и ты еще сам его порядочно запутал. Зачем же ты набузил с этими экскаваторами? Против решения руководства? За такую партизанщину, брат, спецов бьем, а тут еще коммунист.

— Да ведь я же действовал с согласия представителя фирмы.

— Мало, брат. Надо было согласовать с управлением. Иностранцы, сам знаешь,— народ непоседливый. Ищи его теперь, твоего представителя.

— И разыщу. Дайте только время. Да и экскаваторы тут — дело последнее. За это полагается выговор, в худшем случае с предупреждением, за такие вещи из партии не исключают.

— Но-но, за самоуправство-то исключают, и еще как!

— Ты сам понимаешь, что меня исключили за другое: за мнимую связь с басмачеством и с Афганистаном. Вот в это обвинение ты веришь? Скажи прямо: веришь, что я продавал советскую власть басмачам и эмиру бухарскому?

— Тебе важно мое личное мнение?

— Да, очень.

— Видишь ли, я в это не хочу верить, но материал против тебя собран очень тяжелый. Надо тебе доказать, что материал этот не достоверен. А всякие лирические разговоры дела не изменят.

— Слушай, Пехович, через четыре дня мое дело будет решаться в ЦКК в Сталинабаде. Я приехал сюда, в Ташкент, специально, чтобы повидаться с тобой. Ты один своим свидетельством можешь мне помочь. Ты был у нас уполномоченным во время прошлогоднего налета. Комаренко приехал позже и не знает всех подробностей. Основное обвинение против меня базируется на показаниях Ходжиярова о гибели моего отряда под Кииком и о моих переговорах с Файзой. О переговорах этих я информировал непосредственно тебя. Ты один можешь засвидетельствовать, что после моих переговоров на отряд Файзы наскочил наш красноармейский отряд под командою Остапова, что отряд Файзы был перебит и сам Файза оттеснен далеко в горы. Словом, Файза не имел физической возможности явиться на следующий день для сдачи оружия в ущелье Дагана-Киик. Ты ж это знаешь?

— Знаю.

— Ну вот, напиши об этом в контрольную комиссию. Дай мне такое письменное показание.

— Видишь ли, обо всем, что мне известно по твоему делу, я уже давал показания по нашей линии. Нет никакой надобности давать их вторично,

— Иными словами, такого показания дать мне не хочешь? Ведь я не прошу тебя высказывать свое мнение, заступаться за меня. Я прошу только подтвердить факт, хорошо тебе известный. Неужели ты откажешь мне в таком пустяке?

— Говорю тебе, кажется, человеческим языком: показание по твоему делу я уже давал. И повторять его нет никакого смысла.

Уртабаев поднялся.

— Ну, я пошел. Извини, что отнял у тебя время.

— Мнительный ты человек, Уртабаев. Поверь моему чекистскому слову: пустяки все это. Имел ли Файза возможность прийти и сдаться или не имел возможности,— ничего от этого не меняется. Ты докажи, что Ходжияров врет, что его вообще не было в твоем отряде. Если достанешь такое свидетельство, никакие другие тебе не нужны. А не докажешь — привези хоть десять рекомендаций,— в партии тебе не быть.

Уртабаев мял в пальцах разовый пропуск.

— Ты на меня не сердись,— сказал он, смотря в окно.— Я сам понимаю, что все это пустяки и ездить в Ташкент было незачем... Ну, спасибо тебе, ты хороший человек...

— Подожди,— Пехович порылся в ящике стола.— Есть тут одна мелочь, которая может тебе пригодиться...

— Револьвер?..

— Не дури... А вот она.— Он достал и развернул газету.— Вот это — афганская газета. Тут отмечена одна статейка. Может тебе очень пригодиться...

Уртабаев пробежал статейку, отмеченную красным карандашом:

Сердце наше страдает, как роза, которую бросил на дорогу неразумный странник и которую втоптал в пыль верблюд проходящего каравана.

Много раз мы призывали наших любезных соотечественников к разумному подчинению велениям великого шариата во имя милости бога и благословения пророка (да будет мир божий над ним!).

Увы, слова наши остаются без внимания и подобны призыву муэдзина, которого не слышат уши легкомысленных правоверных, погруженных в глубокий сон.

Дошли до нас вести, что банда безбожников из кишлака Калбат, Имам-Саибского хакимства, поправ священные указания всевышнего и великих руководителей ислама, направленные к благополучию и счастию людей, подражая неверным, установила

в своем кишлаке порядки, противные шариату. Упразднив по совместному соглашению собственность, установленную богом, эти дехкане смешали воедино все свои хозяйства и, наподобие безбожников в Советах, о деяниях которых ни один правоверный не может подумать без содрогания, организовали у себя советский колхоз. Соблазненные примером неверных, эти мусульмане, обрекшие на гибель свои уши, забыли священные слова Корана: «Дела неверующих подобны мареву в пустыне: жаждущий считает его водой, но как скоро подходит к нему, ничего не находит, а находит с собой только бога, который требует его к отчету». И другое, столь же священное указание нашего великого пророка (да будет мир божий над ним!): «Не производите расстройства на земле после того, как приведена она в благоустройство. Призывайте Его со страхом и надеждою: истинно, милость божия близка к делающим доброе».

Безбожники из кишлака Калбат отказались, помимо того, платить все установленные богом налоги, за исключением «кардари», и проявили большую нерадивость и беспечность в соблюдении молитвенного ритуала, составляющего один из столпов мусульманской веры.

По милости божьей и по донесению одного из благочестивых хазаратов в настоящую минуту зачинщики этого безбожного дела понесли уже заслуженное наказание. Отрезанные их головы выставлены перед мечетью, дабы население других кишлаков видело, как закон карает преступников, нарушивших основы священного шариата.

А население всего Имам-Саибского хакимства, не поддаваясь уговорам завистников, подбивающих его против благочестивых мусульман, которых бог милостивый и милосердный одарил земными благами в отмеренном им количестве, пусть помнит указание совершенной мудрости божией, выраженное в словах пророка: «Если бы бог в изобилии подавал рабам своим жизненные потребности, то они без меры буйствовали бы на земле; но он ниспосылает им в умеренном количестве, в каком хочет, потому что он видит рабов своих».

Уртабаев сложил газету.

— Можешь мне дать этот номер?

— Бери. Но это, брат, тоже мелочь, дела не меняет. Времени много теряешь. Поди, больше недели на поездку сюда ухлопал. Тебе дальше Киика и езжать не надо было. Свидетелей на месте поищи, с дехканами побалакай. Попомни мои слова. По старой дружбе говорю...

Уртабаев шел по невеселым посеревшим улицам. Шел долго, не ощущая усталости, и удивился, когда ноги привели его к гостинице.

Ключа от его комнаты на доске не оказалось. Он повернулся, чтобы спросить, и увидел устремленные на него пристальные глаза швейцара.

— Вас дожидаются,— угрюмо сказал швейцар.

Уртабаев вздрогнул. Он взглянул вверх на пустую лестницу, мгновение заколебался и, чувствуя на себе строгие глаза швейцара, тяжелым шагом стал подыматься. Не раздумывая больше, он толкнул дверь своей комнаты и в ту же минуту почувствовал на шее чьи-то крепкие руки и на губах холодок чужих губ. Это была Синицына.

— Ну, наконец-то. Жду два часа. Насилу разыскала тебя,— она захлопнула дверь и потащила его на середину комнаты.

— Вы здесь?.. Ты здесь?..— растерянно бормотал Уртабаев.— Что ты здесь делаешь?

— Приехала к тебе.

— Ко мне?

— Ну да, к тебе. И теперь уже насовсем. Ты недоволен?

— Я ведь здесь всего на пару дней. Завтра должен ехать в Сталинабад.

— И что из того? Поедем вместе.

— Вместе в Сталинабад?

— Ну да.

— Да ты не отдаешь себе отчета, кажется, в моем положении.

— А ты не отдаешь себе отчета в моей любви,— она трясла его за плечи.— Люблю тебя, понимаешь? И никуда от тебя не уеду. Во второй раз меня не прогонишь.

— Пойми, Валя, это же безумие. Через четыре дня в ЦКК в Сталинабаде будет решаться мое дело. Если я не опровергну обвинений, меня, по всей вероятности, арестуют.

— Ну, и что же. Если тебя сошлют, поеду за тобой. Не пытайся меня прогонять,— ничего не выйдет. Тогда ты не хотел оставить меня у себя, потому что я не верила в твою невиновность, но ведь сейчас я знаю, что ты невиновен. Тогда я еще не знала, что люблю тебя, но ведь теперь я это знаю твердо. Что изменится от того, что тебя засудят какие-то дураки?

Уртабаев мягко гладил ее плечи:

— Пойми, я не могу согласиться. Подождем, может, мне удастся разбить это нелепое обвинение. У меня есть уже в руках одно доказательство. Смотри, вот в этой газете есть заметка, что в кишлаке Калбат в Афганистане действительно организовался колхоз.

— Ну вот видишь, все не так страшно, как тебе кажется.

— Да,— помрачнел Уртабаев,— только все это не главное, не основное. Если я не докажу, что мой главный обвинитель Ходжияров врет, в партии меня все равно не восстановят.

— Ну и не восстановят. Подумаешь! Ты-то сам знаешь, что не виноват.

— Да, но партия, к сожалению, этого не знает.

— А ты тут при чем? Зачем ты вообще так рьяно добиваешься переубедить людей, которые не хотят тебе верить? Плюнь ты на это дело!

— Что ты говоришь!

— Хватит тебе разыгрывать из себя этакого попираемого всеми Иисусика: они в тебя камнем, ты в них хлебом. Что я — слепая, что ли? Из всего руководства строительством ты один проводил с самого начала правильную линию. Ты сразу раскусил и Еремина, и Четверякова и дрался с ними до тех пор, пока партия не поняла, что доверять им в дальнейшем руководство нельзя. Кто тебя за это поблагодарил? Почему не тебя назначили главным инженером на место Четверякова, прислали вредителя Кирша?

— Да брось, пустяки...

— Врешь! Самому тебе больно было. Не притворяйся, что тебе безразлично. Никому такие вещи не безразличны. Плюют тебе в лицо, а ты утираешься и делаешь вид, будто не заметил. Приехал какой-то товарищ Морозов, ни пев, ни плясав, сел на место, которое ты расчистил собственными руками, и в награду за все снял тебя с работы, как мальчишку. И никто слова не пикнул. Может, не так было? А потом приходит какой-то пройдоха с кандидатским билетом, заявляет, что ты шпион и басмач, и тебя выгоняют из партии. И опять хоть бы кто-нибудь заикнулся в твою защиту. Выгнали — и ладно. Неужели тебе не достаточно? Зачем ты еще лезешь к этим людям, просишься, доказываешь, хочешь кого-то убедить? Чем?

— Но ведь партия...

— Партия! Партия! Партия — это люди! Если партия так ценит и дорожит преданными работниками, то пусть поищет других. Ты достаточно долго отдавал партии свою жизнь, силы, а много за это получил? Пусть трудятся те, кто получает от этого «моральное

удовлетворение». А ты? Большое удовлетворение получил? Клеймо на лбу и вон? И все тебе мало. Разве вне партии ты не сможешь жить и работать? Неужели у тебя нет никакой потребности в личной жизни? Неужели ты не устал от этой ежедневной чехарды? Давай уедем отсюда. Мало ли строительств в Советском Союзе?

— Ты это не всерьез, Валя. Неужели ты предлагаешь мне бежать?

— Да ведь ты сам затевал дело в ЦКК, добивался пересмотра. Никто за тобой не гонится. Если не явишься, просто не будут пересматривать. Все равно, сам говоришь, нет у тебя доказательств, которые были бы в состоянии повлиять на перемену решения.

— Мой отъезд сейчас, даже на короткое время, рассматривался бы как неопровержимое подтверждение моей виновности. Это совершенно немыслимо. Никуда я не уеду.

— Ну, конечно, разве можно покинуть свой прелестный Таджикистан! Действительно, как это я могла даже на минуту предположить, что ты способен на подобную жертву? Я вот могла все бросить и поехать за тобой, даже минуты не думая, что чем-нибудь жертвую... Впрочем, не стоит начинать совместную жизнь с упреков, лучше не начинать ее вовсе...

— Значит, ты раздумала?

— Останусь с тобой. Поедем завтра в Сталинабад. Давай об этом больше не говорить.

— Это твердо, любимая?

— Вполне. Больше никаких упреков от меня не услышишь.

...На дворе грохотали грузовики, заставляя тонко звенеть стекла гостиничных окон, и тени двух тополей за окном, как два больших сырых пятна, медленно высыхали на полу...

Уртабаев ушел в город хлопотать о билетах на завтрашний поезд. Валентина осталась ждать в гостинице. Она вытянулась на постели и смежила глаза. За окном скрипела арба, кричали верблюды, хрипло побрякивая колоколами. День, подобрав свои пожитки, покидал город, и, как дым от потушенного костра, тянулись по улицам сумерки.

Уртабаев не возвращался. По улицам уже текла ночь, и мрак в комнате отслаивался густой, как ил. Си-

ницына, не раскрывая глаз, чувствовала веками тьму. Уртабаев не возвращался. Тогда мысль, давно уже назойливо звеневшая, впервые больно уколола сознание: все учреждения давно закрыты, Уртабаев, очевидно, не вернется...

Синицына не открыла глаз. Укол рассосался и не причинял больше боли. Она подумала, что, по сути дела, решила связать свою жизнь с человеком, о котором не знает ровно ничего, кроме одного романтически-благородного жеста. Вся эта затея показалась ей вдруг бессмысленной. Человек, против которого должны были ее насторожить никем до сих пор не опровергнутые улики, мог прекрасно играть перед ней комедию, как играл ее пред всеми. И сейчас, укачиваемый бегом поезда где-нибудь далеко от Ташкента, он пересекает степь, убегая от погони, оставив в гостиничной комнате незваный и ненужный багаж — жену секретаря парткома, прибежавшую за тысячу километров навязывать ему свою любовь.

Она попробовала обидеться, может быть, заплакать — плач принес бы покой и облегчение,— но ощущения обиды не было, было ощущение бестолочи и огромной пустоты. Жизнь вчерашняя, завтрашняя, сегодняшний инцидент — все казалось одинаково нелепо. Была большая усталость и желание спать. Синицына попробовала открыть глаза и, не открыв их, уснула.

...Проснулась от чьего-то прикосновения. В комнате горел свет. На краю постели сидел Уртабаев. Она потрогала его рукой и улыбнулась, как девочка, которой приснился плохой сон. Ей не хотелось спрашивать его ни о чем. Он был здесь, не ушел, она была не одна, и это было главное. Она с благодарностью обняла неповоротливыми от сна руками его большую шею.

Перед открытыми глазами проплыл потолок, разделенный фанерной решеткой на двенадцать равных квадратов. Уртабаев спал. Валентина облокотилась на подушку и в молчании созерцала его лицо. Темные губы, как у человека, объевшегося черникой, мясистый нос, на правой щеке, около уха, большая родинка, похожая на сцарапанную болячку. Синицына брезгливо потрогала родинку пальцем.

Карманные часы Уртабаева показывали одиннадцать. Синицына тихонько соскочила с постели и стала

одеваться. Вода в заржавевшем умывальнике текла капризной струей, достаточной, чтобы освежить лицо, но неспособной смыть с него мыла. Провозившись около умывальника, Валентина присела на подоконник. Уртабаев перевернулся на бок. Она подошла и потрогала его за плечо.

— Вставай, уже поздно. И ради бога, не сопи так громко. У тебя, наверное, в носу полип.

Он одним броском присел на постели.

— Ты встала? Разве уже так поздно? Отвернись к окошку, я сейчас оденусь.

Он долго полоскался у умывальника, ловя неуклюжими руками неуловимую струю.

— Ну, я готов. Знаешь, пора уже собираться.

— А мне нечего собирать. Все мое на мне.

— Хорошо начинать совместную жизнь без балласта каких-либо вещей, правда? Все-таки кое-что придется купить. Давай уж займемся этим в Сталинабаде.

— Как хочешь...

В купе, несмотря на раскрытые настежь окна, было душно и потно. Поезд долго не трогался, снаряжаясь в трехдневное путешествие. Соседями по купе оказались знакомый секретарь шуроабадского райкома и какой-то узбекский замнарком. Уртабаев ушел и вернулся с охапкой лепешек и персиков. Он беспрерывно хлопотал, три раза в течение получаса справлялся у Валентины, не жарко ли ей, как будто мог чем-нибудь помочь, и то и дело гладил ее руку. Секретарь шуроабадского райкома, издавна знавший Синицыну и ее мужа, смотрел удивленно раскрытыми глазами, ничего не понимая. Когда же наконец понял, смущенно заслонился газетой и притворился усердно читающим.

Синицыну в равной мере раздражали встреча со знакомым человеком и предупредительная заботливость Уртабаева. Она резко отдернула руку, извинилась, что у нее болит голова, и, уткнувшись в угол купе, притворилась спящей.

Поезд подолгу стоял на станциях, пропуская встречные составы. Пестрые вокзалы с голубыми куполами назойливо гремели чайниками, гортанными криками водоносов, гамом взбудораженной толпы. Вокзалы были похожи друг на друга, и пассажир, вздремнув под размеренный грохот колес, очнувшись на

десятой остановке, сонно выглядывал в окно, приходил к заключению, что стоит еще на той же станции, и, проклиная медлительность азиатских поездов, спешил опять уйти с головой в дрему.

Уртабаев вполголоса вел беседу с секретарем шуроабадского райкома и узбекским замнаркомом. У замнаркома были длинные усы и бритый подбородок. Замнарком, видимо, недавно сбрил бороду. Разговаривая, он то и дело подносил руку к лицу и, не находя бороды, заслонял ладонью оголенный подбородок, как полураздетая женщина прикрывает слишком глубокий вырез. Он жевал «нас» и стыдился своей привычки. Когда ему надо было высыпать щепотку табака на ладонь, он отворачивался и делал это украдкой.

Секретарь шуроабадского райкома курил невозможные папиросы и привычки своей не стыдился. Цигарки он крутил тут же из исчерканной карандашом ведомости, отпечатанной на папиросной бумаге. Синицына вспомнила, что секретарь разводил в своем районе опытную плантацию табака, который по своему качеству должен был конкурировать с турецким. Опыт вышел не вполне удачен, и хозяйственные организации, несмотря на все красноречие секретаря, разводить табак в более широких масштабах запретили. Секретарь не пробовал оспаривать решение, но в знак молчаливого протеста сам курил табак исключительно собственного производства, находя в нем особый вкус, хотя от его табака воротило нос на расстоянии ружейного выстрела.

Они беседовали оживленно о том, о чем в это время года разговаривают, встретившись на путях, все среднеазиатские работники,— они говорили о хлопке, сбор которого близился и волновал, заставляя прикидывать по количеству проведенных окучек приблизительные цифры выполнений и недовыполнений. Замнарком достал из кармана горсть отборных египетских семян из подшефного колхоза. Секретарь и Уртабаев мяли семена в пальцах, пробовали на зуб, как крестьяне пробуют пшеницу. Замнарком рьяно отстаивал качество семян. Потом секретарь и замнарком достали из портфелей свои сводки, стали сравнивать количество окучек и итоги борьбы с гибридами, и секретарь побил замнаркома стопроцентной очисткой своих полей от гибридов вручную, силами местной комсомольской

организации. Они поспорили насчет предстоящих сборов, запутавшись при переводе гектаров на тонны. Замнарком за отсутствием бороды теребил усы и волновался, настаивая на цифре, указанной в его наметке. Уртабаев приводил средние цифры прошлогоднего сбора в Египте и развертывал длинную теорию реорганизации всей системы поливов.

Синицына сидела, молчаливо втиснувшись в угол. Уже не было надобности притворяться спящей, никто из разговаривающих не обращал на нее внимания. Цифры плавали в воздухе, как огромные инфузории, помахивая хвостиками и завитушками. Синицыной стало скучно. Она попробовала смотреть в окно, но за окном плыли те же гектары вездесущего, неистребимого хлопка.

Ночь пришла внезапная, как туннель. В вагоне загорелось электричество. Никто из разговаривающих этого не заметил. Синицына смежила глаза. Опять, как сутки тому назад, стучали колеса. Она проделывала обратно путь, отмеренный только вчера,— нелепый пробег Сталинабад — Ташкент — Сталинабад. Зачем? Неужели только для того, чтобы возвращаться в одном купе с этим чужим человеком, грызущим, как обезьяна, хлопковые семечки? Какая нелепица! Все это походило на скверный сон. Три человека, нагнувшись друг к другу, как заговорщики, склоняли на все падежи косматое слово: хлопок. Слово, от которого она бежала когда-то из какого-то далекого поселка над большой рекой, бежала сотни километров на грузовике, на пароме, в поезде, волоча за собой длинные неустранимые волокна, чтобы наконец, запутавшись в них, как в постромках, обессилев, дать им потащить себя обратно. Она приоткрыла глаза. Дым секретарского табачка тянулся в воздухе длинными белесыми волокнами, лез в глаза, в рот пушистыми хлопьями хлопка. Чтобы не задохнуться, Синицына открыла дверь и выскользнула в коридор. Трое людей, занятых разговорами, не заметили ее ухода. Она пошла вдоль коридора навстречу струе свежего воздуха, врывавшейся с площадки. Из открытых дверей смежных купе мягко, как хлопья, падали слова: люди в смежных купе говорили о хлопке.

Синицына вышла на площадку. По обеим сторонам вагона с грохотом бежала ночь. Поезд, наверсты-

вая дневное опоздание, мчался, удваивая скорость. Поезд торопился отвезти в Таджикистан эшелон людей, которых ждал хлопок. Зачем на этом поезде очутилась она, Синицына? Какой абсурд! Надо просто сойти на первой остановке и ехать обратно в Ташкент, потом дальше... Куда? Опять длинные сутки грохота, духоты,— люди, чайники, станции. Какая разница? Новые зоны. Новый пароль, склоняемый с воодушевлением незнакомыми людьми. Вместо хлопка — хлеб, потом чугун. Какая разница? Все это уже когда-то было. Кажется, в двадцатом году, во время очередного отступления, в полдороге превратившегося в наступление. Она отбилась тогда от своей части, изнуренная, еле держась на ногах, запуталась в водовороте подвод, фургонов, амуниционных ящиков. Все куда-то торопились, хлестали взмыленных лошадей, кричали друг другу в ухо, заглушая орудийный гул, непонятные косматые слова: названия каких-то деревень и местечек. А она, усталая до изнеможения, путалась среди конских морд с седыми генеральскими бакенбардами из пены, не зная, куда податься. Тогда хотелось одного: спать. Как сейчас. Лечь и спать. Лучше всего сойти. Сойти сейчас, не дожидаясь станции, пока не придут и не позовут. Кто-то, кажется, хлопнул дверью. Быстро, сейчас же...

Внизу, в грохочущем промежутке вагонов, стремительной телеграфной лентой бежал рельс.

«Телеграмма Володе... Смешно...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

По песчаной насыпи, между рельсов осторожно шагая через шпалы, мягкой балетной поступью шел верблюд. Верблюд тащил пять вагонеток, доверху нагруженных песком. Поклажа была тяжелая, постромки натирали облезлые бока, перекладины шпал назойливо путались под ногами. Верблюд в роли паровоза чувствовал себя непривычно и глупо. Он нес свою удивленную морду на изогнутой шее, как огромный вопросительный знак, и по оскорбленному выражению морды было видно, что он воспринимает все это как неуместную, неостроумную шутку. Он шел медленно, недоуменно озираясь по сторонам в поисках сородичей

или сочувствия, но кругом простиралась голая пустыня, поросшая пресной колючкой. Впереди — длинная дорожка рельсов, позади — грохот колес, скользящих по железным брусьям. Грохот шел по пятам неотступно, как надоедливый погонщик.

Следом за необычным поездом шли два комсомольца с лопатами на плечах. Комсомольцы молчали. Зной склеивал губы и глаза. Размеренный гул колес укачивал ко сну. Ноги скользили по хрустящему, утрамбованному песку, заплетаясь на шпалах.

Шли час, может, три — ничто, кроме шпал, не позволяло определить пройденного пространства. Они пробовали считать шпалы, но сбились в счете, внезапно наскочив на последнюю вагонетку. Верблюд остановился у рыжих холмов, подкативших справа к полотну. Комсомольцы тронули верблюда черенками лопат и криком пытались заставить его продолжать путь. Верблюд рванул, протащил вагонетки еще десяток шагов и остановился. Комсомольцы вдвоем принялись толкать вагонетки сзади, но не могли сдвинуть их с места. Верблюд, поджав ноги, опустился на полотно, равнодушный к понуканиям и побоям. Его иронические глаза, казалось, говорили, что шутки хороши в меру, что в паровозы он не нанимался и что тащить дальше весь этот громыхающий багаж никакими силами его не заставишь.

Комсомольцы присели на насыпи. Задержка грозила сорвать на целый день работы по прокладке узкоколейки. Груз для верблюда был чересчур велик. Посоветовавшись, они решили отцепить последнюю вагонетку. Верблюд равнодушно лежал между рельсов и не думал подыматься.

Выбившись из сил, они вторично присели держать совет. Младший, Урунов, предлагал отцепить переднюю вагонетку и катить ее вручную. До места работ, однако, оставалось не меньше десяти километров, и доставка одной вагонетки не спасала положения. С пристани должны были скоро выйти четыре верблюда с рельсами. Старший комсомолец, Зулеинов, предлагал дожидаться их прихода и пару верблюдов, сняв с них рельсы, запрячь в вагонетки. На этом и порешили.

Они сидели долго под оглушительным солнцем, раздосадованно отплевываясь и с ненавистью погля-

дывая на коварное животное, огромной ящерицей вытянувшееся между рельсов. Звуки таджикской речи заставили их обернуться. Из-за холма показались четыре бородатых всадника на ослах. Впереди ехал старик в белой чалме. Увидав пересекавшее им путь полотно узкоколейки и неподвижные вагонетки, всадники остановились, потом, кольнув осликов в холку острыми, как шило, деревянными палочками, подъехали к комсомольцам.

— Салям алейкум!

— Алейкум салям! — поднялись комсомольцы.

— Поезд сломался? — насмешливо спросил крайний всадник с рыжей бородой, в серой афганской чалме.

— Сломался,— кивнул Зулеинов, делая вид, что не улавливает насмешки.— Попить есть?

Большеглазый парень с черной порослью на лице молча отстегнул большую тыкву и протянул Зулеинову. Зулеинов отпил и передал товарищу.

— Зачем железную тропинку провели? — спросил опять рыжий.— Чтобы верблюдам было ходить удобнее?

— Верблюд темный, не понимает. Не хочет ходить по их тропинке,— закудахтал мелким смешком третий, чернобородый полван[1] с волосатой грудью, просвечивавшей в прорезь халата.

— Железную дорогу строим,— спокойно ответил Зулеинов.— В Исталинободе видел? Такая же, только поменьше.

— Дехкан на ней возить будете? — полюбопытствовал рыжий.

— Нет, груз будем возить на строительство: бетон, бензин, машины.

— А зачем верблюда запрягли? — осклабился черный.

— Паровоз еще не готов, потому на верблюдах возим. Поедешь через недельку, увидишь, как сама машина вагоны по рельсам тащит, и не столько, а в три раза больше.

Всадники покачали головами.

Рыжий слез с осла и привязал его к задней вагонетке. Остальные последовали его примеру. Рыжий

[1] Силач.

вытащил из хурджума большую лепешку и протянул Зулеинову. Комсомольцы отломали по куску. Присев на насыпь, некоторое время все молча жевали.

— Зачем против своих, мусульман, идете? Бесчестному делу помогаете? — спросил вдруг строго старик.

Зулеинов вытер руки о халат.

— В каком же это бесчестном деле помогаем? Разве бесчестное дело воду на дехканскую землю пустить?

— Лжешь! Воду с дехканских полей отвести хотите, чтобы с голоду все подохли! Чужая земля вам нужна! Чужие бараны спать не дают! Вахш хотите загородить и поля высушить по всему Джиликулю! — стучал палкой старик.— Бога не боитесь! Дети мусульман с кафирами[1] против своих идете. Тьфу! Тьфу! Тьфу!

— Разве они знают, куда их ведут? — огладил бороду рыжий.— Спроси барана, куда его пастух гонит. Русский сказал: вино пей, можно! С русскими женщинами спи, можно! Вот и побежали, как жеребцы. Родному отцу глотку перегрызут и к его баранам тропинку покажут.

— Ты, старик, головы людям не морочь,— поднялся Зулеинов.— Кто это собирается осушать поля по всему Джиликулю? Зачем же это, объясни-ка?

— Ты, может, и не знаешь,— глуп еще и щенок, и не все тебе знать полагается. А русские знают. И мы знаем. Землю у дехкан отнять силой боитесь, потому нет такого закона. Вот и порешили: давай загородим Вахш, вода уйдет на пустыню, а их поля высохнут, бараны захиреют. Тут и сами свои кишлаки оставят: бери все голыми руками. В каком деле помогаете? Разум вам затмило с тех пор, как от бога отвернулись? Бойтесь гнева божия!

— Ты нас, старик, богом не пугай,— сказал Зулеинов.— Мы на этот счет не из пугливых. А с Вахшем это ты ловко придумал. Ловко, да не совсем. Какой дурак тебе поверит? Зачем советской власти у дехкан землю отнимать, когда тут вот, на голом месте, только пусти воду, такая уйма хорошей земли будет, что сколько из ней совхозов ни устраивай, все равно рук не хватит. Из Ферганы таджиков выписывать при-

[1] Неверными.

дется,— местными руками не осилим. Взялся врать — ври хоть так, чтобы складно было.

Старик расплевался и пошел к ослу. Поднялись и остальные.

— Ты, щенок, прикуси язык, смотри, как бы не укоротили,— повернулся рыжий.— Побереги, пока со мной не встретишься. Скажи: обещал еще раз поговорить с Уруном Писар-и-Шамси. Так и скажи.

Он пошел отвязывать осла и, проходя мимо вагонеток, вдруг замахнулся камчой и хлестнул наотмашь по лицу облокотившегося на вагонетку Урунова. Урунов вскрикнул и упал лицом в песок.

Зулеинов схватил лопату и замахнулся на рыжего.

— Ты чего наших ребят трогаешь? — Он взвизгнул от боли и шарахнулся назад. Занесенная вверх рука хрустнула в суставе и выпустила лопату.

— На старшего руки не подымай, нехорошо,— назидательно сказал полван с волосатой грудью, отпуская руку Зулеинова.

Все четверо сели на ослов и мелкой рысью потрусили напрямик через равнину.

Зулеинов нагнулся над Уруновым и помог ему встать. По лицу Урунова текла кровь.

— Покажи лицо. Ну, ничего страшного. Почему он тебя съездил, а не меня? Послабее выбрал, собака. Кто это такой? Урун Писар-и-Шамси, говорит. Если не врет, мы до него доберемся. Не хнычь, за избиение комсомольца посидит месяц в домзаке.

— Это мой отец,— всхлипнул Урунов, отирая кровь рукавом рубахи. — Если на него пожаловаться в милицию, он меня убьет.

— Ааа... Вот в чем дело! Ну, насчет «убьет», это не так просто. За это к стенке ставят. А бить безнаказанно комсомольцев — сын или не сын — все равно нельзя. Каждый — чей-нибудь сын.

Зулеинов согнул руку и, убедившись, что она не повреждена, забрался на вагонетку посмотреть, не идет ли подмога...

...Пять вагонеток с песком и погруженными поверх рельсами двинулись в путь, запряженные парой верблюдов впристяжку. За вагонетками шли четыре комсомольца с лопатами на плечах. Комсомольцы шли

молча. Зной склеивал губы и глаза. Ноги скользили по хрустящему, утрамбованному песку, заплетаясь на шпалах.

— Ты что, из дому убежал? — после доброго часа молчаливой ходьбы спросил Зулеинов у идущего с ним рядом Урунова.

— Убежал...

— Старик в комсомол не пускал?

— Не пускал. Сказал, если пойду, — засечет.

— Что же, ему советская власть не нравится? Бай небось? За баранов боится? Баранов у него много?

— Голов сорок. У нас в кишлаке были баи, у которых по шестьсот голов и больше. Вот тот, черный, что с сыном ехал, сын его тебе пить давал, тот большой бай был.

— А ходит рваный, можно подумать — бедняк.

— Все они так. Мой папа больше насчет религии, чтобы все по шариату. Если бы в комсомоле против бога не говорили, у нас много ребят бы пошло.

— А ты бы старику растолковал, он небось темный. У меня тоже старик очень бога уважал. Только не дрался, — слаб был. Я тогда совсем глупый бегал, ничего не мог объяснить по-научному, а только так, своим умом. Он меня тоже кораном хотел уломать. Все бывало твердил, глядя на небо, на птиц летящих: «Кто, кроме бога, поддерживает их там?» А я ему: «Большое дело — птица! Сколько весит самая большая птица? Фунтов двадцать! Выходит, бог больше двадцати фунтов в воздухе удержать не может. А вот человек сделал самолет, — один хвост руками не подымешь, а в воздухе держится. Значит, человек сильнее бога. Я, говорю, пойду учиться, летчиком буду, сильнее бога стану». Старик плюнет и уйдет...

Вдали показались белые палатки. По мере приближения к месту работ наспех забалластированный путь все более корежился под ногами. Состав остановился. Шагах в трехстах, вдоль полотна узкоколейки, тянулась длинная вереница людей, занятых монтировкой рельсов. Несколько человек поднялось и помахало руками. Большая группа комсомольцев толпилась у входа в одну из палаток. Зулеинов, заслонив от солнца глаза, удивленно посмотрел в сторону скопища.

— Что ж это они работу бросили и митингуют? — пробурчал он недовольно.— А еще штурм называется! — Воткнув лопату в песок, он зашагал по направлению к палаткам. — Эй, ребята, хватит митинговать! Айда выгружать песок! Живо!

Несколько голов повернулось в его сторону, но никто не тронулся с места. Зулеинов вошел в толпу.

— Что тут такое? Почему работу бросили?

— Анварову плохо, — повернулся один из комсомольцев. — Змея укусила, доктора надо.

Зулеинов протиснулся в палатку. Он увидел Нусреддинова, Полозову и еще пяток комсомольцев, склонившихся над кошмой. На кошме лежал Сафар Анваров. Его правая нога, обнаженная до паха, ниже колена была туго перехвачена бечевкой. Распухшая голень, прямая, как полено, кончалась несуразно короткой ступней без щиколотки, с посиневшими, раздутыми пальцами.

— Шароф! — окликнул вошедшего Нусреддинов.— Ты прямо с пристани? Когда грузовик придет?

— Грузовик сломан. Обещали починить к вечеру. Надо позвонить по телефону и вызвать врача с головного участка, у них своя легковая.

Нусреддинов потянул Шарофа в угол палатки и зашептал:

— Телефон не работает. Пробовал дозвониться хоть до пристани, — нельзя. Посылать нарочного пешком или на верблюде, — к вечеру не доберется. А тут надо немедленно. Что делать?.. А?

— Как же это случилось?

— Как случилось? Просто. Пошел искать камень, подложить под рельс, чтобы удобнее было заклепать гайку. В колючке не заметил, наступил на змею. Убил молотком, но уже после того, как укусила в ногу. Нога пухнет. За десять минут, смотри, как раздулась...

Анваров застонал.

— Очень болит? — наклонилась над ним Полозова.

— Шевельнуть не могу, — сказал с трудом Анваров. — Грузовика не будет?

— Ты лежи тихонько, — погладила его по голове Полозова. — Мы уже позвонили по телефону. Сейчас приедет доктор.

— Телефон не работает, — не открывая глаз, зал Анваров.

Минуту он лежал неподвижно, потом приподнялс на локте, лицо перекосилось гримасой боли. Он привлек за руку Полозову.

— Ногу надо отрезать,— сказал он хрипло.— В больнице всегда отрезают. Подложи полено. Мариам, пусть кто-нибудь из ребят топором. Я выдержу.

— Что ты, Сафар! Как же можно ногу рубить! Для этого инструменты нужны. Не выдумывай. Это же верное заражение крови.

— А так?

— Товарищ Мариам, — сказал в общей тишине Урунов. — Здесь поблизости, верстах в пяти, табиб[1] один живет. Большой табиб! От змей лечит. Много людей вылечил. Я сбегаю.

В палатке зашептались.

Полозова поискала глазами Нусреддинова.

— Керим, как ты думаешь? — спросила она вполголоса. — Мне кажется, пусть бежит. У них в лечении укусов большой опыт...

— Очень умный табиб! — подтвердил Урунов.— Много-много вылечил. Я побегу,— он заторопился к выходу.

— Урунов!

Сафар присел на кошме. Урунов остановился.

— Не смей звать табиба! Ты — комсомолец. Стыдно! Обману веришь и других комсомольцев учишь. Вон иди! — он упал обратно в кошму.— Все уходите! Пусть Мариам и Керим останутся. Остальные — работать! Чего работу бросили? Керим, скажи им, чтобы шли работать. И никакого табиба! Кто побежит за табибом,— вон из комсомола!

Комсомольцы молчаливой гурьбою высыпали из палатки.

— Мариам...— тихо позвал Анваров.— Они ушли?

— Да, Сафар, все ушли. Здесь только Керим и я.

— Почему ты сказала при комсомольцах, чтобы за табибом посылать? Ай, Мариам, как нехорошо!

— Сафар, милый, не надо быть таким щепетильным. Пойми, врача ведь вызвать нельзя. А табибы, они, конечно, обманщики и трудных болезней лечить не

[1] Знахарь.

тут, но здешних змей они знают лучше, чем европейские доктора, и от укуса змей у них есть свои испытанные средства. Почему не попробовать?

— При комсомольцах за табибом, как нехорошо...

— Слушай, Сафар, ведь никто не узнает. Все комсомольцы ушли на работу. Посадим тебя на верблюда и повезем. Скажем, что едем на пристань. Будет знать один только Урунов...

— Нехорошо,— потряс головой Анваров.— Сколько времени учили комсомольцев: табиб — обманщик, а сам заболел,— к табибу... Вся работа даром.

— Сафар, милый, нельзя же так лежать, без помощи. Время идет. Ведь ты можешь умереть...

— Не хочу табиба! — Сафар поднялся на локтях.— Керим, ты здесь? Скажи ей, пусть не смеет так говорить.— Он тяжело осунулся на кошму.— Если нельзя доктора, надо умирать...

Он долго лежал с закрытыми глазами и, казалось, уснул. Полозова плакала. Нусреддинов, прямой и сосредоточенный, сидел на корточках у изголовья.

— Керим! — позвал внезапно Анваров.

— Да, я здесь.

— Если сегодня закончим двадцать первый километр, то какая это будет часть всей дороги?

— Пятая часть, Сафар.

— Керим! — окрикнул Анваров немного спустя.

— Да, я слушаю.

— Если за три недели сделали только пятую часть, тогда, чтобы закончить всю дорогу, надо не три, а четыре месяца, правда?

— Нет, Сафар. Ты же знаешь, это была самая трудная часть. Не было паровоза. Ты же сам знаешь, балласт и рельсы приходилось подкатывать вручную и тащить на верблюдах. Через неделю будет паровоз, тогда подвозить будем быстрее, больше и легче. В три месяца, как обещали, обязательно закончим.

— Это хорошо... — кивнул головой Анваров и опять погрузился в молчание.— Керим!

— Да?

— После окончания строительства ты нам обещал, что лучшие ударники-комсомольцы поедут в экскурсию в Москву. Это наверное будет?

— Да, Сафар, наверное.

— Это хорошо. Отбери побольше ребят. Ведь из

нас никто не видел настоящего большого города... Москва — очень большой город?

— Очень большой, Сафар.

— Это хорошо, что ребята увидят... Ты тоже поедешь, Керим?

— Да, меня обещали послать туда на учебу.

— Развяжи мне бечевку под коленом...

Нусреддинов заколебался. Он опустился на колени у ног Анварова. Левая нога распухла и отекла, как правая. Оставлять ногу перевязанной не было никакого смысла. Керим развязал бечевку.

— Тебе легче?

— Да, мне ничего...

...Когда в палатку вошел Зулеинов, он застал Керима, прямого и сосредоточенного, сидящего на корточках у изголовья Сафара, и заплаканную Полозову.

Зулеинов тихо коснулся рукою лба Сафара. Потом, не говоря ни слова, снял халат и накрыл им мертвого.

— Товарищ Керим!

— Да? — встрепенулся Нусреддинов.— Случилось что-нибудь?

— Пришел грузовик, привез шпалы. До вечера все уложим. Больше шпал на пристани нет, и дерева никакого нет. Ночная смена не сможет приступить к работе.

— Нет никакого леса? — Нусреддинов потер ладонью лоб.

— Последние бревна изрезали.

— Надо что-нибудь придумать. Работа остановиться не может. Грузовик в исправности?

— Да, починили.

— Останься тут руководить работами. Я поеду на пристань. Товарищ Мариам, собирайся, поедешь вместе со мной.

Над пристанью висел лязг и звон. Площадь от реки до крайних бараков кишела людьми, грохала и ухала, как огромная мастерская, с которой ветер сорвал крышу. В паровозоремонтном цеху, под открытым небом, рабочие подковывали паровоз, подвесив его на домкрате, как норовистого коня. Пухлая туша паро-

за екала, сотрясаемая испуганной икотой. Вокруг домкрата, словно у горна базарного кузнеца, толпились дехкане в пестрых, как обои, халатах. Это были мирные землепашцы с той стороны Пянджа, переправившиеся за промтоварами в советский кооператив. Привлеченные ковкой железного коня, они сидели здесь с утра и, не чувствуя ног, созерцали грузное чудовище. Поодаль кучками теснились другие, зачарованные голубым шипением автогенной сварки. Змей, повинуясь умелым рукам чумазого таджика, пыхтел феерическим огнем. Таджик, довольный онемелым восторгом зрителей, радостно скалил белые зубы. Он знал, что об его огненном змее, вид которого еще месяц тому назад наполнял его самого испуганным трепетом, поползут, как дым, на ту сторону Пянджа смутные легенды, передаваемые из кишлака в кишлак в вечерних сумерках по беспроволочному телеграфу «узун кулак» — длинное ухо.

Пристань в желтом полыхании дня шипела удивленным шепотом — автогенная сварка мастерской и базара. Зачарованные халаты путались под ногами рабочих, их не гнали, обходили, над их головами бросали и ловили на лету инструменты, и торопливые молотки стучали, как кровь в висках, мелкой ускоренной дробью. Это в кузнечном цеху, широко расползшемся над рекой, заготовляли гайки для рельсов. Транспорт гаек застрял на неведомой станции и мог прийти еще через месяц или не прийти совсем.

По ту сторону реки Афганистан молчал тугаями, бесшумным полетом переполошенного коршуна, пустынным разливом равнин. По дорожке, вползавшей на холм, медленно подымался одинокий всадник, похожий издали на большого муравья.

Грузовик, обогнув мастерские, уперся в реку. Нусреддинова и Полозову окружили подбежавшие комсомольцы из третьей смены. На всей пристани не осталось ни одного неиспользованного бревна. На участок только что ушли четыре состава с песком и двенадцать верблюдов с рельсами. Весь этот транспорт, мобилизованный с большим трудом, пойдет впустую, если ночная смена не получит шпал.

Окруженный комсомольцами, Нусреддинов направился в канцелярию начальника пристани. В канцелярии было пусто. Нусреддинов уже повернул было к

двери, когда за бруствером из ящиков заметил складную кровать. На кровати лежал длинный человек в сапогах и в форменной фуражке, нахлобученной поверх носового платка. Узелки влажного платочка кокетливо торчали из-под козырька двумя залихватскими папильотками. Человек мелко позванивал зубами.

Нусреддинов потрогал его за плечо. Начальник открыл белесые малярийные глаза и присел на кровати. Фуражка, съехавшая набок, держалась на голове, вопреки всем законам физики.

— А? — спросил начальник.— Чего надо?

— Леса надо. Леса нет. Шпалы не из чего делать.

Начальник поправил фуражку и с нескрываемым бешенством уставился на Нусреддинова.

— Четырнадцатому уже сегодня говорю! — закричал он пронзительным голосом.— Четырнадцатый раз повторяю: нет у меня никакого леса! Убирайтесь вон и оставьте меня на пять минут в покое!

— Лес должен быть. Работы остановиться не могут.

— Подождите, может, вырастет,— он втянул ноги на кровать и повернулся к стене.

— Когда придет баржа из Термеза?

Начальник злобно зазвенел зубами.

— Я вас спрашиваю, когда придет из Термеза баржа?

— Спрашивайте у Пянджа, а не у меня. Второй день стоит на мели в ста километрах отсюда. Когда прибавится вода, тогда и придет.

Нусреддинов озабоченно повертелся по комнате.

— Значит, никакого леса нет? Может, старые сипаи, балки какие-нибудь? Ничего?

Начальник выбил зубами целую гамму и надвинул фуражку на нос.

Нусреддинов вышел из канцелярии.

Полчаса спустя он вернулся и, схватив начальника за плечи, посадил его торчком на кровать.

— Нет никакого леса, пятнадцатому говорю!..

— Вы не горячитесь. Я лес нашел. Слушайте меня внимательно. У вас тут есть амбар, где хранятся бочки с цементом. В нем сейчас не более шестидесяти бочек. Дождей в это время не бывает. На всякий случай накроете брезентом. А амбар я разберу. Вы понимаете?

Начальник смотрел на Нусреддинова, моргая глазами.

— Вы в своем уме? — спросил он наконец.— Идите и ложитесь, у вас лихорадка.

— Лихорадка у вас, а не у меня. Амбар построен из прекрасных балок. Когда его строили, было, наверное, много лишнего леса. Строить из такого леса бараки — зря переводить деньги. Мы вам через неделю, когда придут доски, поставим другой на том же месте. А этот разберем.

— Вы обалдели? Я вам запрещаю трогать вверенные мне объекты! Кто здесь начальник — я или вы?

— У вас все объекты и объективные причины, а у меня работа. От прокладки узкоколейки в срок зависит все строительство. Работы из-за нехватки леса не могут задержаться ни на один день.

— А мне какое дело? Этак вы и мою канцелярию разберете.

— Канцелярию не разберем, дощатая, не годится. А амбар разберем. Я хотел это сделать с вашего согласия. Думал — войдете в положение и не будете чинить препятствий. Ведь обещаю же вам — поставим взамен другой.

— Я портовыми объектами не торгую и не меняюсь. Какие получил, такие обязан сдать. Представьте мне письменный приказ от начальника строительства или убирайтесь вон.

— Посылать за приказом — пройдут целые сутки. Телефон испорчен. Не будьте бюрократом и не мешайте нам работать. Если не согласитесь по доброй воле, разберем без вашего согласия.

— Я вызову милицию!

— Вызовете, когда починят провод. Ну, мое дело поставить вас в известность, а там как знаете.

— Я вам запрещаю! Вы за это ответите!

— Конечно, отвечу. Так и скажите своему начальству: разобрал под свою личную ответственность.

Нусреддинов вышел из канцелярии. На дворе быстро смеркалось.

— Айда, ребята. Открывайте пожарный сарай. Достать топоры и крючья. Сборный пункт над рекой, у амбара с цементом. Разберем амбар и бревна пустим на шпалы.

Через десять минут бочки с цементом выкатили на набережную, и несколько человек с топорами вскарабкались на амбар срывать крышу.

— Снимать осторожно, не портить материала! — кричал снизу Нусреддинов.

Крышу сорвали и поблизости аккуратно сложили в кучу. Принесли факелы. Заскрипели первые крючья, вцепившись крепким зубом в верхние балки. Комсомольцы кинулись к баграм. Первая балка затрещала и с грохотом ухнула вниз, приветствуемая веселым взрывом голосов. Факелы в руках людей танцевали, как рыжие куклы. Под веселые окрики команды комсомольцы тащили в разные стороны длинные шесты багров, и в отсвете огня, размазывающем привычные контуры, казалось, что стаскивают с амбара за непомерно длинные рукава его деревянный пиджак. Пиджак с треском лопнул по швам.

Нусреддинов, командовавший разборкой, обходя кругом скрипящий каркас амбара, натолкнулся впотьмах на белый призрак в форменной фуражке.

— А, это вы, товарищ начальник. Пришли посмотреть? Скоро кончаем.

Призрак совал ему под нос какую-то бумажку.

— Подпишите,— наступал он на ногу Нусреддинову,— я за вас сидеть в домзаке не собираюсь,— он угрожающе прозвенел в темноте зубами.

— А вы не беспокойтесь, с вас никто и спрашивать не станет.

Нусреддинов взял листок и прочел при свете факела:

Сим удостоверяю, что амбар с цементом разобрал вопреки категорическому запрещению начальника пристани, под свою личную и исключительную ответственность, о чем настоящим свидетельствую своей подписью.

Начальник протягивал химический карандаш:

— Послюнявьте и подпишите.

— Пожалуйста,— засмеялся Нусреддинов, подписывая бумажку.

...Первая машина, груженная лесом, тронулась с пристани на участок, увозя заодно партию комсомольцев. Мастерские по обе стороны дороги провожали их

звоном и грохотом. Над кузнечными горнами метались стаи горящих комаров. Подвешенный на домкрате железный конь дробил незримым звонким копытом черный асфальт ночи. Во многих местах ночь горела, как спирт, голубым пламенем автогенной сварки.

Грузовик нырнул во мрак и пошел вдоль полотна узкоколейки. Серебряный рельс стремительной телеграфной лентой бежал впереди, обгоняя машину на длину луча фар. На груде грохочущих и переминающихся с боку на бок балок, тесно охватив друг друга руками, сидели комсомольцы. Каждый метр рельса, обгоняющего сейчас машину, проложен был их руками. Грузовик не мог нагнать рельсов, и в этих воображаемых гонках победителями были они. Они кричали, одержимые буйным весельем, и хохот, взбалтываемый тряской грузовика, звенел, как припев,— чтобы вдруг, без перехода, без сговора, обернуться раскатистой песней:

Ты слышишь эти крики,
Таджикистан?
Настал твой день великий,
Таджикистан!

. . . .

Дверь новой жизни для Востока
Открыл твой ключ великий,
Таджикистан!

...Факелы двумя длинными вереницами убегали во мрак. Полотно казалось улицей в шпалерах газовых фонарей, с которых дневная перестрелка посшибала стеклянные колпаки,— несуразной одинокой улицей, бежавшей из разгромленного города и заблудившейся среди пустыни.

Нусреддинов шел вдоль полотна, с трудом передвигая свинцовые ноги, и глазами, мутными от усталости, озирал участок. Третью ночь подряд он был на ногах. Удлиненные тени людей в мигающем отсвете факелов раздувались и лопались, как пузыри, ломались пополам, всполошенные, прыгали в темноту. Задевая Нусреддинова плечом, рысью пробежали два комсомольца, сгибаясь, как гуттаперчевые, под тяжестью рельса. Лопасти заступов сухо хрустели в песке, и песок, словно взметаемый ветром, вздымался на глазах гребнем устойчивой насыпи. Потом готовую насыпь копальщики ласково похлопывали лопатищами по кру-

тым обочинам и, перекинув заступы, уходили дальше. По конвейеру человеческих окриков, качаясь, плыли кургузые шпалы. Где-то протяжно пела пила, и размеренно, как бубен, стучал топор.

Нусреддинов пошел напрямик к палаткам. Смена работала хорошо. Завтра с головного участка должны были прибыть новые ребята. Теперь можно прилечь и поспать до утренней смены. Он тут же вспомнил, что в палатке лежит тело Анварова, и пошел прочь по направлению к тлеющему костру. В темноте нога скользнула по кошме. Он нагнулся:

— Кто это?

— Это я, Керим,— он узнал голос Полозовой.— Немножко устала. Прилегла на воздухе вздремнуть. Ты, наверное, тоже изрядно измучился. Садись. Шароф спал ту ночь, он присмотрит.

Керим тяжело опустился на кошму.

— Да, и я устал. Надо передохнуть. С новыми ребятами будет много возни. Значит, ты завтра уезжаешь обратно на головной участок?

— Нужно, Керим. Если б ты знал, как не хочется ехать! А не ехать никак нельзя. Американец остался без переводчика. Синицын, наверное, будет ругаться, что задержалась.

— Жалко, что уезжаешь, Мариам...

— А я приеду. Условлюсь с моим американцем и хоть дня на два обязательно приеду. Очень мне хорошо тут было. Знаешь, этой недели никогда не забуду.

— Ты очень хороший товарищ, Мариам.

Она отыскала и погладила его руку.

— Это ты — исключительный товарищ, Керим. Я очень полюбила тебя. Мне кажется, что за эту неделю я узнала тебя по-настоящему. Почему ты дрожишь, Керим? Тебе холодно?

— Да, немножко...

— Подвинься, я тебя накрою моим пальто...

Она нагнулась к нему и волосами коснулась его лица. Он протянул руки и привлек ее к себе.

По насыпи грохотали вагонетки, перекликались голоса, и топор, как дятел, размеренно клевал дерево...

— Керим, дорогой!

— Ты правда меня любишь, Мариам?

— Да, очень. Дай я тебя укутаю пальто. Ты весь дрожишь.

— Нет, мне не холодно, Мариам. Я просто не могу взять себя в руки, Мариам, милая. Это такое неожиданное, огромное счастье. Как я теперь работать буду, Мариам! Ты увидишь. Все, что я до сих пор делал,— это пустяки. Я чувствую, что могу сделать втрое, вдесятеро больше, Мариам, ведь мы будем теперь вместе, правда? И жить, и работать, и учиться? Нет, подожди, я не могу еще себе представить...

Они лежали, плотно прижавшись друг к другу, прислушиваясь к шороху своего дыхания.

— Мариам, дорогая, ты завтра уедешь? Мне будет очень трудно.

— Мне тоже трудно, Керим. Но ведь сам знаешь, нельзя иначе.

— Мариам, когда мы закончим узкоколейку и я вернусь на головной участок, я тебя буду видеть каждый день, правда?

— Правда, Керим.

— Мы будем встречаться каждый вечер после работы, правда?

— Каждый вечер, Керим, иногда и в течение дня, в обеденный перерыв.

— И ты будешь меня любить?

— Ну да, милый. Знаешь что, у тебя ведь нет отдельного жилья, а у меня есть. Переезжай ко мне.

— Как только закончим узкоколейку?

— Как только закончим, прямо с грузовика, со свертком. Я все устрою. Достану другой столик. Сможешь по вечерам заниматься. Ведь в общежитии тебе все время мешают.

— Мариам, милая, неужели все это правда? И мы никогда не будем больше разлучаться? В Москву ведь тоже поедем вместе? Я получу путевку. А потом, закончив учебу, приедем обратно в Таджикистан, да? — в голосе Керима прозвучала тревога.— Видишь, Мариам, ведь я наибольшую пользу смогу принести именно здесь. А ты захочешь сюда вернуться?

— Конечно, вернемся. Ты же знаешь, как я люблю Таджикистан. И потом я люблю тебя. Разве этого не достаточно, чтобы Таджикистан стал навсегда моей родиной?.. Ты все еще дрожишь, Керим?

— Я очень счастлив, Мариам...

Вдали у потухающего костра, где отдыхала дневная смена, монотонно бренчал дутар, и низкий гортанный голос, покачиваясь, пел под сурдинку:

Избранный один из ста,
Сливки в зной — твои уста.
Сахар-мед — мои уста,
Возьми, пожалуйста...

В вечернем заповеднике ночи, передразнивая гортанный клекот песни, подвывали шакалы.

— Знаешь, Керим, завтра утром, до того как мне уехать, обязательно скажем ребятам, что мы поженимся. Им было бы потом неприятно узнать, что мы от них скрыли. Правда?.. Почему ты ничего не говоришь?

Она коснулась губами его лица. Голова Керима тяжело соскользнула на ее плечо. Керим спал. Она прислушалась к его дыханию, вспомнила три бессонных ночи, в течение которых этот коричневый мальчик был одновременно везде: на пристани, на грузовике, на участке, мобилизуя, толкая, выручая всех. Теплая материнская нежность комком подступила к горлу и улыбкой растворилась на губах. Не высвобождая плеча, чтобы не разбудить спящего, она правой рукой бережно накинула на него пальто.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Дорогая Дженни!

Извини, что долго не писал. Очень много дел. Все еще никак не приноровлюсь к здешней системе работ. Трудно привыкнуть к той постоянной спешке, с которой ведется здесь любая работа. Часто думаю, что Баркер сбежал отсюда именно потому, что испугался этих непрерывных гонок, хотя в период его пребывания на строительстве они только намечались. Такой патентованный лентяй, попав сюда, должен был чувствовать себя, как утка, которой поставили под хвост пропеллер и предложили исполнять обязанности глиссера.

Кстати, о Баркере. Жалко, что ты не повидалась с ним в Нью-Йорке. Сейчас уже не так важно, давал ли он распоряжение о переброске экскаваторов собственным ходом или не давал. Инженера Уртабаева давно уже уволили по другим причинам, экскаваторы задержали и перевезли на тракторах. Правда, результат получился плачевный: изломались в щепки почти все трактора, не рассчитанные на такой большой груз. В процессе перевозки потерялось много частей от экскаваторов. В результате шесть «бьюсайрусов» сразу же не вступило в работу, из-за отсутствия запасных частей они стоят бесцельно. А как раз сейчас ощущается в них страшная нехватка. Не знаю, потеряли бы мы уж так много,

пустив экскаваторы, как это предлагал Уртабаев. Виновато в этом, конечно, в первую очередь бегство Баркера. Думаю, что у него будут еще с фирмой крупные неприятности. Если его увидишь, скажи, что мы думаем о его поведении. Расскажи, что мы с Мурри живы и здоровы, чувствуем себя великолепно и велели ему кланяться.

Спрашиваешь, как мы здесь живем? Есть ли тут женщины и какие? Как проводим время? Женщины, конечно, есть даже здесь (где их нет?), но мы с Мурри, не зная русского языка, воспринимаем их скорее как декоративный элемент. Единственная женщина, с которой приходится часто встречаться и можно поговорить,— это моя переводчица, молодая комсомолка. (Дальше следовали две строки, тщательно вычеркнутые.) Особа эта подавляет своей непреклонной коммунистической принципиальностью и не признает, кажется, ни одной из естественных и свойственных ее полу потребностей — вроде флирта, танцев, сплетен, платьев и т. д.

Вообще женщины в этой стране, насколько я успел заметить, разделяются на две категории. Женщины старого типа, т. е. по-нашему просто женщины, выполняют здесь, как и везде, свою извечную женскую функцию. Но есть и другая категория: женщины нового типа, к которым принадлежит моя переводчица. Внешне это обыкновенные женщины, с той разве разницей, что они не красят губ и одеваются скромнее и проще. По-видимому, и по своей натуре это такие же женщины, как и все другие, но их женской физиологии не дощупаешься под спудом мужского образования. Они свободно говорят о самых трудных вещах, бьют нашего брата своими познаниями из области экономики и философии. Смотришь на них и думаешь: по существу ведь — это нормальная девушка с нормальными физическими потребностями, по всем данным, она, наверное, кого-то любит, с кем-то живет. Но слушая ее профессорские принципиальные высказывания по самым сложным вопросам, как-то нелепо представить себе, что такую можно обнять или погладить ей колено под юбкой. Последнее замечание принадлежит не мне, а Мурри.

Страна здесь суровая, первобытная. Каждое место связано с какой-нибудь жуткой былью. На днях у выезда из местечка мне показали дыру в обычной глиняной ограде. Я проезжал десятки раз и не замечал ничего достопримечательного. Оказалось, у местного населения дыра эта считается святой дырой: она помогала роженицам рожать. Как помогала? Очень просто. При тяжелых родах женщину несли к этой пробоине в сопровождении соседок и с молитвой протаскивали ее через дыру в дувале. Так как пробоина довольно узкая, баба разрешалась обычно после первой такой операции. Очень упрямых пропихивали вторично. Проезжая с тех пор мимо этой «священной дыры», я погоняю лошадь. Жутко думать, сколько смертей на глиняной совести этого «святого места».

Всю эту историю рассказала мне моя переводчица. Она даже сострила, что Советская власть должна бы построить на этом месте образцовую гинекологическую клинику. И, хотя это было сказано в шутку, я почти уверен, что они ее построят.

Как я здесь живу? Живу довольно странно, и описать это так, чтобы на расстоянии все стало понятно, вряд ли сумею. Атмосфера, в которой мы здесь живем и работаем, мало походит

на ту рабочую обстановку, к которой мы привыкли в Америке. И работа здесь мало походит на работу у нас,— это совершенно разные понятия. Здесь ее в отличие называют ударной работой. Это почти не переводимо. Это носится в воздухе: атмосфера неослабевающего азарта, что-то среднее между спортивным состязанием и крупной игрой. Попробуй себе представить строительство канала как грандиозное спортивное состязание, перманентный матч между многочисленными командами рабочих (здесь эти команды называют бригадами), и у тебя будет приблизительное представление о том, что такое — здешняя ударная работа. Впрочем, ты не в состоянии этого представить, да это тебе и неинтересно.

Не знаю вообще, зачем обо всем этом тебе пишу. Вероятнее всего потому, что сегодня — выходной день. Мурри уехал на охоту, идти некуда, а сидеть без работы я здесь отвык. Вот сижу и пишу.

Целую тебя.

Твой Джим.

Кларк отложил ручку и перечитал письмо. Дочитав до конца, он спокойно порвал письмо в клочья и бросил под стол, достал чистый лист бумаги и написал:

Дорогая Дженни! Жив и здоров. Чувствую себя хорошо. Письмо твое получил. Очень рад, что мое жалованье выплачивают тебе регулярно и что кончились твои материальные хлопоты. Если Рут проявляет способности к музыке и средства это позволяют, конечно, купи в рассрочку пианино. В такого рода делах, право, можешь решать сама, не советуясь со мной. Купи Рут хорошую большую куклу и скажи, что прислал папа. Здесь никаких интересных безделушек и ковров нет, и пересылать что-либо отсюда в Америку было бы совершенно нелепо. Зайди в любую колониальную лавку и купи себе на выбор, какую взглянется, вещицу, воображая, что это — подарок от меня. Все дело лишь в капельке фантазии. Целую вас крепко, тебя и Рут. Кланяйся от меня друзьям и Баркеру, если его увидишь.

Твой Джим.

Он запечатал конверт и пошел на почту. Делать было действительно нечего. Полозова, мобилизованная в комсомольский штаб по организации штурмового строительства узкоколейки, уже неделю сидела на пристани. Мурри по своему обыкновению носился где-то с ружьем в погоне за джейранами. Кларк, поваландавшись бесцельно по улицам, решил последовать его примеру. Он одолжил у Кирша ружье и, оседлав коня, рысцой выехал на плато. Миновав головной участок, он свернул с дороги и поехал напрямик по колючке к горам. Огромные рыжие кочки при приближении лошади внезапно вскакивали на тонкие ноги и, обернувшись верблюдами, торопливо убегали в степь. Бурые

морщинистые холмы вырисовывались над степью, как гигантские туши бегемотов, всплывшие погреться на поверхность трясины. Лошадь, приближаясь к ним, подозрительно храпела: того гляди, и они шарахнутся и побегут, волоча по земле жирные животы.

Встретить джейранов Кларку так и не удалось. Трофеями целого дня скитаний болтались у седла три подстреленных перепела. Зверская жара, как рюмка чистого спирта, свела судорогой иссохшую глотку. Солнце касалось уже горизонта у ската длинной горы, похожей на щуку, и слепило глаза, как блесна. Наконец в расщелине между холмами Карл увидел незнакомый кишлак и, стегнув лошадь, галопом поскакал по направлению к ближайшим мазанкам. Он осадил коня перед крайней хибаркой, отгороженной от дороги непроницаемым высоким дувалом. Мазанка, как все жилища в этих краях, стояла, презрительно повернувшись спиной к дороге.

Кларк поднялся в стременах и прокричал. На крик ответила тишина. Кларк прокричал еще.

Из-за угла появился дехканин.

Кларк жестом попросил пить, повторяя заученное магическое слово «об» [1]. Дехканин исчез и вернулся с тыквой. В пузатом животе тыквы гулко булькала вода... Кларк вытер ладонью рот и прижал руку к сердцу в знак благодарности. Он поправился в седле и только сейчас заметил, что истекающие кровью перепела испачкали седло и бриджи. Отвязав убитых птиц, он жестом попросил дехканина завернуть их во что-нибудь.

Дехканин унес тыкву и вернулся с газетой. Он развернул ее и протянул руку за перепелами. По титульной заставке Кларк узнал газету, выходящую на строительстве. В развернутой странице просвечивала дыра: из листка ножницами была вырезана голова чьей-то фотографии... Кларк почувствовал, что дехканин тоже смотрит на вырезанное место, поднял глаза и встретился с глазами, вернее, с одним глазом дехканина. У дехканина не было левого глаза, и лицо его казалось от этого свернутым на сторону. Дехканин, схватив птиц и газету, пропал в расщелине за хибаркой. Через некоторое время он вынес сверток с птицами, завернутыми в какую-то бумагу, и сунул его в руки

[1] Вода.

Кларку. Кларк все еще растерянно смотрел на кривое лицо незнакомого. Лицо казалось злым и враждебным, единственный прищуренный глаз смотрел с ненавистью и злобой.

И было в этом взгляде что-то необъяснимо страшное, или тут действовала сама обстановка,— пустая уличка, вбитая тупым клином в глухую горную расщелину,— только Кларк почувствовал вдруг животный страх, судорогой подкативший к горлу. Он вздернул на дыбы коня, круто повернул и понесся от этой слепой глиняной улицы в степь, на простор и долго летел, не оглядываясь, хлеща коня, словно за ним гналась погоня.

Осадил лошадь так же внезапно, как и пустил ее вскачь. Кругом простиралась голая степь. Расщелину в горах, где ютился мертвый кишлак, едва было видно. Кларк пустил лошадь шагом и попытался спокойно продумать, что, собственно, случилось. Что это было? Страх? С чего это началось? Газета? «Нет, не газета, а дыра в газете,— дыра, вырезанная ножницами».

Лошадь остановилась, ждала привычного удара камчой. Они долго стояли среди степи, и человек бессмысленно повторял: «Дыра, вырезанная ножницами»,— чувствуя, как мурашки ползают по спине. «Ну, конечно. Это же — моя голова!»

Камча хлестнула по крупу, и лошадь тронулась шагом. Опять всплыл знакомый лист газеты, фотография инженера Кларка в статье о его выступлении по поводу махорки и другой листок, небольшой и белый, с наклеенной на нем аккуратно выкроенной из газеты головой с обрезанными ушами и глазами, продырявленными булавкой.

«Чего же, собственно говоря, я так испугался?» Ощущение собственного испуга было постыдно и неприятно. «Надо запомнить местность, хорошо запомнить местность». Кларк повернул коня. Расщелина в горе казалась отсюда невзрачным изломом. Кругом широким половодьем текла степь. Смеркалось. Запомнить было трудно.

На головной участок Кларк приехал поздно ночью. Первая мысль была заехать к Синицыну и рассказать обо всем ему. К сожалению, Синицын не говорил поанглийски. Приходилось отложить до завтра.

Полозова не вернулась и на следующее утро. Мурри ранехонько уехал на второй участок руководить работами на консольном перепаде.

Кларк отпустил машину и, раздосадованный, пошел пешком к каналу. Теперь через плато, докуда хватал глаз, тянулась высокая насыпь. Между отвалами лежал вырытый в гальке глубокий канал.

Экскаваторы, закончив работу, отъехали дальше на юг, потрошить залежавшуюся землю. Их было уже в ходу десятка полтора. В проторенном ими овраге подрывники рвали обнаженный скальный пласт. Раздробленный киркой камень рабочие сваливали в зияющие воронки бункеров. По скату кавальера, снизу вверх, стремительным ключом, как повернутый вспять горный поток, била шуршащая лента конвейера, унося сшибающиеся на ходу глыбы породы.

Желоб в этом месте был метров двенадцати глубиной, а нужно было выбрать еще шесть. Конвейер установили неудобно, и рвать приходилось с опаской, небольшими кусками, чтобы не повредить всей кропотливой установки. И сейчас опять подрывники неправильно распределили сектор взрыва, а Полозовой, как назло, не было, и объяснять было трудно. Кларк спустился на дно канала и жестами стал пояснять, куда распределять заряды.

Близился обычный момент взрыва. Наверху уже остановили трактор, и бегущая лента конвейера внезапно застыла, как поток, на лету схваченный льдом. В тишине, сменившей однообразный гул мотора, слышно было, как по ту сторону кавальера осыпаются последние камни. Заверещали свистки, и рабочие вперегонки кинулись наверх. Кларк пропустил их вперед и стал карабкаться последним, вместе с подрывниками. Легко прыгая по уступам, сокращая дорогу, он свернул вбок, сделал еще один прыжок и ударился подбородком о спину внезапно остановившегося рабочего. Кларк растопырил руки, чтобы удержать равновесие. Рабочий, загородивший дорогу, поскользнулся и ухватился рукой за насыпь. Кларк увидел на секунду часть его лица, вернее, его глаз, глаз, которого не было,— сплющенный безглазый профиль. Поскользнувшаяся нога рабочего сбила с выступа ногу Кларка. Он вскрикнул и, захватывая воздух широко распростертыми руками, грузно рухнул вниз...

На строительстве этот памятный день ознаменовался еще одним происшествием. Ночью на втором участке загорелись стога. Предполагали поджог.

Комаренко, разбуженный телефонным звонком, выехал на место происшествия. Весь участок он застал на ногах. Благодаря быстрой организации рабочих целиком сгорел только один стог. Второй удалось потушить, и огонь не перекинулся на стройки.

Утром, вернувшись с пожарища в городок второго участка, уполномоченный с начальником на веранде пил чай и рассказывал анекдоты, от которых даже сеттер Бек учтиво ухмылялся в лапу.

Тогда на веранду к Рюмину поднялся запыхавшийся экскаваторщик Метелкин и доложил, что один из уртабаевских экскаваторов испорчен и нуждается в капитальном ремонте.

Уполномоченный не допил чая и, не попрощавшись, пошел за Метелкиным. Они молча пересекали городок. Первым заговорил Комаренко:

— Давно остановился?

— Сегодня с утра.

— Вчера работал?

— Работал до самого вечера.

— Когда заметили неисправность?

Драгер повернулся. Рябое усатое лицо сморщилось в гримасу. Он сбил внезапным движением кепку на затылок, махнул рукой и пошел прочь. Отойдя шага три, он повернул обратно.

— Ну, виноват, ну, знаю. Пусть объявят выговор. Думали, что городок весь сгорит, побежали помогать...

— Эх, Метелкин, а я думал, что на тебя положиться можно... еще коммунист...

Драгер не ответил, понуро созерцая собственные сапоги.

— Оба побежали?

— Очень поздно работу кончили. Все спешили, осталась самая малость. Вздремнули с Федькой, а тут загорелось, заполыхало, мы — бежать помогать... ну, и...

— Ну, и... что? Тебе сказали: береги экскаватор.

— Что и говорить... сам знаю, виноват.

— А на кой мне черт твое признание? Надолго отлучался?

— Да нет, часика на полтора самое большое.

— Какое повреждение?

— Часть одна сломана. У нас таких в запасе нет, придется заказывать.

— По-твоему, что: износилась? Или, может быть, злой умысел? Не мог ее сломать тут кто-нибудь?

— Не думаю... Часть она маленькая. Должен был бы, сукин сын, уж очень специально знать экскаваторное дело, чтобы до этого додуматься.

Уполномоченный внимательно осмотрел мотор, долго изучал сломанную часть. Ушел, не сказав ни слова.

Шагах в пятидесяти его догнал Метелкин.

— Товарищ уполномоченный!

— Ну?

— Вы думаете, нарочно сломали? Потому, ежели сломали, то я доберусь, чьих это рук дело. Издохну, а доберусь...

Уполномоченный ушел. Метелкин долго еще стоял на дороге, смотря ему вслед. Вернувшись к экскаватору, он сел на песок, мрачно сдвинув на глаза кепку. Он долго сидел у неподвижного экскаватора, тупо уставившись в песок, вернее, во втоптанную в песок бурую вещицу.

Прошло много минут, пока маленький предмет, блеснув на солнце, привлек внимание Метелкина. Драгер, подвинув вещицу ногой, порывисто наклонился и поднял ее с земли. Это был плоский пузырек с насом. Метелкин долго рассматривал его на раскрытой ладони. Ни он сам, ни помощник Федька наса не жевали. Жевали только таджики. Вещица была обронена совсем недавно.

Метелкин вскочил и бросился в городок. Из городка выехала машина и, свернув на плато, понеслась к головному участку. Метелкин кинулся напрямик, вслед за удалявшейся машиной.

— Товарищ уполномоченный! — он бежал и кричал, хотя в машине услышать его не могли. Автомобиль уже растаял в облаке пыли, а Метелкин все продолжал бежать, пока не выбился из сил.

Он остановился, тяжело дыша, сжимая в руке драгоценную, неопровержимую улику. Дехкане, работавшие на канаве, приостановили волокуши и переговаривались, указывая на него. Метелкин подумал, что его принимают за сумасшедшего. Их было много, в одинаковых зеленых халатах, у всех были точка в точку оди-

наковые коричневые лица и одинаковые клином подстриженные черные бороды. Все они одновременно сунули руку за пояс и достали оттуда по маленькому плоскому пузыречку, как две капли воды похожему на бутылочку в руке Метелкина. Высыпав на ладонь щепотку табаку, они неторопливо отправили ее в рот. Лица смотрели загадочно и ласково. Метелкин провел рукой по лбу. Он не знал, десятерится ли у него в глазах, или он действительно сходит с ума. Крайний дехканин протягивал ему тыкву с водой.

Комаренко, вернувшись в местечко, прямо прошел в управление. Он вскользь просмотрел утреннюю почту и остановился на одном конверте, где крупными буквами значилось лично. Письмо было из Ташкента. Комаренко вскрыл конверт.

Прочтя письмо, он задумчиво откинулся на спинку кресла, потом, отдав несколько неотложных распоряжений, вызвал машину.

В квартире Синицыных окно было занавешено от солнца зеленым платком. Комаренко с порога оглядел комнату: стол, накрытый газетой, графин с водой, на спинке стула брошенное женское платье, недочитанная книга — все как через зеленые очки. Он подошел к столу и стал перелистывать книгу. Внезапно он повернулся, ощутив на себе чей-то взгляд. В дверях стоял Синицын.

— Здорово, Владимир! Что, приехала твоя жена?

— Нет, не приехала...

— А когда приезжает? У меня к ней небольшое дельце...

— Думаю, что вообще не приедет... Валентина от меня ушла.

— Совсем?

— Да, совсем.

Комаренко отвернулся и начал старательно выводить что-то ногтем по столу. Синицын тоже не поддерживал разговора.

— Ну, я пойду,— потянулся за фуражкой Комаренко.— Да кстати, я хотел тебя предупредить: записку Кристаллову писал не Уртабаев.

— Откуда ты знаешь, что она ушла к Уртабаеву?

— Кто она?.. А-а... Да нет, уверяю тебя, абсолютно ничего не знал. Впервые от тебя слышу.

— А мне показалось... Ты, кажется, говорил что-то об Уртабаеве?

— Я говорю, что записку Кристаллову писал не Уртабаев. Помнишь записку Кристаллову? Нашли при обыске.

— Да-да. Не Уртабаев? А кто же?

— Совсем другой человек, не имеющий к этому делу никакого отношения. Потом поговорим... Кстати еще: один из уртабаевских экскаваторов на втором участке вышел из строя. Экскаваторщик и помощник ночью бегали тушить пожар... Возможно, преднамеренное повреждение... Как дело с узкоколейкой?

— Мобилизуем все силы. Комсомольцы взяли инициативу. Обязуются через три месяца сдать линию в эксплуатацию. Работают днем и ночью. Чтобы не отнимать у строительства грузового транспорта, песок для балластирования полотна по мере прокладки линии подвозят в вагонетках пока вручную и на верблюдах. Когда будет готова первая кукушка,— будут подвозить на кукушке. Прислали из центра два паровоза,— брак. Наше московское представительство пишет, что свободных кукушек нет, а заграничные заказы сокращены. Обещают прислать еще один паровоз из Сибири, но хорошего никто не отдаст...

— Ну, и как? Конку, что ли, думаешь устроить?

— Посмотрим. При трех паровозах, пусть даже два всегда будут в ремонте, все-таки больше можно сделать, чем со всем нашим грузовым транспортом. Если комсомольцы сдержат слово, строительство к сроку закончим.

— Вот это люблю! Ну, а потом — монатки под мышку и в Москву, в ИКП? Сразу, брат, оживешь. Что ни говори, центр... Всякие там театры, лекции. Ну, одним словом, культура... Чего смеешься?

— Ты на меня не сердись. Я вспомнил, что вот так же жене говорил, когда надо было совсем другое. По-видимому, все люди, когда им нечего сказать, говорят одно и то же.

— Да, ты прав, разговоры для бедных тут ни к чему. Ну, дай бог всякому! — Комаренко крепко потряс руку Синицына.

Дверь с грохотом распахнулась,

— Товарищ Синицын!

В комнате стоял Гальцев и со свистом глотал воздух.

— Что случилось?

— А... а... а...

— Да говори же, черт!

— Американец убился!

— Как убился? Какой американец?

— С бермы свалился, когда камень рвали. Вниз!.. Сюда несут!

Синицын и Комаренко были уже на улице.

Навстречу им, со стороны канала, двигалась гудящая толпа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Ну, а ты? Как ты оцениваешь смерть товарища Синицыной — как самоубийство или как несчастный случай?

— Я уже сказал, товарищ Джабари: для меня все это совершенно непонятно. Если можно, я просил бы не задавать мне больше на эту тему вопросов. К делу о моем исключении из партии товарищ Синицына не имеет никакого отношения.

Уртабаев тусклыми глазами смотрел на седоватого таджика. Правый ус следователя от частого покусывания был заметно короче левого.

— По поступившим в ЦКК сведениям, Синицына как раз имеет непосредственное отношение к твоему делу. В числе компрометирующих тебя улик бюро парткома переслало нам записку, адресованную технику Кристаллову. Почерк записки напоминает твой почерк, и бюро выдвигало предположение, что автором ее являешься ты. Это подтверждало бы твою прямую связь с вредительскими элементами на строительстве. В настоящее время установлено, что записку эту писала Синицына.

— Это абсурд, этого быть не может!

Следователь открыл папку:

— Почему этого не может быть? Ты же не писал этой записки? А?

— Не знаю, кто писал, но только Синицына написать ее не могла. Это — совершеннейший вздор. Кто это выдумал?

— Есть ее показание.

— Когда же она могла дать такое показание?

— Ты не нервничай. Я говорю, что показание такое имеется. Синицына отправила из Ташкента письмо уполномоченному ОГПУ товарищу Комаренко. Товарищ Комаренко переслал это письмо с нарочным сюда.

— Это пустяки... Что могло быть общего у Синицыной с Кристалловым?

— Ты успокойся. Вот посмотри! — следователь вытащил из папки четвертушку бумаги и протянул Уртабаеву.

Уртабаев пробежал письмо.

Уважаемый товарищ Комаренко.

Спешу исправить вред, причиненный мною непроизвольно, из соображений личной трусости человеку, ни в чем не повинному. Сознание этой подлости тяготило меня с момента моего последнего разговора с вами. Правда, сейчас исправлять это дело немного поздно. Речь идет о записке, найденной на квартире у Кристаллова, авторство которой приписали Уртабаеву. Так вот, записку эту писала я.

По делу Кристаллова, к сожалению, каких-либо дополнительных сведений сообщить не могу, так как не знаю их сама. Связь моя с Кристалловым имела весьма случайный характер и продолжалась недолго. О его контрреволюционных делах я не была информирована. В последний раз, когда я была у него, Кристаллов рассказал мне в издевательской форме о том, как он срывает соревнование на земляных работах. Я поняла, что Кристаллов — не просто антисоветски настроенный человек, а человек, сознательно вредящий строительству. В записке, которую я у него оставила в этот день, я предлагала ему немедленно убраться вон, грозя в противном случае рассказать обо всем Синицыну. Вот история этой злополучной записки и вот все, что мне известно о самом Кристаллове. Извините, что не даю вам показаний лично, но могло случиться, в последнюю минуту не хватило бы у меня мужества и я так и не рассказала бы вам об этом деле. Думаю, что настоящего моего заявления достаточно, чтобы снять с товарища Уртабаева позорящее его обвинение.

Валентина Синицына.

— Ну вот видишь,— следователь протянул руку за письмом.— Почерк и подпись, я думаю, тебе знакомы?

— Это ложь! Она наклеветала на себя, чтобы от меня отстранить подозрение. А вы поверили, присоединили к делам! — Уртабаев в клочья порвал письмо и бросил на пол.

— Ай, какой сумасшедший,— укоризненно покачал головой следователь.— Что же это ты меня, старика,

заставляешь на четвереньках по полу лазить? — и, опустившись на колени, он стал собирать в конверт обрывки.— Иди, Уртабаев. Так нельзя работать. Пора взять себя в руки. Приходи завтра с утра. Разберемся...

...Небо над Сталинабадом голубое и легкое, как мыльный пузырь. С цоком пролетели один за другим два упругих фаэтона. В мутных водах арыка, привставая и качаясь, как утопленник, плывет порожняя бутылка. На вокзале протяжно загудел паровоз («обязательно поселюсь где-нибудь далеко от железной дороги...») Прогромыхал грузовик. Опять на вокзале тревожно взвыл паровоз. Гудок назойливой мухой бился о барабанную перепонку. Уртабаев метнулся в первую гостеприимно открытую дверь. Коммерческая столовая: за белыми столиками неприветливые люди, похрустывая челюстями, жрут шашлык.

Подошел официант и с любопытством уставился на гостя:

— ...прикажете?

На лице гостя смешно трепыхался левый глаз...

Когда на следующее утро Уртабаев явился в ЦКК, его немедленно провели к Джабари. Следователь, здороваясь, дружелюбно попридержал его руку:

— Давай начнем по порядку. Какие дополнительные материалы тебе удалось собрать, кроме статьи в «Анис», относительно афганского колхоза?

— Других нет.

— А вот с Ходжияровым? А? Говорю, не было ли каких-нибудь счетов? Может, раньше? А? Раньше ты его не встречал?

— Нет, не припомню. Мне казалось, что где-то я его видел, но, может быть, в толпе. Нет, раньше я с ним не встречался...

— Так... Ну что же, выходит, что к показаниям, данным на бюро, тебе добавить больше нечего? А?

— Да, пожалуй, нечего.

— Тогда давай вернемся к твоей биографии. Коекакие места для меня неясны. Ты — сын бедняка, родом из Чубека. Каким образом и на какие средства ты попал в бухарское медресе?

— У отца был богатый брат, мулла. Семья отца была большая, всех прокормить трудно, а дядя был бездетный. Я — самый старший в семье. Дядя решил готовить меня к духовному званию, забрал в Бухару и поместил в медресе. Дядя имел там свою келью, от которой получал изрядный доход. По правде сказать, был я там больше прислужником, чем учеником: прислуживал мударису. Пробыл в медресе всего около двух лет. Насчет дяди и социального положения моего отца можно справиться в Чубеке, дехкане знают. Отец и сейчас там живет...

— В каком году ты вышел из медресе?

— В семнадцатом, в марте, кажется. Вскоре после манифеста эмира.

— Сам ушел или выгнали?

— Убежал.

— Куда?

— В Куляб.

— С джадидами работал?

— Н... нет.

— А почему бежал из Бухары?

— Это — длинная история, к тому же все равно нет свидетелей, чтобы ее подтвердить.

— А зачем нужно подтверждать?

— Да, пожалуй, и не нужно. Это не имеет к моему делу никакого отношения.

— Ну, а все-таки почему бежал? Медресе надоело?

— Нет, так сложились дела, что дольше оставаться не мог.

— Что это, секрет? А?

— Никакой не секрет, а просто долго рассказывать и незачем.

— Так... А ты Мирзу Фаткулу в Бухаре знал?

— Мирзу Фаткулу? — оживился Уртабаев.— Вы знали Мирзу Фаткулу? Разве вы были тогда в Бухаре? Ведь Мирза Фаткула убит в семнадцатом году.

— Кто тебе сказал?

— Как кто мне сказал? В медресе Мир Араб было. Мне ведь из-за этого как раз и бежать пришлось.

— В келье твоей прятался?

— Вы и об этом знаете?

Следователь прикрыл усами улыбку:

— ЦКК все знает. ЦКК не захочет, комарча на ха-

лате у тебя не шелохнется. Ты думаешь, прежде чем решать, быть тебе в партии или не быть, ЦКК не взвесила месяц за месяцем каждый год твоей жизни?

— Зачем меня тогда спрашивать?

— Зачем спрашивать? Подожди, я тебе объясню. Я вот до революции, раньше чем стал учиться, портным был. Халаты шил. Закажут мне халат, мерку сниму и сошью. Иной раз сошью, а заказчик возьмет да за халатом не придет. Один обеднял, у него нет денег, чтобы уплатить за работу. Другой, наоборот, разбогател: вместо того чтобы выкупить заказанный дешевый халат, пошел к другому портному заказать себе новый, побогаче. А у меня халаты остаются висеть. Иногда через год, через два явится прежний заказчик. У того нашлись наконец деньги. Тот обанкротился, и жалко ему стало, что пропадут его задаток и материя. Вот придет такой заказчик и примеряет давно сшитый халат. А халат как будто и не на него. Кто от недоедания успел исхудать, и халат висит на нем, как на палке. Кто разросся в плечах, старый халат на него не влезает. Кто отрастил живот, и халат на нем не запахивается. Обозлятся, выругаются и уйдут. И выходит, как будто халат действительно не его. Так вот и с поступками человека. Рассматриваешь иногда какой-нибудь поступок из прошлого и думаешь: ай, какой красивый поступок! А случается, и говоришь: ай, какой нехороший! А примеришь его к человеку, получается: или мал ему стал, или велик. И выходит — его поступок, а как будто и не его. Нельзя по старому халату судить о человеке: примерить надо. Иногда важно не что человек о своем прошлом рассказывает, а как рассказывает. Вот потому и спрашиваем. А не хочешь — не говори.

*

пауза первая

ОБ УБИТОМ ДЖАДИДЕ

У его превосходительства генерала Миллера блуждала почка. Этот неприятный недуг, обнаруженный врачами на тридцатом году служебной карьеры генерала, наложил сильный отпечаток на характер его превосходительства. Внешне генерал как будто не ме-

нялся. Плотный и розовый, с жесткими седыми усами, он казался по-прежнему олицетворением цветущего здоровья. Только в его осанке появилось больше сановитости. Окружающие приписывали это ордену святой Анны с мечами, украсившему к тому времени короткую шею генерала. А между тем дело было именно в почке. До злополучного открытия, несмотря на пятипудовый вес, генерал как-то совсем не ощущал своего тела. Отдельные органы, расположенные по подобающим местам, ничем не напоминали о своем существовании. И вдруг один из них отделился и пошел странствовать наперекор общему распорядку. То, что чувствовал генерал, можно лишь сравнить с ощущением начальника железной дороги, получившего внезапное извещение, что по подведомственной ему линии мчится неизвестный поезд, не предусмотренный расписанием.

Генерал стал ступать и двигаться с непривычной осторожностью, словно нес перед собой вместо живота стеклянный аквариум. Иногда в полдвижении он останавливался и прислушивался: что-то плеснуло внутри, где-то озорной рыбой кувыркалась непоседливая почка.

По ночам на генерала находил мистический страх. В окно таращились пучеглазые тропические звезды. Просыпались познания из области астрономии, усвоенные еще в пажеском корпусе. Планеты двигались по начертанным для них траекториям. Все в этом движени было подчинено ненарушимым законам, удерживающим в равновесии весь подвешенный в пространстве чудовищный механизм. Но и в этом царстве незыблемой закономерности были свои ляпсусы. При мысли о кометах генерал приседал на постели. Он ощущал себя вдруг микрокосмосом в космическом вихре светил. Он слышал отчетливо шорох движущихся в нем планет; сердце, селезенка, печень дышали, набухая каждая по-своему. Только там, где бесшабашной кометой двигалась ничем не прикрепленная почка, стояла тревожная тишина. «Когда комета наскакивает на другое светило, должно быть, раздается глухой взрыв»,— цепенея от страха, думал генерал. В такие минуты он вскакивал с постели весь в поту, шлепая туфлями, шел к буфету, наливал себе стаканчик рябиновой наливки и, выпив залпом, шел в кабинет, при зажженных люстрах раскладывать пасьянс.

Жил генерал не в самой Бухаре, городе грязном и тесном, кишащем «сартами, похожими на евреев, и евреями, похожими на сартов»,— а в двенадцати верстах от столицы, в неприкосновенном русском городке Кагане, именуемом Новой Бухарой. Жизнь в резиденции текла неторопливо и мирно, без лишних треволнений, и, если бы не чрезмерно жаркий климат, жаловаться на судьбу генерал не имел бы оснований. Не выдайся этот несчастный сумбурный год. Когда пришли слухи о революции в России, подтвержденные извещением об отказе от престола государя императора, генерал закряхтел, как диван, и впечатлительная почка встала колом.

Происходило что-то несуразное, похожее на партию в шахматы в сумасшедшем доме. Сняли короля и королеву, а игра, как ни в чем не бывало, продолжалась дальше. Административные органы один за другим признавали новую власть и продолжали спокойно заниматься своим делом. Следуя примеру других фигур, генерал отправил в Петроград телеграмму, в которой выражал свои верноподданнические чувства временному правительству. Ответ не заставил себя ждать. Временное правительство, принимая во внимание республиканские чувства генерала, утверждало его резидентом Российской демократической республики в ханстве Бухарском. Генерал собственноручно обмотал красными тряпочками короны у орлов на спинках кресел, отчего орлы стали похожи на петухов, и, убрав со стен осколки старого режима, приступил к исполнению новых обязанностей.

В Кагане под боком образовалась параллельная власть: совет рабочих и солдатских депутатов. Ни в одной демократической республике, ни во Франции, ни даже в Америке, власти такой как будто не было и не полагалось. Однако просто разогнать ее генерал не решался. Не только в Ташкенте, но даже в самом Петрограде, под боком временного правительства, существовали свои советы, и, очевидно, новое правительство считало это в порядке вещей. Полномочия этой параллельной власти были совершенно неопределенные. В дом резидентства зачастили какие-то люди в сапожищах и в солдатских шинелях. Люди эти плевали на пол, растаптывали на ковре окурки и требовали черт знает чего. Бывший царский резидент Миллер не знал,

что полагается делать в подобных случаях республиканскому резиденту. Поэтому он выходил к новым посетителям с любезной улыбкой, жал руки, невнятно мямлил, что «конечно», «само собой разумеется», и даже для большего демократизма сам в их присутствии окурки бросал на пол и растаптывал их ногой, стараясь все же не попасть на ковер.

Бывали визиты еще более щепетильные. Крамола начинала подымать голову и в Старой Бухаре. Бухарские джадиды, под влиянием известий о низвержении русского императора, поощряемые каганским советом, обнаглели до крайних пределов и все громче кричали на всех перекрестках о необходимости реформ. Делегация их заявилась к генералу и потребовала от представителя русского республиканского правительства немедленного воздействия на эмира. Эмир должен произвести целый ряд реформ и даровать бухарскому народу хотя бы самую малюсенькую конституцию. Генерал растерянно покашливал, жаловался на плохое состояние здоровья и просил джадидов повременить, пока он снесется со своим правительством.

На всякий случай генерал решил застраховаться на два фронта. Он запросил директив у временного правительства, излагая положение вещей и упирая на немногочисленность и неавторитетность прогрессивных элементов в ханстве Бухарском. Другое письмо, вполне конфиденциального порядка, курьер отвез в эмирский дворец. Отправив оба письма, генералу оставалось только мирно ждать дальнейших событий. События не предвещали ничего хорошего. По информации первого секретаря резидентства, Шульги, главари джадидов, не очень доверяя демократическим чувствам генерала, постарались сами связаться с временным правительством и отправили в Петроград длинную телеграмму. Эмир непонятно медлил с изъятием зачинщиков. Джадиды становились все настойчивее и требовали решительных мер.

У генерала болела почка. Ссылаясь на это, генерал уже третий день не принимал никаких делегаций, разумно выгадывая время. В минуту служебных неприятностей и предстоящих трудных решений, требовавших абсолютного морального равновесия, генерал любил почитать. Он не терпел газет, презирал беллетристику,— единственной литературой, из которой он черпал

укрепляющий бальзам, были пожелтевшие сборники записок Императорского русского географического общества прошлого столетия. Поэтому, с утра встав с болью в пояснице, он брезгливо отодвинул пачку газет, суливших непременно новые неприятности, достал из шкафа толстый фолиант. Сборник, взятый наугад, посвящен был вопросам торговли России с Средней Азией. Автор вступительной статьи, не только географ, но и тонкий психолог, давал краткую характеристику национального характера бухарцев. Один абзац особенно понравился генералу. Он отметил его ногтем и прочел еще раз:

Бухарцы действительно вежливы, ласковы, общительны и говорливы. За эти качества им, точно, может принадлежать наименование азийских парижан: не надобно же принимать этого применения в преувеличенном виде и забывать, что Бухарец, как и всякий Азиатец, необразован, грязен, лжив и лишен системою восточного правления, восточными правами и обычаями и азиатским образом мыслей ясного понимания о праве и правомерности и есть не что иное, как тот же степной Киргиз, только не номад, а оседлый мужик, приобретший некоторый лоск гражданственности и чисто азиатскую ловкость...[1]

В комнату постучались. Вошел секретарь резидентства Шульга и молча положил перед генералом распечатанную телеграмму. Телеграммма была из Петрограда. Генерал отложил книгу и дважды внимательно пробежал текст. Временное правительство извещало, что при новом строе в России не может и не должно существовать близкого и соседнего бесправного народа, и выражало пожелание скорых реформ.

Генерал задумчиво барабанил пальцами по столу: определенно ни одного дня невозможно передохнуть. Он поднял на Шульгу страдающие глаза:

— Распорядитесь, чтобы подали мой парадный мундир. Поедемте вместе со мной к эмиру.

— Проект эмирского манифеста прикажете захватить?

— Да, да, непременно.

Генерал опять взялся за книгу. Книга действовала успокаивающе, поднимала мысли на нужную высоту, создавала дистанцию, позволяющую не принимать

[1] «Записки Императорского русского географического общества». Книжка X. С.-Петербург, 1855.

слишком всерьез всего происходящего. «Где это мы остановились? Кажется, здесь»:

...Почему же... нам не признать и бухарского медресе с его тысячью студентов за учреждение, хотя отчасти подобное Парижской академии, Оксфордскому или Геттингенскому университету. Сарказм сравнения Бухары с Афинами мы поймем только тогда, когда узнаем, что Бухарским университетом именуют такую школу, где студенты — оборванные ребятишки, а профессора — муллы, которые, задав своим слушателям урок из Мухаммедова корана или из песен Гафиза и Саади, ходят по аудитории с суковатою палкою и с неумолимостью колотят из всех сил будущих ученейших мужей за то, что они, надсадив глотку криком, распевают заветные слова вполголоса!..[1]

...В медресе Мир Араб, несмотря на отмену занятий, стоял в этот день ярмарочный гомон. Взбудораженные домуллы собрались в нескольких кельях обсудить необычайную новость. Больше всего толпилось их в келье домуллы Рахмана, самого старшего ученика медресе, отпраздновавшего недавно тридцать третий год своей учебы. Даже его завистливый соперник домулло Сатор, один из старожилов медресе, прозубривший в нем подряд двадцать два года, чувствовал себя рядом с Рахманом безбородым первоклассником и почтительно замолкал в его присутствии. Так бывало всегда. Но в этот необычайный день спутались все обычаи, и мирное медресе клокотало, как вода в тыкве на полном скаку коня. Голос домуллы Сатора гудел громче других, сопровождаемый глухим рокотом одобрения, и домулло Рахман, теребя пегую злую бороденку, высокомерно молчал, нанизывая в уме четки убийственных изречений. Спор касался только что объявленного манифеста эмира, в котором «он, к кому обращаются за милостью», в непрестанных заботах о благе и счастии всех верноподданных решил осветить Бухару светом прогресса и знаний, полезных для бухарского народа.

Домулло Рахман, скорбя по поводу манифеста, приписывал его козням русских. Русские низвергли своего царя и замышляют теперь о низвержении эмира в союзе с отступниками ислама — джадидами. Боясь сопротивления всех правоверных, русские хотят сначала обеспечить безнаказанность джадидам, чтобы с их по-

[1] «Записки Императорского русского географического общества». Книжка X. С.-Петербург, 1855.

мощью развратить народ и подкопать основы шариата. Поэтому они заставили эмира под угрозой войны даровать джадидам манифест. Эмир, желая избежать войны с могущественной Россией, вынужден был пойти на уступку. Эмир не будет обязан сдерживать обещания, данные им джадидам, если все правоверные мусульмане обратятся против джадидов и помогут ему расправиться без шума с отступниками шариата. Тогда русские, не находя больше опоры в мусульманском населении Бухары, не станут добиваться выполнения манифеста. Тем, кто имеет уши, эмир сам намекает на это в своем манифесте, обещая приложить заботу «к дальнейшему развитию в Бухарском ханстве самоуправления по мере того, как надобность в этом будет выясняться». Не следует ли из этого, что подобные новшества, противные шариату, не будут введены вовсе, если выяснится, что правоверное население Бухары не ощущает в них никакой надобности?

Тут-то домуллу Рахмана перебил домулло Сатор.

— С каких это пор,— кричал он, размахивая в воздухе длинной рукой, с пальцами, желтыми и кривыми, как бананы,— с каких это пор правоверные мусульмане должны подчиняться приказаниям неверных? Разве не сказано в Коране, в главе «Жены», в стихе 91: «Они хотят, чтобы вы были неверными так же, как неверны сами они, для того, чтобы вы были одинаковы с ними... Вам доставляем мы полную власть над ними»? И подобает ли правоверным мусульманам заслоняться боязнью войны с превосходящими их войсками неверных? Не сказано ли в главе «Фуркан», в стихе 54: «Не уступай неверным, но при посредстве этого воюй с ними великой войною», а в главе «Трапеза», в стихе 69, не говорится ли прямо: «Каждый раз, как они зажгут огонь войны против вас, бог погасит его»? Не сказал ли пророк в главе «Добыча» в стихе 66: «Поощряй верующих в битве; если будет в вас двадцать человек стойких, они победят двести; если будет в вас сто, они победят тысячу неверных, потому что они — народ непонимающий»? И не о таких ли, как ты, домулло Рахман, сказано в главе «Покаяние», в стихе 38: «Только те требуют увольнения от войны, которые не веруют в бога и в последний день, которых сердца нерешительны и которые при своей нерешительности колеблются»? Поистине, домулло Рахман, много неправды про-

изнесли сегодня твои уста, и стыдно тебе, тридцать три года изучавшему Коран, осквернять ложью уши твоих младших братьев. Не сказал ли ты только что, лживо толкуя манифест того, «к кому обращаются за милостью», что великий эмир может не выполнить данных джадидам обещаний, если этого не захотят правоверные, иными словами, по-твоему, эмир может бросать на ветер свои обещания? Или не читал ты, что говорит пророк в главе «Трапеза», в стихе 91, о нарушающих обещания: «Бог не накажет вас за празднословие в ваших клятвах, но накажет вас за то, что вы связываете себя клятвами»?

Последние слова домулло Сатор прокричал залпом и торжествующим взглядом обвел аудиторию.

— Плохо читал ты Коран, домулло Сатор,— сказал спокойно Рахман,— если не усвоил ты указания пророка, данного им крикунам. Не о тебе ли сказано в главе «Лохман»: «Говори голосом тихим, потому что самый неприятный из голосов есть голос осла»?

Рахман обвел глазами присутствующих в ожидании одобрительного смеха, но белые луковицы над сосредоточенными прорезами глаз торчали неподвижно и сурово. Домулло Рахман медленно засунул в рот небольшую щепотку наса:

— Мало изучал ты Коран, домулло Сатор,— сказал он, помолчав.— Ты уже запомнил наизусть отдельные стихи и главы, но еще много лет придется тебе изучать его, пока за словами стиха станешь понимать сокрытый в них смысл. Поэтому, перечисляя здесь все вычитанное в Коране, ты упустил как раз те стихи, в которых спрятан ключ к пониманию того, что тебе непонятно. Открой главу «Имрам» и прочти слова пророка: «Да, если будете терпеливы и будете богобоязливы, то, в то время как они стремительно нападут на вас, вот господь ваш в помощь прибавит к вам пять тысяч ангелов, которые будут отмечены особыми знаками». Не ясно ли из слов пророка, что помощь свою он обещает не тем, кто на твое подобие с палкой в руке кидается на вооруженные пушками полчища неверных, а тем, которые будут терпеливы и сумеют выждать благоприятную минуту? Если тебе и теперь непонятны эти слова, открой главу «Изгнание» и прочти, что говорится в ней о неверных: «Расстройство в среде их большое: подумаешь, что они что-то

соединенное, между тем как сердца их разрозненные; это потому, что люди они нерассудительные». Разве для того, кто умеет из скорлупы слов вылущить их сокровенный смысл, не ясно, почему пророк велит верующим быть терпеливыми? Разве не слышим мы о великом расстройстве, которое началось в стране неверных и растет с каждым днем? Разве не бог разъединил их сердца, чтобы ослабить и разрознить их силы, и разве не потому, хитростью оттягивая неминуемый день расправы, велит он нам быть терпеливыми и ждать, пока расстройство их поест их? Не сказано ли достаточно вразумительно в главе «Добыча»: «Вот неверующие ухищряются против тебя: они ухищряются, и бог ухищряется, но бог самый искусный из хитрецов»? А если бог есть самый искусный из хитрецов, то не должен ли быть самым искусным из хитрецов после бога, «тот, к кому обращаются за милостью»,— наш великий эмир? И не величайшей ли глупостью, противной шариату, осквернил ты свои уста, домулло Сатор, приписывая наместнику пророка указания, относящиеся к простым смертным? Потерпи, домулло Сатор, долго еще придется тебе изучать Коран, пока за изгородью слов откроются перед тобой божественные сады цветущих мыслей пророка.

Гул одобрения покрыл последние слова домуллы Рахмана. Гряды голов, венчанных чалмами, зашевелились, как тюльпаны. В келью набилось столько народа, что некуда было сплюнуть нас.

Домулло Саид Уртабай-зода приткнулся в дверях, ведущих во двор. Он внимательно прислушивался к спору с самого начала. Его восхищала непринужденная легкость, с какой противники кидали друг в друга длинные стрелы цитат, снабжая их на лету безошибочным штампом главы и очередного стиха Корана. Домулло Саид прибыл в медресе всего два года тому назад полуграмотным мальчишкой из далекого кишлака и с трудом успел осилить Суру. Прислуживая мударису и убирая его келью, он не мог, подобно богатым домуллам, посвящать все свое время зубрежке и тягаться со старожилами медресе, часами бубнившими наизусть любую главу с начала и до конца и с конца до начала. Ему было всего семнадцать лет, и первая нежная поросль на лице, как ее ни оглаживай, не могла еще сойти за серьезный намек на бороду,— неисчер-

паемый источник насмешек изумительно бородатых коллег.

Прислушиваясь с интересом к спору домулл Сатора и Рахмана и отдавая должное искусной казуистике Рахмана, положившего противника на обе лопатки с помощью всего-навсего трех цитат, домулло Саид душою был на стороне побежденного Сатора. Не зная других книг, он читал Коран, как читают героические романы, как его европейские сверстники читали Дюма и Майн Рида. В гуще малопонятных стихов он выискивал пищу для тревожившей его семнадцатилетний сон жажды подвигов и приключений. Он заучивал с особой легкостью и увлечением те стихи, где говорилось о войнах с неверными и рекомендовалось «ссекать с них головы дотоле, покуда не сделаете совершенного им поражения», осаждать их, делать вокруг них засады «на всяком месте, где можно подстеречь их». Из пыльной скуки медресе эти стихи уносили его, как тонконогие кони, в цветущие долины битв под сенью полумесяца вскинутой сабли и зеленого знамени Газавата.

Как выглядят настоящие неверные, домулло Саид, по правде говоря, не знал и представлял себе их, в отличие от правоверных мусульман, безбородыми и круглолицыми, как полнолуние: отсеченные их головы должны были катиться, подпрыгивая наподобие шаров. Неверные, с которыми ему приходилось встречаться ежедневно на улице и на базаре, шииты-персы и бухарские евреи, нисколько не походили на этих воображаемых врагов. Но подобало ли вообще рассматривать их как настоящих неверных? Не мог же пророк приказать отсекать головы базарным торговцам и называть это священной войной.

На воображаемый прообраз неверного больше всего походил русский пристав, мордастый и румяный, расположившийся с ватагой своих полицейских у ворот, ведущих в Бухару. Увидев его впервые, домулло Саид подумал, что когда такие умирают, в воздухе должны стоять громкое шлепанье и визг. Не сказано ли в Коране: «Когда умрут они, ангелы, как сильно будут бить их по лицу и по хребту!»

Но пуще всего домулло Саид ненавидел изменников ислама — джадидов, о безбожных поступках которых, как колокол, гудело медресе, и седобородый му-

дарис, домулло-ишан Салям от одного повторения их имен с каждым днем становился седее. Можно было простить неверному, что родился он в семье неверных, как прощал домулло Саид евреям и персам, но сыновьям правоверных, идущим в союзе с русскими войною против ислама, простить было нельзя. Где обретается этот враг, домулло Саид толком не знал. Пророк обещал тем, кто отвергнет его знамения, «перекрасить их нос клеймом». Домулло Саид верил, что, встретившись с глазу на глаз, он распознает их, хотя бы скрывались они под благочестивым халатом, и в этот миг не дрогнет его карающая рука. И вот сейчас, когда домулло Рахман умолк и келья загудела возгласами одобрения, миг этот пришел. Он пришел, шаркая по каменным плитам ректорскими туфлями, и остановился на пороге, оглаживая козлиный пук бороды. В келье сделалось вдруг оглушительно тихо.

И тогда стало известно, что завтра с утра в связи с эмирским манифестом джадиды и неверные Бухары выйдут на улицу демонстрацией и толпой пойдут к Регистану. И стало еще известно, что все правоверные мусульмане, кто не хочет допустить, чтобы позор обрушился на священный город, должны выйти с палками к Регистану и перебить отступников, как собак.

Над Бухарой верещали аисты. На верхушке минарета Смерти длинный самец в красных крагах, хлопая крыльями, клекотал протяжно, как муэдзин, возвещающий час птичьего намаза. На других минаретах его призыв подхватывали другие. Пролетая утром над Регистаном, аисты увидели внизу площадь, кишащую от края до края белыми птицами.

С семи часов утра огромная толпа мулл со всех концов города начала наплывать к Регистану, запрудила площадь белыми чалмами. У ворот эмирского дворца черные, как факельщики, деревянно столбенели часовые.

Домулло Саид, стиснутый в толпе, с нетерпением вытягивал шею, сжимая в руке узловатый кол. Он жадно напрягал слух, ловя сквозь рокот окружающей толпы отдаленные шорохи города. Из крытых базаров, как из вытащенных на поверхность туннелей метрополитена, шел смутный подземный гул. Вести, сухие

и короткие, искрами прыгали в толпе. Манифестанты собрались под куполом пассажа и, пройдя весь мануфактурный базар, вышли на Коммерческую улицу. Говорили, что идут они толпой, тысяч в пять, большей частью неверные — евреи и лезгины. Манифестация идет окружным путем через Гаукушан с красными флагами и плакатами. Требуют разрешения новометодных школ, свободы джадидских газет и конституции.

К десяти часам пришло известие, что демонстрация достигла персидского квартала и через Хиябан идет к Регистану. На Хиябане присоединились к ней несколько тысяч шиитов [1]. Говорили, что обнаглевшие джадиды послали трех делегатов, которые неизвестно как ухитрились пробраться к кушбеги [2] и потребовали от него музыки. Кушбеги, не вдаваясь ни в какие переговоры, велел делегатов посадить на цепь. Манифестация приближается к Регистану.

Тогда со стороны Арка [3] зацокали копыта, и на площадь въехал отряд эмирской кавалерии в сопровождении отряда пехоты. Толпа правоверных приветствовала их громкими криками: «Да здравствует эмир!»

И когда наконец толпе, нетерпеливо переминавшей в руках колья, показалось, что гул надвигающейся демонстрации провеял уже над Регистаном, пришла неожиданная весть: узнав о вызове войск, джадиды изменили план и, не дойдя до Регистана, распустили демонстрацию.

Вечером в медресе Мир Араб, на пороге келий, не зажигая света, группами пили чай и обсуждали события истекшего дня. Тогда из города прибежал домулло Камар и рассказал, задыхаясь от бега, что в городе идет облава: эмирская полиция ловит по домам джадидов и уводит их в Зиндан. Ученики других медресе вышли помогать полиции: ходят из улицы в улицу, выспрашивают у населения, где живут джадиды, и скопом окружают их дома.

Все сорвались с корточек и, оставив недопитые пиалы, бросились за палками. Домулло Сатор первый

---

[1] Шииты и сунниты — два основных разветвления ислама, враждующие друг с другом.

[2] Чин канцлера при эмирском дворе.

[3] Эмирский дворец.

выбежал в ворота, крича, что ни один правоверный не должен лечь до тех пор, пока в Бухаре останется в живых хотя б один джадид.

Они высыпали на улицу гурьбой и на улице разбились на четыре группы. Домулло Саид очутился в группе, которой верховодил Сатор. Они побежали вниз, по узеньким коленчатым уличкам, замедляя шаг на площадях у людных чайхан, стекавших на дорогу скользким разливом ковров, дальше, мимо крутых водоемов, где на поверхности неподвижной воды жирным глазком плавала луна. Они не расспрашивали у прохожих, их вел домулло Сатор. На перекрестках они сталкивались с другими группами домулл из других медресе. Они в знак приветствия потрясали в воздухе палками и бежали дальше,— табун оголтелых бурсаков, опьяненных темнотой и разгоряченных дыханием ночи.

Они остановились внезапно у невзрачного дома и, переметнув через дувал, ворвались во двор. Домулло Саид, прыгая через ограду, упал и больно расшиб колено. Прихрамывая, он побежал за остальными туда, откуда брызгами летел уже звон разбиваемых стекол. Подбежав к жилью, он увидел взломанную дверь, болтавшуюся на расшатанной петле, и темный пролет сеней. Домуллы Сатор и Қамар волокли оттуда человека в растерзанном халате. Человек сопротивлялся, но напирающие сзади, глуша его по голове палками, выталкивали во двор. Саид увидел лицо пойманного. Это было обычное мусульманское лицо, суживающееся книзу клином бороды. Борода склеилась от крови. Удивленные круглые глаза смотрели беспомощно и жалобно. Из откушенного уха и рассеченного лба обильно хлестала кровь. От вида брызжущей крови домулле Саиду сделалось дурно. Он отошел прочь. Он слышал глухие удары, стон и грохот падающего тела. Пронзительный женский крик заставил его оглянуться. На пороге стояла женщина.

— Разбойники! Развратники! — кричала она исступленно, и чачван, заслоняющий ее лицо, хлопал, как ставни на ветру.— Будь прокляты ваши отцы! Пусть сгорят покойники ваши! Да ниспошлет аллах погибель на семьи ваши!

Домулло Саид подумал, что это, наверное, мать искалеченного. Ему стало стыдно. Из окружающих до-

мов на крик выглядывали люди, открывались двери. С паласа, простертого у стоящей поодаль арбы, поднялась огромная фигура. Это был арбакеш, устроившийся здесь на ночлег. Арбакеш медленно шел к столпившимся у дверей белым чалмам. Домулло Саид первый увидел, что великан тащит за собой саженную оглоблю.

— Вам тут чего надо? — загремел из темноты арбакеш, и все домуллы, отпрянув от лежащего, повернулись.— Пошли вон, байские сынки! — Он угрожающе взмахнул в воздухе оглоблей, все попятились.— Кто вас звал сюда, ханжи, пророком убитые? Знаем мы вас, праведников! Выкатывай, пока морда цела! Живо!

Из темноты вынырнуло еще несколько угрожающих фигур:

— А ну, съезди их по луковицам!

Положение становилось рискованным. Домуллы кучкой попятились к ограде, оставляя на земле избитого. Домулло Саид, отступая боком, последним шмыгнул через дувал. Он настиг своих товарищей на углу.

— Пойдемте, пойдемте! — кричал домулло Камар.— Пойдем в другой квартал! Я знаю, где живет Мирза Фаткула. Пойдемте, я вас поведу!

— Идем,— согласился домулло Сатор.— В этом паршивом квартале лучше не задерживаться. Тут одни проклятые босяки, они все за джадидов. Не стоит связываться.

Борода его была испачкана кровью.

«Это он, наверное, откусил у того ухо»,— подумал домулло Саид, и Сатор стал ему противен.

Они опять пустились бежать по узеньким улочкам, через туннели базаров, мимо переполненных чайхан, спотыкаясь на коврах, красных и скользких, как кровь. Домулло Саид, прихрамывая, замыкал шествие. У него болело разбитое колено, и тяжелая дубина мешала бегу. Он думал уже отстать и незаметно вернуться в медресе, когда передние остановились в темном переулке.

— Здесь! — сказал домулло Камар. Он оглядел товарищей.— Нам надо разделиться. Скопом нельзя. В доме несколько выходов. Нужно окружить и с улицы, и с переулков,— он в кратких словах объяснил расположение дома и распределил роли.

Домулло Саид должен был проникнуть во двор, куда выходило одно из окон. Перебравшись через забор, он в первую минуту потерял направление. Все кругом было погружено в темноту и сон. Где жил джадид, и куда выходило окно? Домулло Саид, ощупывая рукою стены, стал обходить двор. Он старался продвигаться без шума, чтобы не разбудить спящих. У него промелькнула мысль, что так, должно быть, пробираются в чужой дом воры и разбойники. Не сказано ли в Коране: «Благочестие не в том, чтобы ходить вам в домы с задней стороны их; но благочестив тот, кто богобоязлив; входите в домы дверями их»? Нет, не так рисовал пророк войну с неверными!

Из дома слева донесся глухой шум: колотили в дверь. Это, видимо, и был дом джадида Мирзы Фаткулы. Домулло Саид подошел к небольшому освещенному окну. Дом гремел от ударов, снаружи взламывали дверь. Домулло Саид заглянул в окно. На столе горела керосиновая лампа. Нагнувшись над выдвинутым ящиком, стоял юноша. Он был немногим старше домуллы Саида, и нежная поросль лежала на его белом лице, как черновой набросок углем. Юноша вытаскивал из ящика какие-то бумажки и, комкая их в пальцах, поспешно совал в рот. Видно было, что он с трудом разжевывает и глотает жесткие комья. Кадык в горле ходил, как поршень. Дверь в глубине квартиры гудела от бешеных ударов. Юноша скомкал и сунул в рот последнюю бумагу, задул лампу и кинулся к окну. В окне, опершись на кол, стоял домулла Саид.

Юноша растерянно проглотил слюну. С треском рухнула наружная дверь.

— Прыгай в окно,— сказал Саид.— Прыгай скорее, здесь никого нет.

Мирза Фаткула недоверчиво улыбнулся. Из глубины квартиры гремел уже топот шагов. Джадид выскочил в окно.

— Сюда, налево, через этот дувал! — домулло уперся колом в землю и первый перепрыгнул через ограду...

Джадид последовал его примеру: в переулке действительно не белело ни одной чалмы.

— Не сюда, не сюда, налево!

Они быстро свернули в следующую уличку и нырнули в темный пассаж.

Долгое время они шли молча. Улицы врезывались в мрак ломаные, как молнии, расщепливались, шмыгали в стороны, просверливая навылет дома. Спутники обогнули круглую освещенную площадь. В мертвом сиянии луны она белела, как вытаращенный глаз, с неподвижным зрачком водоема. Они приближались к еврейскому кварталу.

— Зачем ты ел бумагу? — спросил неожиданно домулло.

Джадид покосился на него с любопытством.

— На этих листках были записаны фамилии моих товарищей.

— Твоих товарищей все равно перебьют сегодня ночью.

— Почему ты помог мне бежать? Ты сочувствуешь джадидам?

— Зачем против шариата с русскими идете?

— Не идем против шариата, идем против неправды и беззакония. Не хотим, чтобы кучка чиновников и ишанов безнаказанно грабила народ. Тянут и с утка, и с основы. Разве бог не приказал отсекать руки ворам и грабителям?

— Замолчи!

— Разве нет у тебя самого глаз, чтобы видеть? Пройди к воротам Бухары: русские полицейские держат в своих руках въезд в город. Кто их сюда звал? Джадиды? Эмир продал Бухару русскому царю. Народ обобрали. Скоро сурьму с бровей стащат...

— Чтоб тебе язык отрезали!..

— Смотри, что делается кругом. Русский народ прогнал своего царя и хочет помочь бухарскому народу. Разве это преступление против религии? Если эмир с русским царем угнетает бухарский народ,— это не противно шариату? А когда джадиды протягивают руку русскому народу, чтобы отвоевать свои права,— это противно шариату, это безбожно? Что же в таком случае шариат? Или это обманный безмен, который показывает разный вес в зависимости от того, какой ловкач держит его в руке? Не затыкай ушей, слушай...— Мирза Фаткула потянул домуллу за рукав, но отшатнулся от сильного толчка. Домулло бежал прочь. Его неуклюжие руки в пухлых рукавах халата широкими взмахами рассекали воздух. Слишком боль-

шие туфли громко щелкали по сухой дороге. Он исчез за поворотом...

К ректору Рафаату Али ведет узкая каменная лестница. Мударис занимает две кельи. В первой мударис проводит время за чтением Корана и набожными размышлениями, в ней же он принимает гостей. Во второй келье мударис спит.

Гостиная келья ректора похожа на сахарный домик. Стены, как распечатанные соты, все в алебастровых ячейках. Края крошечных ниш обведены кружевной резьбой, хрупкой мозаикой из разноцветных леденцов. Стрельчатые своды потолка дышат прохладой, как ломтики разрезанной дыни. Потолок настолько низок, что входящий в келью, как бы горделиво ни было его сердце, должен согнуться в благочестивом поклоне. Келья мусульманского мудариса не для беспокойных ног европейца. Она предуготована для размышлений и бесед. Мусульманину, занятому разговором, не пристало злоупотреблять праздными движениями. Если же, уколотый демоном страстей, он вздумает вскочить среди беседы, нарушая святые правила приличия, удар головой о потолок сразу приведет в равновесие его разрозненные чувства. Так, наверное, думали мудрые зодчие, строившие келью мудариса.

Домулло Саид с утра занят. Медный котел пыхтит на огне. Приподнимая толстый слой риса, тяжело сопит расплавленное сало, и рис тает, как снег, обнажая жирные бугорки баранины.

У ректора Рафаата Али гости. Они сидят в гостиной келье на полу, устланном одеялами, неподвижно-прямые, словно боятся уронить вот-вот готовые покачнуться аистовые гнезда чалм. Неторопливые языки гостей медленно поворачиваются во рту, разматывая тоненькую нитку разговора.

Подавая седьмой чайник, домулло Саид еще раз мельком успел взглянуть на гостей. На почетном месте сидит сам Кази-Калян[1]. Появление его в медресе вызвало немало толков. У Кази-Каляна — жесткая борода дикобраза и огромные мешки под глазами. Мешки свисают, как оттопыренные карманы, можно подумать, что в них старик прячет на ночь глаза, как другие прячут в футляр очки. Другой гость — дряблый седоборо-

[1] Верховный судья.

дый старичок с красными слезящимися глазами — тоже видный эмирский чиновник. Кажется, что он вот-вот чихнет, даже белые усы свисают из-под носа двумя мокрыми сосульками. Но больше всего привлек внимание домуллы Саида третий гость, прибывший еще вчера из далекого Кабула и остановившийся у мудариса на ночлег. Зовут его Халик Валяд-и-Умар, и говорят о нем, что это один из виднейших ишанов Афганистана. Черная плоская борода гостя, словно вырезанная из лакированной кожи, еще не исцарапана сединой. Лицо ишана неподвижно, и лишь в узкой расщелине век, как глазок дула в расщелине бойницы, медленно ходит зрачок. И хотя ишан сидит не на самом почетном месте, домулло Саид сразу понял, что это и есть самый почетный из сегодняшних гостей.

Пока рис в котле наливается румянцем, домулло Саид прислушивается к разговору, долетающему из открытой кельи Рахмана. Домулло Камар, побывавший третьего дня у Арка, на публичном избиении трех джадидов, арестованных в ночь после манифестации, рассказывает в сотый раз подробности экзекуции. Ходжа Мирбаба Максум-зода и Садреддин Айни Саид-Ходжа получили по семьдесят пять палок по голой спине, третий, самый вредный джадид, Мирза Насрула Абдулгафур, получил сто пятьдесят палок. Били крест-накрест двумя палками. Когда полопалась кожа и мясо вылезло наружу, поливали водой, давали отдышаться и били дальше, до последней палки.

— А почему только троих? — спрашивает равнодушный голос домуллы Рахмана.— Ведь тогда ночью арестовали более тридцати джадидов.

Домулло Камар не знает. Говорят, по требованию русских полиция должна была выпустить арестованных. Из тех, кто получил свою порцию палок, умер только Мирза Насрула. Остальные выжили. Наука для казия [1]: меньше, чем к ста пятидесяти палкам, не присуждать.

Рис в котле поспел. Домулло Саид выкладывает душистый плов на огромное китайское блюдо. С дымящимся блюдом он пересекает двор и поднимается по каменной винтовой лестнице. Скрипучий голос Кази-Каляна, доносящийся из кельи, заставляет его остановиться:

[1] Духовный судья.

— ...все бежали в Каган, и Файзула Ходжа, и Бурханов, и Мирза Фаткула,— говорит Кази-Калян.

Домулло Саид сдерживает дыхание и напрягает слух. Но запах плова уже опередил его и вошел в келью, извещая о приходе домуллы. Кази-Калян умолкает в половине фразы.

С колотящимся сердцем домулло Саид вносит и ставит на разостланный дастархан дымящееся блюдо. Щелкая туфлями, он сбегает вниз по лестнице. Внизу останавливается. Шум его шагов еще бежит за ним по ступенькам. Переждав минуту, домулло Саид бесшумно подымается наверх. Он притаился за последним поворотом лестницы. Он различает скрипучий голос Кази-Каляна:

— ...Ну, так вот: Шульга послал нам письмо, в письме был список наиболее вредных джадидов, тех, которые сейчас скрываются в Кагане. Шульга извещал, когда и кто из джадидских главарей собирается тайком в Бухару, и советовал эмирской полиции разделаться с ними так, чтобы пыли не осталось, пока за них не успеет заступиться каганский совет...

Из кельи доносится громкое чавканье. Кази-Калян не спеша ест плов.

— Ну?

— Ну, так письмо это неизвестно как попало в руки к джадидам. Джадиды подняли крик на весь Каган. Поставили на ноги каганский совет. Совет потребовал ареста Шульги. Генерал Миллер, чтобы вывернуться самому, согласился. Шульга сидит под домашним арестом. Пришлось выпустить арестованных джадидов и переправить их в Каган. Вчера джадиды устроили похороны Мирзы Насрулы. Собрали столько людей, что получилась вторая манифестация...

Опять причмокивая, Кази-Калян ест плов.

— Что же думает делать его высочество? — спрашивает незнакомый, немного насмешливый голос.

Кази-Калян неторопливо облизывает пальцы.

— Вчера к его высочеству приезжал Миллер. Рассказывал, что от джадидов приходили к нему Мухитдин Мансуров, Бурханов и Файзула Ходжа. Просил его быть посредником в переговорах между джадидами и эмиром...

— Миллер заодно с джадидами? — спрашивает насмешливый голос.

— Миллер советует такой способ,— говорит Кази-Калян.— Завтра, в пятницу, утром он приедет для переговоров в Арк с двенадцатью джадидскими главарями. Захватит с собой и русских из каганского совета, чтобы были свидетели. Просит оповестить мулл и правоверных, чтобы на улицах ожидала их большая толпа. В Арке их примет эмир и скажет джадидам в присутствии русских, что не даст их в обиду. После этого они поедут обратно. Тогда толпа правоверных бросится на джадидов и расправится с ними на глазах у русских. Русские будут довольны, что самим удалось вырваться целыми, и не будут больше приставать ни к эмиру, ни к Миллеру. Разве накажешь народ, что он привержен к исламу и растерзал нескольких безбожников? А джадиды останутся без главарей, как корова без веревки.

Опять причмокивая, собеседники разжевывают жирные куски. И опять незнакомый насмешливый голос:

— С каких это пор эмир не имеет права сам наказывать отступников шариата и должен прибегать к уловкам?..

Внизу по каменным ступеням внятно зашаркали туфли. Домулло Саид в испуге прижимается к стене. На повороте лестницы появляется белая чалма. Путь назад отрезан: два человека не могут разминуться в узком проходе лестницы. Домулло Саид одним прыжком подымается в келью и сгибается в низком поклоне:

— Можно убрать?

— Не надо. Приготовь чай,— слышит он раздраженный, подозрительный голос мудариса.

На пороге стоит новый гость, приветливо оглаживая белую бороду. Домулло Саид пропускает его в келью и кубарем скатывается вниз.

Они ехали от вокзала длинной вереницей экипажей, в гортанном клекоте аистов и дробном цокоте копыт. Толпа медленно расступалась, открывая перед ними узкую дорожку. Выезд был эмирский. Откормленные кони шли мелкой рысцой, выбрасывая ноги, как на параде. В первой коляске ехал сам генерал Миллер. Генерал был в полной парадной форме. Лицо круглое, безбородое, с щетинистой щеткой усов, и весь он похож на отъевшегося кота. В следующих экипажах еха-

ли делегаты джадидов в сопровождении чиновников эмира. В последних двух колясках сидели русские, члены каганского совета. Выезд медленно пересек базар, направляясь к Регистану. Толпа расступалась с гулким ропотом, чтобы замкнуться опять за последним экипажем, и, как клочья пены в фарватере, долго колыхалась в этом месте белая накипь чалм.

Домулло Саид проводил глазами последний экипаж. Он пристально всматривался в лица проезжавших джадидов, не разглядит ли среди них лица Мирзы Фаткулы. Когда последний экипаж исчез за поворотом, домулло Саид стал пробираться вон из толпы. Он не хотел присутствовать при втором самосуде. Воспоминание от первого мутило, как проглоченный комок свинины.

Он решил вернуться в медресе и просидеть там до вечера. Он шел боковыми переулками, сосредоточенно додумывая что-то смутное и сложное, когда внезапно, у самого входа в медресе, на него налетел с разбегу запыхавшийся человек в белой чалме. От сильного толчка у налетевшего съехала чалма. Он выронил звонкое проклятие и остановился. Домулло Саид смотрел на него широко раскрытыми глазами: это был Мирза Фаткула.

— А, это ты, домулло! Вот так встреча! Будь другом! Выручи уж и на этот раз. Помоги где-нибудь укрыться. Один проклятый мулла опознал меня на базаре и натравил толпу. Насилу вырвался. Боюсь, что рыщут по этим уличкам, и могу наскочить на них вторично.

Невдалеке за углом послышались топот и крики. Домулло Саид знаком велел Мирзе следовать за собой. Они проникли во двор медресе. Осторожно, озираясь по сторонам, домулло открыл свою келью и пропустил в нее джадида. Двор медресе был пуст, все мударисы и домуллы ушли на Регистан. Саид плотно прикрыл дверь.

— Я тебя сегодня искал, думал, ты с делегацией в Арк поедешь,— сказал он, не глядя на джадида.— И вчера вечером на дом к тебе заходил. Хотел предупредить насчет делегации. Дома тебя не было.

— Насчет чего хотел предупредить?

— Теперь поздно. Насчет делегации, чтобы не ехали. Всех перебьют, никто не вернется.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю. Слыхал. Генерал ваш, Миллер, договорился с...— он хотел сказать «эмиром», но запнулся,— ну с Кази-Каляном договорился, что привезет всех джадидских главарей в Арк будто бы для переговоров, а на обратном пути... так, чтобы пыли не осталось... понимаешь?

— Кто тебе сказал? Говори правду.

— Кази-Калян мударису нашему говорил...

— Надо сейчас же бежать и предупредить!

— Куда бежать, в Арк?

— Не в Арк, на вокзале стоят русские воинские части, приехали из Самарканда. Они предупредят по телефону каганский совет,— Мирза Фаткула кинулся к дверям.

— На вокзал не пройдешь, далеко, тебя узнают, везде народ,— упирался домулло, загораживая выход.

Мирза Фаткула оттолкнул его от дверей.

— Подожди. Я сначала выйду, посмотрю, что на улице,— домулло Саид приоткрыл дверь и выглянул во двор.

— Вот он! Вот он! — услышал он вдруг знакомый голос.— Он его спрятал у себя в келье! — во главе толпы, ввалившейся во двор, бежал домулло Сатор.

Саид широко распахнул дверь в келью. Одностворчатая дверь открывалась наружу. Домулло дверью, как ширмой, заслонил от толпы Мирзу:

— Беги! — крикнул он джадиду.— Беги вдоль стены! Тут, сейчас в углу,— лестница. Беги вверх! Мудариса нет. Спрячься у него в келье.

Домулло Саид пошел навстречу скопищу. Сатор, раскинув руки, остановил толпу.

...Тяжелый удар палкой свалил Саида с ног. Он грохнулся лицом на каменные плиты двора. На минуту он потерял сознание. Привкус крови во рту привел его в чувство. Он попробовал перевернуться. Двор был пуст. Толпа отхлынула в угол и клокотала у входа в келью мудариса. Домулло Саид увидел белую чалму Мирзы Фаткулы, два зажатых кулака взметнулись над толпой. Потом толпа подмяла джадида под себя.

Домулло Саид с трудом поднялся на ноги. На него никто не обращал внимания. Он пошел прочь, вдоль

стены, и через открытую калитку вышел на улицу. Ему не хотелось оглядываться. Задевая плечом стены, он пошел по пустой качающейся улице.

Когда к командиру эшелона, расположенного на вокзале, явился человек в белой чалме и растерзанном халате, с измазанным кровью лицом, из слов его командир так ничего и не понял. Вызвали переводчика.

— Говорит: Миллер договорился с Кази-Каляном, никто из джадидской делегации не вернется живым из Бухары. Говорит: Мирза Фаткула просил быстро-быстро известить каганский совет. Говорит: Мирзу Фаткулу убили...

Окровавленный человек в чалме книжника опустился на пол. Он удивленно слушал, как сухо хрустит ручка телефонного аппарата и как в черный кружок микрофона комендант на чужом языке кричит знакомые слова: Каган... совет... эмир... Миллер... джадиды... Бухара...

Потом, когда звуки умолкли и опять сухо захрустела ручка, он поднялся, попросил кружку воды, вытер лицо рукавом и вышел.

Кто он такой и как его звать, никто так и не узнал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

(Продолжение)

— Значит, по-твоему, Мирзу Фаткулу убили в семнадцатом году? — следователь откинулся на спинку кресла, и, прищурясь, смотрел на Уртабаева.

— На моих глазах было. А вы разве не знаете?

Джабари молча пожевал ус:

— Мирза Фаткула Махмудов жив и в добром здоровье. Позавчера приехал из Ташкента одним поездом с тобой. Насчет хлопка приехал. Узнал случайно о твоем деле, приходил о тебе хлопотать.

— Не может быть!..

— Говорит, что разыскивал тебя повсюду, справлялся в медресе. Узнал, что ты бежал, а куда бежал, никто сказать ему не мог.

— Неужели он действительно жив?

— Говорю — жив, значит жив.

— И с нами?

— Как же, член партии. Не в пример многим другим джадидам, прошел с нами весь путь с первых же дней. Случалось, покачивался вправо, — нет-нет да и вылезет из него буржуазно-демократическая закваска, — но в общем быстро выправлялся. Здорово помогал нам в борьбе с нынешней националистической контрреволюцией, — знает всю их подноготную. Ты его брошюру о джадидах читал? Хорошая брошюрка. Он там очень метко, в одной фразе, весь джадидизм охватил. Говорит: джадидизм — это такой охотник, который целился в куропатку, а попал в медведя, да сам так испугался, что бросил ружье и убежал. Хорошо сказано, а? Метили в либеральную конституцию, а попали в социалистическую революцию! Только насчет «бросил ружье» это у него старая ошибка. Недооценивает он их контрреволюционной роли на нынешнем этапе. Но в общем преданный мужик, за партию голову отдаст... Подожди, сейчас узнаем, обещал сегодня зайти. Обязательно с тобой хотел повидаться.

Джабари нажал кнопку.

Вошел секретарь.

— Товарищ Махмудов не заходил?

— Только что пришел. Позвать?

— Позовите.

На пороге стоял Мирза Фаткула.

— Здравствуй, домулло! Вот встреча, а? — Фаткула обеими руками тряс руку Уртабаева. — Не ожидал? Выходит, теперь моя очередь выручать тебя из беды. А знаешь, ей-богу, ты мало изменился! Разве только луковицы на голове нет, да седеть стал немножко. Что же ты на меня уставился? Не узнаешь? Постарел, видно, крепко? Время бежит! Разве за ним угонишься? Встреться мы с тобой на улице, ты бы меня, пожалуй, и не узнал.

— Нет, вы не очень изменились,— Уртабаев не спускал глаз с Фаткулы,— а узнать бы вас все-таки не узнал. Просто никак не рассчитывал встретить в живых. Я и сейчас не совсем понимаю. Как же это могло случиться? Неужели вы выбрались тогда живым?

— А вот посмотри хорошенько, пощупай.

— Да, я вижу. Только глазам не верится. Ведь

этими же глазами я видел, как вас выволокли во двор и исковеркали.

— Ты думаешь, там, в твоем медресе? А, это была забавная история! Значит, ты видел, как ему глаз выдрали?

— Кому ему?

— Подожди. Джабари не знает, в чем дело. Думает, верно, мы оба с ума сошли. Надо ему рассказать. Здравствуй, старина! Я с тобой и поздороваться забыл. Понимаешь, в чем дело?

— Нет, пока что не понимаю, — покачал головой следователь.— Уртабаев, видно, тоже не понимает.

— Как он меня спрятал у себя в келье, я тебе рассказывал. Помнишь? Ну вот, когда муллы ворвались в медресе, он мне говорит: «Беги в келью мудариса, там никого нет». Я, не долго думая, — туда! Вбегаю по лестнице, лестница узенькая. Келья — крошка, шага четыре, темновата. Смотрю, в углу на подушках человек лежит, в белой луковице, ишан или мулла, борода черная, а туфли на нем афганские — носок рогулькой. Я растерялся, назад податься некуда. Пригляделся: ишан мой спит, похрапывает. А в том углу кельи — низенький проход, наверно в другую келью. Я туда на карачках и пополз. Уйма одеял — спальня. Зашился в угол, навалил на себя кучу одеял и подушек, лежу. Слышу, в соседней келье — шум, крик, возня. Потом все утихло. Лежу, не шевелюсь. Кто-то вошел в келью. Опять ушли. Тихо. Лежал, лежал, наконец думаю: будь что будет, все равно мне здесь не ночевать. Мударис вернется, подымет шум. Надо убираться. Нарядился я в ректорский халат до пяток, чалму другую накрутил и помаленьку выглядываю. Первая келья пустая — бородатого нет. Только от чайника черепки валяются и одеяла крепко потоптаны. Я — на лестницу, с лестницы во двор. Пусто. Запахнул халат, чалму на нос надвинул и потихоньку, не спеша — к воротам. Иду, туфлями шаркаю, не оглядываюсь. Вышел из ворот, свернул в первую уличку и — бегом! Пробрался в безопасное место, а сам все еще себе не верю: как это мне удалось выбраться? Дня через два зашел ко мне один товарищ, тоже из джадидов. «Знаешь,— говорит,— третьего дня, когда эмир с Миллером хотели угробить нашу делегацию, толпа мулл в погоне за одним джадидом ворвалась в медресе Мир Араб и вместо джа-

дида исковеркала одного крупного афганского ишана. Тот из Кабула приехал, остановился у ректора медресе. Говорят, приехал с секретным поручением к эмиру. Муллы второпях приняли его за переодетого джадида, выволокли из кельи, намяли ему бока и один глаз выдрали. Досмерти забили бы, если б не распознал его один домулло. Ишан подал жалобу эмиру. Эмир, говорят, велел его перевести в свой дворец, вызвал медика из русского резидентства и следствие назначил. Выжить, кажется, выживет, но глаза не вклеят. Будет всегда носить на морде памятку о джадидах...»

Джабари взглянул на Уртабаева и перестал смеяться. Лицо Уртабаева было налито кровью:

— Глаз выдрали, говоришь? Один глаз? — спрашивал он, дыша в лицо Фаткуле.

— Что ты, обалдел? Что с тобой?

Уртабаев отошел к открытому окну.

Джабари и Фаткула переглянулись. Следователь постучал по лбу.

Когда Уртабаев повернулся, его лицо было опять спокойно. Он подошел вплотную к столу.

— Я могу, конечно, ошибаться, — сказал он очень внятно, не своим голосом, смотря в упор на Джабари. — Я, конечно, могу ошибаться... Но вы меня сегодня спрашивали — не встречался ли я где-нибудь раньше с Ходжияровым? Мне кажется, что я с ним встречался. Только это было очень давно, и у него тогда были оба глаза. И мне потому никак не приходило в голову, что если бы Ходжиярову подстричь бороду и вставить другой глаз, он стал бы очень похож на ишана Халика Валяд-и-Умара.

Известие о смерти Синицыной привез на строительство бухгалтер Осип Викентьевич, случайно возвращавшийся из Ташкента одним поездом с Синицыной и Уртабаевым. Об Осипе Викентьевиче говорили, что в старое время был он управляющим в большом княжеском имении. Скрыть это, впрочем, Осип Викентьевич и не пытался: вид его, короткий, усатый и румяный, подтверждал это красноречивее старой фотографической карточки.

О сенсационном происшествии Осип Викентьевич первым делом рассказал в кругу семьи и подоспевших

военнослужащих. Из рассказа, во-первых, явствовало, что жена Синицына сбежала к Уртабаеву, во-вторых, что Уртабаев наутро выгнал ее вон и, в-третьих, что Синицына, желая ему отомстить, кинулась на его глазах под колеса.

Все охали и ахали, а жена старшего бухгалтера громогласно заявила, что туда ей, шлюхе, и дорога: бросать такого мужа для какого-то таджика или узбека! В этом месте она выразительно посмотрела на жену младшего счетовода, о которой поговаривали, что она крутит любовь с завкооперацией, таджиком Умаровым.

Наспех поужинав, Осип Викентьевич собрался к Синицыну сообщить печальную новость и первым выразить свое соболезнование. Он хотел было идти не переодеваясь, чтобы кто-нибудь из приезжих не опередил его, но жена настояла — обязательно надеть черный праздничный костюм: во всем мире принято выражать соболезнование в трауре.

Осип Викентьевич обдумал дорогой все, что полагается говорить в подобных случаях, но, очутившись перед Синицыным, забыл. Он вытер платочком усы и, не будучи в состоянии вспомнить заготовленную вступительную фразу, начал со второй:

— Разрешите, Владимир Иванович, мне, как служащему человеку, хотя и беспартийному, но преданному делу построения социализма, выразить вам свое глубокое соболезнование по поводу постигшего вас несчастия...

Синицын насторожился.

Осип Викентьевич вытер платком лоб. Определенно начал не с того конца!

— Земля дала, Владимир Иванович, земля взяла, — ляпнул он залпом приготовленную заключительную фразу. В такой редакции фраза должна была звучать вполне материалистично и без религиозных предрассудков.

— Я вас не понимаю,— насупился Синицын.— О чем вы говорите?

— О безвременной кончине супруги вашей, блаженной памяти... то бишь всеми нами любимой Валентины Владимировны...

Лицо Синицына дрогнуло:

— Кто вам сказал об этом?

— Сам видел, Владимир Иванович, свидетелем несчастья случайно оказался. Одним поездом из Ташкента ехали.

— Когда это было?

— Три дня тому назад, Владимир Иванович, вечером семнадцатого числа у станции Урсатьевская, не доезжая разъезда.

Синицын отвернулся. Осип Викентьевич помолчал.

— Ехали мы... как раз спать собрались ложиться. Вдруг поезд затормозили. Человек, говорят, выпал. Как случилось, и сам не пойму. Говорят, вышла подышать свежим воздухом на площадку. Поезда, какие у нас теперь, сами знаете, трясут, как кулацкая бричка... Много ли надо хрупкой женщине? Рвануло покрепче — и нет.

— Мучилась? — тихо спросил Синицын.

— Вот одно утешение, что не мучилась. В промежуток между вагонами спрыгнула, и сразу — голова напрочь. А то другие, бывает, попадет неудачно,— ноги, руки отрежет, и калекой нетрудоспособным на всю жизнь останется. А разве такому жизнь? Одно мученье!

— Да, да, спасибо вам...

— Осип Викентьич...

— Спасибо вам, Осип Викентьич, что сказали. До свидания, Осип Викентьич.

На работу Синицын явился в обычное время. В парткоме в этот день разговаривали вполголоса. Вечером Синицын долго ходил по участку и вернулся домой часов в одиннадцать. Живущий через стенку Андрей Савельевич слышал долго в ночь, как секретарь расхаживал по комнате. Потом скрипела отодвигаемая мебель. Потом и это прекратилось.

Отодвинув кровать, Синицын пробрался в угол. В углу стояла портативная машинка старой конструкции, купленная по случаю в Бердичеве в 1920 году — подарок Владимира Валентине, — и небольшой Валин чемодан. Синицын открыл чемодан. Тут были старые вещи Валентины, она их не носила последние годы. Синицын вытаскивал осторожно, одну за другой. Юбка, платок, джемпер. Он долго рассматривал узенькое фланелевое платьице. В этом платье он увидел впер-

вые Валентину в восемнадцатом году в Самаре. Ни в одном наряде она не казалась ему такой красивой. По его настоянию Валентина не выкидывала этого платья, хотя оно ей давно стало узко.

На дне чемодана лежали письма, бумаги, фотографии. Он выложил все это на одеяло и стал неторопливо разбирать. Две старые фотографии Валентины он спрятал в бумажник. Фотографии мужчин и две-три группы он положил отдельно и принялся разбирать письма. Большинство писем было адресовано Валентине различными мужскими почерками. Не открывая конвертов, он откладывал их в сторону. Были письма и без конвертов, начинавшиеся словами: «Дорогая Валя!», «Любимая Валя!», просто «Дорогая!», просто «Любимая!» Он откладывал их не читая. Разобрав все письма, он завернул их в газету вместе с кучкой фотографий и понес в печку. Спички тухли, отсыревшая бумага не загоралась. Наконец газета вспыхнула. Он ждал, пока не почернеет последний белый клочок, и только тогда вернулся к чемодану.

Осталось несколько листков, исписанных рукой Валентины: какие-то адреса, какие-то билеты, какие-то тезисы, конспект какого-то доклада. Три листа были напечатаны на машинке. Листы были датированы разными числами: один — 21-м годом, другой — 23-м, третий — 30-м.

Синицын взял первый листок.

7.VII.1921 г. Задумала писать дневник. Раньше такая мысль никогда, пожалуй, не пришла бы мне в голову. Когда все ясно и понятно, незачем затевать длинные разговоры ни с другими, ни тем более с самим собой.

Еще полгода тому назад слово «сомнения» вызывало у меня снисходительную улыбку. В моем словаре пришлось бы искать его на букву «М»: мелкобуржуазные сомнения. Возможно, мое сегодняшнее настроение тоже исчерпывается этим термином. Легче почему-то применять эпитет «мелкобуржуазный» к другим, чем к самому себе.

Иногда жалею, что кончилась война. На фронте все было удивительно просто: победить или погибнуть. Если бы там кто-нибудь сказал мне, что можно выиграть войну и тем не менее проиграть революцию,— я бы восприняла это как плоский контрреволюционный парадокс. А ведь существует и такая возможность.

Иногда спрашиваю себя: неужели все изменилось с этого случая на вокзале? Или я стала на все смотреть другими глазами? Конечно, сам случай — пустяки. Конечно, задолго до этого я видела и гастрономические магазины, открытые для нэпманской публики, и ресторанчики с музыкой, и дооктябрьские масленые

рожи, опять запрудившие улицы. Видела, но старалась не замечать. А вот после этого случая не замечать больше не могу. Это лезет в глаза.

Что думает Владимир? Думает ли он то, что говорит, или старается отвертеться готовыми фразами? Больше мы с ним к этой теме не возвращались. Тогда он нашел, что я говорю, как все христианствующие. Я напомнила ему случай в Саратове, когда говорила как раз противоположное и он ответил мне той же готовой фразой. Нет, я не верю больше его фразам. Он просто боится додумать до конца и потому старается всячески загружать себя работой. Ответ надо найти самой. Никто мне его не подскажет. Пора начать жить своим умом...

Синицын отложил листок. Он хорошо помнил случай, о котором писала Валентина. Он вернулся тогда поздно вечером с работы, усталый и голодный. Ее не было дома. Он вскипятил чай, достал хлеб, вытащил кусок колбасы (выдавали в тот день чайную колбасу) и принялся есть. Вошла Валентина. Она без слов сняла пальто и села в углу.

Он. Садись кушать. Наверное, проголодалась.

Она. Не буду есть.

Он. Почему?

Она. Так, не хочется...

Он. Что с тобой? Ты чем-то взволнована?

Она. Взволнована? Может быть. А ты ничем не взволнован?

Он. Нет, я просто устал.

Она. Знаешь, я только что видела, как на вокзале подобрали женщину с ребенком. Оба умерли с голоду. Понимаешь? С го-ло-ду! Простая деревенская баба и грудной ребенок.

Он. Наверное, беженцы из голодных районов.

Она. Ты считаешь, что это в порядке вещей?

Он. Что с тобой, Валя? Ну, успокойся. Конечно, это очень тяжело, но что же можно сделать? Пока не наладим транспорта...

Она. Ну да, причина всегда найдется. Наладим транспорт... а пока давай кушать колбасу.

Он. А если мы тоже не будем есть, то от этого что-нибудь улучшится?

Она. Да, улучшится! Если не хватает для них, должно не хватать и для нас. Не кормите нэпманов! Будем есть все сухой хлеб. Но деревенская баба не имеет права умирать у нас с голоду! Для кого мы делали революцию, если не для нее?

Он. Революцию мы делали и для нее, и для себя. Не говори, как ребенок. Вместо того чтобы проповедовать христианский аскетизм и посыпать голову пеплом, надо лучше работать и поскорее наладить у нас жизнь. Тогда ни один трудящийся не будет голодать. А если и наши работники повалятся от изнурения, кто за это будет драться? Разве твоя деревенская женщина.

Она. У тебя на все один ответ. Помнишь, когда в Саратове забастовали рабочие,— им три дня не выдавали хлеба,— я сказала, что надо поставить перед заводом пулемет и расстрелять их как предателей. Ты мне тогда ответил то же самое, что и сегодня, будто я требую от людей какого-то религиозного аскетизма во имя революции.

Он. Никакого противоречия между тем, что я говорил тогда и сейчас, нет. Рабочие правильно требовали от своей республики, чтобы она накормила их семьи. Неправильно было то, что они подставляли ей ножку, не учитывая временных затруднений. Нужно было только объяснить им эту простую вещь, и они все стали на работу. А ты требовала от них отречения во имя революции, так же как требуешь его сейчас, в несколько другой обстановке,— всеобщего христианского уравнения перед лицом наших неполадок.

Он говорил еще долго, объяснял, приводил примеры и, казалось, убедил ее, поскольку к этому вопросу в разговорах с ним Валентина больше не возвращалась.

Синицын взял следующий листок, помеченный 11 мая 1923 г.

ткптклкххткптктпкптктлктпкитррятфкклтногхринпктп

Давно не писала на машинке. Надо прочистить буквы. Машинка чихает и кашляет.

На дворе весна. ВЕСНА. ВеСнА. ХОРОШО! Сегодня еду в Крым. В КРЫМ. На целых шесть недель! Н. едет тоже. Люблю Н. А может, не люблю? Нет, люблю. Кажется, люблю. Раз кажется, значит люблю. Все любят, а когда перестают любить, тогда им кажется, что им казалось. Все это пустяки. ПУСТЯКИ. Вот уже два месяца, как длится наш роман. Роман? За целых два месяца мы ни разу не могли остаться наедине. У него дома — жена, ребятишки. У меня — невозможно, кругом знакомые Володьки. Надоело вечно встречаться на улице или в кино. НАДОЕЛО. Н. достал двухместное купе в международном. Володька достал для меня броню в мягком. Обязательно хочет меня проводить на вокзал. Ну и что же, пожалуйста! Пересяду дорогой.

Володька очень ласков. Сам выхлопотал путевку. Радуется: наконец отдохну и поправлюсь. Заботливость Володьки портит мне настроение. Может быть, нехорошо, что его обманываю? Может, следовало бы рассказать обо всем? Рассказать — значит разойтись. Нужно ли это делать сейчас? Во-первых, не знаю еще сама, люблю ли наверное Н. и буду ли с ним жить. Во-вторых, думает ли об этом Н.? У него жена, дети. Никогда мы с ним на эту тему не говорили. Поживем в Крыму, там видно будет. И потом, что значит «обманываю»? Что я — собственность Володькина? Неужели мне нельзя любить никого, кроме него? Пустяки. Буржуазные предрассудки. Катехизис. Делаю, что хочу, и буду делать, как мне удобнее. Володька сам больше страдал бы, если б я ему сказала, что от него ухожу. Зачем причинять ему боль? В конце концов факт, о котором не знаем, не существует. Володька сам как-то говорил по поводу Астафьевой, поведением которой возмущались наши товарищи, что женщина свободна делать то, что хочет: если они продолжают жить вместе с Астафьевым, это доказывает только, что их сожительство основано на чем-то гораздо более прочном, нежели простое физическое влечение.

Да, да, да! В конце концов революция — это не великий пост, и коммунизм — не монашеское отречение от благ жизни. Наоборот, это борьба за то, чтобы не кучке привилегированных, а всем, всем, всем жизнь давала больше радости и наслаждения. Наше поколение отдало этой борьбе свои лучшие годы: пять лет лишений и отказа от всего. Пять лет, на проценты от которых будут жить будущие поколения. Так неужели мы не вправе выжать из нашей жесткой действительности для себя даже ту каплю радости, которую можем в ней найти? Пустяки! Что ж это выходит, как у Горького: для лучшего человека живем? А откуда я знаю, что будущий человек будет лучше? И что он не будет думать обо мне со снисходительным сожалением: вот дура была!

Я рада, что мои взгляды совпадают со взглядами Н. Пусть он только беспартийный спец, но в вопросах личной жизни он мыслит гораздо больше по-коммунистически, чем Володька с его восьмилетним партстажем.

Ну, пора собираться. Скоро придет Володька паковать мой чемодан.

Синицын взял последний густо исписанный лист:

Хорог. 16 ноября 1930 г.

Давно не писала. Писем посылать некому. Попробую немного размять пальцы. Совсем разучилась быстро писать. Надо будет в течение этой зимы поупражняться. Буду писать дневник. Начинала уже по крайней мере пять раз и никогда не напечатала больше одной страницы. Не хватает усидчивости. Тут, пожалуй, от одной скуки можно сделаться писательницей.

Итак, начнем с сегодняшнего дня. Почему именно с сегодняшнего? Не прикидывайтесь, Валентина Владимировна. Знаете хорошо — почему. Сегодня вам стукнуло тридцать три года. Да, да. Ровно тридцать три. Сегодня вы пробовали подсчитывать на пальцах и хотели обмануть себя, что получается только тридцать два, но ничего не вышло. Тридцать три. Точнее: один день тридцать четвертого. Да-с!

Ровно два месяца тому назад в этот же день вы уезжали из Хорога с Муриным. И ровно месяц тому назад расстались с ним в Сталинабаде. Тоже шестнадцатого. Совпадение. Признайтесь, что, уезжая отсюда два месяца тому назад, вы не полагали, что сегодня будете сидеть опять на энтом самом месте. Правда, вы говорили для приличия и Володе, и товарищам, и даже самому М.: еду в Сталинабад. А про себя думали: значительно, значительно дальше! И насовсем. Вы спрашиваете: почему же, если не по собственной воле, вы вернулись? Ведь М. уговаривал вас ехать с ним в Москву. Милая Валентина Владимировна! Я ведь — единственная женщина, которая любит вас крепко и по-настоящему. Разрешите потому ответить вам без фокусов. Вы — умная баба и вы хорошо знаете, как уговаривают, если хотят с вами строить свою жизнь и если иначе, как с вами, этой жизни не мыслят. Одно дело, милая Валентина Владимировна, приехав с экспедицией на Памир, закрутить на крыше мира роман с интересной и неглупой женой секретаря обкома. Это и приятно и пикантно. А совсем другое дело пускаться с нею в любовное плавание в Москву. Вы достаточно музыкальны, чтобы уловить, что уже в Сталинабаде М. говорил о вашей будущей совместной жизни октавой ниже, чем в Хороге. Конечно, он предлагал вам ехать с ним дальше, как это сделал бы на его месте каждый воспитанный мужчина. Но вы не станете утверждать, будто он очень уж настойчиво пытался переубедить вас, когда вы ему сказали, что вернетесь в Хорог. За что я вас люблю и уважаю, милая Валентина Владимировна, так это за то, что вы умеете в таких случаях не оттягивать неприятного решения. Когда М. проснулся и узнал, что вы уехали одна верхом в Хорог, он, наверное, хорошо думал о вас в это утро.

И вот опять в Хороге. Вы загнали лошадь, но зато успели до закрытия перевалов. Надо было быть все-таки более предусмотрительной и не затягивать так долго своего пребывания в Сталинабаде...

Пришлось прервать писание, заходил Володя. Я так неловко заслонила собой машинку, что он повертелся по комнате и сейчас же ушел. Наверное, подумал, что я пишу письмо М. Как глупо!

Володька, ясно, догадывается о моем романе с М. Он мне не говорит об этом ни слова, но, когда я вернулась, он с такой радостью и удивлением сказал: «Ты приехала?», что мне стало ясно: он не ожидал моего возвращения. Я впервые немного смутилась. Он понял и смутился тоже. И сейчас же стал поправляться: «не рассчитывал, что ты успеешь до закрытия перевалов» Больше мы на эту тему не говорили. Он все эти дни очень ласков и старается меня чем-нибудь развлечь. Он понимает абсолютно все и жалеет меня. Это угнетает меня хуже всего. Если б он после моего приезда выгнал меня вон, бил бы головой об стену, я или ушла б от него навсегда, или вернулась бы, выплакалась и просила бы прощенья. Но он не говорит ничего. Он будет притворяться, что ничего не знает, как притворялся и в случае с К., и в случае с Ф., и, наверное, во многих других случаях. Будет лгать и заставлять лгать меня. Потому что я первая никогда с ним об этом не заговорю.

Как-то раз, еще в Харькове, он сказал мне, что я — человек свободный и он не имеет права оказывать никакого давления на

мою личную жизнь. Он считает, что этого требует коммунистическая этика, что так должен поступать по отношению к женщине, с которой живет, новый, социалистический человек. Может быть, действительно в социалистическом обществе люди будут так жить, не страдая и не ревнуя друг друга. Может быть, действительно между мужчиной и женщиной выработаются другие, особые отношения,— товарищества и дружбы, которые до сих пор бывали только между мужчинами. Все это очень возможно, но это — дело воспитания еще нескольких поколений в совершенно новых условиях, не похожих на те, в которых росли и воспитывались мы. Сегодня еще таких отношений нет и не может быть. И каждому стопроцентному коммунисту, который будет уверять, что он любит человека, с которым живет, и что ему безразлично, с кем еще, кроме него, спит и путается этот человек,— я скажу просто: он врет и играет комедию.

Если б я знала, что Володька не любит меня как женщину, а просто дружит со мной и не хочет разлучаться как с близким, товарищем, с которым прожил долгие годы,— в этом не было бы ничего удивительного. Но я ведь знаю, что это не так. Я знаю, что он любит меня именно и прежде всего как женщину. Я не маленькая, чтобы не различать таких вещей. Я знаю, что он любит меня и ревнует, как ревновал бы на его месте каждый нормальный мужчина. Пока я была уверена, что он не догадывается о моих похождениях, врать ему не представляло никакой трудности. Но врать, когда знаешь, что человек догадывается абсолютно обо всем и сам помогает тебе лгать, становится уже глупо и дико.

Я знаю, что Володька слишком честен, чтобы согласиться на такое положение вещей сознательно: он играет комедию не только передо мной, но и перед самим собой. Он создал себе всю эту ультракоммунистическую теорию невмешательства в мою личную жизнь и хочет убедить себя, что мучается именно во имя этой новой, социалистической этики. Страдания, которые вызывает в нем ревность, окупаются для него сознанием, что он поступает благородно и по-коммунистически. Если бы кто-нибудь сказал ему: «Ты терпишь все это только потому, что боишься ее потерять, боишься, что не сможешь больше обладать ею»,— он, наверное, назвал бы его пошляком.

И он подсознательно, но хорошо рассчитал. Первые годы после того, как я перестала его любить, его невмешательство и молчание были мне просто удобны. И я не думала уходить от него. Теперь, когда я знаю, что он давно догадывается обо всем, обманывать его становится с каждым днем неприятнее и труднее. Но в тридцать три года бросать все и начинать новую жизнь можно, только если встретится уж очень большая любовь. Инерция прожитых лет приковывает к месту.

Вот и остались мы опять вдвоем, отрезанные от мира на восемь месяцев снеговыми перевалами,— честный, образцовый коммунист и его беспутная жена,— играть длинными зимними вечерами я — верную, никогда не изменявшую ему подругу, он — благородного социалистического мужа, выкорчевывающего из своего сознания буржуазные пережитки мужского собственничества и плотской ревности.

Покойной ночи, Валентина Владимировна!

В четвертом часу утра настойчивый стук в дверь разбудил Комаренко. Уполномоченный натянул сапоги и, накинув халат, пошел отпереть. На пороге стоял Синицын.

— Можно к тебе? Я тебя разбудил?

— Заходи, заходи. Пройди прямо в кабинет. Зажги там электричество. Я малость приоденусь и сейчас приду. Где же это ты запылился? Пешком шел, что ли?

— Да, пешком. Хотел немного пройтись.

— Хорошенькое немного! Ну, заходи, я сию минуту.

Через минуту он действительно появился, застегивая китель.

— Ты меня извини, что я так ночью...— пробовал улыбнуться Синицын.— Мне с тобой поговорить надо.

— Садись. На, закуривай, слушаю.

— Понимаешь, я пришел дать тебе показание... Я убил человека.

— Кого это? Когда?

— Жену убил.

Уполномоченный внимательно посмотрел на Синицына.

— Что это, ты бредишь? Плохо себя чувствуешь? Так бы сразу и сказал, подожди, я тебе сейчас вскипячу чайку, с коньяком, а? Попросим жинку, она это мигом.

— Спасибо, я не продрог. Пить не буду. Странный ты человек, Федор. Разве убийство должно быть обязательно собственноручным? Ведь я-то знаю, что ее убил. А сказать об этом — не поверят. Вот потому и пришел к тебе. Понимаешь, рассказывать тут трудно. Расскажу,— может, не поймешь. На, прочти вот это,— он протянул густо исписанный лист.

Комаренко внимательно прочел листок и вернул его Синицыну.

— Ну вот, видишь,— Синицын сунул лист в карман.— Что мне делать, а? Понимаешь, не к кому обратиться. Пришел к тебе за советом.

— Преувеличиваешь ты, брат, здорово. А впрочем, тебе видней. Дело, конечно, сложное. В этой области у нас контрольная комиссия не работает. Тут тебе самому надо.

— Что самому?

— Самому разобраться. У кого из нас старья этого самого нет? Гонишь его в дверь, оно в окно лезет. Кулак с тех пор, как подрубили корни, даже облик старый потерял, в колхозы пролез, стопроцентным строителем социализма прикинулся. Поди его разоблачи! То же самое, брат, и наш внутренний кулак, нутро наше старое. Только разоблачить его еще труднее. Кажется тебе, вытравил его уже каленым железом, а он в подсознании где-нибудь сидит, переодевается. А высунет голову — не узнаешь. Под такую тебе социалистическую идею загримируется, что поди различи. Тут, брат, каждый — сам себе контрольная комиссия.

— Но ведь я же человека убил!

— Это ты загибаешь. Нервы у тебя разгулялись. Никого ты не убивал, а просто чувствуешь себя виноватым. Чего ж тебе надо? Чтобы тебя другие наказывали? Вроде как отпущение грехов? Наложили епитимию, отработал — и чист? Тут, брат, самому поработать над собой нужно. Только без истерики, а спокойно, по-большевистски. Что ж я тебе сказать еще могу?

— Да, конечно, что ж ты мне можешь сказать? Самому надо... Ну, спасибо и на этом.

— Подожди, чай сейчас будет. Не валяй дурака! Никуда тебя не отпущу. Попьешь чайку, отогреешься, потом подвезу тебя на машине.

— Нет, не надо, спасибо. Пройдусь... Как это ты говоришь? Дай бог всякому!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Лестница, по которой он подымался, была узкая, деревянная, с почерневшими перилами и стоптанными ступеньками,— такие бывают только в очень старых домах. Зажженные через этаж газовые рожки еле освещали каждую четвертую площадку. Отец жил на последнем этаже, на четвертом или пятом,— он не мог хорошенько припомнить. Впрочем, весь дом, кажется, пятиэтажный. Между тем он прошел уже минимум восемь этажей, а конца все не было. Напрасно он не считал площадок. Во всяком случае, теперь уже недалеко. Он поднялся еще на три этажа и остановился, запыхавшийся и усталый. Лучше всего спуститься вниз и узнать толком.

Двумя этажами выше внятно слышны чьи-то шаги. Кто-то медленно поднимается по лестнице, шлепая туфлями. Слышно отсюда тяжелое, свистящее дыхание. Должно быть, какой-нибудь старик или старуха. Надо догнать и спросить. Перепрыгивая через несколько ступенек, он пробежал еще три этажа. Медленные старческие ноги слышались по-прежнему двумя этажами выше. «Что за черт! Задача об Ахилле и черепахе?» Набрав жадно воздуха, он опять метнулся вверх, тяжело дыша и отсчитывая в уме этажи: один! два! три! четыре! пять! Шаги остановились. Еще две, восемь, двадцать, тридцать две ступеньки. Вот он наконец!

На повороте следующего этажа стоял дряблый старик в выцветшем халате, перехваченном в талии шпагатом. Старик держал зажженную свечу. Он стоял, тяжело дыша, облокотившись на перила. Воздух в его глотке свистел и храпел, как в трубах органа.

«Неужели я так долго не мог нагнать этого старого хрыча?»

— Будьте добры, вы не сможете мне сказать, сколько этажей в этом доме?

Старик смотрел тупыми глазами, не отвечая, и продолжал сопеть. Потом, откашлявшись, медленно стал подниматься вверх, дрожащей рукой цепляясь за перила.

«Наверное, глухой; надо громче, в самое ухо».

— Сколько этажей в этом доме?! Вы слышите?

Старик безмятежно продолжал свой путь. Только в глазах — две насмешливые искорки.

«Издевается, собака! А ну-ка, потрясем его за грудку!»

— Вы ответите?!

Старик сделал гримасу и показал язык.

«Ах ты, старая перечница! Я тебя заставлю отвечать по-человечески! А об стенку не хочешь? Вот так! И вот так!»

— Ну! Отвечай, когда спрашивают, старая плесень!

Он схватил старика за подбородок и изо всех сил стукнул затылком о стенку. Свеча выпала и покатилась вниз. Старик присел и соскользнул на пол площадки.

«Вот тебе на! Хорошее дело! Кажется, я его кокнул».

Он нагнулся над стариком и стал тормошить, сгибая и разгибая его руки, как при искусственном дыхании. Глаза старика остекленели. «Зеркальце. Надо посмотреть дыхание». Зеркальце, приложенное ко рту старика, осталось безукоризненно чистым. «Крышка. Веселая история! Надо поскорее смыться, пока никого нет».

Он опрометью кинулся вниз и вдруг двумя этажами ниже налетел на какую-то подымавшуюся женщину.

— Виноват!

Женщина подозрительно поднесла к его лицу зажженную спичку.

— Вам тут чего надо?

— Здесь живет профессор Булькингтон?— он залпом бросил первую подвернувшуюся на язык фамилию и, уверенный в отрицательном ответе, опустил уже ногу на следующую ступеньку.

— Профессор Булькингтон живет двумя этажами выше. Ступайте за мной, я вам покажу.

«Вот так штука! Оказывается, существует какой-то профессор Булькингтон и даже живет в этом доме!» Он ощутил на лбу холодный пот.

— Очень вам благодарен, но мне надо еще сойти вниз к швейцару, я оставил у него пакет. («Какой пакет? Что я говорю?»)

— Вниз вы по этой лестнице не сойдете, она до третьего этажа разобрана для ремонта. Как вы вообще попали на эту лестницу?

— Я... я был тут у знакомых, как раз на третьем этаже («Лестница разобрана? Как я вообще сюда попал?»).

— Ступайте за мной, я вам покажу, где живет профессор Булькингтон. Через его квартиру сможете пройти на парадную лестницу и спуститься вниз.

— Да, да... Большое спасибо.

Она стала медленно подниматься. Он поспешно следовал за ней. Миновали один этаж, на площадке следующего лежал мертвый старик. «С этого поворота его будет видно, нельзя медлить ни минуты...» Он нащупал в кармане большой ключ от калитки. «Сто двадцать один (...как на фронте, когда бросали гранату...). Сто двадцать два. Сто двадцать три...»

Женщина издала короткий куриный писк. Рванув ее к себе левой рукой за узелок волос, он с размаху

долбанул ключом в темя. Еще раз и еще. Хватит. «Теперь старика и бабу вниз!» Подумают — не разглядели, что лестница разобрана, и сорвались с третьего этажа».

Он двумя прыжками поднялся на следующую площадку. Тела старика на площадке не было.

Все ступеньки задвигались под ногами, как клавиши. Он шарахнулся, оступился и полетел вниз с оглушительным грохотом, словно провели палкой по клавиатуре рояля, начиная с низких тонов, кончая самыми высокими и пронзительными...

...Узенькая уличка карабкалась вверх между домов с ажурными ставнями. Ставни были французские. Такие улички бывают на Верхнем Монмартре. Расстояние между домами постепенно суживалось. Уличка упиралась в небо, закупоренная огромным круглым солнцем. Вытаращенный глаз солнца смотрел, не мигая, в подзорную трубу улицы.

Бежать вверх было трудно, ноги заплетались на неровных булыжниках. Сзади внятно верещали свистки, гремел дробный топот ног. «Только бы добежать до перекрестка! Нет, кажется, не добегу. Ну, ну, еще немного. Уф! Не добегу. Пропал!» Вверху на первом этаже окно открыто настежь. «Если руки выдержат, проскочу».

Последним усилием он уцепился за открытую ставню, вскочил на подоконник и прыгнул в комнату. Ставни за спиной захлопнулись автоматически. В комнате — полумрак. На столе в двух пятисвечных канделябрах горели свечи. За столом сидели три господина: один — совершенно седой, два — помоложе. Одно кресло было свободно, шведское кресло с высокой деревянной спинкой («...такие, как у Свенсонов в Орегоне...»).

— Пожалуйста,— сказал седой господин, указывая свободное кресло.

«Где я видел этого седоватого с черными усами? Кажется, он продавал мне перчатки на 7-м авеню».

Господин с белой бородой, подстриженной клином, сдал карты. У правого канделябра топорщилась груда кредиток. «Что это за игра? Надо посмотреть, как они будут ходить. Пойдем с девятки». На руках остались десятка и король пик. «С чего ходить? Есть ли у меня вообще деньги? Пойду с десятки».

Господин с седой бородой собрал карты и подвинул кипу кредиток. «Неужели это я все выиграл?»

Седой господин сдал карты. «С чего мне ходить сейчас? С дамы бубен или с семерки? Пойду с дамы... Оказывается, опять выиграл. И это все мое?» Груда кредиток заняла четверть стола. «Теперь, пока не поздно, надо уйти».

— Вы меня извините, господа...

Он быстро стал запихивать кредитки в карманы пиджака. Невозможно уместить. Кредитки топорщатся и лезут из всех карманов. Он растерянно оглянулся. Матовый лакей в фиолетовом фраке протягивал ему небольшой чемодан:

— Разрешите?

Туго набитый кредитками чемодан не закрывался.

— Подождите, вот так, коленом.

— Прикажете отнести?

— Нет, спасибо, я сам.

Лакей сгибается в почтительном поклоне:

— Мисс Изабелл ждет у себя в павильоне...

...Длинная анфилада комнат выводит на террасу, уступами сплывающую в парк. Стволы деревьев, серебряные, как березы, заканчиваются большими разноцветными зонтиками. По ту сторону палисадника — широкая, усыпанная гравием дорога на Кливеланд.

От белой виллы, такой белой, что почти голубой, отделяется черный крытый автомобиль, оставляя за собой тонкую тесьму бензина.

— Мисс Изабелл? Только что изволили уехать.

«Скорее добежать, пока не выехали на главное шоссе! Если б был револьвер, можно было бы продырявить шину...»

Выстрел.

«Что это? Ах да, это лопнула шина. Еще максимум триста шагов. Ну наконец! Как открывается эта дверца? Нажать вправо...»

Автомобиль был пуст. Нет, не пуст. В углу сидел длинный пожилой господин в черном сюртуке и цилиндре. Господин вынул часы:

— Вы опять опоздали на пять минут. Садитесь.

Автомобиль, покачиваясь, несется вдоль шоссе. Справа и слева бегут дома, сталкиваясь на ходу буферами. Машина дает гудок и останавливается. Госпо-

дин в цилиндре открывает дверцу и первым входит в небольшой оранжевый дом.

— Сюда. Внизу подождите.

Небольшой холл с широкой резной лестницей. У дверей, ведущих на улицу, два пестрых, как попугаи, солдата с обнаженными палашами. Арестован...

В комнате наверху, оклеенной зелеными обоями, куда ввели его два солдата, стоял большой игорный стол. За столом в шведских креслах с высокими деревянными спинками («...такие, как у Свенсонов в Орегоне...») сидели три господина. Посредине — длинный господин в сюртуке, надевший на голову вместо цилиндра высокий черный колпак. По бокам — два толстяка: один — рыжий, в очках, другой — с длинной шевелюрой и артистическим галстуком, похожий на учителя музыки. Длинный господин вытащил из кармана никелированную монету и подбросил ее на руке.

— Орел — виновен, решка — не виновен.

Оба толстяка склонили головы в знак одобрения. Учитель музыки подмигнул левым глазом. Длинный господин подбросил монету. Монета покатилась по столу. Рыжий прихлопнул ее ладонью. Все трое наклонились над монетой.

— Орел,— сказал учитель музыки и подмигнул левым глазом.

Цепкие ладони солдат затяжелели на плечах, как генеральские эполеты («...покупали ребятами с Джеком у кривого торговца игрушками, золотые с бахромой...»).

Длинный сырой коридор, откуда-то знакомый. Голая камера. Нары. Закрывают дверь.

— Хотите пастора?

«Пастора? Зачем? Ах да, смертникам — всегда пастора. Пусть будет пастор».

В зарешеченное окно виден двор какого-то жилого дома с балконами. На балконах сушится белье...

— Торопитесь, пастор ждет.

Лицо пастора в полумраке блестит стеклышками очков. «Ведь это ж отец Дженни! Очевидно, меня не узнает. Тем лучше». Пастор вынимает из кармана требник:

— Сын мой, повторяй за мной слова господа нашего:

Птичка клетка попугай
На трамвае кнопка
Хип-хип хоп-хоп
Реверендус бегемот аминь...

Пастор сует в карман требник, наклоняется и шепчет на ухо:

— Есть девочка. Деликатес!— он смачно прищелкивает пальцами, и лицо его расплывается в похабной улыбке.— Пять долларов. Даром. Администрация разрешает приговоренным прежде чем — фьют!— он проводит рукой по шее,— немножко того...— он делает скабрезный жест.— Маленькое удовольствие и полная тайна. Не разболтают, хе-хе! Пять долларов, меньше — никак. Жалование священника, сам знаешь... семья, жена, дети... Деликатес! Мигом...

Дверь затворяется.

«Эта свинья вытащила у меня из кармана пять долларов. В конце концов — пусть. Все равно».

Дверь открывается опять. В камеру проскальзывает женщина, закутанная в платок. Женщина отворачивается и начинает в углу стаскивать платье.

— За пять долларов — три минуты! Каждые следующие три минуты — пятьдесят процентов надбавки,— кричит в щелку пастор голосом деловитой телефонистки.

Женщина сбросила платье и повернулась лицом: «Дженни! Продажная шлюха. За пять долларов!..»

...Белая прямоугольная комната. Столик. Плетеное кресло. Окно. За окном — большой двор с квадратным водоемом. Облезлая верблюдица кормит маленького сутулого верблюжонка. На глинобитном возвышении над водоемом два перса или турка в чалмах и пестрых халатах играют в кости.

Острая боль в голове. «Кажется, я только что был в камере...»

Верблюжонок перестал сосать и чешет себе бок, отираясь о ногу матери, как о телеграфный столб. Два черномазых перса кидают кости. «Кто это сегодня кидал кости? Нет, не кости, а монету. Орел или решка. Было ли это действительно, или мне приснилось? Где я вообще нахожуеь? Что я здесь делаю?»

Он поднял к глазам правую руку, распрямил и сжал пальцы, сделал кистью несколько движений. «Нет, я не сплю. Я лежу на кровати, но где?»

Он пытался вспомнить, но припомнить ничего не мог. Растерянная память прыгала, как шарик, по вращающемуся рулеточному диску географических долгот и широт, не находя знакомой перегородки. Мысли путались и скользили на разбросанных то тут, то там, как банановые корки, обрывках воспоминаний. Тупая, ноющая боль в голове заставила закрыть глаза. Открыв их опять, он увидел над собой тот же голубой потолок. Он подумал с тоской, что забыл все, что ничего никогда не вспомнит. Ему стало страшно. Он смотрел расширенными глазами на потолок, словно в рисунке фанерной решетки, разрезавшей его на квадраты, притаилось неуловимое воспоминание, но потолок был незнакомый.

«Может быть, я умер? Но ведь мертвые не ощущают боли. И потом я ведь могу двигаться. А может быть, я сошел с ума? Душевнобольные теряют память. Комната похожа на больничную. Только окно не зарешечено. Но ведь за решеткой держат только буйных». Он почувствовал холод в концах рук и ног. «Но ведь сумасшедшие не отдают себе отчета в своем положении. Хотя нет, в моменты просветления...»

Ему хотелось вскочить и кричать, но большим усилием воли он заставил себя неподвижно лежать на постели. «Только не буянить. Тогда обязательно посадят за решетку. Если я даже сошел с ума, то уже самый факт, что я сейчас мыслю об этом совершенно отчетливо и вполне владею собой, свидетельствует о близком выздоровлении. Не надо переутомлять мозг. Попробуем понемножку связать концы. Установить основные отправные точки. Что сейчас: зима или лето? Утро или вечер? Кто я такой? Как меня звать? По крайней мере какой я национальности?» Он повторил последнюю фразу вслух и от волнения присел на постели.

— Я — американец!

Сильная боль в голове заставила опять опуститься на подушку. Он закрыл глаза и некоторое время лежал неподвижно, повторяя шепотом: «Я — американец, я — американец», как бы опасаясь забыть это открытие. Земной шар, вращаемый в воображении, остановился, повернувшись к нему лицом Североамериканских соединенных штатов.

— Что сейчас? Зима? Лето? Осень?

Он бросил взгляд в окно, увидел верблюда, двух игроков в кости в экзотических чалмах и зажмурился. «Нет, по-видимому, я еще не совсем здоров. Почему мне мерещатся эти персы и верблюды? Я — американец. Не надо смотреть в окно. Если смогу постепенно все вспомнить, это марево за окном исчезнет».

Он попытался представить, как выглядит его родина, Америка. Вспомнил узенькую уличку, карабкавшуюся вверх, и трехэтажные домики с ажурными ставнями. «Играли в карты. Выиграл много денег. Или мне это снилось? Не надо перебивать!»

Он увидел усыпанную гравием дорогу и белую виллу, такую белую, что почти голубую. «Мисс Изабелл ждет у себя в павильоне...»

«...Вытряхивайтесь»,— говорит Фред Риви. Все вылезают из машины. Фред идет через большой холл, прямо в парк. Деревья в парке подстрижены, как настоящие зонтики. У входа в павильон ждут девушки (десять, больше?). Среди парней — Рыжий Питерс (ах, и он здесь?). Фред Риви делает шутовской церемонный реверанс: «Разрешите представить: наш несравненный чемпион плавания и лауреат Джимми Кларк». («Джимми Кларк! Меня зовут Джимми Кларк! Неужели я мог забыть?») «Тот самый, который обштопал сегодня Рыжего Питерса».

Меня окружают. Рыжего Питерса выталкивают вперед. Изабелл велит: «Пожмите друг другу руки». Питерс смотрит исподлобья, но покоряется. Мы жмем друг другу руки так, что хрустит. Все кричат. Девушки хлопают в ладоши. Приносят бокалы. Все чокаются и пьют. Девушки пьют, закидывая головы и жмуря глаза, как птицы.

Идем к столам. Столы заставлены всякой всячиной. Я — на почетном месте. По правую руку — Изабелл, рядом с ней долговязый верзила, потом Рыжий Питерс. По левую руку, между мною и Гертруд Ситтон,— короткий Фергусон. Изабелл подливает вина. Долговязый подымается: его где-то ждут. Изабелл идет провожать.

Короткий Фергусон жрет, как свинья. Он один съел почти все, что было на этом конце стола. «Не жри!» Фергусон с полным ртом: «Не толкайся, не твое». И глотая остаток пулярки: «Эти Адамсы — настоящие буржуи. Если б я приходил сюда каждый

день в течение месяца и сжирал один все, что они выставили на этот стол, я лопну, а они даже не заметят ущерба. От одного этого сознания можно повеситься. Подвинь-ка мне вон ту тарелку с фазаном. Не хочешь — не надо, сам возьму». Фергусон говорит с нескрываемым презрением: «Ты бы сам лучше кушал, а то хлещешь вино и жрешь только глазами Изабелл Адамс. Все равно не доплюнешь. Она крутит любовь с этим долговязым богачом. Ты ей нужен, как собаке пятая нога».

Действительно, немного шумит в голове. Это я, кажется, опрокинул стул. И вообще ноги почему-то подгибаются подо мной, как резиновые... Все разбредаются по парку. Длинная аллея. Я крепко прижимаю к себе плечо Изабелл: «Мы встречались уже раньше, только вы меня не помните. Но я запомнил вас хорошо. Я счастлив, что наконец с вами познакомился. Я люблю вас одну и никого больше». Как это все складно у меня выходит. Я ведь никогда еще не говорил о таких вещах с девушками ее круга. И потом, еще вчера я вовсе не думал об Изабелл, и она никогда мне особенно не нравилась. Как она здорово целуется! Ее губы пахнут шоколадом. Хорошо бы подцепить в жены такую аппетитную девочку. Изабелл с характером, наверное, уговорила бы Адамса дать согласие на брак. Это был бы номер! Джек и Лиэм сошли бы с ума от зависти.

«Правда ли, что вы крутите любовь с этим долговязым?» Она смеется. Опять на какой-то лавочке. Я целую ее губы. «Теперь, когда я выдержал хорошо экзамены и кончил университет, вы не кажетесь мне больше такой недосягаемой. Я, конечно, понимаю, у меня нет денег, но они будут. Вы напрасно смеетесь. Я не буду вовсе инженером, как все инженеры. Я буду изобретателем. У меня уже есть кое-какие идеи. Когда я их реализую, я заработаю много денег и тогда приду просить вашей руки. Нужно только, чтобы вы обязательно подождали — ну, год-полтора — и не выходили замуж».

Она смеется: «Мы уезжаем с папой на год в Европу. Можете быть спокойны,— я выйду замуж только за американца».

Я целую ее шею и грудь. Откуда вывернулся этот Фред Риви? «Пора убираться восвояси. Короткий

Фергусон упился в стельку. Надо будет отвезти его домой. Девушки устали, и уже поздно». Какая досада! «Давай останемся еще немного». Фред неумолим. Надо проститься и ехать. Ах, почему у меня нет своей машины!

Мы укладываем на сиденье пьяного Фергусона. Я сажусь у руля рядом с Фредом. Шумит в голове. С неба летят маленькие звезды, и, может быть, это снег? Хотя нет, сейчас — лето. Фред, должно быть, тоже немножко пьян,— машина идет по шоссе зигзагами, и телеграфные столбы перед самым носом автомобиля кланяются, как шлагбаумы...

А потом? Что потом? Только бы не потерять нити! Дыра. Ничего. Нет! Потом был сырой длинный коридор. Или я это видел в каком-то фильме? Нет, потом была камера, и пастор достал из кармана требник:

Птичка клетка попугай
На трамвае кнопка...

Нет, это не то! Потом Дженни отвернулась в угол и стала стягивать платье:

— Не смотри на меня. Я сейчас приду.

...Она пришла на постель совсем голая и теплая... Мы лежим усталые, тесно прижавшись друг к другу. Она кладет мне голову на грудь и прячет лицо. «Знаешь, Джим, я очень боюсь, мне кажется, я забеременела». Вот так история! «Не надо разводить паники. Может быть, тебе только показалось? Ведь не прошло еще двух недель с тех пор, как мы сошлись впервые. Давай подождем еще немного, чтобы убедиться наверное». Дженни плачет. Я глажу ее по лицу: «Не бойся, я не такой и одну не оставлю». Она одевается и уходит.

Как же все это случилось? И как все это некстати! Если б об этом узнала Изабелл! Но Изабелл ничего не узнает. Надо будет перевестись в другой штат. Все это ужасно глупо. Как я смогу объяснить свой отъезд перед фирмой? В конце концов есть же какие-то средства, которые помогают. Только как с этим устроиться в этой проклятой дыре, чтобы не вышло скандала? На кой черт мне было связываться с этой девушкой! Зачем мы ходили тогда к реке? Был такой розовый день, и пахли травы. На ней было тонкое платье. И ее обтянутые маленькие груди. А я так давно не

имел женщины. И она совсем, совсем не защищалась. Если бы она защищалась, я, наверное, не стал бы настаивать. Шлюха! Действительно, почему она не защищалась?..

А потом?.. Да, да, я получил от Дженни билетик. Она просит зайти к ним обедать в воскресенье после обедни. Родители удивляются, почему в последнее время я стал так редко заходить. Мы обедаем вшестером: отец Дженни, мать, сама Дженни, я, господин и госпожа Свенсоны. Господин Свенсон все твердит, что отец Дженни произнес сегодня изумительную проповедь: «Очень жаль, что вы не были в церкви и не слышали». Госпожа Свенсон подтверждает: «Я наплакалась так, что глаза у меня будут болеть до следующего воскресенья. Но искренний плач приносит нам облегчение и делает нас возвышеннее и чище».

После обеда все переходят в гостиную. Пастор берет меня под руку: «Пройдемте в кабинет, поговорим на свободе о некоторых вещах». Пастор закрывает дверь: «Дженни созналась мне во всем. Бог сурово покарает вас за то, что вы посмели так низко обидеть невинную девушку».

Я краснею, как последний идиот! «Вы незаслуженно считаете меня негодяем. Я отдаю себе отчет в своих обязанностях и сумею исправить мой поступок». Пастор жмет мне руку: «Я ни минуты не сомневался, что как джентльмен вы ответите именно так». Он целует меня в лоб. «Сын мой, да простит тебя всевышний!» Мы возвращаемся в гостиную. Пастор объявляет Свенсонам: «Мистер Кларк уже давно просил руку Дженни. Хотя они обручены, было решено не сообщать об этом никому, пока мистер Кларк не получит разрешения от своих родителей. Теперь, когда он получил отцовское благословение, дети смогут наконец повенчаться».

Господин Свенсон крепко жмет мою руку: «Поздравляю от всей души. Вы должны быть счастливы, что на вашу долю выпало сорвать такой восхитительный полевой цветок». Пастор еще раз целует меня в лоб и шепчет, подымая глаза к небу: «Да простит мне господь ложь, которой пришлось искупить ваш поступок». Он заставляет поцеловаться с Дженни при всех. Господин Свенсон умиляется: «Как это невинное дитя очаровательно краснеет! Видели ли вы когда-нибудь,

мистер Кларк, чтобы так краснели эти ученые девушки в Нью-Йорке?»

Мы — в церкви, Дженни в белом платье и в миртовом венке, как облаком, опутанная фатой. Господин Свенсон уверяет: «Она похожа на ангела».

Как все это быстро случилось! Когда они вообще успели все подготовить? Выходит, я уже женат. А Изабелл? А длинные шуршащие автомобили? А бело-голубые виллы? Как там все незаурядно! А ведь я туда никогда уже не смогу подняться! Ну, и что ж! В конце концов все это внешнее, не это выделяет незаурядного человека из серой массы заурядных. Если что дает нам подлинное право считать себя выше других, то это именно внутреннее благородство. А это внутреннее благородство, не состоит ли оно прежде всего в том, чтобы мужественно принять последствия каждого своего поступка? Посредственные люди никогда на это неспособны. Потому они всегда стараются увильнуть от последствий...

А потом?.. Потом — квартира с голубыми обоями. Дженни хворает. Нужно много денег. По вечерам дома — разработка проектов. Дженни родила ребенка. А ведь с того времени, как мы сошлись, прошло всего шесть месяцев? Ребенок нормален, весит пять кило. Мать Дженни уверяет: «Преждевременные роды. Это бывает, но редко бывает удачно. Только потому, что Дженни — очень здоровая девушка, из здоровой и нравственной семьи, все прошло так благополучно. Поблагодарите бога, что у вас родился такой красивый сын».

Все это по меньшей мере странно. Теперь нужно еще больше денег. Три месяца спустя ребенок умер. Дженни плачет. Неужели мне его совсем не жалко? Нет, я никогда по-настоящему не смог бы полюбить этого ребенка.

Потом — в штате Калифорния: Дженни хворает. Опять нужно много денег. Родился ребенок. У Дженни пропало молоко. Надо взять кормилицу и послать Дженни на курорт. По ночам — над проектами. За проекты платят гроши.

Неприятности на работе. Они считают, что я задираю нос, и в отместку делают мне всякие пакости. Какие заурядные натуры! Они довольны своим положением и лишены каких-либо стремлений. По вечерам

они собираются, пьют виски и играют в покер. Они ненавидят меня за то, что я избегаю их общества. Они не могут понять, что я им не ровня: эту мизерную жизнь я вынужден делить с ними временно. Никто из них не подозревает, что в ящике письменного стола у меня лежит проект сверхмощного канавокопателя, типа Грейдер-элеватор, недоконченный с университетских времен. Своей трудоемкостью и быстротой он разобьет наголову все употребляющиеся до сих пор канавокопатели. Из-за этих проклятых вечерних работ все не хватает времени додумать кое-какие детали. Стоит лишь немного разгрузиться, разработать до конца и реализовать мое изобретение, и я сразу стану богатым человеком, вырвусь из этого болотца. Не надо обращать внимание на их мелкие пакости. Посредственные натуры испокон веков терпеть не могут тех, чье превосходство над собой ощущают инстинктивно. Однако эти вечные дрязги порядочно дергают и затрудняют работу...

Потом... Эти сволочи подложили мне такую свинью, что оставаться было невозможно.

В штате Аризона—условия работы значительно хуже. Дженни брюзжит: «Пора тебе выучиться жить и срабатываться с людьми. Подумаешь, какой неоткрытый гений! Посмотри, как живут все люди, и поучись у них. Они работают вдвое меньше, чем ты, а их женам никогда не приходится считать каждый цент».

Дженни завела уже со всеми знакомство. Она не даст мне покоя, пока я не схожу с официальными визитами ко всем новым начальникам и коллегам. По правде говоря, что мне стоит выучиться играть в покер? Все это ведь временно (стоит лишь выкроить несколько вечеров и доработать проект).

Родился еще один ребенок. Дженни опять хворает. Откуда брать денег?

Потом... На работу приехала инспекция. Во главе — заместитель директора компании господин Джон Питерс. Пришли на участок. Это и есть заместитель директора? Да ведь это же Рыжий Питерс! Он не узнает меня. Или не хочет узнать? Напомнить? Рыжий Питерс сухо приказывает: «Проведите меня по участку».

Как он мало изменился. И как он великолепно одет! Ничто в его костюме не бросается в глаза, а все

исключительного, неповторимого качества. Так одеваются настоящие джентльмены. Неужели он даже не поблагодарит меня за то, что я обошел с ним весь участок? Питерс садится в ожидающий его ослепительный «шевроле». Не изволил подать мне руки.

Инженеры вечером за покером только и говорят, что о блестящей карьере Питерса: «Он пошел в гору, особенно с тех пор, как старый Адамс выдал за него свою единственную дочь. Бьюсь об заклад, что до будущего года у старого Адамса будет в руках большая часть акций и Питерсу, как пить дать, быть директором».

Для них Питерс — недосягаемая мечта. Рассказать им, что Рыжий Питерс — мой коллега по университету и что на состязании выпускников по плаванию я обштопал его на шесть метров? Нет, лучше не рассказывать. Ведь все видели, что он не подал мне даже руки.

Дома. Прежде всего надо отказаться от этих проклятых вечерних работ. Разобраться в проекте канавокопателя, проверить вычисление: Рыжий Питерс путался всегда при вычислении бесконечно малых, и все в университете считали его последним олухом. Завтра же надо выкинуть из моей комнаты эти тумбочки с цветами. Притащить небольшой станок. И никакого покера! Кончилось!

По вечерам — в своей комнате. Максимум месяц работы — и проект будет доведен до конца. За обедом Дженни с глазами, устремленными в тарелку: «До конца месяца у нас не хватит денег. Не знаю, чем буду кормить тебя и детей. Все инженеры уже начинают над тобой посмеиваться. Наверное, нам придется убираться отсюда, как тогда из Калифорнии. Только на этот раз уж неизвестно куда».

«Действительно, как это я посмел отказаться от вечерних работ! Я только и ждал, когда ты об этом заговоришь. На этот раз по-твоему не будет, заруби себе на носу! Ты не заставишь меня проворонить всю жизнь! Достаточно долго я работал на тебя, как лошадь. Если я кому обязан тем, что до сих пор не выбился в люди, то это именно тебе. Ты опутала меня с самого начала вместе со своим папашей и, использовав мое благородство, заставила на себе жениться, состряпав с кем-то до меня ребеночка».

Дженни: «Ты — просто хам!»

Истерика.

Не буду больше выходить к столу, буду обедать у себя в комнате.

На третий день: все-таки я поступил по-хамски. Надо пройти к Дженни и извиниться за грубость. «Ты должна понять, когда я кончу свое изобретение, у нас будет сразу много денег, и мы начнем жить по-человечески. Ради этого можно немножко потерпеть и отказать себе кое в чем».

Инженеры на участке изощряются по моему адресу в колких насмешках. «Наш изобретатель!» Язвительно хихикают за спиной. Посмотрим, кто еще будет смеяться последним.

Модель готова, выдержала все необходимые испытания. Главный инженер, прощаясь, говорит Дженни: «У вашего мужа исключительная голова. Он сделает карьеру». Дженни краснеет, как тогда, когда нас заставили в первый раз поцеловаться при людях: «Я очень рада!»

Двухнедельный отпуск, чтобы лично съездить в Нью-Йорк и реализовать изобретение в управлении компании. Перед отъездом — ужин. Много инженеров и много вина. Все пьют за здоровье «нашего изобретателя».

В Нью-Йорке. Патент в кармане. Надо купить приличный портфель. Отыскал правление компании. «Доложите, пожалуйста, самому директору. Невозможно? Почему невозможно?» Вот олухи! «Сдайте папку в бюро проектов. Вам незачем ждать в Нью-Йорке. Через месяц, самое большое — через два получите ответ». Ничего не поделаешь, проект придется сдать, но уехать без ответа — ни за что!

«Попросите по крайней мере, чтобы ускорили рассмотрение».

Ежедневно один ответ: «Заходите через неделю, ничего нельзя сделать, очередь не дошла еще до вашего проекта». Телеграмма в Аризону: «Задержусь неделю. Кларк».

К концу третьей недели: «Пройдите к заведующему бюро проектов». Заведующий, на носу бородавка: «Ваш проект отклонен господином Питерсом как несвоевременный. Весь рынок завален хлопком и пше-

ницей. Компании приходится суживать старые оросительные сети, а не копать новые». Папка с проектом не влезает в портфель. Влезла. «Не в эту дверь. Выход налево». Рыжий Питерс, наверное, узнал на проекте мою фамилию и в отместку решил подставить мне ножку...

В другой крупной компании. Обещали ответить через неделю. Телеграмма в Аризону: «Задержусь еще на неделю. Кларк». Через две с половиной недели: проект отклонили как несвоевременный.

В третьей компании. Проект держат всего неделю. Ответили отказом.

В четвертой компании. Седой господин в очках, передавая папку: «Не занимайтесь неактуальными глупостями. Раз вы такой изобретатель, изобретите лучше способ, куда девать хлопок и пшеницу».

В пятой компании. Бюро проектов ликвидировано, и никаких новых изобретений компания не покупает. «Возьмите для просмотра, я продам за очень небольшую сумму». Вечером — телеграмма от Дженни:

«Ввиду неявки к сроку уволили с работы. Как быть дальше? Сижу совершенно без денег».

Вечером — длинные улицы. Из какого-то заведения выходят пьяные люди. Зайду. «Дайте стаканчик виски. Еще один. Это, кажется, третий. Чего от меня хочет этот субъект? Протертый котелок, пиджак, твердый воротничок с галстуком, но без рубашки,— вместо рубашки к жилету приколот булавками лист белой бумаги. Субъект в котелке деловито: «Поставьте стаканчик виски». Забавный тип. «Дайте ему виски, я заплачу». После четвертого стаканчика субъект в котелке: «Черт побери, если вы принимаете меня, сударь, за простого пройдоху, то вы глубоко ошибаетесь. Я не пройдоха, а инженер. Да, да, нечего таращить глаза! Если б я в прошлом месяце не продал за пять долларов свой диплом, я мог бы вам его сейчас показать. К тому же я не такой инженер, как все другие инженеры, а инженер-изобретатель. Вся беда в том, что мне не хватает некоторой суммы денег, чтобы закончить свое изобретение. Но я обязательно достану деньги и закончу. Тогда я наконец выйду в люди, и вся эта шантрапа увидит, кто я такой! Если вы, сударь, не филистер, а человек с головой, и если у вас есть немного денег, одолжите их мне, а тогда — шут с вами! — мы

поделимся пополам доходами от реализации изобретения... Подождите, куда вы? Надо заплатить за виски! И потом, я ведь еще не рассказал вам даже, в чем состоит мое изобретение. Я изобрел замечательный...»

На улице холодный ветер. Я, кажется, вырываясь от этого сумасшедшего, уронил шляпу. Все равно.

Две недели в поисках какой-либо работы. Возвращаться в Аризону, если бы даже я не потерял работы, все равно невыносимо. К концу третьей недели приняли чертежником в небольшую техническую контору. Дешевая комнатушка. Первая получка — по телеграфу Дженни; денег с трудом хватит на проезд.

Дженни приехала. В дороге простудилась маленькая Трудди. Умерла на следующий день. Дома — невыносимо. Получил вечернюю работу. Вошел в соглашение со сторожем. Буду отрабатывать в помещении конторы. Лишь бы возможно позже возвращаться домой.

Потом еще три месяца. Потерял всякую работу. Кризис. Потом еще четыре месяца. Требуются инженеры в Россию. Качает пароход. Трясет поезд. Укачивает самолет. Потом — пустыня и экскаваторы. В пустыне роют канал. Угрожающие записки. Голова, вырезанная из газеты. Одноглазый человек со сплющенным лицом. Канал, в котором рвали скалу. За окном кричит верблюд. Два таджика играют в кости. Потягиваясь, вышел третий. Наверное, еще рано. Люди только просыпаются.

Белая комната с голубым потолком, проделав кругосветное путешествие, крепко осела на земле, на границе СССР и Афганистана, невдалеке от реки Вахш. Больше припоминать нечего. Стоило ли вообще припоминать?

Кларк зевнул, смежил глаза и уснул.

Голой равниной, по дороге, ведущей с головного на второй участок, ехали два всадника. Желтое выжженное небо догорало на западе сухим прозрачным пламенем. Жара медленно начинала спадать. Всадники свернули с дороги и пустились напрямик к горам. Лошади пошли шагом. Комаренко вытащил покоробившуюся от пота пачку папирос и, закурив, протянул спутнику:

— Угощайтесь, Мухтаров!

Ехали молча, не торопя вспотевших коней. Коренастый таджик в защитной косоворотке, выкурив папиросу, потушил ее аккуратно о стремя.

За выступом, в расщелине гор, появились первые кибитки. Всадники тронули поводья и мелкой рысцой въехали в безглазую улицу кишлака. Глиняные хибарки, отвернувшись от дороги, играли спиной немую комедию равнодушия. Миновав десяток домов, всадники свернули на шум ручья и остановились у подвешенного в воздухе желоба,— зачерпнуть пригоршню воды. Узкая металлическая струя тонко сверлила тишину. Они отъехали еще десяток шагов и спешились у глинобитного выступа алауханы. Мухтаров, приложив руки рупором ко рту, прокричал что-то по-таджикски. На призыв из-за ближайшего дувала выглянул лобастый, большеглазый мальчуган и, шмыгнув через ограду, побежал разыскивать председателя. Вскоре появился председатель, добродушный русобородый декханин со значком Осоавиахима на халате. Усы, закрывающие рот, мешали ему улыбаться, он улыбался ресницами, бородой, всей своей большой, прочно сколоченной фигурой. Он обеими руками пожал руку гостям. Через мгновение глиняный выступ оброс кошмой, появилось блюдо тутовых ягод и каса́ кислого молока.

— Вот что, Давлят, у нас мало времени,— остановил суетившегося председателя Мухтаров.— Давай-ка созови колхозников. Надо будет кое о чем потолковать.

Председатель ушел. Комаренко и Мухтаров, прикорнув на кошме, занялись тутовыми ягодами.

— Правление еще переизбрать можно,— заговорил Мухтаров,— хотя придется отстранять лучших активистов. Но другого такого председателя, как Давлят, не найдем. Хозяйственный мужик, грамотный, кандидат партии, краснопалочник, авторитетный, весь колхоз в руках держит. Кого бы ни поставить на его место, никто так с делом не справится.

Комаренко, очистив блюдо, принялся за молоко.

— Если хочешь, чтобы декхане действительно высказались по душам,— только постановка вопроса о перевыборах всего руководства развяжет им языки. Откроешь собрание, скажи им как секретарь райкома, что и почему, и дай мне слово. Я с ними немножко побалакаю как член правления их колхоза.

Дехкане сходились медленно, по одному, по два, и рассаживались большим кругом. Секретарь со всеми здоровался за руку. Одним из первых явился старик Икрам Азимов, тот самый, что в прошлом году побывал с экскурсией колхозников в Москве и, вернувшись, рассказывал по кишлакам, что в Москве люди не работают, а целыми днями гуляют; когда ни выйдешь на улицу,— всегда их полно.

За Икрамом пришла вдова Зумрат, уже год, со дня смерти мужа, не закрывавшая лица перед чужими и поговаривавшая с обидой, что советская власть опоздала, ни мало, ни много, лет на тридцать: открой Зумрат лицо тогда, все мужчины окрестных кишлаков сбежались бы на нее смотреть, а сейчас никто даже не обернется, будто и не открывалась.

Вслед за вдовой приплелся Хаким-неудачник,— так называли его в кишлаке за исключительное невезение: его бараны на ровной дороге ломали себе ноги, его бахчи из года в год облюбовывали кабаны,—сколько бедняга ни трудился, так и не мог выкарабкаться из нищеты. Когда начали организовывать колхоз, вопрос о Хакиме-неудачнике стал поводом продолжительных и серьезных прений. Старики категорически возражали против принятия его в колхоз; теперь, когда вся земля должна стать общей и у Хакима не будет своей отдельной полоски, невезение его может передаться всему колхозу.

Прихрамывая, подошел Рахимшах Олимов, первый председатель колхоза. Большой сторонник коллективизации и рачительный хозяин, он разошелся с советской властью в одном вопросе: в оценке европейского инвентаря. Когда район снабдил колхоз европейскими плугами и боронами, Олимов принял их как подарки, не выражая своего скептицизма (дареному коню в зубы не смотрят), но оставил их с почетом стоять на дворе правления и продолжал пахать землю отцовскими омачами и царапать ее хворостиной. О неожиданном появлении на горизонте районного начальства предупреждал Олимова обычно сторожививший в степи дозорный. Тогда, не столько из коварства, сколько из желания доставить удовольствие щедрым дарителям, председатель быстро перепрягал волов в европейские плуги и с парадом выезжал в поле. Власти долго уми-

лялись образцовой сохранности инвентаря, когда же наконец уловка Олимова была раскрыта, его заподозрили в стремлении к сознательному снижению урожая и сместили, поставив на его место Давлята.

Мало-помалу площадка перед алауханой заполнилась народом. Одним из последних подоспел Хайдар Раджебов, тот самый, который ездил недавно на съезд колхозников в Сталинабад и отбился от своей делегации. Его насилу разыскали на сталинабадском аэродроме, с увлечением наблюдавшего вторые сутки, как взлетают и садятся самолеты. Делегация, не дождавшись его, выехала накануне. Случайно в этот день летел самолет с врачом для Кларка. Делегата посадили в кабинку и доставили в район. Летчик рассказывал потом, что делегат, очутившись на земле, низко поклонился самолету и кинулся бежать во все лопатки, не отвечая ни на какие вопросы. Вернувшись в кишлак, Раджебов, и до того не особенно болтливый, приумолк вконец,— он так и не рассказал ничего колхозникам о съезде. Сначала думали, что отойдет и расскажет, потом махнули рукой и стали жалеть, что послали именно Хайдара.

Когда собралось человек пятнадцать, вернулся председатель и сообщил — больше народа собрать не удастся: Ханназаров и Кари Абдусаторов больны, Рахманов поехал жениться, Файзлитдин Ахмедов уехал по делам колхоза в местечко, остальные — кто далеко в поле, кто разъехался по своим делам.

— Что ж это? Третий раз пытаемся созвать общее собрание, и в третий раз собирается меньше половины колхозников. Куда это годится, Давлят?

— А разве их сгонишь в кучу? Расползаются, как бараны. Говорил, предупреждал. Не хотят присутствовать, и все.

— Надо, чтобы были все колхозники...

— А что, я на аркане их притащу? Народ несознательный, своего интереса не понимает.

Посоветовавшись с Комаренко, секретарь решил собрание провести. Комаренко неодобрительно допивал молоко.

— Выходит, что в сборе опять все старое правление, а из колхозников — человек восемь. Кто же переизбирать-то будет, сами себя, что ли?

— Что я тебе говорил? Весь выявившийся актив колхоза представлен в нынешнем правлении, да вот еще пяток более активных дехкан. Остальные довольно инертны. В том-то и беда, что переизбирать особенно не из кого.

— А ты почем знаешь,— может, как назначаешь общее собрание, так их нарочно рассылают по всяким делам?

Последней фразы Мухтаров не расслышал, он открыл собрание и после короткого вступления дал слово Комаренко:

— Говори медленно, я буду переводить.

Комаренко вытер ладонью рот:

— Что ж, товарищи дехкане, я думал потолковать не с пятнадцатью, а со всеми колхозниками. Второй год состою членом правления вашего колхоза и ни разу до сих пор не видел на собраниях больше половины членов колхоза. Никуда это не годится! Политическая несознательность колхозников — не отговорка, а лишнее доказательство, что правление не справляется со своими задачами. Первая его задача в том и состоит, чтобы поднять политическую сознательность всей массы колхозников, вовлечь ее в руководство колхозом, а не вершить дела в своем узком кругу... Валяй переводи!

— ...Плохая работа правления выразилась не только в этом. Позорная история с Ходжияровым, который до последней минуты состоял членом правления нашего колхоза, бросает тень на весь колхоз и прежде всего на его руководство. Правление не проявило достаточной классовой бдительности, не сумело вовремя разоблачить проникшего в колхоз классового врага. Более того, оно пригрело этого врага, выдвинуло его на ответственный пост, помогло ему ввести в заблуждение советскую власть. Ответственность за преступную работу Ходжиярова ложится на все правление в целом... Валяй переводи!

— ...Афганский басмач Ходжияров орудовал среди вас в течение почти трех лет. Не подлежит сомнению, что у него были сообщники внутри самого колхоза. Ссылка правления на то, что якобы единственным лицом, посвященным в замыслы Ходжиярова, был его мнимый брат, протащивший его в колхоз и бежавший вместе с ним в Афганистан,— ребяческая ссылка. Прав-

ление не только не сумело своевременно воспрепятствовать бегству двух членов колхоза в Афганистан, но даже после их бегства не предприняло ровно ничего, чтобы выявить сообщников Ходжиярова. Это в лучшем случае свидетельствует о том, что правление лишено всякого классового чутья, оторвано от массы, не знает лица своего колхоза и настроений колхозников. Иными словами, правление в настоящем его составе неспособно дальше руководить колхозом... Валяй переводи!

— Выводы: как член старого правления, я вношу предложение о немедленном перевыборе всего руководства. Это — во-первых. Во-вторых, колхоз, который не помог советской власти разоблачить ее злейших врагов, не достоин носить имя «Красного Октября». Смыть этот позор сможет лишь вся масса колхозников, помогая нам вскрыть и выкорчевать остатки ходжияровщины. Эта же задача встанет с первой минуты и перед новым правлением. По тому, как оно справится с этой задачей, партия будет судить о его работоспособности... Переводи, я кончил.

Когда шум немного улегся, слово попросил Давлят.

— Товарищи дехкане! Мне как председателю колхоза то, что говорил товарищ уполномоченный, очень обидно. Тем обиднее, что товарищ уполномоченный правильно говорил. Мы, односельчане Ходжиярова, работавшие вместе с ним в правлении, скорее должны были разглядеть его, чем товарищи из района. А больше других виноват я. В прошлый раз спрашивает меня товарищ Мухтаров: «Как же это ты, кандидат партии, мог рекомендовать в партию Ходжиярова, если сам говоришь, что хорошо его не знал?» А разве влезешь в человека и узнаешь, что он замышляет? Почем я, почем мы все знали Ходжиярова? По работе, по разговорам. Разговаривал он как сознательный дехканин, уважающий советскую власть. А работал он хорошо, все могут подтвердить, сознательно работал и числился у нас как лучший активист. Во время последнего налета ходил проводником с доброотрядом и рану получил от басмачей. Потому мы его и представили к почетной грамоте вместе с лучшими краснопалочниками. Теперь выходит, может, его ранили совсем не басмачи, а наши аскеры. Но откуда нам было знать? Весь отряд погиб, а он вернулся в кишлак с аскерами и с большим

почетом? А потом наш секретарь ячейки говорит мне: «Что это, Давлят, у вас в колхозе один ты — кандидат партии? Какой же ты работник, если не помогаешь нам вовлечь в партию лучших активистов и краснопалочников вашего колхоза?» А я вернулся, встретил Ходжиярова и спрашиваю: «Почему, говорю, Иса, не вступить тебе в партию? У тебя почетная грамота, ты член правления и лучший активист в колхозе. Подай, говорю, прошение в кандидаты партии». А он говорит: «Я бы подал, говорит, партия мне нравится, и советская власть мне нравится, да не примут меня. Надо, чтобы за меня поручился кто-нибудь из партийных». А я говорю: «Давай я за тебя поручусь, и Олим Асаметдинов из «Красного пахаря» за тебя поручится». А разве знали мы, за кого ручаемся? Сейчас выходит — неправильно, а тогда все думали — правильно, и даже секретарь ячейки очень меня за это похвалил. Хотел я сделать хорошо, а получается теперь — перед партией виноват и перед колхозом виноват. И выходит — ни за кого, кроме самого себя, ручаться нельзя. Значит, нет во мне сознания, и председателем колхоза быть мне за это не полагается. И прошу я вас, товарищи, снять меня за это с председательства и назначить другого. А я на такой работе, на какую меня пошлет колхоз, докажу вам и товарищам из района, что для советской власти ничего не пожалею и никакому контрреволюционному гаду прохода не дам. И скажу я вам напоследок, товарищи дехкане, что работал я честно и старательно, по своему умению, а если кому в чем не угодил, то простите меня за это и не будьте в обиде... И еще скажу я вам, большой для нас стыд, чтобы две собаки так опозорили весь колхоз! В другом кишлаке стыдно теперь показаться. Вчера никто не выехал на колхозный базар, а все через что? Куда ни покажись, везде пальцами тыкают: вот они, из «Красного Октября»! Как дехкане узнали, что Ходжияров хотел убить заграничного инженера, очень плохо стали смотреть на наш колхоз. Потому прошу я вас, товарищи дехкане, ради собственного вашего интереса будьте сознательны. И если кто что знает, пусть сейчас выйдет и скажет, только чтобы больше такого сраму за нашим колхозом не числилось, потому всем нам это очень неповадно.

Поднялся большой шум. Слово взял Мелик Абдукадыров и сказал, что неправильно взваливать все на одно правление. Виновато не одно правление, виноваты все колхозники. Все знали Ходжиярова, и никто не сумел раскусить, куда он тянет. А касательно Давлята,— лучшего председателя колхоза не найти, человек он грамотный и хороший хозяин, и менять его на худшего — никакой пользы колхозу не будет.

Потом выступила вдова Зумрат и сказала, что Давлята, может, и не трогать, а правление переизбрать будет неплохо: засиделись все больно в руководителях, надо и другим дать дорогу. Тогда и больше народа будет ходить на собрания. И надо еще обязательно, чтобы в правлении сидели не только одни мужики, но и женщины. А то выходит, все мужики сильно сознательные, а баб своих под замком держат, будто им до колхоза и дела нет. А советская власть говорит: женщина — такой же член колхоза, как и мужчина. И если женщинам дали бы слово, они бы давно вывели Ходжиярова на чистую воду. Взять хотя бы то, что Ходжияров неженатый и за три года жены себе в кишлаке не подыскал. Женщины давно говорили, что человек он подозрительный.

Посыпались реплики и шутки. Слово попросил Икрам Азимов и заявил: он тоже за то, чтобы в правлении обязательно были бабы. Все удивленно обернулись, а старик, переждав минуту, пояснил:

— Верно говорит вдова Зумрат,— до чего мужик не додумается головой, баба дойдет до этого другим местом.

Грохнул хохот, но тут собрание взял в руки Мухтаров и, строго отчитав старика, предложил вносить кандидатуры.

Посыпались предложения:

— Вдову Зумрат!

— Она может!

— Товарищи, шутки не к месту. Буду удалять с собрания.

— Хайдара Раджебова.

— Правильно! Он активный, гляди, через полгода и о сталинабадском съезде расскажет.

— А из прежнего правления выбирать можно?

— Индивидуально можно и из прежнего.

— Товарища уполномоченного!

— Давлята!
— Шохобдина Касымова!
— Кари Абдусаторова!
— Азимова!

В результате перевыборов в новое правление вошли: вдова Зумрат, Хайдар Раджебов, Кари Абдусаторов, Давлят, старик Азимов, Ниаз Хассанов и Комаренко. Председателем собрание переизбрало Давлята.

После отъезда Мухтарова и Комаренко дехкане, поспорив еще о том, о сем, медленно разбрелись по домам. Последними поднялись Ниаз и Мелик Абдукадыров. Близилась уборка. Мелик ходил сегодня на окраинные поля и принес несколько спелых коробок. Ниаз беспокоился насчет сбора: окучка на окраинных полях проведена была явно неудовлетворительно.

Они свернули к дому Мелика — посмотреть волокно. В полутемной хоне Абдукадырова они застали старика Икрама Азимова, Хайдара Раджебова, Шохобдина Касымова и еще двоих дехкан. Все пришли смотреть волокно. Мелик плотно запер дверь щеколдой и прошел на женскую половину. Гости чинно расселись на паласе. Немного спустя вернулся хозяин. Вместо обещанных коробок он нес в руках чайник. Вслед за ним в хону прошла закрытая женщина. Хозяин ей первой протянул пиалу. Когда женщина открыла лицо, оказалось, что у нее борода, обвисшие усы и не хватает одного глаза. Присутствующие молча пожали руку кривому.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Из грузных, брюхатых туч, как из распоротых бурдюков, хлестала вода. Это не был дождь, это был скорее небесный силь. Прозрачные комья с шумом хлюпались в топкую жижу дороги. Заглушая шелест ливня, по улице приближался барабанный бой. Одинокий осел, мокрый, как напуганная мышь, брел по грязи, гремя пустыми бидонами. В бидоны барабанила вода. Вслед за ослом, с трудом вытаскивая ноги, плелся дехканин в накинутом на голову халате. В воронках, отмечающих след его ног, булькала жидкая грязь.

Кларк отложил ручку и в раздумье прошелся по комнате. По потускневшим стеклам текла желтая муть.

Он подошел к столу, взял тетрадь в клеенчатой обложке. Здесь были его русские упражнения, испещренные пометками Полозовой. Он посмотрел первые страницы, покрытые рахитическими каракулями и сплошь исчерканные красным карандашом, сравнил их с последними упражнениями и остался доволен. Буквы лежали уже стройными рядами, вид у них был вполне мужественный и благообразный, следы красного карандаша встречались значительно реже.

Кларк открыл чистую страницу, где наверху рукой Полозовой помечено было сегодняшнее число и заголовок: «Сочинение на любую тему». Он обмакнул перо и призадумался. Потом стал писать медленно, с усердием выводя буквы. Написав строк шесть, остановился, покусывая ручку. Сочинение давалось нелегко. Он порылся в словаре, выписал на клочке бумаги несколько слов, опять взялся за листок, написал еще десять строк, встал, прошелся по комнате, еще раз заглянул в словарь, написал фразу, зачеркнул, еще раз написал, еще раз зачеркнул, раздраженно потеребил волосы, минут пять сидел, сосредоточенно обдумывая, и наконец принялся писать. Исписав две страницы, он отложил ручку, перечитав написанное, недовольно поморщился, хотел было зачеркнуть все и начать сызнова, но в эту минуту постучались. Вошла Полозова. Кларк закрыл тетрадь и поднялся навстречу.

Полозова долго отряхивалась, стаскивала высокие, до колен боты, развешивала на стуле истекающую водой кожанку.

— Был у вас сегодня врач?

— Да,— по-русски ответил Кларк.

— И что говорит?

— Говорит, я совсем здоровый. С завтра могу выйтить.

— Не выйтить, а выходить. Ну, вот хорошо! А знаете, мне за вас от врача здорово влетело.

— Влетело?

— Ну, выругал меня. Это — разговорное выражение, можете еще не знать. Одним словом, отчитал меня за то, что слишком рано начала с вами уроки русского языка, не дожидаясь, пока совсем оправитесь.

— Какой пустяки! Если не вы и не наши уроки, я с ума сошел от скуки. Скоро три месяцев без занятья.

— Не три месяцев, а три месяца. Ну как сочинение сегодняшнее написали?

— Написали. Только нехорошо. Дайте срок завтра, я написал еще раз.

— Назавтра напишете другое. Теперь уже столько времени заниматься не сможем. Разве только по вечерам. А кончатся дожди, и вовсе времени на учебу не останется: придется нажать с головным сооружением, а то к весеннему поливу не дадим воды на поля. Ну, давайте не терять времени. Где ваша тетрадь с диктовками?

— Вот есть.

— Докончим наш последний диктант о столе. Вы между прочим до сих пор не перестаете путать в разговоре стол со стулом. Не можете привыкнуть, что сидят на стуле и едят за столом, а не наоборот... Прочтите то, что мы написали позавчера и вчера. С самого начала. Только внятно, и обращайте внимание на ударение. Нашли?

— Я готовый.

— Читайте.

— «Диктовка номер 47». Заглавие: «Стол».

— Чего же вы остановились? Слушаю.

Был однажды простой стол, простой стол на четырех ногах, которому не везло. Когда срубили дуб, из него сделали два роскошных письменных стола с семью ящиками. А из остатков сделали простой стол. Два письменных стола сразу же были проданы: один — в кабинет известного министра, другой — в кабинет известного литератора. А простой стол купил бедный студент. Студент держал на нем кипу ученых книг, и книги эти давили на стол не только физически, но и морально. Мы напрасно говорим о глупом человеке, что он туп, как дерево. Дерево, наоборот, очень восприимчиво. Каждый знает, например, что дерево впитывает воду. А так как в ученых книгах было много воды, то стол впитал ее и быстро стал образованным.

И тогда он стал думать с горечью:

«Почему я родился простым столом на четырех ногах, которому не везет? Я сделан из того же благородного материала, как и мои братья, которые стоят сейчас в министерских кабинетах и в кабинетах известных литераторов. Почему они войдут в историю, а я останусь на ее задворках?

Разве у меня нет всех данных стать столом великого полководца, чтобы на мне разворачивали карты мировых войн?

Или столом великого государственного мужа, чтобы на мне подписывали исторические международные договоры?

Или столом великого законодателя, чтобы на мне возникали новые скрижали и хартии прав миллионов?

Или столом великого писателя, чтобы на мне рождались гениальные произведения, составляющие гордость нации?..»

Студент обращался со своим столом самым некультурным образом. Он тушил о него окурки, выжигая безобразные прыщи, он брызгал чернилами, покрывая стол сыпнотифозными пятнами, чинил на нем карандаши и в минуты рассеянного раздумья бессмысленно скоблил его ножиком. Когда же студент влюбился, то вырезал на нем имя своей возлюбленной.

Изуродованный стол выносил все это со стоической горечью. Он верил, что должен прийти день, когда все это изменится. И он дождался. Студент наделал долгов и не смог их уплатить. Тогда его обстановку описали и простой стол на четырех ногах продали с молотка торговцам старой мебели.

Его поставили в большом складе, сплошь загроможденном столами. С одной стороны стояли дорогие столы: антики с отмеченной на ярлыке генеалогией и современные столы из черного и красного дерева, дубовые письменные столы с пузатыми ящиками и чайные столики, квадратные, прямоугольные, овальные и круглые, столики-дегенераты на одной ножке и столы-бизнесмены — американские бюро с автоматически захлопывающейся деревянной жалюзи. По другую сторону стояли дешевые столы. Там были преимущественно простые кухонные столы, изрубцованные ножом, верстаки из переплетных мастерских, измазанные клеем, портняжные катки, протертые до глянца, и, наконец, сосновые канцелярские столы, покрытые дешевым желтым лаком. Туда же поставили стол студента, приклеив к нему карточку с ценой.

Когда люди вышли, стоявший рядом кухонный стол толкнул его ножкой и, придвинувшись к новичку, стал его посвящать в секреты окружения:

— Видишь эти размалеванные столы, украшенные всякими финтифлюшками? Они задирают перед нами нос и кичатся тем, что стоят в салонах и что на них господа распивают шампанею и закусывают марципанами. Кто-кто, а мы-то хорошо знаем их марципаны! Каждый день повар рубил их на моей спине. Посмотри, на мне живого места не осталось. Если бы тут не путался сторож, мы б им показали! Но ничего, нашего брата прибывает,— мы до них доберемся. Держись только крепко с нами.

— О, нет,— сказал простой стол на четырех ногах, которому не везло. Его оскорбляла мысль, что вульгарные сосновые столы приняли его за своего собрата и не разглядели его породы.— О, нет, я вовсе не намерен принимать участие в ваших драках и помогать вам калечить эти породистые столы только потому, что вас больше. Разве правда в количестве? Не сказал ли еще Ницше, что миром должны управлять существа высшей породы, а никогда не серая масса? Олигархия умственной аристократии — вот современное разрешение вопроса. Я не спорю, может быть, многие из тех столов, которые стоят сейчас в салонах, не заслуживают этого по своим внутренним качествам, может быть, их надо заменить столами более одаренными. Но этого не может решать серая масса, лишенная необходимых критериев. И потом, всегда так было и так будет, что одни столы будут стоять в салонах, а другие — на кухне. Если бы все полезли в салоны, салон моментально превратился бы в кухню. Нет, дорогой мой кухонный стол, вы ошиблись адресом. Я вовсе не из вашего полка, и, пожалуйста, не рассчитывайте на мое участие в ваших авантюрах.

— Ах, вот что! Ты, оказывается, из породы тех канцелярских столов, которые довольны уже тем, что на них капают чернила с барской ручки,— сказал презрительно кухонный стол и отодвинулся на вершок. И все кухонные столы последовали его примеру...

Кларк, дочитав до конца, остановился в ожидании.

Полозова, рассеянно смотревшая в окно, не сразу заметила паузу.

— Все? Возьмите ручку и пишите дальше.— Она раскрыла книгу и отыскала отмеченный абзац.— С красной строки:

...Однажды случилось нечто совершенно неожиданное. От большого взрыва в складе вылетели все стекла, и, столы, подпрыгнув на месте, сбились в кучу. Тогда в склад вбежали полицейские с винтовками. Полицейские говорили между собой, что в городе происходят неслыханные вещи: босяки захватили здание правительства, громят богатые кварталы и выкидывают из окон на мостовые драгоценную мебель. На улице бабахал пулемет, и весь склад дрожал, как маленькая Япония в день большого землетрясения.

Тогда кухонные столы закричали хором: «Сейчас или никогда!» — и кинулись гурьбой на улицу. Но так как они не привыкли бегать, то скоро запутались в своих ногах и, не добежав до противоположного тротуара, шлепнулись на мостовую. А так как было их много, задние налетали на передние и валились в общую кучу, то в несколько минут из них выросла превосходная баррикада.

А простой стол на четырех ногах, которому не везло, стоял на своем месте в складе, погруженный в горькие размышления. Он думал: «До каких же пор в этом мире будет царить грубое средневековье? Когда же наконец люди и вещи поймут, что нельзя усовершенствовать мир путем насильственных внешних перемен, что мир — это наше внутреннее «я» и единственный путь усовершенствования мира есть наше внутреннее самоусовершенствование? И вообще не безумие ли мечтать о том, что мы в состоянии изменить внешний мир, который для нас непознаваем? Не доказал ли Меерсон, что единственное, чего добилась наука на протяжении тысячелетий, это — относительная очистка объекта нашего познания от иллюзий, в которые окутывают его наши чувства и наш разум?..»

Пока он так размышлял, в городе произошла революция. Новые люди ворвались в старые дворцы и переоборудовали их в новые учреждения. Они выкинули уродливые — круглые и овальные,— одноногие столики, непригодные для работы, и заменили их притащенными с улицы более прочными и практичными кухонными столами, из которых недавно строили баррикады. Простые кухонные столы запрудили дворцовые залы и вошли в историю. Великие полководцы разворачивали на них карты последней гражданской войны, великие государственные мужи подписывали на них исторические международные договоры, великие законодатели писали на них новые скрижали и хартии прав раскре-

пощенных миллионов, и новые великие писатели сочинили на них свои гениальные произведения, составляющие отныне гордость не одного класса, а всего человечества.

А простой стол на четырех ногах, которому не везло, остался стоять в опустевшем складе. Потом склад реквизировали, и экспроприированный хозяин перетащил стол к себе на кухню и стал рубить на нем капусту. А потом пришла морозная зима, не было дров, и хозяин топором изрубил его и затопил печь. И, когда он запихивал в печку последнюю ножку, горящий стол простонал в последний раз: «Ах, зачем я родился простым столом, простым столом на четырех ногах, которому не везло!»

Полозова прохаживалась по комнате с видом заправской учительницы. Она остановилась за спиной Кларка и заглянула через его плечо.

— Кончили? Поставьте восклицательный знак. Посмотрим, сколько наделали ошибок...

— Ошибки наверно много. Сегодня диктант много трудны слова.

— ...Ну, а теперь давайте ваше сегодняшнее сочинение,— она потянулась за клеенчатой тетрадью. Он придержал ее руку:

— Нет, не надо. Я завтра буду писать луче.

— Что это вы вдруг стали ломаться? Подумаешь, действительно, сочинение для печати!

Она раскрыла тетрадь на последней исписанной странице и стала читать вслух:

— «Один иностранны человек...»

— Нет, нет, пожалуйста, читайте себе,— Кларк отвернулся к окну.

Полозова пожала плечами:

— Что-то вы сегодня не в своей тарелке. С каких это пор вы стали стесняться передо мной?

Она взяла со стола красный карандаш, придвинула тетрадь и стала читать про себя:

Один иностранны человек имел нешасны случай и лежал долго беспамяти. Когда он пришол назад в свои чувства, то забыл все, весь прежни жизн и не мок спомнит.

Он очень спугался и стал споминат, споминат и струдом по кусочку спомнил. А когда спомнил, думал, что спомнит не стоит. Потом он стал выздоравливат и часто думат, что луче было, если не споминал и начал живит бес прошлово с того дня, как праснулся. Он сказал себе: допустим, я все забыл. Буду живит, как-бутто ранше был ничево.

Он долго был бальной и имел много время думат. Одна девучка учила его чужой язык и чужой жизн. Он претендовал, что учит чужой язык, а учил чужой жизн.

Он скоро понял, что его жизн связался неразделительно с девучка, котора его учил чужой язык. Лекко забыт все, что был

до этого, но ее забыт никагда будет возможно. Он хотел сказат девучке, что любит ее. Но он думал, что будет очень баналически: в все плохи романы герой бальной и потом любит свою няню и просит ее женится его. Он боялся, что девучка, котора знал его раньше, думат, что он есть тот самы чужой человек, и не будет связат свой молодой жизн с стары жизн чужой человек. Он многа раз хотел ей объяснят и сказат, но не знал как. Тагда он сел и писал «сочинение на любую тему». Но писал нет на любую тему, а на тему та, которую любю.

— Ай-ай-ай,— покачала головой Полозова.— Такого количества ошибок вы не делали ни в одном сочинении!

Кларк покраснел. Он подошел к столу, взял тетрадь и вырвал листок с сочинением.

Полозова отняла у него листок:

— Не надо рвать. Что это за непочтительное отношение к учительнице? Сочинение есть сочинение.— Она сунула листок за блузку.— За орфографию вам честно полагается единица.

— А за содержание?

— Насчет содержания поговорим, когда перепишете все начисто без единой ошибки. А слово «люблю», чтобы не забыть, как его произносят, напишите мне тридцать два раза на отдельной странице,— она подняла на Кларка смеющиеся счастливые глаза.

Он взял ее за локти и губами отыскал ее губы.

На рассвете у головного сооружения собрались люди в кожанках, бурках и халатах, с простертым над головами большущим плакатом. На красном в белые крапинки ситцевом полотнище (кумача в кооперативе не оказалось) большими белыми буквами выделялась надпись: «Большевистский привет ударникам-комсомольцам!» С неба буйными ручьями хлестала вода. Буквы, размытые дождем, капали на потемневшие балахоны музыкантов, бережно укрывших полой горластые жерла труб. Хлюпая по лужам, прибежал из городка Гальцев и протянул Синицыну размокшую телефонограмму. Синицын с трудом разобрал стертые слова:

Первый состав узкоколейки прибыл на второй участок в полной исправности в четыре часа восемь минут, без опоздания. После пятиминутного митинга в четыре часа тридцать минут состав отбыл на головной. Начальник второго участка Рюмин.

Размытые слова пахли «Интернационалом». Синицын сунул бумажку в карман и посмотрел на часы.

— Через пять минут должны быть здесь.

Он обвел глазами собравшихся: Кирш в клеенчатом плаще с накинутым на голову капюшоном, похожий на театральное привидение, Морозов в кожанке и кожаном шлеме, Уртабаев в насквозь промокшем непромокаемом плаще, Комаренко, весь затянутый в кожу, Осип Викентьевич под большим старомодным зонтом, брызжущим во все стороны водой, как фонтан, Андрей Савельевич, окутанный поверх плаща рыжей клеенкой («захватил, наверное, со стола»). Прорабы, техники, рабочие. «Человек двести будет. Все-таки собрались, несмотря на такую собачью погоду. Хорошо!»

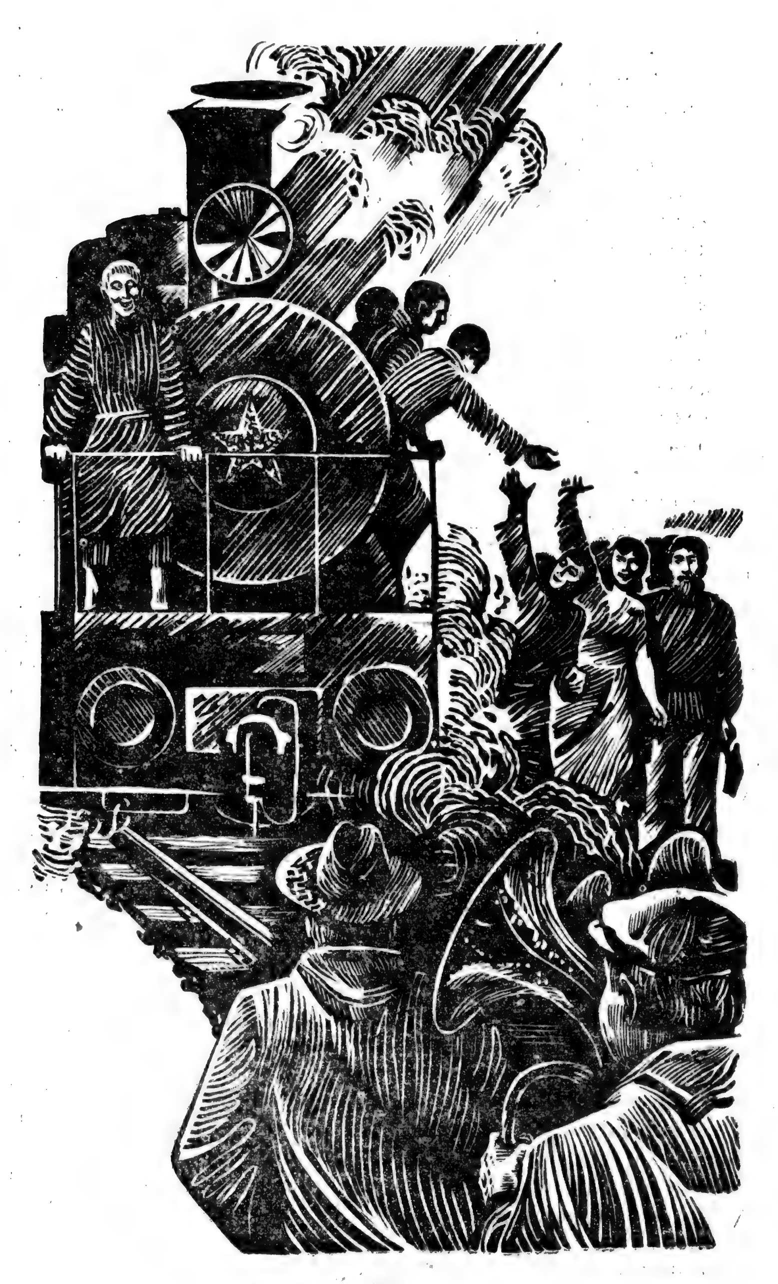
Где-то вдали внятно заревел паровозный гудок. Со стороны городка странными окольными прыжками приближалось еще несколько фигур. Гудок выл не переставая, как на тревогу, все ближе и ближе. Сквозь потоки дождя ничего нельзя было различить. Когда наконец впереди замерещилась бронированная грудь паровоза, состав уже был в ста шагах. В глаза дохнуло густым свинцовым дымом. Музыканты, распахнув балахоны, блеснули ослепительными трубами. Грянул «Интернационал».

Паровоз — запыхавшаяся кукушка, разукрашенная черными от дождя флажками,— затормозил, зашипел, словно раскаленные колеса обмакнулись в студеную лужу, и изошел паром. С паровоза и с вагонеток спрыгнула в грязь орава промокших ребят. Оркестр неистовствовал. Из горла труб, как из пожарных рукавов, вместе со звуками летели в воздух толстые фонтаны воды.

Синицын дал знак рукой. Трубы, захлебнувшись водой, захрипели и умолкли.

— Товарищи!..— Вода плескала в рот, не позволяя говорить.

— ...Усилиями нашей героической комсомольской организации... узкоколейка от пристани до головы кана... проложена... намеченный комсомолом встречный трехмесячный срок...— Вода била в глаза, ревела в ушах, сочилась за поднятый воротник кожанки, холодными струйками стекая по спине.— ...Несмотря на чудовищные, вот такие климатические условия...— Синицын махнул рукой, говорить было невозможно.



Он шагнул вперед, навстречу выступившему Нусреддинову, обнял его и прижал к себе. Они целовались долго, взасос, коля друг друга небритыми подбородками. По их щекам слезами струился дождь — а может, это были настоящие слезы? Трубы, заслышав тишину, сплюнули воду и еще раз зазвенели «Интернационалом».

—Давайте все в клуб! — закричал Уртабаев.

— В клуб! клуб!

— Надо напоить ребят чаем!

Нусреддинова и комсомольцев подхватили и под звуки хриплого марша понесли в городок.

Пока в клубе шли торжественные приветствия, Комаренко вышел покурить. В дверях столкнулся с Уртабаевым. От промокшего Уртабаева шел пар.

— Угости папиросой. Мои все вымокли.

— Сделай одолжение. Ну, погодка же у вас, братья таджики! А еще на недостаток воды жалуетесь. Вам бы ту воду, что за зиму с неба накапает, собирать в резервуары, и никаких оросительных каналов не надо: взял кишку и поливай! Честное пионерское!.. Ну, как у тебя дела? С Морозовым ладишь?

— А почему мне с ним не ладить? Он — хороший работник, организованный, не то, что Еремин.

— Это хорошо. А ко мне почему никогда не заглянешь?

— Да вот работы много. И погода не особенно благоприятствует. Поверишь, вот уже два месяца как не был в местечке. Приехал, хотел зайти к тебе поблагодарить, да так и не собрался.

— За что ж ты меня благодарить-то вздумал?

— За то, что ты в мою виновность не поверил. Ведь из всего бюро ты да Метелкин голосовали против моего исключения. Думаешь, я не помню? Был я как-то на втором участке, хотел повидаться с Метелкиным, а тот меня завидел и в другую дверь сбежал. Почему — до сих пор понять не могу.

— Сбежал, говоришь?— рассмеялся Комаренко.— Он себя перед тобой виноватым считает: за экскаватор, что уберечь не сумел.

— А за что его, собственно, вывели из бюро?

— Запивать стал. Очень к сердцу дело с экскава-

тором принял. Вдолбил себе, что это он тебя окончательно угробил. Раньше был непьющий, в пример другим, можно сказать,— ни единого прогула. А тут как запил, сразу три дня прогулял. Мы ему за это — строгий выговор. А потом, когда избил трех таджиков, пришлось над ним суд устроить. Ну, и, естественно, вывели его из бюро. Чуть-чуть из партии не вылетел.

— Что ты говоришь! Неужели избил таджиков? Что же это — шовинизм? Или по пьяной лавочке?

— Рассматривали как великодержавный шовинизм. Я один знал приблизительно, в чем дело, разъяснил. Понимаешь, вдолбил себе парень, что экскаватор сломали нарочно. Стал искать следов и нашел у самого экскаватора в песке бутылочку с насом. Кто-то обронил, а кто — поди разбери,— у каждого дехканина по такой бутылочке. Это его окончательно в тоску вогнало. Вечером напился и пошел в обход по участку. Стоят три рабочих таджика. Решил сыграть Шерлока Холмса. Вынул бутылочку и спрашивает: «Эй, рафики, не знаете, кто потерял бутылочку с насом?» А тут один из трех возьми да скажи: «Я потерял». Может, потерял в самом деле, а может, пожевать ему просто хотелось. Метелкин к нему: «Посмотри хорошенько, эта? Наверное?» Тот посмотрел и говорит: «Эта». Ну, тут Метелкин — был немного выпивши — бац его в зубы: «Ах ты, такой-сякой, вредитель! Кто тебя уговорил экскаватор портить?» Те двое бросились было к товарищу на подмогу. Но, знаешь Метелкина, парень здоровый. Наклал всем троим. Ну, конечно, по участку поднялся шум: русский рабочий таджиков избил. Устроили суд. Тут еще отягчающее обстоятельство: пьяный. Только благодаря тому, что учли прежние его ударные подвиги, в партии удержался, и то со строгим выговором с предупреждением. Еще раз увидят в нетрезвом виде — вылетит без разговоров.

— Ну и что? Перестал пить?

— Перестал. Три премии уже с тех пор заработал. По 225 процентов плана каждый день выполняет и расценку снизил наполовину.

— Неужели ты думаешь, что кто-нибудь нарочно сломал этот экскаватор?

— Всяко бывает.

— А ведь другой экскаватор до сих пор работает и в полной исправности.

— Да, жалко, что один. Один может быть исключение. Если бы два, это — уже другое дело... Скажи ты мне, Уртабаев, по старой дружбе. Дело уже прошлое, сам знаешь, основные неприятности у тебя были не из-за этого. А меня это интересует совсем по другой линии. Верно, что Баркер решался пустить все экскаваторы, или, может быть, думал рискнуть сначала одним-двумя, для пробы, а? Скажи по правде. Ну, загнул там...

— Даю тебе честное слово коммуниста, что мои показания на бюро слово в слово соответствуют истине. Загнул я в другом, это я признал перед контрольной комиссией. Я не имел права, на основании одной моей договоренности с Баркером, затевать всю эту историю, не согласовав ее предварительно с руководством. За это мне влетело, и поделом.

— Хоп! Я поехал. Остаешься? Заходи как-нибудь вечерком. У меня радио хорошее. Бомбей слушаю. Все больше фокстротишки разные. Ну, дай бог всякому!

Выскользнув из клуба, не дожидаясь конца приветствий, Нусреддинов зашагал в гараж. Уходил как раз грузовик в местечко. Керим примостился в кабинке, рядом с шофером.

Сошел в местечке у большого арыка и с колотящимся сердцем свернул в знакомую уличку. Было еще очень рано: Мариам, наверное, спит.

Он удивился, застав дверь запертой снаружи. Неужели так рано ушла? Наверное, поехала встречать его к приходу первого состава. Опоздала, и они разминулись в дороге. Какая досада! Что теперь делать? Возвращаться обратно? Таким образом опять могут разминуться. Лучше подождать здесь.

Дверь запиралась на простую деревянную задвижку. Он протянул руку и остановился. Вправе ли он водворяться в комнату Мариам в ее отсутствие? Какой глупый вопрос! Не сказала ли она ему сама: «Переезжай ко мне прямо с грузовика, со свертком. Я устрою, нам будет хорошо...» Что за ненужные церемонии! Уверенной рукой он открыл дверь и вошел в комнату.

Кровать Мариам была не тронута. Не ночевала дома? Пустяки! Мариам, всегда такая аккуратная, наверно, застелила перед уходом. Он оглядел комнату. Все здесь было как перед его отъездом. Ничто не гово-

рило о том, что в этой комнате теперь должно жить их двое. Может, Мариам не ждала его приезда? Но тогда она не уехала бы его встречать. А куда ж еще она могла уйти так рано? И потом все строительство знало прекрасно, что первый состав придет именно сегодня. Как же могла не знать об этом Мариам?

Он заметил, что все еще стоит посредине комнаты с узелком в руке. Положил узелок на ящик с книгами. Что-то неприятно защемило внутри. Керим решил сесть и подождать, оглянулся, ища табуретку. Единственная табуретка стояла у изголовья кровати. Он взял лежавшую на табуретке книгу — книга была по-английски — и хотел было положить ее на стол. Что-то выскользнуло на пол. Он нагнулся. Это была фотография американского инженера Кларка.

Керим долго вертел карточку в пальцах. Он детально изучал лицо изображенного на ней мужчины, словно видел его впервые: белое, матовое лицо, гладко причесанные волосы, высокий лоб, прямой тонкий нос, красивые, немного печальные губы. Потом положил карточку на место и подошел к висящему на стене небольшому зеркальцу. Из зеркальца выглянуло на него смуглое небритое лицо, с жесткой шапкой непослушно торчащих волос, с неправильным, слишком коротким носом. Верхняя губа подростка в зеркале слегка подрагивала. Керим быстро отвернулся и провел рукой по волосам. Он посмотрел на свои руки, неуклюже вылезающие из слишком коротких рукавов спецовки, и спрятал их за спину. Потом он подошел к окну и долго без выражения смотрел в мутные стекла. По стеклам текла вода.

Обернулся на шум отворяемой двери. В комнате стояла Полозова. Она одним взглядом обвела узелок на книжном ящике, стоявшего у окна Нусреддинова и густо покраснела. Минуту они оба молчали.

— А, ты приехал? Здравствуй, Керим!— голос ее звучал искусственно, в нем не было ни радости, ни удивления, которые она явно силилась ему придать.

— Здравствуй, Мариам.

Они пожали друг другу руки как-то слишком торопливо, оба ощущая неловкость от этого привета. Она начала старательно отряхивать кожанку, сняла ее и, словно не зная, что с ней делать, излишне тщательно принялась стирать с нее воду.

— Какая ужасная погода! Правда?.. Ну, что у тебя слышно, Керим?

— Ничего, Мариам. Закончили узкоколейку. Вот и пришел тебя навестить... посмотреть, как живешь... В другой раз зайду посидеть подольше. А сейчас пойду... там ребята...— он неловко взял с ящика узелок и, пряча его за спиной, протянул руку.— До свидания, Мариам. Я рад, что ты здорова.

— Подожди, как же ты пойдешь в такой дождь?

Керим улыбнулся:

— Мы в такой дождь, Мариам, последние пятьдесят километров узкоколейки проложили. Я привык.

— Не посидишь немножко?

— Нет, Мариам, ребята ждут. Как-нибудь в другой раз зайду. Всего тебе хорошего.

— Ну, до свидания. Обязательно заходи, обязательно...

Он крепко потряс ее руку и исчез за дверями, заслоняя собой узелок. В мутные стекла гулко барабанила вода.

...В общежитии Керим задержался недолго. Ребята спали, изнуренные работой последних ночей. Он отыскал свою койку, положил на нее узелок и выскользнул во двор. Ему не хотелось слышать удивленные вопросы товарищей. На дворе, не унимаясь, хлестала вода. Нусреддинов минуту постоял, не зная толком, куда пойти, и, подумав, быстро зашагал в партком.

Партком помещался в новом бараке, отстроенном еще до начала дождей. Керим с трудом отыскал его среди других новых бараков и, перекинувшись несколькими словами со знакомыми ребятами, прошел к Синицыну.

— Как у тебя дела, Керим? Очень рад тебя видеть, очень. Думал, так скоро с тобой не встречусь.

— Почему? Разве ты не верил, товарищ Синицын, что мы закончим к сроку?

— Насчет того, что закончите, я не сомневался. А вот меня ты мог здесь не застать. Разве не знаешь, что меня сняли с работы? Выездная сессия ЦКК за дело с Уртабаевым.

— Но ведь это же отменено?

— Да, в Сталинабаде отменили. Решили оставить до конца строительства, благо уже недолго. Ограни-

чились строгим выговором, как Морозову. С Уртабаевым виделся?

— Да, вскоре после его восстановления. Приезжал к нам на узкоколейку.

— Видишь, брат, в деле Уртабаева твоя правда вышла. Помнишь, как ты ко мне тогда приходил? А я тебя слушать не хотел. Зазнался.

— Не надо так говорить, товарищ Синицын. Каждый может ошибиться. А тут дело было трудное. Все ошиблись. Я ведь тоже никаких доказательств представить не мог. Как можно в таком деле на слово верить?

— Зазнался, Керим. Сам признаю. Нечего меня выгораживать. Я тебя тогда, как мальчишку, отчитал. На моих глазах ты рос, а как вырос,— я и не заметил. Все тебя, как мальчика, опекал. Расти тебе мешал, сам понимаю. Инициативе твоей не давал развернуться. Партия говорит: недооценка местных растущих кадров. И правильно говорит. Только на твоем примере недооценка эта еще ярче выразилась, чем на деле с Уртабаевым. Я это перед контрольной комиссией прямо признал и о твоем предупреждении рассказывал.

— Какое ж это предупреждение, раз я сам ничего обосновать не умел?

— Брось ты это дело. Вот и узкоколейка показала: в первый раз тебе дали возможность развернуться по-настоящему, и как здорово с делом справился! Молодец! Рад за тебя, Керим, искренне рад. Поедешь в Москву, подучишься,— большой работник из тебя выйдет.

— Вместе поедем, товарищ Синицын, только строительство закончим. Мне бы уж хотелось поскорее.

— Нет, брат, вместе не поедем. Плакал мой ИКП. Со строгим выговором на учебу не ездят. Надо сначала выговор отработать, на практической работе показать, что стоит меня учить, что ошибок повторять не буду. А ученых загибщиков разводить, какая от этого партии польза? Попрошусь в какой-нибудь глухой район, в Матчинский хотя бы, там, где работы побольше.

Керим смущенно посмотрел на Синицына. Оба молчали.

— Знаешь что, товарищ Синицын, я думаю, мне тоже не следует еще ехать в Москву. Надо сначала хоть год-другой практически в кишлаке поработать. Возьми меня с собой в свой район. Я тебе там комсо-

мольскую организацию налажу. Большую работу сделаем. А путевку, чтоб не пропадала, отдадим Зулеинову. Он — хороший, сознательный работник.

— Что это ты надумал? Не дури! Тебе путевку дают, ты и поедешь.

— Честное слово, товарищ Синицын, я ведь сам лучше чувствую. Мне восемнадцать лет, я успею. Другие в тридцать, в сорок лет начинают учиться и хорошими работниками становятся. Почему? Опыт практический у них большой, фундамент крепкий, есть на чем науке держаться. А какой же у меня практический опыт? Вот ты, товарищ Синицын, со мной сегодня первый раз как со взрослым товарищем заговорил. Очень хорошо говорил. Сам сказал: надо мне дать возможность развернуть инициативу. Вот и дай мне показать ее на практической работе. А учиться поеду потом. Везде я до сих пор работал вместе с тобой, и хорошо работали. Всему, что я знаю, у тебя учился и еще поучиться хочу. Возьми меня в свой район. А потом ты в Москву поедешь, и я поеду.

— А может, я и вовсе не поеду?

— Поедешь. Партия таких работников умеет ценить. Партия нас учит и самое себя учит. Ты меня учил — это партия меня учила. А тебя партия учит — это самое себя учит... Значит, едем вместе? Да? А на учебу в этом году пошлем Зулеинова. Я ему сейчас скажу, он обрадуется.

— Что ж это, выходит, ты от учебы отказываешься, чтобы мне компанию составить? Так, что ли?

— Не отказываюсь, а только отложить немножко хочу. Не надо упорствовать, товарищ Синицын. Я все равно буду проситься в тот район, в какой тебя пошлют. Ты ведь не откажешься со мной работать, раз сам считаешь, что я — неплохой работник. Правильно говорю?

Синицын положил руку на плечо Керима.

— На учебу ты, конечно, поедешь, и очков мне насчет практической работы не втирай, а дружить мы с тобой будем крепко. Ты — хороший товарищ, Керим.

В кабинете Комаренко тяжелыми фестонами висел папиросный дым. День, трудолюбиво начатый на рассвете, и не думал кончаться. С утра нарочный привез секретный пакет из Ташкента. В пакете были сведения

о разветвленной вредительской организации в системе среднеазиатских органов Наркомзема, членом которой оказался бывший заведующий механизацией инженер Немировский. Прилагался протокол допроса и копии последних показаний Немировского. Из показаний явствовало, что один из соратников Немировского, член организации, продолжает мирно работать на строительстве.

Заперев документы в ящик, Комаренко отдал приказ о немедленном аресте.

Привели жалкого человека, бледного до синевы, с неприятно трясущимися руками. Двухчасовой стереотипный диалог: оскорбленность, категорическое отнекивание, утрированная уверенность, поскользнувшаяся раз и другой на собственных ответах, виноватое молчание, потом перечень жалких сумм, заработанных за вредительство, и, наконец, липкое раскаяние, муторное, как блевотина.

Подписав приказ о доставке инженера в Ташкент, Комаренко позвонил и попросил стакан крепкого чая. Было большое желание помыть руки, как после гнойной операции. Непреодолимое омерзение: такие смеют называть себя врагами! Чай, мутный, как дождь, не рассеял неприятного привкуса.

Зазвонил телефон:

— Мухтаров и Галиев по личному делу.

— Пропустите.

Вошел секретарь райкома в сопровождении судебного следователя, татарина Галиева.

— Здравствуйте, товарищи, присаживайтесь! Чем могу быть полезен?

— У него к тебе дело,— Мухтаров указал на следователя.

— Дело, собственно говоря, небольшое,— следователь придвинулся со стулом к Комаренко.— Товарищ Мухтаров сказал мне, что вы являетесь членом правления колхоза «Красный Октябрь» и знаете отдельных колхозников.

— Кое-кого знаю.

— Знаете Хайдара Раджебова?

— Знаю. Член нашего правления. Осенью выбирали.

— Что вы о нем думаете?

— То есть в какой области?

— Видите ли, Хайдар Раджебов вчера зарезал жену. Случай сам по себе банальный, но, поскольку в нашем районе в этом году был уже один факт убийства женщины мужем, необходимо будет устроить показательный суд. Ну, и конечно, по всем данным, придется применить высшую меру.

— Хайдар Раджебов? Тот, который в Сталинабад на съезд колхозников ездил и обратно на самолете прилетел?

— Этот самый.

— Жену убил, говорите?

— Зарезал. На редкость зверское убийство. Голова отрезана почти совсем. Две раны в грудь, и кисти рук перерезаны. Очевидно, защищалась.

— А на какой же почве, выяснено?

— Отец и соседи говорят, что уйти от него хотела. Раджебов давно уже будто бы грозил, что ее прирежет, и вообще плохо с ней обращался. Есть только одно противоречащее показание женщины... как ее звать?..— следователь поискал в блокноте.— Вдова Зумрат. Вот эта вдова Зумрат знает и убийцу, и убитую, и говорит, что во всем кишлаке не было более дружной пары. Ни один мужчина не обращался так хорошо с женой, как Раджебов. Вот, основываясь на их исключительно дружеских отношениях и обоюдной любви, вдова отрицает возможность убийства жены Раджебовым. Но это — конечно, не доказательство. Наоборот, большинство такого рода убийств происходит именно на почве ревности.

— А свидетели есть? Видел кто-нибудь?

— Соседи слышали крик и возню. Дверь была заперта изнутри. Побежали предупредить отца. Отец, когда прибежал, натолкнулся уже в дверях на убегающего Раджебова. Хотел его задержать, но тот замахнулся на него ножом. Раджебов вернулся в кишлак к вечеру, когда на месте происшествия была уже милиция и я проводил как раз опрос свидетелей. При предварительном осмотре никаких следов на нем не оказалось. Да это и немудрено при таком дожде... Не говоря уже о том, что мог помыться и выстирать халат в первом попавшемся арыке.

— Что показывает сам Раджебов?

— Когда пришел,— я как раз сидел в его кибит-

ке,— Раджебов кинулся к убитой и начал громко кричать. Я, к сожалению, плохо понимаю таджикский язык. Но это обычно: позднее раскаяние. Потом, когда его взяли милиционеры, замолк и больше не вымолвил ни слова. Производит впечатление человека, испытавшего сильное психическое потрясение. Выжать из него ничего не удалось.

— Подождите, подождите, я же его недавно видел. Когда это было? По-моему, вчера, здесь, в местечке.

— В какое время, не помните?— насторожился следователь.

— Подождите, сейчас вспомню. Кажется, часа в четыре, когда возвращался с обеда. Тут, на улице, около управления. Знаете, почему запомнил? Встретил в этот день как раз двух дехкан из моего колхоза: сначала Раджебова, а потом сына Шохобдина Касымова, тоже здесь где-то недалеко от управления.

— Вы уверены, что это было вчера и именно около четырех часов дня?

— Почти уверен.

— Видите, это очень важно. Приблизительно в это время было совершено убийство.

— Понимаете, твердо сказать, что это было как раз в четыре и что это был наверное Раджебов, я все-таки не берусь. При такой погоде все кошки серы. И потом на часы я не смотрел. Могу ошибиться.

— Так. А насчет личности самого Раджебова не сможете мне чего-нибудь сказать?

— Что ж, о Раджебове знаю, пожалуй, столько, сколько и Мухтаров. Особенной политической активностью Хайдар никогда не отличался. Папаша его жены, Мелик Абдукадыров, в двадцать втором году двух красноармейцев прирезал, во дворе у него ночевали. Но это — старые дела. Мало ли чего тогда не делали по несознательности и байскому наущению. С тех пор ничего такого за ним не числится.

— А о свидетелях вы не сможете чего-нибудь сказать? О главном свидетеле, соседе Раджебова, председателе колхоза, Давляте, товарищ Мухтаров дал мне самый лестный отзыв.

Комаренко молча созерцал спиральную струйку дыма.

— Знаешь что, Мухтаров, не нравится мне этот колхоз. Что мы, брат, по совести говоря, знаем о его составе, кроме того, что многие теперешние колхозники в двадцать втором году ушли в Афганистан с басмачами, а в двадцать восьмом вернулись обратно?

— Но-но, не надо преувеличивать,— обиделся Мухтаров.— Мало ли кто из дехкан путался в прошлом с басмачами. Кто здесь знал толком в двадцать втором году, что такое советская власть?

— Я не об этом. Я говорю: мало ли баев, раскулачившись заранее в Афганистане, могло пролезть в такие колхозы? А сколько байских ставленников? В таких колхозах, как этот, необходимо было провести особенно большую политическую работу. Провели ли мы ее в достаточной мере? Бросили ли мы туда достаточные силы? Кого?

— Ну, хотя бы Давлята.

— Помнишь, по осени ездили мы туда с тобой собрание проводить? Приехал я тогда домой, всю дорогу об этом колхозе думал. Не нравятся мне эти активисты.

— Ты про кого?

— Возьмите к примеру Шохобдина Касымова, которого мы тогда вывели из правления. Кто он, по-твоему?

— Крепкий середняк. Больше сорока баранов никто у него не помнит.

— А вот, прежде чем сюда вернуться, этот самый Шохобдин Касымов в Афганистане, в Мазар-и-Шерифе, продал приличное стадо баранов. Заверяет, будто бараны не его, а тестя. Иди проверь! А приехал к нам, в двадцать девятом году сразу в колхоз вошел, первый ратовал... Или этот, твой Давлят. Ты на меня, Мухтаров, не обижайся. Я знаю: активист и всякое такое. Но отбрось ты на минуту его активность и хозяйственные способности и сопоставь кое-какие мелкие факты. Где только какое-нибудь темное дело, там уже Давлят тут как тут. Возьми дело с Ходжияровым: кто принимал Ходжиярова в колхоз? Давлят. Кто рекомендовал его в партию? Давлят. Кто представлял его к почетной грамоте? Давлят... Так что со свидетелями, товарищ Галиев, будьте поосторожнее. Добейтесь лучше показаний от самого Раджебова.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Шесть экскаваторов скребли бугристое дно канала. Меж крутых отвалов текла ночь сухим паводком электрического света. Затрепыхал свисток, и экскаваторы, послушно повернув головы, застыли в напряженном ожидании.

Кларк, скользя по камням, сбежал вниз:

— Ну, что есть? Тут тоже скала?

Андрей Савельевич поднял большой осколок породы, отколупнул кусочек ногтем, растер в пальцах и попробовал на язык.

— Конгломерат. На вкус — вроде как глина, а начнешь копать — камень. Экскаватор ее не возьмет, только ковши изуродуем. Придется рвать.

— А сколько тут такой грунт?

— Вплоть до семнадцатого пикета. Как выберут девять-десять метров, так кончается галька и начинается вот эта, извините за выражение, дрянь.

— Как это есть возможно? В плане стоит галька. Весь план построен на выемку экскаваторами. Если всюду конгломерат,— весь план к черту. Тут геологические разведки кто-нибудь делал?

Андрей Савельевич сочувственно покачал головой:

— Знаете, как у нас все: торопись! торопись! Сегодня начал класть фундамент, завтра покрывай крышей. Вот и поторопились. Посверлили в двух-трех местах: галька и галька... А теперь, поди, за них расхлебывай!

— Торопись не имеет отношения. Надо торопиться и хорошо делать. Темпы и качество, да! Без темпы и без качество нет социализм.

Андрей Савельевич посмотрел на американца обалделыми глазами и ничего не ответил.

— Возьмите с каждого пикет в разны места кусок конгломерата и дайте в лабораторию. Завтра четыре часа чтобы был анализ. Сейчас перевести Менк VI на тринадцаты пикет и Бьюсайрус 70 — на девяты. Попробуем там.

На рассвете, докопавшись до скалы, встало двенадцать экскаваторов.

Выбираясь из канала, Кларк пережевывал невразумительную кашу из русско-английских проклятий. Он присел на камень, настрочил короткий рапорт главному инженеру и послал его нарочным на второй уча-

сток. Все управление строительством переехало туда после окончания дождей. Отправив посыльного, Кларк зашагал в городок. Городок подкатил уже вплотную к головному сооружению и, захлестнув пустыри, разбрелся вдоль реки длинной отарой бараков.

На головном сооружении размеренно стучали бетономешалки, возможно, выстукивали цифры каких-то новых всесоюзных рекордов. Кларк устало провел рукой по глазам. Где-то на кухне сбивают утренний гоголь-моголь. Серый гоголь-моголь, который вольют в горло магистрального канала. Головное сооружение приближается к концу. А выемка? Он нагнулся над загородившим дорогу ручьем и освежил лицо водой. Река за обрывом шумела неугомонно, как примус. Кларк так привык к ее шуму, что перестал его замечать. И сейчас, расслышав его в хрупкой утренней тишине, не сразу сообразил, что это такое.

Городок медленно просыпался. На пороге бараков появлялись мужчины в цветных майках. Одни тут же справляли свои мелкие надобности, другие споласкивали сон ведром студеной воды.

«Почему не устроят здесь человеческих писсуаров? При такой близости реки ничего бы не стоило провести канализацию. Отсутствие элементарных культурных потребностей. Эти камышовые коллективные уборные можно бы показывать в музее средневековых ужасов».

Взмутив прозрачную голубизну воздуха, мимо продребезжал грузовик.

Новый барак ИТР, куда переселился из местечка Кларк, стоял на отлете, в ближайшем соседстве с рекой. Кларк толкнул рукою дверь.

— Это вы, Джим?

— Я, Мэри. Я тебя разбудил?

— Вы только сейчас вернулись?— Полозова, жмуря глаза, приглаживала взъерошенные волосы.

— Да, всю ночь — одни сплошные неприятности.

— Что-нибудь случилось?— спросила Полозова по-английски.

— На глубине десяти метров вместо гальки оказался конгломерат. Придется рвать.

— И много?

— По приблизительным подсчетам, не меньше семидесяти тысяч кубометров.

— Что вы говорите! Но ведь это очень задержит работу.

— Минимум на три месяца.

— Как же это? Неужели никто не знал об этом раньше?

— Я вот тоже спрашиваю. На основании проведенных разведок, по плану, на всем этом отрезке значится галька.

— Подождите, я сейчас вскипячу чай... Ну, и что же будет?

— Посмотрим. Послал рапорт Киршу. Пусть он решает. Придется срочно переоборудовать всю трассу работ.

Он взял со стола белый лист и, облокотившись на стол, рассыпал по бумаге косые вереницы цифр.

— Садитесь, попейте со мной чаю. Вы очень расстроены?

— Радоваться нечему, к сроку не закончим.

— Ну, не надо сразу сдавать позиции. Может быть, еще найдется какой-нибудь выход. Подбросят побольше рабочих.

— Механизмов нет. Наши экскаваторы для этого грунта не годятся.

Она погладила его руку.

— Я очень рада, что вы так глубоко, по-настоящему, болеете за строительство. Вы стали совсем советский инженер: даже по три дня не бреетесь.

Он смущенно провел ладонью по подбородку.

— Извините, Мэри, сейчас побреюсь. Это не посоветски, это просто неряшливо. Мурри говорит, что наши американские солдаты даже в окопах, между двумя атаками, находили время побриться.

— «Наши американские солдаты»? Это те, которые потрошили бошей?

— Не ловите меня на слове. «Наши» в смысле государственной принадлежности.

— Не поправляйтесь, а то запутаетесь еще больше... Слушайте, Джим,— она закинула ему руки на шею,— у меня есть для вас две новости: хорошая и печальная. Вчера весь день вас не видела, не могла сообщить.

— Какая же это печальная новость?

— Почему вы не спрашиваете сначала про хоро-

шую? Ввели меня в бюро комсомольского комитета. Вы не рады?

— Рад. А какая же печальная?

— Перебрасывают меня на второй участок. Придется нам на некоторое время разъехаться, возможно, до конца строительства.

— Кто ж это вас перебрасывает и почему?

— Комсомольский комитет. У Мурри уехал переводчик. Выписывать нового нет уже смысла: пока приедет, пройдет два месяца. Нет никого под рукой, кроме меня. Это одно, не главное. А главное: назначили меня секретарем комсомольской ячейки второго участка. Подумайте только, какая большая, интересная работа!

— Я вижу, вы очень рады.

— Мне немножко грустно, что не будем жить вместе, но самой работе я очень радуюсь. Вы не понимаете, какое это большое доверие со стороны комсомольской организации. Ячейка — сто двадцать человек. Я даже боюсь — справлюсь ли с такой большой работой.

— И вы думаете серьезно туда ехать? Переводчицей к Мурри?

— То есть как, думаю ли ехать? Я же вам говорю, что я уже назначена. Сегодня еду. Вы недовольны? Ну, Джим, не надо хмуриться. Будьте умны. Это же совсем близко, всего двадцать километров. Можем по меньшей мере раз в декаду навещать друг друга, а то и чаще. Ведь и сейчас по целым дням мы не видимся. Почему вы не хотите понять, что для меня это очень большая и ответственная работа, которую мне поручают в первый раз и с которой я должна справиться во что бы то ни стало? Ну, Джим!..

— Я не спорю, что роль постоянного адъютанта Мурри для молодой женщины — очень интересная работа. Но я считаю, что для моей жены эта работа неинтересная и неподходящая.

— Джим! Ну что это такое! Ревность? Как вам не стыдно! Неужели вы серьезно недовольны?

— Я не недоволен, а я категорически против.

— Но почему же? Потому, что мы не будем вместе, или потому, что я буду работать с Мурри?

— И по тому, и по другому. Я считаю, что Мурри имел столько же времени научиться говорить по-русски, сколько и я. А если ему не хотелось, то это не ос-

нование, чтобы моя жена покидала мой дом и служила у него переводчицей.

— «Моя жена, мой дом, наши американские солдаты» — из вас помаленьку вылезает весь ваш старый лексикон. Неприятно слушать. Ну, Джимка! Не глупи! Какой хвастун! Он мог выучить русский язык, а Мурри не хотелось! Во-первых, положите руку на сердце и скажите: выучились ли бы вы так быстро по-русски, если б не закрутили со мной роман? Да к тому же у вас было достаточно много времени, когда вы лежали больной. А во-вторых, кто же может заставить Мурри учиться по-русски, если ему, допустим, не хочется? А переводчика строительство ему дать обязано. Без переводчика он работать не может и даром будет получать деньги. Весь вопрос: нужен ли Мурри строительству или не нужен? Вы сами хорошо знаете, что нужен, следовательно, надо поставить его в такие условия, чтобы он мог дать строительству возможно больше. Роль переводчика Мурри, даже для «вашей жены», как вы изволите выражаться, не содержит ничего унизительного или несерьезного. Это такой же участок строительства, как любой другой.

— Хорошо. Если строительство обязано предоставить переводчика Мурри, в такой же степени оно обязано предоставить его и мне. Я такой же американец, как и он.

— Вчера вы еще обижались, когда вам говорили, что вы такой же американец, как все. Кто это говорил Синицыну: «я не американски, я советски»? А потом вы, миленький Джим, говорите уже прекрасно по-русски, и никакой переводчик вам не нужен.

— То, что я выучился по-русски, это мое частное дело. Я тоже не был обязан учиться и имею такое же право пользоваться переводчиком, как и Мурри. Я не возражал, когда ваш уход на другую работу не требовал вашего ухода из дома. Но если в награду за то, что я сам изучил русский язык и отказался от переводчика, у меня хотят отнять жену и сделать ее переводчицей Мурри,— я сегодня же пойду к Морозову и попрошу вернуть мне обратно переводчицу.

— Кто у вас отнимает жену? Что вы болтаете? Вы просто не выспались и перепутали, кажется, где вы живете. Не ходите ни к какому Морозову, если не хотите поставить и себя и меня в смешное положение.

Пора бы вам уже знать, что по советским законам жена и муж не могут работать в одном предприятии в непосредственной зависимости друг от друга. И о какой это награде вы болтаете? Извольте видеть, научился говорить по-русски и считает, что сделал всему строительству огромное одолжение, все должны ему быть благодарны: сократил штат строительства на одну переводчицу.

— Я не говорю еще настолько совершенно по-русски, чтобы обойтись без переводчика.

— Кого вы хотите обмануть, Морозова? Строительство? Партию? Как вам не стыдно! Посягнули на святыню, жену, видите ли, хотят с ним разлучить на несколько месяцев, и сразу схлынули с него все его советские чувства. Готов, как мелкий лгунишка, обманывать во имя защиты «домашнего очага».

— Можете надо мной измываться сколько угодно. Я думаю, если люди живут друг с другом, то должны немного считаться один с мнением другого. Я запрещаю вам туда ехать! Понятно?

— Вот таким языком надо было говорить с самого начала, тогда нам не о чем было бы вообще спорить. Я, дура, раскрываюсь, радуюсь, говорю о комсомоле, о большой работе, а у него одно: «Моя жена не смеет покинуть мой дом». Вам, очевидно, кажется, что титул «моя жена» дает вам право и в наших условиях распоряжаться мною как вещью. Вы ошибаетесь. Возвращаю вам его обратно. Когда мы сошлись, вы не уточняли условий, а я такой ценой покупать этот титул никогда не собиралась. Я жила с вами до тех пор, пока считала вас действительно своим, нашим человеком. Оказывается, все ваши сугубо советские установки — только внешняя скорлупа. В первый раз поскребли поглубже, и сразу вылез из вас пошленький мелкий буржуа. До свиданья, мистер Кларк. Если при вашем несовершенном знании русского языка вам понадобится переводчица, поищите себе другую.

— Если вы сейчас уйдете, предупреждаю, можете больше не возвращаться. Советую вам подумать.

— Спасибо за совет, я уже подумала. Мои мелкие вещи, если вам не трудно, отошлите с шофером на второй участок. Всего вам доброго, мистер Кларк.

...Об оконное стекло заунывно, в нос, звенела муха. Окно выходило на Вахш. По краешку стекла полз-

ла звенящая тварь. Нет, это была не муха, это была большая полосатая оса с тонкой талией лезгина. Она, урча, упорно продвигалась вверх. Оса явно состояла из двух самостоятельных частей: миниатюрный трактор с прицепом. На столе, в разрисованных пиалах, бесповоротно стыл чай. Кларк взял карандаш, придвинул листок с цифрами и попробовал проверить вычисления. Вереницы цифр бежали перед глазами, косые, как дождь. Он свернул листок и засунул в карман. Кто-то открыл входную дверь:

— Тут живет инженер из Америки?

— Чего нужно?

— Просють срочно к главному инженеру.

— Хорошо. Сейчас приеду.

———

Полозова, выйдя из дому, машинально пошла к головному участку. Время было раннее. В комсомольском комитете, наверно, никого еще нет. Машина на второй участок уходила тоже значительно позже. Полозова пошла вдоль реки. Горечь обиды свела судорогой сухие губы, жгучей сухостью горела в глазах. «Дерьмо! Как я могла столько времени прожить с таким человеком?»

Не доходя до головного сооружения, она неожиданно натолкнулась на небольшого человека в зеленой тюбетейке, сидящего на валуне, у обрыва.

— Керим!

— А, это ты, Мариам?

— Что ты здесь делаешь?

— Приехал с третьего участка. С утра будет много работы. Спать ложиться не стоит. Присел тут над рекой. Прохладно, и пыли нет. А ты куда так рано?

— Я?.. Я тоже вышла немного пройтись. С утра тихо, хорошо. Вот подожду машину, поеду на второй участок.

— С сегодняшнего дня приступаешь к работе?

— А чего ж откладывать? Там ведь ячейка осталась почти беспризорная. Чем скорее наладим работу, тем лучше.

— Да, это правильно.

Разговор не клеился. Полозова чувствовала: лучше было не останавливаться, сказать, что куда-нибудь то-

ропится. Но сказала ведь сама, что не торопится никуда, и уходить было неловко. Она подняла глаза на Нусреддинова:

— Керим!

— Да, Мариам?

— Слушай, Керим. Я давно уже хотела с тобой поговорить...— она солгала и остановилась.

— О чем, Мариам?

— Видишь, все это как-то нехорошо вышло... Тогда, после твоего приезда... Я хотела как-нибудь это объяснить, и все не было времени... Нет, я неправду говорю, дело не во времени, а просто мне самой трудно было об этом говорить. Вот и сейчас решила, начала, а... а слов-то нужных нет.

— А зачем говорить, Мариам?

— Нет, сказать надо, обязательно надо. Видишь, тогда, на узкоколейке, мы жили в такой напряженной атмосфере, так дружно, на такой какой-то высокой ноте... нет, я не то говорю, но ты меня понимаешь, минуты такого коллективного подъема бывают не так часто. Я этой недели никогда в жизни не забуду. Даю тебе слово, Керим, никогда в жизни!

— Я тоже никогда не забуду, Мариам.

— И, видишь, я тебя, вас всех очень тогда любила. Нет, это опять не то. Я ведь и сейчас всех вас очень люблю. И тебя очень люблю, Керим... как товарища, очень люблю. Но тогда, в эти дни, я любила вас больше, чем когда-либо. И тебя в особенности. Ты ведь был душой всего этого... необыкновенного. Ну, я не умею сказать, но ты понимаешь, ты ведь чувствовал то же самое. И вот эту нашу исключительную большую дружбу... мне тогда показалось... я приняла за любовь, как женщина любит мужчину. А потом я поняла, что это не так, что я тебя люблю, очень люблю, но иначе. И я думаю, хорошо, что я поняла это до того, как мы сошлись.

— Я тоже так думаю, Мариам.

— И ты на меня не сердишься?

— За что же мне на тебя сердиться? Разве можно себя заставить полюбить того, кого не любишь?

— Видишь, Керим, когда ты приехал, мне как-то трудно было тебе это объяснить. Тем более трудно, что я это поняла именно тогда, когда полюбила другого

человека. А ты мог просто подумать, что я плохая, распутная девчонка.

— Я так не думал, Мариам.

— Я знаю, ты — хороший товарищ, Керим... и потом еще так сложилось, что этот человек не был нашим товарищем. Это был иностранный инженер. Ты мог подумать, что я, комсомолка, променяла испытанного, хорошего товарища на какого-то иностранного буржуа.

— Наши ребята, Мариам, подымали этот вопрос и спрашивали меня, имеет ли право комсомолка жить с человеком чуждого класса, но я им сказал: раз Мариам с ним живет, значит, это не чужой человек, а наш человек. А если он еще и не совсем наш человек, то Мариам сумеет ему помочь стать нашим до конца.

— Ты так им сказал?

— Да. Больше они этого вопроса не подымали.

— Ты правильно сказал, Керим.

Внизу лениво чавкала вода. На головном размеренно, как бабы вальками, стучали бетономешалки.

— А тебе, Мариам, хорошо? Ты счастлива?

— О, да... Понимаешь, ты очень правильно сказал: он, конечно, не совсем наш человек, но я должна суметь, и мне кажется, я сумею ему помочь стать нашим до конца.

— Ты в этом не совсем уверена, Мариам?

— Каждый из нас может ошибаться... но мне думается, я не ошиблась.

— Если тебе, Мариам, когда-нибудь нужна будет поддержка и помощь, не забудь, что у тебя есть хорошие, испытанные товарищи.

— Я всегда об этом помню, Керим.

— Я пойду в комитет. До свиданья, Мариам. Налаживай работу на втором участке. Дней через десять заеду посмотреть, как у тебя там дела.

— До свиданья, Керим. Думаю, что справлюсь.

Вечером на квартире у Морозова состоялось экстренное совещание. Кроме самого Морозова, Кларк застал Кирша, Уртабаева и начальника взрывпрома, грузинского инженера с трудно запоминаемой фамилией.

Морозов вкратце сообщил известную уже всем новость: вместо предполагаемых семидесяти тысяч кубометров конгломерата оказалось двести сорок тысяч. Нужно было срочно обсудить возможные варианты выхода из создавшегося положения. Морозов любезно спросил мнение Кларка.

— Я не понимаю, кто тут делал геологически разведки,— пожал плечами Кларк.— Это не есть недосмотренность, это есть вредительство.

— Вы совершенно правы, ОГПУ недавно раскрыта вредительская организация в планирующих органах и в среднеазиатском аппарате Наркомзема, имевшая свое ответвление и в системе водхоза. Не подлежит сомнению, что в период планирования нашего строительства и предварительных изыскательных работ здесь был допущен целый ряд сознательных вредительских актов. Прямой их целью было поставить наше строительство в наиболее невыгодные условия и максимально затормозить его развитие. Что ж хотите, классовая борьба есть классовая борьба, а здесь поставлена на карту хлопковая независимость Союза. Должен вас предупредить, что до окончания строительства нам придется, очевидно, столкнуться еще не с одним таким сюрпризом. Сегодня при пробном бурении на семнадцатом пикете на глубине двенадцати метров обнаружена подпочвенная вода. Этого тоже разведчики из геологического института «не заметили» и не предусмотрели, и это тоже в немалой степени затормозит наши работы по выемке конгломерата.

— Значит, мы должны будем одновременно рвать и откачивать воды?

— Придется. Менять трассу канала поздно. Надо так перестроить план работ, чтобы, несмотря на неожиданные затруднения, уложиться в намеченные сроки.

Кларк вытащил из кармана сложенный лист бумаги.

— Я тут подсчитал, что есть возможно сделать с нашими механизмами, будучи как они есть. Я не брал в счет подпочвенные воды. Это немного менит картину. Нужно много больше тракторов. По моим вычислениям, чтобы выбрать в минимум срок эти двести сорок тысяч кубометров конгломерата, нужно: первое — увеличить номер рабочих на втором прорабстве до тысячи

пятьсот человек. Второе — перебрасывать со второго участка еще два экскаватора. На этой глубине выбрасывать грунт вы должны в два приема — один экскаватор внизу, другой наверху. Третье — поставить на девяты пикет второй конвейер. Транспортер и ролики мы имеем. Четвертое — поставить на семнадцаты пикет второй бремсберг. Все вместе: один конвейер дает три тысячи кубометр в месяц. Один бремсберг две тысячи кубометр. Один экскаватор — лопата — шесть тысяч кубометр. Двенадцать экскаваторы с перекидкой — это шесть экскаваторы полная нагрузка, в среднем по пятнадцать тысяч кубометр,— вместе: девяносто тысяч кубометр. Один Менк VI — двадцать тысяч кубометр. Все сто двадцать тысяч кубометр. Минус время взорвать, колоть конгломерат, ручной погрузка, непредвиденны простои. С такой организацией мы заканчиваем работы в конгломерате в два месяца, вместо намеченны один месяц, не считая возможные задержки с откачкой воды.

Кларк отложил карандаш и протянул Морозову лист с вычислениями.

— Что ж, это реальный план,— похвалил Морозов.— Теперь надо перестроить его так, чтобы уложиться в месяц.

— Это есть невозможность. Наши механизмы для этот грунт совсем не подходящи. Больше дать неможно.

— А вот сейчас подумаем. Какие у вас соображения, товарищ Кирш?

— Я присоединяюсь к наметке, которую выработал и уже показывал мне товарищ Уртабаев.

— Выкладывайте, товарищ Уртабаев.

Уртабаев, в свою очередь, достал лист бумаги.

— Моя наметка построена с таким расчетом, чтобы уложить во что бы то ни стало все работы по выемке конгломерата в один месяц, не трогая экскаваторов, работающих на втором участке. Иначе, ликвидируя один прорыв, мы создадим другой.

— Это нет возможно. Наши экскаваторы, с исключением один Менк VI, могут взять максимум глубина от семь до одиннадцать метр. Канал в этой части до восемнадцати метр глубок.

— Я знаю, товарищ Кларк. Это цифры, установленные фирмами, так сказать, цифры для каталога. Нор-

мальную глубину захвата наших экскаваторов можно значительно увеличить, удлинив их тросы. При соответствующем удлинении тросов нормальный Менк V или Бьюсайрус 50 вместо семи метров сможет брать породу с глубины до двенадцати метров, а Менк VI — даже до восемнадцати. Это освободит нас частично от двойной перекидки и позволит не трогать экскаваторов, занятых на другом участке. Тросы, в зависимости от класса экскаватора, можно удлинить до тринадцати с половиной, а в отдельных случаях до двадцати трех метров. Это одно средство. Теперь другое: ковши Менков, как нам хорошо известно, не приспособлены для наших грунтов и дают очень малую производительность. Поэтому я предлагаю заменить их ковшами от поломанных Бьюсайрусов со значительно большей кубатурой — 1,5 кубометра вместо 0,7—0,9, частично же ковшами, изготовленными в наших мехмастерских. Это значительно повысит производительность экскаваторов и даст нам возможность поднять ее в среднем до двадцати и даже до двадцати пяти тысяч кубометров на экскаватор, в иных случаях даже до тридцати тысяч. Цифры, которые я привожу,— не теоретические цифры. Они проверены мной в процессе работ на опыте нескольких экскаваторов.

— Разрешите заметить.

— Пожалуйста.

— Товарищ Уртабаев, вы — хороший инженер. Вы хорошо знаете, что каждая машина имеет свой проектны мощность, который неможно превышать. То есть превышать его можно, но вы этим изнашиваете машину. Машина будет служить пятьдесят процентов меньше время. Это барбарски, нерациональны способ использовать машин. Я в таких условиях не отвечаю, за что случится с механизмами.

— Дорогой товарищ Кларк,— улыбнулся Уртабаев.— Мы с нашими импортными машинами делаем много такого, о чем не снилось во сне заграничным фирмам. Наши бетономешалки на головном и на сорок шестом пикете дают в смену в два раза больше замесов, чем это предусмотрено в каталоге. Если придерживаться проектных рамок, то для выемки нашего грунта нельзя было бы вообще применять дреглейны. Нам пришлось бы отправить все наши дреглейны об-

ратно и ждать, пока нам пришлют экскаваторные лопаты.

— Использовать дреглейны есть необходимость. Перегружать машины и заставлять их работать на глубину, к которой они не приспособлены,— не есть необходимость.

— Это тоже необходимость. Иначе не закончим строительство к сроку.

— Лучше опаздывать один месяц, чем нерационально изнашивать дорогой механизм. Ваше правительство платит за них золото, и у вас есть еще другие строительства, где они тоже будут нужны.

— Видите, товарищ Кларк,— вмешался Кирш,— это очень старый спор, и сейчас, пожалуй, не время начинать его сызнова. Поймите простую вещь: для нашей страны, которая каждую минуту может ожидать нападения извне, важнее в кратчайший срок создать свою индустриальную базу, чем рационально и экономно эксплуатировать дорогие механизмы. Когда у нас будет база, мы сможем производить их сами. И потом, это на первый взгляд варварское обращение с механизмами, если изучить практику наших строительств, оказывается на поверку вовсе уж не таким нерациональным. Мы осваиваем сложнейшие заграничные машины не затем, чтобы производить у себя точно такие же, а затем, чтобы создать еще более совершенные и пригодные для наших нужд. Изнашивая их путем экспериментов, мы одновременно создаем все необходимые предпосылки для осуществления таких новых, усовершенствованных механизмов, проектная мощность которых будет включать в себя уже эти новые, небывалые показатели. Иными словами, наше варварское использование заграничного оборудования, как это на первый взгляд ни парадоксально, толкает вперед развитие новейшей техники...

— Давайте, товарищи, отложим этот диспут,— перебил Морозов.— Сейчас лучше займемся ликвидацией прорыва. Насколько я тут успел прикинуть, ваша наметка, товарищ Уртабаев, все же не обеспечивает окончания работ по конгломерату в один месяц?

— В остальном — слово за взрывпромом и за ручниками. Если рабочие объявят штурм и повысят нормы выработки на пятьдесят процентов, что практиче-

ски вполне осуществимо,— в течение месяца с выемкой конгломерата закончим.

— У кого из товарищей есть еще предложения? — спросил Морозов.— Нельзя ли рационализировать какую-нибудь отрасль работ?

— У меня есть предложение.

— Говорите, товарищ Кирш.

— Нужно наконец устранить неувязку между взрывными и бурильными работами. Взрывными работами руководит взрывпром, бурильными — прорабство. В результате такого двоеначалия качество взрывов получается никудышное. Подрывники сваливают вину на бурильщиков, бурильщики — на подрывников. При создавшемся положении взрывные работы необходимо поставить в центр внимания. От налаженности и быстроты этих работ зависит реальность всего плана. Предлагаю обязать взрывпром перенять у прорабства все бурильные работы и к завтрашнему дню представить нам разработанный план подрывных работ по конгломерату.

— Что вы скажете, товарищ Табукашвили?

— Нэ возражаю.

— Значит, завтра к одиннадцати часам представите план?

— Наш план зависит от того, как у вас будет налажена выемка.

— Пока что выемка на скале все время хромает из-за плохой работы подрывников,— огрызнулся Уртабаев.— Вчера опять Менк VI простоял три часа. Из семидесяти шести скважин взорвали только шестьдесят шесть, про остальные десять «забыли».

— Нэ забыли, а аммонала нэ хватило. Тры дня нэ можем допроситься, чтобы отгрузили с прыстани. Сегодня нэ отгрузите, завтра совсем рвать нэ будем.

— Но, но, рвать-то будете. Товарищ Кирш, распорядитесь по телефону, чтобы немедленно отгрузили аммонал под личную ответственность завбазой. Есть еще какие-нибудь предложения?

— У меня есть предложение.

— Говорите, Табукашвили.

— Поднять производительность рабочих на пятьдесят процентов,— это прыказом нэ делается. Со снабжением стало хуже. Тебе, Морозов, снабжение нала-

дить надо. Обещали ударникам повысить норму хлеба, а хлеба вчера совсем не оказалось.

— Хлеб уже нашелся. Завснабжением арестован.

— Это хорошо. Судить его надо, сукина сына. Я думаю, поскольку штурм будет трудный, работа тяжелая, работать придется в воде... ага! надо еще заблаговрэменно распорядиться, чтобы отгрузили из Сталинабада рэзиновые сапоги! Так вот, поскольку штурм будет трудный, нужно, чтобы трэугольник обратился к рабочим с воззванием: указать, что если скальная выемка нэ будет в срок закончена, нэ дадим воды к поливу и восемьдесят тысяч гектар египетского хлопка пропадет. Подчеркнуть, какой это будет позор перэд всей страной,— ну, ты сам знаешь, как это надо написать, чтобы каждого до печенок пробрало. Правильно говорю?

— Правильно! — поддакнули в один голос Кирш и Уртабаев.— Обязательно надо.

— Все? — оглядел присутствующих Морозов.— Значит, товарищ Кирш, пожалуйста, до завтра составьте с товарищем Уртабаевым и Кларком подробный план работ по конгломерату, чтобы послезавтра можно было довести его до каждой бригады... Товарищ Кларк, вы едете на головной? Захватите меня с собой, у меня машина в ремонте.

Автомобиль летел по избитой тракторами дороге, подпрыгивая на выбоинах, словно сотрясаемый мучительной икотой. Кларк молчал. Морозов пробовал раза три заговорить с ним, но, не добившись ничего, кроме односложных звуков, замолчал тоже. «Обиделся, что ли? Чудной дядя. Хороший инженер, работяга, по всем данным, как будто свой парень, а к нашим условиям все еще никак не привыкнет. Наверное, всех нас считает сумасшедшими». Морозов закрыл усталые от бессонницы глаза и тотчас же забыл о Кларке.

Новый толчок машины заставил его встрепенуться. Высоко над головой блестками звезд светилось небо, неестественное и четкое, как планетарий. Большие жирные звезды зажигались и гасли, вроде электрических лампочек. «Не небо, а прямо телефонная станция...» Он припомнил телефонную станцию, которую занимал с десятком красноармейцев в октябре семнадцатого. Перепуганные телефонистки сбились в кучу, очумело хлопая глазами, а крохотные лампочки на оси-

ротевших аппаратах беспомощно зажигались и тухли, зажигались и тухли: тысячи каких-то неведомых людей безрезультатно добивались соединения.

Морозов еще раз посмотрел на небо. Большими познаниями в области астрономии он никогда не блистал: сызмала не мог отличить Большую от Малой Медведицы. «А вот на Марсе,— подумал он, глядя на Венеру,— есть ведь настоящие каналы, целая оросительная система, наверное, в тысячу раз больше нашей. Черт их знает, может, у них есть там и какие-нибудь свои сверхмощные экскаваторы, а мы тут с одним мизерным каналом в сорок пять километров мучаемся». Он закрыл глаза и уснул, равнодушный к икоте машины.

Проснулся от щемящего ощущения, словно падает с самолетом в воздушную яму. Машина летела радиатором вниз, по почти наклонному отвесу. Потом небо, исчезнувшее позади, вынырнуло опять, теперь перед самым носом радиатора. Это были «американские горки», ряд крутых ложбин, пересекающих плато. Ложбины шли одна за другой, как волны. Машина, очутившись на минуту на гребне, опять плавно полетела вниз. Морозов зажмурил глаза. Острое воспоминание теплой волной подступило к горлу и кровью ударило в голову. Он вдруг уяснил себе, что эти последние дни, взбираясь по отвалам канала, качаясь на машине, надрываясь на бесчисленных заседаниях, он только и делал, что катил и сталкивал вниз, на голову одной упрямо взбиравшейся мысли, глыбы тяжелых, неотложных дел. И сейчас, стремясь на головной, куда до окончательного утверждения нового плана можно было б и не ехать, он, сам в этом не сознаваясь, послушно шел за этой мыслью, выбравшейся наверх и потащившей его на поводу.

Началось все это давно, месяцев пять тому назад, кажется, в Октябрьскую годовщину. В клубе первого участка проходил торжественный вечер, премировали лучших ударников. Морозов вызывал по списку отличившихся и вручал им награду: кому почетную грамоту, кому денежную премию. Седьмой по списку значилась ударница Дарья Шестова, бригадир женской бригады копальщиц, давшей исключительно высокие показатели. Шестова, став на прорыв с лопатой в руке, выбрасывала до двадцати шести кубометров в смену,

при норме девять кубометров, за что награждалась денежной премией в сто рублей. Зачитав показатели премированной, Морозов тут же использовал случай, чтобы сказать короткую речь о роли женщины-работницы на строительстве, о незаслуженно пренебрежительном и косном отношении к ней со стороны иных прорабов и самих копальщиков, которые могут многому поучиться и должны учиться у таких ударниц, как Шестова. Обращаясь к премированной, он поднял глаза, и взгляд его встретился со смеющимися глазами красивой, на славу сложенной девки с беспокойными русыми ресницами. «А красива, шельма»,— подумал невольно Морозов.

От прикосновенья ее наглых, насмешливых глаз он неожиданно смутился, скомкал конец речи и, уже не глядя на нее, сухо протянул ей премию. Шестова не тронулась с места и, улыбаясь, качала головой.

— Мне ваших ста рублей не надо,— сказала она, не спуская насмешливых глаз с Морозова, подметив, видно, его смущение.— Нам денег хватает. Понадобятся — сами выработаем. Вы лучше Луганкину додайте. Они жалуются, что у них выработка маленькая, больше шести кубометров выкинуть не могут.

В зале прокатился одобрительный смех.

— Ты нам не указывай, кому премии давать, сами знаем,— сурово отрезал сидевший в президиуме Андрей Савельич. Замечание Морозова о некоторых прорабах он принял на свой счет.— Дают премию — и бери. А зубы скалить тут не место.

— Не нравятся тебе мои зубы — не смотри... Вот он говорит, что ударникам не вредно у баб поучиться. А почему же тогда драгерам-ударникам почетные грамоты выдали, а как до бабы дошло, так — на́ сторублевку и радуйся! Ежели я такая же ударница, как и они, то мне тоже грамота полагается. А за деньги наше вам спасибо.

— Правильно! — раздалось в зале несколько женских голосов.

Шестова сделала шутовской поклон и сошла с эстрады.

Морозов смущенно мял в руках сторублевку.

— Пусть товарищ начальник не обращает внимания, это от озорства. Денег девать им некуда,— наклонился к нему почтительно Андрей Савельевич.

— А ведь, по существу, она права,— поднял на него строгие глаза Морозов.— Почему ей не дали почетной грамоты? При следующем премировании надо дать.

Впрочем, он скоро забыл о строптивой ударнице.

Как-то неделю спустя, объявив войну антисанитарному состоянию рабочих жилищ, Морозов вместе с участковым врачом обходил бараки. В одном из бараков, фанерными перегородками и ситцевыми занавесками переделанном из общего в семейный, на него наскочил десяток взъерошенных баб.

— Просим товарища начальника! С комендантом никакого толку не добьемся...

— Сам путается с этой лахудрой!

— Подожди, Петрова, подожди! Я товарищу начальнику по порядку все расскажу.

— Успокойтесь, гражданки,— защищался Морозов.— В чем дело? Пусть одна говорит.

— Второй месяц добиваемся выселить из нашего барака эту суку. Тут барак семейный, не годится такой срам разводить. А комендант сам с нею путается и говорит: не имею права, меня, говорит, это не касается.

— Не по закону это! Раз барак семейный, значит, незамужним шлюхам тут жить не полагается. И никакого акта о выселении не надо. За космы — и вон!

— Подождите, я все еще ничего не понимаю.

В одной из каморок отодвинулась занавеска. У входа показалась Дарья Шестова. Она стояла подбоченясь и, смеясь, смотрела на Морозова:

— Это они про меня. Все уши прожужжат. Давайте лучше я расскажу.

Женщины зашипели хором, как масло на сковороде.

— Мне в ихнем бараке, товарищ начальник, как ударнице дали отдельную каморку. Так они, ведьмы, жить не дают, за мужей своих трясутся. Вдруг со мной который схлестнется. Мужья у них кобели, проходу не дают, веником не отгонишь. Да мне от этого чести мало: посмотрите, товарищ начальник, на них, на красавиц. Ведь мужик, самый плохенький, от таких сбежит. Вот и пристали, как репей к кобыльему хвосту. Думают, если меня здесь не будет, сами за красавиц сойдут.

— Врет, все врет! Сама, шлюха, никому прохода не дает, к каждому мужику липнет.

— Моего сколько раз к себе в каморку затаскивала!

— Был барак как барак, а как въехала сюда лахудра, ни дня, ни ночи,— собачья свадьба. Кобелей от дверей не отгонишь.

— Не кричите, товарищи, прошу всех замолчать! — перебил Морозов.— Во-первых, это не дело администрации. Выберите себе барачный комитет, и пусть он у вас занимается делами внутреннего распорядка. Вот! А во-вторых, товарищ Шестова — лучшая ударница на строительстве, премированная. Отдельная каморка ей полагается. Выселять ее никто не имеет права. Вот! Хотите, договаривайтесь как-нибудь по обоюдному соглашению. Понятно? Мне кажется, если б все женщины, живущие в этом бараке, работали, и работали, как товарищ Шестова, то у вас не было бы времени на кухонные дрязги, и атмосфера в бараке была бы значительно здоровее. Вот!.. Пойдемте, доктор, посмотрим еще седьмой и восьмой бараки.

Морозов, не оглядываясь, пошел к выходу.

— Суке каждый кобель защитник! — крикнул кто-то вдогонку.

Возвращаясь к себе на участок, Морозов думал о Шестовой. Весь инцидент был ему глубоко неприятен.

«А какое мне дело, в конце концов! Что я тут, нравственный наставник, что ли? С кем хочет, с тем и путается».

Два дня спустя, возвращаясь ночью с обхода головного участка, он наскочил на кого-то в темноте. Морозов нажал кнопку карманного фонарика и так же быстро потушил. Это была Шестова.

— Здравствуй, начальник,— заговорила она, надвигаясь на него в темноте.— А я вот сама разыскать тебя хотела. Спасибо сказать.

— За что спасибо? — отодвинулся Морозов, стараясь придать своему голосу возможно сухое и официальное выражение. Вопрос прозвучал преувеличенно резко.

— За то, что в бараке за меня заступился, ведьм этих отчитал. А я ведь из ихнего барака сама вчера в общий переехала. Пусть подавятся своей каморкой. Нужна она мне, как рыбке зонтик. Я ведь им назло не уезжала, а то подумали бы, что на своем настояли.

— Что переехала, это хорошо,— сказал уже мягче Морозов.— Только гонор этот твой бабий ни к чему. Зачем их дразнишь? Девка молодая, на черта тебе чужие мужья сдались...

— Ноне не старое время. Что женатый, что неженатый. На то и свобода!

— Очень уж ты по-своему свободу-то понимаешь.

— Знаю я вашего брата...

— Ты бы вот, вместо того чтобы путаться с кем ни попало, общественной работой занялась,— сухо оборвал Морозов. Выражение «вашего брата» показалось ему неуместным.— Прыти у тебя, видно, много. Примерная ударница, а в общественной работе никакого участия не принимаешь. Не годится.

— Кто общественную работу языком делает, а кто лопатой. Небось, вся общественная работа на то и заведена, чтобы выработку поднять. Ежели я других уговаривать стану, а сама меньшую выработку дам, поди, ты первый недоволен будешь.

— У тебя странные взгляды и на свободу и на общественную работу. Ты бы в политкружок записалась, там бы тебе многое объяснили.

— Была я на политкружке. Два раза пришла, на третий раз политрук, жиденький такой,— стали мы выходить,— говорит мне на ухо: «Ты ко мне на дом заходи, я тебе там все лучше расскажу».— Она засмеялась.— А это я сама знаю. Для этого мне политруков не надо. Для этого и грамоте-то знать необязательно.

— Ну, я пошел, у меня дела,— смущенно заторопился Морозов...

В следующие дни, обходя работы на головном участке, он часто ловил себя на том, что разыскивал глазами среди рабочих женскую бригаду Шестовой, но, встретясь глазами с Дарьей, отворачивался, будто ее не замечает.

Как-то, приехав на головной, Морозов вынужден был поставить в ремонт сломавшуюся машину. Он обещал приехать к двенадцати часам вечера на совещание прорабов третьего участка. Пришлось взять грузовик. Чтобы машина не шла пустой, он распорядился погрузить юрты, предназначенные для городка третьего участка.

На головном Морозов задержался до вечера. Когда он собрался уже ехать, в канцелярию заявилась жена

одного из инженеров третьего участка, приехавшая как раз из Сталинабада, и попросила подвезти ее на машине. Морозов согласился без особого восторга. Он рассчитывал выспаться в дороге, а незнакомой даме приходилось уступить место в кабинке. Так или иначе, отказать было неудобно. Пока они собирались, наступила уже глубокая ночь. Морозов залез на платформу. Шофер возился около радиатора. Тогда неожиданно из темноты вынырнула еще одна женщина и попросила подвезти ее на второй участок. Морозов сразу узнал Шестову. Он пробурчал невнятно, что на грузовике ехать никому не воспрещается, и приказал шоферу трогать.

Машина, подпрыгивая, покатилась в ночь. Морозов хотел постучать шоферу в окошко и сказать, чтобы тот остановился у городка второго участка, но окошко кабинки оказалось завалено кошмами. Он решил, что окликнет шофера, когда будут проезжать городок. Ночь выдалась на редкость темная, безлунная. Платформа на неровной дороге ходила ходуном, надо было изо всех сил держаться за раму. Морозов молчал, стараясь не смотреть в ту сторону, где на тюке кошм чернильным пятном вырисовывался силуэт Шестовой. Он не видел в темноте ее глаз, но лицо ее было повернуто в его сторону.

Внезапно грузовик нырнул радиатором вниз и полетел по отвесному наклону. Это были только «американские горки», но это было, как будто на одну секунду опрокинулся весь мир. Потеряв равновесие, Морозов скатился по дну платформы на ворох кошм, съехавших к стене кабинки, и ощутил под собой горячее, тугое тело. Цепкие руки оплели его шею. В другой край платформы, от внезапного толчка, они покатились уже вместе, и, когда грузовик, на минуту очутившись на гребне ложбинной волны, опять нырнул вниз, Морозов, повинуясь движениям машины, летел уже, не пытаясь задержаться, в гулкую, жаркую муть. Невидимые волны вздымались и падали, укачивая на своей спине пляшущий плот платформы.

Потом пришла большая тишина. Только по неровным толчкам машины и по ветру, свистя, скользящему по лицу, можно было понять, что грузовик продолжает мчаться с прежней скоростью. Они лежали, тяжело дыша, крепко прижавшись друг к другу, и холодный ве-

тер опахивал их горящие лица. Морозов подумал, что случилось непоправимое и что вряд ли был смысл против этого бороться. Он не ощущал ничего, кроме огромного спокойствия и тишины.

Первая заговорила Дарья:

— Что, теперь уже не будешь от меня отбрыкиваться?

Он ответил, не открывая глаз:

— А ты этого очень хотела?

— Хотела. А ты, может, не хотел?

— Нет, и я хотел,— сознался он чистосердечно.

— Ты что, сам живешь? Как тебя звать-то?

— Звать меня Иван. А живу сам.

— И жены у тебя нет, или там, в Москве, осталась?

— Нет.

— И не было?

— Была.

— Ушла, или ты ушел?

— Ушла.

— Разлюбила, значит?

— А тебе интересно?

— Интересно.

— Очевидно, разлюбила. Последние четыре года посылали меня то туда, то сюда, то на Урал, то на Дальний Восток, то на Северный Кавказ... Ждала, ждала, потом написала: так и так, живу с другим. Думаю, оба мы отвыкли друг от друга, и сходиться заново нет смысла.

— Обидно было?

— Обидно.

— Ты мне ее карточку покажешь?

— Что ты! А тебе зачем? Да и нет у меня никакой карточки...

— Врешь! Есть. Жену ты, видно, очень любил. Всегда карточки бережете.

— Брось глупости! И не разговаривай со мной, пожалуйста, во множественном числе.

— Что?

— Говорю, брось со мной эти разговоры: «вы бережете», «ваш брат». Оставь это для других.

— Обижаться нечего. Не буду. А как же так живешь, один, без бабы?

— Без бабы.

— И не путаешься тут ни с кем?

— Ни с кем.
— Врешь?
— Очень мне надо тебя обманывать. Это у тебя под юбкой горит, а у меня работы хватает. Некогда глупостями заниматься.
— А со мной больше встречаться не хочешь? Тоже времени нет?
— Нет, почему не хочу? Хочу.
— Хоть на том спасибо. А где же встречаться-то будем? Ты думай поскорее, а то огни уже видно. Скоро приедем.
— Где встречаться? Да, это сложный вопрос... Приходи ко мне.
— Ты один живешь, без товарищей?
— Один. Только у меня часто по вечерам заседания. Раньше часа ночи никогда свободен не бываю. Ты вот что, прежде чем постучать, кинь всегда камешком во второе окно. Если открою форточку, значит, у меня люди,— нельзя. А если никого нет, прямо выйду и отопру... Что это, никак уже третий участок? Тебе же надо сойти на втором...
— Ничего мне не надо. Нужно же мне было что-нибудь выдумать. Скажи я, что проехаться с тобой хочу, ты бы меня, поди, и не взял... Ты тут долго задержишься?
— Да часа три по меньшей мере.
— Ничего, я где-нибудь покручусь. Когда будешь уезжать, погуди. Только не забудь, а то мне к утренней смене на головной надо. Вот и приехали.
...На обратном пути Морозову пришлось сесть в кабинку. Как назло на этот раз не надо было отвозить никакой дамы. Он попробовал было сказать шоферу, что предпочитает ехать на свежем воздухе, но шофер посмотрел на него удивленно (юрты выгрузили, сидеть на платформе было не на чем, погода собачья), и Морозов, не желая возбуждать ненужных подозрений, махнул рукой и сел рядом с шофером. Он успел шепнуть устроившейся уже на платформе Дарье:
— Ты меня, Дарья, извини. Мне придется ехать в кабинке. Неудобно перед шофером...
...Она стала приходить к нему по ночам, когда не работала ее смена и когда у него не было затяжных ночных заседаний, а ночи такие случались нечасто. Морозова удивляла и трогала ее деликатность. Не бы-

ло случая, чтобы она постучалась в окошко в то время, когда кто-нибудь еще находился в его квартире. Она ждала, притаившись где-то там, за окном, пока не уйдет последний гость и не уляжется тишина. Просыпаясь на рассвете, Морозов не заставал ее уже рядом. С наступлением весны их короткие ночи стали еще короче.

Они говорили мало,— на слова не оставалось времени. Днем, сталкиваясь на участке, они держались как чужие. Не видя ее несколько ночей, Морозов начинал терять обычное спокойствие. Он задумывался не раз над этой странной связью. Если связь их должна была продолжаться, надо было найти какие-то формы, которые разрешили бы им видеться и жить «легально». Но форм таких Морозов не находил. Взять Дарью к себе и начать с ней жить официально? Он подумывал об этом, особенно тогда, когда промежутки между их встречами становились более длительны. Но всякий раз он неизбежно задавал себе вопрос: что он знает о ее жизни в эти промежутки? — и отвечал, что не знает ничего. Дарья на все вопросы отвечала неизменно с каким-то зазорным, злым гонором: «Небось, я тебе не жена. Что хочу, то и делаю». На строительстве Дарья при своей славе ударницы пользовалась как девка очень дурной репутацией. И прораб и десятник в присутствии Морозова отзывались о ней весьма нецензурно. Морозов чувствовал, что краснеет, и именно потому никогда не решался резко осадить развязного прораба. В такие минуты он понимал, что никакое оформление его связи с Дарьей невозможно. Если даже в разговорах десятников было много преувеличенного и незаслуженного, все равно его официальная связь с Дарьей непоправимо пошатнула бы его авторитет среди рабочих. Он решал тогда, что надо подождать окончания строительства, а там, если окажется, что действительно он жить без нее не может, забрать Дарью с собой и начать с ней жить открыто в другом окружении. Всякий раз после хлесткого словечка у него подымалась против нее мутная злоба, и тогда ему казалось, что вовсе он к ней и не привязан и прекрасно сможет без нее обойтись.

Так было и в эти дни. Со времени их последней ночной встречи прошло две недели. Правда, много ночей Морозов провел на участках, и Дарья могла захо-

дить и не заставать его. Но все же три последних ночи он был дома: ждал,— она не пришла. И теперь, мчась с Кларком в его машине по крутым волнам «американских горок», вспомнив ночь на летящем плоту платформы, Морозов уяснил себе, что едет на головной не столько смотреть трассу работ по выемке конгломерата, сколько в смутной надежде встретить там Дарью. Ему захотелось остановить машину, повернуть обратно, но он с облегчением вспомнил, что машина не его, а Кларка, и, успокоенный этой нехитрой отговоркой, откинулся на спинку и закрыл глаза.

Возвращаясь с обхода с головой, полной скрежета дреглейнов, Морозов услышал за собой торопливые шаги. Кто-то схватил его за плечо и потянул за выступ отвала.

— Кто это?

— А ты что, узнавать перестал?

— А, это ты, Дарья! Разве сейчас твоя смена?

— Была б моя смена, я бы тут не торчала. Моя смена в двенадцать. Место, где сегодня моей бригаде работать, посмотреть надо? Вот и пришла пораньше.

— Давно тебя не видел. Почему не заходишь?

— А тебя куда черт носит? Дома не ночуешь. Я к тебе даром с головного на второй бегать не нанималась.

— А ты разве пешком отсюда ходишь?

— Нет, на автомобиле своем езжу. Только шофер у меня в ремонте.

— Ты, серьезно, все это время, и зимой, ходила ко мне пешком? Ведь это же часа три ходьбы.

— А ты не знал?

— Не знал.

— Ну вот, теперь знаешь. Поди, с завтрашнего дня будешь за мной свой автомобиль присылать. Небось не одним наркомам барышень катать дозволено.

— Я думал, ты как-нибудь с оказией на грузовике устраиваешься.

— Когда идет, устраиваюсь. На бочках с бензином не очень-то устроишься!

— Чего ж ты никогда не сказала? Можно это было как-нибудь организовать.

— Разве что пустишь для меня специально автобус с головного на второй, да чтобы только ночью ходил.

— Что ты крысишься? Слова сказать нельзя. Надо будет что-нибудь придумать.

— Ты вот думай о том, какой мне транспорт снарядить, а я буду думать, как воду пустить.

— Брось дурить. А может, вообще не хочешь ко мне приходить? Тогда прямо скажи.

— Не хотела б, не ходила бы!

— Ну, значит, надо тебе переехать жить на второй участок.

— Это как, с бригадой или одна?

— Нет, почему же с бригадой? Одна.

— Ага! А я поняла — с бригадой: работу нам какую-нибудь придумаешь.

— Ничего тут смешного нет. Если тебе так забавно не встречаться со мной целыми неделями, можешь не заходить хоть совсем. Или это у тебя так, для разнообразия: два раза в месяц поспать с начальником.

— Плевать я хотела на твое начальство! Ну и сволочь же ты, Иван! Сколько раз даром, по слякоти, туда и обратно, я протопала. Ты меня даже предупредить не подумал, что на другой участок уедешь...

— Извини меня, Даря.

— Ладно уж!..

— Я же тебе говорю, переезжай на второй.

— Заместо домашней работницы взять меня хочешь? Что ж, это тоже дело. Только я готовить не умею.

— Ты для того меня окликнула, чтобы надо мной поиздеваться?

— Не, сказать тебе хочу: один парень тут, из рабочих, пронюхал, что мы с тобой путаемся.

— Кто ж это такой?

— Бригадир один, Тарелкин, на скале работает. Я до того, как с тобой сойтись, с ним гуляла. Теперь у него на меня зуб. Проследил, куда я это по ночам пропадаю... Ничего, я ему уже пригрозила. Пикнет слово, морду перед всей бригадой набью,— не быть ему после этого бригадиром. Не скажет, побоится. Он может только при случае перед рабочими насмех тебя поднять, так ты язык за зубами не держи. Напомни ему,

если что, как это он в прошлом году забастовку устраивал. Сразу с него спесь слетит.

— Что же нам, по-твоему, из-за твоего Тарелкина больше встречаться нельзя?

— Это уж тебе видней. Не хочешь, не будем.

— Хочу. Подожди, надо только придумать — как.

— Ничего ты не придумаешь. Очень, видно, на выдумку тяжел. Ладно! Только, чтобы мне даром не бегать, давай мне знак какой-нибудь. Если знаешь, что ночью будешь дома, и хочешь, чтобы я пришла,— ходи днем на работах в тюбетейке. А знаешь, что будешь занят, либо тебе не до меня,— надевай свою белую фуражку. Запомнишь? Ну, мне некогда, скоро смена.

Она исчезла в темноте. Захрустела осыпающаяся галька.

Поздно вечером, запершись у себя в комнате, Комаренко включил радио. С момента получения из Москвы многоголосого ящика уполномоченный перестал даже играть в пинг-понг и, возвращаясь с работы, целыми часами просиживал за приемником. Уступая категорическим возражениям жены, просыпавшейся каждые полчаса от оглушительного свиста и грохота, Комаренко занавесил дверь одеялом, но упражнений своих не прекратил. Он никогда особенно не любил музыки и, поймав очередную станцию, не дослушивал до конца ни одной передачи. Его увлекал сам процесс нащупывания в пространстве поющих и гремящих волн. Под нажимом пальцев, вращающих регулятор, аппарат кашлял, стрелял, пиликал, где-то — тютютютютю-тютю — по беспроволочным линиям бежали таинственные, нерасшифрованные радиограммы, земля вращалась со свистом, послушная мановению пальцев, и каждая ее параллель, натянутая, как струна, пела на своем непонятном языке.

Комаренко повернул гофрированную кнопку. Опять в комнате протяжно засвистел планетарный ветер, донося разрозненные обрывки звуков. Звуки сгущались, росли, пока не перешли в хриплые раскаты косноязычной английской речи. Комаренко уловил слово Калькутта. Грохнул дребезжащий джаз. На осколках глиняных барабанных звуков, как кот на черепице, раз-

дирающе замяукала труба, пронзительной жалобой затосковала гавайская гитара, и, стуча по паркету деревянными башмачками, разбежались врассыпную перепуганные трещотки.

Шелохнулось одеяло на дверях. В комнату вошел Мухтаров и, огорошенный, остановился на пороге.

— Заходи, заходи! — заглушая визг радио, прокричал Комаренко.— Поймал Калькутту! Слышишь, как мяукают? Это англичане жалуются, что дела у них плохи. Подожди, я тебе сейчас поймаю Пешевар.

— Погоди, потом поймаешь. Дело у меня к тебе есть.

Комаренко выключил приемник.

— Что нового?

— Насчет «Красного Октября» поговорить с тобой хотел.

— Всегда готов,—как говорят наши товарищи пионеры.

— Вот какое дело. Они там скоро начинают сев, кончат на днях вторую вспашку. И оказывается, тридцать га лучшей земли, пригодной под египетский хлопок, правление отвело под пшеницу, а хлопок собирается сеять на земле, заведомо непригодной...

— Что и требовалось доказать.

— Что?

— Говорю: что и требовалось доказать. Помнишь, я тебя предостерегал насчет этого колхоза еще месяц тому назад?

— Да, ты оказался прав.

— Ничего, не расклеивайся, все к лучшему. Ну и что, все колхозники об этом знают и молчат?

— Многие не знают. План, представленный правлением, общее собрание утвердило. Но собрание, как и в тот раз, созвали нарочно в такое время, когда большинство колхозников не могло на нем присутствовать. Так или иначе, план формально утвержден. Чтобы обеспечить себе поддержку колхозников, правление распускает слухи, что не позже августа месяца будет новая война. Вот и говорят: посеете хлопок на хорошей земле, с голоду подохнете. Раз война, значит, никакого подвоза хлеба не будет. Надо самим позаботиться о том, чтобы кишлак до будущей весны обеспечить своим хлебом. Ну, а большинство дехкан — народ темный, к тому же не вполне устойчивый,— серед-

няки. Одурачить их нетрудно. Самое интересное, отгадай, кто все это дело раскрыл?

— Рахимшах Олимов?

— А ты откуда знаешь?

— Я? Да я так, по другой линии знаю...

— Олимов тебе говорил?

— Нет, не Олимов. Один дехканин говорил. Какая тебе разница?

— Чего ж ты мне об этом не сказал?

— А я сам узнал только сегодня.

— И что ты об этом думаешь? Помнишь Рахимшаха Олимова? Первый председатель колхоза, тот, что европейские плуги для парада держал, а пахал омачами.

— Ну, и что ж тут удивительного? С тех пор два года прошло. Если б у нас дехкане не росли, на что бы тогда сдалась советская власть? Ты мне вот что скажи: какие указания ты дал Олимову?

— Пока никаких. Приказал ему вести индивидуальную разъяснительную работу среди колхозников и добиться пересмотра плана без вмешательства района.

— Правильно. И никаких других мер, пожалуйста, пока не принимай. Иначе все дело испортишь. В крайнем случае, если им не удастся добиться пересмотра плана, пусть орудуют так, чтобы эти тридцать га начали сеять в последнюю очередь. Сначала, мол, надо хлопок, а то перед районом неудобно, а хлеб успеем потом.

— Я ему приблизительно так и сказал.

— Правильно. Теперь так: в колхозе создается здоровая ячейка из советски настроенных дехкан — Рахимшах Олимов, Хаким-неудачник, вдова Зумрат, Мансур Насыров, еще пять-шесть человек менее сознательных. Это вполне закономерный процесс. Обрати на это внимание. Всю разъяснительную работу в колхозе нужно, естественно, проводить через них. Рекомендую тебе особенно вдову Зумрат,— очень толковая женщина.

— Знаешь, за этот колхоз мне прямо в морду самому себе плюнуть хочется.

— Ничего, бывает. Ты не горюй. Помаленьку почистим. Актив вот растет, это главное. У тебя, брат, на этих тридцати гектарах целая коммунистическая ячейка вырастет, а ты еще в обиде. Ну, садись, давай ловить Пешевар...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

По узкому кавальеру над зияющим ущельем магистрального канала продвигалась гуськом небольшая группа людей. Впереди, перепрыгивая с камня на камень, шел Морозов в расстегнутой мокрой от пота рубахе. За ним, напрасно пытаясь уловить ломаный ритм его прыжков, почти бежал запыхавшийся человек в синем гасконском берете в сопровождении Кларка и Андрея Савельевича. Человек в берете был иностранный писатель, молодой член зарубежной коммунистической партии, приехавший на строительство по заданию крупной левобуржуазной газеты. Иностранный писатель пробыл в СССР уже шесть месяцев, видел немало строительств и неплохо говорил по-русски. Все эти месяцы он жил в состоянии какого-то неослабевающего напряженного восторга. Все, что он видел, было настолько грандиозно, что передать это способны были лишь слова благородного пафоса.

Накануне своего приезда в Таджикистан писатель получил письмо от редактора пославшей его газеты. В письме в чрезвычайно любезных выражениях сообщалось, что его корреспонденции, при свойственном ему блестящем стиле, рисуют жизнь Советской России в слишком пристрастных красках. Редактор предлагал писателю взглянуть на реализацию «великого русского эксперимента» более объективными глазами. В противном случае, несмотря на все уважение к его яркому и столь оригинальному таланту, редакция будет вынуждена, к своему большому огорчению, отказаться от его корреспонденций, желая удовлетворить запросы читателей, требующих о новой России информации, абсолютно объективной и беспристрастной.

Писатель был немало озабочен. Ему не хотелось потерять большую и ответственную трибуну. Он не мог объяснить этим людям, что о здешних, пропитанных страстью, днях нельзя писать беспристрастно. Он решил уделять больше внимания недостаткам, но, приехав на новое строительство, забыл о своем решении. Его увлекла эта страна у заповедных ворот Индостана — страна, где среди хлопковых равнин ему показывали древние курганы, насыпанные рукою хромого Тимура, где пересекающие плато симметрические овраги оказывались следами древней, тысячи лет тому

назад сооруженной оросительной системы. Его воображению рисовались полчища полуголых рабов, согнанных в эту пустыню волей безыменного хана выгребать самодельным кетменем в заскорузлой земле овраг длиною в десятки километров, тащить на спине на высокие отвалы огромные кули породы.

Он видел сегодня в этом месте новый канал головокружительной глубины, осуществляемый во всеоружии новейшей техники людьми, единственно свободными в мире. В голове писателя зарождались десятки сравнений и исторических параллелей. Над ним, с птичьим верещанием лебедок, кружили нагруженные ковши экскаваторов. Перед ним по гладкому подъему конвейера карабкались вверх без помощи человека глыбы взорванной породы. Писатель остановился у конвейера и посмотрел вниз. Транспортер напоминал движущийся подъемный тротуар в Галери Лафайет. Где-то позади, по наклону, с грохотом пролетел бремсберг.

Морозов с деловитой точностью, указывая иностранцу на механизмы, называл тут же их проектную кубатуру, отдельные рекордные показатели, достигнутые на строительстве в результате социалистического соревнования. Писатель торопливо записывал в блокнот. Морозов не заглядывал в записки иностранца, а если бы заглянул, наверное, удивился бы. Наряду с разрозненными цифрами он нашел бы там длинный, беспорядочный список технических терминов: шандоры, флюдбед, дреглейн, бункер, берма, думпкар. Иностранный писатель осваивал технику через освоение непонятных металлических слов.

У себя на родине техникой он никогда специально не занимался. Он видел Эйфелеву башню, в торговых портах ему случалось созерцать грузоподъемные краны, с компанией туристов он посетил заводы Форда и Ситроена. Он воспринимал машину как декоративный элемент, как элемент стиля «нашей эпохи» , открытый современникам полотнами Леже и Делонэ. В ежедневной практике он ощущал технику как рычаг современного комфорта. Попав в эту страну, он впервые увидел, что техника из «элемента стиля», из «рычага комфорта» может стать еще орудием раскрепощения человека. И когда страна раскрепощенных людей в ответ на его пламенное приветствие, полное литературных

метафор, заговорила с ним на языке техники, он не сразу усвоил ее речь.

После трех месяцев пребывания он понимал уже, что нельзя быть поборником построения социализма и воспринимать бетонную арматуру как ручки от зонтиков, говорить о бесклассовом обществе и представлять себе паровой молот в виде изображаемого на знаменах, с приделанным к нему паровым шатуном. Тогда он стал жадно овладевать техникой, загружая память сотнями колючих терминов, ставших в этой стране обиходными, как хлеб и вода, а в его голове превращающихся в сплошной железный гул...

В том месте, где остановился Морозов, глубина канала достигла шестнадцати метров плюс метров двенадцать высоты отвала. На дне неровной скальной расщелины рабочие кирками и ломами крошили взорванные глыбы скалы и, подкатывая их на тачках, сваливали в воронки бункеров.

— Посмотрите сюда,— повернулся к иностранцу Морозов.— Это одна из наших лучших бригад, исключительно из рабочих-персов, бежавших от прелестей своего режима. Чемпионы по выемке скалы. Обосновались в Таджикистане, где каждый дехканин понимает их язык. Вы, наверное, знаете, что таджики и персы говорят на одном и том же языке фарси, разница очень небольшая, преимущественно в произношении. Эти — сами организовались здесь в бригаду и закрепились до конца строительства.

— Персидские эмигранты! — воскликнул писатель.— Как интересно! У вас здесь — настоящий интернационал.

— Да, у нас почти Вавилонская башня. Андрей Савельевич, сколько у нас на строительстве национальностей?

— По подсчету постройкома, шестнадцать.

— Подождите, сейчас проверим: таджики — раз, узбеки — два, казахи — три, киргизы — четыре, русские — пять, украинцы — шесть, лезгины — семь, осетины — восемь, персы — девять, индусы — десять,— да, да, есть и индусы, тоже эмигранты. Афганцы — одиннадцать,— афганцев несколько бригад, здесь и на третьем участке. Двадцать процентов шоферских кадров составляют татары,— это уже двенадцать. В мехмастерских есть немцы и поляки,— это четырнадцать.

Среди инженерно-технического персонала есть грузины, армяне, есть евреи,— это уже семнадцать. Есть два американских инженера, один вот как раз начальник участка,— это восемнадцать. Кого я еще забыл?

— Есть тюрки, товарищ начальник.

— Да, есть тюрки и есть туркмены. Двадцать национальностей. Статистика постройкома никуда не годится. Вот вам, товарищ писатель, маленький наглядный пример того, что социалистическое строительство у нас, на любом республиканском отрезке, производится действительно солидарными усилиями трудящихся всех национальностей...

Внизу, на дне расщелины, у крутой скальной стены, персы размеренными ударами дробили обломки породы. Внезапно в этом месте отклеился кусок стены, и огромный блок бесшумно сполз вниз, накрывая собой людей. Крика не было слышно. Несколько рабочих успело отпрыгнуть и застыло в остолбенении. Из-под отколовшейся плиты, извиваясь, как рыбы, напрасно пытались высвободиться двое людей.

Иностранный писатель смотрел расширенными глазами, не в состоянии сообразить, что именно случилось. Первым заметил происшествие Морозов:

— А, черт! Человека придавило! И не одного...

Он уже бежал по каменистому желобу конвейера, и скользящие из-под ног камни, опережая его, с цоком катились вниз. Кларк и Андрей Савельевич кинулись вслед за ним.

Иностранный писатель остался один на вершине отвала. Он не решался спуститься по головоломной дорожке: съехать на заду с высоты тридцати метров ему вовсе не улыбалось. Он продолжал стоять и, вытягивая шею, бледный, смотрел вниз. Там, внизу, прошла сейчас смерть. Иностранный писатель был на войне, видел немало убитых. Вид смерти не производил на него слишком сильного впечатления. То, чего свидетелем он сейчас оказался, на языке техники называлось — несчастный случай. Он подумал, что, описывая строительство, обязательно нужно будет описать и этот случай. Тогда по крайней мере его не смогут обвинить в недостаточной объективности. Он даже подумал, какими фразами это можно будет лучше всего выразить: «Эта гигантская работа не обходится без жертв. Косная природа защищается от вторжения в ее царство

социализма, как раньше защищалась от вторжения капитализма...» Он ощупал карманы и только сейчас обнаружил, что, прыгая по камням, потерял карандаш.

Внизу уже толпились набежавшие рабочие. Приподнять глыбу, подсунув под нее лом, оказалось не под силу даже двум десяткам человек. Нужно было расколоть ее сначала кирками, а потом уже оттащить по частям. Чтобы удары кирки не отдавали по телам придавленных, глыбу надо было колоть с другого конца, от стены. Отклеившийся блок вырвал у подножия стены глубокую выемку. Нависший над выбоиной выступ мог каждую минуту обвалиться и похоронить спасающих рабочих. Люди остановились в нерешительности.

— Ребята! — кричал Морозов.— Не оставим же их умирать! Скала мягкая, расколется от двух-трех ударов. Не может этого быть, чтобы наш советский рабочий на своих глазах дал погибнуть товарищам.

— А ну, Тарелкин! Чего задумались? Вали! — обратился Андрей Савельевич к подоспевшей на выручку русской бригаде.

— А по-моему,— нарочито громко сказал Тарелкин,— в беде — все одинаковые товарищи. Почему бы начальству не показать примера, как оно стоит за нашего рабочего брата. А то правильно вот говорит товарищ начальник: какой ты мне товарищ, раз рабочему в беде не поможешь?

«Ах, вот это и есть тот самый Тарелкин»,— оглянулся Морозов.

— Ты что тут демагогию разводишь? — окрысился Андрей Савельевич.— Не хочешь помогать, не помогай, тогда и торчать тут нечего. Тоже спектакль нашел!

Морозов был уже у стены и ломом, вырванным из рук крайнего землекопа, с размаху долбил глыбу. После третьего удара глыба дала трещину. Кларк, Андрей Савельевич и еще пяток рабочих из бригады Тарелкина поспешили на подмогу. Не пошевелился один Тарелкин.

Глыбу, разбитую на несколько кусков, дружными усилиями отбросили в сторону, вытащив из-под нее четырех человек. Одному глыба раздробила ногу, другому левое плечо, третьему сломала ключицу и го-

лень. От четвертого осталась сплющенная кровавая масса.

Раненого перса с раздробленной ногой взвалил себе на спину Андрей Савельевич и, спотыкаясь, понес наверх. Второго подхватил Кларк с одним из русских рабочих. Третьего — двое рабочих из бригады Тарелкина. Убитого подняли персы. Таджик из соседней бригады снял новый, еще не обношенный халат и расстелил его на землю. Персы с молчаливой благодарностью положили на него убитого и, заслонив смятое лицо скрещенными рукавами халата, понесли труп к конвейеру. За убитым гурьбой двинулись рабочие. Когда шествие отошло шагов на тридцать, сзади сухо чавкнула скала и подорванный выступ грузно осунулся вниз. Все оглянулись.

— Вишь, скала, и то знает: начальства не тронь! — раздался в общей тишине вызывающий голос Тарелкина.— Ей только нашего рабочего брата дави!

Шествие медленно продвигалось дальше.

— Долго будешь жить, Тарелкин,— отчетливо сказал Морозов, проходя мимо бригадира.

Он был уже у конвейера и, приложив рупором руки ко рту, кричал:

— О-ста-но-вить ра-бо-ту!

Оборвался дребезжащий лязг тачек. Последние куски породы ползли вверх. За обломками скалы поползла пустая лента.

— Остановить!

Транспортер остановился. Шествие с убитым подошло к конвейеру.

— Положите убитого на транспортер! — приказал Морозов.

Рабочие бережно уложили на широкую ленту размозженное тело в новом халате со скрещенными на лице рукавами. Казалось, что убитый заслоняет руками изуродованное лицо.

— Трогай!

Лента конвейера медленно потекла. Труп в пестром халате величественно и плавно поплыл вверх по отлогому скату кавальера. На восемнадцати экскаваторах протяжно загудели гудки. И вдруг, словно по данному знаку, восемнадцать экскаваторных стрел с пустыми ковшами взметнулись вверх и застыли, как в военном

салюте. Труп в ярком халате медленно въезжал на вершину...

Выбравшись из канала, Морозов на гребне столкнулся с бегущим навстречу иностранным писателем.

— Изумительно! Изумительно! — повторял писатель. Глаза его горели.

— Что изумительно? — Морозов смотрел непонимающими глазами на человека в синем берете.

— Изумительно! Эти похороны! Как это величественно! Так не хоронили никогда даже генералов Великой французской революции.

— А-а... — буркнул Морозов. Он только сейчас вспомнил о существовании надоедливого гостя.— Извините.— Он повернулся к Кларку:— Товарищ Кларк, прикажите немедлено прекратить работы на всем отрезке до восьмого пикета и вывести рабочих из траншеи.

Кларк вопросительно наклонил голову:

— Что вы хотите сказать? Я вас не совсем понимаю. Прекращаем работы?.. На как долго?

— Пока не выберем берегов до наклона 60 градусов.

— Товарищ Морозов, вы не знаете, что это значит. Это меньшей мерой тридцати тысяч лишних кубометров скалы. Это откладывает на месяц окончание строительства.

— А что же, по-вашему, лучше гробить рабочих?

— Это есть первый случай.

— Вы знаете сами, что эта паршивая скала раскалывается пластами, как глина. Осталось выбрать еще три метра глубины. Если сейчас имеем первый случай, то глубже будем иметь их больше.

— Да, но наш наклон берега, как он есть, значительно больше проектного. И потом, ни одна большая работа никогда не обходится без фатальных случаев...

— У нас должна обходиться. Пожалуйста, дайте распоряжение. Вечером, часов в семь, приезжайте ко мне на совещание.

Кларк склонил голову и отошел.

— Значит, если я хорошо понял, вы решаете увеличить объем работ на тридцать тысяч кубометров? — спросил Морозова иностранный писатель.

— Приблизительно.

— И все это для того, чтобы избежать несчастных случаев с рабочими?

— А что же в этом удивительного?

— Видите, у меня на родине предприниматель предпочитает умерщвлять ежегодно триста рабочих, чем израсходовать лишние тридцать тысяч на оборудование.

— Да, но это у вас. Чего же вы смеетесь?

— Я совсем не смеюсь. Перед моим приездом сюда я получил письмо от редактора газеты. Он пишет, что будет вынужден отказаться от моих корреспонденций, так как они слишком пристрастны. Увидев сегодня этот несчастный случай, я решил упомянуть о нем в следующей корреспонденции, чтобы показать, что отмечаю не одни только положительные черты. Если я теперь обо всем этом напишу, вы думаете, они поверят, что это объективно?

— А вы сообщите им, что мы опоздаем со строительством, они обрадуются,— злобно усмехнулся Морозов.— И напишите своему редактору, что пристрастие не только у вас: они допрашивают с пристрастием наших товарищей, мы с пристрастием работаем, а в результате получается объективный факт — революция. До свиданья! Мне нужно еще отдать кое-какие распоряжения.

Три часа спустя в канцелярию к Кларку явилась группа рабочих.

— Чего хотели? — ощетинился Андрей Савельевич, завидев их на пороге.— Раз уж Тарелкин и Кузнецов тут, значит, без бузы не обойтись. Чего приспичило?

— Мы к товарищу начальнику,— выступая вперед, указал на Кларка Тарелкин.— Делегация.

— Какая еще делегация? Есть у вас свой рабочком и — никаких делегаций! Хоть сегодня бузить постыдились бы!

— Подождите, Андрей Савельевич,— поднялся Кларк, объяснявший иностранному писателю схему головного сооружения.— Они могут иметь какое предложение. Не надо тормозить рабочий инициатив.

— Предложение!—недовольно пробурчал уязвленный прораб.— У них одно предложение: как бы выработки поменьше, а заработки побольше.

— Я вас слушаю, товарищи.

— Да вот, сказали нам, будто работы на скале прекращаются,— берега, что ли, будут расширять, чтобы положе были, по случаю сегодняшнего обвала. Говорят, из-за этого строительство на месяц запоздает. Правда это?

— Да, это так,— подтвердил Кларк.

— Так вот, мы пришли заявить насчет того, что согласны работать добровольцами как есть, чтобы без расширений, и никаких неприятностей от этого администрации не будет. Раз добровольцы, значит по собственному соглашению.

— Администрация вряд ли будет принимать ваше предложение,— строго сказал Кларк. Он был взволнован неожиданным заявлением рабочих и боялся, что его голос дрогнет и выдаст волнение.

— Почему не будет принимать? — удивился Тарелкин.— Кто не хочет, пусть не работает. Подберем пять-шесть бригад из одних добровольцев. Больше не надо. Могут и подписку дать, что по собственному желанию.

— Хорошо, я буду передавать ваше предложение начальнику строительства. Но я повторяю, администрация вряд ли будет соглашаться рисковать вашу жизнь.

— Пусть уж администрация так шибко о нас не беспокоится,— выступил вперед Кузнецов.— Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Сами кричат, и на собраниях, и в газете, мол, строительство — это фронт. А раз фронт, значит, надо по-фронтовому. Ежели на фронте случится опасное дело вроде разведки или вылазки, значит, кто охотник, тот идет. А неохота — оставайся, не принуждаем. Так и тут. Раз хотят ребята работать добровольцами,— значит, их дело, и администрация тут ни при чем.

— Хорошо, я сегодня буду передавать ваше заявление начальнику.

Рабочие заторопились к выходу.

— Товарищи,— поднялся иностранный писатель,— разрешите мне пожать вам руки.

— Чего? — удивленно уставились на человека в берете Тарелкин и Кузнецов.

— Я говорю, разрешите мне пожать ваши руки. Я тронут вашим геройством, достойным Страны социализма.

Тарелкин и Кузнецов переглянулись.

— Вы что, из газеты будете? — осторожно спросил Тарелкин.

— Я писатель.

— Да, писать в газетах вы мастера! — понимающе поддакнул Тарелкин,— а когда до дела дойдет, тогда ваших нет. Ты вот скажи им лучше, администрации-то, чтобы дуру не валяла. А то, только и знай, кричат: то мало вырабатываешь, то плохо работаешь, а хотят люди работать — не дают.

Они осторожно пожали руку иностранцу, поправили козырьки кепок и исчезли за дверьми.

...Передав иностранного писателя одному из инженеров, Кларк отправился разыскивать Морозова. Он застал его на головном сооружении, проверяющим качество бетона. Кларку не хотелось говорить при бетонщиках, он отозвал Морозова в сторону. Они спустились на перемычку и присели на каменном барьере у фонаря. Кларк вкратце изложил предложения рабочей делегации. Морозов слушал не перебивая.

— Вы кончили?

— Да.

— Так вот, все это — ненужное фанфаронство. Никаким добровольцам работать в условиях, опасных для жизни, мы не позволим. И пусть они бросят заниматься агитацией. Ко мне приходили уже ваши персы и заявили: раз русские пойдут работать добровольцами, мы тоже встанем на работу. Скажите делегатам, если они хотят показать свое геройство, пусть его покажут без форса, в нормальных условиях, повышая норму выработки.

Кларк покраснел.

— Товарищ Морозов, вы есть начальник, решение остается с вами. Но позвольте мне оставить за собой особое мнение. Я думаю, то, что вы делаете, не есть правильно. Рабочие хотят ускорять окончание строительства, а вы не хотите допускать. Это есть тормозить рабочий энтузиазм. Это есть затирать рабочий инициатив. Это есть оппортунизм.

Морозов прищурил глаза.

— А стоять в стороне и смотреть, как рабочие убиваются, это, по-вашему, как называется?

— Я не стоять в стороне,— покраснел еще гуще Кларк.— Я приходил сказать, что инженерный персонал не должны отставать от рабочих и что я лично все время работ буду с рабочими в траншее.

Морозов поднялся.

— Извините меня, товарищ Кларк, я незаслуженно вас обидел. Я никогда не сомневался ни в вашей честности, ни в вашей отваге, ни в вашей глубокой преданности делу строительства. То, что вы предлагаете, очень трогательно и очень благородно. Особенно трогательно это услышать из уст иностранного инженера. Только, несмотря на все мое уважение к вам и к вашему поступку, как начальник строительства и ваш непосредственный начальник, я не разрешу вам привести его в исполнение. Вы только что назвали меня оппортунистом, и я на вас не обиделся. Думаю, и вы на меня не обидитесь. Я рад, что вы так быстро усвоили нашу политическую терминологию, но, мне кажется, вы не совсем еще овладели ее содержанием. Рабочая инициатива — прекрасная вещь, но на то и существует авангард рабочего класса — партия, и на то партия поставила нас у руководства страной и строительством, чтобы мы направляли эту инициативу в надлежащее русло. Оппортунизм, дорогой товарищ Кларк,— это линия наименьшего сопротивления. Часто оппортунистом является не тот, кто отказывается возглавить неверно направленную рабочую инициативу и старается перевести ее на правильные рельсы, а именно тот, кто идет на поводу у такой инициативы, потому что подчиняться ей в данную минуту легче и выгоднее, чем ее направить.

— Вы меня не убедили. Ваша партия верно говорит, что строительство — это есть фронт. Командир на фронте никогда не останавливается перед потерей несколько человек, чтоб ускорять победу. Вы есть враги и насмешники гуманизма, а сами поступаете как гуманист.

— Ваша параллель — неудачна. Плохой командир бросается своими красноармейцами, если может обойтись без потерь. Рабочая и крестьянская кровь, товарищ Кларк, это дорогая кровь. Когда будет в этом необходимость,— а она не за горами,— каждый из нас сумеет погибнуть просто и без лишних слов. Разбазаривать рабочую кровь тогда, когда в этом нет жесто-

кой необходимости,— это преступление. Давайте будем считать эту тему исчерпанной.

— Это есть ваше право. Я оставляю за собой свое мнение...

Зайдя в канцелярию прораба, Морозов с ужасом убедился, что уже четыре часа. Вчера он назначил ровно на четыре выезд комиссии к горе Ката-Таг. Гора находилась на границе второго и третьего участков. Он велел срочно разыскать иностранного писателя — надо было его приютить у себя и накормить обедом,— и приказал шоферу гнать кратчайшей дорогой на Ката-Таг.

— Вы не очень проголодались? — обратился он к писателю.— Могу вас по дороге подбросить в столовую.

— О нет! Пообедаю потом, вместе с вами.

— Вместе с нами — это не всегда удобно: мы иногда обедаем поздно вечером. Но если вы действительно не очень голодны, вам интересно побывать на заседании нашей комиссии по разрешению проблемы Ката-Таг. Водхоз направил к нам из Ташкента для консультации по этой проблеме видного итальянского специалиста, консультировавшего уже одно из наших среднеазиатских ирригационных строительств. Вы увидите нашего прораба по консольному перепаду, американского инженера Мурри и таджикского инженера Уртабаева. Комиссия получается почти интернациональная.

— А что это за проблема Ката-Таг? Или это вопрос настолько специальный, что такой профан, как я, все равно ничего не поймет?

— Нет, чего ж тут непонятного! Магистральный канал на своем пути, на сто девяносто пятом пикете, натыкается на гору высотою метров в пятьсот. Трасса проведена так, что канал срезает как раз мыс горы. Профиль местности на этом отрезке резко понижается. Канал идет частично в насыпных дамбах, от шести до двенадцати метров выше уровня долины. У самой горы Ката-Таг, где местность понижается еще больше, разница между уровнем канала и долины достигает двадцати пяти метров. Одним словом, с левой стороны канал имеет естественную насыпь — это гора Ката-Таг со срезанным мысом, а с правой — от лежащих внизу полей его отделяет насыпная дамба высотою метров

в тридцать. Все это вы увидите на месте, тогда картина станет сразу более ясной.

— Нет, я понимаю.

— Так вот, проблема Ката-Таг — это проблема грунта. Для того, чтобы вода не просачивалась и не размывала насыпной дамбы, нужен устойчивый грунт. Между тем как раз в этом месте мы имеем серозем. По-местному это называется «могильный пепел». Цветом и своей сыпучестью он действительно напоминает пепел. Кстати, я забыл вам сказать, что сама гора Ката-Таг считается у населения священной горой.

— Да? Это интересно!

— На ее вершине помещается небольшое кладбище — мазар, где покоится с незапамятных времен прах каких-то мусульманских праведников. Между прочим, не имею понятия, каким образом в те времена верующие втаскивали туда своих покойничков. Гора настолько крута, что вскарабкаться на нее очень трудно... Одним словом, мусульманское население, как полагается, считает, что праведники втащены туда и похоронены самим богом или по меньшей мере его пророком. Существует поверье, что только человеку, отмеченному особой милостью господней, дано добраться до вершины. Поскольку вход трудный и бог не любит горделивых,— из населения мало кто пробовал туда взбираться. Зато влезли один наш инженер и два техника,— у нас народ, как вам известно, любопытный. Два слезли целы и невредимы, а третий поскользнулся и сломал ногу. Конечно, муллы широко использовали этот случай для своей агитации. Для нас легенды, связанные с этой горой, как вы сами понимаете, имеют не столько фольклорное, сколько политическое значение. Для проведения канала нам пришлось разворочать святую горку, отрезать у нее нос. Геологическая структура горы весьма ненадежна. Серозем легко вымывается водой. Представьте себе, что мы пустим воду, вода начнет подмывать гору, и в один прекрасный день или ночь гора сядет и засыплет нам канал. Вода хлынет поверх дамб, затопит в три счета окрестность и разрушит всю мелкую оросительную сеть. У нас в этом месте — несколько колхозов из переселенцев. Не говоря о колоссальных убытках, о гибели посевов,— вы представляете, какая это пища для байской агитации?

— Да, это действительно проблема!

— Вот над разрешением этой проблемы мы и бьемся сейчас. Когда производили здесь геологические изыскания и намечали трассу, водхозные разведчики, по глупости или по злой воле, не отметили опасности этого места. По правде говоря, трассы в другом месте провести было нельзя. Натолкнулись мы на это дело только при прокопке канала, за два месяца до пуска воды. Менять что-либо теперь — поздно. Весь канал уже прорыт. Нужно принять какие-то меры, которые предохранили бы нас от неприятных сюрпризов... Осторожно! Вы очень ушиблись?

— Нет, ничего. Немножко голову.

— Не привыкли еще к нашим дорогам. Тут вообще разговаривать в машине не рекомендуется, можно прикусить язык. Я настолько привык к этой тряске, что сплю в машине как убитый.

— Но-о, спать, положим, в таком перманентно прыгающем состоянии довольно трудно.

— Уверяю вас. Дело привычки. Вот мы, кажется, и приехали.

У подножия высокой дамбы стояли в ряд четыре легковых машины. Вскарабкавшись на дамбу, Морозов и иностранный писатель увидели внизу у экскаватора живописную группу: Кирш, Мурри, Полозова, Уртабаев, итальянец, какой-то отутюженный юноша в модных носках, Рюмин и собака. Загоревшего итальянца в пестрой базарной тюбетейке иностранный писатель по неопытности, с места в карьер, принял за таджика, а спокойно, по-европейски одетого Уртабаева — за итальянца. Бритого и аккуратного Кирша он сразу было принял за американца, но стандартная трубка Мурри заставила его усомниться. Один Рюмин со своим недвусмысленно рязанским лицом не вызывал никаких сомнений.

— Вот это и есть тот самый Ката-Таг, а вот вам и могильный пепел, будь он трижды проклят! — Морозов зачерпнул горсть серого грунта и протянул писателю.

Они были уже у экскаватора и, после взаимных представлений, неприятно поколебавших в писателе веру в его способности определять людей с первого взгляда, двинулись вдоль канала.

Осмотр места длился недолго. Все, кроме итальянца и иностранного писателя, знали это место наизусть. Итальянец с многозначительным видом растирал в пальцах серозем, пробовал на язык, достал из кармана какой-то флакончик (вероятнее всего, с одеколоном) и, покапав на ладонь, размазал на ней щепотку могильного пепла. Получилась обычная грязь. Итальянец опрятно вытер руки шелковым платочком, посмотрел вверх, на гору, потом вниз, на вырытый канал, и сказал через переводчика, что все для него ясно и задерживаться здесь не имеет смысла. Все полезли обратно на дамбу и спустились вниз.

В полотняной палатке, разбитой шагах в пятистах, два мрачных раскулаченных осетина подали мороженое на настоящих десертных тарелках с лозунгом: «Общественное питание — путь к новому быту». Подкачали только ложки—большие и бесстыдно жестяные.

Морозов с самодовольным видом человека, утеревшего нос всем заграницам, подвинул тарелку иностранному писателю.

Итальянец достал из кармана футляр со складной серебряной вилкой, ножом и ложкой и в сосредоточенном молчании съел две порции, свою и Уртабаева. Затем, спрятав футляр в карман, вынул другой футляр, достал сигару и, помяв ее в пальцах, с таким же внимательным выражением, с каким минуту тому назад мял зловредный могильный пепел, воткнул ее тупым концом в рот. Переводчик почтительно щелкнул зажигалкой. Мрачные осетины угрюмо убирали посуду.

Подождав еще минуту, Морозов открыл обмен мнений, учтиво предоставляя первое слово итальянцу.

— Синьор Кавальканти говорит,— напевно изложил переводчик,— что пускать воду по такому грунту нельзя. Единственный выход, который он может предложить, это бетонировать все русло канала на опасном отрезке. Толстые бетонные берега предохранят, с одной стороны, от возможного размыва, с другой — укрепят подошву горы и предотвратят ее оползание.

Морозов быстро прикинул в уме: два километра, две тысячи тонн бетона, шестьсот тысяч рублей, шесть месяцев работы...

— Синьор Кавальканти считает, что это единственно реальный выход.

Категорический синьор сидел с равнодушным лицом хирурга, поставившего безапелляционный диагноз и согласного ждать ровно пять минут: решится пациент на операцию или не решится.

В палатке стояла тишина. Иностранный писатель, хлопая веками, переводил глаза то на Морозова, то на Кирша, пытаясь угадать по выражению их лиц, хорошо ли то, что предлагает итальянец, или плохо. Но лица Морозова и Кирша не выражали ровно ничего.

— Каково ваше мнение, мистер Мурри? — обратился Морозов к американцу.

— Мистер Мурри говорит,— перевела Полозова,— что он не может согласиться с мнением итальянского коллеги. Мистер Мурри считает иллюзией надежду на то, что бетонный берег предотвратит оползание горы. При тех постоянных просадках грунта, которые мы здесь имеем на каждом шагу, бетонное русло неизбежно даст трещины, и вода просочится в подошву горы. Гора неуклонно начнет оползать, и бороться с этим оползанием будет тогда еще труднее, так как при наличии бетонного русла нельзя будет для его расчистки применить экскаваторы. Само русло при просадках здешней почвы выдержит максимум до зимних дождей.

— Что же предлагает мистер Мурри?

— Мистер Мурри считает, что единственно реальный выход — оставить гору в покое и провести канал над всей низиной железобетонным акведуком. Помимо того, что это даст нам возможность обойти ненадежную гору, это одновременно устранит опасность размыва дамб и прорыва воды в низину, а такой размыв при нормальном канале, в больших или меньших размерах, всегда будет неизбежен.

«Месяцев одиннадцать работ и миллиона два расхода»,— лаконически прикинул Морозов.

Иностранный писатель вытаращил глаза. При всей своей технической малограмотности он понимал, что железобетонного акведука, даже в этой стране чудес, в месяц построить нельзя. В воздухе запахло катастрофой.

— Так... Кто из товарищей хочет слова? — невозмутимо продолжал Морозов.

— Разрешите мне,— отозвался со своего места Уртабаев.

— Пожалуйста.

— Я вполне согласен с той оценкой, которую дает господин Мурри проекту бетонного русла. Для всякого, кто хоть сколько-нибудь знает наши грунты, ясно, что от бетонного русла останется к следующей весне одно воспоминание. Не зря же мы строим здесь целый ряд сооружений — водосбросов и распределителей — временного типа, деревянных, чтобы только потом, когда грунт освоит воду и минует опасность значительных просадок, заменить их бетонными. Но я удивляюсь, что господин Мурри, учитывая эти свойства нашей почвы, не принял их во внимание по отношению к своему проекту акведука. Ведь просадки-то будут так или иначе. Надо учитывать влияние зимних дождей. Акведук не висит в воздухе, а тоже опирается о землю. Железные столбы, на которых он будет покоиться, тоже будут подвержены просадке. А что это значит? Это значит, что при более значительной просадке может подвергнуться разрушению акведук, и тогда уж вода затопит всю низину, тогда уже не будет никакого спасения. Мне кажется поэтому, что проект господина Мурри, самый дорогой и требующий огромного количества времени, не дает взамен никакой гарантии безопасности. Наоборот, я бы сказал, что это для наших грунтов самый опасный из вариантов.

— Что же вы предлагаете, товарищ Уртабаев?

— Мне кажется, все мы сильно преувеличиваем опасность нашего серозема. Конечно, вода через него просачиваться будет, но размеры этих прорывов вряд ли будут такие катастрофические, как это некоторым сейчас кажется. Я бы хотел сказать два слова о происхождении этого самого серозема. Я специально интересовался этим вопросом и порылся немного в здешней почве. Я пришел к выводу, что предположение, якобы серозем был специальной привилегией Ката-Тага, неверно. Полоса серозема тянется через все плато: правда, это довольно узкая полоса, и поэтому в других местах мы на нее не натолкнулись. А натолкнулись именно здесь, так как именно здесь русло нашего канала совпадает с руслом древнего оросительного канала, следы которого местами сохранились совершенно отчетливо. Если проследить трассу этого древнего канала, то легко убедиться, что она идет,

с большими или меньшими отклонениями, в том же направлении, что и наш нынешний канал. Мы опередили наших древних предков на точность инструмента. У горы Ката-Таг оба русла совпадают. И неудивительно,— это единственно возможная трасса: правее — низина, левее — гора. Так вот, везде, где бы вы ни раскопали русло древнего канала, вы найдете этот самый серозем. Если хотите, проедем к нескольким точкам, где мы с товарищем Рюминым как раз в последние дни из любопытства немного поковыряли почву. На разной глубине, приблизительно там, где проходило когда-то дно канала, вы найдете толстый слой серозема. Что это доказывает? Мне кажется, это может доказывать только одно: серозем есть не что иное, как древний ил, покрывавший дно и скреплявший берега старого канала. Придя к этому выводу, я, естественно, заключил, что в данном месте, у Ката-Тага, как и во всех других, серозем проходит узкой полосой. Попав в трассу древнего канала, мы, очевидно, как раз натолкнулись на эту полосу. Мы с товарищем Рюминым рыли гору Ката-Таг в нескольких местах в сторону от трассы и серозема в ней не обнаружили. Следствия, я думаю, для каждого ясны. Если даже серозем окажется грунтом, сильно подверженным размыву, то все равно зона его очень ограничена. Мы можем считаться с обвалами грунта толщиной до двух-трех метров. Этого, конечно, достаточно, чтобы запрудить канал, но это легко поправимо при наличии хотя бы одного экскаватора. Я кончил.

— Кто еще хочет слова?

— Можно мне?

— Говорите, товарищ Рюмин.

— Я хотел бы только прибавить к тому, что говорил товарищ Уртабаев, два-три замечания насчет насыпных дамб. Конечно, из одного серозема дамб сыпать нельзя. Но кто же нам мешает глинизировать дамбы и вообще укрепить их более устойчивым грунтом, которого поблизости, здесь же, на участке, имеется достаточное количество. Подвоз этого грунта по сравнению с затратами, связанными с другими предлагаемыми здесь вариантами, не будет представлять больших затруднений. Во всем, что касается серозема и горы Ката-Таг, я полностью присоединяюсь к мнению товарища Уртабаева.

— Товарищ Кирш?

— Мне остается только подытожить мнение моих предшественников. Выводы товарища Уртабаева мне кажутся вполне убедительными. Предложения инженеров Кавальканти и Мурри имеют три основных недостатка. Они трудоемки и фактически лишали бы нас возможности дать в этом году воду к поливу через магистральный канал. Они дороги. При всей своей дороговизне и трудоемкости они не устраняют опасности прорыва воды в низину, а во втором случае, пожалуй, даже увеличивают эту опасность. Предложение товарищей Уртабаева и Рюмина имеет уже тот колоссальный плюс, что оно не срывает нам сроков нашего строительства, хотя, увеличивая объем работ, очевидно, потребует значительной их интенсификации. С другой стороны, оно относительно не намного удорожит стоимость работ. Я лично целиком за это предложение. Чтобы вполне застраховаться от возможных аварий, необходимо будет закрепить за этим отрезком на первых порах, после пуска воды, может быть, даже не один, а два экскаватора. Что касается дамб, то ввиду возможного их размыва я бы советовал произвести заблаговременную заготовку необходимого материала — камыш, проволока, колья — и уложить его штабелями по линии канала, скажем, через каждые сто метров. Это даст возможность своевременно ликвидировать каждый прорыв.

— Что ж, будем считать наше совещание законченным?

— Можно мне еще слово? — попросил Мурри.

— Инженер Мурри говорит,— перевела Полозова,— что предложение товарищей Уртабаева и Рюмина является фактически предложением сохранить status quo. Инженер Мурри предостерегает администрацию от такого решения и указывает на катастрофические последствия, которые повлечет за собой хотя бы частичное затопление окрестных полей. При общих трудностях, на какие строительство наталкивается по линии обеспечения новых земель достаточным контингентом переселенцев, это может запугать вконец дехкан и вообще затормозить дальнейшее переселение. Таким образом, спешка с окончанием строительства — единственный и решающий аргумент в пользу предложения товарищей Уртабаева и Рюмина — окажется

бесполезной. Земли будут в этом году орошены, но останутся пустовать и не будут освоены из-за отсутствия переселенческих рук. Инженер Мурри просит администрацию принять это во внимание и в протоколе сегодняшнего совещания зафиксировать его особое мнение.

— А знаете,— сказал Морозову иностранный писатель, когда они садились в машину.— Я слушал внимательно отзывы всех товарищей. Не знаю, кто из них прав, а кто нет,— каждый как будто по-своему прав. Твердо я знаю только одно.

— Что именно?

— Я не хотел бы быть на вашем месте.

— Почему?

— Принимать на основании этого совещания то или иное решение... Какая жуткая ответственность!

Ответа Морозова писатель не расслышал. Качнула машина, и он опять больно ударился головой о перекладину.

...Мурри, тронувшийся с места последним, приостановил машину, пережидая, пока уляжется пыль. Полозова, облокотившись о шасси, смотрела на нависшую над низиной невзрачную серую гору с миниатюрным кладбищем на вершине: несколько сухих жердей с повязанными на них выцветшими тряпочками.

— Интересно, зачем русские товарищи устраивают такие совещания, заранее зная, что сделают по-своему? — раздался за ее спиной голос Мурри.

— Вы не правы, мистер Мурри. Вы хорошо знаете, что целый ряд ваших предложений был принят и применен строительством; может быть, не всегда в тех случаях, когда вы их предлагали. В данном положении, естественно, приходится выбирать наиболее простой и быстрый выход.

— Для того чтобы остановиться на таком выходе, не надо было никаких комиссий. Ну, скажите сами, стоило ли выписывать специального консультанта из Италии, чтобы ему сказать, что он ничего в этом деле не понимает?

— Не язвите и не извращайте фактов. Во-первых, итальянский инженер не был сюда выписан специально для этой консультации, а консультировал уже рань-

ше другое строительство. А, во-вторых, никто не утверждал, что он ничего не понимает. Говорилось только, что он незнаком с здешними грунтами. Вы, между прочим, первый возражали против его предложения.

— Я вообще удивляюсь русским, зачем они приглашают сюда за валюту иностранных инженеров, людей старого опыта, привыкших к своим методам работы. Это имело бы смысл, если б им предоставлялась в работе некая экстерриториальность: возможность применить свой опыт, работать по-своему. Но ведь такой возможности они лишены. Они в подавляющем большинстве не социалисты, а их заставляют применять так называемые социалистические методы труда. Они принуждены здесь проделывать с машинами вещи, которые в своей профессиональной совести считают техническим преступлением. Их предложения, основанные на многолетней практике, если они не обеспечивают достаточно стремительных темпов и головокружительных показателей, отклоняются как проявление старой рутины. В результате, вместо того чтобы, как об этом говорится, русское инженерство усваивало их технический опыт, их техническую культуру,— наоборот, их самих заставляют переучиваться по-новому. Это очень занятно, но зачем за это платить валютой? Наоборот, это они должны бы платить в валюте за свое обучение.

— Вы иронизируете? Вы не так уж далеки от истины. Насколько мне известно, в близком будущем ни иностранные инженеры нам, ни мы им не будем платить в валюте. Будем платить честными советскими рублями. Количество иностранных инженеров, готовых приехать к нам на любых условиях, лишь бы получить работу, настолько увеличивается, что никакая приманка в виде заработка в инвалюте больше не нужна. В особенности для инженеров, которым все равно незачем возвращаться на родину: они останутся там без работы.

— Если вы имеете в виду меня, то я давно уже решил отказаться от заработка в долларах.

— Я не имела в виду специально вас, но если вы уже приняли такое благородное решение, что же вам помешало осуществить его на практике?

— Меня попросил не делать этого мой приятель Кларк.

— Кларк? Вот это новость! Кларк просил вас не отказываться от жалованья в инвалюте?

— Представьте себе.

— Это звучит довольно неправдоподобно!

— И тем не менее это так.

— А из каких же соображений он просил вас об этом, если не секрет?

— Отнюдь! Какой же секрет? Вы знаете великолепно, что в вашей стране, в стране социалистического соревнования, каждый поступок, приносящий пользу вашему государству, становится моментально объектом соревнования. Для уклоняющихся от этого соревнования существует у вас позорная кличка: дезертир. Совершенно очевидно, что, если один иностранный инженер на строительстве откажется от своего жалованья в инвалюте, примеру его должен последовать и другой иностранный инженер. Благодаря моему отказу мой друг Кларк очутился бы в очень затруднительной ситуации, так как он от своего жалованья, при самом искреннем желании, отказаться не может. Как вам известно, у него в Нью-Йорке жена и ребенок. Оба живут на эти деньги и умрут с голода, если перестанут их получать. Поэтому, как человек, привязанный к некоторым буржуазным предрассудкам вроде дружбы, я не счел возможным поставить моего друга Кларка в неудобное положение. Тем более, что он сам попросил меня повременить.

— Значит, все-таки только повременить, а не вообще отказаться от этой идеи?

— Вы сами понимаете, что в этом вопросе время не может ничего изменить.

— Почему? Кларк, очевидно, хочет как-то урегулировать этот вопрос. Может быть, не отказываться от всего жалованья, а установить какую-то сумму, как алименты для ребенка...

— Вы же знаете, что там не один только ребенок.

— Взрослые люди обычно зарабатывают сами.

— Не всегда. Для этого необходимы две элементарные предпосылки: чтобы данный человек вообще был приспособлен к работе и чтобы он имел объективную возможность найти какую-либо работу. Вы понимаете сами, что нельзя посылать деньги на про-

кормление ребенка и знать, что тому, кто воспитывает этого ребенка, нечего положить в рот.

— У нас эти вещи не представляют неразрешимой проблемы.

Она понимала, что Мурри завел с ней весь этот разговор нарочно, чтобы ее задеть. Больнее уколов Мурри было сознание, что Кларк, подробно обсуждавший вопрос с Мурри, скрыл его от нее. Или, может быть, весь этот разговор имел место уже после того, как они разошлись?

— Не знаю, как эти «роковые проблемы» разрешаются у вас,— сказала она, не в состоянии скрыть раздражения,— но знаю, что Кларк поступил очень... необдуманно, отговаривая вас от правильного шага только на том основании, что это может поставить его, Кларка, в неудобное положение, то есть в той или иной степени задеть его амбицию. По правде сказать, удивляюсь немного и вам. Неужели все вопросы принципиального характера вы решаете не в согласии со своими убеждениями, а в зависимости от честолюбивых капризов ваших друзей?..

...Приехав в городок второго участка, Полозова сбегала в комсомольскую ячейку и, только управившись с текущими делами, собралась обедать. В опустевшей столовой она застала Морозова и иностранного писателя. Она устроилась за столиком в углу и в не особенно разговорчивом настроении принялась за суп.

— Мария Павловна! — окрикнул ее с другого конца столовой Морозов.— А у меня с вашим Кларком вышла сегодня целая перепалка. Обозвал меня оппортунистом. Честное слово! Очень уж вы быстро познакомили его с нашей терминологией. Присаживайтесь к нам, расскажу. Большевизируется прямо не по дням, а по часам, только еще не совсем с того конца.

Выражение «с вашим Кларком» смутило Полозову. Она покраснела, подумала: нужно бы сказать Морозову, что с Кларком она больше не живет. Но сказать почему-то было неловко. Она послушно взяла тарелку и перешла к их столику.

— А вот как раз и жена товарища Кларка, секретарь нашей комсомольской ячейки,— познакомил с ней иностранного писателя Морозов.

У Полозовой и тут не оказалось нужных слов, чтобы разъяснить его заблуждение. Морозов и иностранный писатель вскоре поднялись и ушли, а она все еще подыскивала слова и, склеив наконец корявую фразу, обрадовалась, что сказать ее уже некому.

— Мария Павловна,— вернулся с дороги Морозов.— У меня сейчас совещание по поводу скалы. Забыл предупредить Мурри. Хорошо, если бы и он принял участие. Будьте добры, известите его и заходите вместе с ним.

Он ушел, не дожидаясь ответа.

Полозова подумала, что на совещании обязательно будет Кларк и избежать с ним встречи не удастся. Она не видела Кларка с момента их размолвки. Прошло с тех пор почти четыре недели. Разрыв с Кларком она переживала очень болезненно. Ей казалось, что на следующий, самое позднее на третий день Кларк, терзаемый раскаянием, явится с повинной. При каждом стуке в дверь она вскакивала с колотящимся сердцем, кидалась открывать и возвращалась разочарованная: опять ребята из ячейки. Ночью, оставшись одна, она не раздеваясь ложилась на койку («он самолюбивый, не захочет встречаться при людях, наверно, придет ночью»). Рассвет заставал ее в слезах, измученную и усталую. Она долго мыла лицо студеной водой из колодца и, припудрив синяки под глазами, шла на работу. Молчание Кларка задело ее как пощечина. На четвертую ночь она разделась и впервые уснула тупым мертвецким сном. Наутро Полозова встала посеревшая и равнодушная. Она твердо решила не думать о Кларке,— избыток работы создавал все условия для реализации этого решения.

День на десятый, перебирая бумаги в ящике стола, она натолкнулась на написанное рукой Кларка «сочинение на любую тему» — его первое объяснение в любви. Она изорвала листок в клочья, не перечитывая. За окном в этот день дул стремительный афганский ветер. Она вышла на порог и раскрыла пригоршню с обрывками любовного упражнения. Ветер слизнул клочья и развеял их по степи. Полозова вернулась в комнату, бросилась на койку и заплакала.

Вечером пришло письмо от Кларка. Кларк сообщал, что он не без боли понял: комсомольская работа для нее важнее, чем их совместная жизнь. Смешно

требовать от женщины более глубокого чувства, чем она на это способна. Он готов примириться и не возражать против ее работы на втором участке при одном условии: если она откажется от обязанностей переводчицы Мурри.

Дочитав письмо, Полозова смяла его и бросила в угол. Сейчас, после оскорбительного десятидневного молчания, всякие условия, выдвигаемые Кларком, показались ей недостойной торговлей, разоблачающей лишь мелочность и низость этого человека.

Ответа на свое письмо Кларк так и не дождался.

И вот сегодня все — сперва Мурри, потом Морозов, словно по уговору, стали напоминать ей о Кларке чуть ли не каждую минуту, не догадываясь даже, насколько напоминание это было ей неприятно.

Неизбежная встреча вечером застигла Полозову врасплох. Прежде всего по поведению ее и Кларка Морозов сразу догадается об их разрыве. Тем неприятнее, что она не сообщила об этом сама и позволила представлять себя чужим людям как жену Кларка. Оставалась одна возможность: Мурри не в духе после утреннего совещания, может быть, он не захочет присутствовать на вечернем.

У Полозовой пропала охота к еде. Не дожидаясь второго блюда, она поднялась и пошла на квартиру Мурри.

Мурри присутствовать на совещании не отказался.

Совещание, задуманное Морозовым как расширенное заседание треугольника, началось поздно. Синицын явился к девяти с третьего участка, куда он выехал еще с утра с уполномоченным контрольной комиссии. Гальцев не явился вовсе. Совещание прошло угрюмо, почти без прений. Все соглашались с необходимостью во избежание дальнейших обвалов увеличить угол наклона берегов канала на всем отрезке выемки скалы. По предварительным подсчетам, это увеличивало объем работ на тридцать с лишним тысяч кубометров и должно было оттянуть окончание канала на целый месяц. Морозову поручалось поставить об этом в известность Центральный комитет и правительство Таджикистана.

Кларк во время совещания мрачно молчал. Когда ему предоставили слово, он заявил кратко, что свою точку зрения он уже до совещания сообщил начальнику строительства, который отверг ее. Добавить ему нечего.

Заявление Кларка не дискутировалось.

Когда приступили к выработке более детального плана работ и распределения механизмов, Мурри поднялся и, ссылаясь на усталость и на недостаточное знакомство с работами головного участка, ушел домой. Полозова, сама не зная почему, не последовала его примеру, хотя делать ей здесь было нечего. Она убедила себя быстро, что, уйдя сейчас, не будет знать окончательного плана работ по скале и тем самым потеряет представление о совокупности работ строительства.

Когда совещание подходило уже к концу, внезапно распахнулась дверь и вошел Гальцев.

— А ты бы попозже,— встретил его хмуро Морозов.

Гальцев бросил на стол потертую тюбетейку.

— Прямо с митинга.

— С какого митинга?

— На головном. Добровольцы митингуют. Против оппортунистического руководства строительством. Это вот его рук дело,— Гальцев кивнул в сторону американца.

Все глаза устремились на Кларка.

— Я вас не понимаю,— спокойно сказал Кларк.

— Говори толком, в чем дело,— резко приказал Морозов.

— Он вот не понимает, а мне расхлебывать приходится,— заартачился Гальцев.— Товарищ Кларк заявил сегодня бузотерам, что он лично за то, чтобы работать на скале так, как есть, только оппортунистическое руководство против. Вот и пошло дело. Добровольцы пришли ко мне в постройком: «Созывай митинг!» Я их фактически послал куда следует. Пошли и созвали помимо постройкома. Мол, оппортунистическое руководство заодно с постройкомом хотят оттянуть на целый месяц окончание строительства, срывают сроки, установленные партией и правительством, душат рабочую инициативу, и всякая такая мура. Надо, мол, самим рабочим, наперекор гнилому руко-

водству, взять дело в свои руки и к сроку довести строительство до конца.

— Кто ж этим заворачивает? — поинтересовался Морозов.

— Заправляет Тарелкин, а примкнула к этому делу, ясно, вся шпана, все бузотеры с головного участка. Громче всех кричат те, которые ни в какие добровольцы идти и не собирались. Его вот,— он показал на Кларка,— в начальники выдвигают.

— Ну, и чем же эта волынка кончилась?

— Ничем не кончилась. Кое-как уломал. Надо, чтобы он сам,— Гальцев опять указал на Кларка,— завтра же с ними поговорил. А то выходит, будто у нас руководство участка противопоставляется треугольнику, да еще перед рабочими свои споры выволакивают. Куда это годится?

Кларк сидел бледный и нервно барабанил по столу.

— Товарищ Морозов,— сказал он, когда в комнате водворилась неприятная тишина.— Я прошу вас мне верить. Никому из рабочих я содержание нашего разговора не передавал и подобное, что говорит этот товарищ, не говорил.

— Как не говорил? Ко мне ребята приходили в постройком, сами передавали.

— Вам это не могли говорить! Вы врете!

— Вот так фунт! Что же, мне ушам своим не верить? Говорит: все руководство — оппортунисты, а особливо, говорит, начальник. Не иначе, как сам в начальники метит.

— Товарищ Морозов, прикажите этому товарищу сейчас выходить отсюда вон, иначе я отсюда выйду!

— Товарищ Гальцев, лишаю вас слова. Никто без моего разрешения больше слова не имеет. Спокойствие, товарищи!

Кларк встал и, взяв со стола кепку, вышел из комнаты.

— Вот вам новая история! — недовольно пробурчал Морозов.— Товарищ Полозова, идите-ка, введите его в оглобли.

Полозова послушно встала и вышла за Кларком.

— Тебе, Гальцев, за оскорбление американского инженера запишем выговор, а независимо от этого пойдешь и попросишь у него извинения.

— Товарищ Морозов,— ей-богу! — ну что он мне в глаза врет: «не говорил». Вся буза ведь из-за него. Демагогией перед рабочими занимается, а я пойду перед ним извиняться.

— Пойдешь. Раз товарищ Кларк уверяет, что не говорил,— значит, не говорил.

— А откуда же рабочие знают?

— На участке уши и языки длинные. А оскорблять иностранных инженеров никто тебе не разрешал и не разрешит. Понятно?

— У тебя, Гальцев, вообще, кажется, язык плохо подвешен,— строго поддержал Синицын.— Сколько уже у тебя выговоров? Если думаешь, что выговоры можно коллекционировать, как почтовые марки, то не забывай: до полной коллекции тебе недостает не так уж много.

Гальцев виновато почесал затылок и ничего не ответил.

Полозова нагнала Кларка внизу у террасы.

— Кларк!

— Да?

— Это я. Можно мне с вами минутку поговорить? — спросила она по-английски.

— Пожалуйста.

— Давайте пройдемся вот по этой дорожке.

— Я вас слушаю, Мэри...— Он посмотрел на нее искоса, она очень похудела и изменилась. Это не была уже прежняя девушка, немножко сухая и высокомерная. Это была женщина, много перестрадавшая, взволнованная, не сохранившая и следа прежней самоуверенности.

При звуке своего имени Полозова смутилась. Она заговорила быстро, не глядя на Кларка:

— Я вам хотела сказать прежде всего, что вы не правы...

— Это я знаю. Не было еще такого случая, когда бы я был прав.

— Это тоже неверно. Давайте не ворошить старого. Я хочу вам сказать, что ни я, ни Морозов и никто из присутствующих, за исключением разве Гальцева, не думает ни минуты, что вы действительно говорили это рабочим.

— Почему же тогда товарищ Морозов позволяет меня оскорблять?

— Вовсе не позволяет, он лишил Гальцева слова.

— Надо было велеть ему выйти вон.

— Извините меня, но вы не имеете никакого права диктовать начальнику строительства, как ему вести собрание. Хорошая защита — на оскорбление отвечать оскорблением! Если вам нужно было удовлетворение, вы его получили. Может быть, не согласно вашим обычаям, но согласно обычаям, принятым у нас. Думаю, вы не требуете, чтобы для вашего удовольствия вводили бы здесь кодекс буржуазного приличия.

— По отношению к мелкому буржуа нужно соблюдать буржуазные правила приличия.

— Не острите. Никто вас здесь не считает мелким буржуа.

— Никто?

Полозова притворилась, что не расслышала вопроса.

— Морозов говорил мне еще сегодня, рассказывая об утреннем конфликте, что вы большевизируетесь не по дням, а по часам. Только он правильно заметил, что не совсем с того конца. Подвергать опасности свою жизнь для скорейшего окончания строительства это — очень красиво, но это еще не по-большевистски, поскольку нет в этом прямой необходимости. Рыцарское благородство не есть еще большевизм. Большевизм — это...

— Знаете что, Мэри? Не кажется ли вам, что эта русская мания читать на каждом шагу наставления может свести с ума даже человека, искренне желающего многому здесь научиться? Уверяю вас, за все время моего детства, пока я бегал в куцых штанишках, я не наслушался стольких наставлений, сколько за один год моего пребывания здесь.

Полозова рассмеялась.

— Что же делать, когда вас надо учить и учить. А главное, никак не выколотишь из вас этого упрямства и фальшивого честолюбия. Вы понимаете прекрасно, что поступили неправильно, а признаться в этом перед другими не позволяет амбиция. У нас... Да вы опять скажете, что это — наставления.

— Это просто неверно. Я охотно признаю свою неправоту, если в ней убеждаюсь.

— Ну, зачем врать? Скажите сами, признали ли вы хоть раз, что были не правы?

— Признал.

— Например?

— По отношению к вам, Мэри, был не прав.

— Джим!

— Если можете мне это простить просто и без наставлений, то давайте больше об этом не говорить. Здесь стоит моя машина, поедемте ко мне? Завтра утром отвезу вас обратно на работу.

— И больше об этом не говорить?

— И больше не говорить.

— Ну хорошо. А перед Морозовым за сегодняшнюю историю извинитесь?

— Извинюсь. Но завтра. До завтра ведь ничего не случится.

Он взял ее за плечо и подвел к машине.

...В пустой квартире Кларка сиротливо попискивало забытое радио. Кларк выключил приемник и завозился у стола. Полозова заметила, как он быстро сунул что-то в ящик и накрыл газетой.

— Раздевайтесь, я вскипячу чай.

Он вышел в сени. Слышно было, как в его неумелых руках страдальчески кряхтит примус. Полозова мгновение поколебалась. Потом, покраснев, бесшумно приоткрыла ящик и отодвинула газету. Под газетой лежало английское издание «Вопросы ленинизма» и русский учебник диамата для рабфаков. Она тихо задвинула ящик и, заметив в зеркале свое покрасневшее лицо, рассмеялась.

Проводив задержавшихся после совещания Кирша и Уртабаева, Морозов потушил свет и устало грохнулся на постель. Он уже задремал, когда услышал сквозь дрему осторожный стук. Морозов вскочил и босиком пошел к двери...

...За окном тысячью неуловимых шорохов росла ночь, шуршащая, как трава. Тишина, накопившаяся в комнате, стала весомой и тяготящей. Первой пошевелилась Дарья.

— Иван!

— А?

— Не спишь?

— Нет.

Она приподнялась на локте:

— Чего ж это ты запретил добровольцам работать на скале?

— Осточертели мне эти добровольцы! Целый день из-за них возня. Оставила бы хоть ты меня с ними в покое.

— Выходит, я напрасно старалась?

— А это твоих, что ли, рук дело?

— Нет, сначала заговорили об этом ребята из бригады Тарелкина. Но по первачку мало было охотников. Больше отмигивались. Тогда я настрочила своих баб. Решили, что наша бригада идет вся, как есть. Ну, а раз бабы не боятся, тут уж мужикам бояться стыдно. Записался почти весь участок.

— На кой черт тебе было разводить всю эту антимонию?

— Строительство опаздывает, кому за это шею намылят? Небось тебе! Думала, спасибо скажешь, а ты — чертыхаться.

— Ты, пожалуйста, такими онёрами мне не помогай. Я уж как-нибудь сам... А вечернюю бузу с митингом тоже ты заварила?

— Не, это Тарелкин. Подслушал, как ты днем с американцем разговаривал,— будто американец обругал тебя, за наших, за добровольцев заступился,— и давай против тебя агитировать!.. Я ж тебе говорила: у него против тебя зуб. Как же ему такой случай упустить?

— Сволочь твой Тарелкин, вот кто...— пробормотал Морозов, засыпая.

Через минуту его ровное дыхание наполняло уже комнату. За окном тускло белела луна — перламутровая пуговица на стеганом одеяле неба. Дарья присела на постели. Морозов спал, откинувшись навзничь, лицо в мучном свете луны. Дарья, тихо окунув руку в его волосы, густо исчерканные сединой, долго, осторожными прикосновениями губ целовала его лицо, шершавое от ветра и от ранних морщин. Морозов спал, сонной рукой отмахиваясь от ее поцелуев, и бормотал что-то невнятное. Дарье показалось, что он повторяет ее имя. Она жадно прилипла ухом к его рту.

— ...Амударья... Пяндж... триста тысяч кубометров воды...

Дарья заплакала.

Лунный свет на полу, как разлитая ртуть, дрогнул и скользнул в угол. За окном размеренно, как люлька, укачивая ко сну городок, стучала водокачка. Где-то на участке тревожным гудком аукнулся экскаватор. Приближался рассвет.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В этом году из-за продолжительных холодов посевная пришла позже и, хотя готовились к ней давно, нагрянула, как всегда, неожиданно.

Еще задолго до окончания дождей по узкому перешейку насыпи, через покрытые снегом поля, из Сталинграда в Сталинабад ползли длинные составы крытых брезентом платформ. Составы застаивались на станциях, гремели буферами и отбывали дальше в ночь, в снежную хлябь степей. Иностранные корреспонденты, застрявшие на путях, настороженно слушали лязг гремящих эшелонов и, жадно высунув головы из окон спальных купе, ловили знакомую возню ночной переброски частей, пытаясь по грохоту колес определить, к какой именно границе. Иностранные корреспонденты не ошибались: составы шли на юго-восточный фронт, перебрасывая свой гремучий груз к границам Индии и Афганистана. Они везли трактора, трактора, трактора, дивизионы тракторов из черноземного снежного Сталинграда в Сталинград песчаный и субтропический (ибо таджикское слово «абад» равносильно русскому «город»).

Посевная разразилась над республикой, как первая весенняя гроза, распахнула настежь окна и двери запаутиневших за зиму учреждений, разворошила кипы бумаг и выкинула людей из канцелярий на поля выращивать в живой земле цифры, выведенные в теплицах Госплана.

По полям с оглушительным рокотом, волоча животами по земле, ползли бурые тучи. Это шла пыль, взъерошенная табунами тракторов. Протяжно звенел, запутавшись в проволоках, стремительный вихрь телеграмм («посевная, вне очереди»), и свинец типографских букв (кегль 20, дубовый) гудел набатным басом с заголовочных вышек газетных столбцов. Такими голосами в других странах говорит лишь всеобщая мобилизация.

Сталинабад опустел в один день, стал вдруг тих и провинциален, без единой легковой машины: все автомобили, подхваченные ветром посевной, как брызги, разлетелись по районам. Телеграф сотней пристальных молоточков выстукивал воспаленное тело республики. Люди в эти дни говорили цифрами, словно перешли на условный шифр. Секретари районов, вися ночью у провода, как азартные биржевые игроки в дни небывалого ажиотажа, кричали до хрипоты: Шахринау — 42%, Джиликуль — 38, Курган-Тюбе — 51, Ходжент — 64. На опустевших улицах Сталинабада, как попугаи, на ощипанных стволах фонарей картаво повторяли эти цифры громкоговорители.

В этот год посевная площадь египетского хлопчатника в республике должна была увеличиться по плану на 100 000 га. 80% этой площади составлял орошаемый впервые массив между Вахшем и Пянджем. Когда распространилась весть, что начинают запахивать испокон веков безводное плато, из отдельных кишлаков прискакали стройные всадники в франтовато повязанных чалмах. Было непонятно, откуда в разгар посевной набралось вдруг столько праздного народа. Посвященные говорили, что далеко расположенные колхозы делегировали по одному своих лучших джигитов, обязуясь отработать за них и засчитать потерянные трудодни, лишь бы получить от очевидцев отчет о небывалом спектакле. Всадники стояли вдоль всего плато, как пикеты, на своих поджарых конях и удивленно вытягивали шеи или с гиком мчались напрямик, обгоняя трактора, чтобы взглянуть спереди на надвигающуюся лавину.

Трактора шли и шли широкой стрекочущей лавой, неудержимые, как саранча. Казалось, идут их тысячи,— так далеко, до горизонта, тянулась за ними всклокоченная пыль. Волны железного стрекота летели за Пяндж, и, вдыхая перехлестывающую через реку советскую пыль, настороженно слушал их непонятную музыку афганский дехканин, затерянный среди необозримых пространств вместе с крохотным клочком земли, исцарапанной его самодельным омачом.

Трактора шли напролом, через бугры и логи, карабкались по скатам холмов и сползали в ложбины. Огорошенные их клекотом, стада джайранов искрами

прыскали в степь, спугнутые с нагретых стоянок. К концу первого дня перед линией тракторов неслись целые табуны. Человек, едущий навстречу тракторной колонне, видел сначала скачущих в панике развернутой цепью джайранов и только в нескольких километрах за ними — шагающую через плато стрекочущую стену пыли. Джайраны недавно вывели молодых, молодые на своих спичечных ножках не могли угнаться за взрослыми; их ловили голыми руками, и к концу второй смены мало у кого из трактористов не сидел на коленях пегий длинношеий козлик с бархатными, смертельно перепуганными глазами.

С гор на металлический гам слетались стаи облезлых стервятников, ловя знакомые грохоты войны. Они долго кружили в воздухе, равнодушные к брани трактористов, и улетали осовелые, окончательно убедившись в своей ошибке.

Из поселков, выросших в пустыне за последние недели, выбегали толпы людей и, заслонив ладонью глаза от солнца, смотрели на проползающие мимо тракторные колонны, словно принимали парад, рукой, прислоненной козырьком ко лбу, отдавая честь проходящим. Это были колхозники из новых переселенческих колхозов, призванных освоить орошенную целину: таджики из далекого горного Дарваза, узбеки из цветущих хлопком долин Ферганы, киргизы с той стороны Алтайского хребта, перекочевавшие сюда вместе со своими войлочными домами, чтобы на вчерашней пустыне закончить извилистый путь кочевья, отпустив на волю верблюда, впервые стреноженного тугими веревками арыков.

Трактора шли в рыжем облаке пыли, предшествуемые зелеными стаями фаланг и всякой ползучей твари, потревоженной в своих заповедниках; шли с храпом и фырканьем, как стадо тупорылых кабанов. К вечеру пыль улеглась, и лишь взрытая, развороченная земля свидетельствовала об их бурном нашествии.

Трактора шли и шли, день и ночь, еще день и еще ночь. За тракторами громыхали походные кухни и неотступно по пятам шел бесконечный караван верблюдов, груженных бидонами с горючим. Другая вереница верблюдов, навьюченных пустыми бидонами, шла обратно на базу. Вереницы верблюдов текли размеренно, как вращающаяся лента конвейера.

На строительстве спешно заканчивали мелкую групповую и картовую сеть, бросив на третий участок все наличные мелкие механизмы, от волокуш и скреперов Фресно до суданского канавокопателя и элеваторного грейдера, составлявших до сих пор неотъемлемую гордость рюминского участка. В том, что мелкая сеть будет закончена к сроку, никто всерьез не сомневался. Когда заговорили о поливе, глаза всех обращались с опаской на головной, откуда днем и ночью доносилась приглушенная канонада: на головном рвали новые тысячи кубометров конгломерата.

Посевная шла через строительство, поглотив значительную часть тракторного парка, и настойчивым клекотом тракторов торопила, нервировала, взвинчивала. Каждый знал: если вода к моменту полива не будет пущена через магистральный канал, 80 000 га вспашки и посевов хлопчатника пропадут даром.

В эти дни на строительстве люди ходили заросшие и исхудалые, с веками, припухшими от бессонницы, говорили мало, раздражались и возвышали голос из-за каждого пустяка. Все знали, что время, оставшееся до полива, высчитано до одной минуты и день простоя одного из основных механизмов мог решить, что вода к сроку подана не будет.

Волновал и беспокоил вопрос переселения. Пахота приближалась к концу, а 50% предполагаемой к орошению земли оставалось до сих пор не обеспечено переселенцами. Морозов звонил в Сталинабад, крыл до хрипоты районные и республиканские организации, но не мог добиться перелома. По неизменному заявлению Переселенцентра вербовка переселенцев наталкивалась на непредвиденные трудности ввиду упорно циркулирующих слухов, что новые земли из-за задержки строительства не будут в этом году обеспечены водой. Сталинабад требовал гарантий, что вода к поливу будет подана неукоснительно. Морозов плевался в трубку и уходил на участок.

Районная парторганизация, в лице Мухтарова, не полагаясь на центр, прилагала все усилия, чтобы обеспечить переселенцами хотя бы часть вновь осваиваемых земель. Это Мухтарову лично удалось сагитировать осесть на землю киргиз-верблюжатников, обслуживавших строительство своим верблюжьим транспортом, и организовать из них два колхоза. Еще два

колхоза удалось организовать из афганских дехкан-отходников, работавших ручниками на строительстве. Все это не разрешало вопроса.

Мухтаров постепенно терял загар, из коричневого становился зеленым. Посевная в районе шла неудовлетворительными темпами. «Коммунист Таджикистана» каждый день трезвонил об этом на всю республику. Того гляди запишут на черную доску. Треклятый совхоз, зеница ока, не вылезал из прорыва и портил все процентные показатели. Вдобавок ко всему — новый неосвоенный массив. Трактора вспашут, засеют,— а дальше что? Как быть с окучкой?

Одолеваемый невеселыми мыслями, Мухтаров возвращался пешком с обхода переселенческих колхозов. Свернув в поселок ката-тагского прорабства, он зашел в контору попить воды. В конторе было прохладно и пусто. За столом, уткнув голову в руки, спал Уртабаев. На шум открытой двери он вскинул голову и посмотрел на Мухтарова воспаленными глазами.

— Здорово, Саид! — окликнул его от порога Мухтаров.— Как дела? Воду-то к поливу дадите или не дадите? Скажи по секрету, как старому товарищу, а то шут вас знает, чего держаться.

— А ты сначала дай переселенцев. На черта сдалась наша вода, если осваивать землю будет некому.

— Я вам не Переселенцентр. Спрашивайте у наркомзема Таджикистана.

— Вот тебе-то как раз и надо у них спрашивать.

— Вы хоть для моих колхозов воду дадите? Как-никак, я вам парочку колхозов организовал.

— Видел я твои колхозы, Джалиль. Мало от них радости. Я не про афганцев говорю. Афганцы ничего, народ к земле привычный, помаленьку и к хлопку приспособится,— а про верблюжатников про твоих, про киргизов. Люди никогда в жизни омача не держали, сидеть на одном месте не привыкли, а ты их одним махом на землю посадил, да сразу за самую трудоемкую культуру, за хлопок. Они у тебя после первой окучки сбегут. Пока трактор пашет, трактор сеет, только стой и смотри,— это дело очень даже им нравится. А вот надо будет выйти в поле с кетменем, окопать каждый кустик, да потом еще раз окопать, да потом еще,— это, брат, шутишь! — смотают ночью свои хибарки, и только мы их видели.

— А по-твоему, кочевников на землю сажать не надо, потому что они народ к этому непривычный? Посидят и привыкнут.

— На землю сажать их надо, только не с места в карьер за самые сложные культуры. Ты их сначала хлеб сеять выучи. Хлеб — дело простое: весной посеял, летом сжал, молоти и кушай. А с хлопком, сам знаешь, круглый год возня. И уход какой! Для этого землю любить надо, повадки ее изучить. Сноровка нужна, а ты из человека, который землю никогда и пальцем не ковырял, с верблюда не слазил,— хлопкороба в два месяца сделать хочешь. Видел я твоих хлопкоробов. Построили им жилые дома,— до сих пор пустые стоят. В юртах живут. На моих глазах уже три раза стоянки меняли. «Нам,— говорят,— так удобнее: поле под боком». Они тебе, окучивая два гектара, шесть раз стоянку переменят. Пока будут забивать свои колышки, у тебя земля шесть раз коркой покроется.

— А что, лучше было никаких колхозов не организовывать?

— Эти два колхоза — все равно одна видимость. Числится колхоз, а месяца через два будет пустое место.

— Это еще как сказать.

— Помянешь мои слова.

— Что ты мне Америки открываешь! — раздраженно фыркнул Мухтаров.— Думаешь, я сам не знаю? Знаю лучше тебя! Откуда я тебе других переселенцев возьму?

— С гор их, что ли, переселить трудно? Там народ на клочке земли сидит, прокормиться ему нечем. Сколько лет уже разговор идет: переселить таджиков из гор в долины? Агитации рациональной развернуть не можете, вот что.

— Тебя бы назначить главным агитатором, ты бы, может, сагитировал. Дураки они бросать горы и жариться тут на сковороде. В горах выросли, им там и голодать приятнее, чем здесь, в духоте, плов каждый день кушать. Их тут всех малярия затрясет.

— Но, но, не сочиняй! — укоризненно покачал головой Уртабаев.— Сколько гармцев и дарвазцев осело уже в долинах? Хотя бы в Аральском районе. Да и у нас!

— А сколько ушло обратно?

— Всегда с этим надо считаться: часть акклиматизируется, часть уйдет. А потом, есть еще другой неисчерпаемый источник переселенцев — Фергана. Потомственные хлопкоробы. При тамошнем перенаселении и по гектару на человека не приходится, здесь даем по два с половиною. И климатические условия те же. Прямой расчет.

— Ферганцы — народ требовательный. Их здесь устрой, посади им сады, а они приедут фрукты собирать. Одно дело — жить в старой культурной полосе, а другое — приезжать на голое место, выращивать все своими руками. Мы им таких условий, как там, создать не сможем.

— Условия сможете создать лучшие. Вопрос о хлопковой независимости решается здесь, а не в Фергане. Каждый согласен с тем, что это обойдется нам в копеечку. А, по-твоему, выходит: переселенцев сюда жареной бараниной не заманишь и вообще брать их неоткуда?

— Во всяком случае, это гораздо более сложный вопрос, чем тебе кажется. При наличии всего-навсего миллиона с лишним таджиков в пределах нынешнего Таджикистана и Узбекистана многого из этого не выкроишь. Возрастающих с каждым годом культурных площадей этим не заселишь. Разве что будешь по очереди оголять один район, чтобы заселить другой. У русских есть сказка про одного дехканина, который обрезал у халата полы, чтобы удлинить короткие рукава, а потом, увидев, что халат стал куц, урезал рукава, чтобы наставить полы. Мы, с нашим миллионным населением и с нашей площадью в 140 000 квадратных километров, напоминаем этого русского дехканина. И, очевидно, будем его напоминать до тех пор, пока перед нами не откроются новые ресурсы.

— Какие ж это ресурсы? — полюбопытствовал Уртабаев.

— Ты, надо полагать, знаешь не хуже меня, что наш Советский Таджикистан не охватывает даже четвертой части всех таджиков.

— И что из этого?

— Вот тебе и ресурсы, без которых нам не обойтись.

— Но-о?

— У меня слабость к статистике. Я не пожалел

труда и подсчитал, на основе английских и афганских источников, сколько таджиков живет в отдельных провинциях Афганистана. Могу тебе сказать точно. В Катагане и Будахшане — 621 000 человек, в Кугистане — 539 000, в Герате — 394 000. Не считая таджиков, проживающих в самом Кабуле, ни миллиона хозарейцев, которые, не будучи таджиками, все же говорят на таджикском языке. В Индии, в Читрале, живет таджикское племя Йидга, родственное мунджанцам, а Гилгитская долина населена значительными группами ваханцев. Точного количества ни тех, ни других, к сожалению, никак нельзя выяснить.— Мухтаров на промокательной бумаге набросал карандашом колонку цифр и, проведя черту, протянул листок Уртабаеву.— На, считай.

— Ну, а дальше что?

— На следующий день после революции в Афганистане проблема человеческих кадров у нас разрешится автоматически: переселяй и перегруппировывай как хочешь.

— А до этого?

— А до этого будем резать и наставлять куцый халат.

— Тю-тю! Ты давно пришел к таким интересным выводам?

— Давно. А что? Это, по-твоему, ужасный уклон? Не бойся, это — моя личная точка зрения, которой не собираюсь проповедовать.

— Этого бы только не хватало. Ты, Джалиль, не артачься. Ты просто недодумал пока что своей концепции до конца. Ты вот знаешь русские сказки о куцом халате, а не знаешь русской пословицы: кто сказал А, тот должен сказать Б. Если нынешний Таджикистан — это куцый халат, то возможно ли вообще развертывать здесь полным ходом социалистическое строительство, которое все время будет упираться лбом в нехватку местных кадров? Не рациональнее ли подождать с этим до революции в Афганистане? В частности, можно ли говорить о строительстве таджикской социалистической культуры в стране, не охватывающей даже четвертой части всего таджикского народа? Не будет ли это культура лишь одной таджикской провинции? И не стоит ли вообще все дальнейшее развитие Таджикистана в прямой зависимости от того,

будет ли в ближайшее время в Афганистане революция или не будет?

— В известной степени, конечно, зависит.

— Вот, вот! С такими взглядами, дорогой Джалиль, сам не заметишь, как в одно прекрасное утро станешь знаменем националистических и контрреволюционных элементов. Не улыбайся. Хочешь этого или не хочешь, в данном случае не важно. Не забудь, что наша родимая контрреволюция тоже выдвигает в качестве своего лозунга заботу о привлечении сюда братьев-таджиков с той стороны Пянджа. А отсюда прямой вывод: борьба против хлопка как ведущей культуры. Хлопок, мол, для дехканина нерентабелен; хлопок чересчур трудоемок; хлопок отпугивает хлебороба; если откажемся от хлопка, афганские таджики хлынут к нам волной...

— Что ты мне пришиваешь какие-то контрреволюционные бредни! — возмутился Мухтаров.

— Ничего не пришиваю. Раз вопрос о привлечении на нашу территорию национальных кадров — действительно вопрос основной и решающий, тогда для его разрешения все средства хороши. Почему бы вам во имя этого не отказаться от хлопка? Знаешь что, Джалиль, если так любишь статистику, мой тебе совет: поменьше занимайся таджиками в Афганистане, а побольше подсчитывай те кадры, которые растут у тебя в районе. Руководишь районом невдалеке от границы, создай в нем такие образцовые зажиточные колхозы, чтобы таджикские дехкане из Афганистана, не дожидаясь революции, уже сейчас целыми семьями и кишлаками стремились в твой район. А насчет революции в Афганистане не забудь одного: ничто не в состоянии ее ускорить в такой степени, как рост благосостояния дехканина у нас, в Советском Таджикистане.

— Не учи меня политграмоте. Я тебе говорю, дай мне восемь, много восемь — пять тысяч трудоспособных таджикских дехкан, и я тебе эту долину превращу в цветущий оазис, не хуже ферганского. Только спрашивается: откуда я их возьму?

У входа в контору задребезжала машина. Вошел Синицын.

— Рюмина здесь нет?

— Нет, Рюмин на сто тридцатом пикете.

— А, здорово, Мухтаров! Хорошо, что тебя вижу. Все время хочу к тебе заехать и никак не выберусь. Послал к вам в прокуратуру уже декаду тому назад дело о Переселенстрое, и до сих пор ни слуху ни духу. Сегодня в новом поселке у дарвазцев развалилась половина кибиток. Люди остались без крова.

— Как это развалилась?— вскочил с места Уртабаев.

— Очень просто. Взяла и развалилась. Материал такой заготовили, сукины дети, строители. Гнилой камыш. Явное вредительство. Хотят нам таким манером развалить колхозы. Горцев оставить на жаре без крыши! До этого надо додуматься!.. Вот что, я говорил по этому поводу с Комаренко. У него достаточно эффектные данные. По его сведениям, в управлении Переселенстроя на шесть человек — четыре бывших белогвардейца и один осетинский князь. Для одного учреждения хватит. Очевидно, все колхозные поселки понастроили, мерзавцы, с таким расчетом, чтобы через месяц-другой обвалились. Ты посмотри рамы! Для этого надо было специально мочить дерево и ждать, пока не сгниет. Короче говоря, всю эту шпану надо переарестовать и устроить над ними показательный суд.

— Сделаем,— мрачно согласился Мухтаров.— Расстрелять придется, сволочей, другим для острастки.

— Это уже дело судебных органов.

— И откуда у нас столько этой дряни берется? — поморщился Уртабаев.— Можно подумать, со всего Союза понаехали.

— Хлопковая независимость, да еще граница под боком,— как не понаехать? У всех ведь один расчет: навредил, а потом сиганул через Пяндж, и поминай, как звали. Раньше это еще выходило, а теперь — шутишь!.. Вот. Это одно дело...— Синицын налил стакан воды и выпил залпом.

— А что, есть еще что-нибудь? — насторожился Мухтаров.

— Есть и другое. Агитация идет большая среди переселенцев, особенно тут, в районе Ката-Тага. Говорят, гора сядет, и вода затопит всю низину. Киргизы уходить собираются.

— Что я тебе говорил? — кивнул Мухтарову Уртабаев.

— Народ настолько запуган этой постоянной агитацией, что, боюсь, самый незначительный обвал может вызвать общую панику, и переселенцы у нас разбегутся. Вот будет номер! Ты не думаешь, Саид?

— Нет. То есть, как это... Киргизы, по-моему, разбегутся так или иначе, независимо от обвала. А дарвазцы, если им только создать сносные условия,— не разбегутся. Они у себя в горах не такие обвалы видели. Каждый год, после силей, им приходится чуть ли не заново налаживать свои ирригационные сооружения. Это прирожденные ирригаторы и сызмала привыкли бороться с водой. А вода у них горная, свирепая. Если б ты видел их арыки, проведенные по совершенно отвесным карнизам, где и человеку-то не пройти! Это прямо чудеса ирригационной техники! Да, впрочем, ты ведь работал на Памире.

— Да, в своей области это исключительные мастера.

— Я всегда говорю,— загорелся Уртабаев.— При их практическом опыте, переходящем от отца к сыну, дать им технические знания,— можно создать кадры лучших гидротехников и ирригаторов на весь Союз. Если они здесь акклиматизируются, можно быть совершенно спокойными за сохранность и безукоризненное содержание всей сети. С незначительными размывами и просадками они справятся великолепно сами.

— Если акклиматизируются и не дадут сбить себя с толку...— озабоченно подтвердил Синицын.— Слухи ходят самые невероятные. Говорят, вся вода в землю уйдет, и никакого орошения не будет,— как была сухая земля, так и останется. Есть, мол, какое-то подпочвенное русло, куда вся вода и уйдет...

— А знаешь, ведь эту теорию развивал здесь один московский профессор,— заметил Уртабаев.— Выдвигал гипотезу, что потому именно и высохло древнее орошение.

— Вот в прошлом году разные дураки свои гипотезы здесь сеяли, а сейчас они нам ягодки дают. Особенно упорно распространяют всякие бредни насчет войны. Дескать, англичане, не сегодня-завтра войну нам объявят за то, что мы своим хлебом все рынки забросали. Своеобразное преломление небылиц о советском демпинге. В общем, агитация — это не новость. Новость — то, что мы нащупали, откуда она исходит.

А исходит она главным образом от нескольких рабочих, завербованных из местных колхозов, точнее — из «Красного Октября» и из «Красного пахаря». Насчет «Красного пахаря»: работал у нас тут на строительстве один комсомолец, Урунов. Папаша его как раз член этого колхоза. Так вот, этот папаша прислал к нему на днях парламентера. Увещевает сына немедленно бросить строительство и комсомол и возвратиться, пока не поздно, домой. Дескать, до первого полива всех комсомольцев вырежут. В связи со слухами о басмачах и прочем, это уже пахнет небольшой байской заворошкой. Мы решили отпустить Урунова в этот колхоз. Приедет, как раскаявшийся блудный сын, в лоно родительского дома, а там пронюхает, кто всем этим заправляет, и поведет на месте, в кишлаке, разъяснительную работу... Это к твоему сведению, Мухтаров. Если будешь перетряхивать этот колхоз, так и знай: Урунов никакой не беглый комсомолец, а наш парень. Комаренко об этом деле знает.

— Хоп! А кто у вас там из «Красного Октября»?

— Из «Красного Октября» работают у нас четыре человека. Два хороших рабочих, ударники. А два: Азиз Рахманов и Махмуд Камаров,— явные байские подголоски, только и делают, что занимаются агитацией. Очевидно, с этой целью и поступили на строительство. Мы их пока не трогаем, чтобы не потревожить головку. «Красный Октябрь» дал нам уже в прошлом году одного Ходжиярова. Надо полагать, тут мы имеем дело с орудующей по всем правилам, разветвленной байской организацией, связанной через Ходжиярова с Афганистаном и рассчитывающей, очевидно, в этом году на очередной басмаческий налет.

— Это я все знаю,— кивнул головой Мухтаров.— Вот про твоего Урунова не знал. Это интересный факт.

— Знаешь, тем лучше. В общем, гляди в оба! Нам с твоими колхозами заниматься некогда, с нас своей возни хватит. Урунова я послал в порядке исключения. Договаривайся с Комаренко и ликвидируй всю эту заворошку поскорее, а то на строительстве это плохо отражается. Распугают переселенцев, и вся наша работа пойдет прахом. Хоп! Я поехал. Пока!

— Подожди, я тоже поеду. Подбросишь меня на второй участок,— поднялся Уртабаев.— Ты как, Мухтаров, едешь или остаешься?

— Останусь. Пойду проведать дарвазцев. Надо же посмотреть, как это переселенстроевские поселки обваливаются. Завтра придется вызвать сюда следователя.

Мухтаров, меланхолически посвистывая, вышел во двор.

Посевная прошла по скатам гор без тракторного клекота, скрипом тугого ярма и монотонной песней погонщика нарушая накаленную тишину. С серебряных лемехов, по крутым склонам, шурша, потекли вниз черные сыпучие ручьи, и быки грозно брели вброд, увязая в земле по бабки.

В колхозе «Красный Октябрь» вспашка близилась к концу. Допахивали последние клинья косо вздыбленной богары. Вечером усталые быки и люди медленно спускались с гор, гремя опрокинутыми плугами. Из глиняных крыш кишлака выбегали в небо прямые жала дыма. В жильях варили шурпу.

Тогда в хону к Кари Абдусаторову зашел Рахимшах Олимов.

— Салям алейкум!

— Алейкум салям! — вытер ладонью рот Кари.

Спугнутые женщины, заслонив лицо, бесшумно скрылись на свою половину. Олимов, не дожидаясь приглашения, опустился на палас и, отломив кусок лепешки, окунул в миску с шурпой.

— Завтра сеем,— сказал он, отправив в рот размоченную лепешку, не то констатируя факт, не то справляясь у Кари.

Кари молча кивнул головой.

— Из района ругаются. С севом, говорят, опоздали,— заметил он, отхлебнув несколько глотков.— Надо торопиться.

Олимов понимающе проглотил второй кусок.

— Много ругаются! — поддакнул он осведомленно.— Газеты читал?

Кари отрицательно мотнул головой. Он был неграмотен, и Рахимшах знал об этом великолепно.

— Что пишут в газетах? — спросил Кари с тревогой. Слово «газета» внушало ему всегда смутное опасение.

Олимов окунул в суп остаток лепешки.

— Пишут, что некоторые колхозы засеяли на лучшей земле хлеб, а худшую отвели под хлопок.

— Ну? — насторожился Кари.

— Очень ругаются. Пишут, что только враги советской власти могут так делать. Говорят, будут проверять посевы во всех колхозах и где найдут, что на лучшей земле посеяли хлеб, такие колхозы запишут на черную доску. А чтобы все дехкане знали, кто это против указаний советской власти с баями идет, пропечатают в газете имена всех членов правления.

— Правда так написано?

— Да вот газету дома забыл. Думал, что читал. Хочешь, принесу?

— Пишут, что будут пропечатывать поименно все правление? — еще раз после долгого молчания осведомился Кари.

— Все, как есть, на черную доску. Сверху — название колхоза, а ниже — всех членов правления, по имени и имени отца. Такой потом на базаре постесняется показаться... Вот хорошо, что за нашим колхозом в этом году ничего не числится. А то в прошлом с этим Ходжияровым стыд был на весь район.

— Гм...— невнятно согласился Кари, озабоченно почесывая бороду.

— Что, Давлят скоро вернется? — переменил тему разговора Рахимшах.— Сеять без него будем?

— Присылал человека из Кургана, что приедет послезавтра. Просит в районе добавочного зерна,— не дают.

— А! А тут вот вторая бригада Касыма Саидова выдвинула предложение. Хотят обратиться в район, просить, чтобы нам прирезали двадцать гектар из новых земель. Берутся засеять их сверх плана. Говорят: переселенцев сейчас мало, если обяжемся освоить, район даст. Земля тут недалеко, косогоры. Под хлопок не пойдет, а хлеб на ней посеять можно. Предлагают созвать собрание. Если собрание выскажется за, тогда заодно можно бы пересмотреть и старый план сева. На тех землях, которые предполагались под хлеб, можно будет посеять хлопок, а на тех, что нам прирежут, посеем хлеб. Как ты думаешь?

— Это дело! — прикинув, оживился Кари.— Надо только подождать возвращения Давлята.

— А по-моему, как раз хорошо бы это решить до его возвращения, чтоб уж заодно он и это дело в районе продвинул. Тогда ему, может, и зерна скорее дадут. А то придется ему специально в другой раз в район ехать. Обратимся еще через несколько дней, скажут: «Что же вы так долго думали? Теперь поздно, все равно не засеете».

— Не могу я один, без Давлята, созывать собрание,— подумав, решил Кари.

— Почему не можешь? Очень даже можешь! Ты, в отсутствие Давлята, его заместитель. А потом большинство членов правления — за. Ты — за. Вдова Зумрат — за. Хаким — за. Если даже Ниаз и старик Икрам будут против, все равно — большинство. Да еще Комаренко. Он всегда за то, чтобы площадь посева расширить, можно его и не спрашивать. Да и без него хватит.

— Почему бы нам не подождать Давлята? — упирался Кари.

— Потому что поздно будет. Я тебе говорю. А там, как хочешь,— поднялся Олимов.— Помянешь мои слова.

— Поздно будет? — задумался Кари.— Подожди, Рахимшах! Куда тебе торопиться? Ты уже у меня шурпы поел, зачем тебе спешить? Знаешь, что я думаю?

— Ну, что ты думаешь?

— Я думаю так: Рахимшах был раньше председатель колхоза. Советская власть его сменила. Значит, он был плохой председатель. Может, он и сейчас мне плохо советует.

— Знаешь, что я тебе скажу, Кари?

— Ну?

— Я тебе скажу так: когда я был председателем колхоза, я был дурак. Я не верил, что если советская власть говорит, она правильно говорит, для дехканской пользы. Я не верил советской власти, а верил старым людям. Я жил не своим умом. А советская власть не любит дураков, которые живут не своим умом. Потому советская власть меня сменила. Сейчас ты, Кари,— член правления и заместитель председателя, а я — простой колхозник. Я живу своим умом, а ты живешь чужим. Советская власть не любит людей, которые живут чужим умом. Я тебе больше

ничего не скажу, Кари. Я пойду и поговорю с колхозниками, а ты мне завтра утром скажи — будешь созывать собрание или нет.

— Подожди, Рахимшах! Разве можно так быстро решать большие дела? Куда тебе торопиться? На, поешь, мой каймак. Вот тебе еще лепешка...— Кари достал из сундучка лепешки, тщательно завернутые в дастархан, и, вынув одну, быстро спрятал остальные.

В хону вошло несколько дехкан и, прижимая в знак приветствия руки к груди, начали рассаживаться на паласе. Это были бригадиры всех восьми бригад, пришедшие за инструкциями на завтрашнее утро: где и с какого конца начинать сев. За бригадирами протиснулась вдова Зумрат. Еще минуту спустя в дверях появился Ниаз Хассанов. В хоне внезапно стало тесно.

Приход Ниаза, правой руки Давлята, сильно смутил Кари. Он уже пожалел о том, что задержал Олимова, но идти напопятную было поздно и прерывать разговор, давая понять Олимову, что он, заместитель председателя, испугался появления Ниаза, Кари постеснялся. Это подтвердило бы только язвительное замечание Рахимшаха, что он, Кари, живет не своим умом.

Он степенно огладил бороду и, поддерживая прерванный разговор, нарочито громко, чтобы расслышал и тугой на ухо Ниаз, заговорил:

— Скажем, я послушаюсь большинства и, не дожидаясь возвращения Давлята, созову собрание? А дальше что? Время сейчас неспокойное. Разное говорят... В неспокойное время каждый хочет, чтобы в кишлаке осталось побольше хлеба... Хлопка не скушаешь. Хлопок нужен советской власти, а дехканам нужен хлеб. Разве советская власть обеднеет, если дехканин не досеет и не додаст немножко хлопка?

Олимов обвел глазами собравшихся и, отвечая Кари, обратился одновременно ко всем:

— Вот он говорит, что дехканину нужен хлеб, а хлопок нужен советской власти. А когда он приходит в кооператив, про что он спрашивает прежде всего? Он спрашивает: есть ли мануфактура? — и очень сердится, если ее нет. И правильно сердится, потому что ему нужен халат, и его сыну нужен халат, и его другому сыну нужен халат, и его жене нужен халат. Советская власть не обеднеет, если ты, Кари, не досеешь

немного хлопка. Только если каждый дехканин не досеет немного хлопка, то каждому не хватит немного на халат. А что ты ответишь, Кари, если советская власть, выдавая тебе мануфактуру, скажет: вот тебе ситец на халат, только — извини меня, Кари,— тут немного не хватает, всего на один рукав. Поноси в этом году халат с одним рукавом.

Бригадиры дружно заржали.

— Халат с одним рукавом носить нельзя,— сказал Кари.— Ты очень хитро говоришь, Рахимшах. Если ты такой умный, я тебе загадаю одну загадку. Раньше мы не сеяли хлопка и на базаре могли купить сколько угодно мануфактуры, а теперь мы сеем хлопок, а мануфактуры на базаре не хватает. Вот, скажи мне,— почему это? Ведь ты все знаешь.

— Я тебе, Кари, лучше загадаю другую загадку,— сказал Олимов.— Почему раньше на базаре можно было купить сколько угодно мануфактуры, а ты, сколько лет тебя знаю, всегда ходил в одном и том же рваном халате, и у жены твоей была одна рваная рубашка, и ребятишки твои бегали оборванные?

— Это никакая не загадка. Я был всегда бедный человек и сейчас остался бедняком.

— А все-таки сейчас, если ты заглянешь в свой сундук, ты увидишь, что там лежат три твоих халата, и у сыновей есть по два халата, и у жены, наверное, не одна и не две рубашки.

— Ты лучше в своем сундуке считай, чем по чужим лазить,— окрысился Кари.

Бригадиры захохотали. Все знали, что Рахимшах метко задел у скупого Кари больное место.

— Слушаю я тебя, Кари, и удивляюсь,— вмешалась вдова Зумрат.— Ты, член правления да еще заместитель председателя, вместо того чтоб объяснить колхозникам, кто чего не понимает, сам загадываешь другим глупые загадки. Если тебе очень хочется, я тебе ее разгадаю. Когда ты был молодой, Кари, ты недоедал, ходил в рваном халате, во всем себе отказывал и десять лет работал, как вол, потому что хотел собрать на калым, взять в дом жену и вырастить с ней сыновей, чтобы после твоей смерти было кому прочесть по тебе Суру. После, когда ты уже выплатил калым, взял жену и вырастил с ней ребятишек, тебе тоже приходилось жить бедно, но ты, наверное, не жалеешь

тех десяти лет, которые тебе стоил калым, потому что о человеке, у которого нет ни жены, ни сыновей, разве можно сказать, что это действительно человек? Теперь советская власть отменила калым, и сыну твоему уже не придется, как тебе, работать недоедая, чтобы получить жену. Но советская власть говорит: разве о том, как жили раньше наши дехкане, можно сказать, что это действительно жизнь? И советская власть говорит дехканам: несколько лет вам придется кое в чем себе отказывать,— много меньше, чем вы отказывали себе раньше. Но то, без чего вы обойдетесь,— не пропадет. Придет время, и вы получите за это новую, хорошую жизнь. Так скажи мне, Кари, неужели тебе стоило десять лет обходиться без всего, чтобы уплатить калым за жену, а теперь тебе не стоит отказывать себе в лишнем халате и в лишнем куске сахара, чтобы уплатить калым за новую, хорошую жизнь? И разве о дехканине, который поступает так, как ты, можно сказать, что это рассудительный дехканин?.. А теперь, Кари, скажи нам всем,— мы пришли узнать, созовешь ты собрание или не созовешь? Потому, если не созовешь, то мы его созовем сами.

— Ай, какой торопливый народ! — покачал головой Кари.— Кто сказал, что я не хочу созывать собрания? Мы как раз советовались с Олимовым, когда лучше созвать, чтобы не отрывать людей от работы, и я был против того, чтобы созывать завтра. Я думаю, лучше созвать сегодня...

В скальной траншее, по колено в воде, рабочие грузили в ковши желтые осколья породы, с трудом поспевали за отрывистыми поворотами стрел. По голым торсам градом струился пот. О таком лихорадочном темпе работ еще месяц тому назад никто на строительстве не имел представления. Тогда работали с прохладцей, это понимал сейчас каждый, и показатели прошлого месяца, по сравнению с нынешними, звучали как неприличный анекдот. Премированным тогда ударникам стыдно было сегодня в этом признаться. Тридцать тракторов, расставленных вдоль кавальера, откачивали воду. Размеренный стук трактора подсказывал такт, по этому такту равнялись. Сгиб вниз! выпрямись!.. в ковш!..

Через каждые четыре минуты по наклону с грохотом слетал бремсберг и с разбегу залпом влетал на наклон. По вогнутой дуге наспех утрамбованной дороги стремительно съезжали на дно пустые автокары и, нагруженные, карабкались вверх, простуженно хрипя коробкой скоростей.

Морозов, зажмурив глаза, ловил настороженным ухом размеренный гул работы. Кажется, все нормально. Если не будет непредвиденной аварии — вытянем. Он насторожился. Навстречу по кавальеру рысью бежал Андрей Савельевич. У Морозова неприятно заныло под ложечкой.

— Что случилось?

Андрей Савельевич, смертельно бледный, нервно шмурыгал носом.

— Ну?

— Звонили с Ката-Тага. Вызывают товарища начальника. Менк VI встал.

— Что значит встал? Почему?

— Пробило фильтр в масляном насосе. Задрана шейка коленчатого вала. И подшипники — к черту.

Морозов почувствовал, как лицо его наливается кровью.

— Вы отдаете себе отчет, что это для нас значит?

Андрей Савельевич опять шмурыгнул носом. Морозов посмотрел на его побледневшие губы.

«Чего ж я на него кричу? Он тут ни при чем. Авария не на его прорабстве...»

— Вызовите немедленно Кирша,— распорядился он, овладев собой.— А драгеров арестовать! Позвоните прорабу.

— Товарищ Кирш уже там. Смотрит дизель. Драгеры говорят: в маслопроводе обнаружен гвоздь. Думают, кто-нибудь нарочно...

— А кого ж это они к экскаватору подпускают? Что вы мне сказки какие-то повторяете!

— Может, кто-нибудь из нижников?..

— Кто отвечает за дизель: нижняя бригада или драгер?— багровея, закричал Морозов.— Арестовать обоих драгеров.

— Слушаю.

Морозов сидел уже в машине. У подножия горы его встретил замасленный Кирш.

— Ну что?

— Весь дизель исковеркан.— Кирш спокойно вытирал платком руки, но руки его дрожали.— Гнали до тех пор, пока совсем не застопорило мотор. Минимум недельный ремонт.

— Убью! Подлецы! Вредители!— загремело за спиной Морозова. Кирш и Морозов невольно оглянулись. Сухопарый Гальцев тряс за грудки двух несопротивляющихся драгеров:— Сволочи! Что с экскаватором сделали?

Он отпустил драгеров и повернулся к Морозову, хотел что-то сказать, вдруг скулы его дрогнули. Он отвернулся, присел на камень и, спрятав лицо в руках, заплакал.

— Есть, может, какой-нибудь выход?— безнадежным голосом, не глядя на Кирша, спросил Морозов.

— Выход...— задумчиво повторил Кирш.— Если бы были хоть два гидромонитора, чтобы смыть в этом месте отвал и освободить кавальер,— можно было бы перебросить сюда со сто тридцатого пикета Бьюсайрус 14. На такую высоту он не подаст — стрела коротка. Не знаю только, удастся ли нам самим изготовить в наших мастерских гидромонитор, да еще в такое короткое время...

Он не докончил. Между ним и Морозовым вырос Гальцев:

— Сделают, товарищ Кирш! Морду, сукиным детям, набью, если не сделают! Вы им только расскажите, как его делать, это гидромагнето. Обязательно сделают! Пойдем сейчас в мехмастерские!

— Подождите, товарищ Гальцев.— Кирш повернулся к Морозову.— Попробовать, очевидно, придется. Другого выхода не найдем. Гидромонитор в конце концов не такая уж сложная штука. Если не смогут сделать трехступенчатый насос, сделают простой. Четыре атмосферы хватит. Давайте в самом деле пойдем к Крушоному. Попытка не пытка.

Они сошли вниз и сели в машину.

— Гидромонитор имел бы еще и то преимущество, что укрепил бы дамбу, замачивая ее водой,— заговорил Кирш.— Основной принцип гидромонитора очень прост: центробежный насос, десятидюймовый всасывающий шланг и семидюймовый выхлопной... получается струя давлением атмосферы в четыре — достаточная, чтобы смыть отвал. При трехступенчатом

насосе — давление в десять и больше атмосфер. Такой струей можно, как ножом, резать на куски нашу скалу. Но это дело более сложное...

Автомобиль летел с такой быстротой, что сидящий рядом с шофером Гальцев с трудом улавливал обрывки фраз.

Начальник механизации, инженер Крушоный с первых же слов обнаружил полную осведомленность в системах гидромониторов. У Морозова отлегло от сердца. Он справился, когда мехмастерские смогут изготовить первые два гидромонитора, принимая во внимание катастрофическое значение буквально каждого потерянного часа. Но тут инженер Крушоный безнадежно развел руками и заявил с огорчением, что при том качестве литья чугуна, какое дает литейный цех, при полном отсутствии сносного кокса и мало-мальски приличной вагранки, не говоря уже о валовой стали, изготовить гидромонитор в мехмастерских совершенно невозможно.

Морозов минуту смотрел на миловидное огорченное лицо инженера.

— Вы, кажется, не понимаете, товарищ,— сказал он хрипло.— У нас срывается все строительство. Мы к поливу не сможем дать воды.

— Нет, я прекрасно понимаю,— печально улыбнулся Крушоный.— Но я же не могу вас обманывать. Гидромонитор, сделанный из нашего материала, разорвется при первой пробе.

— Иван Михалыч!— ворвался в разговор Гальцев.— Что вы ему, сволочу, объясняете! Разве такая контра понимает? С ними без ГПУ разве чего добьешься? Пойдем в цех! Я с мастером поговорю. Сделают! Вот вам моя голова, сделают!

— А в самом деле, с вами, видно, на другом языке разговаривать надо,— бросил сквозь зубы Морозов и, отстранив рукой растерянно улыбающегося Крушоного, прошел в мастерские.

В цеху, в итоге летучего митинга, на котором Морозов сжато обрисовал положение, а Кирш изложил принцип и структуру гидромонитора, выяснилось, что валовая сталь есть и что ее хватит на сопла по меньшей мере для пяти гидромониторов. Штуцера, по предложению самих рабочих, решено было сделать из железа. Три лучшие бригады взялись, в порядке сорев-

нования, к следующему утру изготовить по одному гидромонитору, под непосредственным наблюдением Кирша, оставшегося лично руководить работой.

Договорившись обо всем, Морозов отозвал Кирша в сторону:

— Крушоного снять с работы! К чертовой матери!

— Стоит ли, Иван Михайлович, за три недели до конца назначать нового начальника механизации? Пока войдут в курс... Пострадает от этого только работа мастерских.

— Ну, как хотите. Только тогда вам лично придется взять непосредственное наблюдение над механизацией.

— Это само собой разумеется...

Покидая механические мастерские, Морозов еще раз столкнулся с Крушоным. На красивом задумчивом лице инженера блуждала все та же печальная улыбка. Улыбка говорила: «конечно, оперируя нервами, можно заставить рабочих сделать что угодно, но результаты этого могут быть только плачевные». Морозов прошел словно мимо пустого места.

На дворе уже стемнело. Морозов быстро миновал городок. Нужно было немедленно отдать распоряжение о переброске с сто тридцатого пикета Бьюсайруса 14. К утру экскаватор должен быть на месте. Морозов ускорил шаги. Кто-то окликнул его по имени.

— Дарья?

— Подожди. Куда бежишь? Фу! Еле догнала.

— Ну что?

— Как же с экскаватором-то, починят?

— Заменим другими приборами.

— Чем замените?

— Гидромониторами. Ну, водой размывать будем.

— Работа от этого не задержится?

— Посмотрим, нельзя знать заранее. Если хорошо пойдет, не задержится.

— Ты очень торопишься?

— Очень. А что?

— Поговорить я с тобой хотела. Недолго. Ты не бойся,— темно, никто не увидит.

— Лучше бы ты зашла ко мне попозже. Или вовсе уж ходить перестала?

— Не могу. Тяжело ходить. Видно, и до конца строительства не дотяну. Думала, доработаю до отпуска. Тяжело.

— Это что еще за штуки?

Она взяла его за руку.

— Беременна я. Седьмой месяц...

Было это настолько неожиданно, что Морозов растерялся. Как обычный первый рефлекс самозащиты перед смущением, подоспела на выручку грубость.

— А черт тебя знает, с кем это нагуляла.

Она отпустила его руку. Он увидел впотьмах отодвинувшееся белое пятно ее лица.

— А ты что, испугался? Боишься, алименты с тебя спрашивать буду? Не трясись. Не буду. Нужен ты мне, как собаке здрасте!— она отвернулась и быстро пошла прочь.

— Даря!— испуганно позвал Морозов, смутно чувствуя, что случилось что-то непоправимое.— Даря!

Оклик остался без ответа.

— Даря!— окликнул он еще раз темноту.

Бежать за ней впотьмах не было смысла. Окликать ее еще громче? Мог услышать кто-нибудь из проходящих. Морозов понимал, что обидел ее больно и незаслуженно. «Ну что ж, придется ее разыскать завтра и извиниться».

Он вспомнил о Бьюсайрусе 14, который необходимо до завтра перебросить на семнадцатый пикет, и зашагал в контору.

Возвращаясь поздно ночью домой на растрясенной машине, проезжая «американские горки», он опять вспомнил о Даре. Молодец баба! С гонором! Он впервые подумал отчетливо, что у Дари родится ребенок и что ребенок этот — его. Не испытанное никогда чувство отцовства вызывало теплое смущение. Он попытался представить себе этого незнакомого малыша, увидел голого большеглазого мальчугана. Что-то защекотало внутри. «Смешно. Ребенок. Что ж, вот и разрешение вопроса... Придется теперь обязательно это дело оформить. Благо и строительство приходит к концу. Все просто и никаких проблем».

Он задремал, убаюканный привычной качкой машины.

Ударники механизации не подкачали. Опыт с установкой трех изготовленных за ночь гидромониторов состоялся ровно в девять часов утра. Вся отработав-

шая ночная смена, не расходясь по баракам, облепила в ожидании склон противоположного кавальера. Все уже знали тревожную новость: начальник механизации заявил, что материал не выдержит и гидромониторы при пробе разорвутся.

Слегка пожелтевший спокойный Кирш и бледный Морозов внимательно проверяли последние детали установки. Вытянувшийся еще больше за ночь Гальцев, задевая ногами за шланги, путался неотступно между рабочими. Морозов несколько раз предлагал ему не мешать и отойти. Гальцев бурчал что-то невнятное и отходил, чтобы остановиться у соседнего шланга. Он считал, что перед лицом рабочих, там, где жизнь нескольких из них может подвергаться опасности, секретарю постройкома, как морским капитанам в иностранных романах, подобает находиться на опасном участке.

Наконец Кирш подал рукою знак, заработали трактора, и из стальных жерл трех гигантских удавов с пулеметным треском трататахнула вода. Все вздрогнули. Вода тремя толстыми металлическими струями ударила в изогнутый хребет отвала, и хребет прыснул, обнаруживая глубокую пробоину. Вода, стреляя и грохоча, упрямо била в брешь. И вдруг широкий клин отвала зашевелился, осунулся и потек шуршащим водопадом серозема. Вода никелированным тараном ударила ниже. Постепенно весь отвал на форсируемом отрезке стал медленно оседать, отступать назад, пока наконец не расползся, как тесто, по просторной равнине за кавальером.

Морозов вытер платком лоб и медленно сошел в траншею.

Только часа четыре спустя, проходя мимо женской бригады, Морозов вспомнил о Даре. Он поискал ее глазами. Дари в траншее не было. Подошел Андрей Савельевич.

— А куда ж это их бригадирша девалась?— спросил у него Морозов, стараясь придать своему голосу возможно более равнодушный оттенок.— Такая премированная ударница, неужели прогуляла?

— Товарищ начальник имеет в виду Дашку Шестову?— переспросил прораб.— Сегодня взяла расчет.

Живот нагуляла. У нас на строительстве парни плодовитые. Пришлось отпустить. Свидетельство врача представила: семь месяцев.

Морозов смолчал.

Валандаясь в оглушительную жару по участку, где работы шли своим нормальным ходом, он с беспокойством думал о Даре. Как же с ней повидаться? Он решил наконец пожертвовать всякой конспирацией и настрочил записку, в которой просил Дарю выйти к реке, к валунам. Разыскав первого подвернувшегося парнишку и всучив ему рубль, Морозов велел разыскать Дарью Шестову и передать ей письмо. Мальчуган скоро прибежал назад с нераскрытой запиской и сообщил, что Дарья Шестова выехала сегодня из барака и больше там не проживает.

Морозов смял листок и отошел прочь. Он не знал, куда могла уйти Дарья. Расспросить было не у кого.

К вечеру, после долгих колебаний, он решился на шаг, компрометирующий его окончательно: обратиться к Андрею Савельевичу. Он отыскал его на седьмом пикете и, глядя в сторону, попросил, в порядке личного одолжения, узнать в женской бригаде, куда переехала и где находится сейчас Дарья Шестова. Он не видел удивленных глаз прораба, видел только его почтительно склоненное темя. Андрей Савельевич обещал разузнать немедленно.

Он разыскал Морозова перед конторой и, отозвав его в сторону, сообщил вполголоса, так, чтобы не слышал никто из близстоящих, что товарищ Шестова уехала сегодня на грузовике в Сталинабад. Он не называл ее уже Дашка, и во всей его худощавой фигуре было что-то одновременно строго-почтительное и конспиративное.

Морозов коротко сказал: «спасибо»— и, обращаясь к Кларку, деловито, не дрогнувшим голосом справился о работе гидромониторов. Гидромониторы работали великолепно.

Приехав домой в три часа ночи, Морозов долго ходил взад и вперед по пустым комнатам, потом сел за стол и написал обстоятельное письмо. В письме он умолял Дарью простить ему его грубость, просил разрешения устроить ее в Сталинабаде на время родов, предлагал начать жить вместе, как муж и жена. Другое письмо он адресовал своему приятелю, наркому,

Он просил наркома разыскать в Сталинабаде, хотя бы пришлось для этого прибегнуть к помощи милиции, выехавшую туда работницу Дарью Шестову и передать ей прилагаемое письмо. Он не сомневался, что во имя старой дружбы нарком приложит все усилия и во что бы то ни стало исполнит его просьбу.

Заклеив оба письма, Морозов окончательно успокоился и, не раздеваясь, прилег на кровать. Зазвонил телефон. Кларк сообщил, что на восьмом-девятом пикете, при подходе к проектным отметкам, на толщину недобора 0,6, под слоем конгломерата обнаружен слой плывуна — неустойчивого лёссообразного грунта, насыщенного водой. Стена конгломерата спускается в этом месте резко вниз и отрезает путь грунтовым водам. Прослойка плывуна, по всем данным, идет с горы по направлению к пойме Вахша. По тому же направлению, очевидно, движутся и грунтовые воды. Вода из канала, просачиваясь через плывун, может уйти обратно в Вахш. Единственный выход — произвести на всем опасном отрезке дополнительную выемку и закрепить дно толстым слоем глинобетона. Это затянет работы еще на двенадцать дней. Необходимо немедленно проверить гидравлическим способом движение грунтовых вод...

Морозов повесил трубку и по внутреннему аппарату вызвал машину.

*

пауза вторая

ОБ ОДНОМ КОЛХОЗНИКЕ

«Одним из лучших хлопковых районов является Арал — остров, окруженный протоками Вахша; земля здесь отличная; воды вполне достаточно. Во время басмачества население Арала разбежалось, но теперь остров заселяется снова».

(Проф. *П. Г. Малицкий:* «Учебное пособие по географии Таджикистана»).

«Таковы повести, которые мы рассказываем тебе о сих городах: из них одни еще стоят на корню своем, а другие уже пожаты» [1].

. . . .

[1] Коран, II; 102.

Был Қасым-токсаба[1] известен на весь Арал не только стадами своих баранов (были в кишлаке скотоводы богаче его), но славился он перед всеми великим умом и силой: шестипудового барана подымал одной рукой и взваливал на седло, а серебряную тангу[2] ломал в пальцах, как кусок черствой лепешки. Звали его за это еще Қасым-полван[3]. Был Қасым в каком-то родстве с самим гиссарским беком. Родство было — десятая вода на киселе, но, когда токсаба говорил: «Мой дядя гиссарский бек»,— не было такого, кто бы посмел усомниться. Все знали, что восемь лет назад тогдашний мирахур[4] Қасым повез в подарок беку, кроме сотни баранов, свою одиннадцатилетнюю дочь. Бек остался доволен подарком и благоволил с тех пор к Қасыму-токсабе. И хотя чрезмерным умом никогда токсаба не блистал и до смерти не осилил искусства подписывать свое имя на бумаге, слыл он с тех пор человеком умным и прозорливым: разве не надо большого ума, чтобы снискать благоволение бека, и разве многие умники сумели этого достигнуть?

Любил Қасым-токсаба плотно и жирно поесть. Говорили, что он с братом съедает вприсест молодого барашка, а пятифунтовый курдюк глотал на пари, как глотают гроздь винограда. Любил еще Қасым драть козла, и была это его единственная большая страсть. ставшая для него роковой. Равного ему козлодера не было во всей округе. И в Курган-Тепа, и в Джиликуле, и даже в Дюшамбе, когда на козлодранье являлся Қасым, менее уверенные всадники заблаговременно поворачивали коней.

Смерть Қасыма-токсабы была так же назидательна и библейска, как вся его жизнь, и предвосхищена в евангелии изречением: «Взявший меч — от меча погибнет». В один будничный день, отмеченный лишь тоем[5] по случаю свадьбы сына муллы из Ляура, на заурядном козлодранье, в котором принимало участие не более сорока джигитов, конь Қасыма сломал переднюю ногу и сбросил всадника под копыта состязавшихся. Қогда взбудораженная орава ускакала в азартной по-

---

[1] Чин в бухарской иерархии.
[2] Монета.
[3] Богатырь, силач.
[4] Мелкий кишлачный чиновник.
[5] Пир.

гоне, Касым был поднят с земли с головой, раздробленной, как кувшин, неистовым конским копытом.

Молва говорит, что на поминках Касыма-токсабы было съедено пятьдесят баранов и столько же мешков риса, но молва любит преувеличивать данные о смерти героев.

Было у Касыма-токсабы три жены, однако за неизвестные грехи бог обидел Касыма мужским потомством. Только пятидесяти лет от роду, взяв в дом четвертую жену, Махтоб, прижил с ней Касым сына. Махтоб, сделав свое дело, при родах умерла, а сын выжил и дали ему имя Шохобдин в честь муллы, посоветовавшего жене Касыма съездить к святому источнику. Злые языки говорили, что Махтоб помог не столько святой источник, сколько брат Касыма — Пулат, но мало ли что говорят злые языки.

Когда похоронили Касыма, было его сыну Шохобдину одиннадцать лет. Поминками по умершем занялся Пулат, почтивший память покойного по всем правилам шариата и не пожалевший Касымовых баранов. Потом Пулат, посыпав голову пылью, погнал в Гиссар стадо овец и увез свою младшую дочь, Айшу. Вернулся Пулат как раз к пятинедельным поминкам —чиль— без баранов и дочки, но зато с грамотой бека, и в грамоте значилось, что отныне токсабой в кишлаке назначается он, Пулат. Потом Пулат с семьей переехал в дом Касыма. Одиннадцатилетний Шохобдин был живо устроен к бездетным родственникам, проживавшим на другом конце кишлака. Но тут-то и вышла заминка. Мальчик забился в угол, заявил, что из дома никуда не уйдет, и дядю, пытавшегося его образумить, пребольно укусил в руку. Не желая возбуждать лишних толков, дядя не настаивал.

Когда верблюд хочет есть, он опускает голову. Неделю спустя строптивый мальчик, исхудалый, как щепка (вероятно, от горя по почившем родителе), сам покинул дом дяди и перебрался к родственникам.

Жил Пулат-токсаба в мире и почете девятнадцать лет, откармливал и резал баранов, умеренно драл козла и неумеренно обдирал дехкан, оплодотворял жен и, наподобие библейских патриархов, обрастал потомством. И прожил бы, вероятно, в благополучии до самой смерти, если бы в один нехороший осенний вечер не зашел к нему в гости Шохобдин. Было тогда Шохо-

бдину тридцать лет, и был Шохобдин мужчиной нрава крутого.

После смерти бездетных родственников осталось ему в наследство их незатейливое хозяйство. Жил Шохобдин в кишлаке на отлете, и отношения у них с дядей-токсабой были скорее плохие: никто ни разу не видел Шохобдина в доме Пулата. Поэтому, когда в нехороший осенний вечер Шохобдин переступил порог Пулатовой хоны, сидевшие там почтенные гости оборвали разговор и деловито завозились около чайников: кому охота заглядывать в чужие дела? Вышли Шохобдин с Пулатом в сад, и говорили они там долго, а о чем говорили — никто, кроме них двоих, так и не узнал. Только вернулся Пулат из сада в расстроенных чувствах. Гости, молчаливо слопав барашка,— зачем пропадать добру? — тихонько разошлись по домам.

Говорили в этот вечер в кишлаке, будто Шохобдин пришел сообщить Пулату, что решил жениться и наладить хозяйство. И будто сказал Шохобдин дяде, что не мешал ему наживать богатство на отцовском добре, но всему свой срок, и пора подумать о дележе. Предлагал Шохобдин Пулату разделить с ним имущество пополам. Пулат очень обиделся, назвал Шохобдина сумасшедшим разбойником, запретил приходить в свой дом и обращаться к нему с подобными глупостями. Шохобдин сказал «хоп!» и ушел, не попрощавшись.

О разговоре этом пошли толки месяца два спустя, когда в хону Пулата притащились исхудалые от страха пастухи и доложили хозяину, что на его стада, возвращавшиеся с летних пастбищ, у подножья гор Гиссара напала шайка басмачей под командой знаменитого вора и конокрада Исмаила-кунградца. Большое стадо баранов басмачи угнали в горы, а тех, которых угнать не могли, перерезали тут же на месте и бросили на съедение стервятникам.

Говорят, что при вести об этом несчастье Пулат-токсаба поседел на глазах у присутствующих. Нашлись даже свидетели, которые клялись, что видели это собственными глазами. Было, впрочем, тогда Пулату пятьдесят семь лет, и, по всем естественным данным, успел он поседеть задолго до этого происшествия. Неоспоримо одно: первым словом, которое произнес Пулат, обретя дар речи, было имя Шохобдина. Однако,

несмотря на самые строгие расспросы, было установлено со всей точностью, что Шохобдин за все время никуда из кишлака не отлучался, деятельно готовясь к женитьбе. Единственным туманным намеком на его причастие к гибели Пулатовых стад были слухи о большом калыме, который Шохобдин уплатил курган-тепинскому ишану. Пулат не поленился съездить в Курган-Тепа, но ишан заверил его, что калым взял совсем небольшой, в память своей дружбы с покойным отцом Шохобдина. Пулат понял, что, взяв от Шохобдина деньги, ишан не намерен их возвращать, и вообще глупо было терять время на эту поездку. Тогда он оседлал своего лучшего коня и поехал с жалобой к самому гиссарскому беку.

Свадьба Шохобдина с дочерью курган-тепинского ишана состоялась в отсутствие Пулата. По достоверному заверению стариков, такого тоя не видал кишлак со дня поминок по безвременно погибшем Касыме. Сколько баранов зарезал в этот день Шохобдин, никому в точности не было известно, но еще три дня спустя весь кишлак икал жареной бараниной. «Если дают дыню, какое тебе дело, из чьего она огорода»,— говорили почтеннейшие старики, облизывая пальцы после Шохобдиновых баранов. Все внезапно вспомнили про старого Касыма и, причмокивая от плова и от избытка чувств, восхваляли его силу и доблесть, сходясь на одном, что другого такого токсабы кишлаку не видать. Молодой Шохобдин собственноручно подносил старикам самые жирные блюда, убеждая объевшихся изречением из Корана: «Ешьте, пейте дотоле, покуда вам нельзя будет различить белую нить от черной нити». Все хвалили его незаурядный ум и мечтательно закрывали глаза, вспоминая ум его отца и его тестя-ишана.

Долгое время Пулат находился в отъезде. Доходили слухи, что бек, по его просьбе, снарядил специальный отряд для поимки Исмаила-кунградца. Потом однажды пришла весть, что Исмаил-кунградец пойман живьем и что бек подарил его Пулату. Была уже зима, на полях Арала лежал снег, белый, как сахар, и мороз стоял такой, какого не помнили с давних пор, когда однажды утром Пулат явился домой, ведя в поводу коня. И сразу разнеслось по кишлаку, что в полдень у речки, на глазах у всего народа, токсаба будет

наказывать своего обидчика. Все мужчины высыпали гурьбой смотреть на казнь Исмаила. Связанного басмача, раздетого догола, токсаба погнал к реке. Два Пулатовых батрака поливали Исмаила студеной водой. После каждого ведра токсаба спрашивал громогласно: «Кто тебя уговорил резать моих баранов? Назови имя твоего сообщника!»

Шохобдин, сын Касыма, занятый по хозяйству, один из немногих не присутствовал при казни кунградца.

Пулат упорно утверждал перед казием [1], что, прежде чем обратиться в сосульку, Исмаил назвал имя Шохобдина. Однако свидетелей, которые подтвердили бы это, не нашлось. И мира-хур, и караул-беги [2], и арбоб [3] во время экзекуции случайно стояли в стороне и не могли расслышать последних слов замерзающего. Те, которые стояли ближе, уверяли, что рот кунградца замерз после первых же ведер.

Пулат не убедил казия. Токсаба понимал хорошо, что слова, не подкрепленные баранами, не имеют веса, а последних его баранов доедал гиссарский бек.

В следующие годы токсаба взялся так рьяно наверстывать потерянное имущество, что от непосильных тягот взвыл весь кишлак. К концу четвертого года Пулат был опять зажиточным хозяином, хотя стада его не составляли половины погубленных Исмаилом. Однако чрезмерной жадностью он вконец подорвал свой прежний авторитет. Все чаще почетные гости, минуя дом токсабы, заходили в новую хону к Шохобдину, и все чаще, вспоминая за пловом подвиги покойного Касыма, поговаривали они о добрых старых временах, когда титул токсабы переходил по наследству от отца к сыну.

Один лишь Пулат, проходя мимо дома Шохобдина, плевался и отворачивал голову. Он не раз проклинал ту весеннюю душную ночь, когда помутил его дьявол оплодотворить богатырским семенем младшую из жен Касыма.

Однажды, возвращаясь поздно вечером с базара, Пулат-токсаба подъехал к Вахшу и не застал там бур-

---

[1] Духовный судья.
[2] Мелкие эмирские чиновники.
[3] Кишлачный староста.

дючников. Он решил уже было заночевать на берегу, когда заметил неподалеку надувающих бурдюки дехкан. Он сторговался с ними за полтанги, откупил бурдюки, прикрепил их к лошадиному хвосту и полез в Вахш. Недоплыв до середины реки, он услышал подозрительный свист и, столбенея от страха, заметил, что воздух из бурдюков стремительно уходит. Бурдюки были дырявые. Он нырнул раз и другой, густо хлебнул воды, попытался уцепиться за хвост коня, но нащупал рукой пустоту, пробовал плыть, вода швырнула его в сторону и ударила о торчащие глыбы. Он вынырнул еще раз и, подхваченный налетевшей волной, кувырком полетел вниз по течению.

Конь Пулата пришел домой без всадника. Домашние подняли тревогу. Нашлись люди, видевшие токсабу ночью невдалеке от переправы. Каючники шестами обшарили реку, но утопленника не нашли. К вечеру в доме Пулата уже перебирали рис, готовясь к траурному тою.

Тогда среди ночи Шохобдин оседлал коня, посадил в седло свою девятилетнюю дочь Ширин и, приказав пастуху гнать за собой сто пятьдесят отборных баранов, тронулся в Гиссар.

Бек благосклонно принял подарки. Это был семидесятилетний дряхлый старичок, большой любитель козлодранья, помнивший еще Касыма-полвана и ничего не имевший против, чтобы сын Касыма и отец такой миленькой девочки стал в своем кишлаке токсабой.

С грамотой в платке отправился Шохобдин домой. Ранним утром выехал он в кишлак на взыгравшем коне. Улицы кишлака были еще безлюдны. Первым человеком, которого встретил в это утро Шохобдин, был Пулат-токсаба. В первую минуту Шохобдин не узнал его, а узнав, не поверил глазам. Изуродованное лицо Пулата обвязано было белым тряпьем. Он хромал и опирался на палку. Узнать его было можно только по грузной богатырской фигуре. Завидя Шохобдина, Пулат тоже остановился и посмотрел на него внимательно. И было во взгляде этих двух людей, встретившихся на слишком узкой дорожке, столько непримиримой ненависти, что даже конь Шохобдина, почуяв недоброе, рванул и рысью пошел домой.

Шохобдин узнал от домашних, что Пулат вернулся домой как раз к траурному тою. Вода несла его пят-

надцать верст, глуша и коверкая о камни, и все же на пятнадцатой версте он выкарабкался на берег. Два дня и две ночи он пролежал без памяти в прибрежных кустах и на третью ночь, весь изуродованный, с вывихнутой ногой, на четвереньках добрался до кишлака.

Шохобдин не сказал ничего, только жену свою Халиму, спросившую с плачем о дочери, так пнул ногой во вздутый живот, что жена с воем отлетела к стенке.

Ходил Пулат в токсабах после этого происшествия еще целых четыре года, хотя нельзя сказать, чтобы это были счастливые годы его жизни. Говорили старики, что повис над ним злой рок. Правда, последние годы жизни токсабы были годами несчастий, обрушившихся не на него одного. Поздней осенью странники принесли слух о разгроме неверными благородной Бухары и о бегстве великого эмира Саид Олим-хана в Байсун. Старики упорно отказывались верить этой нелепой вести. Они знали хорошо, что из восьми ворот, ведущих в рай, одни ворота открываются туда прямо из Бухары. Было безбожной ересью, противной учению ислама, утверждать, что бог открыл райские ворота неверным. Однако за первыми слухами поползли другие, все более косматые и грозные. Говорили, что войска эмира, пробовавшие прорваться на Шахризябс, разбиты под Байсуном неверными; эмир отступает к Дюшамбе. На дюшамбинской дороге появились груженные золотом караваны эмирских верблюдов. Отрицать происшедшее стало невозможно. Когда же, накануне весны, караваны эмира двинулись в беспорядочном бегстве через Курган-Тепа к Чубеку и вслед за эмиром по дороге на Курган проскакал со своим караваном гиссарский бек, все уже знали, что и Гиссар и Дюшамбе заняты красными и что завтра, догоняя эмира, неверные войдут в Арал.

В Арал, лежавший в стороне от большой дороги, вошли они, впрочем, позже, уже после того, как эмир с гиссарским беком бежали за Пяндж, в страну афганцев, сохранившую законы шариата.

Тогда начались месяцы настоящей смуты. В Кокташе объявился Ибраим-локаец, вор и конокрад, компаньон безвременно погибшего Исмаила-кунградца, провозгласил себя беком и стал созывать народ на свя-

щенную войну с неверными. Много народу пошло под его команду. Над пастбищами густо засвистели пули, сшибая в садах крутые желтки урюка. Каждый кишлак разделился в эти дни на два кишлака. Один — седлал лошадей и уходил к Ибраиму, другой — стягивал стада и уходил в горы переждать опасный сумбур. Шохобдин, после первых успехов Ибраима, оседлал коня и, поддерживаемый стариками, увел к Ибраиму большое количество всадников. Сам Шохобдин далеко от родного Арала не отлучался и часто заезжал в кишлак распорядиться по хозяйству. Был еще третий кишлак, если можно назвать кишлаком безродную голь бедняков и чайрикеров. Многие из них, наслышавшись разговоров о земле и дележе стад, ушли вместе с отступившими красными. Головы троих из них привез в одно из своих посещений Шохобдин и, вытряхнув из мешка, подвесил за бороды перед жильем отступников. Сам Ибраим с ишаном Султаном осаждал уже Дюшамбе, в котором доживал свои последние дни последний гарнизон красных.

Потом пришла зима. Дни дюшамбинского гарнизона отсчитывались уже месяцами. Опять гремела пальба. Теперь об Ибраиме говорили мало. Чаще повторяли имя Энвера, наступавшего откуда-то во главе несметных войск и поклявшегося умереть за ислам. Потом прошли весна и лето. Стада хирели, не отведенные на весенние пастбища, и таяли в бездонных котлах ретивых защитников ислама.

Этим летом, в жаркий июльский полдень тихо скончался семидесятилетний Пулат-токсаба. Вечером в кишлак прискакал Шохобдин, в сопровождении нескольких всадников, ушедших вместе с ним к Ибраиму. Узнав о смерти Пулата, Шохобдин только сплюнул и приказал семье сворачивать пожитки. Ночью, длинной вереницей навьюченных коней и ослов, они двинулись из опустевшего кишлака.

Шохобдину, сыну Касыма, не суждено было стать токсабой. В эту ночь красные, переправившись через Вахш, заняли Курган-Тепа.

Месяц спустя, уже на том берегу Пянджа, в заброшенном афганском кишлаке, узнали аральские беглецы, что Энвер сдержал свое слово: умер за ислам, уложенный красноармейской пулей, 4 августа 1922 г. в окрестностях Бальджуана.

Часть оставшихся баранов съели афганские чиновники. Нажить новых на чужой земле было нелегко, особенно при жадности местных властей, облепивших эмигрантов, как обрадованные вши. Богатые хозяева любили прежде поговаривать, что омач запасливого дехканина в несколько лет раз пашет прямо по золоту. Они намекали этой пословицей на неурожайные годы, когда зажиточный богател, продавал на вес золота припасенное зерно. О годах, проведенных в Афганистане, беглецы могли сказать, что омач их пахал по олову. Многие, не ходившие под командой Ибраима, быстро стали жалеть, что бросили хозяйство и дали вожакам потянуть себя в эту негостеприимную страну. Те, которые говорили об этом открыто, и те, которые молчали, жили одной надеждой на скорое возвращение. Там, на родине, остался Ибраим, объявивший новой власти войну не на жизнь, а на смерть. По словам Шохобдина и стариков, весь мусульманский народ восстал и дерется под его началом. Войска Ибраима исчислялись сотнями тысяч. Было непонятно, почему Ибраим до сих пор не берет Дюшамбе.

Так прошел год, потом второй, потом третий. К концу третьего года разговор о войсках Ибраима затих, а на четвертый год на Афганском берегу появился сам Ибраим с кучкой потрепанных джигитов. Джигиты заверяли, что слухи о том, якобы войска неверных разбили их и прогнали за Пяндж,— сущий вымысел. Они вовсе не бежали, а ушли по собственной воле. Мусульманское население Бухары не хочет больше защищать ислам, прикидываясь усталым от борьбы и кровопролития. О таких говорил пророк, что здешнею жизнью удовлетворяются больше, чем будущей, и, когда им было сказано: «выступайте в поход для войны на пути божием!» — притворяясь утомленными, легли на землю. Это они попросили Ибраима прекратить войну и уйти из Бухары. Ибраим решил дать возможность маловерам убедиться самим в губительности безбожной власти, и только потом, когда возопят они о помощи, — прийти им на подмогу. По точным подсчетам Ибраима, это должно было произойти не позже весны следующего года. Нужно спешно организовать здесь в Афганистане солидное басмаческое войско и держать его в неусыпной боевой готовности, чтобы зов с той стороны Пянджа не застал его врасплох.

Ибраим тут же открыл вербовку джигитов, и, хотя после четырехлетних неудач в успех его затеи верили немногие, — многие откликнулись на его новый призыв: бегство и эмиграция разорили их вконец, и все равно есть и терять им было нечего.

Войско, когда оно не воюет, может год не заряжать винтовок, но заряжать желудок должно каждый день. Дехкане Катагано-Бадахшанской области, беглецы и туземцы угрюмо чесали затылки, смотря исподлобья на рост Ибраимовой гвардии. Потомственные скотоводы, они хорошо знали старую истину: начинается война — прощайте бараны.

Когда к лету следующего года джигиты Ибраима, бряцая оружием, разгрузили дочиста последний захудалый кишлак, а с той стороны Пянджа никто по-прежнему не звал их на подмогу,— беглецы, посоветовавшись не одну и не две ночи, твердо решили возвращаться. Приезжие люди говорили, что советская власть обещала всем дехканам, бывшим участникам басмачества, бежавшим за границу, забыть старые счеты, не преследовать никого и помочь каждому деньгами и инвентарем восстановить заброшенное хозяйство. Говорили, что народ на той стороне Пянджа живет в мире и благополучии, особливо беднота. Новая власть взяла ее под свою опеку, и тот, кто имеет книжку бедняка, пользуется особым почетом.

Ночами из заграничных кишлаков к реке потянулись кучки народа. Сначала бежали в одиночку, потом семьями, потом открыто целыми кишлаками. Ибраим пробовал расставить свои патрули, но народ тек, как вода меж пальцев, и не было никакой силы, способной его удержать.

С той стороны Пянджа прибывали одинокие беглецы, муллы, бывшие чиновники, иногда крупные баи. Они плакались о попранных законах шариата, о мусульманских дочерях, открывших перед мужчинами самую стыдливую часть своего тела — лицо, о женах мусульман, купленных за дорогой калым, которые покидают мужей и уходят в развратные женские организации, где женщины и мужчины спят скопом под одним одеялом. Ибраим рассылал этих беглецов по кишлакам, чтобы своим свидетельством образумили они народ, подобно безрассудным комарам стремящийся в адское пламя. Люди слушали, сокрушенно кивая голо-

вами. И все же, когда через неделю являлся новый очевидец, он не заставал и половины прежнего кишлака.

Когда из аральских беглецов осталось ровно двадцать семейств, мужчины кишлака собрались на совет в хоне Шохобдина. Каждый боялся, что семьи, уехавшие вперед, могут распределить между собой лучшие кишлачные земли и запоздавшим останутся перелоги и тугаи. Ясно было, что все они уйдут, и те, которые больше всего опасались ухода других, уйдут первыми. Шохобдин, до сих пор яро восстававший против мысли о возвращении, вдруг переменил фронт и, потакая старикам, согласился: возвращаться надо. Не надо только торопиться и бежать по одному. Ехать надо скопом и, приехав на место, самим, без споров и вмешательств властей, распределить между собой по-старому жилища и землю. Все говорят, что советская власть дает возвращенцам инвентарь и кредит на покупку скота. Зачем тогда возвращаться со своим скотом? Весь скот и добро, какое у кого есть, надо продать и забрать деньги. Каждый дехканин, вернувшийся без ничего, будет считаться бедняком и получит бедняцкую книжку.

Старики похвалили разумное слово Шохобдина. Было решено тут же продать без спешки скот и тронуться к концу будущей недели.

В эту ночь Шохобдин долго не мог сомкнуть глаз. Мучили сомнения. Он не мог уже остановить никого, кроме трех-четырех дряблых стариков. Люди, разговаривая об уходе, умолкали при его появлении. Он рисковал проснуться утром один в опустевшем кишлаке. Противиться уходу было нельзя. Наоборот, надо было взять инициативу в свои руки.

Наутро, не придя ни к какому заключению, он решил съездить за советом к большому ишану в Мазар-и-Шериф.

Ишан Халик Валяд-и-Умар, выслушав рассказ Шохобдина, сказал назидательно:

— Умные люди говорили встарь: «Рассердившись на блоху, не стоит жечь кальсоны». Разве из-за того, что в Бухаре сейчас плохая власть, все правоверные мусульмане должны уйти из Бухары и оставить ее неверным? Не следует ли, чтобы правоверные мусульмане вернулись в Бухару, а ушли оттуда неверные? На-

род хочет возвращаться, и народ прав. А если б он не был прав, силой его не удержишь. Голодное стадо само найдет дорогу к сытным пастбищам. Стадо уходит на старые пастбища, — это не беда. Беда, если стадо уйдет одно, без пастухов.

— Как мне понимать ваши мудрые слова, домулло-ишан? — почтительно спросил Шохобдин.

— Народ недоволен Ибраимом: зачем Ибраим сидит здесь, когда он должен сидеть там? Это потому, что мусульмане Бухары, порабощенные неверными, не знают, где их спасение. В тот день, когда они это поймут, Ибраим будет уже среди них. Правоверные, которые уходят сейчас из Афганистана, разбредутся по кишлакам Бухары. Уход их не будет противен шариату, если они подготовят население Бухары к приему Ибраима.

— Ой, домулло-ишан! — опечалился Шохобдин.— Как же вы хотите, чтобы народ, который убегает сейчас от Ибраима, сам звал его на ту сторону Пянджа? Народ в большой обиде на Ибраима.

— Когда у человека болит палец, он подымает гвалт и уверяет, что худшей боли на свете нет. Когда у него начинает болеть зуб, он говорит: «Какой я был дурак! Я кричал, когда у меня болел палец. Разве это была боль? Это было одно удовольствие. Вот я сейчас узнал, что значит настоящая боль».

Шохобдин встал и поцеловал край ишанова халата:

— Пойду готовиться в дорогу.

— Подожди,— остановил его ишан. — Ты — человек расторопный; знаешь людей и в Арале, и в Курган-Тепа, и в Джиликуле. На тебя можно положиться. Ты сделаешь большое дело. Но дело любит деньги. Приходи через три дня, я поговорю о тебе с Ибраимом.

Три дня спустя Шохобдин явился к ишану.

— У Ибраима сейчас затруднения, — сказал ишан. — Денег у него в казне нет. Но есть бараны. Тебе выдадут двести баранов. Продай их на базаре и деньги возьми с собой.

Говорил ишан с Шохобдином в этот день целых два часа, и, уходя от него после благословения, с сердцем легким, как птица, Шохобдин подумал впервые, что жизнь его не прошла зря, что бараны, подаренные гиссарскому беку, окупились, не пропал даже неисполь-

зованный чин токсабы: после восстановления правоверной власти в Бухаре Ибраим обещал назначить Шохобдина амлякдаром[1].

Выгодно продав баранов, вернулся Шохобдин домой и тут же начал готовиться к отъезду. Он позвал своего батрака, Хайдара, и, указав ему место рядом, заговорил приблизительно так:

— Не год и не два ты работал у меня, Хайдар, и работал честно, не воровал, как другие, и не ленился. Знал я твоего отца, Раджеба, и жили мы с ним всегда в дружбе. Маленьким взял я тебя в дом, много лет ты ел мой хлеб, и не было тебе от меня обиды. И если платил я тебе меньше, чем некоторые платили своим батракам, то делал я это потому, что от денег юноше — дурной соблазн. Решил я, когда войдешь в лета, вознаградить тебя за все сразу. Теперь годы твои подошли, и пора тебе обзавестись женой. Что ты об этом думаешь, Хайдар?

— Господин мой, — ответил Хайдар. — Для того, чтобы достать жену, нужно уплатить калым. Откуда я, бедняк, могу собрать столько денег?

— Я сказал, что решил тебя вознаградить, и хочу тебе помочь устроиться, как родному сыну. Арбоб нашего кишлака Мелик должен мне много денег и баранов. Если я возьму на себя твой калым, Мелик не будет возражать, чтобы ты взял в жены его дочь. Не скажешь ли ты, что сам бог посылает тебе счастье? Другой такой жены нет во всем кишлаке. Она, правда, не молоденькая девочка, но на родине, куда мы возвращаемся, новый закон запретил мужчинам жениться на слишком молодых, а раз мы едем туда, мы обязаны ему подчиняться. Работать она умеет, и ты не один раз видел ее за работой. Ты, может быть, скажешь, что она некрасива. Я с тобой не буду спорить. Я тебе скажу, как говорили наши отцы: «Не выбирай в дождь коня, а в праздник жены. Каждая лошадь в дождь блестит, и каждая девушка, разодетая к празднику, кажется красавицей». Если ты, Хайдар, — умный мужчина, за какого я тебя всегда принимал, ты скажешь мне спасибо.

— Не сомневайтесь в моей благодарности, господин. Разве без вашей помощи я смог бы когда-либо купить себе жену?

[1] Уездный начальник.

— Я рад, что ты оцениваешь мою заботу. Но это еще не все. Хорошо, когда у человека в твои годы есть уже жена, но лучше, когда, кроме жены, у него есть еще и хозяйство. Я подумал и об этом. Я говорил уже со стариками и поручился за тебя. Старики не возражают принять в кишлак под мою поруку зятя арбоба как равноправного хозяина. Когда мы приедем обратно в Арал, не говори никому, что ты бобыль и служил у меня батраком. Старики скажут советской власти, что ты такой же дехканин, как и мы все, и потребуют, чтобы тебе тоже выделили подходящий кусок земли и помогли обзавестись хозяйством. Если захочешь отблагодарить меня, всегда найдешь способ сделать это надлежащим образом. Видишь сам, что для родного сына я не смог бы сделать больше. Иди и займись свадебными подарками. Тоем займусь я сам...

Опять, как шесть лет назад, ревела ледяная река, подбрасывая скрипящий плот — слепок бурдюков и жердей. Опять над головой, как пули, рвались звенящие звезды, и желанный берег — не тот, не тот, что тогда! — изогнутым оленем мелькал в неуязвимой скачке.

Длинные аскеры в зеленых фуражках помогли им выбраться из воды. На заставе их отпоили крепким зеленым чаем и, записав имена и местность, оставили ночевать. Зубами, еще звенящими от речной стужи, они рвали жирные ломти баранины и испуганно поглядывали исподлобья, стремительными пальцами сгребая рис: может быть, этот плов варили совсем не для них, даже, наверное, не для них,— кто мог знать, что как раз сегодня переправятся они через реку? — и начальник, заметив ошибку, велит унести обратно этот дымящийся сытный котел.

На следующее утро с большей партией возвращенцев на грузовике их отправили в Курган-Тепа.

Родина бежала им навстречу марафонскими шагами телеграфных столбов, гремучей пылью встречных машин, клекотом земли, раздираемой когтями первого трактора.

В Курган-Тепа они увидели многоглазые белые дома, словно вылепленные из снега, с глазами прозрачными, как лед. В одном из этих домов они узнали от

таджика в куцем европейском пиджаке, что земли их в Арале заняты переселенцами из Гарма. Надо было возвращаться пораньше. Сейчас советская власть может им предоставить землю только в Курган-Тепинском районе. Земля хорошая, хватит на всех, по два с половиной гектара. Место могут выбрать сами, где им покажется сподручнее. Они заявили, что хотят говорить с самой советской властью (так их учил Шохобдин: от русских можно выторговать больше!). Но таджик в куцем пиджаке ответил, что он и есть советская власть, никакой другой русской власти не было здесь и нет.

Опять их возили на грузовике смотреть свободные земли. Они долго ходили и выбирали,— с утра до позднего вечера,— щупали и нюхали землю, выбрав, передумывали, шли обратно и, вернувшись, наконец, в поту, долго не могли уснуть, взбудораженные сомнениями: не прогадали ли? нельзя ли было выбрать еще получше?

Весь следующий год, как потрепанные петухи на ячменном корму, они расправляли перья и обрастали пухом. После нового урожая, когда, казалось, жизнь открыла перед ними настежь все свои закрома,— пришли первые вести о коллективизации. С докладом о пользе коллективизации приехал секретарь из района. Говорил он долго, одно за другим отщелкивая как на счетах неоспоримые преимущества колхоза. Кончив, предложил высказаться присутствующим. Кишлак ответил мрачным молчанием. Тогда поднялся Шохобдин Касымов и первый заявил о своей готовности вступить в колхоз. После толковой речи Шохобдина в колхоз записался весь кишлак.

Секретарь, прощаясь, долго жал руку Шохобдину. Он не мог понять, почему этот сознательный дехканин наотрез отказался от председательства в новом колхозе и согласился быть лишь членом правления. У Шохобдина же были свои, весьма веские мотивы. Не дальше, как неделю тому назад, в ОГПУ неожиданно заинтересовались баранами, проданными в Мазар-и-Шерифе дехканином Касымовым. Из вопросов Шохобдин заключил, что ни точного количества, ни происхождения баранов в ОГПУ не знают. Тем не менее струсил он не на шутку. Поймав нить, долго ли распутать весь клубок? Уже на следующий день приходили

к Хайдару Раджебову спрашивать, правда ли, будто раньше он служил у Шохобдина батраком,— но Хайдар, испугавшись, что хотят отобрать у него незаконно полученную землю, решительно опроверг этот слух.

Одно не подлежало сомнению: кто-то из дехкан донес на него, Шохобдина, властям. Шохобдин перебрал весь кишлак и остановился на босяке Юсуфе, сыне Абдуллы, имевшем с ним старые счеты. Знал Шохобдин и другое: дехкане, довольные льготами и урожайным годом, и слышать не хотели о возможном приходе Ибраима. Советская власть не предпринимала ничего такого, на чем можно было бы заострить их недовольство. Организация колхоза была первым мероприятием, открывающим в этом отношении большие возможности: «Сегодня хоть один бык, пусть хромой, да мой, а завтра хоть целое стадо, да не погонишь его домой». Шохобдин не первый год знал своих односельчан и был спокоен, что, кроме раздоров и недовольства, ничего из этого дела не получится.

После отъезда секретаря Шохобдин созвал к себе влиятельных дехкан и сказал по секрету, что противиться колхозу бесполезно: все равно будут загонять всех силой, а заверяют теперь, мол, добровольно, чтобы выявить, кто из дехкан против, и таких отправить в холодные края. Поэтому надо делать вид, что колхозом все очень довольны. Избавятся дехкане от колхозного ярма только тогда, когда сама власть убедится, что никакой пользы от колхозов ей не будет. Тут он пространно разъяснил, что надо делать, чтобы власть убедилась в этом поскорее.

Председателя нового колхоза, Рахимшаха Олимова, Шохобдин не позвал. Потомственный бедняк, Рахимшах никогда не принадлежал к ареопагу «почтенных». Кандидатуру его в председатели выдвинул сам Шохобдин именно из-за приятного сердцу новой власти бедняцкого происхождения Рахимшаха. Был Олимов при своей бедности человеком благочестивым и независтливым, нрава кроткого, жил по шариату и больше всего уважал стариков. Можно было быть уверенным заранее, что против стариков не пойдет.

Председательствовал Рахимшах ровно год, и жил колхоз под его председательством чинно и мирно. Только когда собрали новый урожай, начались неприятности. Оказалось, что колхоз выполнил государст-

венное задание всего на 50 процентов. Тут и пошла канитель. Из района приехал новый секретарь и до тех пор тыкал всюду нос, пока не выскреб еще 20 процентов. Выяснилось, что европейский инвентарь, подаренный районом, вовсе не применяется. Тогда Рахимшаха сняли с председательства с большим скандалом и прислали на его место из района нового председателя, демобилизованного красноармейца и кандидата партии, Давлята Рустамова.

Начал Давлят свою работу с бурного общего собрания, на котором провел исключение из колхоза двух почтенных старых дехкан. Нашлись в районе свидетели, вспомнившие ни с того, ни с сего, что у указанных дехкан — имярек — работало прежде в хозяйстве по два батрака.

Стал Давлят по вечерам вести длинные разговоры все больше с прежними голоштанниками и, после разговора с Юсуфом, сыном Абдуллы, зашел вечерком к Хайдару опять выспрашивать насчет прошлого его батрачества. Хайдар и на этот раз стойко отверг искушение. И хотя прошел месяц, и никого больше Давлят не трогал, уже после первого собрания поняли старики, что спокойной жизни с этим председателем не будет.

Принялся Давлят налаживать хозяйство. Выхлопотал в районе специального учетчика, разбил колхозников на бригады, ввел учет и сам работал, как вол, на удивление колхозникам. Был он человек холостой, нездешний, собственного хозяйства не имел и все свое время мог посвящать колхозу.

Была у Давлята одна страсть: любил он утречком, на рассвете, поохотиться, пострелять кекликов, фазанов, зайцев, а то и джейранов. Было у него старое шомпольное ружьишко, а стрелял он хорошо — за хорошую стрельбу получил в Красной Армии часы. Больше всего любил охоту на крупного зверя, стрелял без промаха кабанов, хотя и не кушал кабаньего мяса. Потому, когда однажды, вернувшись с поля, Давлят не застал в хоне ружья, он потерял сразу и обычное веселье и аппетит. Ружье пропало бесследно. Он напрасно выпытывал дехкан, известил даже районную милицию — украденного ружья не нашли.

Как-то после неприятного события в хону к Давляту зашел незнакомый дехканин, сторож с хлопкового завода в Курган-Тепа, с завернутой в тряпку двустволкой. Один из мастеров, работавших на заводе, уезжал в Россию и продавал охотничье ружье. Нужны деньги, потому продает, всего за семьсот рублей, хотя ружье совсем новое. Сторож слышал от знакомого милиционера, что председатель «Красного Октября» ищет ружье. Вот и пришел предложить: такая оказия бывает раз в десять лет, а то и реже.

Давлят осмотрел новенькую централку и долго вертел в руках, не в состоянии от нее оторваться. Он с досадой вспомнил, что совсем недавно у него было семьсот рублей. Черт его удосужил одолжить из них пятьдесят червонцев трем колхозникам: Хайдару Раджебову, Мелику Абдукадырову и старику Азимову. У Хайдара подохли два барана, Мелик выдавал замуж младшую дочь, а у Азимова в Сталинабаде заболел тифом сын, и старику не на что было выехать. Все просили взаймы, а случаи выдались такие, что отказать было нельзя. Осмотрев ружье, Давлят подумал с отчаянием, что осталось у него всего двадцать червонцев. Нужно было еще пятьдесят. Раздобыть такую сумму в кишлаке не было никакой надежды. Он все же попросил дехканина подождать и решил сбегать к должникам.

Старика Азимова он не застал дома. Не застал и Хайдара. У Мелика денег не оказалось. Свадьба дочери выпотрошила его в конец. Он твердо обещал вернуть деньги через месяц. Возвращаясь, Давлят зашел еще к двум-трем зажиточным дехканам и попробовал попросить взаймы, но все в один голос ссылались на тяжелые времена и божились, что нет у них за душой ни одного червонца. Подходя уже к дому, Давлят вспомнил, что в колхозной кассе лежит сто двадцать червонцев (...если бы взять оттуда пятьдесят, через месяц можно бы было их вернуть...),— но тотчас же отогнал от себя опасную мысль. Дехканин, дожидавшийся у входа в хону, вертел в руках новенькое ружье. Давлят хотел уже сказать, что ружье он, к сожалению, купить не может, но тут же подумал: ведь по колхозу никаких расходов в ближайший месяц не предполагается... если поторопить должников, смогут, пожалуй, вернуть и раньше... Он попросил дехканина подождать,

зашел в хону, достал из потайного места кассу, отсчитал пятьдесят червонцев, прибавил к ним двадцать своих, вынес деньги дехканину и с колотящимся сердцем взял ружье.

Два дня спустя, вечером, Давлят сидел у себя и любовно разбирал новую двустволку, когда к нему в хону зашли Шохобдин Касымов и Ниаз Хассанов. Давлят с удивлением отложил ружье и спросил гостей о цели их визита. Гости ответили, что зашли просто так, потолковать. Ниаз длинно и витиевато заговорил о преимуществах колхоза, о том, как все дехкане убедились воочию, что другой жизни, кроме колхозной, для них нет; как все было плохо при старом председателе, Рахимшахе, и как пошло все хорошо со времени назначения нового: нет больше того, чтобы один работал, а другой лежал вверх животом, всему свое место и свой учет. Все сознательные дехкане, молодые и старики, очень довольны новым председателем.

Давлят слушал, пытаясь сообразить, к чему гнет собеседник.

Тогда заговорил Шохобдин; есть злые люди, которым колет глаза рост колхоза и которые хотели бы сделать так, чтобы все опять стало по-старому. Потому они хотят выжить нового председателя, очернив его перед властями. Вот эти злые люди, нимало не сумняшись, донесли в ревизионную комиссию и в район, якобы с кассой колхоза не все благополучно. Ревизионная комиссия завтра собирается проверить кассу и ждет инспектора из района.

Тут Шохобдин, заметив, как губы Давлята побледнели, сделал паузу, долго искал за поясом тыковку с насом, сыпал на ладонь, угощал Ниаза и, только спрятав табакерку обратно за пояс, заговорил опять.

Старики, обсудив дело между собой, пришли к заключению, что лучшего председателя колхоза не найти и что давать Давлята в обиду не следует. С каждым может случиться несчастье. Потому пусть Давлят скажет, сколько не хватает в колхозной кассе, а старики постараются, чтобы к приезду районного инспектора все было в порядке.

Выпытав у Давлята, после долгих отмалчиваний, что не хватает пятидесяти червонцев, Шохобдин опечалился. Такую большую сумму очень трудно будет

собрать. Но есть другая возможность. К Махмуду Ходжиярову приехал его родственник — Иса. У того, наверное, есть деньги, и, если старики поручатся, Иса не откажет. Нужно торопиться. В случае, если бы не вышло с Ходжияровым, может, удастся придумать другой выход.

Шохобдин и Ниаз ушли, а Давлят долго сидел бледный, пощипывая бороду, и с бессильной ненавистью глядел на выхоленное ружье.

Шохобдин вернулся поздно вечером. Иса под поручительство его и Ниаза деньги дал. Спрашивает, когда Давлят сможет возвратить, и просит расписку, не потому, чтобы не доверял председателю или ручательству Шохобдина, а просто так, для порядка, как установлено по шариату. Давлят дал расписку, обязуясь вернуть деньги через месяц. Шохобдин на этом же клочке бумаги поставил внизу свою подпись и, пожелав председателю оставаться с миром, быстро ушел.

Явившаяся на следующий день инспекция из района, проверив вместе с ревизионной комиссией кассу и дела, нашла все в полнейшем порядке.

За несколько дней до истечения срока, обозначенного в расписке, Давлят обошел своих должников на предмет получения денег. Все ссылались на материальные затруднения и в ближайшее время вернуть деньги отказались. Убедившись, что ничего не добьется, Давлят пошел разыскивать Шохобдина. Он сказал ему, не глядя в глаза, что денег Ходжиярову к сроку вернуть не сумеет, а просил помочь продать новую двустволку: если бы найти покупателя, за нее с закрытыми глазами можно выручить пятьсот рублей. Шохобдин заверил, что Ходжияров подождет,— Иса не такой человек, чтобы из-за денег доставлять людям неприятности,— а продавать за бесценок хорошую вещь никогда не следует. Дружеские заверения Шохобдина несколько успокоили Давлята. Очень уж жалко было ему расставаться с ружьем.

Через несколько дней Шохобдин навестил Давлята, на этот раз в сопровождении Махмуда Ходжиярова и незнакомого кривоглазого дехканина. Узнав, что это и есть родственник Ходжиярова, Иса, Давлят смущенно заговорил было о деньгах, но кривой Иса не дал ему окончить. Великое ли дело деньги? Не должен ли каждый дехканин помогать в нужде другому дехка-

нину? И не затем ли советская власть создает колхозы, чтобы научить дехкан помогать друг другу во всем?

Тогда слово взял Шохобдин и сказал, что Иса очень хотел бы записаться в колхоз. Жить он будет в одной хоне с Махмудом, а рабочих рук в колхозе нехватка. Весь вопрос в том, как это дело оформить. Никаких бумаг у Исы нет. Дехканствовал он до сих пор в Афганистане, а когда там содрали с него последнюю рубашку, бежал на советскую сторону. Если проводить все это дело через район, будет долгая канитель, станут проверять — что и как, спрашивать, почему не заявился на пограничную заставу. А где ж ему было искать заставу, когда переправлялся он ночью и не встретил по дороге ни одного пограничника? Пока проверят все, что надо, пройдет не менее полугода, будут только мытарить человека, а чего доброго, могут и арестовать до выяснения. Так вот, у Ходжиярова, который знает Ису с малых лет, есть к председателю просьба. Был у него брат в Матче, и звали его тоже Иса. Брат умер, а документы его остались. Почему бы этими документами не воспользоваться Исе? Зачем говорить в районе, что он приехал из Афганистана, и подымать из-за этого шум? Можно просто сказать, что брат Ходжиярова приехал из Матчи и хочет записаться в колхоз. Никакого подлога в этом не будет: звать его действительно Иса, а что родной брат, что двоюродный,— какая разница советской власти?

Давлят озабоченно теребил бороду. Он пробовал возразить, что принимать в колхозе нового человека с чужими документами — очень большая ответственность. Не проще ли рассказать в районе все, как есть? Он, Давлят, сам берется хлопотать, чтобы дело Исы выяснили поскорее и определили Ису именно в этот колхоз. Но Шохобдин заверил: канители будет на полгода, а то и на год. Ведь если б Махмуд был нечестный человек, он пришел бы и сказал: «Вот это мой брат, а вот его документы». Разве Давлят мог бы проверить, что это не так? Но Иса — честный человек, и он не захотел так поступать. Он сказал: «Давайте пойдем к председателю и расскажем ему обо всем. Зачем дехканину обманывать дехканина? Если мы скажем председателю правду, он наверное нам поможет,— он будет знать, что имеет дело с честными людьми. Дехканин

дехканину всегда должен помогать в затруднении. Разве он может быть уверен, что и ему не случится побывать в беде?»

Давлят не нашелся, что ответить. Он сказал, что должен подумать, и просил оставить ему бумаги Исы Ходжиярова.

К концу месяца общее собрание приняло матчинского дехканина Ису Ходжиярова, брата Махмуда, в члены колхоза «Красный Октябрь».

...Вернуть Исе денег Давлят так и не смог.

В течение следующего года в жизни Давлята произошла одна значительная перемена. Он взял в дом жену. Случилось это для него самого несколько неожиданно. Как-то в разговоре Шохобдин, ставший частым гостем в доме Давлята, выразил свое удивление по поводу неустроенности домашнего хозяйства председателя. Почему бы ему, собственно говоря, не жениться? Давлят сказал, что жениться он не прочь, да все не хватает времени подыскать невесту. Шохобдин тут же предложил ему в жены свою дочь, Ширин. Давлят знал, что у Шохобдина есть сыновья, но о существовании дочери слышал впервые. Оказалось, дочь Шохобдина живет не здесь, а в Арале. По старому обычаю, девяти лет отдали ее замуж, тринадцати лет она овдовела и осталась жить у родственников мужа. Теперь ей двадцать три года, и другой такой красавицы нет во всей округе.

Женой Давлят остался доволен. Посвящать молодожена в некоторые детали прошлого его супруги Шохобдин не счел нужным. Так, например, он не сказал, что предшественником Давлята в постели Ширин был не кто иной, как сам гиссарский бек. Он знал, что Давлят все равно не сумеет по достоинству оценить этой чести...

Жизнь в колхозе текла своим чередом. Урожай в этом году выдался неплохой, и благодаря хорошей организации уборки «Красный Октябрь» должен был, первый в районе, явиться со своим хлебом на ссыпной пункт в Курган-Тепа. Давляту очень хотелось вывести колхоз на первое место, и работал он не покладая рук. Через четыре дня он назначил выезд красным обозом в район.

В этот день приехал к Шохобдину родственник из Арала и в числе прочих новостей рассказал, что в аральских тугаях появился барс. Вчера разодрал корову. Люди боятся убирать хлеб на полях, смежных с тугаями, а ни у кого в Арале нет приличного ружья, чтобы можно было без опаски пойти на такого зверя.

У Давлята покраснели уши,— это случалось с ним всегда от большого волнения. Дехканин уверял, что в последний раз видели барса неподалеку отсюда, часа за три езды верхом. Выехав ночью, можно было подстеречь барса на рассвете у водопоя и к полудню завтрашнего дня вернуться обратно. Давлят пошел седлать коня. Он забежал по дороге к своему заместителю Ниазу, попросил присмотреть за уборкой и обещал вернуться самое позднее к завтрашнему вечеру.

Не вернулся Давлят ни завтра, ни послезавтра, а лишь в ночь на третий день, исцарапанный и злой. Никакого барса он не встретил, даром только проваландался по тугаям. Приехав домой, он завалился спать и спал бы, наверное, до полудня, если б не разбудил его ранехонько Шохобдин. Узнал Давлят от Шохобдина, что в предыдущую ночь неведомые люди забрались в амбар и вытащили оттуда весь хлеб, засыпанный для сдачи государству.

Давлят сорвался с постели с глазами, налитыми кровью, и сграбастал тестя за халат.

— Ты, старый хрен, эти штучки брось! Куда хлеб девали? Говори толком!

Заступившаяся за папашу Ширин кубарем отлетела в угол.

— Чего шумишь? Председатель колхоза, а на старика руку подымаешь? А-яй! Разве советская власть разрешает бить дехкан? — обиженно отряхивался Шохобдин.— Я-то тут при чем? Что я, кладовщик или сторож?

— А кто, если не ты, Ису в кладовщики предлагал и в колхоз проводил? Небось твой выкормок!

— Ты, Давлят, не шуми! На дворе слышно. Разве я председатель колхоза? Ису в колхоз проводил ты, а не я. А в кладовщики провело его общее собрание.

— Хорошо! — сказал, одеваясь, Давлят.— Хорошо! Я его проводил, я его и под суд отдам!

— Не торопись, Давлят. Не торопись! Сначала думай, а потом делай. При чем тут Иса? Разве был у них

когда-нибудь такой случай? Сам знаешь, сторожа мы никогда не ставили: красть у нас некому. Откуда Иса мог предвидеть, что случится такое несчастье?

— Мог или не мог — это уже разберутся!

— Зачем неумные слова говоришь? Если начнут разбираться и откопают, что у Исы бумаги не в порядке,— кто за это отвечать будет? Ты будешь отвечать! А если у Исы найдут расписку, что ты у него деньги брал, и высчитают, что это было накануне ревизии,— как ты думаешь, хорошо это будет?

— А мне уже все равно, за что под суд идти: за дело с Исой или за расхищение хлеба. Мне терять нечего.

— Как это умный человек может говорить такие глупости! Разве из каждого положения, если подумать, не найдется выхода? Ты только скажи себе раз и навсегда, что Иса тут ни при чем и запутывать его в это дело не надо.

— Что это ты так за Ису беспокоишься? Что он тебе, брат или сват?

— Я не за Ису, а за тебя беспокоюсь,— как бы для тебя хуже не вышло.

— Если Иса ни при чем, тогда кто?

— Вот это другой вопрос. Я думаю так: дехкане недовольны, что хлеб надо сдавать в район. Несколько человек взяли и сговорились: пока хлеб не отвезли, давай ночью возьмем его и спрячем.

— Я сейчас созову общее собрание.

— А это зачем? Чтобы раструбить на весь район? Кишлак ничего не знает. Из всего правления знаю только я, Иса да Ниаз. Мы, когда спохватились, что хлеба нет, решили не разглашать, допытаться сначала — кто.

— Ну?

— Я думаю, тут не без Юсуфа.

— Это дело ты брось! Юсуф хлеба красть не будет.

— В общем, мы тут кое на кого думаем. Надо к ним пойти и поговорить. Они вернут.

— Давай пойдем.

— Подожди, тебе ходить не надо. Ты — человек в кишлаке пришлый, тебя не послушают. Пойду я с Ниазом. А ты пока подожди и шума не подымай. Нашумишь, хуже будет — не вернут. Делай вид, будто ни о

чем не знаешь. Твое дело, чтобы хлеб был в амбаре, а как он туда попадет,— тебя не касается.

— Ну, иди, старик,— сказал уже мягко Давлят.— Выручай. Меня посадят, и вам плохо будет. Ты на меня не сердись, что я тебя немножко того... Сам понимаешь...

Ночью Шохобдин вернулся с обхода и устало опустился на палас.

— Ну, как? Вернули? — кинулся к нему Давлят.

— Вернули. Сорок мешков.

— Как сорок? Это ведь даже не половина?

— Нет, это как раз половина.

— А что мне от этого, легче?

— Лучше половина, чем ничего.

— Ты, старик, дураком не прикидывайся! Где остальной хлеб?

— Скажи спасибо, что столько собрали. Весь день на ногах, намаялись. У меня язык распух от уговоров.

— Я тебя спрашиваю, где остальной хлеб?

— А я откуда знаю? Больше, говорят, не брали.

— Что ж ты, старик, меня погубить хочешь?

— Без меня и без Ниаза тебе бы и этих сорока мешков не вернуть, а ты, вместо того, чтобы поблагодарить, еще недоволен.

— Мне что половину сдавать, что ничего. Завтра поеду в район и доложу обо всем. Приедут с милицией, не бойся, разыщут все, до одного зернышка.

— Ничего не разыщут. Если я с Ниазом не нашел, никто не найдет. Мы тут каждую дыру знаем. Уедут ни с чем. А тебя заберут. Спросят: где был председатель, когда хлеб колхозный расхищали? Что им скажешь?

— Сдам половину, все равно заберут — и меня, и Ису, и еще кое-кого. Что я им скажу? Куда остальной хлеб девался? Знают, что урожай был хороший.

— Разные несчастия бывают. Мало ли злых людей на свете? В прошлом году в колхозе «Гулистан» злые люди облили бензином весь хлеб и подожгли. Все сгорело.

— У нас ничего не горело. Все знают.

— Не горело, может еще загореться.

— Что-о?

— Говорю, всегда так бывает: не горит, не горит, а потом вдруг загорается. Все во власти всевышнего.

— Ты меня что, на поджог уговариваешь?

— Боже упаси! Кто это сказал? Я только говорю: раз все равно хлебу пропадать и тебе отчитываться в расхищении,— лучше бы уж было, если бы хлеб сгорел. Тогда ни председатель не виноват, ни кладовщик не виноват. Несчастье в каждом колхозе может случиться.

— Что ты мне сказки рассказываешь!

— Вот, скажем, перетащили мы сегодня с Ниазом в амбар сорок мешков, а они возьми да ночью загорись. Если заметить огонь вовремя, мешков тридцать всегда можно спасти. А кто бы тогда мог знать, сколько сгорело: был ли в амбаре весь хлеб или не весь? Никто бы не мог знать. Район был бы рад, что хоть столько спасли. Разве человек застрахован от пожара? Сдали б мы по осени хлопок, полную норму, и не было бы на наш колхоз никакого поклепа.

— Ты меня, старик, не накручивай! Я поджигать не пойду!

— Разве я тебя посылаю поджигать? Так просто говорю... И забот бы не было никаких, и район был бы доволен. Правду говорю?

— Может быть. Только хлеб сам не загорается.

— Почему сам? Злые люди всегда найдутся... Ну, я устал, пойду спать. Если что, ты не спи: время такое — завтра хлеб в район везти надо. А потом, случится что-нибудь, кто в ответе? Председатель.

...Утром милиция, вызванная срочно в колхоз «Красный Октябрь», констатировала поджог колхозного амбара. Благодаря отчаянной отваге председателя, несколько раз кидавшегося в пламя, удалось спасти всего тридцать два мешка. Во время допроса дехкан выяснилось, что двое — Мелик Абдукадыров и Ниаз Хасанов — видели ночью крутившегося около амбара Юсуфа. При обыске в доме Юсуфа милиция обнаружила в яме под дувалом спрятанный бидон из-под горючего. От бидона пахло еще бензином. Давлят, допрашиваемый следователем, категорически отверг возможность поджога Юсуфом. Однако все улики говорили другое.

Когда следствие закончилось и Юсуфа увели милиционеры, Давляту сделалось дурно. Спасая зерно, он

получил сильные ожоги и с момента пожара держался на ногах. Следователь обещал прислать самоотверженному председателю врача и хлопотать о награждении премией.

К концу месяца в Курган-Тепа судили поджигателя Юсуфа. Принимая во внимание его бедняцкое происхождение, суд приговорил Юсуфа к четырем годам.

...Зима в этом году выдалась снежная, ледяная. Благочестивые люди говорили, что так уже теперь будет всегда, пока большевикам не придет каюк. Бог не хочет допустить осуществления их помыслов: отвести все поля под хлопок,— и холодом, дождем и градом изничтожит его семена. Посевной клин хлопка, по плановым заданиям, должен был в этом году увеличиться почти вдвое.

Шохобдин не уставал доказывать дехканам пагубность такого мероприятия. Работа подвигалась туго. Дехкане, охотно поддакивавшие нареканиям на невыгодность хлопка и нехватку промтоваров, сматывали удочки при одном звуке имени Ибраима. Ибраим торопил, слал гонца за гонцом. Гонцы говорили, что откладывать выступления дольше нельзя,— еще год, и расползется все басмаческое войско. Много курбашей разбрелось уже по горам и занялось мелким грабежом. Большая держава, финансировавшая эти годы Ибраима, заявила, что больше не даст ни гроша, если весной Ибраим не переправится на советскую территорию. Получив в сотый раз стереотипный рапорт: «Еще не готово»,— Ибраим пришел в ярость. Он велел передать ишану Халику и другим, что, если до сих пор ничего не готово,— тем хуже для них. Было время подготовить. Достаточно долго его водили за нос. Этой весной, так или иначе, он перейдет Пяндж.

Известие о переходе Ибраима, хотя предупреждал он о нем с осени, все же пришло неожиданно. В день, назначенный Шохобдином для выступления сколоченного им отряда, большинство заговорщиков просто не явилось. Пришла уже весть о разгроме главных банд Ибраима и о сдаче его виднейших курбашей. Выступить с пятью джигитами не имело никакого смысла. Шохобдин закопал вырытую из ямы винтовку и решил ждать.

Наплывали слухи о возникновении новых отрядов краснопалочников. Дехкане окрестных кишлаков шли облавами в горы вылавливать басмачей. Давлят, не посвященный в воинственные замыслы тестя, организовал в колхозе краснопалочную дружину. Видя неудачу Ибраимовой затеи и предусмотрительно думая о будущем, пошел в краснопалочники и Шохобдин. Воевать, впрочем, ему не пришлось. Вскоре грянула весть о поимке самого Ибраима, настигнутого у переправы через Кафирниган краснопалочниками Каса-Булатского района. Песенка Ибраима была спета. Деморализованные джигиты пачками сдавались в плен, вручая победителям, вместо шпаг, новенькие английские винтовки.

Ишан Халик, он же Иса Ходжияров, исчез из кишлака при первом известии о приходе Ибраима. Долгое время Шохобдин не имел от него никаких вестей, думал уже, что ишан погиб или ушел обратно в Афганистан. Вернулся Иса уже после поимки Ибраима. Говорил, что служил проводником в доброотряде и басмачи ранили его в ногу. Рану свою старательно скрывал и предпочитал никуда не показываться, пока Шохобдин через Давлята не выхлопотал для него в районе грамоты краснопалочника. Вылечив ногу, Иса определился на работу на строительство. Зачем это понадобилось ишану, Шохобдин никак не мог понять, но не считал нужным проявлять в этом вопросе любопытства.

Из соседних кишлаков доходили тревожные слухи. Арестованные курбаши, очевидно, разболтали о своих местных связях. Каждый день приносил известие об аресте того или иного почтенного бая. То в том, то в другом кишлаке неожиданно появлялись аскеры из ГПУ и уводили с собой сподвижников Ибраима. Шохобдин в это тревожное время исхудал и постарел. Обрывая разговор, он часто оглядывался на прорез двери: ему мерещились зеленые фуражки, но это была лишь листва растущего перед домом ореха. Только поздно осенью, вместе с желтизной листьев на деревьях, вернулось к Шохобдину прежнее спокойствие.

Год выдался тяжелый. Равномерно с ростом колхозного клина шли по всей окрестности разорение и ликвидация почтенных мусульман. Многие из родст-

венников Шохобдина, еще недавно спокойно ходившие в середняках, ни за что, ни про что исключались из колхозов и высылались с семьями в неизвестные края. Делало это теперь не ГПУ. Голосовали за высылку их же односельчане. Присутствуя на колхозных собраниях, Шохобдин не раз, из-под полузакрытых век, обводил глазами хорошо знакомые лица. После устранения Юсуфа он не был уверен, с чьей стороны надо ожидать удара.

Ишан Халик, работая по-прежнему на строительстве, ухитрялся быть одновременно везде. Умел мудрым словом укрепить слабых, убедить колеблющихся, подсказать недогадливым, найти применение жаждущим немедленного действия. В самую трудную минуту, как назло, у ишана вышла на строительстве какая-то неувязка с американским инженером. Исе Ходжиярову пришлось бесследно исчезнуть и со строительства, и из колхоза. Неувязка, как выявилось впоследствии, вышла крупная. И районные власти, и ГПУ вдруг сугубо заинтересовались личностью дехканина Исы Ходжиярова и неизвестными путями докопались до его настоящего имени. Давлята вызвали в район. Приехал он оттуда пришибленный и мрачный. На все вопросы Шохобдина ответил только одно, что с председательства снимут его наверное и что лучше сознаться во всем сейчас, не дожидаясь поимки Исы. Шохобдин подумал, что с этим мямлей рано или поздно пропадешь. Он долго убеждал Давлята, что Иса уже в Афганистане и поймать его никак не могут.

Из района приехал секретарь и уполномоченный ОГПУ и, созвав общее собрание, провели выборы нового правления. После их отъезда Шохобдин окольной дорогой пробрался в дом Мелика. Укрывшийся там ишан велел ему собрать сегодня у Мелика вполне проверенных дехкан.

Когда все уже собрались, Мелик вышел на женскую половину позвать Ису.

— Уехали? — спросил ишан, здороваясь с гостями за руку.

— Уехали,— кивнул головой Шохобдин.— Чтоб их кони ноги поломали!

— Ну?

Шохобдин вкратце изложил ход собрания. Ишан слушал, не перебивая.

— Хайдар — это хорошо. Вдова Зумрат — тоже неплохо,— мужчины ее слушать не будут. А Шохобдина зачем провалили?

— Нельзя было иначе,— вмешался Шохобдин.— Уполномоченный настаивал. Хотели все правление менять. Кого можно было, того отстояли. На мое место провели Хайдара. Новое правление — не хуже старого. А что Хайдар, что я — это одно.

Ходжияров обвел глазом присутствующих:

— Поговорим о будущем. Как действовать, что предпринимать. Оставаться мне здесь дольше нельзя. Собаки кругом рыщут, землю нюхают. На вас могу навлечь подозрение. Ни к чему это. Сегодня-завтра уеду готовить мусульман по ту сторону Пянджа. Когда запоет первая пуля, прискачем к вам на выручку. Помните: к весеннему поливу землю готовят с осени. Не давайте вносить раздора между верующими. Напоминайте каждый день слова пророка: «Крепко держитесь за вервь божию и не разделяйтесь!» Недовольство кругом большое, умейте использовать каждую жалобу. Сколько мусульманских семей, лишив их крова, угнали опять в этом году в неизвестные края! Нет такого кишлака, где бы не было обиженных. Говорите верующим: вот будет большая война, все нации сговорились против русских, а ведут эти нации англичане. Весной придут, к первому поливу, и с теми, кто будет стоять за советскую власть, очень нехорошо обойдутся. Бросайте зерно и будьте осторожны, чтобы не дало оно всхода раньше времени.

Он закашлялся, вытер бороду и, высыпая на ладонь щепотку наса, кинул ее в рот.

Все промолчали. Тогда, отпив глоток, заговорил Шохобдин:

— Народ много недоволен хлопком. В Джиликуле не осталось баранов: мясозаготовки съели. Мануфактуры нет. Чая нет. Хлеба мало. Риса и вкус забыли. Все пойдут.

— Кто пойдет?

Из опрокинутой пиалы плоская струя поползла по паласу. Удивленные оглянулись: Хайдар?

— Никто не пойдет! Мануфактуры нет? Из-за мануфактуры басмачить пойдут? Зачем неправду говоришь, Шохобдин? Или не помнишь прошлогоднего налета? Кто пошел? По одному из кишлака не пошли!

Сами дехкане их выловили! Короткая память у тебя, Шохобдин, и у тебя, Иса. Дурное дело затеваете. Сами головы положите и других понапрасну погубите. Ты, Иса, в Афганистан уйдешь, а мы куда? Мы были в Афганистане. Чего мы там забыли? С голоду дохли. Приехали сюда, землю целовали. Начали жить по-человечески,— опять бросай все и уходи! Зачем? Кто за тобой пойдет? Народ устал от басмачества. Шохобдин пойдет, Ниаз пойдет, а больше никто. Я первый не пойду!

— Не пойдешь? — как птица, повернул голову Шохобдин.

— Ты мне не грози, не грози! Я не боюсь! Вы не видали, а я видал: по воздуху несется, как аист, тучи крыльями разгоняет. Не успеешь три раза прочесть Суру [1],— из Сталинабада в свой кишлак прилетишь. Над горами летит, горы сверху, как складки на одеяле, каждую тропинку видно.

— Молчал, молчал, а вот и запел. Хорошо, хоть чужих нет,— оскалил зубы в невеселой улыбке Мелик Абдукадыров.

— Самолета испугался! — сурово перебил ишан.— Саблю выбивают саблей, против самолета есть самолет. Английские самолеты лучше советских.

— Каждый год, как к нам басмачи из Афганистана собираются, говорят, что за ними англичане идут. Не видали мы что-то этих англичан. Все больше народ по кишлакам собираете. Если с вами англичане, зачем вам дехкан уговаривать? Пусть англичане и дерутся! А я вам говорю, хоть бы все англичане, и все афганцы, и какие ни есть другие нации против советской власти пошли, ничего у них не выйдет!

— Не трепи языком, Хайдар, стариков постыдись! — злобно перебил Шохобдин.— Кого страхами запугать хочешь? Шкуру сдирают, последнего барана отберут, батраков колхозных из нас сделали, а ты — рот разинь и на советскую власть удивляйся.

— Я у тебя, Шохобдин, пятнадцать лет батрачил, побатрачу и в колхозе. А с тобой не пойду.

Шохобдин смял в пальцах желтый лоскут бороды.

— Совестно тебе, Хайдар, меня, старика, позорить. Людей постыдись! Как сына родного пригрел. Мелик

---

[1] Стих из Корана.

тебе дочь в жены без калыма отдал,— я ручался. Жил ты до сих пор моим умом и хозяйство нажил и почет в кишлаке приобрел. Теперь в благодарность против меня идешь? Своим умом жить задумал, а ум у тебя дурак. Паршивую овцу от стада отделяют, чтобы других не заразила. Так и тебя. Пойдут дожди, места себе в алухане[1] не ищи. И жена от тебя уйдет...

— Ты моей жене не хозяин!

— Уйдет. К отцу вернется. Не хочешь жить по шариату, силой ее по советским законам жить с тобой не заставишь. Будешь шуметь — хуже будет. Молчал и молчи. Анвар Махмудзода шумел в прошлом году, а поехал в Сталинабад, в лунную ночь в арыке утонул, говорят, пьяный свалился. Осенью земля скользкая... Со всяким может случиться...

Шохобдин встал и, распрощавшись с хозяевами, пошел к выходу. Немного переждав, один за другим, разошлись остальные.

Мелик вышел во двор. В дверь ворвался ветер. Пламя в чароке[2] взметнулось огненным кузнечиком, и косолапые тени шарахнулись вдоль стен. Ишан Халик сидел один на полу хоны, неподвижный, с закрытыми глазами, бормоча молитву. Он перебирал четки, как скряга отсчитывает медяки, определяя на ощупь их достоинство. Отсчитав последнюю, он поднялся, поправил женское платье и остановился у дверей, прислушиваясь к стуку копыт: во дворе седлали коня.

Отъезд ишана сильно затруднил дальнейшие действия Шохобдина. История с Хайдаром еще больше осложнила положение. Нужно было ввести Хайдара в оглобли, иначе размолвка с ним могла быть чревата очень плохими последствиями. Хайдар заупрямился, как осел, и оставался глух ко всяким убеждениям. Видя, что толку от него не добьется, Шохобдин попробовал воздействовать на Хайдара через его жену Шарофат. Мелик, в отсутствие Хайдара, сходил к дочери и имел с нею длинный отцовский разговор. Вопреки ожиданиям, Шарофат заявила папаше, чтобы Хайда-

[1] Дословно: дом огня — дом, в котором зимними вечерами вокруг костра проводят время за чаем и беседой все мужчины кишлака.

[2] Светильник.

ра ни в какие басмаческие дела не впутывал. Хочет сам лезть на рожон — скатертью дорога, а муж ее лезть в эти дела не дурак. Хайдар рассказал ей обо всем, и если Мелик с Шохобдином не оставят их в покое, она сама пойдет и донесет на них ГПУ. Мелик сказал дочери несколько неприятных слов и ушел ни с чем, трясясь от возмущения: эта неблагодарная дура осмеливалась родному отцу угрожать доносом!

Шохобдин, узнав от Мелика содержание их разговора, сильно обеспокоился. Если два дурака станут вместе думать, они могут выдумать такое, что никому от этого не поздоровится. К тому же двоих не спровадишь. Несчастье может случиться с одним человеком, но когда оно случается сразу с двумя, тут уж всяких толков и подозрений не оберешься. Шохобдин поручил своему младшему сыну, Мумину, не спускать глаз с Хайдара и его жены и докладывать о каждом их шаге.

Месяца три прошло как будто без особых событий. Ни Хайдар, ни его жена за все это время никуда из кишлака не отлучались. Шохобдин, в пылу своей опасной работы, начал уже о них забывать, когда в один зимний день прибежал Мумин и сообщил, что Хайдар ходил сегодня в Курган и крутился около ГПУ...

Случилось же это так:

Узнав от жены, что та пригрозила Мелику рассказать обо всем в ОГПУ, Хайдар понял: теперь ему уже несдобровать. Знал он о Шохобдине слишком много и не мог утешаться надеждой, что после всего случившегося Шохобдин оставит его в покое. Сидеть и ждать, когда Шохобдин, улучив подходящий случай, приведет в исполнение свою угрозу? Или сейчас же, не откладывая, идти и рассказать все уполномоченному ГПУ? Решившись донести, надо было распрощаться с кишлаком и больше не показывать в нем носа. Хайдар и Шарофат шли уже и на это, но жалко им было бросать хозяйство. Каждую ночь они баррикадировали дверь и попеременно сторожили с топором. Хайдару почему-то казалось, что придут его резать именно ночью. Каждый вечер он решал завтра донести уже непременно и наутро опять раздумывал. Так промаялись они почти всю зиму. От бессонных ночей и от неустанного страха им стали мерещиться за каждым кустом поджидающие их топоры и обрезы. Жить так дальше

становилось немыслимо. Оставалось либо лезть в петлю, либо немедля бежать в ГПУ. Однажды, после невесть которой бессонной ночи, Хайдар решил наконец — будь что будет — идти, кинуться к ногам уполномоченного, рассказать все по совести и просить взять их под свое покровительство.

Он пошел в Курган. Дождь хлестал ручьями, ноги, увязая в размякшей земле, обрастали пудовыми гирями. Подойдя к дому ГПУ, Хайдар хотел было юркнуть уже в ворота, когда, оглянувшись, увидел едущего верхом сына Шохобдина. У Хайдара отнялись ноги. Мумин, проезжая мимо, окликнул его: «Здравствуй, Хайдар! Гуляешь? Гуляй, гуляй, погода хорошая!» Хайдара бросило в холодный пот. Он понял, что следивший за ним сын Шохобдина сейчас поедет и скажет отцу.

Хайдар так и не пошел в ГПУ. Он долго бродил по грязи под хлещущим дождем, раздумывая, что ему делать. Он боялся вернуться в кишлак. Наконец он решил пойти прямо к Шохобдину, сказать, что в ГПУ он вовсе не был, проходил только мимо, и поклясться на Коране никогда ничего не рассказывать. Он шел быстро, разбалтывая ногами грязь, подгоняемый предчувствием беды. Недалеко за городом его обогнал Мумин, возвращавшийся галопом в кишлак. Пройдя километра два, Хайдар пустился бежать...

Услышав отчет сына, Шохобдин бросил еду и задворками поспешил к Мелику. Ошарашенный новостью, Мелик сидел, не в состоянии выговорить ни одного слова, и от страха позванивал зубами. Шохобдин знал, что в трудную минуту рассчитывать ему не на кого, и не за советом шел к Мелику. Смотря со злобой на его прыгающую старческую челюсть, Шохобдин сказал:

— Когда против тебя говорит один человек, это меньше, чем когда против тебя говорят два человека. Ты не думаешь, Мелик?

Мелик звенел зубами. Шохобдин подумал, что с этим мешком трухи всякие подготовительные разговоры бесцельны. Он сказал строго:

— Если бы Хайдар, допустим, убил жену, и потом, когда его возьмут, стал рассказывать разные сказки про других дехкан,— как ты думаешь, ему поверили

бы или нет? Я думаю, что ему бы не поверили. Умный начальник ГПУ сказал бы себе так: он рассказывает нам всякие бредни, чтобы увильнуть от расстрела. Потому что за убийство жены теперь расстреливают. Ты знаешь об этом, Мелик?

— А... а разве Хайдар у...бил жену? — обалдело пяля глаза, пролепетал Мелик.

Шохобдин взял его за плечи:

— Слушай, Мелик, слушай и запоминай: Хайдар всегда ссорился со своей женой. Жена хотела от него уйти. Хайдар грозил, что ее прирежет. Она приходила жаловаться к тебе, к отцу. Не звени зубами! Морду разобью! Понял? Сегодня, прибежав туда, ты видел Хайдара с ножом. Ты хотел его задержать, он замахнулся на тебя и убежал. Понятно? Все понятно? А теперь сиди и жди, пока тебя не позовут. Воды холодной попей. Слышал? Воды попей! И когда позовут, ни о чем не спрашивай, беги.

Шохобдин торопливо вышел из хоны.

...Живущий рядом с Хайдаром Давлят, услышав крики в доме соседа, в первую минуту удивился. Хайдар никогда не бил жены, и жили они на редкость дружно. Давлят подумал, что вмешиваться в чужие семейные ссоры не следует, и решил как-нибудь при случае, с глазу на глаз, пристыдить Хайдара за сегодняшнюю расправу. Однако вскоре крики стали такие раздирающие, что Давлят не выдержал и кинулся к дому Хайдара. Не пороге Хайдаровой хоны он столкнулся с выходившим оттуда Шохобдином.

— Беги в сельсовет! Зови понятых! — закричал, увидя его, Шохобдин.— Хайдар жену зарезал!

Давлят оторопел:

— Зарезал жену? А где он? Там?

— Убежал, в поле... — махнул рукой Шохобдин.

— А почему у тебя весь халат в крови?

— Там все в крови. Хотел ее поддержать, перенести на кошму, а из нее кровь, как из зарезанного барана. Беги скорее к телефону, извести милицию! Я побегу предупредить Мелика! — он быстро исчез за углом.

Известие об убийстве Хайдаром жены быстро разнеслось по кишлаку. Перед домом Хайдара вскоре толпилась уже куча народа. Возвращавшегося из сельсовета Давлята встретил на дороге сын Шохобдина, Му-

мин, и просил срочно зайти к отцу. В хоне Давлят застал одного Шохобдина. Тот успел уже переменить халат и, расхаживая по избе, расчесывал пальцами свежевымытую бороду. Завидя Давлята, он подозвал его кивком:

— Ты видел Хайдара с ножом?

— Нет, откуда я мог его видеть? Ты же сам говорил, что он убежал.

— Это ничего... Я его видел, и Мелик видел.

— Как мог его видеть Мелик? Ведь ты пошел его известить уже после того, как я прибежал.

— Ты не мудри, Давлят, раз Мелик говорит, что видел,— значит, видел. Будут спрашивать, ты тоже скажи, что видел.

— Скажу так, как было.

— За Хайдара хочешь заступаться?

— При чем тут заступаться?

— Если никто не видел, тогда какое же доказательство, что убил Хайдар, а не кто-нибудь другой?

— Но ведь ты же видел.

— Один человек видел, это мало. Хайдар, наверное, будет оправдываться. Начнется разбирательство, будут меня таскать по следователям как единственного свидетеля. Знаешь сам, какая возня с судом. А так, если видели три человека,— все ясно, и беспокоить никого не будут. Что тебе подтвердить трудно? Хочешь меня, старика, в это дело впутать?

— Зачем я буду врать?

— Прибеги ты на три минуты раньше, ты бы видел. Подумаешь, большой обман — три минуты! Я уже всем сказал, что ты видел. Будешь отнекиваться, меня запутаешь. Выйдет, я врал. Начнут допытывать: а почему, зачем,— конца не будет. Мало ли я раз говорил неправду, чтобы тебя в ненужные дела не ввязывать? Раз ты такой правдолюбец, не надо было и тогда соглашаться...

С того дня, как увели Хайдара милиционеры, заглох о нем всякий слух. Говорили, что будут его судить показательным судом в кишлаке. Прошло три недели, а о выездной сессии все еще ничего не было слышно. Потом кто-то принес известие, что Хайдара уже судили на обыкновенном заседании в Курган-Те-

па, вместе с несколькими баями, обвиняемыми в убийстве уполномоченного РКИ, и приговорили к расстрелу. Приговор уже неделю тому назад приведен в исполнение.

Шохобдин все ждал неизбежных неприятностей, но никаких неприятностей как будто не предвиделось. Моментами он склонен был усматривать в этом какой-то опасный подвох. Давлят, после случая с Хайдаром, заупрямился, и прибрать его к рукам становилось с каждым днем труднее. Последнее решение правления об отводе лучших земель под хлеб удалось провести с боем, большинством одного голоса Кари Абдусаторова, обработанного предварительно Шохобдином. Хорошо, что день окончательной развязки приближался и тянуть осталось уже недолго.

Гонцы ишана Халика принесли известие, что вооруженное наступление приурочено к первому поливу, точнее — ко дню пуска воды в новый большой канал. Ишан обещал перейти к этому времени Пяндж с двумя тысячами сабель, снести пограничные посты и двинуться вверх по руслу канала, разрушая по дороге новую оросительную сеть. Это должно было вызвать панику в переселенческих колхозах и привлечь их на сторону движения. На Шохобдина и связанных с ним окрестных вожаков возлагалась обязанность разрушить деревянные узлы в верхней части канала, занять городок первого участка и, разоружив охрану, двинуться с востока на Курган-Тепа. Ишан со своими джигитами обещал налететь с запада. Занятие районного центра должно было послужить сигналом к восстанию во всей округе. Ишан предостерегал от повторения Ибраимовых ошибок, запрещал уходить с отрядами в горы, приказывая занимать главные дороги и крупные кишлаки. Только смелые налеты и действие в открытую могли внушить населению веру в силы нового басмаческого движения и перетянуть на его сторону колеблющихся.

Атмосфера в колхозе сгущалась день ото дня. Тюфяк Кари, напуганный оппозиционерами из правления, провалил план отведения лучших земель под хлеб. Давлят на своем председательском месте держался на волоске. Оппозиция подкапывалась под него систематически, явно гнула к перемене всего руководства и, баламутя народ, мобилизовала актив против

Шохобдина и его людей. Катастрофа могла разразиться неожиданно и, распылив основные силы, расстроить организованное выступление.

Шохобдин в эти дни спал мало, опасаясь неожиданного удара в спину, расставлял по ночам дозоры и, раньше чем это предписывалось ишаном Халиком, приказал выкопать из ям и раздать оружие.

Наконец, время, назначенное Халиком, пришло. Пуск воды в большой канал должен был состояться завтра. Ночью на обрызганном пеной коне в кишлак прискакал гонец. Не соблюдая обычных предосторожностей, он прошел прямо в хону к Шохобдину. От гонца пахло конским потом и пылью. Из-под его халата вызывающе выпирала плохо спрятанная кобура маузера. Он с порога крикнул оторопевшему Шохобдину, что ишан Халик с джигитами перешел Пяндж и приказал всем выступать, не дожидаясь рассвета. Передав распоряжение, он повернулся и прыгнул в темень. Через минуту по ночной дороге зацокал его отрывистый галоп.

Шохобдин прочел ночной намаз и отправил обоих сыновей скликать соратников. Сборный пункт: через час на разъезде троп, у большого карагача. Отправив сыновей, Шохобдин стал одеваться, натянул новые сапоги, надел новый ватный халат, перехватив его туго платком. Раскрыл сундук, достал оттуда белую шелковую чалму, прикрывавшую спрятанные в сундуке два нагана, и, в первый раз после многих лет, начал старательно обматывать чалмой голову.

У входа послышались чьи-то шаги. Шохобдин быстро захлопнул сундук и пошел к двери. В дверях стоял Хайдар.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Товарищ Уртабаев! Вас тут спрашивают. Человек один. Говорит, приезжий.

— Сейчас приду.

Уртабаев поставил ногу на ступеньку железной лестницы и еще раз окинул взглядом головное сооружение. Остатки опалубки сняты. Дугообразные щиты, похожие на гигантские забрала, поднимаются и опускаются без скрежета, сообразно поворотам штурвальных колес. Когда в пролеты между бетонной колонна-

дой хлынет вода, секторные щиты, падая вниз, как кривые лезвия гильотин, отрежут от реки горловину канала.

Уртабаев поднялся по лесенке наверх и полез на отвал. Бетонное сооружение, высотою с шестиэтажный дом, втиснутое в устье канала и обрезанное вровень с берегами, казалось отсюда небольшой отточенной моделью. По плоской асфальтированной крыше, мостом соединяющей оба берега, ехала с той стороны канала вереница бричек, груженных всяким хламом: строительство прихорашивалось, свертывало ненужный инвентарь и, убирая строительный мусор, готовилось к приему гостей. Завтра должен был состояться торжественный взрыв перемычки.

Уртабаев медленно сошел вниз. Он впервые с сожалением подумал, что это строительство, стоившее ему стольких трудов, неприятностей и бессонных ночей, приходит к концу. Близость предстоящего расставания внезапно показалась горькой. Он подумал, что, кроме этой большой семьи, у него нет, как у других, ни любимой женщины, ни родных, никого, чья смерть способна была бы погрузить его в настоящее отчаяние. Со дня самоубийства Валентины он чувствовал себя иммунизированным от слишком сильной боли. Худшее, что могло случиться, уже случилось. Сознание устойчивого спокойствия временами переходило в тоску. Он ощущал себя человеком, у которого оперативным путем устранили какую-то жизненно необходимую железу. Чувство сожаления при мысли о скором расставании со строительством шелохнулось в нем рефлексом простой человеческой боли, неожиданно, как первый шаг выздоравливающего.

Он сошел вниз и отыскал глазами окликнувшего его прораба.

— Кто меня спрашивал?

— Вот этот старик в белой чалме. Говорит, специально приехал.

Уртабаев пошел навстречу седобородому старичку в выцветшем голубом халате и остановился, не веря глазам:

— Папашка!

Они обнялись, прижимаясь крепко щеками. Уртабаев ласково трепал старика по голубой спине.

— Живем, старина? Вот хорошо! Как это ты меня разыскал? Навестить решил на старости лет? Удачно выбрал время, прямо к празднику. Пойдем, угощу тебя чаем.

Он обнял, как сына, достающего ему ровно до подмышек старика и повел в городок.

В комнате Уртабаева стоял стол, два стула, кровать. Старик, неодобрительно оглядев с порога обстановку, приткнулся на полу у стены.

— Стульев не признаешь? — улыбнулся Уртабаев.— Какой был, такой и остался. Европейская цивилизация зубы о тебя поломала. Ну, что ж, так и быть. Угощу тебя по-азиатски.

Он снял со стены коврик, расстелил на полу, принес чайник, две лепешки, немного сухого урюка и, присев на другом краю ковра, придвинул угощение старику.

— На, пей! Чай зеленый. Давай и я с тобой выпью. Съестного у меня ничего нет. Есть, кажется, где-то колбаса, но свиная — все равно кушать не будешь. Принесу тебе потом обед из столовой. Ну рассказывай, как живешь, как сюда попал?

Старик вытер руками бороду, отпил глоток и, отломив кусок лепешки, долго разжевывал его уцелевшими зубами.

— Помирать скоро буду,— сказал он, наконец проглотив мякиш.— Ездил перед смертью поклониться святым местам. На обратном пути заехал на сына поглядеть. Слыхал — ты большой человек, с начальниками живешь. Думаю, авось, отца-старика не прогонит.

— Все юродствуешь? Где ж это ты святые места поотыскивал? Разве еще остались? Небось прокладывали новые дороги, все твои могилки утрамбовали.

— Много святых мазаров осквернили,— сокрушенно покачал головой старик.— Место даже трудно найти. Был я около города Гиссара, мазару одному хотел поклониться. Очень святой мазар был. С землей сровняли. Юрт кругом понаставили. Голые девки в куцых изорах [1] и голые мужики, в святом месте развалившись, на солнце греются. Были б одни русские, не такой срам перед богом, а то и мусульмане в куцых штанах ходят, обносят все, чем их бог одарил, девкам напоказ. Тьфу!

---

[1] Шаровары.

— Это, ты, верно, в дом отдыха попал,— расхохотался Уртабаев.— Видишь, и святое место на что-нибудь пригодилось: людям после работы отдых даст. А ты еще недоволен!

— Пошел я поклониться святой горе,— продолжал старик, пропуская мимо ушей непристойную реплику сына.— Добрые люди разыскать помогли, а то и места не узнать. Внизу машины на четырех лапах ходят, гору грызут, дымом плюют, по-собачьему лают. Заплакал я горькими слезами, накрыл голову полой халата и убежал... Алла Акбар! [1]

— Оказывается, ты и на нашем Ката-Таге успел уже побывать! Посмотреть на тебя, можно подумать, и километра не пройдешь — хиленький стал. А тебя вон куда носит!

— Спрашиваю верующих людей: «Кому ж это мешал святой мазар на горе?» И говорят мне верующие: «Мусульманин один, Уртабаев Саид, родом из Чубека, машины сюда привел и велел им гору грызть. День и ночь грызут, а он стоит руки в боки, папиросу курит, да все приказывает, чтобы рыли поглубже». И спрашивают меня люди: «Ты, говоришь, странник, сам из Чубека? Должен его знать». А я отвернулся и солгал,— да простит меня всевышний! «Нет,— говорю,— не знал я в Чубеке такого мусульманина, который бы святые места осквернять не постыдился».

— Что же ты, папаша, приехал возвращать меня в мусульманскую веру? Брось ты это дело! Чайку лучше попей, остынет.

— Да... не думал я, что доживу до такого срама. Сколько труда стоило всей семье отправить тебя в Бухару, в медресе! Дядя твой на дорогу ни танги не дал, сказал: «Может пешком, добрые люди накормят». Все, что было дома, мы тебе в дорогу собрали. Думал, доживу, вернешься из Бухары благочестивым ученым мусульманином, ишаном вернешься, семье почет принесешь... Помутил тебя дьявол. Бежал ты из медресе и дядю и семью опозорил. На горе семье и односельчанам недоучкой вернулся. Недаром говорят у нас: из всех бед, которыми бог испытывает правоверных, хуже всего четыре беды — вошь, блоха, есаул да мулла-недоучка.

---

[1] Бог всемогущ.

— Устарела твоя поговорка, папаша. Есаулов мы всех перестреляли, мулл больше не обучаем, вот разве вши и блохи у нас еще водятся. А уж если ты такой любитель пословиц, я тебе, папашка, скажу другую. Помнишь, дедушка всегда говорил про мулл: все муллы — это один человек, да и этот один — не мужчина, а баба. Как же это ты, верующий мусульманин, сына своего бабой хотел сделать? Ай-яй-яй!.. А вот еще есть и такая поговорка, тоже, наверное, знаешь: скот, который раз поспал в тени медресе, больше для работы не годится. Мое счастье, что убежал вовремя, потому еще кое на что гожусь.

— Всегда был у тебя язык нечистый. В рубашке ты еще бегал, а уже матери сквернословил... Помню, приехал ты в Чубек представителем новой власти. Всякая власть от бога, иная в наказание за грехи наши. Весь кишлак думал: раз сын старого Уртабая в новой власти сидит, значит, бояться нам нечего,— есть у нас перед властью заступник, он нас в обиду не даст. Приехал ты в кишлак, на следующий день благочестивых мусульман имущества решил и отправил в далекие края, кишлак наш на весь вилайет опозорил.

— Ай, папашка, папашка! Бедняком ты всю жизнь прожил, а разговор у тебя кулацкий.

— Приехал я сюда посмотреть, как это сын мой в больших начальниках ходит. Слышу — жалобы кругом и плач правоверных. Дехкан, что у тебя тут работали и беспокоились о спасении души мусульманской, в ГПУ передал. Нет такого места, где бы имени твоего не проклинали.

— Э, папашка, да я вижу, прежде чем ко мне прийти, ты уже со всей нашей местной контрой снюхаться успел. Быстро орудуешь. Смотри, у нас тут законы строгие! Возьмут за шиворот, я тебе тогда не заступник. Зачем же ты, после этого, ко мне приехал? Выкладывай уж прямо.

— Есть у нас такая сказка, старые люди рассказывают, а старым людям зачем врать? Одна цапля заболела тяжелой болезнью. А когда заболела, то посоветовали ей обратиться к табибу. Приходит она к табибу и говорит: «Заболела я, и очень мне дурно. Дай, табиб, какое-нибудь лекарство». Посмотрел табиб на цаплю и говорит: «Болезнь твоя тяжелая, но есть против нее одно верное средство: найди такой источник,

куда ты ни разу не нагадила, выкупайся в этом источнике, и болезнь твою как рукой снимет». Тогда цапля легла на землю, растопырила крылья и говорит: «Ой, пришла моя кончина. Умираю». Удивился табиб: «Я ж тебе дал верное средство. Почему собираешься умирать, а не идешь искать источника?» — «Ой, и не говори! — заплакала горько цапля.— Разве есть где-нибудь такой источник, куда бы я не нагадила?»

— Это ты про меня? — улыбнулся Уртабаев.— Сказка хорошая, и кое к кому она, пожалуй, подходит, только не ко мне. Я здоров, болеть не собираюсь, а заболею, все равно в ваш источник купаться не пойду.

— Ни один человек не знает, когда ждет его беда. А твоя беда близко.

— Раз ни один человек не знает, откуда же ты об этом знаешь?

— Бог многое открывает верующим, о чем неверные узнают только в час своей кончины.

— Что ты мне все смерть пророчишь? А еще папашка! Из нас двоих тебе скорее думать о смерти надо.

— Беда большая над этим местом повисла. Когда с горы падает камень, те, которым бог не помутил разума, обращаются в бегство. Вот и пришел тебе сказать: народ недоволен безбожной властью. Разве тебе самому в прошлом году не причинила она большой обиды? Верующие не отвернутся от тебя. Те, которые образумились и признали наши знамения, не будут обижены на толщу плевы на финиковой косточке.

— Ого! Какая ж это беда повисла над нашим строительством? Ты, папашка, выражайся яснее.

— Сказано в Коране: «Вода его уйдет в землю, и тебе никак уже не суметь отыскать ее».

— Эти сказки мы слыхали. Насчет воды, это уж наша, а не твоя специальность. О воде не беспокойся. Ты, мне думается, не с этим пришел. Раз уж решил меня образумить — выкладывай прямо. Чего ж мне бояться?

— Знающие люди говорят: большое множество всадников перешло через Пяндж. Копытами их коней протоптаны новые межи на колхозных полях. В какой кишлак въезжает один всадник, выезжают из него два всадника. В какой въезжает их десять — выезжают двадцать. Завтра будут их тысячи. Все ваши машины

посбросают в Вахш. А неверные, гибель им! Дела их пропадут.

— Так... Помнишь, папашка, двадцать первый год, когда мы дрались с басмачами и басмачи окружили нас в Кулябе? Было нас тогда человек тридцать, а басмачей человек восемьсот. Ты пробрался тогда ко мне в крепость парламентером, сдаться мен уговаривал. Что я тебе, папашка, ответил? Помнишь? Я тебе тогда сказал: «Садись, старик, вот тебе чайник. Кушать у нас нечего, но чаю еще немного осталось. Напрасно ты пришел ко мне послом от басмачей. Моему папашке это не пристало. Обратно к басмачам я тебя не пущу. Будем здесь умирать вместе. Я моложе тебя, и мне жизнь за советскую власть отдать не жалко, сделай уж одолжение и ты, не пожалей своей». Что я тогда сделал? Я тебя запер на замок, и ты просидел у нас в крепости две недели, до тех пор, пока не подоспели наши красноармейские части и не прогнали басмачей.

Старик поднялся с коврика и потихоньку попятился к двери.

— Нет, папашка, подожди! Ты же ко мне в гости пришел. Уходить так рано не годится.

Уртабаев подошел к двери, запер ее и ключ положил в карман.

— Сделай одолжение, погости у меня до окончания праздника. Чего ж ты поднялся? Садись, чайку попьем. Ну, давай выкладывай: кто тебя сюда послал?

— Никто меня не посылал. Сам пришел. Образумить тебя хотел. А ты как был шайтан, так и остался.

— Это ты брось! Слишком много что-то ты знаешь. В твои годы столько знать вредно. И про то, что меня здесь в прошлом году обидели, знаешь, и про басмачей... Ты, папашка, не финти. Рассказывай все по совести. Кому скажешь правду, как не родному сыну?

— Ничего я не знаю. Ездил помолиться к святым местам, на обратном пути к тебе заехал. Про басмачей люди говорят. Сам не видел и знать не знаю. Дома мать ждет и зятья ждут. Помирать скоро буду. Надо перед смертью по хозяйству распорядиться. Грех большой на свою душу берешь.

— У меня, отец, грехов много, — одним больше, одним меньше, какая разница?

— Отца родного в ГПУ отдашь?

— Ты, папашка, ГПУ не бойся. Там такие же люди, как и я. Пока что ты у меня в гостях. Будешь рассудителен, расскажешь все, о чем спрашиваю, — пловом тебя угощу и в Чубек отправлю. Денег на осла дам, пешком не пойдешь, — вот тебе моя рука! Раз торопишься, давай времени не терять. Я тебе помогу. Значит, басмачи перешли Пяндж и налет их приурочен к пуску воды? Так, что ли?

— Я басмачей не видел и что они задумали, не знаю.

— Ты, папашка, дурака не валяй. Мне не скажешь, товарищам моим из ГПУ скажешь. Лучше тут по-семейному. Вот видишь, и чай остыл... Сколько ж их перешло?

— Не знаю.

— Сотня? Больше?

— Не знаю, не считал.

— Ну, а что говорят? Много?

— Разное говорят.

— А в каком месте перешли Пяндж?

— Не знаю.

— Э, папашка, что-то у нас с тобой разговор не клеится. Ладно, не знаешь — не знаешь. А кто ж тебе об этом говорил?

— Люди говорили.

— Что это за ответ: люди? Все мы люди. Как звать этих людей?

— Не знаю.

— Как же не знаешь, если с тобой говорили?

— Мало ли людей встречает по дороге прохожий? Разве спрашиваешь у каждого, как его звать и откуда он родом?

— Та-ак... Значит, не скажешь? Что ж, тебе некогда и мне некогда. Только домой ты, папашка, не попадешь. Арестовать тебя придется. А я тебя пловом угостить хотел. И осла хорошего снарядить. Хороший осел всегда в хозяйстве пригодится... Ну как? Скажешь или нет?

— Что знал, сказал, больше не знаю.

— И зачем это тебе, папашка, на старости лет в ГПУ побывать понадобилось? Убей меня, не пойму. Басмачей боишься, как бы тебя не пристукнули за то, что выдал? Что ты, папашка, маленький? Мало ты налетов на своем веку видел? Разве советская власть

еще с одним налетом не справится? Эх, папашка, жил ты, жил, а ума не нажил. Думай, папашка, скорее! Будешь говорить или не будешь?

— Что знал, сказал, больше не знаю.

— Тебе видней. Ну, я пойду. Ты, папашка, в окно вылезать не пробуй. Я сейчас сторожа поставлю. Ты тут, в общем, устраивайся и умом пошевеливай.

Уртабаев вышел из комнаты и старательно запер дверь на замок.

...Шохобдин Касымов, не веря глазам, смотрел в упор на стоявшего в дверях человека. Нет, он не ошибался,— это был Хайдар. Шохобдин на мгновение закрыл глаза и прочел в уме первые слова Суры. Подняв веки, он убедился, что человек в дверях не исчез.

— Здравствуй, Шохобдин! — заговорил Хайдар совсем не потусторонним голосом. — Чего ж так на меня смотришь? Не поздороваешься даже? Не рассчитывал встретить меня в живых? Видишь, живу. В гости к тебе пришел. Принимай гостя.

— Здравствуй, Хайдар, — невнятно пробормотал Шохобдин, медленно пятясь к сундуку.

Хайдар, заметив его движение, развязным шагом прошел через хону и присел на сундук.

— Ну, как твое здоровье, Шохобдин? Сыновья здоровы? Поздно они у тебя гуляют. Что ж ты стоишь? Садись. Или не ждал меня в гости? Рассказывай, как дела? Давно я вас всех не видел. Пришел, думаю: к кому же мне первому пойти, как не к моему свату? А ты вот встречаешь меня, вроде и не рад.

Шохобдин из-под прищуренных век тщательно обшарил глазами рваный халат Хайдара. Оружия у гостя как будто не было. Свалить Хайдара с сундука и достать наган? А вдруг у него в рукаве нож? Лучше подождать. Скоро должны вернуться сыновья. Тогда можно будет расправиться с этим пугалом быстро и без шума. Пока не подошли, надо занять его разговором.

— Ты правильно сделал, что зашел ко мне первому, — сказал Шохобдин, пристально следя за каждым движением Хайдара. — Если ты питаешь ко мне обиду, Хайдар, ты ошибаешься. Я давно хотел тебе об этом сказать. Если кто виноват в твоем несчастье, это

не я, это Мелик. Я его просил уговорить Шарофат, чтобы она объяснила тебе, что предавать старых друзей — последнее дело и правоверный мусульманин так не поступает. Разве я виноват, что так нехорошо случилось? У нас, у стариков, есть поговорка: вели дураку принести чалму, он тебе принесет ее вместе с головой. Если ты хочешь мстить, Хайдар, я не скажу нет. Написано в Коране: «Свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину». Если ты пойдешь и возьмешь голову Мелика,— это твое право.

— Значит, ты тут ни при чем? — спросил Хайдар, искоса поглядывая на Шохобдина.

— Клянусь тебе всевышним! Говорю, как было. Неужели ты мог подумать, что я способен так тебя обидеть! Или ты совсем уже забыл, Хайдар, сколько хорошего я для тебя сделал? Ты же знаешь, что я любил тебя всегда как третьего сына.

— Я тоже так думаю.

Шохобдин бросил на Хайдара беглый взгляд. Издевается? Неожиданная мысль осенила его и обдала холодом. Не сошел ли Хайдар с ума? Может, потому его и выпустили? Шохобдин еще раз осторожно присмотрелся к ночному гостю.

— Ну, что ж,— поднялся с сундука Хайдар.— Собирайся, старик. Пойдешь со мной к Мелику.

— Что?— робея, переспросил Шохобдин. — К Мелику? А я зачем?

— Он тебе в глаза отпираться не посмеет.

— Погоди, Хайдар. Зачем мне, старику, смотреть на такое дело? Нехорошо ты задумал. Я тебе сказал, — это твое право. Но зачем мне туда ходить? Иди один.

— Нет, сват, пойдем вместе. Вместе мы с тобой ходили к Мелику договариваться насчет свадьбы, давай уж и насчет похорон договоримся.

У Шохобдина неприятно отяжелели ноги. Он прикинул расстояние, отделяющее его от сундука,— сбить с ног Хайдара и выхватить наган? —когда вдруг у входа внятно послышались шаги. Кто-то споткнулся в темноте, звякнуло оружие. «Наконец!» — с облегчением выпрямился Шохобдин.

— Что ж, хочешь — пойдем, — согласился он, как будто после минутного раздумья. Он уступил в дверях дорогу Хайдару.

— Нет, уж, сват, не обидьте, — посторонился Хайдар.

— Проходи, проходи! — подтолкнул его под локоть Шохобдин.— Какие уж тут церемонии между своими?

Хайдар настойчиво сторонился. Шохобдин, боком, оглядываясь с опаской, прошел в дверь. Сделав несколько шагов, он зажмурил глаза, ослепленный светом фонаря.

— Черти! Зачем свет?... — он не докончил, разглядев с удивлением лицо вооруженного дехканина, державшего фонарь.

Это был Рахимшах Олимов.

— Мумин! Абдулла! Ко мне! — крикнул в темноту Шохобдин.

Вооруженные люди окружали его плотным кольцом.

— А я уже думал, не придете, — нет вас и нет, — раздался за спиной Шохобдина насмешливый голос Хайдара.— Уж мне ему зубы заговаривать надоело. Думаю: будь что будет, выведу его один...

— Мумин! Ниаз! — закричал Шохобдин. Он все еще надеялся, что кто-нибудь поблизости должен же услышать его крик.

— Не шуми, Шохобдин, не шуми! — добродушно успокаивал Хаким-неудачник. — Все здесь: и Ниаз, и Мумин, и твой Давлят. Со всеми повидаешься. А ну, у кого там веревка? Отпусти вольно руки. Будешь упираться, зря мозоли натрешь.

День поднялся заспанный и желтый, разбуженный раньше обычного нестройным стуком молотков над городком первого участка. В городке спешно приколачивали красные полотнища, обтягивали материей горбатые скелеты арок. Лозунги были на пяти языках: Сталинабад извещал, что выехавшие для участия в торжественном пуске наркомзем Союза и председатель союзного Госплана везут с собой кучу иностранных гостей — инженеров и журналистов. Предупреждали, что гости, во избежание жары, выедут из Сталинабада до рассвета, и советовали приготовить помещение ориентировочно человек на сто.

Морозов в эту ночь спать не ложился, лично руководя приготовлениями. Трехнедельная задержка с

окончанием работ, вызванная обвалом на скале и неожиданным открытием плывуна, не оставила времени для предварительной замочки канала и вынудила управление сочетать официальный пуск воды со взрывом перемычки. Известие о приезде большого числа иностранных гостей навеяло на Морозова серьезную тревогу. Разве такие учтут, что русло замачивается впервые и всякого рода размывы и просадки — неизбежны. Для них каждая мельчайшая авария — лишний повод к издевательствам над качеством нашей ударной работы. Ходи за ними и объясняй, что пуск воды не означает еще сдачи канала в эксплуатацию и что до этого времени все мелкие неполадки успеем сто раз ликвидировать. Морозов утешал себя надеждой: может, как-нибудь все обойдется благополучно, но в свете непрерывных сюрпризов последних недель надежда эта казалась иллюзорной.

Первая легковая машина из Сталинабада привезла председателя ЦИК, коренастого таджика в красноармейской косоворотке. Машину, прежде чем подоспел к ней Морозов, окружили местные дехкане, спеша, один через другого, пожать руку почетному гостю. Предцика не был, впрочем, гостем в этом районе. Из года в год,— посевная, окучка, уборочная,— он проводил больше времени в районах, нежели в своем циковском кабинете, толкая, увещевая, хая каждого нерадивого хлопкороба. Осенью, возвращаясь на дребезжащем фордике в Сталинабад, он озирал поля, покрытые хлопьями ваты, и тогда ему казалось: все это лето он только и делал, что тянул вверх за пушистые белые космы капризные растения хлопчатника, заставляя их подтянуться, выкарабкаться еще выше, на два, на три, на четыре вершка.

Пожав двадцать жадных рук, предцика хозяйским глазом окинул разукрашенный городок, должно быть, остался доволен и, завидя издали Морозова, пошел к нему навстречу.

— Ну, как у вас дела с перемычкой? Аварии не будет?

— Что вы, что вы! Проект взрывпрома утвержден в Москве, проверяли лучшие специалисты.

— В кабинете на бумаге — охэ! — аварий не бывает, на скале только бывают. Смотрите, не оскандальтесь перед иностранцами. Проект итальянского кон-

султанта отклонили. Надо — охэ! — показать, что у нас умеют лучше.

— Покажем, товарищ председатель, не беспокойтесь.

Подъехали вторая и третья машины: предсовнаркома Таджикистана, секретарь ЦК, два секретаря Средазбюро, наркомзем Союза. Приехавших обступили. У белого полотняного барака, разбитого за ночь, образовалось небольшое сборище. Предсовнаркома, отозвав в сторону Синицына, спрашивал его о чем-то вполголоса. Синицын достал из кармана смятый листок, отпечатанный на плохом гектографе, с большой печатью внизу. Предсовнаркома пробежал листок и сунул его в карман.

Морозов протиснулся в толпе к Табукашвили и отвел его в сторону:

— Ты вполне уверен, что взрыв пройдет благополучно? Скажи без дураков!

— Я ж тебе говорил вчера на заседании. В своем проекте взрыва я был уверен на все сто, максимальная гарантия безопасности. Но ведь Москва внесла в мой проект целый ряд поправок, ничем абсолютно нэ обоснованных. И прислали в последнюю минуту, когда оспарывать было поздно. Хоть бы, сукины дети, вызвали меня в Москву, дали возможность прысутствовать при утверждении! Можно было бы по крайней мере драться, доказывать. Нет! Утверждают и вносят произвольные поправки в отсутствие автора проекта! Форменное бэзобразие! Будь я проклят, если еще хоть раз в жизни буду рвать по чужому проекту! Пусть прыезжают и рвут сами!..

Подъехали еще четыре машины. Вскоре площадка перед белым бараком закишела людьми в клетчатых чулках, в кепках, панамах и колониальных шлемах, с перевешенными на ремешке фотоаппаратами и биноклями. Иностранные гости быстро разбрелись по всему городку, заглядывая в каждую щель. Они разговаривали между собой очень громко, как говорят глухие, то ли опасаясь, как бы шум реки не заглушил их слов, то ли из убеждения, что их слова и есть самое важное из всего произносимого в эту минуту. Больше всего иностранцев толпилось над обрывом. Взглянув вниз, все они приумолкли, правда, ненадолго, щелкнув аппаратами, сняли бешеную реку анфас и в профиль и,

побросав в нее окурки, пошли рассматривать рабочие жилища.

Машины прибывали одна за другой.

Морозов, Кирш, Уртабаев и Кларк принимали гостей. Завидев неподалеку Синицына, Уртабаев незаметно отлучился и, нагнав его около конторы, потянул в пустую канцелярию.

— Есть какие-нибудь новости?

— Говорят, переправилось до двух тысяч сабель. Многих наши пограничники уложили на переправе. Прорвались в трех местах три банды. Количество сейчас установить трудно. Приблизительно семьсот сабель.

— Население мобилизовано?

— Вся пограничная полоса оцеплена краснопалочниками. Из Сталинабада вылетели на границу три самолета. В общем, сделано все, чтобы обеспечить мирное открытие канала.

— Это сейчас самое главное. Представь себе — наши гости попадут под перестрелку, и кто-нибудь получит пулю в живот. Хорошенькая была бы реклама.

— Будем надеяться, обойдется без этого. Ну, оставайся с гостями, а я поехал.

— Подожди! Сети нашей нигде не повредили?

— Была попытка на третьем участке, но уже, наверное, починили. Все рабочие участка организовались в отряды самообороны,— с кирками, с ломами, кто с чем. Говорят, затюкали уже один басмаческий разъезд.

— Эх, черт бы побрал всех гостей! Поехал бы я туда с доброотрядом!

— Справятся как-нибудь и без тебя. Ты тут займи гостей, пусть лучше на третий участок сегодня не едут...

На головном сооружении, облокотившись на перила, группа иностранных журналистов, поплевывая вниз, наблюдала за приготовлениями к взрыву. В горизонтальные колодцы, просверленные у подножия перемычки, полезли на карачках первые подрывники закладывать заряды. Высокий черный инженер лично проверял каждую порцию аммонала. Когда подрывники, сделав свое дело, показались опять, в колодцы полез инженер. Вылез он оттуда не скоро, замусоленный, как

трубочист. Его кокетливая кавказская рубашка казалась бело-бурой. Инженер тщательно отряхнул ее чистым платком и на приличном немецком языке попросил гостей очистить территорию, соприкасающуюся с объектом взрыва. Ему не пришлось повторять: все торопливо отхлынули подальше за линию, отмеченную флажками.

Инженер Табукашвили отдал последние распоряжения. Заверещал свисток. Табукашвили достал из кармана часы. Взрыв назначен был ровно в час дня. Оставалось еще четыре минуты. Табукашвили спрятал часы, посмотрел на безоблачное небо, достал портсигар и закурил. По его нарочито медленным, небрежным движениям можно было догадаться, что начальник взрывпрома волнуется...

В кабинете Комаренко висел густой табачный дым. Комаренко открыл толстую папку.

— Итак, гражданин Крушоный, вы отказываетесь ответить на мой вопрос?

По чуть побледневшему лицу инженера Крушоного скользнула тень нетерпения:

— Я не отказываюсь ответить. Я отвечаю на него отрицательно.

— Вы отрицаете, что неделю тому назад, в разговоре с инженером Табукашвили, у себя на квартире, за бутылкой коньяка, когда Табукашвили выражал свои опасения насчет взрыва перемычки, вы сказали ему, более или менее прозрачно, что за неудачный взрыв и повреждение головного сооружения кое-кто заплатил бы большие деньги?

— Отрицаю решительно.

— Вы не говорили Табукашвили, что авария может произойти случайно и что будет ли это авария непроизвольная или произвольная, отвечать ему придется одинаково; только в одном случае он ответит за нее даром, «гратис», как вы изволили выразиться, а в другом случае — он станет богатым человеком?

— Ничего подобного я Табукашвили не говорил и не мог говорить.

— Вы отрицаете, что три дня тому назад, после того как Табукашвили выразил свое согласие, вы передали ему у себя на дому от неизвестного лица трид-

цать тысяч рублей кредитными билетами по десять червонцев?— Комаренко открыл ящик стола и вытащил оттуда пачку кредиток.— Вот эти самые тридцать тысяч рублей.

— Отрицаю категорически.

— Значит, показания инженера Табукашвили, сообщившего нам об этой сделке, вы считаете вымышленными?

— От начала до конца.

— Инженер Табукашвили на вас просто наклеветал?

— Несомненно.

— С какой же именно целью? Как вы это объясняете?

— Очевидно, чтобы отклонить от себя возможные подозрения.

— Подозрения в чем?

— Представьте, что неизвестное лицо, по каким-то соображениям заинтересованное в аварии, предложило инженеру Табукашвили за неудачный взрыв, скажем, пятьдесят тысяч рублей. Инженер Табукашвили хочет заработать деньги, но не хочет получить по суду причитающиеся за аварию пять-шесть лет. Поэтому он, как трезвый человек, решает заработать меньше, но зато вполне безнаказанно. Он берет из полученных денег тридцать тысяч, является с ними в ОГПУ, с благородным видом передает эти деньги вам и сообщает с возмущением об имевшей место попытке купить его, честного советского инженера, и толкнуть на вредительство. Конечно, он не указывает лица, которое в действительности дало ему деньги. Вместо него он называет первое попавшееся, неприятное ему, лицо. Он может сделать это вполне безнаказанно, по своему вкусу и выбору. В самом деле, докажите, что вы не давали денег, если человек, передавший эти деньги в ГПУ, указывает именно на вас. После этого инженер Табукашвили взрывает перемычку, и получается авария. Конечно, Табукашвили вне всяких подозрений. Авария будет рассматриваться либо как простая случайность, либо как вредительство кого-то другого. Инженер Табукашвили заработал одним махом двадцать тысяч и патент на стопроцентного советского инженера, заслуживающего доверия органов ОГПУ, а оклеветанный им, ни в чем не повинный человек идет

в расход или в концлагерь. Расчет во всех отношениях безошибочный.

— Значит, вы уверены, что авария все-таки будет?

— Почти уверен. В противном случае мотивы действий инженера Табукашвили были бы совершенно непонятны.

— А вот сейчас узнаем. Пять минут второго. Взрыв был назначен ровно в час.

Комаренко взял телефонную трубку.

— ...Морозова. Да. Это ты? Говорит Комаренко. Как со взрывом перемычки? Взорвана? Все благополучно? Головное сооружение не повреждено? Так. Спасибо. Больше ничего.

Комаренко повесил трубку.

— Никакой аварии, дорогой гражданин Крушоный. Перемычка взорвана вполне благополучно. Что вы скажете по этому поводу?

— Скажу, что это ничего еще не доказывает. У инженера Табукашвили могло в последнюю минуту не хватить решимости. Он побоялся повредить головное сооружение, за которое отвечает непосредственно сам. Сорвать строительство можно не только путем аварии головного сооружения. Есть целый ряд других объектов, повреждение которых может иметь те же последствия. Это даже значительно удобнее, поскольку за эти объекты инженер Табукашвили персональной ответственности не несет. Я скажу, что ошибся в своих предположениях, только тогда, когда пуск воды и замочка канала обойдутся без единой серьезной аварии.

— Это уже гораздо предусмотрительнее. А почему инженер Табукашвили при выборе лица, которое должен был оклеветать, остановился именно на вас? Были ли у вас с ним какие-нибудь личные распри?

— Нет. Я вообще довольно мало знаю инженера Табукашвили. По моей работе в секторе механизации мне приходилось сталкиваться с ним очень редко. Но в таких случаях меньше всего благоразумно выбирать жертвой лицо, с которым у вас имеются личные распри. При следствии это всегда всплывает и может вызвать только ненужные подозрения. Инженер Табукашвили остался верен общепринятому принципу: сваливать вину на людей, как это у нас говорится, с подмо-

ченной репутацией. Это самый верный и безопасный метод.

— Почему вы считаете себя человеком с подмоченной репутацией? На предварительном допросе вы заявили, что никогда не подвергались суду и каким бы то ни было взысканиям.

— Я показывал правильно. Дело не в моем прошлом,— безупречность его легко проверить,— а скорее в той работе, которая мне была поручена на здешнем строительстве. Вам известно, что я стоял во главе сектора механизации и вам, конечно, хорошо известно, что именно в этом секторе, до моего назначения, был вскрыт целый ряд более или менее значительных вредительств. Мой непосредственный предшественник, инженер Немировский, за вредительство был предан суду. Естественно, что то недоверие, в атмосфере которого развертывалась вся работа механизации, с моим назначением не исчезло. Особенно в последнее время, точнее — с того момента, как я отказался в течение одной ночи изготовить из несуществующего материала три гидромонитора,— отношение ко мне товарища Морозова приняло характер совершенно недопустимый. Я не ставил вопроса о моем уходе только потому, что уходить за несколько недель до окончания строительства не имеет смысла. В последнее время Морозов приставил ко мне инженера Кирша, контролировавшего фактически каждое мое действие. Вполне понятно, что, зная о моем положении, инженер Табукашвили остановил свой выбор именно на мне. Он правильно рассчитал, что обвинение во вредительстве прилипнет ко мне скорее, чем к другим, и что созданная вокруг меня атмосфера сделает меня беззащитным.

Комаренко из-под прищуренных век пристально наблюдал за Крушоным.

— Вот что,— сказал он, закуривая.— Я вас слушал терпеливо и внимательно. У вас — определенное литературное дарование. Вам надо писать криминальные романы... Теперь вы послушайте меня внимательно, очень внимательно. Достаньте, пожалуйста, ваш бумажник. Раскройте. Пересчитайте, сколько у вас денег. Пересчитали? Сколько?

— Триста сорок семь рублей.

— Три бумажки по десять червонцев? Так?

— Да.

— Отложите эти три бумажки. Теперь посмотрите внимательно: на лицевой стороне, внизу, в левом углу. Что вы там видите?

— Какой-то значок карандашом.

— Буква «К», не правда ли?

— Да, как будто буква «К»,— бледнея, подтвердил Крушоный.

— Посмотрите на две другие бумажки, в том же самом углу. Тоже буква «К»? Да? Что ж вы умолкли? Нашли? А вот вам пачка кредиток, которую вы передали инженеру Табукашвили. Все они, как видите, помечены в углу карандашом буквой «К». Моя фамилия Комаренко. Деньги помечены мною. Почему же вы так, побледнели? Вам дурно? Вот стакан воды. Пожалуйста! Пейте, пейте, это помогает. Лучше? Вот видите... Ну, а теперь, давайте садитесь сюда ближе и рассказывайте все по порядку. Вы — неглупый человек, и вы понимаете сами, что в таких случаях самое умное, что вам остается сделать, это рассказать все. Просто и без беллетристики. Итак, от кого вы получили деньги для передачи их инженеру Табукашвили?..

В открытые пролеты головного сооружения семью ревущими ниагарами хлестала взмыленная вода. Будто Вахшу прокололи вилами левый бок, и из семи дыр в подготовленный желоб хлынула мутная кровь. Грузные гряды переплетенных волн кубарем катились по бугристому дну. Канал медленно набухал бурной веной на пергаментной спине плато.

Морозов, Уртабаев, Кирш, Кларк, забывая о гостях, взволнованные, смотрели вниз. Каждый из них не раз, стоя в этом месте в трудные дни очередных неудач, пытался представить себе эту минуту, тогда такую далекую и недостижимую. И теперь, переживая ее наяву, каждый из них ощущал, наряду с большим подъемом, какую-то неуловимую нотку разочарования. То, что развертывалось перед их глазами, было бесспорно грандиозно и, в то же время, немножко обыденно. Вода неслась каналом, как будто так и полагалось, как будто так и было всегда. Даже им, прорывшим этот канал, казалось сейчас невероятным, что еще две недели тому назад место для каждого кубометра этой желтой бурды приходилось выгребать

руками, организованным усилием сотен людей. Хотелось чего-то необыкновенного, невозможного: чтобы из этой голой, выжженной земли, от одного ее соприкосновения с заново рожденной рекой, выстрелили сейчас, на глазах у ошеломленных людей, зеленые лезвия осоки, гибкие пики тростника или хотя бы крохотные, с мизинец, побеги самой вульгарной травки. Но земля пила воду жадными глотками и оскорбительно молчала.

Гости, насмотревшись досыта, предложили двигаться. Пришлось спуститься к машинам. У узла на сорок шестом пикете к вылезавшему из автомобиля Морозову подошел серый от пыли Гальцев и, не говоря ни слова, сунул ему в руку смятую записку. Морозов, помогая высадиться старому бельгийскому профессору, украдкой заглянул в записку. Прочтя первую фразу, он почувствовал, что волосы шевелятся у него на голове. Он пропустил профессора вперед и, взбираясь за ним по лестнице, дочитал записку:

Мыс горы Ката-Таг обвалился. Засыпано все русло канала. Вода хлынула через дамбу и заливает равнину. Немедленно прекратите пуск. Шлите людей и механизмы. Желательно еще два экскаватора.

Рюмин

Морозов сунул записку в карман.

— Да, да,— сказал он, приятно улыбаясь дожидавшемуся наверху профессору,— вот это и есть наш узел на сорок шестом пикете. Часть воды, как вы видите, отходит в правую ветвь... Товарищ Кларк, вы это объясните господам лучше... Вот как раз начальник первого участка. Пожалуйста! А я позабочусь, чтобы к нашему приезду приготовили обед. Пообедаем у меня на втором участке. Там просторнее в смысле помещений. Товарищ Кларк, после осмотра узла и правой ветки везите всех гостей ко мне, на второй. Господа, наверное, проголодались... Товарищ Кирш! Будьте добры, на минуточку!

Морозов, не спеша, спустился вниз и пошел к машине. Из подъехавшего парткомовского фордика на ходу выскочил Синицын.

— Да, да, все знаю,— кивнул ему Морозов.— Не говори, пожалуйста, так громко. Позови сюда незаметно Уртабаева. Буду вас ждать в машине.

Через минуту Кирш и Уртабаев, облокотившись на шасси, весело жестикулируя, читали рюминскую записку. Синицын, указывая почему-то в сторону ветки, говорил вполголоса:

— Ты, Морозов, поезжай сейчас на второй, распорядись насчет обеда и дожидайся гостей. Никаких разговоров! Никуда не поедешь! Начальник строительства должен быть все время с гостями. Покажешь им свой городок и всякое такое. А потом повезешь обедать. Банкет, пожалуйста, закати пошикарнее, чтобы было много блюд и чтобы слишком быстро не подавали. Надо растянуть до вечера. Речи... ну, одним словом, сам знаешь. Обставь дело так, чтобы гостям не было скучно и чтобы незаметно проканителились до сумерек. Товарищ Кирш останется с тобой. Пожалуйста, спорить будем потом! Вы хорошо говорите на иностранных языках и сумеете занять гостей. Руководство работами на Ката-Таге поручите Уртабаеву. Он этот проект отстаивал, пусть сейчас отстаивает его на практике. Надо ему дать в подмогу одного американца. Предлагаю Кларка. Мурри будет злорадствовать, что вы не послушали его и провалились со своим проектом. А Кларк — свой парень. Ну, вот давайте не терять времени. Ты, Морозов, поезжай сейчас один. Отдай со второго участка распоряжение, чтобы немедленно закрыли воду. До этого времени иностранцы осмотрят все и каналом больше интересоваться не будут. Через десять минут, не раньше, незаметно смоются Уртабаев и Кларк. Мобилизуют рабочих и механизмы и двинутся на Ката-Таг. А товарищ Кирш и Мурри минут через десять привезут гостей в городок... Я поехал. Буду вас ждать на Ката-Таге.

— Товарищ Уртабаев! — окликнул удалявшегося Уртабаева Морозов.

Уртабаев вернулся.

— Берите со второго участка два экскаватора и гоните их самоходом на Ката-Таг.

Уртабаев молча склонил голову.

Банкет, предполагавшийся на вечер, начался в четыре часа дня. Повара, как очумелые, метались вокруг котлов, ударной выдумкой ускоряя процесс претворе-

ния живых, блеющих баранов в съедобные произведения искусства. Гости, утомленные жарой и карабканием по отвалам, встретили приглашение к обеду с нескрываемым восторгом. Их рассадили в клубе за неимоверно длинными столами и оглушили количеством наплывающих блюд.

Уртабаев звонил с Ката-Тага, просил прислать еще сотни три кетменей и лопат, обещал в течение ночи обвал ликвидировать: часам к семи утра можно будет опять пустить воду. Смеркалось в девять. Банкет должен был длиться не менее пяти часов.

У Морозова гудело в висках. Первую речь полагалось произнести ему, и говорить надо было долго, а как раз сегодня он чувствовал, что не в состоянии склеить трех фраз. Нервы, истрепанные за последние месяцы, с момента известия о новом сюрпризе на Ката-Таге, начали явно шалить. За полчаса до катастрофического сообщения Морозов узнал от приятеля-наркома, приехавшего в числе гостей, что Дарью в Сталинабаде разыскать не удалось: очевидно, вместе с другими освободившимися рабочими уехала в Россию. Найти ее среди 160-миллионного населения огромной страны не было уже никакой надежды. Морозов ходил, отдавал распоряжения, улыбался гостям, объяснял, что-то рассказывал, доказывал, даже смеялся, но собственный смех и голоса окружающих доходили до него, профильтрованные через монотонный гул. Это, должно быть, гудела кровь в размытых дамбах височных артерий и, не доходя до мозга, уходила обратно к сердцу через неизвестные биологии слои межклеточного плывуна.

Банкет уже давно начался, а Морозов все еще не знал, с чего ему начать речь. Кирш, улыбаясь, протянул ему через стол записку. В записке было две фразы: «Иван Михайлович, начинайте. Больше затягивать нельзя». Этого было достаточно. Морозов, как дисциплинированный оратор, грузно поднялся с места и попросил у присутствующих минуту внимания:

— Товарищи и господа! — сказал он очень громко, и поглощающий голоса монотонный гул в висках внезапно утих.— Когда я впервые приехал сюда, один таджик, по имени Фархат, работавший у нас кладовщиком, рассказал мне легенду о древнем ирригационном строительстве, следы которого вы имели воз-

можность осматривать сегодня невдалеке от головного сооружения. Легенда эта связана с именем тезки моего рассказчика, неизвестного истории князя Фархата.

В древние времена местность эта, если верить преданию, входила в состав владений молодой княжны Замин и представляла собой густо заселенную цветущую равнину. Владевшая ею княжна, как полагается всем легендарным княжнам, наряду с неземной красотой отличалась еще ангельской кротостью и любовью к своим верноподданным. Однако не эти именно качества сделали ее героиней легенды. Героиней стала она случайно, благодаря нередкому здесь стихийному бедствию. Река, некогда протекавшая через эти края, в одну бурную весеннюю ночь внезапно переменила русло и, покинув владения княжны, ушла орошать земли ее коварных соседей. Поля окрестных дехкан, лишенные воды, высохли. В стране начался голод. Объявила тогда княжна Замин, что отдаст свою руку и сердце только тому, кто сумеет повернуть обратно строптивую реку и напоит поля голодающих дехкан.

Доблестный князь Фархат, безнадежно влюбленный в княжну, узнав о ее заявлении, согнал всех своих подданных мужского пола и стал днем и ночью рыть новое русло. Рыл он его долго, проделывая приблизительно ту же работу, какую проделали мы. А так как он не имел в своем распоряжении ни экскаваторов, ни компрессоров, ни взрывчатых веществ, так как единственным транспортом, которым он располагал, был транспорт человеческий и верблюжий и так как он не строил социалистического общества, а лишь добивался руки своей возлюбленной, тем самым не мог рассчитывать на ударничество и соревнование своих рабочих, рыл он русло долгие годы.

На работу Фархата часто приезжал смотреть его злейший соперник, богатый купец Урзабай. Урзабай не был мечтательным романтиком, как Фархат. Он был трезв и толст. Он был купец, и любовное увлечение не лишало его способности арифметической калькуляции. Посмотрев на работу Фархата, он подсчитал в уме: на прорытие русла Фархату потребуется столько лет, что, когда он наконец повернет реку и добьется руки Замин, прекрасная, как роза, княжна будет уже увядшей старухой. Урзабай был стар. Он не мог

тягаться на выдержку с молодым Фархатом. Ему нужна была Замин, пока она молода и прекрасна. И он решил добиться своего хитростью.

Три дня и три ночи рабы разгружали верблюдов Урзабая, притащивших огромные тюки из далекого города Бухары. Тюки сбрасывали на дороге от реки до дворца княжны, вдали от каменного русла, которое рыл в скале упрямый Фархат. На четвертую ночь Урзабай явился во дворец к Замин, окруженный мудрейшими муллами и ишанами, и подкупленная им тетка княжны побежала доложить племяннице. «О, прекрасная Замин! — сказала она.— Ты обещала отдать свою руку мужчине, который обуздает нашу вероломную реку и поведет ее обратно в твои владения. Богатый и мудрый Урзабай, из любви к тебе, совершил это чудо. Выйди на балкон и посмотри: река течет у подножия горы, на которой стоит твой дворец».

Когда Замин вышла на балкон, она действительно увидела у подножия горы широкую ленту реки, поблескивавшую в отсвете лунного сияния. По настоянию Урзабая его обвенчали с Замин в ту же ночь. А когда взошло солнце и несчастная княжна, покинув спящего супруга, вышла на балкон, она отшатнулась в отчаянии и ужасе. То, что ночью она приняла за реку, было лишь широкой дорогой из циновок. Аккуратно уложенные циновки, отсвечивавшие серебром в сиянии луны, сейчас тускло отливали на солнце ржаной желтизной.

Предание гласит, что обманутая княжна покончила самоубийством, кинувшись вниз с балкона, и что, узнав о ее смерти, молодой Фархат размозжил себе голову о каменные пороги не обузданной им реки.

Так говорит легенда. Мы, марксисты, привыкли самые поэтические предания переводить на язык низменной экономики. Легенды не теряют от этого своей поэтичности, а зато помогают нам понять жизнь, стремления и горести создавшего их народа.

В этой стране, по которой бешеные реки бродили в течение веков, как неукротимые мастодонты, из года в год произвольно меняя свои пастбища; в этой стране, где субтропическое солнце в одно лето превращало в жупел землю, лишенную воды,— в этой стране вода и жизнь были всегда понятиями равнозначными. И не случайно вы не найдете здесь ни одного пре-

дания, которое бы не говорило о воде. И не случайно героями самых ярких легенд являлись здесь не праздные забияки из русских былин, а отважные строители новых ирригационных сооружений, призванных напоить водой опустошенные солнцем поля.

Для людей, живущих под постояной угрозой, что река, орошавшая их поля, может однажды уйти и не вернуться; для людей, наблюдавших со страхом, как в арыке из года в год убывает вода, как год за годом уходит жизнь из выхоленных ими полей, как медленно заволакиваются они сухой пленкой мертвечины,— для этих людей не было такой цены, которой они не уплатили бы за безмятежную уверенность, что вода, закрепленная за их полями, останется с ними навсегда. Об этом хорошо знали местные феодалы. И не было такого хана, который, высосав все соки из подданных, не смог бы выжать из них еще вдвое больше одним обещанием воздвигнуть новые ирригационные сооружения. И не было такого хана, который, выманив таким образом от народа последние средства, сдержал бы свое обещание. Чудовищные тяготы, взимаемые каждым ханом под традиционным предлогом расходов на водоустройство, утопали в бездонной ханской казне. Обещанные оросительные каналы оставались фикцией, обманной рекой из циновок легендарного Урзабая. Изнывающий от тягот народ настолько потерял веру в ханское слово, что всякий раз, когда на престол садился новый феодал, вместо хартии прав население брало с него клятву, что за все время своего господства он не будет затевать никаких ирригационных работ. Это уже не легенда, это исторический факт. Народу, разуверившемуся в надеждах на реальную помощь, оставалось мечтать о пришествии некоего мифического князя Фархата, который напоил бы водою их изжаждавшуюся землю, потому что Замин по-таджикски значит земля. Но даже в этих мечтах горькая народная ирония не давала осуществиться добрым помыслам Фархата, ибо в эпоху господства Урзабаев никакой героический князь не был в состоянии помочь дехканству.

Последний повелитель Бухары, эмир Саид Олимхан, выгнанный отсюда революцией, обратился не так давно в Лигу наций с объемистым меморандумом, в котором отстаивал свои права на утерянный бухар-

ский престол. Желая засвидетельствовать примером из своего эмирского прошлого безмерные заботы о верноподданных, высочайший эмир, обозрев вспять двадцать лет своего господства, нашел и, обрадованный находкой, торжественно привел... один каменный мост, построенный им на одной реке, ныне, кстати, уже не существующий.

Горькое народное предание о Фархате отжило свой век вместе с последним бухарским феодалом. Раскрепощенный революцией народ, ликвидировав Урзабая и других баев, отвел на пустыню реку, которую не мог повернуть легендарный Фархат. Это уже не легенда. Это тоже народное творчество, но творчество, с помощью других средств: народ, создавший некогда легенды о беспросветности и горечи жизни, ныне сам создает новую светлую жизнь.

Вот все, что я хотел сегодня рассказать. О том, как мы рыли наш канал и в каких условиях нам приходилось это делать, расскажет вам лучше наш главный инженер, товарищ Кирш...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Поздно вечером, управившись с банкетом, Морозов вызвал машину.

Банкет, по отзывам присутствовавших, прошел хорошо. Кирш сказал блестящую, остроумную речь. Хорошую советскую речь сказал и Мурри. К девяти часам утомленные гости сами предложили отсрочить до завтра осмотр дальнейших участков. Кирш, не выдержав до конца, уехал на Ката-Таг вместе с предцика и предсовнаркома Таджикистана. Морозов, как подобает хозяину, не тронулся с места, пока не проводил на отдых последних гостей. Только отдав все распоряжения на следующее утро, он вскочил в ожидавшую машину и велел везти себя во весь опор на Ката-Таг.

Не доезжая до Ката-Тага, мотор остановился, изрядно хлебнув воды. Дорога была затоплена. Продвигаться дальше приходилось пешком. Морозов достал карманный фонарь и полез в воду. Прохлюпав по воде километра полтора, он выбрался наконец на сухую дорожку и пошел на свет рефлекторов. В жидком электрическом сиянии он увидел когорты людей, вооружен-

ных кетменями, похожими на кривые секиры. Люди прыгали через урчащие водопады, проваливались по колена в жидкую мякоть земли, карабкались и бежали дальше. Подхваченный человеческим потоком, Морозов побежал наугад. До него долетели передаваемые из уст в уста беспорядочные слова команды:

— Посторонись! Посторонись!

— Чего?

— Экскаваторы идут!

С грохотом и лязгом, покачиваясь на причудливо сплющенных колесах гусениц, проползли мимо, один за другим, два экскаватора, таща на буксире громоздкие громады собственных теней. У каждого экскаватора было по две стрелы: одна — реальная, устремленная высоко вверх, другая — удлиненная в бесконечность — ломаным зигзагом бесшумно скользила по земле.

— Бе-ре-гись!

— Бригада колхоза «Передовик» — на сто девяносто четвертый пикет! Расчистить проход для экскаватора!

Лава людей, опережая механизмы, хлынула на полуразмытый отвал. Из-под опущенных кетменей дружно брызнула земля.

Морозов выбрался на бугор и лицом к лицу столкнулся с Уртабаевым:

— Что слышно?

— Экскаваторы пришли, товарищ начальник! — официально отрапортовал Уртабаев.

От Уртабаева и к Уртабаеву, вниз и вверх, бежали эстафеты с короткими распоряжениями и рапортами с мест.

«А хорошо работает малый. Организованно и без паники»,— подумал Морозов.

— Возьмете руководство? Я тогда пойду присмотрю за укреплением дамбы,— предложил Уртабаев.

— Нет, зачем же? Вы уж организовали работу, руководите до конца.

— Как хотите.

— Кто там присматривает за дамбой?

— Рюмин.

— Хорошо. Скажите еще в двух словах: какие потери?

— Затоплен поселок одного колхоза.

— А жители?

— Жители ушли за несколько часов до обвала. Оба киргизских колхоза. Остальные все на месте: вышли с кетменями помогать в ликвидации прорыва.

— Хорошо. Материала для укрепления дамбы не снесло?

— Часть смыло водой, но того, что осталось — хватит.

...У ста девяноста седьмого пикета группа рабочих, под командой плотника Климентия, штукатурила глиной обнаженный скелет дамбы. Морозов подобрал лопату и погрузил ее в землю. Нога увязла по колено в глинистом вареве. Он вытащил лопату и, вырывая раз за разом огромные комья земли, стал зашпаклевывать первую заплатанную камышом брешь. Глина, размытая водой, брызгала в лицо. Он уминал ее руками, заклепывал заступом, наливал поверх новые центнеры притащенной снизу земли. Истертые в кровь руки прилипали к черенку лопаты. Земля под подошвами билась, как придавленная артерия. Он топтал ее в исступлении ногами. Кто-то силой оттащил его в сторону и поволок под откос. Утрамбованная Морозовым земля вздулась и выскочила, как пробка. Вода рухнула вниз.

— Беги, зови на подмогу! На подмогу зови! Дамбу снесет! — заглушая шум воды, кричал с той стороны потока Климентий.

Морозов бросил лопату и побежал на гул голосов. В двухстах шагах он наскочил на ораву пестрых теней. В середине, на бричке, стоял Уртабаев и кричал что-то по-таджикски. Морозов протиснулся через толпу и ухватил Уртабаева за руку.

— Дайте людей! Людей дайте! Дамбу снесет к черту!

Уртабаев привлек его за плечо:

— Сколько? Сто? Двести? Бери! Колхозники пришли! «Красный Октябрь» и «Красный пахарь»! Эх, Морозов, живем! Еще идут! Бери всех!

— Слушай, Уртабаев, там вода пошла опять каналом. Вода пошла! Позвони на головное!

— Телефон не работает.

— Надо кого-нибудь послать.

— Поехал Кларк. Уже час назад. Там какая-то мелкая неполадка с одним щитом. Все будет в порядке...

...Когда колхозники «Красного пахаря» сменили выбившуюся из сил команду Климентия, Морозов вытер рукавом лоб и присел под откосом на опрокинутую тачку. Хотелось курить. Он достал папиросы, долго тер отсыревшие спички и, сломав последнюю, растерянно оглянулся. Рядом, спиной к нему, отдыхал рабочий из бригады Климентия, Морозов тронул его за плечо:

— Спичек случайно нет, товарищ?

— Нет! — грубо буркнул рабочий.

Голос показался Морозову знакомым: да ведь это же Тарелкин! Морозов не ощутил привычного раздражения, которое вызывал в нем раньше один вид Тарелкина. Сейчас он напомнил Морозову о Дарье, которой не будет никогда, и этот грубый парень вдруг показался ему кем-то очень близким, может быть, самым близким, единственным человеком, способным разделить его боль.

— А Даря уехала...— сказал вслух неожиданно для самого себя Морозов.

— Куда уехала? — обернулся Тарелкин.

— Не знаю. Не сказала. Искал ее в Сталинабаде,— нет. Говорят, в Россию уехала, а куда в Россию, разве найдешь?

— Это ты ее обидел,— сурово сказал Тарелкин. Лица его в темноте нельзя было разглядеть.

— Да, я ее обидел,— покорно подтвердил Морозов.

Мимо с плеском и грохотом, обдавая их обоих водой, пронеслась вереница бричек, стремительных и тревожных, как тачанки.

— На, кури! — неожиданно достал из кармана спички Тарелкин.

Морозов взял спички и протянул Тарелкину портсигар.

Курили жадно, молча.

— Надо тебе ее найти,— строго заговорил Тарелкин.— Через милицию искал?

— Искал. Не нашли. Говорят, видно, не задерживалась в Сталинабаде.

— Может, домой поехала?

— А я знаю, где ее дом?

Огонек папиросы Тарелкина последний раз вспыхнул и потух.

— Тамбовская она. Какой деревни и уезда, сам не знаю.— Он поднялся, подобрал лежавшую рядом лопату.— Ну, передохнул и ладно. Пора за работу.

Морозов поднялся тоже:

— Да, пора.

Голос Тарелкина донесся до него из темноты:

— Ты того... не унывай... Вернусь на головной, расспросим у девок из ее бригады. Может, которая знает...

Часа через два после отъезда Морозова, когда гости спали уже крепким сном, инженер Мурри вызвал по телефону машину и, сев рядом с шофером, велел везти себя на Ката-Таг.

Не доезжая до Ката-Тага, он почему-то раздумал и приказал свернуть на дорогу, ведущую к пристани. Ехали быстро. Вскоре справа замерещились огни третьего участка. На перекрестке дорог шофер взял вправо.

— Зачем городок? — положил руку на руль Мурри.— Я говорил: пристань.

Шофер указал глазами на счетчик:

— Горючего не хватит. Бензин нихт. Возьмем в городке.

Мурри отпустил руку. Машина летела, увеличивая скорость. Они ворвались в городок, миновали колонку с бензином и свернули влево.

— Бензин там! — указал Мурри на оставшуюся позади колонку.

Шофер отрицательно покачал головой. Машина круто свернула вправо.

— Что вы делаете?! — схватился за руль Мурри. Они неслись прямо в какой-то загороженный двор. Шофер отстранил руки пассажира и, проскочив узкие ворота, затормозил на полном ходу посередине двора. Военные в зеленых фуражках гурьбой окружили машину.

— Что это все значит? — спросил, вскакивая с места, Мурри...

Кони шли полным галопом. Воздух раздавался перед ними с треском распарываемой материи. Комсомольский разъезд приближался к огонькам головного

участка. Нусреддинов осадил лошадь и рысью выехал на дорогу. Подметая тень длинными метлами фар, по дороге приближалась легковая машина.

— Стой! Кто едет?

Машина затормозила. Три револьверных дула выглянули навстречу комсомольцам.

— Это ты, товарищ Кларк?

Револьверные дула мирно утонули в карманах.

— Фу ты, черт! А мы думали — басмачи! — засмеялся шофер.— Ни зги не видать. Думаю: тормозить, не тормозить?

— Вы куда?

— На головной.

— Товарищ Кларк?

— Да. А что тут, не спокойно?

— Не совсем спокойно,— нагнулся с коня Нусреддинов.— Банда человек в сорок прорвалась в двадцати километрах от второго участка. Если не возьмут вправо, должны по прямой линии выйти к Вахшу. Надо предупредить Курган и усилить на головном охрану... А вы зачем, собственно, на головной?

— Гальцев говорит: когда закрывали воду, что-то повредили в пятом щите. Хочу проверить. Как только починят дамбу на Ката-Таге, надо будет открыть.

Машина тронулась. Три всадника рысью поехали следом.

Городок казался вымершим. Над пустой площадью одиноко горела лампа. В пустых бараках ютилась ночь.

— Куда это весь народ девался? — озираясь по сторонам, удивился Нусреддинов.

Урунов стегнул коня:

— Часть рабочих разъехалась ведь еще до открытия. Кроме небольшой охраны, никого не осталось.

Они подъехали к конторе второго прорабства. Нусреддинов спешился:

— Вы, ребята, поезжайте, предупредите охрану. Пусть расставят посты и держат винтовки наготове. А я позвоню по телефону, извещу Курган.

Он зажег свет, подошел к аппарату и несколько раз повертел ручку. Станция не отвечала.

— Ну и телефон, черт их побери! Когда нужно, разве дозвонишься!

Он покрутил ручку еще и еще. Ничего.

— Не работает, что ли?

За окном невдалеке раздался выстрел. Один, два, еще два. Нусреддинов кинулся в дверь и вскочил в седло. Комсомольцев перед канцелярией не было. Он снял винтовку, щелкнул затвором и, ударив коня каблуками, поскакал туда, откуда густо, как дождь по толевой крыше, забарабанили выстрелы.

Из переулка навстречу проскакала лошадь Зулеинова, потом незнакомый всадник без шапки, с лицом, рассеченным, как арбуз, ловким сабельным ударом. За всадником с гиком и воем неслась орава джигитов с занесенными над головами клинками. Две пули, одна за другой, просвистели, не задевая Нусреддинова. Лошадь стала на дыбы и метнулась в сторону. Нусреддинов свободной рукой вцепился в повод, но не смог осадить коня. Лошадь, храпя, неслась вскачь, закинув голову на спину. Позади, как эхо, гудел тяжелый топот. Мимо, задевая его коленом, проскакал Урунов с перекинутым через седло Зулеиновым.

— В Курган! В Курган! — пролетая, крикнул Урунов.— Провода перерезаны!

Керим постепенно овладел конем и перевел его на рысь. Из городка долетали еще топот и гам, но выстрелы утихли.

Нусреддинов попробовал собрать всполошенные мысли:

«Охрану, очевидно, зарубили, иначе было бы слышно перестрелку. Да и сколько их могло быть, всей охраны? Налета здесь никто не ожидал. Ах, черт! Если бы приехать на десять минут раньше! У них кони оказались лучше наших. Надо скакать в Курган, вызвать отряд. Кто же там остался, на головном? Ах, Кларк! Ай-ай-ай!»

Нусреддинов машинально приостановил коня.

«А я-то тут при чем? Что я ему, в няньки нанимался? Зачем его сюда черт принес? Сидел бы себе с гостями... Все-таки неприятно: убьют...»

— Надо ехать обратно,— сказал он вслух не то себе, не то лошади.— Это подлость.

Он повернул коня и медленно поехал в городок. Лошадь шла неохотно. Он больно ударил ее каблуками. Какой-то голос в нем самом бунтовался и кричал, что ехать не надо, но Керим знал уже, что поедет непременно.

Доехав до механических мастерских, он слез с коня, привязал его к изгороди и стал пешком продвигаться вдоль стен. Он услышал вдруг шум мотора и новую пальбу. Свет автомобильных фар ослепил его и вытолкнул из темноты. Мимо, задевая его крылом, пролетела машина Кларка и, круто повернув за угол, умчалась в степь. Керим прилип к стене. От внезапного тяжелого удара прикладом он пошатнулся и упал лицом в пыль. Его подхватили и поставили на ноги. Он рванулся от боли в вывороченных руках, почувствовал на губах холодок револьверного дула и зажмурил глаза. Выстрела не последовало.

— Это мусульманин,— сказал кто-то над его ухом по-таджикски.— Подожди, не трожь! Он покажет, как открыть воду.

Его толкнули прикладом в спину и поволокли вдоль бараков. Нусреддинов понял, что волокут его к головному сооружению.

У головного толпилось десятка два вооруженных бородачей в афганских чалмах. Подошел одноглазый, в сером ишанском халате:

— Таджик? Узбек?

— Таджик,— сказал Нусреддинов. Он с первого же взгляда узнал в одноглазом Ходжиярова.

— Где ключи от воды? — спросил ишан по-таджикски.

Нусреддинов молча смотрел на одноглазого.

— Отвечай, когда спрашивают, щенок! Шкуру сдеру! Сразу заговоришь. Где ключи?

— Не знаю.

— А ну!..— оглянулся ишан.

Десять рук потянулось к Нусреддинову и сорвало с него рубашку.

— Домулло-ишан! — подошел к кривому молодой джигит.— Зачем нам ключи? Отобьем замки прикладами.

Нусреддинов с тревогой обернулся. На служебном мостике несколько джигитов возились у штурвальных колес, пытаясь рукоятками сабель отбить замки.

«Если замки сдадут, поднять щиты сумеет каждый дурак. Тогда в полчаса пустят воду в канал и затопят весь Ката-Таг»,— холодея, подумал Нусреддинов.

— Замки стальные,— иди отбей! — сердито буркнул ишан.— А ну, который там! Полоснуть его по спине.

Нусреддинов коротко вскрикнул. Лезвие ножа, уколовшее его в шею, острой болью скользнуло вниз.

— Где ключи?

— Командир! — с трудом разжимая зубы, сказал Нусреддинов.— Не трать напрасно времени. Замков отбивать незачем. Этими колесами щитов не поднимешь. Эти машины только закрывают воду. Для того чтобы ее открыть, есть другие машины — с той стороны, внизу.

— Где внизу? — недоверчиво покосился одноглазый.

— Надо пройти через мостик, а потом сойти вниз. Если отпустите мне руки, я поведу.

— Веди!

Нусреддинов вошел на мостик. Он шел медленно, притворяясь, что хромает, и с трудом волоча ногу. Он знал хорошо, что внизу никаких машин нет. В лучшем случае он мог выгадать пять, ну десять минут. Он понадеялся в душе, что по дороге придумает еще что-нибудь, какую-нибудь неожиданную спасительную уловку, но ничего хитрее придумать не мог. Пока дойдут, пока будут искать внизу — десять минут. Потом станут отбивать замки — тоже минут десять, не меньше. Если отобьют — поднятие щитов займет двадцать — двадцать пять минут. К тому времени, может быть, подоспеют из Кургана.

По левую руку, внизу, клокотал Вахш.

«Если бы оттолкнуть этого бородача и прыгнуть вниз, можно бы выбраться на мель. Плаваю хорошо. Переплывал. Будут стрелять,— темно, не попадут... Но тогда прямо пойдут отбивать замки. Нет, нельзя! От замков надо их отвлечь во что бы то ни стало. Водить, покуда только удастся... Попробую идти еще медленнее...»

— Ты что, уснул? Я тебя живо выучу ходить!

Лезвие ножа опять коснулось спины.

— Я быстрее не могу. Нога болит. Будешь резать,— сяду и не пойду никуда.

— Взять его под мышки!

Над головой густо мерцали звезды. Невдалеке, по

ту сторону Вахша, загудела автомобильная сирена. Автомобиль полз по скату, подобный большой жужелице, шевеля двумя светящимися усами фар.

«А ведь я иду, наверное, в последний раз... Люди, едущие в той машине, через час будут в Кургане. Они, должно быть, видят оттуда вон этот фонарь. И не знают, что под этим фонарем убивают сейчас человека. Крикнуть? Разве голос долетит через Вахш? Не услышат... Мостик кончился. Теперь вниз...»

— Сюда. Пустите меня вперед.

— Где же тут машины?

— Еще ниже.

— Да он смеется, а мы ходим за ним, как дураки!

— Где машины?!

Он стоял уже внизу у самых щитов. Вести дальше было некуда. Нусреддинов указал на щиты:

— Вот здесь. Надо поднять.

— Как поднять?

— Руками.

— Ты что? Шутки?

Цепкие пальцы вонзились в ухо Нусреддинова. Острая боль полоснула у самого черепа. Что-то горячее и жидкое плеснуло по щеке.

— А ну! Отрежь ему заодно и то ухо.

Его подхватили и втащили обратно на мостик. Он не видел уже ничего. Большие красные круги вращались перед глазами.

— Ишан! Ишан! Тут есть другой! Он знает!

Нусреддинов открыл глаза. Он увидел близко, совсем близко, человека, поддерживаемого двумя джигитами. У человека не было носа, из оскаленного рта торчал единственный уцелевший зуб. На голове человека смешно топорщился белый хлопковый пух.

— Ключи в конторке. Ведите, покажу,— прошепелявил беззубым кровавым ртом белобрысый.

— Гальцев! — хрипло позвал Нусреддинов.— Гальцев! Не смей!

Гальцев поднял на Керима замученные, налитые кровью глаза, окаймленные белыми ресницами.

— Не могу... Больше не мо-гу...

Его оттащили в сторону:

— Веди!

— Гальцев! Гальцев! — давясь чем-то густым и приторным, крикнул вдогонку Нусреддинов. Он ра-

нулся от страшной боли, упал лицом на холодный бетон и так уже остался лежать.

Ишан, скрестив руки, ждал на мостике. Замки, сколько ни возились с ними джигиты, не поддавались ни ножу, ни прикладу.

Минут через девять вернулись два джигита, таща под руки Гальцева. В руке у одного позванивала связка ключей. У первого штурвального колеса джигиты бросили Гальцева и взялись открывать замок.

Гальцев, лежа на полу, смотрел на них снизу ополоумевшими глазами. Он приподнялся на локте и натолкнулся на что-то жесткое и круглое. Это была голова Нусреддинова, страшная, совершенно круглая голова с отрезанными ушами и носом. Гальцев судорожно отдернул руку. Джигит все еще возился у замка, никак не мог подобрать подходящего ключа.

Гальцев поднялся на колени:

— Давай, ты не умеешь, я открою,— сказал он хрипло, протягивая руку за ключами.

...В кабинете Комаренко тарахтела пишущая машинка. Прыщеватый юноша в форме пограничника корявыми пальцами старательно вколачивал в бумагу головки полустертых букв. В окнах стоял рассвет. Ночь густела еще в граненых кубах чернильниц, лепилась запоздалой тенью к кобуре комаренковского маузера. Желтая груша электрической лампочки, покачиваясь, плыла среди комнаты в подмылках табачного дыма.

Комаренко извлек из папки несколько исписанных листков, задвинул ящик стола и, развернув листки, продолжал прерванное путешествие по комнате.

— Написали? Приготовьте сразу бумагу, чтобы потом не останавливаться. К семи часам утра надо эту записку закончить и отправить. На чем мы остановились? Да, да, на истории с фалангами. Прочтите еще раз последнюю фразу.

— «Во-первых: сам тот факт, что в осуществление предыдущих угроз на американцев в день Первого мая не было произведено никакого покушения, а вместо этого обоим им подбросили по спичечной коробке с фалангой,— убедил меня, что автор анонимных записок не преследует террористических целей, а желает лишь

запугать иностранцев и заставить их покинуть строительство...»

— Так. Пишите дальше:

«Во-вторых: случай этот убедил меня окончательно, что автором анонимных записок является не таджик, а несомненно, европеец. Ни один таджик, желая устранить мешающего ему врага, не прибегнет к такого рода экзотическим и лжетуземным методам расправы. Фаланги среди туземного населения вовсе не пользуются славой опасных насекомых. Таджик значительно больше боится обычного скорпиона, укус которого во много раз болезненнее. Легенда о смертельности укуса фаланги выдумана самими же европейцами. Источником ее, вернее всего, является неясная характеристика galeodes arancoides, которую мы находим не только в русской, но и в заграничных энциклопедиях, оставляющих вопрос о ядовитости фаланг открытым. Факт остается фактом, что, в отличие от местного населения, все приезжие европейцы — русские и нерусские — считают фалангу насекомым ядовитым, наподобие туркменистанского каракурта, и в арсенале их ограниченных представлений о Средней Азии фаланга, наряду с тигром, играет роль неотъемлемых особенностей Таджикистана. Человек, подбросивший американцам коробки, был поэтому несомненно европейцем, к тому же человеком довольно культурным, хорошим психологом, прекрасно знающим, какими ужасами легче всего запугать доверчивого приезжего.

Рассматривая в лупу оба экземпляра, я обратил внимание на довольно необычное обстоятельство: одна из фаланг была раздавлена, очевидно, совсем недавно, в то время как другая успела уже немного засохнуть. По заверению американцев, оба насекомых были ими раздавлены всего час тому назад. Возникло несколько странное предположение, что один из американцев раздавил фалангу, убитую уже раньше. Не будучи специалистом в области зоологии и опасаясь допустить ошибку, я вызвал в качестве эксперта естественницу из соседнего совхоза, которая полностью подтвердила мои наблюдения. Поскольку фалангу в комнате инженера Кларка убила собственноручно его переводчица, комсомолка Полозова, в то время как фалангу в комнате Мурри она видела уже убитой, оставалось предположить, что инженер Мурри растоптал фалан-

гу, убитую до него. Очевидно, не будучи до конца уверен в полной безвредности укуса, он предпочел не рисковать.

На основании вышеизложенного у меня зародилось подозрение, что автором всей инсценировки является не кто иной, как сам инженер Мурри, подбросивший живую фалангу своему коллеге Кларку и, для полного алиби, разыгравший у себя на квартире комедию. В процессе следствия я обнаружил, что Мурри действительно в упомянутый день навещал с утра Кларка и мог незаметно оставить у него на столе спичечную коробку. Проверяя вспять цепь фактов, я пришел к заключению, что, очевидно, и все предыдущие угрожающие записки попадали в комнату Кларка и Баркера именно таким, а не иным путем.

Вывод из этого мог быть один: инженер Мурри, по каким-то загадочным соображениям, хочет во что бы то ни стало освободиться от присутствия на строительстве двух своих американских коллег. В отношении Баркера это удалось ему без большого труда, в отношении же Кларка он, видимо, потерпел неудачу.

Я развернул за инженером Мурри самое пристальное наблюдение, однако ничего подозрительного не установил, за исключением разве его частых поездок верхом на охоту, затягивавшихся иногда до поздней ночи. Следующим событием, которое заставило меня еще внимательнее присмотреться к работе инженера Мурри, было нашумевшее дело Уртабаева. Как известно, первым обвинением, предъявленным Уртабаеву, было обвинение в самовольной переброске собственным ходом десятка экскаваторов с пристани на головной участок, вопреки протесту представителя фирмы Бьюсайрус, инженера Баркера. Так как Уртабаев утверждал, что действовал с согласия Баркера, сам же Баркер уехал к тому времени в Америку,— единственным свидетелем, выступавшим против Уртабаева, был инженер Мурри. Именно этот факт заставил меня отнестись крайне осторожно ко всему делу Уртабаева. К сожалению, дальнейшие факторы, усложнившие это дело, значительно затормозили его раскрытие.

Впоследствии, когда уже удалось вскрыть ложный характер доноса и разоблачить Ходжиярова, связь между обвинением Уртабаева в незаконной переброске экскаваторов и другими обвинениями стала для ме-

ня неоспоримой. Прежде всего в процессе дальнейшего строительства выявилось на практике, что переброска экскаваторов самоходом, даже на довольно значительное расстояние, не влечет за собой таких катастрофических последствий, какими, от имени Баркера, пугал управление инженер Мурри. Во-вторых: отказ от переброски самоходом и перевозка механизмов тракторами отразились на строительстве весьма плачевно. Во время перевозки подверглось поломке большинство тракторов и затерялось много необходимых частей от экскаваторов. Уличить инженера Мурри в ложном обвинении все же не представлялось возможным. Единственный человек, который мог бы это сделать, инженер Баркер, находился в Америке и не отвечал ни на какие запросы строительства. Я склонен предполагать, что Мурри предупредил его письмом. Возможно, он запугал Баркера, что эксперимент Уртабаева окончился катастрофически, и Баркер, опасаясь последствий и осложнений с фирмой, предпочел кануть в воду.

Не имея в руках никаких прямых доказательств, я тем не менее склонялся к подозрению, что инженер Мурри приехал сюда с прямым заданием разложить работу нашего строительства. С этой целью:

а) Инженер Мурри постарался убрать со строительства Баркера, прежде чем тот успел закончить монтаж экскаваторов. При отсутствии на строительстве специалистов экскаваторного дела монтаж сложных американских механизмов без представителя фирмы должен был, по очевидным расчетам Мурри, или быть отсрочен до вызова нового представителя (что затормозило бы строительство на несколько месяцев), или быть произведен собственными силами, по всем данным неудачно (что, кроме задержки строительства, вызвало бы еще конфликт с фирмой Бьюсайрус).

б) Инженер Мурри пытался устранить со строительства инженера Кларка. С одной стороны, это должно было ослабить руководящие инженерские кадры и затруднить дальнейший вызов на здешнее строительство иностранных специалистов, с другой — это должно было создать Мурри полную свободу действий как единственному иностранному специалисту на строительстве.

в) Инженер Мурри пытался (очевидно, в союзе с Ходжияровым) опорочить и устранить со строительст-

ва одного из лучших местных инженеров-коммунистов, Уртабаева (что ему совершенно случайно не удалось), и одновременно разладить весь тракторный парк строительства и ряд крупных механизмов (что, к сожалению, ему удалось вполне).

Факт несомненной связи между Мурри и Ходжияровым в деле Уртабаева указал на неведомые нити, связывающие инженера Мурри с Афганистаном, и натолкнул меня на предположение относительно причастия Мурри к английской Интеллидженс Сервис.

После долгих колебаний, отдавая себе отчет во всей серьезности дела, я решился в отсутствие инженера Мурри произвести у него на квартире обыск. В результате обыска в чемодане Мурри было обнаружено двойное дно, а в нем — значительная сумма денег, точно: 70 000 рублей кредитными билетами по десять червонцев. Наличие такой большой суммы у рядового американского инженера, не являясь само по себе достаточной уликой, подтверждало тем не менее обоснованность моих подозрений.

Среди вещей инженера Мурри остановил на себе мое внимание старый план города Ташкента, издания 1916 года. Планов этого издания в продаже у нас давным-давно не имеется. По анкетным сведениям, инженер Мурри никогда раньше на территории бывшей России не пребывал, оставалось предположить, что если он лично и не был в годы нашей революции в Ташкенте, то, во всяком случае, получил этот план от лица, которое в Ташкенте в те годы пребывало.

Рассматривая план, я не обнаружил в нем никаких пометок, за исключением двух стертых крестиков карандашом, которыми отмечены были улицы Московская и Самаркандская. Не придавая особого значения этим знакам, я все же срисовал в записную книжку расположение обеих улиц и записал их названия.

Несколько недель спустя, приехав по служебным делам в Ташкент, я попросил архивный отдел ПП подобрать мне список лиц английского или американского происхождения, пребывавших в Ташкенте в 1916-м, 17-м и последующих годах, вплоть до 20-го. Я надеялся таким путем восстановить круг возможных знакомств Мурри. Рассматривая приготовленный список, состоявший, если не ошибаюсь, из восемнадцати лиц, а также относящиеся к этом лицам материалы, я оста-

новился на фамилии полковника Бэйли, пребывавшего в Ташкенте в 1918 году, с августа по ноябрь, в составе так называемой «Английской миссии». Остановился же я именно на нем, так как странным стечением обстоятельств в материалах значилось, что именованный полковник Бэйли проживал в Ташкенте сначала в гостинице «Регина» по улице Самаркандской, а потом — на частной квартире у гр. Гилодо по улице Московской, д. 44. Оба адреса, как я легко смог проверить, заглянув в записную книжку, совпадали с местоположениями, отмеченными на плане города Ташкента, принадлежавшем инженеру Мурри.

Вывод отсюда мог быть двоякий: либо это простая случайность, либо план г. Ташкента, обнаруженный у Мурри, принадлежал раньше полковнику Бэйли, пометившему на нем для памяти место своего жительства. Во втором случае план этот мог попасть к Мурри двумя путями: он мог его, допустим, купить у букиниста или же мог получить в подарок от самого полковника Бэйли. И в том, и в другом случае весьма сомнительно, чтобы план приехал к нему в Америку. Вероятнее, что инженер Мурри вывез его из Англии.

Я естественно заинтересовался личностью полковника Бэйли и просмотрел все материалы, относящиеся к его пребыванию в Ташкенте. Материалы эти сосредоточены в трех основных местах: в архиве ЧК за 1918 г., в ташкентском представительстве НКИД и в архивах САНИИРа (Средне-азиатского научно-исследовательского института истории революции). Кроме того, о полковнике Бэйли имеется маленькая печатная литература. О миссии Бэйли пишет подробно в своей книге «В Средней Азии» (на английском языке) бывш. английский консул в Кашгарии, Эсертон. На заседании Королевского географического общества докладывал о ней один из участников миссии, капитан Л. В. С. Блэкер. Писал о ней и сам полковник Бэйли в «Джиографикал Джорналь». Впрочем, «научные» изыскания участников миссии не представляют особого интереса, тем более, что и характер самой миссии был далеко не научный. Кашгарский консул Эсертон пишет об этом достаточно прозрачно в своей книге:

Хотя и не предполагалось оказать реальную военную помощь элементам, расположенным в пользу союзников, тем не менее

нужна была небольшая английская военная организация, от которой исходили бы щупальца, необходимые для получения информации и использования всех благоприятных обстоятельств. Поэтому английское правительство решило послать в Русский Туркестан специальную миссию... Миссия имела задание связать английское правительство с Советской властью, исследовать, в числе прочих вопросов, хлопковый вопрос, а также держать правительство в курсе тогдашнего положения. Нам предстояло проникнуть в Ташкент, в центр советского фанатизма (в Средней Азии), откуда должно было идти осуществление его планов... Нам предстояло изучить на месте положение и исследовать вопросы, затрагивавшие безопасность и благополучие Британской империи... Наконец, нам предстояло создать систему пропаганды и наладить ее успешную работу...

В чем должно было состоять, например, «исследование хлопкового вопроса», Эсертон расшифровывает в другом месте:

В 1918 г. в Средней Азии находились большие запасы хлопка... Судьба этих запасов имела большое значение для коалиционного военного кабинета. Поэтому я получил от нашего правительства задание сообщить о возможности перевозки всего запаса в Кашгар. Это было колоссальное предприятие. Потребовалось бы 750 000 вьючных животных для перевозки хлопка, находившегося, по моим подсчетам, в Туркестане (как это выяснилось в результате совещания с лучшими местными авторитетами).

Миссия приехала в Ташкент 10 августа 1918 г. в составе полковника Ф. М. Бэйли и капитана Л. В. С. Блэкера, сопровождаемых четырьмя слугами-индусами. Ни у Бэйли, ни у Блэкера не оказалось никаких документов, подтверждающих официальный характер миссии. Несколькими днями позже прибыл в Ташкент сэр Джордж Маккартней, английский консул в Кашгарии, смененный на этом посту Эсертоном, и отрекомендовал Бэйли и Блэкера комиссариату иностранных дел Туркреспублики как дипломатических представителей англо-индийского правительства. Поскольку Маккартней не вручил верительных грамот, коминдел снесся по радио с индийским правительством, спрашивая у него подтверждения полномочий всей тройки. Ответ был получен довольно сбивчивый и невнятный.

Один из работников кашгарского отделения Русско-азиатского банка в письмах, адресованных председателю ЦИК Туркестана, левому эсеру Успенскому, предупреждал об авантюристическом характере миссии. Несмотря на это, Бэйли и Блэкер были приняты в качестве официальных дипломатических лиц. Происходи-

ло все это в период, когда английские войска занимали уже Архангельск и Мурманск и дрались с Красной армией на Закаспийском фронте. Английские агенты в Ташкенте разыгрывали наивных, утверждали, что все это — простое недоразумение, и заверяли советское правительство Туркестана в дружеских чувствах Британской империи. Наглость полковника Бэйли доходила до того, что он требовал разрешения пользоваться в своих сношениях с Кашгаром шифрованными телеграммами, в чем ему было отказано, несмотря на его обиженные протесты и настойчивую поддержку комиссариата по иностранным делам. Роль, которую во всей авантюре Бэйли сыграли левые эсеры, свидетельствует несомненно о том, что у них были особые виды на сотрудничество с агентурой английского империализма.

Ташкентская «Наша газета» от 21 августа 1918 г. поместила интервью своего сотрудника с полковником Бэйли. По заявлению полковника Бэйли:

...Миссия прибыла в Ташкент... с целью ознакомиться с положением дел в Республике и рассеять необоснованные слухи о существующих якобы намерениях Англии вмешаться через Афганистан во внутренние дела Туркестанской республики. Миссия протестует против этих слухов, исходящих, по ее мнению, из немецких источников...

О действительных целях миссии более откровенно сообщает генерал-майор И. М. Зайцев, б. командующий войсками Временного правительства в Хиве, впоследствии начальник штаба контрреволюционной Туркестанской военной организации и начальник штаба войск ген. Дутова, бежавший вместе с ним в Китай, в 1924 г. подавший прошение о помиловании во ВЦИК и вернувшийся в СССР. Вот что говорит в своих мемуарах ген. Зайцев [1] о миссии полковника Бэйли:

Истинной целью и намерениями миссии были: подготовить и организовать вооруженное восстание в Туркестане против Советской власти, снабжать повстанческие отряды деньгами и оружием из ближайших к Туркестану английских баз (Мешед, Кашгар, Афганистан). Миссия имела широкие права и полномочия по осуществлению этих задач... Антисоветские организации, в том числе Туркестанская военная организация и мусульманская «Улема», не преминули, конечно, войти в связь с Великобританской миссией...

---

[1] «Из недавнего прошлого», журнал «Соловецкие острова», № 4, 1926.

Подробные сведения о деятельности миссии сообщает агент Интеллидженс Сервис, активный участник контрреволюционной военной организации, б. преподаватель французского языка в Ташкенте, И. Кастанье, в своей книге «Басмачи» (на французском языке), выпущенной в Париже (изд. Эрнст Леру):

Антибольшевистская организация Ташкента, усиленная этой поддержкой, вошла в переговоры с некоторыми влиятельными туземцами Ташкента и через них завязала связь с басмаческими начальниками. Эти переговоры, в которых приняло участие английское представительство, происходили в сентябре 1918 г. Они были основаны на следующих обязательствах: 1) басмаческие отряды поступают на службу антибольшевистской организации Ташкента; 2) организация обязана снабжать правительство провиантом; 3) представители английского правительства обязаны снабжать антибольшевистскую организацию деньгами, оружием и припасами. Союз был заключен. Связь была налажена как с басмаческими организациями, так и с мистером Эсертоном, английским консулом в Кашгарии. Такого же рода связь через посыльных агентов была налажена и с белогвардейской армией в Сибири и Оренбурге, откуда было получено предложение организовать восточную конфедерацию, в которую вошел бы и Туркестан.

Сведения Кастанье полностью совпадают с воспоминаниями ген. Зайцева, который пополняет их рядом интересных подробностей:

Представители английского правительства или Великобританская военная миссия в Ташкенте подтвердили свое прежнее соглашение о снабжении деньгами, оружием и проч. и при новой комбинации вооруженных сил. Базами для снабжения ферганского повстанческого отряда и направлением для доставки снабжения были намечены: а) из Читрала-Гильгита через перевал Мустак и Кашгар отсюда через Иркештам и Ош, б) другое — из Пешевара через Хайберский перевал, далее через Афганистан и Бухару. Количество всех видов снабжения и денежных средств не было определено какой-нибудь нормой. По заявлению английских представителей, все будет отпущено по мере надобности в достаточном количестве, особенно когда будут пробиты сквозные пути на Мешед и Афганистан... Денежные средства будут отпускаться из Кашгара через местного английского консула из кашгарских банков.

О том, на каких условиях английская миссия брала на себя все изложенные обязательства, рассказал на допросе Павел Степанович Назаров, кандидат на пост премьер-министра после свержения советской власти в Туркестане, арестованный в момент раскрытия Туркестанской военной организации органами ЧК:

Вновь созданное государственное образование, или Туркестанская демократическая республика, будет находиться под исключительным влиянием Англии; в таких же взаимоотношениях, как африканские доминионы ее, южноафриканские республики (Трансвааль и Оранжевая). В возмещение всех произведенных расходов английскому правительству Туркестанская демократическая республика должна предоставить ряд концессий на разработку природных богатств края.

Показания Назарова полностью подтверждает и Кастанье:

...После низвержения Советской власти будет образована автономная республика под непосредственным влиянием Англии. Кроме того, было обещано на словах начальниками антисоветских организаций передать Туркестан под английский протекторат на 55 лет.

28 сентября 1918 года два члена миссии, Маккартней и Блэкер, уехали обратно в Кашгар. В Ташкенте остался один Бэйли со своим слугою, индусом Хан-Назаром Ифтикором. Бэйли ухитрился продержаться в Ташкенте на полуофициальном положении до 1 ноября. После раскрытия Туркестанской военной организации он был уличен ЧК в инспирировании заговора и подвергнут домашнему аресту, затем, по ходатайству коминдела, освобожден. На предмет его ареста решено было запросить по радио Москву. Когда из Москвы пришло распоряжение о немедленном интернировании, полковника Бэйли не оказалось. Полученная 8 ноября телеграмма Эсертона, любезно справлявшегося из Кашгара о состоянии здоровья Бэйли, не застала адресата уже в Ташкенте. Бэйли пробрался в Фергану, а затем в Бухару, к эмиру, откуда через своих агентов, белых офицеров, продолжал руководить контрреволюционным движением в Туркестане, в частности осиповским восстанием.

Я позволил себе привести все эти значительные выдержки отнюдь не из простой исторической любознательности. Просматривая материалы, я понял с первых же строк, что установление связи между полковником Бэйли и инженером Мурри — равнозначно установлению связи Мурри с английской Интеллидженс Сервис. К тому же масштабы деятельности Бэйли говорили бы о том, что и в данном случае мы имеем дело не с простым контрразведчиком, а с авантюристом большого пошиба.

Среди разрозненных архивных материалов я натолкнулся на фотографическую карточку Бэйли. Я не стану утверждать, что между изображенным на ней военным и инженером Мурри есть разительное сходство. Карточка Бэйли плохая, любительская, к тому же снимок сделан пятнадцать с лишним лет тому назад. Однако наличие некоторого сходства между чертами лица полковника Бэйли и инженера Мурри — несомненно. Ошеломленный этим открытием, я стал расспрашивать, нет ли в Ташкенте кого-нибудь из старых чекистов, работавших здесь в 1918 году. Мне удалось разыскать двух чекистов, присутствовавших при аресте полковника Бэйли: товарищей А. С. и М. В. На мой вопрос, — не было ли у полковника Бэйли каких-либо особых примет, товарищ А. С. вспомнил, что полковник Бэйли был левшой, причем тщательно это скрывал. Можно было это заметить только во время бритья,— брился он левой рукой. Товарищ М. В., наблюдавший за Бэйли неоднократно на улице, вспомнил, что, гуляя в сопровождении женщины, Бэйли не ходил, как все мужчины, по левую сторону дамы, а всегда со стороны мостовой. Впрочем, по заверению М. В., эта привычка присуща вообще англичанам. Никаких других отличительных примет ни А. С., ни М. В. указать мне не смогли.

Вернувшись на строительство и усилив мое наблюдение за Мурри, я в скором времени убедился, что оба признака, отмеченные ташкентскими товарищами как характерные для Бэйли, присущи в равной мере и инженеру Мурри.

Я подумал, что предположение мое не заключает в себе в конце концов ничего невероятного. Посылая в Среднюю Азию своего агента, Интеллидженс Сервис, естественно, выбрала для этой цели человека, знающего местный язык, местные условия и справившегося уже раз довольно не плохо с возложенной на него миссией. Пятнадцатилетний промежуток времени, отделяющий второй визит от первого, давал полковнику Бэйли относительную гарантию безопасности в смысле возможных встреч со старыми знакомыми.

Я выяснил при случае у инженера Кларка, знаком ли он с Мурри по Америке и был ли знаком с Мурри инженер Баркер, — и узнал, что ни Кларк, ни Баркер раньше Мурри не знали; встретились с ним впервые

уже в СССР. Не будучи все же до конца уверенным в правильности моего открытия, я решил не сообщать о нем никому, пока не соберу вещественных доказательств.

Во время вторичного обыска, проведенного на квартире у инженера Мурри, месяц спустя после первого, я убедился, что денег в чемодане Мурри осталось только 60 000. В течение четырех недель Мурри истратил 10 000 рублей, причем истратил их на месте, не уезжая со строительства, так как никаких переводов ни по почте, ни по телеграфу от него за это время не поступало. Желая проверить, в чьи руки попадают эти деньги, я пометил каждую кредитку в отдельности. Было установлено, что несколько помеченных мною сторублевок разменял заведующий механизацией, инженер Крушоный. (Относительно вредительской работы инж. Крушоного и связанных с ним лиц см. дело № 276).

За несколько дней до взрыва перемычки ко мне явился начальник взрывпрома, инженер Табукашвили, передал тридцать тысяч рублей, помеченными мною кредитными билетами, и сообщил, что деньги эти вручены ему от неизвестного лица инженером Крушоным в вознаграждение за заведомо неудачный взрыв перемычки.

Арестованный мною инженер Крушоный (протокол показаний которого прилагаю), прижатый к стене неопровержимыми уликами, признался, что с инженером Мурри сблизился восемь месяцев тому назад. В частых беседах Крушоный не скрывал от Мурри своих антисоветских настроений, причем, как он сам говорит, Мурри явно наводил его на такого рода излияния. Мурри предложил Крушоному за определенное вознаграждение «немножко попридержать строительство», которое, по его заверению, все равно к сроку никоим образом закончено не будет. Он дал понять Крушоному, что существует организация, которая не прочь заплатить большие деньги за то, чтобы строительство в течение ближайших лет не было закончено. Какая именно организация, Крушоный не спрашивал. Зная, что имеет дело с американцем, он понял, что речь идет, очевидно, о какой-нибудь американской хлопковой компании, которой не на руку освобождение СССР от импорта американского волокна. Крушоный попросил

двадцать четыре часа на размышление и на следующий день изъявил свое согласие. Было установлено, что за свои услуги Крушоный будет получать вознаграждение, так сказать, сдельно, в зависимости от рискованности каждой отдельной операции. Инженер Мурри предложил Крушоному подобрать себе в различных секторах строительства небольшую группу надежных и достаточно антисоветски настроенных лиц с тем, чтобы воздействовать через них на равномерное торможение работ во всех областях строительства. На предварительные расходы, связанные с вербовкой новых «сотрудников», Крушоный получил от Мурри двадцать пять тысяч рублей. В задушевных беседах Мурри неоднократно инструктировал Крушоного относительно методов «работы», резко критикуя устарелые методы Немировского.

О цепи вредительских актов инженера Крушоного, направленных на систематический срыв строительства, изложено подробно в деле № 276, поэтому нет надобности останавливаться на них здесь. Достаточно будет упомянуть в этом контексте лишь об одном сообщнике Крушоного, подрывнике Парфенове Михаиле Григорьевиче. Парфенов — классический тип люмпенпролетария, потомственный пьяница — в феврале месяце был уволен с работы на втором прорабстве за прогулы и нарушение труддисциплины. Этого-то Парфенова, до его увольнения, использовал для своих целей инженер Крушоный через посредство десятника Пономарника. Подбавляя систематически в заряды лишнее количество аммонала и увеличивая силу взрыва, Парфенов вызывал таким образом искусственное оползание берегов канала. Более чем возможно, что именно этими процедурами вызван был и обвал на скале, повлекший за собой человеческие жертвы и оттянувший почти на месяц окончание строительства. Выгнанный из взрывпрома, Парфенов устроился ручником на пятом (ката-тагском) прорабстве, где и был использован инженерами Крушоным и Мурри для последнего вредительского акта, о чем подробнее дальше.

Убедившись, что, несмотря на все ухищрения Крушоного и его сподвижников, строительство будет закончено к сроку, инженер Мурри (он же полковник Бэйли) решил испробовать последнее средство. Он ве-

лел Крушоному попытаться подкупить начальника взрывпрома, инженера Табукашвили, и уговорить его повредить при взрыве перемычки головное сооружение. Не доверяя вредительской лояльности Табукашвили и опасаясь, как бы Табукашвили, в случае ареста, не выдал своего сообщника, Мурри детально проинструктировал Крушоного, как ему держаться на допросе. Одновременно, желая застраховать себя и, так или иначе, сорвать готовое строительство, Мурри через Крушоного предложил Парфенову пять тысяч рублей за взрыв мыса горы Ката-Таг. Взрыв этот должен был быть произведен несколькими небольшими зарядами в момент пуска воды так, чтобы вызванный им обвал можно было приписать воздействию воды, подмывшей неустойчивый грунт.

Возложенное на него задание Парфенов выполнил без особого труда. Как ручник ката-тагского прорабства, он, не привлекая к себе ничьего внимания, провел ночью подкоп и взорвал в указанное Крушоным время мыс горы на упомянутом участке. (Подробности в деле № 277.)

По словам Крушоного, и Мурри и он сам считались с возможностью, что Табукашвили в последнюю минуту струсит и не решится повредить головного сооружения. На этот случай Мурри и придумал вариант с Ката-Тагом. По расчетам Мурри, которых он не скрывал от Крушоного, обвал Ката-Тага и затопление расположенных в низине колхозов должны были вызвать панику среди переселенцев и открыть широкую дорогу басмаческому налету, ожидаемому с той стороны Пянджа.

Ишан Халик (Ходжияров), главарь ликвидированного нами басмаческого налета, окруженный вчера нашими доброотрядцами и взятый в плен после непродолжительной стычки, сознался на допросе, что с полковником Бэйли он знаком еще с 1919 года по Бухаре. О приезде Бэйли на строительство Халику (Ходжиярову) было своевременно сообщено из Афганистана, причем ему было предложено все дальнейшие действия согласовывать непосредственно с Бэйли. Для установления с ним прямой связи Ходжияров и поступил работать на строительство. На мой вопрос, каким образом, не зная английского языка, он сносился с Бэй-

ли, ишан заявил, что Мурри-Бэйли говорит в совершенстве и по-русски и по-фарсидски.

Бежав в Афганистан, после неудачной истории с доносом на Уртабаева, ишан Халик (Ходжияров) продолжал поддерживать с Мурри, через своих эмиссаров, самую тесную связь. Срок и стратегический план налета были согласованы с Мурри, и вся подготовка к налету проводилась по его прямым указаниям.

Сегодня, в двенадцать часов ночи, узнав об аресте Крушоного и разгроме банд Халика, Мурри пытался спастись бегством к афганской границе. Арестованный на третьем участке и подвергнутый допросу, Мурри-Бэйли виновным себя ни в чем не признал, заявил, что никакого другого языка, кроме английского, не знает, и отказался дать какие-либо показания. Во время очной ставки с Крушоным и ишаном Халиком Мурри заявил, что речи их не понимает, об инженере Крушоном знает только, что это начальник механизации строительства, а ишана Халика не видел никогда в глаза. Когда Мурри-Бэйли показали его собственный чемодан и остаток находящихся в нем помеченных денег, он велел передать мне через переводчика, что никаких денег в чемодане у него не было, кто их туда положил — не знает, поскольку же чемодан был вскрыт в его отсутствие,— ни за какое его содержимое он отвечать не обязан.

Прилагаю при сем подробные протоколы допросов:

1. Инженера Мурри Р. (он же полковник Бэйли Ф. М.).

2. Инженера Крушоного Ю. Д.

3. Ишана Халика Валяд-и-Умар (он же Иса Ходжияров).

4. Подрывника Парфенова М. Г.

5. Десятника Пономарника А. Т.».

...Утром, когда со свежеусыпанной дамбы Ката-Тага убрали рефлекторы и отъехали последние брички, груженные лопатами и кетменями, Морозов, напрасно дожидавшийся пуска воды, увидел издали первую легковую машину.

— Чего ж они воды не дают?— встретил он выскочившего из машины Синицына.— Девять часов! То-

го гляди, гости подъедут! У нас уже два часа, как все готово. Что они там, уснули?

— Ты разве ничего не знаешь?— как-то странно посмотрел на него Синицын.

Морозов только сейчас заметил, что Синицын со вчерашнего дня осунулся и постарел.

— Нет, а что? Опять что-нибудь случилось?

— Ночью был налет на головное. Прорвалась банда человек в сорок. Никто не ожидал: сто двадцать километров от границы! А тут взяли и проскочили.

— Повредили что-нибудь?

— Нет. Не успели. Продержались всего какой-нибудь час. Подоспел отряд из Кургана и взял их всех.

— Есть с нашей стороны убитые?

— Есть. Зарубили человек восемь из охраны. А двоих замучили: Нусреддинова и Гальцева.

— Что ты говоришь! Насмерть?

— Да. Зверски...— Голос у Синицына дрогнул.

— Как же все это произошло? — бледнея, пробормотал Морозов.

— Басмачи хотели открыть шлюзы и пустить воду, чтобы затопить тут всю низину. На штурвальных колесах были замки. Комендант убежал. Отбить замков сначала не смогли. Захватили Нусреддинова и Гальцева и стали их пытать, где ключи. Запытали насмерть.

— А воды так и не открыли?

— Под конец удалось им отбить три замка. Но тут накрыл их доброотряд из Кургана. Знаешь, кто его привел? Кларк. Ускользнул на машине из-под самого носа басмачей и предупредил Комаренко. Отряд нагрянул вовремя и взял их всех живьем. Успели поднять только первый щит и начали открывать второй.

— А-а! Вот откуда ночью у нас вода по каналу пошла! А потом вдруг перестала. Я так и не мог понять, откуда бы это.

— Да, если б тогда сразу достали ключи и подняли все семь щитов, у вас тут от дамбы и следа бы не осталось.

— А у кого же были ключи?

— В конторке, у коменданта.

— Не нашли?

— Нет, нашли.

— Почему же тогда не открыли?

— Комаренко тоже этим заинтересовался. Спрашивал у Ходжиярова на допросе. Ходжияров говорит, что белобрысый,— очевидно Гальцев,— в последнюю минуту вырвал связку ключей у одного из джигитов и кинул в Вахш. Те его за это и прикончили.

Морозов провел рукой по лбу.

Синицын смотрел куда-то в сторону.

— Ну, одним словом, воду сейчас откроют... А вот, кажется, и гости,— указал он на приближавшуюся вереницу машин.— Ну что ж, принимай гостей. Говорить им ничего не стоит. Зачем разводить панику? Подумают, у нас здесь действительно дикая Азия.

— А ты не останешься?

— Нет. Мне, понимаешь, трудно. Нусреддинова я очень любил. Это был у меня, можно сказать, почти что сын. А теперь и его нет... Я поеду к себе...

Он пошел к машине и, стоя уже одной ногой на ступеньке, повернулся:

— А Гальцев-то, а? Сколько мы ему выговоров напришивали за все время строительства! А тут вот тебе! Оказался на деле настоящий герой. И не умри он сегодня, никто бы ведь так и не знал... Гостям не говори. Все равно не поймут.

Машина Синицына уехала, а Морозов все еще стоял, созерцая давно растаявшую струйку бензина. Очнулся от деликатного прикосновения чьей-то руки:

— С добрым утром, господин Морозов!— Перед ним стоял опрятно выбритый бельгийский профессор и укоризненно улыбался.— А вы о нас совсем забыли.

— Что вы, что вы!— засуетился Морозов. Он хотел улыбнуться, но улыбки у него не получилось.— У нас тут просто вышла небольшая заминка,— он растерянно развел руками.— Ночью, видите ли, затерялись ключи от штурвальных колес, и нельзя было с утра открыть воду. Но сейчас уже все в порядке. А вот и вода пошла!

Конец

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

писателя Бруно Ясенского кавалеру ордена Индийской империи, полковнику Ф. М. Бэйли.

Милостивый государь!

Получив предложение от одного из американских товарищей относительно перевода настоящего романа на английский, я имею все основания полагать, что роман этот, рано или поздно, попадет к вам в руки. Если вы даже и не следите за нашей советской литературой, вы, вероятно, по-прежнему интересуетесь положением в Средней Азии, и книга о строительстве в б. Восточной Бухаре имеет все шансы обратить на себя ваше внимание.

Дочитав ее до конца, вы, несомненно, загоритесь благородным возмущением и, быть может, захотите излить его в печати, в оскорбленном протесте против злоупотребления вашим добрым именем. Вы, возможно, представите ряд достоверных и высокопоставленных свидетелей, которые подтвердят, что со времени вашей миссии в Туркестане в 1918 г. никогда больше ваша нога не ступала на территорию нынешнего СССР, никогда вы не арестовывались органами ОГПУ в Таджикистане и попытка отождествить вас с американским инженером Мурри является чистейшим вымыслом. Желая избавить вас от ненужных хлопот, я решил присоединить к роману это письмо.

Доказательства ваши излишни. Повествование о вашем вторичном явлении в пределах Средней Азии — вымышлено. Автор настоящего романа, специально интересовавшийся вашей дальнейшей карьерой, хотя и не смог проследить ее на всем ее протяжении (пути сотрудников Интеллидженс Сервис неисповедимы!), установил все же, что в период развертывания событий, описываемых в этом романе, вы исполняли с честью свои обязанности политического агента британского имперского правительства в Сиккиме.

Вы спросите, на каком основании, зная об этом, я присвоил ваше имя,— имя частного реального лица,— вымышленному герою?

Прежде всего вы, несомненно, недооцениваете своего значения, если продолжаете считать себя частным лицом. В силу ваших специфических незаурядных качеств, равно как и в силу событий, в которых была вам отведена немаловажная роль, вы давно перестали быть частным лицом и стали личностью исторической. Изучая на основании документов и рассказов очевидцев вашу многостороннюю деятельность на территории Туркестанской республики, я пришел к заключению, что современность оказалась по отношению к вам несправедливой. Ваша известность, ограничивающаяся узким кругом специалистов по контрразведке и историков гражданской войны в Туркестане, несоизмерима с разнообразием и классом ваших способностей. Я знаю, что организация, задания которой вы столь блестяще выполняли и продолжаете выполнять, не гонится за шумной мирской славой, вернее даже было бы сказать,— тщательно ее избегает. Нельзя, однако, считать нормальным такое положение вещей, когда посредственности, вроде Лауренса, пользуются незаслуженной мировой известностью, в то время как о полковнике Бэйли так называемая широкая публика не знает до сих пор ровно ничего.

Итак, первое, что склонило автора этих строк вывести вас в качестве одного из персонажей настоящего романа, было законное желание сделать ваши подвиги достоянием широкой общественности.

История знает о подвигах ваших соотечественников в годы гражданской войны в Баку и на дальнем Севере, но слишком мало знает об их плодотворной деятельности в Средней Азии. А ведь где, как не в ны-

нешнем Советском Таджикистане, начавшем свое мирное строительство на шесть лет позже других союзных республик, эта плодотворная деятельность была более урожайной.

В 1931 г., присутствуя при очередном (последнем) налете и поимке Ибраима-бека, с именем Лиги наций на устах резавшего носы и уши пленным комсомольцам, я имел возможность осматривать отобранные у Ибраимовых джигитов новенькие английские винтовки. Винтовки были последнего образца, скажу прямо: винтовки были замечательные! По сегодняшний день в кружках Осоавиахима учатся из них стрельбе таджикские комсомольцы.

Ибраим-бек был плохим политиком. В своих прокламациях он говорил прямо, что идет восстанавливать власть эмира бухарского. Напуганное этой перспективой население пошло на Ибраима с палками, как ходят до сих пор в Таджикистане на кабанов. У Ибраима не было ваших дипломатических способностей, он был простак, азиат, и разговоры с умными людьми по ту сторону Пянджа ничему его не научили.

Читая сводки о его бесславном конце, вы, вероятно, плохо отзывались о талантах ваших коллег, тративших зря деньги и время на воспитание такого тупого ученика. Вы, наверное, считали, что, будь это дело поручено вам, исход его, несомненно, был бы другим. И, водя пальцем по карте, по столь знакомым вам местам, вы с горечью думали о близорукости некоторых высокопоставленных лиц, совершающих ошибку за ошибкой и не умеющих надлежащего человека использовать на надлежащем месте.

Действительность сложилась не так, как вы это предполагали тогда, в 18-м году, созерцая седую ташкентскую пыль из окон гостиницы «Регина», из которых тринадцатью годами позже созерцал ее и я. Жизнь не дала вам возможности осуществить на практике ваши столь богатые замыслы.

Я решил исправить ее ошибку и пойти вам навстречу. Я достал вам фальшивый паспорт, поставил на нем свою визу, посадил вас в самолет и, провезя над всем СССР, высадил в нынешнем Таджикистане. Я снабдил вас большой суммой денег, связал кое с кем из ваших старых знакомых и, отпустив вас одного, вернулся за свой письменный стол. Я не вну-

шал вам ничего, не навязывал своих взглядов и мнений. Я окунул вас лишь в стремительный поток реальных событий и стал за вами наблюдать, как наблюдал одновременно за десятками других персонажей, отмечая графически на бумаге каждое ваше движение. Я учел ваши способности, выявившиеся столь блестяще в период первого вашего визита в Туркестане, и дал им возможность развернуться в обстановке и пределах нашего советского сегодня. Если и на этот раз они не привели к предполагаемым вами результатам,— не виноваты в этом ни вы, ни я: виновата неуловимая логика нашей социалистической действительности, которую не перепрыгнешь.

Во всяком случае, я думаю, вам не за что быть на меня в обиде. Я дал вам возможность прожить безнаказанно год в нашей стране, в которую многие стремятся сейчас со всех уголков мира и в которую другим путем вам не попасть. Я дал вам возможность ознакомиться с фактическим положением вещей в Советской Азии: оттуда, из Сиккимы, вы, вероятно, представляли себе его немножко иначе. Провала вашей второй миссии не занесут вам в послужной список, и это нисколько не отразится на вашей дальнейшей карьере. Практическое же соприкосновение с живой действительностью и людьми страны, знакомой вам в ее средневековье и ставшей,— раньше чем вы успели поседеть,— такой, какой она отражена в этом романе,— поучительно и полезно. Вопреки теории покойного прокурора Кригера, советское среднеазиатское солнце имеет весьма целебные свойства. Оно излечивает, например, от устаревших иллюзий, в первую очередь от вредной склонности к опасным политическим авантюрам.

Примите, милостивый государь, уверения в моем совершеннейшем почтении.

Бруно Ясенский

СОДЕРЖАНИЕ

Бруно **ЯСЕНСКИЙ**

ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ

Роман

Редактор
Н. А. Галахова

Художественный редактор
Л. И. Королева

Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 600

Сдано в набор 18. 10. 82.
Подписано к печати 18. 01. 83.
Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Бумага газетная.
Гарнитура «Латинская». Высокая печать.
Усл. печ. л. 32,76. Уч.-изд. л. 33,67.
Тираж 500 000 экз.
(4-й завод: 300 001—400 000)
Цена 2 р. 90 к.

Набрано и сматрицировано
в ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Коммуна», г. Воронеж, пр. Революции, 39.
Заказ № 2723.

2 р. 90 к.

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ